

Я · П
ПОЛОНСКИЙ

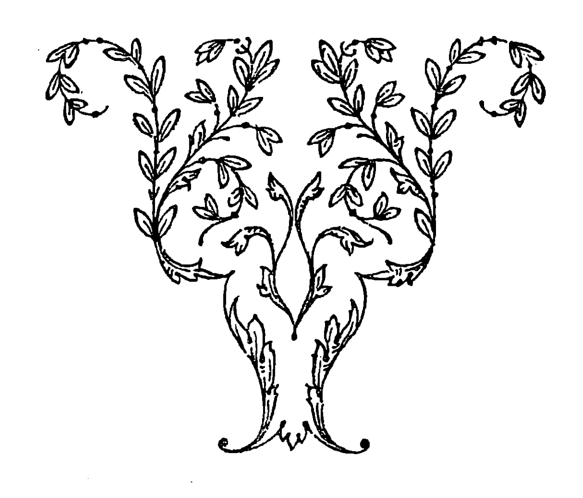
II

Я. П. Полонский

Сочинения

Я·П·ПОЛОНСКИЙ

сочинения в двух томах





Москва

«художественная литература»

1986

Я·П·ПОЛОНСКИЙ

сочинения. том второй

Признания Сергея Чалыгина

Женитьба Атуева

Воспоминания



Москва

«художественная литература»

1986

Составление и комментарии
И. Б. Мушиной

Художник
Е. Ганнушкин

П $\frac{4702010100-153}{028(01)-86}$ 25-86

Признания Сергея Чалыгина
Роман

ГЛАВА 1



разумеется, русский, но я родился на водах в Баденском герцогстве. Это неприятное и совершенно неожиданное для меня событие произошло 15 мая 1813 года. Моему первому крику, вероятно, обрадовались и мама, и повивальная бабушка, и горничная, и моя будущая кормилица, а я закричал просто от того, что не хотелось родиться. Говорят, охота пуще неволи, но это можно отнести только к родителям; о новорожденных же можно сказать совершенно напротив, а именно: неволя пуще охоты. Увы! эта неволя — закон природы. Была причина мне существовать, и я хочу или не хочу — существую.

Не помню, о чем я больше всего думал в первые годы моего младенчества, вероятно, о белых грудях моей швейцарской кормилицы, но, прежде чем успел я понять, отчего сосать свой собственный палец далеко не так приятно, как соску с молоком, как уже — счастливец! — я объехал почти всю Европу: таращил свои маленькие, каренькие, золотушные глазенки и на церковь св. Петра в Риме, и на Миланский собор, и на щеголеватых детей, бегающих под музыку вокруг бассейнов Пале-Рояля, и на собак в намордниках, бегающих по Германии,— на все, на все таращил я свои глазенки; но когда благополучно прибыл в свое славное отечество, а именно в Петербург, никому не рассказал о своих заграничных похождениях, хотя уже и мог говорить: па, фа, му-бу-му! ля, мам!.. и тому подобное.

Я был младенцем — это несомненно; но вы, быть может, усомнитесь, если я скажу вам, посреди какой роскоши я на-

чал капризничать, по каким дорогим коврам ступали башмаки моей няньки Аграфены, когда она, подплясывая да подпевая, гуляла со мной по парадным комнатам; в каких больших зеркалах отражалась моя круглая, пухлая, красными пятнами покрытая мордочка в чепце с кружевными оборками.

Но, прежде чем я перейду к своим воспоминаниям, скажу несколько слов о вероятном виновнике моего существования.

Отец мой, Сергей Макарович Чалыгин, умер в чине действительного статского советника. Начав службу свою в начале текущего столетия, долго состоял он при министерстве иностранных дел и жил то в Петербурге, то за границей. В последние же годы своей жизни был в отставке, проиграл множество денег и лечился на водах от какого-то хронического воспаления. Мне было около пяти лет, когда мать моя овдовела двадцати семи лет и надела траур. Отец мой ушел от меня к отцам прежде, чем я успел разглядеть его. Помню, как сквозь сон, чье-то выразительное, пожилое лицо, испещренное мелкими рябинками, большой лоб, впалые щеки, баки с проседью и золотые очки на носу, который почему-то представлялся мне непременно ярко-розовым. Помню, как это лицо наклонилось раз над моим детским изголовьем и стало пристально всматриваться, сплю ли я. Помню, я протянул ручонку, вероятно, с умыслом потрепать бакенбарду моего папеньки, как вдруг лицо это сделало какую-то странную, не то смешную, не то страшную гримасу и исчезло за белым пологом. Таким образом, в эту минуту все, что осталось от этого человека, жившего на свете целое полстолетие и, быть может, много перестрадавшего, это — какое-то смутное представление, какой-то никому неведомый образ, витающий в моем воображении. От целого существования уцелела какая-то неясная фигурка у меня в мозгу — и только!

Тогда еще не была изобретена фотография, а тот небольшой портрет, который как-то в детстве нашел я на письменном столике моей маменьки, был более похож на какого-то испанца в плаще, чем на папеньку или на действительного статского советника. Портрет этот также пропал; его украли в день похорон моей матери, и я тогда не жалел об нем.

Очень может быть, однако же, что отец мой, в очень молодые годы, ходил в черном плаще с развевающимися воротничками и похож был на испанца... ведь и я отчасти брюнет, и у меня были карие глаза с фосфорическим блеском, темные волосы и тонкий, довольно правильный нос с гордыми подвижными ноздрями, как у арабской лошади;

я говорю *были*, с умыслом употребляя глагол в прошедшем времени... В настоящем... я не узнаю себя... так я полинял и так я выцвел!

Говорят, у меня много однофамильцев. Это немудрено: род Чалыгиных довольно древний, дворянский род. Я не знаю, до какого именно века нисходят корни того генеалогического древа, на котором увядаю я, как одна из самых бесплодных ветвей его. Мой дядя, Лев Макарович Чалыгин (с которым я и познакомлю вас впоследствии), гордился своим столбовым происхождением, помнил очень хорошо, что отец его, мой дед, был в Москве сенатором, любил повторять рассказы своего батюшки, который, несомненно, под старость езжал в гости к Фамусову и простодушно верил в помешательство Чацкого — рассказывал о том, как императрица Екатерина благоволила к семье его и как однажды, на пасхе, прислала она в Москву курьера с какими-то турецкими конфектами и велела передать их моим бабушкам, которые, вероятно, тогда были хорошенькими, толстенькими девочками, учились подвязывать фижмы или пудрить свои волосы, лакомились калужским тестом, пили знаменитые когда-то московские квасы и, подрастая, учились менуэту,— как один из предков моих был зачем-то послан в Китай и вывез оттуда множество великолепно вышитых халатов, а другой убит турецким ядром, командуя бригом, под начальством Орлова, знаменитого чесменского героя [1]. Все это дядя мой помнил, обо всем этом говорил как-то особенно мямля, не без сожаления об увядшей славе нашего имени и, странно, никакой цены не давал письменным документам того времени. Шутя говорил он одному из гостей, как экономка, родом из *Чухландии*, при переделке кабинета его покойного батюшки, Макара Ивановича, собрала все его бумаги в три большущих короба, сначала поместила их в чулан, где их изгрызли крысы, а потом препроводила на чердак, где они отсырели, заплесневели и, вероятно, были выброшены новыми жильцами, ибо когда дом был продан, об этих несчастных коробах даже и не вспомнили. Конечно, экономка, да еще из какой-то Чухландии, на выкройки портным отдала бы и Несторову летопись, если б, по несчастию, нашла ее; это нисколько не удивительно; но как понять равнодушие к переписке отцов человека, начитавшегося французских мемуаров и дороживщего пригласительными билетиками своих знакомых? Впрочем, в мои отроческие годы я сам был равнодушен к покойникам.

Жадно прислушиваясь к жизни, я ничего не успел узнать из того, что мог бы узнать о моих родителях, и вот теперь

поневоле должен довольствоваться самыми скудными материалами.

Письма отца моего не все пропали на чердаке. Какими-то судьбами два из них сохранились от потопа времени. Одно историческое, писанное за два года до моего рождения, другое семейное, в котором и обо мне, то есть о моих зубах, есть два-три словечка. Из этих двух писем я заключаю, что, во-первых, отец мой был патриот в полнейшем смысле слова и что в этом случае я должен ему завидовать, ибо часто упрекаю себя в недостатке патриотизма; во-вторых, что отец мой любил мою мать, но почему-то не любил вместе с нею путешествовать, в-третьих... Но не лучше ли мне, не мудрствуя лукаво, взять да и переписать для вас эти два письма.

Вот они слово в слово:

Письмо 1-е

14 апреля 1814 г. С.-Петербург

Любезнейший родитель!

Письмо ваше порадовало меня известием о вашем здоровье. Я хотел с сею почтою послать к вам 58 тысяч, о которых к вам писал прежде, но не посылаю еще потому только, что не знаю, не угодно ли будет вам какую-нибудь часть из сей суммы употребить на уплату опекунскому совету. Ежели сие вам угодно, то уплата сия может быть сделана здесь, во избежание пересылки денег. Вы же получите квитанцию, и освобождено будет имение от залога, посему я решился к вам о сем написать. Теперь же прошу вас уведомить, какое количество суммы нужно прислать к вам и какую уплатить опекунскому совету здесь. Если же уплату опекунскому совету вы найдете ненужною нынче, то, по первому от вас извещению, я все эти деньги к вам отправлю. Ожидаю на все сие вашего приказания. У нас теперь необыкновенные торжества по случаю занятия Парижа. Прилагаю у сего реляцию о занятии Парижа и прокламацию к армиям и народу, от парижского Сената и сената блюстительного сделанные. Из них увидите всю картину действий нашего государя. 13-го числа генерал-адъютант Голенищев-Кутузов привез официальное известие о взятии Парижа, которое тотчас возвещено 51 выстрелом из пушек. 14-е прошло в приготовлениях к торжеству; 15-го было молебствие благодарственное в Казанском соборе, причем сделано 151 выстрел из пушек. Ввечеру в театре были петы стихи, у сего прилагаемые, в честь победителям; восклицания «ура!» и рукоплескания

раздавались во время спектакля. После город был иллюминирован, крепость, монумент Петра I, все казенные здания и многие партикулярные дома были отлично и весьма богато украшены различными огнями и транспарантными картинами. У английского посланника перед квартирою был обелиск огненный, вышиною в 20 сажен, сверху которого был вензель государя, под короною, также огненный. Сия иллюминация продолжается сегодня и будет завтра. Сегодня сверх того у императрицы обед и во время оного 101 выстрел из пушек.

P. S. Не может быть ничего восхитительнее въезда государя в Париж. Кутузов объяснил это следующим образом. 19-го поутру выехали сенаторы с донесением государю, что народ и все жители Парижа готовы принять его как своего избавителя. Государь, с прусским королем, с великим князем и в сопровождении до четырех тысяч генералов, въехал в Париж; впереди ехали лейб-казаки; государь был в кавалергардском мундире и без ленты; этот вицмундир состоит из темно-зеленого однобортного сюртука с обтяжными пуговицами и черным воротником. Генералы же, его окружавшие, были все в полном параде; за ними ехали и шли церемониальным маршем гвардии прусская и наша и — наша артиллерия. Народ был в восхищении от милостивого вида государя, великолепия свиты и вообще парада, войсками составляемого; государь остановился в доме известного Талейрана [2] — там обедали,— потом были в театре, где были все знатные особы, какие в Париже нашлись; пели на театре в честь государя следующие стихи:

Vive Alexandre,
Vive le roi des rois
Sans rien prétendre,
Sans nous donner des lois,
Ce Prince Auguste
A le triple rénom,
De héros, de juste
De nous rendre un Bourbon*.

Восклицания «виват» заглушали музыку и представление; государь, побыв недолго, уехал из театра. Зрители же бросились и сломали все украшения, герб и вензель Наполеона,— изображения, которые при входе в театр завешены были покрывалами.

Восхищение жителей здешних всех классов неописанное.

* Да здравствует Александр, да здравствует царь царей, ничего не требующий, не предписывающий нам законов, этот принц Август, трижды прославленный, герой, справедливый, возвращающий нам Бурбона *(фр.)*.

Сейчас приехал к императрице курьер из Дрездена от управляющего Саксониею, князя Репнина-Волконского, который привез копии с письма или с донесения царствующему герцогу Саксен-Веймарскому из армии, что, вследствие прокламаций от французского Сената, генерал Мармонд с своими войсками и многие генералы с своими корпусами объявили себя на стороне Бурбонов, и Наполеон сложил с себя звание императора; по иностранным же газетам ему назначается местопребывание на острове Эльбе, на Средиземном море, близ Корсики, недалеко от Ливорны, и что ему полагается в год 600 000 франков пенсии; жить же будет как партикулярный человек. Это, однако, требует подтверждения. Кутузов, привезший известие о взятии Парижа, получил от здешнего городского общества, то есть от купечества, золотую кружку с надписью и четырьмя тысячами червонных. Скоро должно ожидать самого лучшего окончания всех сих дел и, вследствие того, благоденствия и спокойствия во всей Европе. Приятно видеть государя нашего виновником толикого добра!

15 апреля в театре, когда публика усмотрела вошедшего генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова, тотчас раздалось «ура!» и начали аплодировать, после чего, по открытии занавеса, было пето:

Как ныне свой восторг мы не могли сокрыть,
Успели с вестником чрез плески изъясниться,—
Восстановитель царств когда сюда явится —
Что ж будем делать мы? В восторге слезы лить.

После сего в продолжении балета пели:

Герои грозны, чада славы,
Мир вам! под ваш священный кров
Стеклись вселенной всей державы,
Вам вождь — к отечеству любовь.

Союзных войск хвала царям.
Союзных войск хвала вождям!

Се день настал, тот день счастливый,
В который враг в земле своей
От страха ищет лишь могилы,
И в ней не скроется злодей.

К победам род Славян возрос,
Ликуй, Москва,— в Париже Росс!

А ты! наш ангел-избавитель,
Подпора царств, злодеев страх,
Народных прав восстановитель,
На троне Тит, Перун в боях!

Тебе хвалу поют цари,
Твой храм — сердечны алтари.

Я и брат, слава богу, здоровы. Прошу вашего благословения и остаюсь

нижайший слуга
и сын ваш *Иван Чалыгин.*

Письмо 2-е, к моей матери

Теплиц, 18 июня 1815 года

В самый день моего рождения, милая моя, получил я твое письмо, в котором ты извещаешь, что была больна и начинаешь выздоравливать и что у *нашего* Сережи зубы счастливо прорезались. Я целую неделю пробыл в Дрездене, где столкнулся с братом и князем Алексеем. Последний в восторге от твоего пения, но напуган твоими толками о графе Аракчееве [3]. Пожалуйста, будь осторожна и держи себя подальше от нашей молодежи. Князь видел тебя у madame Floran и говорил мне, что ты очень весела и даже пополнела. Мое же здоровье все плохо по-прежнему. Белье будет скоро выслано к тебе с оказией. За красные метки готическими буквами взяли с меня по 1 франку; нахожу, что сие недорого. Поблагодари баронессу за успокоительное письмо о ней; я уверен, что она в масонские ложи тебя не повезет; сама же пусть едет. Твои намерения насчет поездки в Петербург я уже, кажется, одобрил в письме своем от 27-го прошлого июля; только, пожалуйста, милая моя, не тащи меня с собой, я только стесню тебя; к тому же, осенью думаю виноградное леченье испробовать. Прости, целую тебя, мой друг. Сережу благословляю и остаюсь почтительный друг и муж твой

Иван Чалыгин.

ГЛАВА II

Из двух вышеприведенных писем моего батюшки я решительно не могу составить себе никакого определенного понятия о его характере. В них есть только одно — черты той эпохи, о которой мы знаем по преданию.

«Свежо предание, а верится с трудом». Детство мое также стало для меня преданием и, как мне кажется, не лишено некоторой поэзии. Передам вам только те впечатления и образы, которые сохранились в моей памяти.

Мать моя, воротившись в Петербург, наняла большую квартиру, окнами на Мойку. Мне, ребенку, казалась она целым миром. Пяти-шестилетний мальчик, я не смел слишком далеко забираться в задние комнаты. В детской я обедал возле няни, играл на ковре и спал. Раннее путешествие мое по Европе не сделало меня европейцем: я помню себя мальчуганом пугливым и диким, как лесной зверек. Редко вбегал я в гостиную — и убегал из залы всякий раз, когда слышал шум в передней.

Откуда вдруг появилась во мне такая боязливая дикость — тогда как в первые годы моего ребячества я ничего не видал от людей, кроме баловства да ласки,— не знаю; люди не успели напугать меня; но чтоб решить этот вопрос, надо помнить ясно не только первые свои впечатления, но и те первоначальные сны, которые для нашего младенчествующего сознания не всегда ясно отделяются от явлений мира действительного. Я все чего-то боялся, и не столько стен, сколько незнакомых мне людей, которых я беспрестанно встречал совершенно для меня неожиданно; в особенности пугал меня один старичок, с красным лицом, с маленькими, серенькими глазками, с ястребиным носом и до того молчаливый, что я никогда не слыхал его голоса; он говорил как будто взорами и жестами, и все его как будто понимали, а я убегал и прятался. Какой-то высокий господин, длинный как бревно, с темно-желтым лицом, с большим ртом и с большим бантом на галстуке (повязанном à la Byron), также иногда встречал меня в гостиной холодным взглядом черных неприветливых глаз,— и я также почему-то не любил его. Много приезжало к нам военных, завитых и перетянутых в рюмочку. Проходя по зале, они гремели саблями, останавливались перед зеркалом поправить свои кудри и, спасибо им, очень мало обращали на меня внимания. Я же поглядывал на них не иначе, как из коридора. Одним словом, я боялся гостей моей матери, и, спасибо ей, она не старалась переделать меня в светского мальчика. Зато я так любил ее, так любил! Поздно ночью, возвращаясь из гостей, она почти всегда заходила в детскую посмотреть, здоров ли ее маленький дикарь, и благословить его. И как часто я не спал далеко за полночь, вслушиваясь в каждый звук, в каждый шорох, раздающийся в пустых комнатах. Я как благодати ждал ее возвращения: вот, чудилось мне, наша карета скрипит колесами по снегу и подъезжает к крыльцу... нет — проехала мимо... это не наша карета... вот, кто-то в передней как будто позвонил или стукнул дверью... Что же это мама не едет!.. Лают собаки... бьют часы... вот уже и двенадцать пробило...

а ее все нет как нет! И вот, наконец, весь вздрагивая и волнуясь, я откидываю полог у своей постельки, по коридору слышится шорох скорых и легких шагов ее, шорох, похожий на шум тяжелого атласа, а за ней тяжелые шаги ее полусонной горничной.— Зайдет ли она перекрестить меня? — И вот, при свете лампадки, она осторожно отворяет в детскую дверь и, вея свежим водухом, подходит ко мне, наклоняет свою голову,— и я, повиснув на ее шее, торопливо и жадно осыпаю поцелуями лицо ее.

После каждого такого ночного посещения я засыпал сладко и крепко, как бы вполне удовлетворенный, вполне счастливый. Мать моя была недурна собой, а для меня она была тогда первой в мире красавицей. Я помню ее черные пахучие локоны, черные, длинные ресницы и выразительные темные глаза, которые глядели на меня то строго и задумчиво, то ласково и весело. Портрет г-жи Сталь[4] мне почему-то напоминает мать мою. В особенности помню ее голос и бледно-трепетные руки. Она была музыкантшей, играла на клавикордах и пела.

Зимой, раз в неделю, у нас собирались гости. Я, разумеется, при этом целый вечер не выходил из своей комнаты, изредка только выглядывал из коридора в залу, и когда замечал в толпе гостей чьи-нибудь глаза, направленные в мою сторону, или лакея, подходящего с подносом к дверям, как уже сломя голову бежал к себе на ковер в детскую или прятался в угол. В эти дни, перед тем, как ложиться спать, няня Аграфена брала меня за руку и тащила к маме проститься с ней, то есть поцеловать ей ручку и пожелать доброй ночи. Я упирался на пороге детской, упирался в коридоре, и тогда Аграфена начинала стыдить меня, и каждая горничная, каждый мимо проходящий камердинер также в свою очередь считали своею обязанностию стыдить меня. Но мои упиранья продолжались только до порога залы. Когда же случалось, что няня перетянет меня через этот порог, я вдруг покорялся, делался шелковым, бочком шел мимо гостей какими-то неестественными, торопливо-маленькими шагами, косился и глядел гостям под ноги. Шпоры, лампасы, кончики шпаг, фалды, все это мелькало мимо меня точно в каком-то пестром сновидении; говор гостей смутно отдавался в ушах моих; те, которые мимоходом брали меня за плечо, заставляли меня всем телом вздрагивать. Помню, что моя мать в эти вечера по большей части была окружена мужчинами — дамы почему-то редко появлялись в ее обществе. Помню, что в эти ненавистные для меня вечера она редко после ужина заходила в детскую, и я напрасно с беспо-

койством, с томительным нетерпением, лежа в постели, ожидал ее. Далеко за полночь, с напряжением я слушал, как в столовой стучат ножами и вилками, как ходят и говорят в буфете, как звенит где-то стекло, как сквозь глухой, отдаленный говор вдруг раздадутся какие-то струнные звуки, все смолкнет, и голос моей матери, звучный и страстный, пронесется как эхо, замирая на самых тонких, издали неслышных нотках. Как, наконец, все начинают расходиться, надевать сабли, хлопать дверями из залы в переднюю, то как будто хохотать, громко хохотать, то как будто спорить, горячиться, потом стучать калошами. Чуткий детский слух мой выучился различать все малейшие отголоски, отзвуки и шорохи этих вечеров, для меня в это время совершенно непонятных, даже каких-то фантастических.

Едва ли поверит читатель, что я, будучи семи лет, был тайным свидетелем какого-то тайного совещания, которое происходило чуть ли не в квартире моей матери.

Я не помню никаких подробностей, помню только, что в один поздний зимний вечер я очутился в какой-то темной комнате. Увидел светлую точку в замочной скважине и одним глазком приложился к ней. Кажется, в этот вечер дома никого не было. Няня легла отдохнуть и заснула. Мальчик, кажется, крестник няни, который строил со мной карточные домики, вышел, сказав, что сейчас вернется, и пропал. Кажется, что, не дождавшись его, я решился идти его отыскивать, хотел попасть в девичью и попал в незнакомую мне темную комнату, уставленную шкапами, сундуками и картонками.

Приложившись глазом к замочной скважине, я увидел довольно большую комнату и посреди ее длинный стол, покрытый сукном и установленный зажженными канделябрами. Вокруг стола сидели какие-то фигуры, из которых некоторые показались мне знакомыми. Сидящие говорили шепотом, и я до сих пор нахожусь в недоумении, действительно ли это было или мне это только показалось — что кто-то стоял на столе с бумагою в руках и читал. Как раз против замочной скважины сидел какой-то толстый, лысый, но еще молодой генерал; сидел он в мундире нараспашку, одной рукой облокотясь на стол и, приподняв широкое, выразительное лицо, внимательно глядел на чтеца большими, грустными глазами; другая же рука его держала бокал с шампанским.

Помню, поднялся какой-то глухой шум. Все встали и подняли руки... Что это такое было, мне никто никогда растолковать не мог. Полагаю, что в этом собрании не было

моей матери; она приехала домой очень поздно и сейчас же подошла к моей постели.

— Отчего ты не спишь? — спросила она меня.

— Милая мама,— сказал я ей,— какую штуку я видел без тебя...— И я рассказал ей детским языком всю штуку, которую я видел. Помню, обнимавшие меня руки ее затрепетали; в глазах ее, освещенных лампадным сиянием, отразилась тревога.

— Ты это все во сне видел,— сказала она.

— Нет, ей-богу, не во сне...

— Хорошо, не божись; если не во сне, покажи мне это в другое время, тогда поверю; а впрочем, та комната, которую ты видел, не наша. Это другая, соседняя с нами квартира. Может быть, там был какой-нибудь ужин. Это пустяки, об этом и говорить нечего. Перекрестись и спи себе.

Последние слова произнесла она, как будто рассердившись на меня, и вышла. Помню, как мне вдруг после этого сделалось грустно и как в эту ночь в доме все слышалось мне, что кто-то где-то говорит и кто-то ходит. Я заснул со слезинками на глазах, а через несколько дней совершенно забыл об этом приключении. Мама же, как кажется, и постаралась о том, чтоб я забыл о нем. Она накупила мне новых игрушек и привезла мне азбуку с картинками.

ГЛАВА III

Трудно ладить мне с моими детскими воспоминаниями; они выплывают из темной пучины прошлого на поверхность моего настоящего, как те светлые, радужные пузырьки, которые образуют пену и уносятся волнами и ветром: я стараюсь поймать их, прежде чем они лопнут и сольются с воздухом.

Не требуйте от меня последовательности. Погружаясь в детство, я утрачиваю способность ясно понимать, что тогда было *прежде*, что было *после*. Остается только догадываться. Так, например, одно лето я провел где-то на даче, окруженной соснами. Помню кучу песку за нашим крылечком, качели в саду, черную косматую дворняжку и, наконец, по соседству, какой-то фейерверк с лопавшимися в темном воздухе ракетами; помню кабриолет моей матери и маленькую белую лошадку; но не помню, чтоб в это лето сидела около меня девушка лет пятнадцати, с блестящими карими глазками, с востреньким носиком, с розовыми пальчиками и такими же румяными локотками, с чулком в руках

или с тетрадкой на коленях. А если я этого не помню, то и заключаю, что лето, проведенное мною в городе, было позднее лета, проведенного на даче.

На котором году моей жизни и куда именно уезжала моя мама на целые четыре месяца, я не знаю. Вокруг моей детской совершалось много для меня непонятного,— быть может, целые романы и драмы проходили у меня под носом, и из них только несколько ничем не связанных, неосмысленных сцен уцелело в моей памяти. И я должен записать их, во-первых, потому, что пишу рассказ этот без всяких претензий на художественность, и потому, во-вторых, что впечатления детства не остались без влияния на характер мой.

Итак, в тот год, когда уезжала куда-то мама моя, мы не нанимали дачи, а оставались в городе. Окна в наших парадных комнатах были забелены, и большие бронзовые часы были завешены.

Помню, как я заглядывал в пустую спальню моей матери: там было тихо и темно, и как теперь вижу, тяжелые гардины были спущены... Большая двуспальная кровать с позолоченными стрелами на кольцах, ввинченных в потолок, стояла без продетого в них полога; только перед киотом горела лампадка; ее каждое утро приходила зажигать, подливать масла и поправлять светильню старушка Константиновна, доканчивающая век свой на большом сундуке, в каморке, около кухни,— существо копотливое, но, по-видимому, уже отрешившееся от мира сего. Наш дом был именно тот мир, за пределами которого она ничего, кроме церкви, не знала, и в этом мире ничто уже не занимало ее,— одна только лампадка в спальне матери моей составляла особенный предмет ее повседневной заботливости. Она была нянюшкой моего отца, с детства видела те образа, которые сияли за стеклами киота, всю жизнь молилась им и только им осталась верна во дни своей глубочайшей старости. Казалось, менее моего она знала, что происходит в доме,— и не интересовалась ни моими играми, ни моим первоначальным воспитанием; но я слышал, что десять лет тому назад старая няня любила во все вмешиваться и ее боялись. Не знаю, как прошла жизнь ее; но какие обстоятельства заставили ее вдруг охладеть к моей матери, ко мне и ко всему, что происходило в доме, догадываюсь.

Перекрестившись на образ, я перехожу в уборную, ложусь на пол, обитый войлоком и зеленым сукном, гляжусь в длинное, запыленное, до самого пола доходящее зеркало, задаю себе какой-то нелепый вопрос вроде следующего: могу ли я сделаться невидимкой? или, подползая к зеркалу,

целуюсь с своим собственным отражением. Потом я мечтаю...

Тяжелый экипаж катится по улице. От сотрясения стен люстра с хрустальными подвесками издает тихий, хрустальный звон,— и вот, я смутно припоминаю, что так точно звенела эта люстра в тот зимний вечер, когда я впервые увидал мою маму в черной атласной маске и так испугался, так страшно закричал, таким диким, нечеловеческим голосом, что испугал мать мою. Она сбросила маску и взволнованная, бледная схватила меня на руки и принялась меня успокоивать своим трогательно-нежным голосом и всеми своими незабвенными ласками. В это же лето пришло к нам в дом известие о кончине моего батюшки.

Люди шептались, говорили намеками, и я помню, как сжалось мое сердце и как мне вдруг стало страшно, когда какая-то старушка-кумушка назвала меня *горьким сиротинушкой.*

«Умер папа, умер!» — думал я и, не чувствуя никакой особенной грусти, по той простой причине, что почти и не видал виновника дней моих, я преувеличивал смысл этого события и, помню, всем говорил, при всяком удобном случае: «А знаете ли, что?.. у меня ведь за границей папаша умер!»

Мне казалось, что слышавшие меня неравнодушно принимали это известие, даже восклицали: «Ах ты, господи! Неужели! Ба-а-тюшки вы мои!..», и это мне почему-то очень нравилось...

Не оттого ли нравилось, что это была первая новость, которая, исходя из уст моих, заставляла людей поднимать брови, всплескивать руками, восклицать, качать головой и обращаться к другим с разными расспросами.

Мне даже казалось, что смерть такое редкое, необычайное и, стало быть, до такой степени удивительное явление, что говорить о чьей-нибудь смерти — значит быть интересным в высшей степени. Я еще никогда не видал мертвых, и в моей жизни едва ли не в первый раз слышал о человеке, переставшем существовать. Этот человек был мой отец; но виноват ли я, что больше удивлялся его смерти, чем плакал?

Няне моей также, должно быть, нравились новое траурное платье и белый чепец, который она на себя примерила. Ей было не более тридцати или тридцати пяти лет; уже на лбу ее были маленькие, перекрещивающиеся морщинки, но пухлые щеки ее еще сохраняли румянец, и этот румянец сливался с маленькими веснушками, разбросанными по всему широкому, пухло-белому лицу ее; на этом лице серые глазки были точно кавычки; из-за полных щек выглядывал

скромный носик. Я помню, как съеживался алый ротик ее, когда она что-нибудь работала или подходила к зеркалу, и как он приятно раздвигался или растягивался, показывая белые зубы, когда она смеялась, а подбородок ее отделялся от полной шеи ровными складками.

Няня моя еще возбуждала страсти, несмотря на то, что была не в первой поре молодости; кажется, наш лакей Семен был неравнодушен к ней; бывало, придет, отворит дверь в детскую, стоит на пороге и смотрит.

Няня шьет и не смотрит, только спросит, бывало, вполголоса:

— Ну, что стоишь?

— Да, я так, постоять пришел.

— Что стоять-то, ничего не выстоишь.

— Ну, прощайте,— говорил, вздыхая, Семен, тихонько затворял за собой дверь и так же тихонько удалялся в переднюю.

Няня моя, коломенская мещанка, была баба добрая, но с наклонностью к суеверию и к кокетству. Я ее мало боялся, но не любил, когда она сердится, а она-таки была сердита и вспыльчива — иногда щипалась.

Вот, представляется мне, сидит моя няня на скамеечке и вяжет шерстяную фуфайку. Заплывшие глазки ее превратились в две неровные черточки, губки съежились и немного выгнулись вперед, как бы для поцелуя, розовые щеки слегка отвисли.

Я сижу против нее на другой скамеечке, держу в руке клубок, слежу за длинными, деревянными спицами и, наблюдая за головою ее, которая принимает такое очевидное участие в каждом поддевании каждой петли, сижу и слушаю.

А няня собирается подать на меня жалобу.

Она припоминает мне все мои капризы, все мои шалости, все, что я сломал, все, что я разбил, и говорит:

— Все это, голубчик ты мой, я передам, непременно передам твоей маменьке, пусть она делает с тобой что хочет.

— А что она со мной сделает?

— А вот сам увидишь...

Эта неопределенность ответа меня тревожит. Скажи мне она, что мама меня высечет, я не поверил бы ей, а то... что такое она со мной сделает?

— Ну, что она сделает?

— А вот увидишь...

Я сперва задумываюсь, потом лезу на шею к моей няне — целоваться, как будто чего-то струсил, и начинаю подличать.

— Эх ты, господи! — вскрикивает Аграфена, сморщив

лоб свой,— сиди смирно, на иглу наскочишь, глаз выколю, ну, куда ты лезешь? Баловень! Сиди!

Я опять сажусь на скамеечку.

— Ну, хорошо,— говорю я, отложив раскаяние в сторону,— ты на меня наябедничаешь, а Юлия Антоновна за меня заступится.

— Дожидайся! Вишь ты, кавалер какой! Где азбука-то? ты ее куда девал?.. Может, и заступилась бы, кабы ты хорошо учился да слушался, а то приедет мама, ну, спросит, сынок, выучился читать? прочти-ка, скажет, я послушаю...

Как ни страстно любил я мать мою, но я скоро привык к ее отсутствию. Сначала я плакал, потом скучал, потом стал думать о ней все реже и реже и, наконец, в сентябре ожидал ее возвращения не без некоторой робости.

Вообще дети редко бывают постоянными; дети же с пылким сердцем еще реже бывают постоянными. В отсутствии моей матери я всем сердцем привязался к ее воспитаннице — Юлиньке Десарт. Француженка по происхождению, она первая научила меня русской азбуке. Отец ее, называвший себя эмигрантом, круглолицый и гладко выбритый старик, в очках и с лоснящейся лысиной, был учителем французского языка в одном из самых новомодных в то время пансионов. В этот пансион каждое утро ходила Юлинька. В будни она возвращалась обедать домой, к нам, а по праздникам уходила к отцу и оставалась у него до самого вечера. В эти праздничные вечера я с таким же трепетным нетерпением дожидался ее возвращения, с каким ожидал когда-то вечерних посещений моей матери.

После вышеприведенного разговора с няней я чувствую потребность в утешении и отправляюсь в комнату к Юлиньке.

Она уже с час как воротилась из пансиона и сидит у себя на том же пригретом ею местечке, а именно в уголку, на старом полосатом диване; ножки у нее поджаты, и ее пыльного цвета ботинок не видать из-под коричневой юбочки. В руках у нее начатый чулок; она вяжет, вяжет проворнее няни, но не мотает головой, а сидит, вытянувшись, как струнка. Опустив ресницы в колени, смотрит она в раскрытую тетрадку и долбит урок свой,— она долбит его, так же как и вяжет, проворно, десять раз сряду повторяя вслух одно и то же слово, одну и ту же фразу, своим однообразно-тихим голоском. Голосок этот сыплется, приостанавливается и опять сыплется... Редкий день я не заставал ее на этом диване.

Едва я вошел к ней, как она заговорила:

— Сережа! спроси меня...— и сунула мне в руку тетрадь свою, написанную по линейкам, довольно крупным, но красивым и четким почерком.

— Да я... я не умею спрашивать.

— Как не умеешь! очень просто! очень просто! На, держи тетрадку, вот так, и стой здесь, вот эдак; чтоб мне не было видно, понимаешь? а то я стану заглядывать. Вот так. Ну, слушай...

La cigale ayant chanté
Tout l'été...[5]*

И пошла, и пошла до самого конца. Я машинально гляжу в тетрадь и ничего не понимаю. Она велела мне перевернуть страницу — я перевернул. Она начала другую басню, запнулась, потерла себе переносицу, тряхнула чулком и опять вспомнила, и опять тоненький голосок ее посыпался, пока не высыпал всех слов, ею вызубренных.

— Кажется, знаю! — сказала она весело и, сидя на том же месте, начала подпрыгивать, точно куколка на пружинах.

Помню, после, всякий раз, когда она таким образом, сидя с тетрадкой, начинала подпрыгивать, я уже понимал, что это значит,— это значит: знаю урок мой, знаю! знаю! вызубрила! вызубрила!!

— Ну, теперь,— сказала Юлинька, как бы переводя дух,— теперь надо приняться за мифологию.

— А что такое мифология?

— Мифология... это... это... нам диктуют о богах и богинях.

— О каких богах?

— О всяких. Знаешь ты, например, чей сын Купидон? Знаешь, эдакий мраморный или фарфоровый мальчик с крылышками и со стрелой?

— Чей он сын?

— Не знаешь? Он сын Венеры. Теперь ты понимаешь, что значит мифология?

— Понимаю.

— Ну, хорошо, положи эту тетрадку на окно... Да, пожалуйста, не запачкай.

— А когда же я-то буду учиться?

— А принеси скорей азбуку... мне еще самой... Ах! надо самой к завтрему два урока выучить... Прошла наша ваканция!

---

* Кузнечик пел все лето *(фр.)*.

— А что такое ваканция?

— Vacance! * Поступив в пансион, будешь знать, что такое ваканция!

«Ваканция,— думаю я про себя,— это, верно, мадам, содержательница пансиона. Если она прошла мимо нашего дома, то, вероятно, с умыслом прошла. Ей хочется, чтоб я поступил к ней в пансион».

— Как не так! — говорю я, сообразивши,— стану я к вам в пансион поступать, что я за девочка!

— Там у нас есть и мальчики.

— Ну, мальчики, какие-нибудь дураки...

— Нет, умнее тебя, читают так, что чудо! та... та... та... тррр... так читают!

Я подумал: чтобы быть умным, надо только читать уметь... и мне захотелось быть умным, разумеется, умным в глазах хорошенькой Юлиньки.

— Я небось не хуже их...— сказал я.

— Ну, если не хуже, неси скорей азбуку,— да скорей! — а не то мне некогда...

И я пошел искать мою заброшенную азбуку.

Так шутя выучился я грамоте, по милости этой милой девушки.

Отец ее, Антон Карлович Десарт, в неделю раз или два навещал дочь свою. Он, солидно откашливаясь, медленными шагами по коридору проходил в ее комнатку, и, когда она целовала его левую руку, он правой рукой дотрогивался до головы ее, как бы благословляя, и постоянно по-французски прочитывал ей какое-нибудь наставление. Так казалось мне, судя по наставническому тону его голоса и серьезному выражению лица его.

Но едва только плешивое, круглое, круглыми очками оседланное лицо его появлялось в моей детской — совершалось чудо: вся его солидность превращалась в подобострастное за мной ухаживанье — чего-чего ни делал он, чтоб заслужить любовь! Каких смешных гримас, каких нежных слов не употреблял!

— Душечка! Серж! Mon petit ami! Сережа, mon petit плютишка! mon enfant! ** и — проч. и проч.

Он то щекотал меня двумя пальцами, то, сняв очки, сажал меня верхом к себе на спину и начинал со мной галопировать по комнате, к немалой досаде моей щепетильной нянюшки.

---

* Каникулы *(фр.)*.

** Мой маленький друг... мой маленький... мой ребенок *(фр.)*.

Я был очень доволен моим сутулым коньком; конек был, очевидно, доволен мной, потому что смеялся, кричал: «Allons! Ну-ну! Allons, monsieur chevalier!» * Вот как!

И с этим словом, утомившись, он ставил меня на стол или спускал на пол.

Потом вынимал клетчатый, табаком выпачканный платок, отыскивал чистый кончик и начинал вытирать им розовый лоб свой, покрытый каплями пота.

Или же вынимал серебряную табакерку и, для освежения головы, начинал нюхать табак, сперва левой ноздрей, прищуря левый глаз, потом правой ноздрей, прищуря правый глаз; при этом, чтобы не засыпать белой манишки, он вытягивал вперед голову и расставлял ноги; иногда чихал, и так громко, что я вздрагивал и хохотал, а он говорил мне: «Здравствуйте!»

На это моя няня раз заметила, что на всякое чиханье не наздравствуешься; старый француз ее не понял и, как кажется, обиделся.

ГЛАВА IV

К зиме воротилась мать моя. Было воскресное утро. Она неожиданно вошла ко мне в детскую. Я замер от радости, да еще от какого-то необъяснимого чувства, похожего на испуг.

Няня встала и отодвинула ногой скамейку; Юлинька, собиравшаяся в католическую церковь, с молитвенником в руке, присела и, вся раскрасневшись, отошла в сторонку. Я хотел что-то говорить, но мама наклонилась и стала целовать меня.

Я все вспомнил — и заплакал.

— Жюли! отчего же вы, моя милая дочка, не хотите поцеловать меня? — сказала мать. И Юлинька, как видно, не привыкшая ни к чьей родительской нежности, очутившись в объятиях моей матери, несмелыми руками обняла ее за талию.

Когда из экипажа перенесли все вещи, мама переоделась, потом приезд свой ознаменовала разного рода подарками. Мне был подарен маленький глобус, новая куртка да еще какая-то детская книжка, разумеется, французская, с двумя или тремя преплохими картинками; Юлинька получила портфель с разноцветными сургучами да еще с какими-то цветными листиками почтовой бумаги. Несмотря на все мое

* Вперед! Вперед, господин кавалер! (*фр.*)

расположение к этой девушке, я ей позавидовал,— до такой степени понравились мне разноцветные сургучики! Мне стало грустно; и я вообразил, что мама любит Юлиньку больше, чем меня. Но несмотря на то, что мне было не более восьми лет, я скрыл в себе это завистливое недовольство и продолжал то ходить, уцепившись за подол моей матери, то целовал ее руки.

Когда взрослые люди хотят очеркнуть характер какого-нибудь забывчивого или простодушного идеалиста или просто человека, мало заботящегося о своих личных интересах, без претензий и без зависти, они восклицают: «О, какой ребенок! какой он ребенок!»

«О! — восклицаю я,— как ошибаются эти взрослые! Настоящий ребенок есть величайший себялюбец — он все относит только к самому себе, на все глядит только по отношению к своей особе». Наблюдайте, и вы увидите, что дрянная кукла, им полученная в собственность, нередко для него дороже того, кто купил ее на свой последний грош для того только, чтоб доставить ему минутное развлечение. Ребенок почти всегда завистлив и привязывается только к тем, кто развивает в нем тщеславие или потакает его дурным наклонностям; одним словом, взрослые эгоисты, устарелые честолюбцы и сластолюбцы, никого не любящие, кроме себя и своих,— вот настоящие дети. Чтоб вполне развитому и мыслящему человеку дойти опять до ребяческого себялюбия — ему нужно дожить до той дряхлости, которая перед дверями гроба играет в куклы.

По-моему, воспитывать — значит постепенно отучать ребенка быть ребенком, то есть приучать его думать о других и вывести его из узкой сферы эгоистического самодовольства и самообожания, дабы позднее, в лета зрелого мужества, его дом, его семья или его контора не показались ему целым миром, за пределами которого нет и не может быть ничего достойного его внимания, его любви и самоотвержения.

Не знаю, кстати или некстати я выразил, то есть поместил на этой странице мысль мою. Но что делать! она пришла в голову под обаянием кой-каких, по-видимому, самых чистых и светлых воспоминаний.

Все наши люди также получили подарки и, подобно детям, подобно мне, были недовольны и друг другу завидовали; так, кажется, и няня моя, получившая капор, не без зависти пощупала и похвалила шерстяной платок, которым мать моя покрыла спящую на своем сундуке Константиновну.

Мать моя, как кажется, нисколько и не заботилась о том,

нравятся или не нравятся ее подарки. Часы радостного свидания, расспросов, поцелуев и прочих нежностей не могли продолжаться слишком долго для этой женщины, как видно, рожденной не для одного семейного счастия. Все мы, и даже я, скоро отошли для нее на второй и, быть может, даже на третий план; она села за письменный стол, и в тот же вечер множество ее записок было развезено по всем концам столицы.

И наконец, несмотря на траур, зимние вечера наши ожили по-прежнему.

Я убежден, что при всех своих недостатках и слабостях (я и не скрыл бы их, если б способен был в то время понять, в чем именно они заключались, и не скрою, если они сами собою обнаружатся — как факт, а не как мое собственное, личное мнение), я убежден, что мать моя была в свое время женщиной далеко не дюжинной. Ее не любили дамы, потому что она была выше многих предрассудков своего времени, обладая своеобразным, самостоятельным характером. Недаром же к ней беспрестанно заезжали люди, лучшие в ту эпоху. Не ясно ли, что она умела и понимать их, и сочувствовать им.

— Вот,— сказала она однажды, указывая на меня гостям своим,— вот вам мой мальчик; я уверена, когда он подрастет, вы не оставите его вашими советами. Сберегите его для лучших дней, разумеется, если только он будет достоин вашего покровительства.

Гости молча и выразительно на меня посмотрели.

Я отошел в угол и, когда все принялись опять разговаривать, решился исподтишка поглядеть на их физиономии. Молодой, лысый генерал с задумчивыми глазами обратил на себя мое особенное внимание,— и вдруг я живо вспомнил, что я видел его в замочную скважину в ночь таинственного заседания. Другие лица также показались мне как будто знакомыми; но я никак не мог припомнить, когда и где я видел их.

Юлинька, первая моя наставница в русской грамоте, была моей наставницей и в некоторой светскости.

По вечерам, когда собирались гости, она садилась в столовой за самовар, разливала чай, уставляла полными стаканами и чашками большие подносы и отправляла официантов разносить их по комнатам.

Я, разумеется, сначала садился поближе к локтям моей молоденькой наставницы, как бы не желая выходить из-под ее покровительства.

Помню, как она, подпершись локотком, клала на ладонь

свою перевитую косами и лентами голову и, казалось, погружалась в целое море невыразимо сладких ощущений — всякий раз, когда в зале смолкал шум гостей и раздавалась музыка. Мать моя иногда пела, иногда голос ее звучал под аккомпанемент гитары (гитара была тогда в моде, особливо у военных и у заезжих помещиков).

Пели то французские романсы, то русские: «Среди долины ровныя», например, или «Стонет сизый голубочек», или «Не дивитеся, друзья» и тому подобное.

К поэзии вообще, в особенности же к русским стихам, в то время наше общество не было взыскательно. Лучшими стихотворениями считались уже произведения Жуковского и Пушкина; но это еще не мешало никому отдавать справедливость и Хераскову [6], и Ив. Дмитриеву [7], и даже князю Долгорукову — автору книги, известной под заглавием: «Бытие сердца моего» [8].

Иногда подходил я к ломберным столам и заглядывал на руки играющих. Помню вечер, когда в первый раз я был свидетелем, как на одном из этих столов какой-то необыкновенно изящный господин, несмотря на свою бледность и всклокоченные волосы, метал банк, как сверкало на руке его бриллиантовое кольцо, как на зеленом сукне росла куча золота и ассигнаций и как, подбоченившись, пристально мать моя глядела ему в холодное лицо, как бы стараясь уловить в чертах его намек на ужас человека, стоящего над бездной. Помню, как поразила меня торжественность молчания, окружавшая банкомета, изредка прерывавшаяся словами: «Угол!», «На пе!», «Взяла!» — или всеобщим, тревожно сдержанным говором. У меня сильно билось и замирало сердце,— как будто я попал в тот заколдованный круг, из которого никто не может выйти тем, чем вошел, в тот круг, от которого будет отчасти зависеть и будущая судьба моя.

Я долго бы простоял на одном месте и все бы смотрел, ибо никогда еще не видал так много денег, и хотя, счастливец! я не мог еще понимать ни их цены, ни их значения в свете, но уже смутно почувствовал в них то могущество, которое заставляет всех этих господ бледнеть, не спать, приходить в явное отчаяние или облекаться в притворное равнодушие. Я долго бы еще простоял, но Юлинька поймала меня за руку и сказала:

— Сережа, иди спать! Пора!.. Не упрямься, голубчик мой, пойдем!

Я с минуту упрямился и не давал ей увести себя; уходя, я вспомнил, что не простился и не поцеловал руки у моей матери. Я оглянулся; но в эту минуту мать моя стояла у са-

мого стола, упирая палец в колоду карт и глядя на руки банкомета... Мне показалось, щеки ее горели ярким румянцем и в темных глазах был блеск, им несвойственный. Говорят, в эту ночь мать моя проиграла четыре тысячи — сущий вздор по мнению тогдашних, а может быть, и теперешних представителей великосветского общества.

Помню, как на другой день я достал карты, пришел к Юлиньке и сказал:

— Давайте в банк играть!

— В банк... ну, давай!.. Нет, не хочу: надо много иметь денег, чтоб играть в банк, а у тебя нет и у меня нет.

— А у моей мамы разве много денег?

— У твоей мамы?!. — Юлинька задумалась.— У твоей мамы — я не знаю; должно быть, много.

«Где же это? Много! Отчего же она нам не дает их?» — подумал я...

Самому не верится, когда вспомнишь, до какой степени я был наивен; я еще не только не думал о том, бедны мы или богаты, я воображал посреди своего детского уединения, что все живут так же, как мы, что у всех есть зеркала, и кареты, и лошади, и целая толпа прислужников, что иначе и быть не может.

Много было и чудаков в обществе моей матери, но я помню только тех, которые почему-то оставляли во мне неприятное впечатление... О двух из них я уже упоминал — и возвращаюсь к ним. Длинный черноволосый франт, с тяжелым взглядом, в золотых очках и с небрежно повязанным галстуком господин, некто Равинин — был одним из обычных посетителей моей матери. Он считался у молодежи одним из великих умников, чем-то вроде Мефистофеля, был язвителен, страшно самолюбив и настойчив, увлекал женщин, несмотря на свое четвероугольное лицо и на ту антипатию, которую внушал он им с первого взгляда. Он подсмеивался над стихами Жуковского и считал Пушкина чуть ли не дурачком, не лишенным, впрочем, кой-какого дарования.

Помню, как этот господин однажды вечером, как только замечал, что я гляжу на него, высовывал мне язык и как однажды он, поманивая пальцем, подозвал меня. Я подошел к нему не без робости.

— Поди,— сказал он мне,— к этому старичку,— вон там, видишь, рому в чай наливает,— поди к нему и скажи ему на ухо: «Шпион!»

Я весь съежился от такого необычайного приказания и, освободивши из-под руки его плечо свое, побежал в столовую под защиту Юлиньки.

Часто оказывалось, что мое место на стуле возле моей хорошенькой наставницы было занято. За ней уже волочились.

Я становился за ее стулом и сердито поглядывал на моих соперников, особливо на одного юного господина, по фамилии Набатова. Он был невысокого, очень невысокого роста молодой человек — красавчик небольших размеров. Он отличался не столько своею развязностью, сколько быстрыми переходами от этой развязности к какой-то молчаливой, покорной, чуть не стыдливой тихости. Девицы, в особенности дамы, его любили,— он был с ними игрив и шаловлив, как кошка. Мужчины на него косились, и при них он был робок, как заяц. Юлинька находила его *милым* — он это понимал и осыпал ее комплиментами.

— Вы,— сказал он ей однажды, не стесняясь моим присутствием,— вы моя маленькая богиня! У вас маленькая ножка...

Юлинька покраснела.

— Да, у вас маленькая ножка. Но я чувствую, как вы сильно наступили на мое бедное сердце,— как вы тяжелы, несмотря на всю вашу легкость... Ах, как вы тяжелы!..

Он вздохнул и с лукавой усмешкой покосил на нее слегка прищуренные глаза свои.

А Юлинька, выслушавши Набатова, поглядела на него с наивным (так, по крайней мере, мне помнится) удивлением.

Все, что говорил Набатов, в сущности, было пошло до последней степени, но он был мастер так непринужденно и так грациозно-шаловливо высказывать свои пошлости, что никто на него не сердился. Впрочем, в то время многое, что теперь могло бы показаться нам и пошлым, и сентиментальным, казалось... казалось чем-то совершенно иным — могло даже до слез трогать иных барынь или барышень.

Я стал подслушивать Набатова... и потом мысленно повторять и затверживать его фразы.

Старичок, на которого указывал мне Равинин, был тот самый старик, который отличался своим таинственным молчанием. Он постоянно садился в уголку у двери, ведущей в гостиную, и, к великой моей досаде, по-прежнему по целым часам не сводил с меня глаз своих.

Плотно остриженная голова его была с проседью и сбоку напоминала собой спинку ежа, свернувшегося клубочком. Лицо у него было маленькое, в красных угрях; да и сам он был невысок. Красный с горбинкою нос его и глазки, почти без бровей, придавали лицу его что-то ястребиное. Вместо

бровей у него были две шишки, которые отчасти лоснились, отчасти оттеняли лицо его. Нередко, проходя мимо, мать моя наклоняла к нему свои локоны и о чем-то говорила с ним; он редко отвечал; но, вместо ответа, лицо его озарялось чем-то вроде улыбки, то есть серые блестящие глазки уходили вглубь или в тень от выпуклости его черепа, рот растягивался в одну узенькую полосу (почти без губ), и около висков появлялись морщинки. Одет он был до чрезвычайности просто, но тяжелая, золотая цепь с тяжелыми печатями висела у него из-под жилетного кармана, и большой перстень сиял на указательном пальце; подле себя он всегда ставил или помещал у себя между колен трость с набалдашником, усеянным дорогими каменьями.

Я часто встречал его у нас в доме, знал, что зовут его Никитой Ивановичем, что он очень богат, принят в высшем обществе и не любит говорить иначе, как оставшись с кем-нибудь наедине, и то не всегда и не с каждым.

Впоследствии, как вы увидите, я коротко узнал его; пока ограничусь вышеприведенным легким очерком и назову его фамилию. Фамилия его была Нарышкин.

Между гостями моей матери, разумеется, бывали и литераторы.

Так, помню я, однажды был у нас и баснописец Крылов. Мне указала на него Юлинька и сказала: «Вон, видишь толстого этого, который ужинает около твоей мама,— это тот самый, который сочинил «Мартышка и Очки», «Осел и Соловей» и все те басни, которые ты выучил».

Я, не без недоверия к словам Юлиньки, обратил свое внимание на широкую спину и такой же широкий затылок нашей знаменитости. Он ел и пил за троих и, разумеется, не замечал моего удивления.

Ни разу еще мне не приходило в голову, что все печатное, прежде чем печатается, просто пишется,— как будто книги так же являются на свет божий, как листья на деревьях, сами собой. К тому же сочинители представлялись мне совершенно в другом виде. Я воображал их одетыми в классическую тогу или в итальянский, средневековой костюм, с венками на головах, и думал, что встретить поэта или сочинителя так же трудно, как увидеть льва, барса, крокодила или привидение.

Я не столько удивлялся басням, сколько в этот вечер удивлялся тому, что баснописец такой же, как и все, так же ест, пьет и окружен людьми, а не зверями и птицами.

Так постепенно, к концу следующей зимы, я привык к толпе — и лица, фигуры, замашки гостей наших стали мало-помалу занимать меня. Это было какое-то другое,

далеко не теперешнее общество: смесь екатерининских стариков с патриотами двенадцатого года — с офранцуженными *изгнателями* французов, крепостников с либерализмом тогдашнего покроя. Люди резче отличались друг от друга своими особенностями: дельцы глядели кулаками, от вельможи так и несло вельможеством, романтик не стыдился своего романтизма, и, с одной стороны, приходить в восторг от чего бы то ни было, было принято чуть ли не за признак высшего образования; с другой стороны, молчаливая сосредоточенность, даже мрачность имела свою особую привлекательность. Гусар считал своим долгом быть кутилой и сорить деньгами; юный аристократ, приехавший из-за границы, считал своей обязанностию говорить о гражданском долге или корчить разочарованного, прикидываться Чайльд-Гарольдом [9]. Жадно ловилась всякая литературная новость, и рукописные стихи ходили по рукам, прежде чем появлялись в печати. Быть героем, отличаться в чем бы то ни было, в кутеже, в карточной игре или в волокитстве, для всякого желающего не потеряться в обществе, казалось необходимостью! Как ни странны, как ни неестественны герои в повестях Марлинского [10],— их прототипы, такие же странные и неестественные, нередко попадались в этом полуфранцузском, полурусском обществе. Никто серьезно не знал, чего он хотел; но всякий, казалось, готовил себя к какому-то подвигу. Прежняя разнузданность нравов в столицах получала парижский лоск, и пустота жизни прикрывалась модным остроумием.

Может быть, я ошибаюсь, припоминая себе только круг моей матери и такие лица, такие характеры, о которых я ничего не говорю, потому что рассказ о них слишком далеко в сторону отвлек бы перо мое. Может быть, я и потому ошибаюсь, что такое мнение о тогдашнем, александровском обществе, я составил себе гораздо позднее, по одним догадкам и личным моим воспоминаниям.

ГЛАВА V

И выходит, что я невольно забежал вперед — вдруг перескочил от азбуки к басням Крылова, к классической тоге, к италиянскому костюму и к таким вообще понятиям, которые дались мне не вдруг, при помощи гравюр, подслушанных речей, отцовской библиотеки и моих первых наставников.

Кто же были мои первые наставники?

Старик Десарт, прикидываясь влюбленным в милого Сережу — «son ami et petit * плютишка», достиг своей цели. Мать моя, вероятно, тронулась бескорыстностью чувств его и согласилась на его предложение не более двух раз в неделю давать мне уроки французского языка или, по словам Десарта, слегка, так сказать, шутя, приучать меня к французскому языку и таким образом положить прочный фундамент всему моему будущему развитию.

Принимая во внимание необычайные любезности, расточаемые мне почтенным Антоном Карловичем, я без особенного ужаса согласился быть учеником его. Так, иная простодушная девица, не без некоторого конфуза, но и без особенного страха соглашается за несколько сказанных ей любезностей, за фунт конфект да за билет в оперу, отдать руку и сердце человеку, ей вовсе не знакомому. Таким девицам нередко приходилось плакать замужем. Так нередко и мне потом приходилось плакать за уроками Десарта.

Мало-помалу, с удивительным тактом, покидал мой француз роль моего баловника или забавника — стал *затягивать бразды* [11], по выражению Пушкина, и превратился наконец в неумолимо строгого учителя.

Это был учитель старого закала, воспитанный иезуитами; дисциплину ставил он в основание всякого учения и страх наказания в основание всякой дисциплины. Он до того довел меня, что я без сердечного трепета не мог слышать в коридоре приближающихся шагов его. На десятом уроке он уже приходил в азарт, горячился, осыпал табаком свою манишку и чуть-чуть было не схватил меня за ухо. Я уже видел, как потянулась и как с полудороги воротилась назад рука его. Этого было довольно для того, чтоб в глазах моих навернулись слезы.

Можете сами судить, что было на тридцатом и сороковом уроке. Необыкновенно способный шутя убеждать, он убедил мать мою, что без дисциплины ничего со мной не поделаешь, что я изорву книги, тетради залью чернилами, исстрогаю линейку перочинным ножом — наконец, буду ему грубить, если она не позволит ему слегка, иногда... самым осторожным и невинным образом потеребить меня за ухо.

Получивши это право, он им пользовался — уши мои до сих пор готовы покраснеть от одного воспоминания.

Десарт как истинный артист умел до бесконечности разнообразить это осторожное наказание. Но...

* его друг и маленький (*фр.*).

Перейду к другому моему наставнику и успокою на нем мое встревоженное воображение.

Этот другой был призван учить меня всем наукам, а именно: священной истории, русской грамматике, географии, латинскому языку и арифметике.

Я страшно струсил, когда в первый раз окинул глазами Василия Васильевича Глаголевского. Он вошел в синем потертом сюртуке с воротником, который, в виде хомута, лежал вокруг его шеи, повязанной клетчатым, чуть ли не носовым платком. Волосы его были у висков подстрижены и торчали на высоте обширного лба его в виде какого-то пушистого кустика. Говорил он с расстановкой, сиповатым басом и не знал, куда девать свои руки. Не знаю, какой смертный отрекомендовал его моей матери как хорошего учителя! Кто-то говорил мне, что этот смертный был сам председатель гражданской палаты, под начальство которого Глаголевский поступил на службу прямо из семинарии. Вероятно, отец его был духовником этого председателя и приходился сродни духовнику моей матери.

Долго, с чувством какого-то детского недоверия, поглядывал я на его плотное, словно в форму вылитое и в этой форме застывшее, лицо. Оно имело, однако ж, два движения, из которых одно выражало улыбку — и при этом некоторое довольство своим положением, другое выражало напряженность его соображений. Так, например, когда он соображал, где именно отметить мне ногтем в книге конец урока, на лбу его появлялись четыре складки и брови грозно сдвигались. На палец Глаголевского, с огромным, красным ногтем, я также долго посматривал с недоверием. Мне все казалось, что этот палец непременно рано или поздно сковырнет мне нос или глаз выколет. Но мои опасения на счет Глаголевского разрешились как-то сами собой. Насколько возненавидел я моего французского наставника, настолько привязался я к этому бурсаку — до такой степени привязался, что после уроков не пускал домой и чуть ли не целовал его.

Главная, оригинальная черта Глаголевского заключалась в том, что он ни во что не ставил разницу лет, которая была между нами. Вероятно, припоминая свою многоопытность в лета своего ребячества, он нисколько не церемонился, когда что-нибудь мне рассказывал, а к рассказам он любил примешивать такие двусмысленные подробности, которые, вероятно, сами собой появлялись в голове его, ради избытка игривой и в то же время довольно грязной фантазии. Некоторые из этих подробностей не могли не поразить ум мой своей загадочной новостью. У него был какой-то особенный

склад или букет речи, и все им рассказанное, как сказка, легко ложилось в моей памяти. Тон этих рассказов был до такой степени серьезен и убедителен, что не только я, но и моя няня, лакей Семен и парикмахер обратили особенное внимание на его красноречие и нередко, после уроков, до восьми часов вечера, разместившись кто у дверей, кто у стенки, внимали ему не без удовольствия и подчас вздыхали...

Никогда не забуду я, как наглядно рассказывал он нам историю о фараоне, о Иосифе Прекрасном и о жене Пентефрия.

Кроме рассказов из Библии, у него еще были другие, и, как десерт к концу обеда, он всегда приберегал их к концу вечера или к тому времени, когда Семен, приотворяя дверь в мою классную, притаивался в коридоре или входил старик Логин, а моя няня заваривала для Глаголевского свежего чаю в своем собственном чайнике и сама усердно подносила ему на подносе дымящийся стакан вместе с маленьким графинчиком рому.

Откуда, из каких четий Глаголевский почерпал свои россказни? — господь его ведает. Казалось, что он *досконально* был знаком с тем, что делается в преисподней, что он сам не раз видал, как сатана, сидя в аду, встречает грешников, как мучаются пастыри, блудницы, ябедники и мздоимцы, как душа наша, отделясь от тела, ходит по мытарствам и какие на своем пути встречает препятствия.

Для лубочных, символических изображений нельзя было бы и найти лучшего истолкователя.

Я, разумеется, верил каждому слову его, как неопровержимой истине.

Однажды, допив стакан чаю с ромом и опрокинув его на блюдечко, Глаголевский крякнул и, в назидание людям, рассказал о каком-то пустыннике, который спасался — спасался чуть ли не двадцать лет и — вдруг потерял всю свою святость, ибо не устоял от великого искушения: однажды ночью к нему в пещеру постучался бес, приявши на себя вид голой женщины, он впустил ее — и согрешил. Этот рассказ для моей невинной души был также чем-то вроде бесовского искушения. Целую ночь мерещилась мне эта проклятая голая женщина. Какой же это грех, думал я, увидать голую женщину? Господи, господи! спаси меня от такого страшного прегрешения!.. И помню, как с тех пор я стал поглядывать за моей няней, которая по ночам, а иногда и вечером, ложась спать, имела обыкновение зажигать свечу и искать блох... На эту охоту, до моего знакомства с Глаголевским, я не обращал никакого сколько-нибудь серьезного внимания.

Но не странно ли, когда я притворялся спящим и наблюдал за моей няней сквозь щелку полога, совесть за этот страшный грех меня нисколько не мучила. Я успокоивал ее тем, что няня не женщина, потому что она няня, потому что настоящие женщины блох никогда не ищут и потому что никакой бес не захочет превратиться в Аграфену. Вот Юлинька, например, о!.. это было бы страшно! Так успокоивал я мою совесть и по временам продолжал свои наблюдения.

Иногда Глаголевский заносил с собой сверток разных картинок, гравированных и литографированных, вырванных из книг или с явными признаками, что они были по всем углам прилеплены к стене клейстером и для клопов служили чем-то вроде спасительного прикрытия.

Я вполне убежден, что если б между этими картинками нашлась одна самого неприличного содержания, Глаголевский нисколько не стеснился бы показать ее мне как человеку, давно уже искусившемуся. Но все они, кроме купающейся Сусанны и подглядывающих за нею двух судей, были картинки очень скромные. Какие-то портреты греческих поэтов и философов, разные сцены из римской истории и тому подобное... Тут-то в первый раз я и услыхал слово *классический* поэт, классическая тога.

— Что такое классический? — спросил я у Глаголевского.

— А это такие философы и пииты, о которых упоминают в классах,— отвечал Глаголевский.

— Понимаю. А классическая тога?

— Это такая одежда, которую носили древние. А так как в некоторых классах семинарии или гимназии упоминают и о той одежде, в какую облекались греки или римляне, то и тога называется классической,— решил Глаголевский.

— Отчего на этих головах венки, а на этих нет венков?

— Оттого, что это пииты.

— А может ли быть поэт без венка?

— Нет, этого не бывает... Венчанный музами должен иметь венок.

— А могу я сделаться поэтом?

На это Глаголевский, усмехнувшись, ответил мне что-то по-латыни — вероятно: «Poetae nascuntur, oratores fiunt» *, но так как я его не понял, то и не ручаюсь, то ли он произнес; помню только, что после этой латинской фразы Глаголевский перешел к уроку и заставил меня проспрягать глагол «блюсти».

---

* Поэтами рождаются, ораторами становятся (*лат.*).

ГЛАВА VI

Прошел год; в этот год я выучил четыре правила арифметики, узнал кое-что из географии, прошел латинские склонения и почти всю «Священную историю». Но мои успехи во французском языке были еще очевиднее. Я стал говорить как маленький француз, но Антон Карлович по-прежнему рвал мне уши и оставался недоволен мной. Мне кажется, что если б я, девятилетний мальчик, стал писать по-французски не хуже Фенелона [12], то и тогда не угодил бы моему учителю и он продолжал бы жаловаться на меня вследствие принципа, что никогда учитель не должен показывать своему ученику, что он доволен им. Этого правила держался мой Десарт и всегда находил случай придираться к своим ученикам, чтоб не прошел в них страх, поддерживающий дисциплину.

И немудрено мне было выучиться по-французски: в нашей гостиной это был язык преобладающий.

Никогда не забуду я, в какое искреннее негодование приходил Антон Карлович всякий раз, когда дочь его, забывшись, начинала говорить со мной по-русски; он простить не мог Юлиньке знания этого языка; он убежден был и меня убеждал, что этот мужицкий язык не может быть принят ни в каком порядочном обществе. А бедная Юлинька сама была не рада, сама не знала, как выучилась она так хорошо болтать на этом мужицком или лакейском языке.

Воспитание ее началось не в аристократических салонах, а в девичьей, у богатой вдовы, княгини Малыгиной, которая взяла ее на свое попечение.

Но эта княгиня вдруг, к величайшему соблазну всего петербургского высшего общества, на пятидесятом году своей жизни вышла замуж за какого-то еще очень юного французика, подбитого ветерком и, вдобавок, самого темного происхождения. Этому юному птенцу буржуазной Франции, вероятно, понравились ее карманы, а ей, пожилой русской барыне, понравились его розовые щеки, черные усики и парижский выговор. Разумеется, новобрачные уехали в Париж, и, разумеется, Юлинька осталась на попечении дворовых. Отца ее в Петербурге не было, он жил в окрестностях Москвы, в имении князя Г... и занимался воспитанием детей его, мало помышляя о своей дочери, ибо уверен был, что она попала в богатый аристократический дом и, стало быть, до поры до времени не нуждается в его заботливости. К счастью Юлиньки, дворовые люди княгини Малыгиной были из числа порядочных. Правда, был между ними один пьянчуж-

ка, был даже один уличенный в покраже серебряной ложечки и выдранный за это в полиции; но в семье не без урода. Семейные дворовые люди были женаты на разных мастерицах и не допускали никакого слишком явного безобразия. Жена дворецкого начала учить Юлиньку шить и вязать, разумеется, с целью из ее проворных, переимчивых, маленьких ручек извлекать для себя как можно больше выгоды. Вот почему Юлинька и умела так отлично вязать чулки, выводить стрелки и округлять пятки, что в нашем доме, у наших дворовых женщин и девок прослыла чем-то вроде чулочного гения.

Княгиня Малыгина (почему-то и замужем не переменившая своей фамилии и оставившая ее на всех своих визитных карточках) года через два или три воротилась в Петербург, разумеется, без мужа, но с расстроенными финансами, с горьким в душе разочарованием и с новой воспитанницей, девочкой лет пяти или около.

Злые языки поговаривали, что эта воспитанница была не что иное, как побочная дочь ее, когда-то тайно покинутая ею в Швейцарии на руках какой-то кормилицы. Я ни слова не упомянул бы об этих слухах, если б вновь привезенная девочка не заняла в сердце княгини так много места, что не нашлось уже в нем ни малейшего уголка для бедной Юлиньки. Наша девочка так и осталась в задних комнатах, с детьми прислуги, под надзором дворничихи. Изредка только призывали ее в залу играть с новой барышней, то есть ублажать ее всеми зависящими от нее играми.

Детей дворничихи учил грамоте какой-то отставной писарь, один из ее племянников, и совершенно нечаянно выучил Юлиньку читать по-русски. Юлинька была ко всему прилежна и так занята, что ни разу не пришло ей в голову подумать о своем, так сказать, унизительном положении; холодность княгини нисколько ее не печалила; капризы ее дочки нисколько не тревожили; с детства был у нее характер ровный и со всеми уживчивый.

Антон Карлович Десарт, набив карман плодами своих учительских подвигов, воротился в Петербург, огляделся, стал посещать княгиню Малыгину и вникать; наконец вник во все и пришел в ужас и негодование от того пренебрежения, в каком находилась дочь его.

Раз прибежал он к моей матери и в самых ужасных красках изобразил положение своей дочери.

— Мое дитя гибнет! гибнет! — восклицал он.— Княгиня готовит ее себе в горничные, люди развращают... У меня одна комната, я пока нанимаю одну chambre-garnie, я не

могу взять к себе мою бедную Юлию... Что мне делать? — Que faire? *

Мать моя, тронутая до глубины души, на другой же день поехала к княгине Малыгиной.

Княгиня очень была рада видеть мать мою, наговорила ей тысячу комплиментов, но сказала между прочим: «Не понимаю, чего этот француз от меня хочет? Я кормлю, одеваю и обуваю дочь его. Когда подрастет моя Зизи, я найму англичанку, и немку, и что хотите,— тогда и Жюли может учиться для компании. Чего же ему? Chère madame Tchaliguine! ** от этих французов я ничего не жду, кроме самой черной неблагодарности. Если же вы принимаете в дочери этого учителя такое участие, то кто вам мешает взять ее на свое попечение?»

Мать моя, воротившись домой, написала письмо к Десарту. В ответ на это письмо Десарт привез к нам Юлиньку. Так с тех пор и поселилась у нас эта милая девушка.

Ей было уже двенадцать лет, когда мне было семь; она уже ходила в пансион и училась мифологии, а я только что принимался за азбуку и строил на ее переплете карточные домики. Ей не было еще и шестнадцати лет, как я уже был влюблен в нее и даже ревновал ее к Набатову.

Раз я спросил ее, пойдет ли она за меня замуж, когда я вырасту?

— А чем ты будешь, когда вырастешь?

— Гусаром.

— Ну, так я за тебя замуж не пойду.

— Отчего?

— Да так.

— Отчего?..— пристал я к Юлиньке.

— Да оттого, что все гусары забулдыги.

Это меня озадачило.

В сущности, я вовсе не мечтал о том, чтоб быть гусаром, но гусарский мундир мне нравился, и я вообразил, что в этом мундире я непременно понравлюсь Юлиньке.

— Нет, я не буду гусаром. Я... я.. вы еще и не подозреваете, чем я хочу быть.

— Чем?

— Я пойду в монастырь и приму ангельский чин, сделаюсь схимником; я, быть может, уйду в лес, выросю себе пещеру и буду спасаться,— тогда приходите ко мне, я бла-

---

* Меблированную комнату... Что делать? *(фр.)*

** Дорогая мадам Чалыгина! *(фр.)*

гословлю вас. Если же вы будете больны, я сделаю чудо, и бог пошлет вам исцеление.

Юлинька поглядела на меня как на сумасшедшего и засмеялась. Это также меня озадачило.

— Или нет, Юлинька, я тогда только постригусь, когда вы мне измените или не пойдете за меня замуж. Лучше я сделаюсь артистом, поеду в Италию, напишу картину, такую картину, какой еще никто никогда не писал. Я непременно хочу чем-нибудь прославиться, или буду Рафаэлем, или Мильтоном, который «Потерянный Рай» [13] написал, или — я не знаю чем... Иногда мне воображается, что я стою на облаках и созерцаю бога; иногда мне кажется, что я великий художник,— мне хочется непременно сделаться великим художником или артистом, хоть музыкантом, потому что вы любите музыку.

Так говорил я Юлиньке, и — даже говорил все это не без внутреннего волнения.

Я уже знал в то время наизусть оду Державина «Бог» и множество басен Хемницера [14] и Крылова, по-французски прочел «Телемака», «Аталя» [15], «Paul et Virginie» [16]* и еще кое-что. По-русски прочел «Кадма и Гармонию» [17], повести Жанлис в переводе Карамзина [18], чей-то перевод Мильтона «Потерянный Рай», прочел чье-то жизнеописание великих художников да еще вдобавок наслушался Глаголевского.

Однажды, спустя много недель, а может быть, и месяцев после моего неудачного сватовства, я заметил у Юлиньки одну синенькую тетрадку, в которую она что-то списывала из другой тетрадки. Я не обратил бы на эту переписку никакого внимания, если б всякий раз, когда я входил к ней, Юлинька с удивительным проворством не прятала в стол свою рукопись.

— Покажите...— просил я.

— Не покажу.

— Да что это такое. Пожалуйста, покажите!

— Много будешь знать, скоро состаришься.

Мне вообразилось, что в этой тетрадке заключается что-то в высшей степени для меня интересное...

Я заметил, куда она прячет эту тетрадку, и, когда Юлинька ушла к отцу, забрался в ее комнату, отворил ее шкапчик, присел на корточки, порылся в тетрадках, лежащих на нижней полке, и, как вор, затворив шкап, побежал

---

* «Поль и Виргиния» *(фр.)*.

к себе в детскую: у меня в руках была добыча, синяя тетрадка Юлиньки.

«А, стихи! верно, любовные!» — подумал я и перешел в гостиную, чтобы прочесть их, лежа на диване, так, чтобы из-за овального стола не было видно, что я делаю. Это были стихи Пушкина: отрывок из «Руслана и Людмилы», «Братья разбойники», «Черная шаль» и другие.

Пушкин только что входил в славу. Имя его громко пронеслось по всей Руси великой, но не все осмеливались вслух читать его. В гимназиях и пансионах, между тогдашними педагогами, Пушкин почему-то считался поэтом безнравственным — вообще не таким, чтоб можно было позволять читать его детям или молоденьким девушкам. Иные ставили его далеко ниже Державина. Были и такие мудрецы, что в появлении стихов его видели упадок русской поэзии. Мой учитель Глаголевский также раз выразился о нем, как о легком виршеслагателе.

Не знаю, насколько душа Юлиньки откликнулась на звуки новой, неслыханной на Руси лиры; что касается до меня — я никогда не забуду, каким жаром обдали меня эти звучные строчки.

Кое-что я успел списать, прежде чем положил тетрадку на прежнее место, и все, что списал, на другой же день знал наизусть.

Юлинька пришла в ужас, когда я наобум стал читать при ней:

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

Я едва скрывал торжество свое.

Юлинька поглядела на меня с упреком и сказала:

— Ты таскаешь мои тетради?

— Какие тетради?..— Тут я хотел солгать, сказать, что стихи эти мне продиктовал Василий Васильевич Глаголевский, но не мог. Юлинька, опечаленная, уходила. Я бросился целовать ее руки и целый час просил у нее прощения.

Она не прощала — даже не хотела говорить со мной.

Я упал духом и заплакал. Мне показалось, что уже все погибло, что Юлинька меня возненавидела, что я ничтожный, подлый воришка, достойный ее презрения.

Юлинька утерла мне слезы и обещала достать мне много, много разных стихотворений Пушкина.

Когда я остался один, то подумал: как это хорошо, что я при ней заплакал — если б я заплакал без нее, она не сжалилась бы, и тогда я был бы самый несчастный в мире человек...

ГЛАВА VII

Наступил тот период детства, когда я сделался непростительно рассеян, капризен и нетерпелив.

Все замечали мою рассеянность, но никто не заметил, откуда она взялась.

Но что такое рассеянность? Это постоянная или временная утрата возможности на все в равной степени обращать свое внимание, вследствие нарушенного равновесия нравственных сил. Никто более рассеянных не способен так сосредоточиваться на одной мысли или поглощаться одним чувством. Люди, ведущие в свете самую рассеянную жизнь, в сущности, никогда почти не бывают рассеянными.

Какой первый признак рассеянности? Очевидная невнимательность. И стал я невнимателен в то самое время, когда весь был одно любопытство, чуткое и жадное,— любопытство, направленное на все и на всех меня окружающих.

Что мешало этому любопытству? Мечтательность и суеверно настроенное воображение. Под влиянием этой мечтательности я сделался мистиком. Моя набожность доходила до того, что по вечерам, когда уезжала моя мать, когда тушили все лишние, стенные лампы и в доме воцарялась мертвая тишина, я пробирался в спальню к матери, заползал за ее кровать, прятался за какой-нибудь гардиной, становился на колени и, глядя на киоту, уставленную иконами и озаренную сияньем лампады, молился, иногда вместе с Константиновной, ни разу не заметившей моего близкого присутствия. Мне хотелось молиться до кровавого пота — молиться до того, чтобы вокруг головы моей образовалось сияние, и, о самолюбие! мне хотелось, чтобы все видели это сияние. Я представлял себе изумление моей матери, благоговейный ужас всей нашей дворни, когда они увидят, что в темноте от головы моей исходит свет. «Что подумает Десарт? — думал я,— какую он тогда скорчит мину! Будет ли он тогда щипать меня за уши? будет ли уверять, что без папы нельзя спастись и что все народы, рано или поздно, примут католичество!»

Раз самого меня изумили искры, затрещавшие под черепаховым гребнем в густых волосах моих.

Туша свечку, будто бы нечаянно, я подбегал к зеркалу и продолжал с помощью гребенки упражняться в опытах неизвестного мне электричества, или, лучше сказать, удостоверяться в действии каких-то таинственных, меня посетивших благодатных сил.

Аграфена же в это время, очутясь впотьмах, бранилась или, ворча, уносила свечу, чтоб зажечь ее в передней или

девичьей (фосфорных спичек тогда еще и в помине не было). Но до того ли мне было, чтоб обращать внимание на ворчливость моей няни!

Строго я тогда соблюдал все посты и с нетерпением дожидался страстной недели, чтобы говеть.

Помню, как я боялся бесов и, ложась спать, читал: «Да воскреснет бог», произнося каждое слово этой молитвы с таким же чувством, с каким бы произносил слова самого страшного заклинания. При этом я крестил свою подушку, крестил углы своей кровати и даже щель от раздвинувшегося полога, чтоб в эту щель как-нибудь не пробралась ко мне нечистая сила.

Любопытство мое также не давало мне покоя. Я подсматривал в замочную щелку за Юлинькой, чтобы узнать: отчего она не спит и что делает?

Старичок с тростью, обычный посетитель наш — Никита Иванович Нарышкин, также стал обращать на себя мое внимание. Этот молчаливый гость, иногда оставаясь наедине с моей матерью, все что-то ворчал или спорил с ней, устремив на нее маленькие, глубоко впалые, серые глаза свои.

Раз подслушал я следующие фразы:

— Неужели вы думаете, помилуй бог! что мы... мы... мы согласимся отпустить крестьян своих?

— Я ничего не думаю,— слышался голос моей матери,— да и вам об этом нечего еще беспокоиться.

Но старик (я из другой комнаты видел лицо его в зеркало) глядел упорно-вопросительно, беспрестанно мигал и вовсе не думал о том, чтобы перестать беспокоиться.

— Я сам масон,— говорил он, отрывая одну фразу от другой,— знаю кой-какие тайны... От меня не скроешь — помилуй бог, что затевают эти головорезы... эти молокососы!.. Ступай лучше на могилу своего мужа...

— Далека его могила! — отвечала мать.

— Авось тень моего незабвенного друга, перед которым ты так виновата, вразумит тебя...

— Все, что вы слышали, все вздор. Вы все не так понимаете, добрейший Никита Иванович!

Затем почему-то упоминалось имя Аракчеева и другие имена, о которых я умалчиваю.

Я ничего не понимал, но слова старика: *«Я масон, знаю тайны»* — меня поразили и врезались в моей памяти. «Тайны! — думал я.— Какие же это тайны? Не тайны ли природы? Масон! Что такое масон?!»

— Что такое масон? — не без волнения спросил я на другой день у моей матери.

— А! — сказала мне мать, сдвинув брови,— это ты вчера подслушивал! Я ведь слышала, к к ты подходил к двери. Что это ты — не в шпионы ли себя готовишь? И тебе не грех, не стыдно! Что из тебя выйдет?.. Господи! — продолжала она с отчаянием в голосе.— Лучше ему раньше погибнуть, чем быть дрянным человеком! Дрянные, бесчестные, продажные люди — это плевелы нашего общества... Неужели ты будешь дрянь? Ну, говори, что же ты молчишь, как уличенный? Сознайся, что ты подслушивал!

Я то бледнел, то краснел, наконец стал оправдываться:

— Я, мама, шел к вам попросить у вас карандаша — мой весь вышел — и нечаянно...

— Зачем же ты не вошел, когда шел?

— Я боялся.

— Чего ты боялся? Никита Иванович был тридцать лет другом твоего покойного отца. Никита Иванович сосед наш по имению. Никита Иванович твой опекун. Чего же ты боялся? Разве он зверь? Ну, говори, разве он зверь?

— Виноват...

— Вырастешь да поумнеешь — будешь сам знать, что такое масон. А теперь — что ты поймешь? Ну, положим, я скажу тебе: масонские ложи — это тайное общество, и члены этого общества называются масонами, и везде они есть, и в Париже, и в Берлине, и в Варшаве, и у нас, в Петербурге, и принимают в эти ложи не всех, а с большим разбором, и всякий поступающий должен выдержать разные испытания. Трусы никак не могут поступить, и если ты будешь всегда таким трусом, то никогда и не будешь масоном...[19] Ну, понял?

Я прошептал, что понял, даже ручку поцеловал ради раскаяния, но, в сущности, ничего не понял; ответ моей матери не мог удовлетворить меня; напротив, он еще сильнее раздражал мое любопытство. Не говоря уже о том, что этот разговор глубоко огорчил меня: мать считает меня дрянью! я дрянь! я, мечтающий о вечном блаженстве (и в то же время влюбленный в Юлиньку), о духах, о тайнах природы, о рыцарях, о великих артистах, я — дрянь!.. Впрочем, кто же знал, и знала ли моя мать о моих ребяческих возвышенных мечтаниях. Я не был из числа детей, болтающих с утра до ночи, высказывающих все, что у них на уме. Бывало, я чуть выскажу что-нибудь — и гляжу, что из этого выйдет; ну, и вероятно, не раз нашел, что из этого ничего хорошего не выходит. Я стал ленив и, по-видимому, не понимал вещей самых простых и понятных. Десарт постоянно на меня жаловался, Глаголевский молчал; но несмотря на то, что на высоком челе его все чаще и чаще стали появляться

складки — следы глубоких соображений, я его до такой степени перестал бояться, что приготовлял для него уроки, когда мне вздумается.

Иногда, зачитавшись какого-нибудь романа (а я их доставал из библиотеки моего отца), не только не успевал заглянуть в русскую или латинскую грамматику, но забывал, что подходит час урока и что это, вероятно, по коридору стучат сапоги Глаголевского. Я так уж и говорил ему: Василий Васильич, задайте мне к следующему четвергу еще урок — я уж вам два их зараз выучу, а уж нынче вы меня не спрашивайте.

— Лениться стал, барчонок, а?

— Нет, я не ленился — а забыл, из головы вышло, что вы нынче придете.

— Видно, сытое-то брюхо к ученью глухо... Ну, хорошо!

И затем, задав еще урок и отложа книги в сторону, Глаголевский, наморщив лоб, принимался диктовать мне какие-то допотопные вирши.

О! чего бы я не дал, чтоб припомнить эти вирши! Это было описание (в александринских, шестистопных стихах) каких-то мифологических процессий, где все божества были представлены в карикатуре, где Марс, например, был чуть ли не в ботфортах и треугольной шляпе, а Венера — в корсете и башмаках. Была ли это пародия на «Душеньку» Богдановича [20], или то были плоды досужей бурсацкой [21] фантазии — не знаю; во всяком случае я был бы очень доволен, если б мог припомнить себе этот отрывок тогдашней рукописной поэмы, едва ли уцелевшей до нашего времени.

Вирши эти Глаголевский диктовал по большей части на память и при этом всегда ухмылялся, вероятно, мысленно находя их очень остроумными.

Стихи Пушкина были слишком легки для того, чтобы иметь вес в глазах Глаголевского. Когда я однажды прочел ему начало поэмы «Братья разбойники», он выслушал эти стихи как бы с видом снисхождения, даже, судя по лицу его, стихи эти ему и нравились, но все-таки он махнул рукой и сказал: далеко ему до Ломоносова или до Державина!

Я не спорил, потому что был еще слишком мал, потому что не имел поддержки ни в журналах, ни в каком-нибудь более меня развитом товарище. Я даже как будто и верил Глаголевскому, что, впрочем, нисколько не мешало мне забывать оды Державина и упиваться Пушкиным.

Глаголевский наконец почему-то стал учить меня спустя рукава и, как мне кажется, заводил кое-какие шуры-муры с моей аппетитной нянюшкой. Она же заметно была к нему

благосклонна и нередко выходила на лестницу провожать его. Лакей Семен недаром ревновал ее: помню, как при мне не постыдился он разными намеками уличать ее в благорасположении к *кутье*[22]. Няня моя не только не оправдывалась, а, напротив, как бы в пику ему говорила: «Ну, да! кутья так кутья! что, взял?..» Семен божился, что поколотит Глаголевского, что не будь он Семен и лопни его глаза, если не поколотит!

«Как же! ишь ты! Руки еще коротки!» — отвечала Аграфена и затем гнала его вон из комнаты.

До семи лет жизнь моя была больше комнатная, особливо зимой. Я рос, как оранжерейный цветок, за стеклами; выезжал кататься в карете с мамой или с няней и Юлинькой; но система воспитания стала изменяться. Новые доктора стали проповедовать столичным маменькам, что детей надо как можно больше держать на воздухе не только летом, но и зимой. Меня стали отпускать гулять сначала с няней, и я гулял с нею все больше по набережной Мойки. Потом, когда я подрос, стали отпускать с Логином, которого почтенный вид как бы сам собою напрашивался на почетное звание дядьки.

Логин, приземистый старик с серебряной серьгой в левом ухе и постоянно выбритый, был когда-то парикмахером, но в последнее время не причесывал головы моей матери: она нашла, что руки его пахнут варом. Логин говорил, что он на свою семью стал башмаки тачать, оттого что барыня перестала его звать к себе в уборную, а мать моя твердила ему, что она оттого перестала его звать, что он завел башмачные колодки. Кто из них был прав — не знаю. Логин обижался, когда ему приказывали ехать за каретой, то есть стоять на запятках, в ливрее и в большой трехугольной шляпе, ибо такой костюм считал он крайне неприличным званию парикмахера. Но когда посылали его со мной гулять, особливо весной (1824 года), он покидал свои башмачные колодки, надевал гороховую старую шинель, картуз с ушами, шел со мной охотно и, помню, во время этих прогулок постоянно заводил со мною разговор, вызывающий на размышление.

— Вот, вы хоть и барин,— говорил он, постоянно глядя в землю и беспрестанно на ветру запахивая шинель свою,— хоть вы и барин, а ну-ка я вас спрошу, отчего Нева в море течет, а не из моря?

— Отчего в море? Да оттого, что все реки в море текут.

— А отчего все реки в море текут?

— Да оттого... оттого... экой ты бестолковый, Логин, как я погляжу! Ну, просто оттого, что море ниже, ну, и текут.

— А откуда море-то взялось?

— Так бог создал: откуда земля, оттуда и море.

— А вот вы и не знаете... Из хлябей небесных. Знаете, что такое хляби небесные?

— Никаких нет хлябей.

— А как бы мог быть потоп, если б не разверзлись хляби небесные? А еще барин! Да что! Об этом и учителя-то ваши ничего не смыслят.

— А Глаголевский разве не ученый человек, по-твоему?

— А по-моему, вот что: если бы Глаголевский-то ваш был взаправду ученый, он бы либо в попы, либо в монахи записался; архиереем бы его сделали. А то какой же ученый пойдет в приказные?

— А разве он приказный?

— А что же он такое, как не приказный?

Этакий скептик был этот Логин! Я и не подозревал, чтоб он был такой; просто ни во что ему не верилось, даже моим учебникам не доверял. Бывало, начну ему доказывать, что Земля есть шар и что она вокруг Солнца ходит, глобус покажу, в географии прочту,— не верит. Хоть образ, говорит, поцелуйте, ни за что я этому не поверю, потому что все это выдумано. Облейте-ка вы ваш глобус водой — дайте-ка я его оболью — все стечет. На шаре никакая вода не удержится — вот вам и шар!..

Поверит ли тот, кому случайно попадет на глаза моя рукопись, что воззрения Логина меня терзали и мучили. Глаголевский, знавший по-латыни, а может быть, и по-гречески так же хорошо, как я по-французски, никогда ясно и вразумительно не умел растолковать мне самых обыкновенных явлений природы. Дальше того, что находилось в кратком руководстве географии, я полагаю, он сам ничего не смыслил.

Не убежденный в реальном, я поневоле уходил в мир чудес и фантазий. Если бы истинам или фактам, выработанным наукой, приходилось *только верить*, то не лучше ли верить в то, что и волнует, и тревожит, и увлекает мечты, и говорит воображению, то есть верить в мир волшебства и фантастических образов? Так, кажется, я и поступил. Так, полагаю я, поступала и поступает вся наша младенчествующая, необразованная часть человечества.

ГЛАВА VIII

Наконец я дожил до одного, быть может, очень обыкновенного приключения; но я называю его необыкновенным, потому что оно сильно подействовало на мои нервы, а стало быть, и на мозговую деятельность.

Была весна (1824 года, и уж не помню, было ли это в конце мая или в начале июня). Ночь была светлая-пресветлая. Мне не спалось. Я мечтал. Детская страсть моя к Юлиньке дошла до своего зенита. Я просто бредил ею во сне и наяву; готов был целовать следы ног ее; крал у нее носовые платки и, ложась спать, клал их себе под голову; старался почему-то плюнуть непременно в ту плевальницу, в которую она плюнула... Хоть убейте меня, если я теперь понимаю, для чего и почему я это делал. Но как это ни дико, я должен сознаться, что делал немало глупостей.

Чем сильнее я любил ее, тем становился робче в ее присутствии, просто замирал от одного шороха ее платья. Юлинька ничего этого не замечала. Я не только таил от всех глупую (и какую в то же время радужную!) страсть мою. Я никогда не глядел на нее иначе, как мельком, и то тогда только, когда замечал, что она не обращает на меня ни малейшего внимания — что-нибудь вяжет, читает или чай пьет. Чем должна кончиться любовь моя — я об этом и не думал. Я только верил, что Юлинька — моя богиня, моя владычица, моя царица, и мысленно, в минуты бессонницы, обнимал я эту владычицу, то есть обнимал свою собственную подушку, воображая, что на ней покоится головка Юлиньки. Тут я говорил ей бессвязные речи, уверяя, что скорее затмится солнца свет, чем я перестану обожать ее.

При всем этом, я должен заметить, ни одна сколько-нибудь чувственная, грешная мысль еще не приходила мне в голову. Мечты мои были настолько же девственны, насколько пусты и несбыточны. Организм ли мой еще не созрел для иных желаний или о физической любви я еще не составил себе никакого ясного понятия, не знаю отчего, только помню, что из числа страстей платонических моя была архиплатоническая.

Конечно, наивный период моего детства не мог долго продолжаться; я, как уже вам известно, был и любопытен, и наблюдателен.

Итак, ворочусь к рассказу. Я не спал. Вдруг, часу в первом ночи, услыхал я стук колес, похожий на грохот пожарного поезда. Верно, где-нибудь поблизости пожар, подумал я, вот будет случай разбудить мою богиню. Я постучусь к ней и ее увижу — вот будет случай!.. С этой мыслью я выпрыгнул из кровати и через коридор, мимо спящей на полу моей няни, босиком пробрался в залу.

Пробравшись в пустую залу, я сел на подоконник и стал глядеть на улицу. По улице вдоль канавы ехали не пожарные трубы, а какие-то фуры. Ряд домов по ту сторону канала

смутно мерцал своими тускло освещенными стенами. Во всех домах окна были темны — только на углу, в доме купца-раскольника, в одном окне был свет — горела лампадка и виднелась всклокоченная голова, седая борода и расстегнутый ворот рубашки.

Так просидел я минуты три. Зеленые фуры с грохотом проехали, я уже не видел их, слышал только отдаленный гул да глядел в незнакомые окна.

Прошло еще несколько минут. Легкий шорох сзади заставил меня вздрогнуть, хотя я и догадывался, что это сухой листок свалился с какого-нибудь лимонного или померанцевого дерева.

Горшки с такими деревьями и цветами стояли на полу, занимая пространство от угла до половины стены — до самого пьедестала, на котором блестел стеклянный футляр, прикрывавший большие бронзовые часы. Мало-помалу напала на меня легкая дрожь и суеверная робость. Я без всякого внимания продолжал глядеть в окно, как бы не смея повернуть назад свою голову. В самом звуке постукивающего маятника мне послышалось что-то необычайное, как будто он торопился мне что-то подсказывать.

Вдруг сердце у меня сжалось, я притаил дыхание. Мне послышалось, что кто-то идет, мягко ступая по чему-то мягкому: я оглянулся. И вообразите ужас мой — в дверях, ведущих в гостиную, я увидал: двигается темная тень человека!

Не постигаю, как я не вскрикнул.

Тень приостановилась, прошла залу, отворила дверцу в буфет — и исчезла.

Из буфета был проход — направо в коридор, налево в переднюю и прямо, через холодную, небольшую крытую галерею, в кухню.

Со всех ног бросился я бежать и, задыхаясь от ужаса, разбудил мою няню.

Няня неохотно поднялась со своего матраца. Села и долго, тараща свои заспанные глазенки, выслушивала меня, не понимая, в чем дело; наконец встала и сказала мне:

— Ложитесь, барин,— я посмотрю, что там такое... Откуда тут быть вору... помилуй господи!

Я послушался, лег на свою постель и дрожал как в лихорадке.

Няня, накинув на плечи свой большой платок, зажгла свечу, прошла в залу и заглянула за двери, потом прошла в буфет и оттуда в переднюю, поговорила что-то с одним из лакеев, спавших постоянно на ларе, воротилась, поглядела на

галерею, заглянула за буфетный шкап и, задув свечку, с такими же заспанными глазами вошла ко мне в детскую.

— Никого нет,— сказала она мне спокойным голосом.— Спи! Тебе это померещилось.

Затем она вздохнула, вероятно, перекрестилась, и опять легла в коридоре около моей детской.

«Да,— подумал я,— как не так! померещилось! Разве я слеп?.. разве я сам не видал?.. Боже мой! что, если это была тень моего отца? что, если это *он* приходил за мной?.. что, если?..» И я долго не мог заснуть и долго молился, призывая на помощь господа бога и всех святых его.

На другой день утром мать моя (не знаю, как и от кого) узнала о моем ночном приключении.

Она ходила по зале с полураспущенной косой, выбивающейся из-под ночного чепца, и в белой ночной кофте. Она была бледна и встревожена, то взглядывала на меня сердито и холодно, то, замечая мою бледность и унылое расположение моего духа, смягчала голос свой, и строгий выговор начинал в устах ее звучать чем-то ласковым. Она ласково стала просить меня не ходить ночью по комнатам, потому что я могу простудиться — особенно если ночью кто-нибудь из людей забудет окно затворить. Потом, как бы смеясь, она прибавила: «В другой раз я нарочно велю кого-нибудь нарядить в белую простыню, чтоб испугать тебя... Отчего ты не спросил это привидение, зачем это оно изволит прогуливаться у нас по комнатам? Смешно! Как же ты, такой трусишка, хочешь быть масоном! Ну, обещай же мне быть умником и не разгуливать ночью по комнатам, или, право, я нарочно велю напугать тебя»,— добавила она уже строгим голосом.

Я обещал ей никогда больше не ходить босиком по комнатам — но это нисколько не изменило моего расположения духа.

Я заметил, что никто не доверяет словам моим, заметил, что люди шепчутся и, поглядывая на меня искоса, улыбаются,— что горничная моей матери, Аксюта, прошла, взглянувши на меня так как-то странно, как будто хотела сказать: чего ты не выдумаешь! вишь! только потревожил весь дом!

Юлинька сперва засмеялась, узнав, что я видел привидение, потом стала уверять меня, что это я во сне видел, потому что ей самой часто снится какое-то привидение.

Один Глаголевский отнесся ко мне по-человечески, как равный к равному.

Он выслушал меня и пресерьезно стал меня расспрашивать, опустивши здоровенный, толстый нос свой и многозна-

менательно сдвинув брови, как бы решая какую-то очень мудреную задачу.

— Гм! в саване или в каком ином одеянии предстало вам это привидение?

— Нет, на нем было что-то черное, вроде плаща,— только на груди что-то белое — не то рубашка, не то какой-то комок — или жабо.

— Гм! был он босиком или вы не слыхали шагов его?

— Я шагов его не слыхал, только мне показалось, что, когда он уходил в буфет, что-то скрипнуло — не то пол, не то башмак.

— Стало быть, он не в стену вошел, а в дверь. Гм, да!.. А волосы его были растрепаны?

— Он был в черной круглой шляпе.

— Ну, так это было не привидение! — с уверенностью в голосе заметил Глаголевский.

— Отчего? — спросил я его с неуверенностью.

— Да оттого, изволите видеть, что мертвых в шляпах не хоронят. В гробах надевать шляпы на усопших церковью не положено.

«Как же это я, дурак, не догадался!» — подумал я про себя, даже покраснел, уличенный в явной несообразительности.

— А вот что, не было ли в руках его ножа или какого-либо смертоносного оружия?

— Не... нет! я этого не заметил.

Глаголевский еще ниже потупился и стал ухмыляться.

— Это было и не привидение, и не вор.

— Что ж это было такое? — спросил я, сложив на груди руки и устремив на него вопросительно глаза свои.

— А это был чей-нибудь любовник.

Я так был поражен ответом Глаголевского, что даже побледнел.

— Любо-овник! — повторил я с ужасом,— какой любовник?

Глаголевский усмехнулся.

— Я этого не могу знать. У вас, чай, есть горничные?

— Есть.

— И барышня живет у вас?

— Барышня! Какая барышня? Юлинька? Ну да.

— Ну, вот! — произнес Глаголевский таким тоном, как будто разрешил все, и свои, и мои, недоумения.

Что сделалось со мной — это трудно пересказать. Если б я был взрослый, быть может, я дал бы оплеуху этому мудрецу Глаголевскому за один намек на такое гнусное

подозрение, за один намек, касающийся чести дорогой мне девушки; но я был неопытный, ничего в жизни не понимающий отрок. Я мог также поверить словам его, как и не поверить; насколько же они касаются чьей-нибудь чести, я не понимал, хотя и чувствовал что-то гадкое. Что значит любовник, я также вдруг не мог отдать себе ясного отчета; помню только, что это слово поразило меня так, как поразило бы меня превращение лица Глаголевского в ослиную морду.

Когда ушел Глаголевский, я стал думать и дошел до той мысли, что любовник — это влюбленный волокита, который тихонько все себе позволяет, все!.. что это лицо диаметрально противоположно целомудренному Иосифу, который вырвался из объятий преступной жены Пентефрия. Любовник! и где же? в нашем доме! Какое святотатство! Может ли это быть? Где же он был — если был? За гостиной диванная, из диванной две двери: одна — в спальню к моей матери, другая — в столовую; из столовой также две двери: одна — направо, в кабинет моей матери, потом в уборную, потом в гардеробную, другая — прямо, в библиотеку; из библиотеки через коридор можно пройти в девичью и даже в комнату Юлиньки. Где же спит Аксюта? Кажется, в гардеробной; по крайней мере, там за шкафами есть помещение, и там она всегда работает — кроит или шьет, иногда гладит. Отчего это она взглянула на меня так пристально?

Все эти соображения нестройной массой возникли в голове моей.

Я решился молчать — решился все узнать и, казалось, сам испугался своего решения. Целый день щеки мои горели — я не мог ни читать, ни писать, ни учиться.

На другой день Десарт, во время урока, до такой степени разозлился, что позвал в мою комнату дочь свою и вместо себя велел ей растолковать мне урок мой — значение какой-то не то поэтической, не то риторической метафоры. Юлинька, запинаясь, что-то такое мне стала толковать; круглые очки ее отца в это время сверкали неподвижным блеском, потому что он глядел ей в глаза, ждал и не двигался. Юлинька явно сама не знала, то ли она говорит, что нужно говорить, и трусила; кончик носика у нее покраснел, ресницы были опущены, а я глядел ей в лицо, и в голове моей беспрестанно вертелось слово «любовник».

Вслух я ни за что бы не решился произнести этого слова — оно уже казалось мне неприличным до такой степени, что ни один порядочный человек не произнесет его в обществе; даже французское слово «amant» почему-то

пришло мне на память, я почему-то придавал ему другой смысл и воображал, что «amant» еще можно сказать, даже напечатать можно, но нельзя, никак нельзя вслух сказать «любовник». Недаром же в рыцарских романах (а я читал их десятками) ни один влюбленный герой не называется любовником.

Тут я опять начинал вслушиваться в несвязные толкования Юлиньки, но голова моя все-таки постоянно была занята одним и тем же. Я вспомнил, что слово «любовник» в первый раз услыхал я из уст нашего поваренка. «Ишь ты, рябая,— сказал он нашей судомойке,— у самой, чай, любовник,— неча тебе других-то порочить». Даже поваренок, которого все называют *ершом* и не пускают даже в девичью, и тот думает, что это слово *порочит!* Как же смеет Глаголевский вообразить, что...

Я опять глядел на Юлиньку и ничего не понимал из того, что она толкует мне,— я злился на Глаголевского.

Но, продолжал я думать, если это не вор и не привидение, так что же это такое?

Десарт закричал на Юлиньку, qu'elle est bête *, и жестом указал ей, чтобы она убралась в свою комнату, а мне — мне велел отойти в угол и стать на колени.

Я машинально повиновался. Десарт освежал себе голову, нюхая табак, а я стоял на коленях, и стоял смирно до тех пор, пока мне не сделалось больно; как только почувствовал я боль в коленях, так и встал.

Десарт подошел, взял меня за плечи, тряхнул и опять хотел поставить на колени, но колени у меня не гнулись — я стоял как истукан, даже не плакал.

Десарт пошел жаловаться к моей маме, но ему сказали, что ее дома нет. Вернувшись в мою комнату, он, красный, даже багровый, стал ходить от двери к столу, от стола к двери. Потом сел, вынул из кармана целый пук каких-то писем, нашел между ними возможность отделить целый полулист чистой почтовой бумаги, взял перо, написал записку, сложил ее, надписал и вышел.

Я услыхал, что он пошел к своей дочери и громко приказал ей, от его имени, вручить эту записку à madame de Tchaliguine. В этой записке он просил мать мою, ради справедливости, наказать меня за леность, тупость, упрямство и непослушание.

Когда он совсем ушел, Юлинька прочла записку. Я молча

---

* что она глупа (*фр.*).

прилег на ее диванчик, она преспокойно села у моих ног и стала вязать.

— Юлия Антоновна! — начал я после натянутого, продолжительного молчания,— отчего вы такая добрая и отчего ваш папа такой злой?

— Нет, видишь, голубчик, он не злой; он злой только тогда, когда учит, а когда он не учит — он не злой.

— Вы отдадите его записку?..

— А как же иначе? Ведь если он спросит мама, отдала ли я ей эту записку, что тогда?

— Ну, отдавайте!

Я ушел, и слезы крупными каплями покатились по щекам моим.

ГЛАВА IX

Что могло быть лучше, уютнее, даже роскошнее той обстановки, среди которой прозябало мое детство! В те годы я и не подозревал, что существует бедность, что есть нужда и каким страшилищем стоит она у колыбели какого-нибудь новорожденного и, подобно мне, ни в чем еще не повинного ребенка-нищего. Откуда же как будто капля какой-то горечи так рано запала в мою душу, стала источником тайных слез и мучительного недовольства?

Разве Юлинька могла не отдать записки своего отца, адресованной на имя моей матери? Отчего же я так глубоко был огорчен? Кто дал мне право вообразить себе, что Юлинька должна пострадать за меня (ее глупого обожателя) и в этом великодушном страдании найти в глубине души своей великое наслаждение!

Или раннее чтение глупейших романов подготовляло во мне почву для таких требований от жизни? Или, мечтательный отрок, я судил по себе и думал, что с наслаждением пострадал бы за эту девушку, если б только представился случай!

Пусть же, думал я, утирая слезы, я буду наказан самым жестоким образом, и чем жесточе, тем лучше... Пусть она видит и пусть в невозмутимой душе ее шевельнется раскаяние или хоть сострадание к моим мучениям.

Но как назло, мать моя воротилась домой в самом веселом расположении духа, рассеянно прочла записку Десарта (Юлинька при мне подала ее, опустив ресницы, и тотчас же удалилась). Прочтя записку, мать моя слегка меня пожурила, раскрыла свои клавикорды и стала играть...

Я, смущенный, отошел в угол залы, сел на стул, рассеянно слушал музыку и думал: «Отчего же это меня не наказывают?.. Этакое горе!.. Хорошо же! Так я и скажу этому французу проклятому, так и скажу: дескать, и не думали, и не думали наказывать. Пускай бесится!»

После обеда я ушел гулять с Логином. Не раз уже я находил удовольствие убегать от него — отставать, прятаться под воротами или за дверьми подъездов и таким образом его сердить, а себя тешить. На этот раз, на углу Морской и Гороховой, в толпе я потерял его.

Потеряв дядьку, я сначала струсил, но, оглядевшись, почувствовал себя как бы на совершенной свободе и, принявши на себя притворно-спокойный вид, прошел на Адмиралтейскую площадь; потом по набережной (беспрестанно оглядываясь) дошел до спуска на Неву; тут я сел на ступеньку и стал глядеть... Несмотря на яркое солнце, разбросавшее по волнам вечереющий блеск свой, был довольно холодный, северо-восточный ветер; гранит, на котором я уселся, был также холоден. Мимо меня сходили вниз солдаты, ремесленники, чиновники с портфелями, барышни с горничными и горничные без барышень. Поминутно отчаливали лодки и отплывали на Васильевский остров по направлению к Академии.

Просидевши с час, я продрог и пустился домой, но, как рассеянный, растерявшийся мальчик, попал не в ту улицу и, быть может, долго бы проискал дом наш, если б не Егорка, сын нашего повара, крестник моей няни и ровесник мой. Он, набив карман свой бабками, с бутылкой какого-то масла под мышкой, тоже спешил домой, боясь затрещины. Спеша, мы шли с ним рядом и уговаривались как-нибудь уйти вдвоем на Неву и покататься на лодке.

Домой воротился я через черную лестницу, через кухню и через галерею. Так в этот день я и не видал Логина. Он вернулся раньше, уже успел объяснить моей няне, что больше не пойдет со мной, и ушел к себе в подвальный этаж, где помещалась семья его — жена и три дочери.

— Ну, не пойдет, так не пойдет! — сказал я няне,— я и один пойду.

— Да, так тебя одного и пустят! Разве ты глядишь, куда идешь? Ты и не глядишь и не видишь ничего, у себя под носом ничего не видишь!.. Попадешь под колесо — раздавят... и не таких еще давили.

— Ну, пусть раздавят!

— Ну, вот увидим, как ты один уйдешь.

— Ну, вот увидишь...

Вечером, ложась спать, я мечтал о какой-то незнакомке, которая села при мне в ялик: мне воображалось, что эта удивительная красавица ничуть не хуже Юлиньки. С какой грацией протянула она свою ручку здоровенному лодочнику, который ее подсаживал, как мило покачнулась в ялике, как живописно села, улыбнулась, вся озаренная солнцем, распустила голубой зонтик и уплыла, качаемая волнами и ветром.

Чуть ли в эту ночь я не давал себе клятвы отыскать ее во что бы то ни стало, заснул среди неопределенных грез и на другой день проснулся с головной болью.

Два дня я кое-как перемогался, чувствовал, что заболеваю, тосковал, ходил как сонный и не говорил ни слова. Юлинька первая заметила, что я в жару, сказала няне, и они обе отвели меня уложить в постель. Но я ни за что не хотел раздеваться при Юлиньке, и только тогда, когда она вышла, позволил няне стащить с себя шаровары, снять башмаки и стянуть чулки.

«Что, если я умру?» — подумал я и в полудремоте тоскливо стал дожидаться моей матери.

Говорят, будто я захворал не на шутку и две-три ночи был в таком жару, что бредил. К моим икрам привязывали с медом листовой табак и давали мне солено-сладкую микстуру по предписанию Ивана Павловича, нашего домашнего доктора.

Семен (столь жестоко отвергнутый Аграфеной) впоследствии как-то рассказал мне, будто я при матери, в жару, кричал: «Ловите, ловите любовника! Вон он спрятался — вон он! Вон за кровать присел!..» — Семен при этом хотел намекнуть мне, что, дескать, вы, барин, верно, что-нибудь заметили на счет Аграфены и видели во сне этого кутью Глаголевского; но я не хотел его слушать.

В продолжении болезни моей, в минуты сознания, я не переставал звать к себе то мать, то Юлиньку. Мне не шутя казалось, что я умираю, и мне хотелось наглядеться на них. Но я не говорил, что я умираю: мне было страшно напророчить себе вечную память, которой, видно, не хотелось мне. Раз только я сказал Юлиньке: если мне будет хуже, поцелуйте меня... И сейчас же эта милая девушка, наклонившись, поцеловала меня, как бы в доказательство, что мне действительно хуже. Приходил ко мне Десарт; но это был опять тот самый Десарт, который когда-то верхом сажал меня к себе на спину. Он старался, видимо, развлечь, развеселить меня: сам смеялся, бог знает чему, щупал мой пульс и уверял, что я мальчик такой способный, что... что у него и не было еще ни одного ученика такого способного и что, стало быть,

я должен как можно скорее выздоравливать. Одним словом, Десарт, несносно требовательный, вспыльчивый и даже драчливый Десарт, всячески добивался от меня благосклонной улыбки; но я — я глядел на него холодно, как маленький, умирающий принц, которому надоели придворная лесть и смеющееся притворство.

Глаголевский также навестил меня.

Но Глаголевский и тут остался верен своему умственному и нравственному неуклюжеству.

— Эге! — промычал он отрывисто, уставив на меня водянисто-голубые глаза свои и многознаменательно сдвинув брови,— эдак, пожалуй, и в поля Елисейские, ad patres *, махнуть недолго... Ты у меня, мальчик, смотри!.. Вон, у дьякона Остромирова тоже заболел мальчишка; думали, выздоровеет, пришли поутру, а он уже и того, окочурился. Богу душу отдал... Ты так же не умри,— добавил он, приложа к щеке моей оборотную часть ладони, или, лучше сказать, начальные суставы своих согнутых пальцев.

В первый раз еще говорил он мне *«ты»*, вероятно, в припадке нежности, ибо я уверен, что Глаголевский любил меня не как ученика, а просто как такого мальчика, с которым он мог приятно убивать свое время за неимением хороших знакомых. Слова Глаголевского на меня, как на больного и впечатлительного мальчишку, сильно подействовали; мысль, что я, подобно сыну дьякона, могу *окочуриться* самым неожиданным образом, наполнила душу мою тоской и тревогой неизъяснимою. Но я не только не гнал Глаголевского, а старался всячески как можно долее удержать его при себе, умолял его не покидать меня, по получасу держал его за руку и таким образом заставил его просидеть у меня до глубокой полночи. Мне казалось, что если Глаголевский убедится, что все обстоит благополучно и что на том свете меня, как человека, еще не замолившего грехов своих, никто не ждет с особенным нетерпением, то и успокоит меня так, как никто на свете, то есть самым *доскональным* образом.

Желая дождаться от него таких успокоительных слов, я старался показывать вид, что мне гораздо легче, что... я молодец: могу сидеть, даже дурачиться, даже ноги кверху задирать. Но Глаголевский меня не понимал, не повторял своего зловещего карканья, но и не успокоивал.

Когда я задремал при нем, он стал что-то вполголоса говорить с моей няней, но что такое, я понять не мог. Я толь-

* к праотцам *(лат.)*.

ко видел, как, уходя, он прищурил глаз и по направлению к моей постели мотнул головой; как няня подошла ко мне на цыпочках, заглянула мне в лицо (я, разумеется, в эту минуту крепче закрыл глаза), увидела, что я сплю, и у самой двери чмокнула его в самые губы. Глаголевский хотел ее обнять, но она слегка его оттолкнула, отворила дверь, потом прошлась по комнате, опять на меня поглядела и вышла, захватив с собой большой, клетчатый платок.

Все это происходило при спущенных на ночь сторах и при тусклом свете нагоревшей свечки. Сцена эта отвлекла меня от предчувствий смерти, и что-то игривое вертелось у меня в голове. Я нисколько не злился на Глаголевского, но мне было стыдно за няню. Я остановился на мысли, что наставник мой влюблен в Аграфену... и, в невинности души своей, вообразил, что он непременно на ней женится; это мне показалось очень смешно. Нет, я не умру, подумал я, потушил свечу и заснул при свете загоравшегося утра. С этого утра началось мое выздоровление.

ГЛАВА X

Странно — мне помнится, что чем старше я становился, тем моя мать все меньше и меньше обращала на меня внимания. Или она очень хорошо меня понимала, или уже совсем не понимала, или боялась видеть во мне enfant terrible * и, поневоле скрытная, невольно прививала скрытность к моей врожденной пугливости, то есть распекала и как бы отталкивала меня в такие минуты, когда я был особенно расположен с нею откровенничать,— или она своею нежностью боялась избаловать меня,— или просто ей со мною было скучно? — не знаю.

Когда я сильно занемог, я не мог не заметить тревоги на бледном лице ее; целых два дня она почти не отходила от моей кровати, почти не спала, даже писала и читала в моей комнате. Но когда мне стало легче, по-прежнему стала пропадать и только изредка навещала меня.

Прежде чем я совершенно выздоровел, я узнал, к моему немалому огорчению, что мама переезжает в Павловск на дачу и увозит с собою Юлиньку; что я покину город не раньше, как через две или три недели; что для меня приискан в гувернеры какой-то немец и что он к тому времени будет ожидать меня на даче в Павловске; что если я буду дурачить-

* сорванца *(фр.)*.

ся, убегать из дому и дурно учиться, то так до самой зимы и пробуду в городе. (О! как я тогда возненавидел этот город! с каким нетерпением стал ожидать простора, зелени и проч. и проч.!)

Шесть возов с мебелью и посудой, под присмотром повара и Семена, потянулись по дороге в Павловск; вслед за ними, на другой день, несмотря на мои слезы, мама и Юлинька в сопровождении двух горничных, обремененных узлами и картонками, сели в четырехместную карету, запряженную четверней, и ускакали.

Я остался дома полным хозяином. Поваренок Ерш должен был готовить мне обед, Логин ходил за кренделями и булками (деньги же на расход ему были выданы). Няня должна была поить меня чаем, не давать мне ни молока, ни сыру, ни ветчины, ни колбас — все это строго-настрого было запрещено нашим доктором. Десарт и Глаголевский должны были по-прежнему до 15 июня навещать меня; но Десарт, к немалому моему удовольствию, куда-то уехал; остался один наставник — Глаголевский.

Ключ от библиотеки, от этих желтых и до потолка поднимающихся шкапов с книгами моего покойного родителя, был у меня в кармане. Лазить по полкам этой библиотеки, читать заглавия книг и по заглавию догадываться, насколько та или другая может интересовать меня, искать картинок, поясняющих текст, уносить с собой дорогие французские издания, в особенности издания по части акушерства и анатомии, с приложенными к ним пояснительными картинками, и потом по целым дням их разглядывать стало моим единственным, всепоглощающим развлечением. Никто не давал мне права брать из этой библиотеки все, что мне вздумается; право это возникло само собой, возникло потому, что в этом давно уже нраву моему никто не препятствовал. Особенно интересные романы, вроде «Источник святой Екатерины», «Малек-Адель», «Таинства» какого-то замка [23] и т. п., я, по прочтении, давал читать нашему Логину или Глаголевскому.

Логин был большой охотник до чтения, но читал очень медленно, через месяц совершенно забывал прочитанное и мог опять с таким же точно интересом читать ту же самую книгу. У него немало пропало этих книг, потому что, в свою очередь, он давал их читать знакомому цирюльнику да еще какому-то ламповщику, состоявшему при театре. Глаголевский также много их зачитал, иначе сказать, зажилил. Бывало, спросишь его: «Прочли вы, Василий Васильич, те книги, которые я дал вам?»

— Нет, еще не прочел, но скоро прочту. Нет ли у вас еще каких-нибудь? Одолжите.

И для того, чтобы Глаголевского одолжить новыми книгами, я бросал урок и убегал в библиотеку, ибо, во-первых, находил, что лазить по полкам гораздо приятнее, чем писать под диктовку или спрягать по-латыни; во-вторых, стал подозревать, что Глаголевскому также приятнее наедине беседовать с моей няней, чем учить меня...

Раз как-то нашла на меня веселая минута: я стал приставать к няне и назвал ее мадам Глаголевская.

— Это еще что? — удивилась она, поглядевши на меня с полуулыбкой и с полудосадой, одним словом, далеко не так, как глядела она на свою работу.

Я плутовски прищурил один глаз и сказал ей:

— Ну, ну, не притворяйся. Я ведь знаю.

Няня покраснела до ушей.

— Что ты знаешь?

— А то знаю, что... ты в него, а он в тебя... даже видел раз, как ты его поцеловала.

Няня как-то странно засмеялась.

— Опомнись, батюшка,— проговорила она,— или еще не проспался!

И я, как бы дразня ее, стал ей рассказывать, как больной я притворился спящим и все видел. Слушая меня, няня низко нагнулась над шитьем и продолжала ковырять иглой своей; наконец глаза ее превратились в две едва заметные щелки, и она сказала, как бы себе под нос:

— Ну, видел, так и молчи.

— Да кому же я стану говорить?

— Да никому и не говори.

— Да я никому...

— Господа-то не лучше нас. Что они, ты думаешь, святые, что ли! А?

При этом она подняла свою голову, ее щелки превратились в два сердитые глаза, и эти два глаза поглядели на меня особенно как-то пристально.

— Да я ничего не говорю... Отчего не поцеловаться... Я ничего...— начал я уже без смеха, как бы предчувствуя что-то недоброе.— Я так, няня, думаю, поцеловаться — это бог простит. Вон и Юлинька иногда меня целует. Лишь бы не было...

— Чего?

— Лишь бы не было... как бы это тебе сказать, не соврать, лишь бы не было...

Я отвернулся и, чтобы разом порешить мысль мою, быстро проговорил, как бы на ветер:

— Лишь бы не было любовника.

При этом, разумеется, я покраснел не хуже Аграфены.

— Лю-бов-ника!.. А! вот что! Гм! Ишь ты куда ведешь! Ну, да хоть и любовника, кто мне запретит? Что я, крепостная, что ли? Да хоть бы и крепостная, кого я испугалась! Тебя, что ли, буду бояться? Ты сам-то чей сын? А? знаешь ли ты это?

Я уставил на нее глаза свои.

— Ну, не знаешь, так и нечего мне с тобой разговаривать. А попрекать меня некому, и не попрекай, и не смей попрекать! Не хочу! Нынче я здесь, завтра уйду,— и уйду, и брошу вас, ну вас совсем! Живешь, живешь, доброго слова не услышишь. Да ты еще,— не успело молоко на губах обсохнуть, туда же тычешь мне в нос. Отойди! Ничего слышать не хочу!.. Вишь! вынянчила какого кавалера! Больно уж умны вы стали с вашей маменькой-то! Та тоже намедни... Говорят тебе, отойди! и говорить с тобой не хочу.

Я отошел; в голове моей пошла какая-то путаница. Неожиданный гнев Аграфены, какой-то странный, неожиданный намек — все это как-то смутно потрясло меня. Я сел за свой письменный стол, раскрыл книгу «Таинства креста», хотел читать — ничего не понял и исподлобья поглядел на мою разгневанную няню... Она продолжала шить, проворно ковыряя иглой и не поднимая головы. Минуты через три я опять подошел к ней. По широкому румяному лицу ее сбегали слезы. Я хотел обнять ее, но она бросила на окно свою работу, встала, уронила наперсток и, не говоря ни слова, вышла.

Когда она вышла, у меня также из глаз покатились слезы.

Вот оно, черт возьми! какое это страшное, обидное слово «любовник»! Не скажи я этого, ничего бы не было... Что это она хотела сказать: чей я сын? Как будто она не знает, что я сын моего покойного папеньки? Господи, господи! как она обиделась! Кусок мне теперь в горло не полезет — так мне обидно!

В столовой накрыли прибор, я пошел обедать. К обеду переменять тарелки пришел Егорка, подавать кушанья пришел Логин — Аграфена не пришла.

Действительно ли няня моя сильно обиделась или только притворялась обиженной? Очень может быть, что и притворялась. Она была хитра по-своему и умела приноравливаться к характерам, была самолюбива и выходила из себя, если не

замечала к себе барского расположения. То особенно благоволила к моей матери, то злилась и дулась на нее по целым дням, и тогда всякий шаг, всякое мое слово могло рассердить ее. В этот раз не была ли она сердита на мать мою за то, что деньги на расход она поручила не ей, а Логину? Быть может, это показалось ей крайней степенью недоверия к ее честности. Она о своей честности была самого высокого понятия, воображала, что честнее ее нет на свете ни одной женщины, и что она сущий клад, сущее благодеяние для тех, у кого она нянчит. Вероятно, моя милая няня очень хорошо поняла, что, огорчившись, она меня огорчит и что это послужит мне уроком, то есть сделает меня осторожнее. Мысль, что я при матери или при ком-нибудь заподозрю ее поведение, тотчас же взволновала желчь ее. Не заключила ли она из слов моих, что я не только шучу, но и не шутя стою на дороге к открытию кой-каких любовных тайн ее; что я уже не такой ребенок, каким кажусь, что я уже кой-что смыслю и, стало быть, опасен; а если опасен, то и не мешает поплакать.

Всего этого, конечно, я не соображал тогда; но, сколько помню, мысль, что моя няня оттого и обиделась, что я попал не в бровь, а прямо в глаз, в тот же день пришла мне в голову, именно в ту самую минуту, когда, отобедавши, я нашел ее в моей детской на прежнем месте и стал просить ее простить меня.

После долгого, упорного молчания, отталкивания, «не мешай шить!», «ступай, ступай!» и тому подобных выражений няня наконец умилосердилась, простила мне, но взяла с меня слово, что я никогда не буду говорить таких мерзостей; что я еще молод, чтоб над ней насмехаться или говорить всякий вздор; что и в мыслях у меня не должно быть ничего подобного; чтоб я и не думал... чтоб она и не слыхала...

Я дал ей слово и, слава богу, мало-помалу успокоился.

ГЛАВА XI

Наступили жаркие дни; душно стало в городе; не сиделось в комнатах. Да когда же это, думал я, пришлют за мной и повезут на дачу?.. Никогда еще я не был в Павловске и представлял его себе чем-то вроде земного рая. Мое нетерпение скоро перешло в досаду, досада привела к безотрадным предположениям.

Меня забыли, *кутят*, знать меня не хотят. И Юлинька не написала ни одной строчки, а еще писать обещалась! Бог с ними со всеми!..

— Егорка! пойдем на Неву кататься; Логина дома нет; чего нам ждать его! Пойдем, Егорка! Деньги у меня, слава богу, не переводятся: тридцать копеек есть. Чего думать! Беги за шапкой; я на крыльце подожду тебя. Няня! я иду с Егоркой погулять. Вечер-то больно хорош. Мы только около Николы Морского побегаем...

— Ступайте.

Удивительно мягка и снисходительна стала моя няня: что ни придумай, что ни сделай — ничего, ни малейшего возражения!

Очень может быть, что моя Аграфена (женщина добрая, но пустая, по мнению моей матери, и женщина уж что-то очень строгая — с норовом женщина, по мнению нашей дворни) рассуждала таким образом: ну, мальчик, буду я глядеть на тебя сквозь пальцы,— гляди и ты на меня сквозь пальцы; ты, я вижу, глазаст,— чего доброго, и в самом деле что-нибудь заприметишь. Лучше не ссориться... Так или иначе она думала, не знаю, но факт тот, что никогда еще она не была так мягка и так ко мне снисходительна.

Егорка и я отправились. Пошли на Неву к Английской пристани. Пришли; видим, одна только лодка качается. Молча, минут десять постояли мы на плоту, около железных колец, к которым притягиваются носы раскрашенных яликов. Лодочник спал в одной рубахе, какою-то дерюгой накрывши голову. Егорка, выпучив вперед свое пузо, заложил руки в карманы затасканных нанковых шаровар и ждал. Я, помахивая тросточкой, как истинный джентльмен, также чего-то ждал. Мне хотелось, чтоб он первый заговорил с лодочником, а ему хотелось, чтоб я первый разбудил его.

— Разбуди его, Егорка!

Егорка немного помялся на месте, подумал, как быть, и ногой толкнул лодку вбок. Лодка откачнулась.

— Эй, лодочник!..

Лодочник приподнял всклокоченную, заспанную голову, надел шапку и ухватился за весла.

— Вам куда? — спросил он.

Я поглядел на Егорку.

— На взморье,— сказал Егорка.

— На взморье! — повторил лодочник и поглядел на нас.

— Ну, куда хочешь, только не в море,— сказал я и при этом, засунув руку в правый карман синих коротеньких брюк, побренчал кучкой медных грошей, как бы в доказательство, что у нас есть чем заплатить ему.

— Вам что, покататься, что ль?..

— Покататься.

— Давай, барин, двадцать копеек, покатаю.

Егорка поглядел на меня, дескать, не дорого ли?

— Дам тридцать... валяй!

Так я храбрился, а самому было жутко: еще ни разу я по Неве не плавал.

— Садись!

— Садись, Егорка!

Только что мы стали усаживаться, как вдруг, около самой руки моей что-то шаркнуло, промелькнул чей-то сапог, лодка качнулась, и перед нами стал вскочивший в нее длинный франт в белых брюках, в коричневом сюртуке, в галстуке с огромным бантом, в круглой шляпе с широким верхом и с такими же широкими, загнутыми с боков полями. В первую минуту я не узнал его, но страшно сконфузился и чуть не испугался, когда, усевшись, он приказал лодочнику везти себя на Крестовский остров. Я узнал этот неприятный, скрипучий голос. Это был Равинин, тот самый Равинин, который с детства так пугал меня своими глазами и выходками на вечерах моей матери. Он также сначала не узнал меня, но когда мы уже отплыли, стал вглядываться, и лицо его изобразило нечто вроде изумления.

— Чалыгин! это ты? — спросил он, немного назад откинув скуластое, загорелое, почти желто-бурое лицо свое.

— Я-с...

— Ты?.. А отчего же ты, приятель, мне не кланяешься!.. Отчего ты узнал меня и так невежлив, что глупой шапки твоей не хочешь приподнять с твоей глупой головешки? А?..

Я приподнял свой картуз и не знал, что сказать ему: черные глаза его — у! какие неприятные, тяжелые глаза! — так и жгли меня.

— Дурно, брат! скверно ты ведешь себя. Где твоя матушка?

— Моя мама в Павловске.

— В Павловске! А! Поближе ко двору захотелось! А отчего же ты — ты не в Павловске?

— Оставили учиться — обещались прислать за мной...

— Кто твои учители?

— Десарт, Глаголевский.

— А кто тебя учит математике?

— Глаголевский.

— Семинарист? А?

— Да...

— То есть он учит тебя тому, чего и сам не знает,— это хорошо. Умная дама твоя матушка; у таких дам дети всегда дураками растут. А кто с ней поехал в Павловск?

— Юлинька.

— А! эта французская кукла, набитая русским тряпьем,— проскрипел он без малейшей улыбки и стал оглядывать берега в маленькую, зрительную трубочку, причем верхняя губа его перекосилась и приподнялась. Сафьянный футляр от его подзорной трубки остался на лавочке около Егорки. Егорка не утерпел, взял его в руки и стал осматривать.

Равинин это заметил, но, не переставая оглядывать панораму города, опять заскрипел:

— Если ты, мальчишка, не положишь футляр на место, я возьму тебя за вихор и выброшу вон из лодки.

Егорка положил футляр на место и оробел.

В это время мы подъехали под Дворцовый мост — и я впервые от роду над своей головой услыхал лошадиный топот. Лодочник сильно ворочал своими веслами. Мерными взмахами несли они лодку против теченья, огибая Стрелку *. Между нами на полчаса водворилось совершенное молчание. Не знаю, что думал Егорка. Зеленая, суконная, с поломанным козырьком, его шапка торчала бугром на его голове; сквозь оттопыренные уши по временам сквозило солнце, на три четверти горизонта уже склонившееся к западу; глаза щурились, а губы как будто собирались свистнуть.

Не знаю, что он думал; а я... Я в прескверном был расположении духа. Прогулка на свободе и соседство Равинина были для меня две вещи совершенно несовместимые. Я не знал, куда везут меня; видел, что городские здания, по берегам Малой Невы, стали все редеть и редеть; сады, окружавшие берег, казались мне лесом. Что такое Крестовский остров — я не имел ни малейшего понятия. Воображалось, что это клочок земли, со всех сторон окруженный морем. Я с беспокойством глядел вперед, не увижу ли моря — и не видал никакого моря. Мне казалось, что я закричу, если увижу море... Но лодка своротила направо, и мы очутились в какой-то канаве. Это была речка Ждановка. Помню, как, задевая за дно, проехали мы под балками какого-то мостика. Всего досаднее было то, что я не смел вслух спросить Егорку: куда это нас везут? и что нам делать?

Равинин недаром же считался человеком ядовитым, чуть не Мефистофелем, среди тогдашней молодежи. Как черт какой-нибудь, он догадался, что я чего-то трушу, и на него нашел припадок балагурства.

---

* Тот угол Васильевского острова, где теперь стоят маяки: их тогда еще не было. *(Примеч. Я. П. Полонского.)*

— Эй ты, дядя! — обратился он к лодочнику,— к полночи мы доедем али не доедем? А?

— Доедем,— лениво отвечал лодочник.

«Господи боже мой! к полночи!» — подумал я.

— А много волков на Крестовском? Вчера, писали, бешеный волк там всех перекусал. Не слыхал, убили его али нет? А?

— Не слыхал,— еще ленивее отозвался лодочник.

Равинин поглядел на меня так, что я едва мог поймать взгляд его; но он успел заметить, что слова его попали в цель; губы его вытянулись в улыбку, и лицо приняло лягушечье выражение.

— А ты, приятель, был ли когда-нибудь на Крестовском? А?

— Не был и не хочу быть,— отвечал я ему с отчаяньем.— Прикажите лодочнику нас отвезти назад, сделайте такую милость, прикажите...

— Отвезу и назад,— отозвался лодочник.

— Он вас отвезет,— сказал Равинин уже по-французски,— но я, как закадычный приятель твоей матери (ami cochon de ta mère), должен предупредить тебя. Эти лодочники мошенники и разбойники первой степени. Очень может быть, что на обратном пути он разденет вас, удавит вас кушаком и побросает в воду. Это очень может случиться (ça arrive!)...

— Это вы нарочно меня испугать хотите, этого быть не может... Этого не может быть! — отвечал я, хорохорясь.

Но Равинин не мог не понять из самого тона моего голоса, что я трушу.

— Я одного боюсь...— продолжал я.

— Чего же ты, приятель, боишься? А?

— Няня и Логин будут беспокоиться. Я им не сказал, что я поеду кататься в лодке, и они пойдут искать меня. Будьте так добры, выпустите нас куда-нибудь на берег...— Последние слова проговорил я, употребляя всевозможные усилия, чтоб как-нибудь не заплакать.

— А сколько тебе лет? А?

— Десять...

— Десяти лет я один с ружьем ходил в лес на охоту. Четырнадцати был под ядрами, сражался под Бородином. Шестнадцати — был уже капитаном гвардии и в Париже волочился за юбками. Ну, не дрянь ли ты, если на то пошло, чтоб я говорил тебе правду? Или матушка твоя так и ведет тебя, чтоб ты был тряпкой... А еще уверяет, что ты гражданин будешь!.. Ну, чего ты трусишь? Лодочник один, а вас

двое, может быть, вы с ним и справитесь. Боишься няньки? Каши она не даст тебе или матери скажет, что ты от рук отбился? Ну, мать тебя высечет — эка беда! Часто она тебя сечет? А?

— Никогда не сечет. (Слова Равинина сильно задели мое самолюбие.)

— А я бы тебя непременно сек для того, чтоб сделать из тебя спартанца или гражданина. Попроси ты когда-нибудь эту француженку... Юлиньку-то твою,— посечь тебя: сам увидишь, как это приятно,— особливо, если сечет молоденькая, хорошенькая женщина.

— Я скорее убить себя дам, а уж сечь себя не дам. Вон, едет пустая лодка, позвольте нам пересесть в нее.

— А зачем тебе пересесть?

— Домой пора.

— Няня плачет? А?.. Что за вздор! Кстати, я давно хотел спросить тебя: часто ты видишь привидения? Говорят, ты какое-то привидение видел?..

— Никакого я не видал привидения...

— А стихи Пушкина тебе очень нравятся?

— Да, стихи Пушкина — прекрасные стихи; я ничего лучшего не знаю и не читал.

— И наизусть знаешь?

— И наизусть знаю.

— Ну-ка прочти что-нибудь, коли не врешь,— или у тебя душа в пятки ушла, язык не поворачивается?

— Я не могу читать.

Равинин стал раскачивать лодку и так ее накренил, что я подался вперед и чуть не упал на Егорку.

— Если не хочешь, чтоб я опрокинул лодку, прочти стихи.

— Прочту.

— Ну, читай, гражданин, пущу душу на покаяние.

Я собрался с силами и обрывающимся голосом стал читать:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

— Эдакая дребедень! Ученый кот!! — перебил он, чуть ли не до самых ушей раздвинув рот свой.— Пишет такой вздор, а туда же корчит из себя поэта! И есть же такие дура-

ки и дуры, которые наизусть учат эту белиберду. Читай лучше что-нибудь из Расина.

— Из Расина я не знаю.

— Ну, из Корнеля.

— И из Корнеля не знаю.

— Неужели глупый Десарт не дает тебе заучивать наизусть лучшие отрывки из великих французских классиков? В твои года я знал почти всего Буало [24] и чуть не наизусть всего «Тартюфа» [25], а ты учишь стишонки этого краснобая Пушкина! Мольера да Расина весь свет знает, а о твоем Пушкине, вон, я думаю, даже и лодочник наш ничего не слыхал. Эй, дядя! слыхал ты что-нибудь о Пушкине?

— Это барин такой есть — Пушкин... бани в Москве содержит, слыхал — как не слыхать!.. Пушкинские бани... Мой земляк там, никак, годов шесть али семь в банщиках прел; знаю,— проговорил лодочник, по-видимому, до сих пор не обращавший на нас ни малейшего внимания.

— Да ты грамотный ли? — спросил его Равинин.

— Кто? Я-то грамотный ли? А с чего мне быть грамотным-то! Не, не грамотный.

Я в это время оглядывал берега Невки. Налево виднелась полоса моря, но мы, слава богу, почему-то повернули направо. Равинин также почему-то поглядел направо в свою зрительную трубочку. Помню, как потом продолжал он свою беседу с лодочником, и вношу эту беседу в мою летопись.

— Ты знаешь ли, например, кто у нас наследник престола? А?

— Не знаю.

— Гм! Как же ты этого не знаешь?

— А почем мне знать; кабы я здешний...

— Да ведь ты ходишь же когда-нибудь в церковь? А?

— Хаживал,— с неохотой отвечал лодочник.

— Ну, так как же ты не знаешь, что каждую обедню, каждую всенощную и за каждым молебном повторяет поп: «И наследника его, благоверного государя великого князя и цесаревича Константина Павловича...» Али ты в церкви-то глухой стоишь?

— Это точно что... мы люди темные, что мы знаем!

Невежество лодочника, судя по выражению лица Равинина, более тешило его, чем огорчало. Вероятно, в уме его в это время уже слагался забавный анекдот, и анекдоту этому суждено было прославить ум и наблюдательность этого русского джентльмена в среде самого высшего, петербургского общества.

— А царя ты видел? А?

— Как его, батюшку, не видать! видал,— отвечал лодочник, глядя куда-то в сторону; потом вдруг обернулся и спросил:— А правда ли, барин, бают промеж нас, такой слух прошел, будто воля будет? Так как теперича, значит, француза прогнали, Бонапарта куда следует препроводили, за семью замками на семи цепях сидит, Москву почитай что всю заново отстроили... то вот и говорят, будто царь нам хочет волю дать? Слыхали?

— Не слыхал. А ты чей? — спросил его Равинин, уже строгими глазами оглядывая его с головы до ног.

— А я помещичий,— отвечал лодочник, оглядывая берег.

— Кто твой помещик? а?

— А енерал Равинин. Слыхали? Был да и помер, царство ему небесное! Теперича, должно быть, за наследником его Николаем Николаичем состоим.

— А много ты платишь оброку?

— Да пятьдесят рублев ассигнациями, не мало...

— И исправно платишь?

— В контору плачу. И рад бы не платить, да что ты будешь делать! Неволя!

— А что, брат, было бы для тебя лучше платить оброк или быть высечену, а?

— Чего?

— Оброк заплатить или высечену быть... что лучше?

Лодочник засмеялся.

— Высечену быть! Вот нашел, барин, беду! Шкура-то своя, не куплена; одну сдерут, другая вырастет; а пятьдесят рублев, гляди, деньги!

— Ну, приходи завтра ко мне, я велю тебя отодрать, а оброк тебе подарю. Я твой барин, Николай Николаевич,— проговорил Равинин, укладывая в футляр свою трубочку.

Лодочник как взмахнул веслами на воздух, так они и остались на воздухе, только капли с них посыпались. Сильно это его озадачило, точно его кто-нибудь по лбу обухом съездил, инда побледнел.

— Ну, греби, греби!

— Да подлинно ли это вы, ба-ба-батюшка?..

— Вот приходи завтра — узнаешь. Дом на Вознесенском проспекте знаешь, чай! А?

Но встревоженный лодочник одной рукой снимал шапку, другой ловил весло.

— Ну, греби же, дурак!

Лодочник принялся грести что есть силы; шапка его

валялась у ног, крупные капли пота катились по загорелому лицу, волосы развевались.

Так доехали мы до какого-то берега, покрытого частым еловым лесом. В лесу стояло две дачи, одна побольше, другая поменьше; к ним от воды вела дорожка. Это и был Крестовский остров.

ГЛАВА XII

Отлогий, утоптанный бережок, покрытый тенями леса, по местам насквозь пронизанного лучами золотистого вечера; небо с неподвижными группами фиолетовых облаков, серебристо-синеватая гладь реки — все это могло бы обаять, и развеселить, и поднять меня на ноги,— все это смутно напоминало мне те вечера, которые я проводил где-то на даче, во дни моего более безмятежного детства, того детства, которое даже тогда казалось мне какою-то туманной, отдаленной, поэтической стариной.

Отчего же я не вышел на берег? Или я привык бегать и веселиться только на привязи, чувствуя на себе невидимую цепь, привязывающую меня к людям, меня оберегающим? Или меня мучила совесть за то, что я прямо не высказал Аграфене моего намерения, обманул, надул, быть может, заставил ее бегать и с замирающим сердцем искать меня. Или Равинин напугал меня?

Дорого бы я дал, чтоб выскочить из лодки и вместе с Егоркой побегать в роще, поискать грибов, полежать на траве, послушать птичек, и в то же время дорого бы дал, чтоб повернуть назад и в одно мгновенье очутиться в стенах моей душной комнаты.

Равинин, перешагнувши из лодки на берег, пошел по направлению к домикам; но в ту самую минуту, как я, ухватившись за Егорку, стал просить лодочника везти меня назад как можно скорее, длинная фигура Равинина повернулась к нам лицом и спросила лодочника:

— Как тебя зовут?

— Митрофаном Егоровым,— отвечал лодочник.

— Жди меня! — отрезал Равинин и опять повернул к домикам.

Ему навстречу вышла какая-то женщина, вся в белом и с распущенными по плечам волосами.

«Вот тебе на! — подумал я...— Жди его! Разве мы затем поехали, чтоб ждать этого черта, прости господи!»

Егорка, выскочив на берег, стал звать меня, а я лег на дно

лодки и стал упрашивать лодочника, чуть не со слезами, не слушаться Равинина и везти нас.

— Нельзя,— возражал мне лодочник,— слышали, сказал: жди!.. Барин вишь!.. Еще завтра, пожалуй, такую задаст баню, что любо-дорого.

— Пойдемте; здесь, говорят, по деревьям белки прыгают; пойдемте,— приставал Егорка.

— Не хочу... Ступай лучше поищи, нет ли где другой лодки... А что, Митрофан, если он целую-то ночь заставит тебя здесь ожидать... Неужели ты всю ночь...

— Эхма! — вздохнул лодочник,— и всю ночь простоишь — ничего не поделаешь.

И, свертывая кафтан свой, он, как кажется, собирался положить его себе под косматую голову и, пока не придет Равинин, выспаться.

— Есть лодка! есть! — послышался из лесу звонкий голос Егорки.

А бешеный волк не нападет?.. И озираясь, я побежал вслед за Егоркой через кочки леса, к другой части берега.

— Да еще с парусом! с па-а-русом! — на бегу повторял Егорка радостно запыхавшимся голосом.

Но эта лодка (действительно с парусом) нанята была какими-то кутящими купчиками и также должна была дожидаться, пока те воротятся из какого-то чайного заведения. В руках лодочника, уже лысого старика, с красным, морщинистым лицом, был штоф водки, а на корме лежал хлеб да пучок зеленого луку. Ни к чему не повели наши с ним переговоры, и мы побежали назад. Прибегаем — видим, на берегу около нашей лодки стоит маленькая, в пух разряженная девочка; вокруг головки ее висят заплетенные косички, каждая косичка заканчивается розовым бантиком; такого же цвета лента, вместо пояса, перехватывает ее беленькое кисейное платьице. И с такими большими ясными глазами, с такими длинными темными ресницами! Одним словом, необычайно милая девочка, лет около шести или семи.

Увидавши нас, она повернула к нам свое личико, присела и сказала: «Здравствуйте!..» Я смотрел на девочку, как на чудо, и в то же время старался собраться с мыслями и понять, зачем это лодочник, собиравшийся спать, как будто собирается отчаливать,— упирается грудью на весло, а весло упирается в берег. Сердце мое сильно билось.

— Это вы приехали? — спросила девочка.

— Мы, мы.

— Так уезжайте. Папаша велел вам сказать, что ему

лодка не нужна; он останется ночевать у мамаши. Мамаша упросила его ночевать. А мы сейчас гулять пойдем.

Тут, немного помолчав, она с пресерьезной миной подошла ко мне.

— Покажите-ка вашу тросточку. Какая гибкая. Только головка нехорошая; вы ее, должно быть, зубами грызли. У меня есть лучше тросточка. Monsieur Штакен забыл ее у нас. Он ее забыл, а я ему не отдам — зачем забыл! Так вы уезжаете! А не хотите погулять? А когда же вы к нам опять приедете? Вы бы поскорей приехали... я бы вас попотчевала. У меня есть пастила, пряники, изюм, орехи, белка есть — все есть.

— А как вас зовут? — спросил я девочку.

— Верочкой.

— Прощайте, Верочка, да отдайте же тросточку-то.

— А я хотела вам ее не отдавать, и — да! не отдавать,— повторила она, улыбаясь, вся нагнулась вперед и за своей спиной спрятала мою тросточку. Вот, когда она мне надоест, я вам тогда ее отдам — хотите?

— Ну, хорошо,— отвечал я, подумавши.

— Ничего нет хорошего! — подхватила девочка и залилась громким смехом.

Это меня озадачило, но обидеться не было никакой возможности — зубки ее так и сверкали.

Егорка вскочил в лодку, и она уже двинулась. Я снял картуз...

— Что ж это, вы уезжаете, а не прощаетесь?

— Ну, прощайте!

Девочка стала на цыпочки и потянула ко мне свои алые губки.

— Ну, да прощайте же! Что же вы не прощаетесь?!

Я нагнулся и, раскрасневшись, поцеловал ее, потом шагнул в лодку и уселся на корме.

— Постойте-ка! — закричала Верочка.— Постойте!

— Что вам?

— Как вас зовут? Сережей?

— Да, Сережей.

— Ну, уезжайте, уезжайте! Я вас не удерживаю...

Лодка двинулась, и, когда мы отдалились от берега, я видел, как на темном фоне леса все еще рисовалась маленькая фигурка беленькой девочки; мне даже казалось, что она прикладывает свою ручонку к губам и посылает мне воздушные поцелуи.

Конечно, по всем соображениям, эта Верочка была наперед подстроена, если не Равининым, то своей мамашей;

очень вероятно, что, высылая ее на берег, ей было даже приказано поцеловать меня,— и все-таки никогда ни прежде, ни после не встречал я такой бойкой, такой забавно-милой малютки. Ее неожиданное появление совершенно изменило расположение моего духа. Я забыл и про няню, и про Логина, и про тревогу в доме, по случаю моего необычного, столь продолжительного отсутствия.

И не то чтоб я вдруг в нее влюбился, нет,— она просто меня поразила, на целый вечер заняла мое воображение. Я не мог забыть ни ее детски-лукавого смеха, ни ее простодушно-детского поцелуя. Я был рад, что тросточка осталась у нее в руках.

Лодочник сперва молчал, потом стал нас допрашивать, знаем ли мы его барина и действительно ли это его барин.

— Кто его знает,— говорил он,— может быть, так только, пошутить захотел, чтоб денег не заплатить. Я его уже не впервой вожу туда. Скупой, должно быть, ни разу-то, братцы, на водку не дал. А коли скупой,— соображал он,— то каким же это манером он мне оброк простит? Чудно!..

Я совершенно уже понял, что бояться нечего, что лодочник этот нисколько не похож на морского пирата, что Равинин нарочно врал, чтоб только пугать меня, потому что давно меня встречал и успел догадаться, что я *впечатлителен*. Трусом мне не хотелось назвать себя. Я уже мысленно стыдился своей трусливости.

— Давай, Егорка, всю ночь гулять! — сказал я, очутившись среди Невы, которой невозмутимая поверхность светлыми полосами отражала стены дворцов, окрашенных в ярко-палевый цвет полузакатившимся солнцем. Вольно дышалось груди, хотелось броситься в воду, улететь вдаль, лечь на спину и глядеть в это небо, полутемное, полусветлое, мерцающее как бы сквозь золотистый дым, готовое погаснуть и негаснувшее. Хорошо мне было в эту минуту, и не заметил я, как мы опять пристали к плотам у Английской набережной.

Лодочнику я отдал тридцать копеек. Он, положа их на свою широкую ладонь, почему-то как будто задумался. Мы обещались опять прийти на пристань, позвать его, Митрофана, и опять поехать с ним. Я ни за что ни с кем не хотел ехать, кроме Митрофана; эта прогулка меня душевно породнила с ним, и с особенным чувством дал я ему честное слово никогда не садиться в другую лодку.

— Приходите! — сказал он равнодушно,— можно и опять покатать.

Потные и горячие добежали мы до нашего дома. Как

я предполагал, так и случилось: вся наша дворня, с девяти часов вечера, искала нас вокруг церкви Николы Морского и по всем ближайшим каналам. Сильно всех перетревожило мое отсутствие. Мне обрадовались, но встретили чуть не бранью. Логин, поймавши Егорку, так оттрепал его, дал ему такую затрещину, что тот заревел на весь дом и, продолжая реветь, побежал по коридору. Скоро, впрочем, за дверями затих этот отчаянный рев... Бабушка Константиновна — и та поднялась, выползла поглядеть на меня, постояла, приподняла кулак и сказала: «У!..» В этом «у!» выразила она все свое негодование и удалилась. Я попросил чаю и решительно всем объявил, что время провел чудесно и что всегда буду так проводить,— что я уже не маленький и что знать ничего не хочу!

Но случилось и то, чего я никак не мог предположить, чего мне даже и в голову не приходило. Я узнал от няни, что мама больна, желает меня видеть, писала к доктору и что Иван Павлович заезжал за мной в коляске с тем, чтоб немедленно отвезти меня в Павловск, что он целый час меня дожидался и уехал.

Это меня поразило, наполнило душу мою страхом за мать и раскаяньем. Молча напился я чаю, молча разделся и молча лег. Но когда остался я один в своей кровати, я зашпилил раздвигавшийся полог булавкой, стал на колени лицом к подушке и на пришпиленный финифтяный образок стал молиться.... Не стану повторять здесь жарких, неповторяемых молений. Я плакал, был в отчаянии и в молитвах искал утешения. Нервный я был ребенок.

ГЛАВА XIII

Мое первое путешествие по Неве до Крестовского острова — событие, само по себе до последней степени ничтожное, но не для меня: в нем я вижу едва ли не первое, самое решительное проявление моей детской самостоятельности, и мое искреннее «*хочу*» впервые нашло в нем свое осуществление. Встреча с Равининым потянула меня дальше, чем я желал, чем я смел желать, и уже нравственных сил моих почти не хватало ни на это лишнее пространство, ни на это лишнее время. Мечтающий о великих подвигах то святости, то рыцарского самоотвержения, я сделал первый в жизни маленький самостоятельный шаг, и что ж? — даже этот маленький шаг не обошелся мне без волнений, опасений, чуть не слез и привел меня к чему же? — к мучительному раскаянию, как

будто я совершил бог знает какое преступление. Очень может быть, что этого раскаяния и не было бы, если б не новость о болезни моей матери, и проч. Может быть, без этого случая, через день, много через два, я бы опять ушел на Неву, нашел бы Митрофана (непременно Митрофана, с другим лодочником я ни за что бы не решился ехать) — и уже один отправился бы на Крестовский. Но я не говорю о том, что могло бы быть; говорю только о том, что было.

А было то, что, проснувшись на другой день утром, я долго не вставал с постели и долго думал: у меня в голове строились разные планы о том, как попасть мне в Павловск и как увидеть мать мою.

Вставши, помолившись господу богу и напившись чаю, я отправился к Аграфене и объяснил ей, что если б не проклятый Равинин, я бы непременно через полчаса очень бы скромно воротился домой и никому не причинил бы ни малейшего беспокойства.

— Кто же знал, что этот Равинин потащит меня на какой-то Крестовский остров!

— Это он к своей актрисе ездил,— заметила няня.

— А разве он на актрисе женат?

— Какой женат!

— Так как же это?

— Да так, на содержание взял.

— Как это на содержание?

— Ну, как — как! Будто не знает, эдаким ведь невинным прикидывается, скажите пожалуйста! Ох ты, кавалер! Поверь тебе только...

И няня, продолжая шить, взглянула на меня искоса, как бы желая удостовериться, как это я так хорошо умею прикидываться, и при этом губы ее улыбались.

— Ну, хорошо, прикидываюсь — я прикидываюсь; только ты мне скажи, как это, по-твоему, взять на содержание?

— Обыкновенно как: дает ей деньги... ну и живет с ней.

— Живет? Неправда, он не с ней живет: он живет на Вознесенском, а она на Крестовском острове.

— Ну, так ездит к ней, нечто не все равно...

Я понял, насколько мог понять... Новое открытие! Об этом я еще не прочел ни в одном романе. Даже если б я успел прочесть Фоблаза [26], и там, я думаю, не почерпнул бы ни одной мысли о том, что деньги дают право на любовь и проч. Видно, нет такой соблазнительной книги, которая не побледнела бы перед соблазнами самой жизни.

Вчера еще маленькую Верочку, давшую мне поцелуй,

я считал чуть ли не маленькой лесной феей; а нынче это была дочь женщины, которую купил Равинин.

Но я подошел к няне не с тем, чтоб говорить о Равинине; я стал расспрашивать ее, что слышала она от доктора о болезни моей матери.

— Слышала только, что больна; ну, а чем больна, не знаю. Прислала за Иван Павлычем и велела ему тебя привезти. А ты, кавалер, на Крестовский остров отправился амурничать.

А что, если... если она при смерти! Я ее не увижу — так и не увижу!.. При этой мысли крупная слеза скатилась у меня по щеке. Няня взяла в руки носовой платок, вытерла эту щеку и стала уверять меня, что бог не без милости.

— Знаешь ли, что я придумал? Я вот что придумал: не попросить ли мне Логина нанять лошадей? Авось он согласится нынче же отвезти меня в Павловск, хоть в телеге... А? как ты думаешь?

— А не знаю; сам его спроси,— с нерешительностью в голосе, как бы что-то обдумывая, сказала Аграфена.— Вели его позвать; ведь он упрям как лошадь, Логин-то твой. Ничего не делает... Ну, какой он, прости господи, дядька! Лучше бы за своими дочерьми присматривал...

— Я, няня, сам пойду к нему...

— Иди, коли у тебя стыда нет по людским ходить,— иди!

По всему видно, что Аграфена была за что-то зла на Логина, а зимой жила с ним в ладу и ни разу с ним не ссорилась; видно, совесть тогда была покойнее.

Я отошел и взялся за книжку в ожидании, что придет Логин. Минут через десять с этой книжкой перешел я в залу, еще спустя минут пять через галерею и мимо кухни, по задней лестнице спустился в подвальный этаж, в комнату, где обитало семейство Логина.

Я застал его дома и за работой. Старик без сюртука, в новых, чуть ли не бисерных помочах и затертом переднике сидел на деревянном табурете перед какой-то доской, утыканной сверху рядом гвоздиков, и из тонких веревочек плел охотничий ягдташ; на носу его были большие очки, у переносья перевитые черной ниткой. Жена его, Лукерья, бледная, болезненная старушка, в таких же очках, сидела под образами и что-то штопала.

Полюбовавшись на работу Логина и даже заглянувши за цветную занавеску, где одна из дочерей его, Феня, чесала косу, я сначала нерешительно, потом с большей настойчиво-

стью стал упрашивать Логина нанять лошадей и свезти меня в Павловск.

Логин отказал мне наотрез; ему явно не хотелось бросать своей работы. Как великий скептик, он даже усомнился в болезни моей матери. Из слов его я заключил, что вчера, когда Иван Павлович приезжал за мной, няни моей дома не было; что с доктором говорил он, а не Аграфена, что Аграфена не раньше, как в десятом часу, воротилась откуда-то на дрожках, хватилась меня и подняла тревогу; что доктор ждал меня не целый час, а много-много что минут десять, и что если б моя мама была при смерти, то не могла бы сама писать.

— Уж куда ему, голубчик-барин, ехать! — заключила Лукерья, сложа руки и качая головой, повязанной темным платком по-купечески,— много он на своем веку езжал, чай и кости-то у него все переломаны. Посади его теперь на телегу — десяти верст не проедет; куда он годен, батюшка-барин! А вот не хотите ли ватрушечки скушать? Паша, подай барину ватрушечки.

Я увидел, что Логина не переупрямишь. Разговаривая со мной, он не переставал работать, руки его быстро делали какие-то узелки, и седая, с маленькой плешью голова, по старой парикмахерской привычке, покачивалась, делая такие же быстрые узелки, только в воздухе. Нечего было и надеяться на его жалость или снисходительность.

Паша, старшая дочка Логина, все время возившаяся у печки, подала мне на тарелке горячую ватрушку, и я с большим аппетитом принялся уплетать ее, меланхолически оглядывая полку с помадными банками, утюгами, щипцами, Библией и другими какими-то старыми книжонками, шкаф с посудой и чашками, станок для деланья париков, картинки, примазанные к стенам, и прочий домашний скарб, более существенный. С недоеденной ватрушкой в зубах вышел я на двор и глазел на окна соседей. В душном воздухе раздавался благовест. Был какой-то праздник. «Не пойти ли лучше к обедне?» — подумал я и пошел наверх.

Няня предвидела, что Логин мне откажет. В голове ее созрел план угодить мне, назло Логину и, быть может, угодить моей матери. За этим, кто знает, быть может, таилось и другое, более сердечное желание, а именно — как можно скорее препроводить меня в Павловск, остаться на совершенной свободе и ею воспользоваться. Какой-то ветер стал ходить у нее в голове, или весна разго-

рячила ей кровь, или Глаголевский не шутя свернул ей голову.

— Хочешь ехать? — спросила меня няня, прихорашиваясь перед зеркалом.

— Хочу.

— Ну, так подожди меня, никуда не выходи, посиди здесь, почитай что-нибудь или собери те книжки, которые тебе нужнее; белье у меня давно уже приготовлено; чего с собой не успеешь взять, после можно будет отправить. А если Логин придет, смотри, ничего ему не говори, мы это дело-то и без него обделаем.

— И без него обделаем! — повторил я, решительно не понимая, как это мы его обделаем.

Заглянувши в переднюю, есть ли там кто-нибудь из лакеев, няня вышла на парадную лестницу, и я слышал, как вслед за ней кто-то запер дверь и проворчал:

— Эк ей не сидится! Не могла задним ходом пройти — барыня!

Оставшись один, я пошел по дому искать, где тот маленький чемоданчик, на который перед отъездом указывала мне мать, и нигде его не нашел; хотелось поглядеть, нет ли его в гардеробной; но гардеробная была заперта. «Фу ты, какая досада! — думал я,— хоть плачь! Во что же это прикажут мне убирать мои вещи?»

Я позвал со двора Егорку. Егорка сказал мне, что видел какой-то чемодан в комнате Юлиньки в то время, как он из лавочки принес ей два фунта черносливу, а я стоял в коридоре и прощался с Аксютой.

— Ну, верно, увезла! Что ты будешь теперь делать! Пойдем, Егорка, поглядим...

Но оказалось, что комната Юлиньки также заперта, что ключ у Фени. Я попросил позвать Феню. Пришла Феня, единственная из дочерей Логина, которая ходила наверх и прислуживала Юлиньке; я знал ее чуть не с колыбели, и ее смешные сказки долго не выходили из моей памяти. Это была живая, белокурая, среднего роста девушка. Она была гораздо красивее сестер своих; но Логин, как отец, был с нею гораздо строже, чем с другими сестрами, и, говорят, не раз таскал ее за волосы, требуя от нее признания, откуда у нее иногда появляются деньги. Как она их ни прятала, мать постоянно находила их в ее отсутствие, раз нашла пять рублей, раз три целковых, а один раз и целых двадцать рублей. Феня не сознавалась, только клялась, что не украла их и что она невинна. У этой Фени были романические наклонности; как и отец, она

любила почитывать и была мастерица снимать и рисовать узоры.

Я стал упрашивать Феню помочь мне достать чемоданчик мой из комнаты Юлиньки; та стала уверять, что никакого чемодана нет, и в этой уверенности отперла мне комнату; но чемодан с открытой крышкой нашелся на диванчике Юлиньки, рядом с целым ворохом оставленных ею юбок. Я тотчас же взвалил его к себе на плечи и понес в свою комнату, к немалому изумлению Фени.

— Не нынче завтра за мной пришлют, надо убираться,— сказал я ей мимоходом,— и она преспокойно удалилась.

Когда я вторично открыл чемоданчик, на дне его оказалось какое-то измятое письмо; я опустил его в боковой карман моей курточки с тем, чтобы при свидании воротить его Юлиньке, и принялся укладываться. Прошло все утро — Аграфена не являлась. Бил час, било два — не являлась. Так как неизвестность придавала интерес моим ожиданиям, то я и ждал мою няню с великим нетерпением. «Господи, господи! — думал я,— куда она провалилась? Что, если она меня надула? Приедет, что-нибудь соврет по-вчерашнему, и я останусь с носом. Господи, господи! все-то лгут, все-то меня обманывают!»

Но дворовые сплетни, мстительная обидчивость и другие страстишки, свившие себе гнездо в сердце моей дебелой нянюшки, на этот раз помогли мне.

Воротившись домой, Аграфена поспешно переложила мой чемодан, дополнила его кой-каким бельем, вынесла его вслед за мной на улицу, посадила меня с собой на извозчика и повезла на Обуховский проспект.

С проспекта въехали мы в ворота и потом на двор довольно большого и неопрятного здания. На дворе справа была кузница, слева чайное заведение или трактир для извозчиков; множество заложенных и незаложенных дрожек, лошадей, кулей и пустых винных бочек пестрило двор; в углублении двора, под навесом, стояла заложенная тройка; расписная дуга коренной, освещенная солнцем, ярко вырезывалась на темном фоне этого крытого навеса или углубления; в окнах заведения виднелись руки с блюдечками на растопыренных пальцах. Все это я заметил, потому что, по обыкновению, все чего-то трусил. По темной лестнице взобрались мы во второй этаж, отворили дверь, прошли какую-то кухню и очутились в комнате Глаголевского. Еще никогда я не видел такой смешной, неуютной комнаты. Кровать с ситцевыми подушками, и возле вешалка с халатом, поло-

тенцем и шинелью хозяина; старый клеенчатый диван и перед ним ломберный стол, покрытый салфеткой с синими разводами; комод с кирпичом вместо одной ножки, и на нем книги, бумаги, старинный требник с застежками и тарелка с наколотым сахаром; прибавьте к этому три стула около стен с отставшими от углов и заплесневевшими обоями. Из двух небольших окон одно было отворено; оно выходило в какой-то сад, и, несмотря на это, воздух, врывавшийся в окно, пахнул не розами и не липами, а лошадиным навозом. Единственною роскошью была большая картина с изображением полуобнаженной женщины, с закатившимися глазами, должно быть, Клеопатры. Писана же она была так, как обыкновенно пишутся наши вывески. И что за груди были у этой Клеопатры! Как я только вошел, так они и бросились мне в глаза, совершенно затмивши собой сконфуженное и все-таки сияющее лицо Глаголевского, очевидно, осчастливленного моим присутствием. Он так потирал свои потные руки, как будто мыл их, и они у него хрустели; лоб лоснился, и в горле что-то похрипывало, когда он нас усаживал и угощал.

Кофе, сахарные крендельки, масло, селедка — все это было недурно, но трактирная котлетка отзывалась дымом, и я никак не мог доесть ее.

Позавтракав, мы не теряли времени и сошли на двор. Меня посадили в рессорную кибитку, запряженную тройкой, уложили в ней мой чемодан и дали мне в руку вязанку баранков. Когда же Глаголевский в качестве моего провожатого и телохранителя уселся со мной рядом, а ямщик влез на козлы, Аграфена бросилась ко мне, стала меня целовать и умоляла заступиться в случае, если мама будет на нее сердиться. Мы тронулись.

— Кум, не жалей лошадей, да смотри, чтоб все было хорошо! — услыхал я вслед за нами голос моей няни, звонко раздавшийся под сводом проездных ворот.

— Ничего, доедем! — откликнулся старый ямщик,— и мостовая загремела под нашими колесами. Я думал, что я сплю, так все это казалось мне странно. Молодец, однако же, Аграфена! — захотела меня отправить и отправила!

Не помню, о чем именно беседовал я дорогой с моим спутником; помню только, что, по выезде из Петербурга на большую царскосельскую дорогу, Глаголевский снял сапоги и поехал в одних потных носках до самого Павловска.

ГЛАВА XIV

В тот же день, около осьми часов вечера, встреченные дождем и отдаленным гулом грома, въехали мы в каменную заставу Павловска.

Ватрушка Логина, встретившись с завтраком Глаголевского, вероятно, расстроила мой желудок, и в Павловск я приехал с головной болью. Довольно долго искали мы дачу Б ***, хотя в то время дач было далеко не такое множество, как теперь. Наконец остановились перед деревянным крылечком, выходящим на улицу и осененным с двух сторон молодыми мокрыми липами. Семен увидал нас в окно, отворил дверь, очень мне обрадовался, на руках перенес меня через мокрые ступеньки на порог и покосился на вылезавшего вслед за мной Глаголевского. Прибежала Юлинька, удивилась, обняла меня, как брата своего меньшего, и поцеловала меня в голову. Я стал расспрашивать, здорова ли мама? что с ней? и проч. и проч.

Моя мать, женщина, как и я, такая же нервная, а стало быть, и чуткая, услыхала мой торопливый шепот, позвонила и велела меня позвать к себе. Через минуту я уже был в ее объятиях. Полубольная, выздоравливающая, но еще слабая, она лежала у себя в постели. Перед ней на столике блестел колокольчик, лежала развернутая французская книжка, и аптекарская склянка ярлыком своим заслоняла небольшой футляр с часами; окно было раскрыто; оно выходило в сад; пахло дождем, и запах расцветающей сирени прокрадывался в комнату.

Я думал, что я получу выговор, хотя ласковый, но все же выговор, и за то, что не приехал с доктором, и за то, что меня вчера дома не было, и за то, что приехал самовольно, в ямской кибитке; вышло напротив: мне было сказано, что я умник и что я поступил прекрасно. Мысленно возгордившись своим подвигом, я так и оставил мою мать в этом заблуждении, так и не рассказал ей, какую роль играла няня в моем отправлении. Я был так счастлив, что вижу Юлиньку и могу целовать руки матери, что почти и забыл про Глаголевского, оставленного мною в гостиной.

Узнавши, что и он приехал, мать моя велела и его без церемонии позвать к себе в спальню. Глаголевский, войдя, низко поклонился и поглядел на образ; я думал, что он перекрестится; но он поклонился вторично и, конечно, поклонился бы в третий раз, если б мама не попросила садиться и не стала благодарить за труд, который он взял на себя, вызвавшись проводить меня до самого Павловска.

— Очень было приятно,— отвечал Глаголевский, откашлянувшись, и замолчал.

(Теперь приведу я чуть ли не в первый раз разговор моей матери, ясно отчеканившийся в моих воспоминаниях, к немалому моему удовольствию.)

— Хорошо ли он у вас учится? — спросила она про меня у Глаголевского.

Глаголевский глубокомысленно сдвинул брови и отвечал:

— Хорошо, недурно, даже очень недурно, хотя и не без того, чтоб сына вашего не посещала иногда лень, по справедливости названная матерью всех пороков.

— Эта лень часто и на меня находит,— заметила мама, улыбнувшись,— только не думаю, чтоб я от этого была порочнее; напротив, иногда и согрешила бы, да лень грешить. Однако, это дурно, что сынок мой по мне пошел,— добавила она, переводя на меня черные, проницательно-ласковые глаза свои.— Что простительно женщине, непростительно мужчине. Слышишь, Сережа, господин Глаголевский на тебя жалуется.

— Я не жалуюсь, ваше превосходительство,— отозвался Глаголевский, к немалому моему утешению,— я не жалуюсь: он учится знатно, и память у него здоровая, золотая память; вот только под диктовку пишет рассеянно, в *«ять»* и *«есть»* беспрестанно сбивается.

— Ну, этому не скоро выучишься: кажется, еще и правил таких нет. Где писать эти *«ять»*, я и до сих пор в толк не возьму — так и пишу, как случится. Раз я слышала спор Карамзина с Измайловым [27] насчет какого-то русского выражения: один утверждал, что можно так сказать, а другой клялся и божился, что невозможно. Кто из них был прав, я не поняла, только, разумеется, поверила Карамзину, потому что, если б не он, я бы и совсем по-русски разучилась — нечего было бы и читать. Сережа, отчего ты такой скучный? Или у тебя опять голова болит? Юлинька, дай ему, милая моя, мятных капель, да уж познакомь его и с Фрейманом; я ли сама его представлю или они сами познакомятся, это, я думаю, все равно. Ты, Сережа, голубчик, кстати приехал. Тебе теперь есть с кем гулять. Без этого немца тебе было бы очень неудобно: я далеко пешком ходить не люблю. Юлинька начинает хозяйничать, ей некогда, да к тому же и по-немецки пора тебе выучиться, не правда ли? А вы у нас ночуете, господин Глаголевский?

— Нет, ваше превосходительство. Покормивши лошадей

на постоялом дворе, тот же ямщик сею же ночью и повезет меня.

— Ах да, сколько ему заплатить? Юлинька, вели ему выдать деньги, поднеси ему рюмку водки или дай ему на чай, да, пожалуйста, поблагодари его от моего имени.

Юлинька вышла.

— А я к вам с просьбой, ваше превосходительство,— потупившись, начал Глаголевский,— только не смею просить.

— В чем дело?

«Что за просьба? — подумал я, не без любопытства поглядывая на Глаголевского,— уж не хочет ли он просить руки моей нянюшки? Вот будет штука-то!»

— В чем же дело? — повторила мать, видя, что тот откашливается и не начинает.

— Хочу просить вашего ходатайства. В нашей палате открывается место столоначальника: я бы мог получить его, кабы протекция; а вы, говорят, знакомы с нашим председателем. Не напишете ли вы ему хоть строчку насчет меня, недостойного раба... Кто знает! Судьбы провидения неисповедимы...

— Я была когда-то хороша с женой его; но мы так давно не видались, что... признаться, я забыла даже, как и зовут-то вашу председательшу.

— Ее зовут Авдотьей Петровной, ваше превосходительство.

— А нельзя ли написать к его племяннице, которая вышла замуж за Калистратова — одного моего очень хорошего знакомого.— Говорят, она имела или имеет большое влияние на своего дядюшку; но опять беда! опять не помню, как и ее зовут.

— А ее зовут Александрой Ивановной,— отвечал Глаголевский, заметно обрадованный готовностью моей матери написать к Калистратовой.

Мать моя улыбнулась и насмешливо-весело поглядела на Глаголевского.

— А не знаете ли,— спросила она,— нет ли у вашего председателя где-нибудь на стороне такой особы, которая бы имела на него еще большее влияние?

Глаголевский задумался.

— Вряд ли есть такая особа, ваше превосходительство.

— Почему же вы думаете, что нет?

— А потому я так думаю, что он по большим праздникам к заутрене ездит и вообще богобоязненный, да и жена у него

еще женщина не старая, потому я так и соображаю, ваше превосходительство.

— Это делает честь вашей сообразительности.

Польщенный Глаголевский просиял так, что до самых бровей покраснел от удовольствия. С этой минуты он стал развязнее, и глупая складка глубокомыслия исчезла на высоком лбу его.

— Ну, так я напишу к Александре Ивановне, только не сегодня, на днях. Письмо пошлю по почте прямо на имя ее благоверного, в Академию. Не беспокойтесь, я свое слово сдержу. К тому же вы и не подозреваете, что я очень вам благодарна. Помните, прошлой зимой, в феврале, у наших людей появилась рукопись, занесенная к нам в дом каким-то старцем, вероятно, раскольником; называлась она «Богородицын сон», и было в ней сказано, что кто читает этот сон или кто его слушает, тот очищается от всех грехов. Люди, даже эта дура Аграфена, от всей души поддалась этому обольщению; вы их разуверили, напугали их страшным судом и вечными муками; но и вам они поверили не вдруг — подослали ко мне Аксюту спросить, какого я мнения об этой рукописной галиматье. Я прочла и, разумеется, подтвердила все, что вы сказали им. Но и этим дело не кончилось: мне они также не совсем поверили, отправили повара к какому-то церковному старосте. Этот церковный староста, спасибо ему, окончательно убедил их, что этот сон больше ничего, как еретическое надувательство. Так и сожгли они эту премудрую рукопись, собравшись на квартире у Логина. Жена этого Логина страшно боялась, чтоб не разнесло печь, пришла ко мне и вся дрожит. Сами согласитесь, что с таким легким отпущением всех грехов в кармане можно решиться на какое угодно преступление, измошенничаться и провороваться самым отчаянным образом. Не будь вы, чего доброго, этот «сон» наделал бы бед. Как же мне вас не благодарить за это? Говорят, будто вы наизусть можете прочитать все часы и всю обедню. Удивляюсь, отчего это вы не пошли по духовному званию.

Глаголевский вздохнул.

— Такая, знать, звезда моя, ваше превосходительство! По разным наговорам не попал я в Академию, потом примешались разные неблаговидные обстоятельства; пришел я к попу, отцу Герасиму (по моей тетке он приходится мне родственником), пришел к нему и говорю: «Так и так, что мне делать?»

А он мне и говорит: «Попом тебе быть нельзя, в дьяконы — голос, говорит, у тебя хоть и хорош, да ты горловым

болезням подвержен, вечно с опухшим горлом ходишь; никуда ты не годишься в дьяконы; в дьячки, говорит, и не думай: пойдешь в дьячки, на порог тебя не пущу — придешь, постоишь в передней да так и уйдешь, хоть ты мне и родственник, седьмая вода на киселе; ступай в монахи или выходи лучше из духовного звания; есть у меня случай, запишу тебя в канцелярские; может быть, говорит, ты и пойдешь по следам Сперанского, и пойдешь, говорит, и пойдешь...»

— Ну, это не совсем безопасно — ходить по следам Сперанского; эдак или в ссылку, или в Сибирь попадешь [28],— заметила мать, разглядывая физиономию Глаголевского и как бы вслушиваясь в каждый звук его голоса.

— Избави господи! Я этого не хочу; мне бы только хоть столоначальником — я больше ничего не хочу, по ограниченности моих желаний. И хочу я этого звания не ради честолюбия, а ради бескорыстия. Получая по окладу, буду малым доволен — буду всячески оберегать себя от сетей лукавого.

— От какого лукавого?

— Да от каждого просителя, приходящего к нашему столу: редкий из них не сует или двугривенного или пятиалтынного; нищий какой-нибудь — и тот сует. Да так суют, ваше превосходительство, что не успеешь головы отвернуть, как уж под бумагой и лежит динарий или сребреник.

— Ну, и что же, вы берете?

— Взять, думаешь, грех, да и не за что — все зависит от столоначальника, а не взять — еще хуже — скажут, заважничал, чего доброго, еще и из службы выгонят. Поневоле иногда берешь, чтоб не испортить репутации.

— И у вас все берут?

— Все до единого, ваше превосходительство, просто за великое бесчестие почитают не брать — такой порядок, ваше превосходительство.

— А председатель?

Вопрос этот, неожиданный как удар по лбу, заметно испугал Глаголевского.

— Председатель! — сказал он, видимо, колеблясь,— председатель богат, ваше превосходительство, два дома нажил. К тому же он старик богобоязненный. А клевета кого щадит? Кто берет взятку, тому кажется, что ее все берут. Будь я столоначальником, ваше превосходительство, стал бы бороться — на то и человек, чтоб бороться.

Мать моя так на него посмотрела, как будто хотела сказать: «Ну, ты вряд ли бороться станешь!»

— Дайте мне честное слово,— сказала она,— что вы никогда, ни от кого взяток брать не будете.

Это было так сказано, что Глаголевский опять испугался. Он, я думаю, в жизнь свою еще не слыхал такого странного желания, устремил на нее мутно-голубые глаза и, верно, думал: тебе-то что, буду ли я брать или не буду! Вот удивительная женщина!

— Присягу дам, ваше превосходительство,— пробормотал он, покрасневши и потупившись.

— Хорошо! — энергически сказала больная,— хорошо! я когда-нибудь приведу вас к присяге... Погодите, будет время — взяточников не будет, и придет это время, как *тать в нощи* [29], прежде, чем вы ожидаете, раньше, чем вы воображаете!

Глаголевский слушал ее и ничего не понимал. «Уж не страшным ли судом она меня пугает!..» — подумал он. А что он это подумал, я это заключаю из следующих слов:

— Да, ваше превосходительство, недаром сказано: «О дне же том и часе никто же весть».

— Впрочем, пора вам отдохнуть, да и я устала с вами беседовать,— сказала моя мать уже совершенно другим, как бы вдруг упавшим голосом.— Прощайте, Василий Васильевич. Дай вам бог успеха!.. Сережа, затвори окно, или — нет, сейчас придет девушка, она затворит. Ступай!

Мать моя позвонила, и мы вышли, уступая место ее горничной.

ГЛАВА XV

По выходе из спальни матери я обежал всю дачу, и странно было мне видеть знакомую мебель в незнакомых комнатах. Тот ломберный стол, на котором когда-то при мне играли в банк, стоял на террасе, выходившей в садик; на столе кипел самовар, Юлинька заваривала чай. Из-за высокой жестяной сахарницы, поставленной на стул, выглядывала морда какой-то собаки. Я сейчас же узнал, что ее зовут Павлином и что она добрая: взял из корзинки сахарный кренделек, попотчевал этого четвероногого Павлина и сразу заслужил его истинно дружеское ко мне расположение.

Но когда я растворил настежь дверь в отведенную мне комнату, то остановился, пораженный тою нечаянностью, которую предчувствовал. У окна сидел мой новый гувернер, и вся его фигура, с горбатым носом (à la Schiller *), с коро-

* как у Шиллера *(фр.)*.

теньким чубуком в зубах и с длинной, фарфоровой трубкой, бросившись мне в глаза, почему-то показалась мне одного сплошного цвета, а именно какого-то темно-серого.

Увидав меня, он пошевелился, положил на окошко какую-то книгу, вынул из зубов круто загнутый роговой мундштучок, произнес:

— А! — и сквозь волну табачного дыма протянул мне руку; но я, не оглядевши комнаты, даже не заметивши в ней двух приготовленных постелей, побежал назад к Юлиньке и, взволнованный, спросил ее:

— Юлинька! Где же я буду спать? У меня голова болит — я хочу скоро спать лечь.

— Ты будешь спать в своей комнате!

— А где же будет этот немец спать?

— Он тоже будет спать в твоей комнате.

— Как!.. Ни за что на свете!..

— Да больше и негде. Мама так распорядилась.

— Пойду сейчас к маме и скажу ей, что при немце я не могу ни раздеваться, ни спать, ни... ничего... не могу... Вот еще что выдумали! Стану я при немце!..

— Мама легла спать, и ты не ходи к ней, не тревожь ее...

— Я лучше на чердак пойду ночевать.

— Вот это будет забавно! Только на чердаке теперь сыро да и крысы бегают; чего доброго, еще тебе нос откусят... Ах, какой ты капризный! И чего бояться, сам посуди, что он может тебе сделать? Твой Фрейман вот уже третий день как у нас, и предобрый-добрый; даже мне вчера утром принес откуда-то целый букет ландышей.

— Не могу, не могу...

— Ну, как хочешь.

Юлинька преспокойно стала разливать чай; а я надулся, мысленно бранил себя, зачем приехал; даже об Егорке вспомнил. «Завтра бы опять на Неву ушел, на Крестовский бы...» — мелькнуло у меня в голове.

Одним словом, я раскапризничался так, как обыкновенно капризничают судьбой и людьми избалованные мальчики. Голова у меня болела сильнее и сильнее, чай не помог, мятные капли также не помогли. С горя ушел я на крыльцо, выходящее на улицу; но и там застал неприятную сцену: Глаголевский без картуза сидел на верхней ступеньке, подостлав под себя свой собственный клетчатый носовой платок. Перед ним, нагнувшись и опустивши поднос, стоял Семен и, пока тот брал стакан с чаем, вполголоса грубил ему.

— Не в свой огород залезаете,— услыхал я,— как бы в шею кто не наколотил...

— Таких, брат, как ты-то, я и десятерых в бараний рог согну. А тебе до меня дела нет. Сам про себя промышляй, коли ты не мокрая курица. Вот что!

— То-то не мокрая курица! — отвечал Семен, упирая глаза свои в кустик волос на высоком челе Глаголевского.

Очень может быть, что мое неожиданное появление помешало Семену найти в уме своем более энергический ответ Глаголевскому, и его язык бессознательно повторил последние слова его. Глаголевский же щурил глаза, на лбу его выступали красные пятна, а в руке ложечка медленно размешивала в стакане сахар. Семен ушел и в дверях своим подносом чуть было не задел по голове моей. Глаголевский, отхлебнувши стакан, поставил его возле себя на ступеньку и сказал мне, что, напившись чаю, он пойдет.

— Куда?..

— Промяться. Да надо вот спросить, где постоялый двор, узнать, долго ли тройка-то наша тут отдыхать будет. Ямщик-то запьет, пожалуй, чего доброго. Тоже, чай, любит выпить.

Вероятно, Глаголевский сообразил, что оставаться ему не следует, потому что Семен, чего доброго, по глупости, опять как-нибудь нагрубит ему. Ведь от слов и до потасовки недалеко, а затеять шум да драку на крыльце или где-нибудь поблизости — скандал! Чего доброго, потеряешь последнюю рекомендацию.

Практический человек был этот Глаголевский, несмотря на все свое умственное и нравственное неуклюжество.

А Семен, я думаю, и не стал бы с ним драться. Глаголевский был детина ражий, а Семен был малый на вид зело щедушный; но так как в наружности его было нечто гордое, так как даже за столом, с тарелкой, он стоял иногда, отставив ногу и надменно приподняв голову, то... кто знает, чем бы это кончилось. Чего не бывает там, где замешается ревность или оскорбленное самолюбие! Думал ли Семен, нередко завивавший свои волосы и носивший сапоги со скрипом, что этот вещатель загробных тайн, этот рассказчик разных душеспасительных историй отобьет у него сердце Аграфены!

— Ну, прощайте, мальчик! — сказал Глаголевский, допивши свой чай.— Что прикажешь сказать няне, коли увижу?..

— Что сказать няне! Прощайте! Скажите ей, что у меня сильно голова болит, так болит, что индо глаза слипаются.

— Ты смотри, опять не захворай!

— Захвораю, нарочно захвораю!

— Что так?

— Да так! Скажите няне, что у меня немец будет спать в одной со мной комнате. Может быть, злой-презлой, почем я знаю?.. Ну, прощайте! Да вот отвезите ей от меня на память этот сахарный кренделек... Погодите, я его во что-нибудь заверну.

— Ничего, давайте. Я его к себе положу в карман. Да вот, кстати и бумажка нашлась... А немец — это ничего. Я однажды с одним пьяницей на одной постели спал, так вот это омерзительно: такой был свинья, что хуже ничего и не выдумаешь; хорошо еще, что у самого в голове трезвонило. А что немец! — немец иной раз лучше нашего брата умеет вести себя. Ну, прощайте!

Я отпустил его от себя не без сожаления. (Вот что значит привычка, какую силу она имеет в детстве! Я так же, как и к няне, привык к этому Глаголевскому, даже любил его.)

Сильная головная боль и некоторая доза мнительности при этом заставили меня на все согласиться. Воспользовавшись отсутствием Фреймана (Юлинька, вероятно, с умыслом вызвала его на террасу), я лег спать, уткнув голову в подушку и заснул мертвым сном.

Помню, как на другой день утром проснулся я, почувствовав на голове своей чью-то сухую и теплую руку. Я быстро поднял голову и с испугом поглядел вокруг себя. Передо мной стоял мой немец.

— Nun mein liebes Kind! Wie jetzt. Es ist Zeit aufzustehen *,— услыхал я впервые непонятные мне звуки немецкого говора; но слова эти, часто потом повторяемые, остались у меня в памяти.

Я встрепенулся, быстро натянул на себя одеяло и покраснел так, как покраснела бы молоденькая пятнадцатилетняя девушка, если б вдруг разбудил ее так рано незнакомый мужчина. Это значит, что я переживал еще, так сказать, девический период моего детства, точно так же, как некоторые девушки переживают в детстве период мальчишества, или то счастливое время, когда им нипочем бороться с мальчиками, лазить с ними по деревьям или в снежки играть; словом, то время их райской невинности, когда все то и дело стыдят их или ворчат на них, как бы торопя их к стыдливому сознанию своего пола или поселяя в душе их пугливое предчувствие какого-то будущего падения.

Окружающие меня не торопили меня к гордому сознанию, что я мужчина и что, стало быть, не подобает мне чего-нибудь стыдиться. По своим понятиям я был выше лет своих,

* Ну, мое милое дитя, теперь пора вставать (*нем.*).

по инстинкту же оставался едва ли не таким же ребенком, каким и следовало мне быть. Так иногда бедная девочка, брошенная судьбой в среду грязного разврата, много видит, много слышит, но в глубине души, до поры до времени, может оставаться чистой и инстинктивно целомудренной. Я встречал таких девочек, и вовсе не удивляюсь тому, что мне, уже не раз размышлявшему о том, что такое любовник, почему-то было стыдно в это утро одеваться при незнакомом немце.

Неумытый и непричесанный, долго стоял я среди комнаты, как потерянный, и если б не пришел Семен с рукомойником, я так бы и не знал, что мне делать...

С свежей головой, в тени свежего утра и опять перед самоваром встретился я с Юлинькой и встретил Павлина, моего нового приятеля.

— Ну, что ты поделывал в городе? рассказывай! — заговорила Юлинька.

— Ах! что я делал... мало ли что я делал. Нельзя же всего рассказывать!

— Отчего?

— Да так... Со мной были такие удивительные, необыкновенные приключения, что... лучше и не спрашивайте. Скажите-ка лучше, как вы-то здесь без меня поживали?

— Ничего, так себе,— утром занимались, потом гуляли в парке, потом обедали; бывали и гости у нас, разные новости рассказывали; вечером ездили кататься. Около нас на даче живет одна... впрочем, ты ее не знаешь.

— Кто такая?

— Живет княгиня Малыгина. Был у нас раза два Набатов.

— Ну, и очень с вами любезничал?

— Очень любезничал. Однако, пей твой чай. Семен, готов ли кофе для Ивана Богданыча?

— Я уж ему снес.

— Хорошо.

— Итак, с вами не случилось ничего необыкновенного?

— Разве есть что-нибудь необыкновенное?

На этом разговор наш и кончился. А мне хотелось, чтобы она пристала ко мне с расспросами, какие такие были со мной приключения; я бы рассказал ей, как меня поцеловала какая-то незнакомка на *пустынном* Крестовском острове; мне было бы приятно, если б Юлинька не вдруг мне поверила; мне было бы лестно показаться в глазах ее романическим героем. Но равнодушная Юлинька, к великой моей досаде, и не подумала меня расспрашивать. Казалось, она была нелюбо-

пытна, как птичка: при птичке что хочешь говори и делай, только не целься в нее или не лови ее, и она не обратит никакого внимания. Казалось, она выслушивала все, что ей говорили, а уходя и не думала о том, что слышала,— но это только казалось.

ГЛАВА XVI

Мне было бы очень легко общими чертами изобразить и мое поведение, и мои успехи, и мое времяпрепровождение в Павловске и, таким образом, сократить труд свой на несколько глав; но не такова моя задача — я хочу припомнить все, что на меня влияло (как бы ни было ничтожно это влияние), и как я вел себя *не вообще*, а при каждом случае, данном самою жизнью и уцелевшем в моей памяти.

Тогдашний Павловск, по своей природе, был тот же Павловск, но несколько иной по характеру, ибо каждая местность, часто посещаемая людьми, приноравливается к движениям времени; там, где она не изменилась, не запустела, не обстроилась и даже не огородилась, там время и не двигалось, как не двигается воздух в каком-нибудь душном погребе или вода в болоте. Путешествие из города в Павловск в то блаженное время сопряжено было для бедных людей с расходами, иногда немаловажными. Обыкновенно летом поднимались в дорогу рано утром, брали с собой чай, белый хлеб, сыр, разные закуски и отправлялись туда гулять на целый день, целыми семействами. Обратный путь совершали ночью, насладившись всеми прелестями парка, теплотою погоды, счастьем незабвенных встреч с лицами царской фамилии или наоборот — измокши, продрогнувши и почти никого не встретивши. Ночевать можно было в одной только далеко не поместительной и не комфортабельной гостинице. Обыкновенно приезжавшие в Павловск рассчитывали на ночлег у кого-нибудь из своих знакомых или родных, нанимающих дачи; дач же этих, как уже замечено, было далеко не так много, как теперь.

Несмотря на это, оттого ли, что в Петербурге было больше господ, у которых не переводились ни экипажи, ни лошади; оттого ли, что Царское Село было любимым и в то время почти постоянным местопребыванием государя, а стало быть, и всех его окружающих; оттого ли, что сам Павловск вмещал в себе три двора: двор вдовствующей императрицы и двух великих князей: Николая и Михаила Павловичей; оттого ли, что Павловск особенно всех чем-то привлекал

и всем нравился,— только и тогда не был он пуст в летние месяцы, и тогда вы могли встретить по дорожкам парка множество гуляющих, особливо в воскресный или табельный день [30]. Но теперешний, почти демократический Павловск, с его железной дорогой, воксалом, кафе-ресторанами и скамьями, окружающими ту эстраду, с которой гремит оркестр и где заезжие артисты оканчивают последний взмах своего смычка под гром рукоплесканий публики, шесть раз примчавшейся туда из города, в двадцати шести длинных, битком набитых вагонах,— этот, говорю я, теперешний Павловск был в то время в полнейшем смысле слова аристократическим. Чиновники или купчики того времени, прикатившие туда погулять, чувствовали себя как в чертогах у волшебного принца, на все смотрели с чувством какого-то умильного благоговения и в этом чувстве, разумеется, находили немалую дозу отрады и утешения. Некоторые обыватели скромных уголков Петербурга о своей поездке в Павловск рассказывали с таким же оттенком польщенного самолюбия, как если бы были приглашены и только что воротились с обеда от графа А. или с вечера от княгини Б.

Если я тогдашний Павловск называю по преимуществу аристократическим, то можете сами вообразить, сколько там было затей, цветов, павильонов и музыки! Какие волшебные вечера для августейших хозяев, и для званых и для незваных гостей протекали там, среди блеска иллюминованных дорожек и мостиков, среди украшенных гирляндами киосков или на площадке около Розового павильона, по окнам которого мелькали тени танцующих, а из-за гардин сверкали огни и позолота! Бальная музыка далеко там слышалась, как бы замирая в тени деревьев или расплываясь в лунном сиянии. Можете сами представить себе, сколько там по утрам было изысканной простоты, а по вечерам упрощенной роскоши. Каких хорошеньких фрейлин можно было там видеть и каких почтенных и добродетельных встречать старушек! Сколько ныне забытых имен (которые, впрочем, и теперь бы ожили, если б кто-нибудь принялся за нелицемерную историю нашего русского общества) в то время звучало там то грозной, то благотворно-влиятельной, то знаменитой, то просто знаменательной современностью! Произнесите теперь: Аракчеев! — и ничего, как будто его никогда и не было; [31] а тогда — о! тогда звук этого имени повергал в трепет, поселял уныние, возбуждал ненависть или страшное желание поподличать... Sic transit gloria mundi!*

---

* Так проходит слава мира! *(лат.)*

Вместе с забытыми именами там гуляло и мое забытое отрочество!..

Иван Богданович Фрейман постоянно в семь часов утра будил меня, после чаю давал мне урок немецкого языка, для начала изъясняясь со мной на плохом французско-швабском наречии. Потом мы шлялись с ним почти до обеда, потом и после обеда вечером тоже шлялись. С небольшим в два месяца я стал уже понимать и болтать по-немецки. Не метода преподавания (у него и не было никакой особенной методы), а просто моя память помогала мне. Фрейман, человек лет около пятидесяти, похудевший толстяк, с осунувшимся лицом и длинным, меланхолически-понуренным носом, был идеалист, каких в то время немало было между необрусевшими немцами. У него была привычка в часы отдохновения сидеть с открытым ртом или поднимать к небу унылые глаза, как бы ища в облаках ответа на мучившие его вопросы. Иногда, среди долгих размышлений, неожиданно произносил он несколько стихов из Уланда или Шиллера [32]. Иногда, во время наших прогулок, посреди объявшего нас зеленого сумрака и полуденной тишины, я замечал, как навертывались на глаза его слезы. Видно было, что старик тосковал, оплакивал какую-то жизнь, какие-то тяжелые для него утраты, что, впрочем, не мешало ему срывать васильки, делать из них небольшие букетики и относить их моей матери или вручать выбежавшей к нам навстречу Юлиньке.

— Ах, дитя мое! дитя мое! — сказал он мне однажды, подавляя вздох,— я молчу, потому что мне не поверят, а я был богат, у меня был замок, была жена, был сын. Сын убит в битве с французами, замок наполовину разрушен теми же французами. Жена, которую я страстно любил, моя милая, незабвенная Шарлотта, с ума сошла и умерла. Проклятый Наполеон — этот бич народов и бич свободы — сокрушил мое благоденствие. Я не знал, куда бежать, и бежал в холодную Россию; не знал, что делать, и пошел в гувернеры. Ах, дитя мое! если бы вы знали, как нелегко мне доживать век свой в чужой земле, вдали от родных развалин и родных могил....

Затем опять следовали проклятия Наполеону, врагу свободы, как будто в Германии до него была какая-нибудь свобода, кроме поэтической [33]. Враг национальностей — да, но не враг того, чего почти во всей континентальной Европе не было, а между тем не одному моему Фрейману казалось, что Наполеон — и враг, и нарушитель свободы. Это кажущееся нарушение свободы не прошло без последствий: жажда воскресить будто бы погибшую, а в сущности и не

существовавшую свободу овладела духом наций, боровшихся с военным деспотизмом стопобедного императора...

Итак, мой бедный немец оплакивал не только свою семью, но и какую-то свободу! Глядя на него, мне как-то не верилось, что у него был замок, что он был любим какою-то Шарлоттой и имел воинственного сына. Так, с одним чемоданчиком, бедно одетый господчик, прибывший в уездный городок в качестве учителя, никого не уверит, что в столице он был знаком с министром, что княжна Миллионари была влюблена в него, что баронесса Крупп предлагала ему взаймы двадцать тысяч и что он вообще пользовался необыкновенным счастием,— хотя бы он и говорил совершенную истину. Но мечтам о каких-то золотых днях, о какой-то загадочной свободе, о заре, встающей над темным человечеством,— этим мечтам, глядя на лицо Фреймана, я невольно верил. Охотно учил наизусть стихи из Гете и Шиллера (даже не всегда понимая их) и смотрел в раскрытые страницы «Flegeljahre» * Жана Поль Рихтера [34], как в темную пропасть, на дне которой таятся светлые родники и неисчерпаемые сокровища и где только я, ничтожный смертный, ничего разглядеть не в состоянии. Шиллер, Жан Поль и мой сентиментальный, философствующий и в какой-то мировой любви ищущий себе удовлетворения немец, наконец, уединенные места павловских садов и окрестностей — все это как нельзя лучше совпадало с моими отроческими настроениями, с моей фантастической головой и влюбчивым сердцем, хотя, увы! я уже не был по-прежнему влюблен в нашу Юлиньку. Радужные мечты, так же, как и небесные радуги, блестят недолго: капли дождя не могут слишком долго сверкать в виде зеркального веера перед пылающим солнцем. От ниспавших капель, в эти теплые дни, перед моим отрочеством поднимался розовый туман, и вся действительность, казалось мне, плавала в причудливо зыблющихся волнах его.

Любовь к Юлиньке перешла для меня в чувство в высшей степени неопределенное, в какое-то постоянное непостоянство. Я встречал хорошеньких гувернанток, гуляющих с детьми, и красивых девочек, гуляющих с пожилыми и строгими на вид англичанками, и, вероятно, эти встречи, эти новые полудетские личики своим сиянием затмили образ Юлиньки. Я никогда не успевал порядочно разглядеть моих красавиц, но мечтал об них, и на другое утро, пробегая дорожками парка, думал найти их на том же месте, под теми же де-

---

* «Озорные годы» *(нем.)*.

ревьями, в той же тени, где вчера я видел их, и, разумеется, не только на том же месте не встречал их, но, по большей части, никогда уже и нигде потом не имел счастия видеть их.

Все это было и очень смешно, и глупо,— но что было — то было. Я желал бы знать, доступны ли такие ранние фантазии детям людей рабочих, окруженных нуждой или грубым невежеством? Смею думать, что природа не справляется с состояниями и с обстановкой: родись я нищим, я бы также мечтал в десять лет — только мечты мои были бы иного склада, получили бы иное направление. Подрумяненный калач на лотке или сахаром подбеленный пирог на окне кондитерской, конечно, отвлекли бы меня от желания заглядывать под шляпки хорошеньких девочек. Полуголодный ребенок, я бы мечтал о чем-нибудь более существенном. Мечта поцеловать красавицу и мечта стянуть с лотка пряник или яблоко одинаково могут быть заманчивы и одинаково мучительны. Как я никогда бы не решился подойти и поцеловать незнакомку, так и нищий мальчик, вероятно бы, не решился подойти и украсть что-нибудь съедомое; но ни та, ни другая мечта не прошла бы без влияния на жизнь, то есть на будущий образ мыслей и поступки взрослого.

Мать моя выздоравливала, но все еще работала или читала, сидя в постели. В дождливые дни (а их-таки было немало) она призывала меня к себе и заставляла меня читать ей что-нибудь по-русски. На ее столике находил я все тогдашние газеты и номера журналов. Никогда не забуду, как в первый раз я читал стихотворения Рылеева: я читал их с чувством, но они, признаюсь, мне вовсе не казались гражданскими; я был слишком незрел для того, чтобы читать между строчками. Стихотворения Пушкина, попадавшиеся в «Полярной звезде», мне больше нравились, и я их списывал.

Однажды я спросил мать мою, отчего Равинин не любит Пушкина, и здесь произошел целый разговор, выяснивший для меня некоторые черты его характера.

— Оттого, душа моя, Равинин не любит Пушкина, что самолюбив как черт. Пушкин как-то под веселый час в обществе сострил над ним. Вот он и не может этого забыть. Впрочем, они приятели, и я помню, бывало, Равинин беспрестанно попадался мне на Невском ни с кем другим, как с Пушкиным. Пушкин раз сказал Ч—ву: «Эх, брат, ужасно как мне трудно моими стихами угодить этому Равинину: вечно к пустякам прицепится; но за это-то я и люблю его: смерть хочется написать что-нибудь такое, чтоб даже и Равинину могло понравиться». Но я и тогда подумала, что вряд

ли когда-нибудь Пушкин угодит ему. Равинин никого и ничего хвалить не любит. Для него тот и хуже, кто его умнее; тот и глуп, кто его даровитее. Рано стали поклоняться ему в обществе, как какому-то фениксу,— вот он и вообразил себе, что он феникс.

— А вы не помните, как это Пушкин сострил над ним?

— Рассказывали мне, только я не помню; знаю только, что, по милости Пушкина, в некоторых кружках стали Равинина называть *Раввином*, а иногда *Равви*, то есть учитель по-еврейски...

— Ну, хорош учитель! не дай бог такого учителя.

— А не будь он богат, мог бы учить,— говорят, отлично знает математику. Бывши офицером семнадцати лет, он прочел несколько лекций в артиллерийской школе — разумеется, из тщеславия. Батенков [35], который не хуже его знает математику, говорил мне, что Равинин мог бы далеко пойти при его знаниях и честолюбии.

— А он был военный?

— И знаешь, отчего вышел в отставку? На каком-то смотру какой-то генерал, его начальник, назвал его лошадь *клячей* — очень может быть, шутя назвал или потому только, что он не успел вовремя подскакать к нему. Из-за этой клячи вышла целая история. Равинин вышел в отставку, чтоб иметь право вызвать на дуэль своего бывшего начальника; этого, однако же, он не сделал, но придумал другого рода мщение: обиженную лошадь он отправил в Англию на скачку в уверенности, что она выиграет приз. И все это придумал он для того, чтобы в случае удачи написать своему бывшему командиру записку следующего содержания: «Ваше превосходительство, моя кляча состязалась в Англии с такими-то скаковыми лошадьми и такого-то числа на скачке выиграла приз, о чем я имею честь уведомить ваше превосходительство». Но и это не удалось: несчастная лошадь при высадке на английский берег споткнулась на какой-то доске, зашибла ногу и охромела; так ее там и продали какому-то заводчику. Не знаю положительно, так ли это было; повторяю только то, что мне самой рассказывали; во всяком случае, это очень вероятно.

— А он разве богат, мама?

— Разумеется.

Почему *разумеется*, я не допрашивал. Тут пришло мне в голову обратиться к матери с вопросом, не знает ли она кой-чего о той актрисе, которая... и проч. и проч.; но подумал — и не решился ее об этом спрашивать. Полагаю, что и прекрасно сделал, что не решился. Мать моя, конечно,

в свою очередь спросила бы меня, откуда я это знаю? Я бы, конечно, пробормотал, что я это слышал. «А от кого ты это слышал?» — спросила бы она и довела бы меня до полного признания, а на мою Аграфену и без того собиралась гроза.

Только что мать моя послала письмо к Калистратовой с просьбой похлопотать за Глаголевского, как получила письмо из дому от своего бывшего парикмахера-башмачника и моего дядьки — Логина.

В письме этом, как видно, писанном им самим в продолжение многих дней и таким почерком, как будто каждая буква была взята им с бою и поставлена на бумагу измятая, хромая и в то же время сбирающаяся улизнуть, Логин разливался в жалобах: он писал, сколько беспокойства наделал ему внезапный отъезд мой, совершенный *крадучим образом*, жаловался на ехидные козни Аграфены, на ее шашни с Глаголевским, вообще на ее соблазнительное поведение, будто бы позорящее дом наш.

ГЛАВА XVII

Я знал одну барыню, бежавшую от мужа с корнетом, барыню далеко не безукоризненного поведения (с моральной точки зрения), но до такой степени строго наблюдавшую за нравственностью своих горничных, что, пользуясь крепостным правом, она колотила их за малейшее отступление от той морали, которой сама следовать вовсе не находила за нужное. Знал я также одного шулера, который от камердинера своего требовал безукоризненной честности, и если б тот осмелился на пять копеек надуть его — он бы немедленно наказал его. Не доказывает ли это, что у некоторых господ, под влиянием крепостных отношений, в мозгу слагалось нечто вроде привилегированного права как на всевозможные добродетели, так и на всевозможные пороки и слабости,— права, которое они ни за что не хотели уступить людям темным, менее их цивилизованным? Мать моя, несмотря на все ее хорошие качества, все-таки была барыня. Ее нисколько бы не встревожило, если б она узнала, что подруга ее, влюбившись, наделала кой-каких глупостей; но письмо Логина ее встревожило. Страсть моей няни к Глаголевскому показалась ей чуть не преступлением. Если б мы были в городе, очень могло бы случиться, что моей Аграфене и трех дней не позволили бы остаться в доме; но, к счастью Аграфены, мы были в тридцати верстах от города.

— Как это ты уехал? — спрашивала меня разгневанная

мать,— как ты мог потихоньку уехать, так уехать, что даже Логин ничего не мог знать о твоем отъезде!

Я рассказал ей, как было дело.

Она в утреннем чепце продолжала ходить по террасе. Я глядел ей в лицо и машинально гладил Павлина, который обнюхивал карман мой и вилял хвостом.

— Значит, Логин сам не хотел проводить тебя — а? Но что такое у нее с этим дураком Глаголевским?

— Не знаю,— отвечал я, покраснев до ушей.

— Ты краснеешь, значит, что-нибудь да знаешь.

— Что мне знать, мама?

Мать моя непременно бы догадалась, что я лгу; уже брови ее сдвинулись и черные большие глаза холодно остановились на моем лице, я уже почувствовал на лице их жгучую проницательность, как вдруг — с щеткой в руке и с тряпкой на плече, в дверях показался Семен, бледный от внутреннего волнения.

— Что тебе? — полуобернувшись, спросила его мать моя.

— Я знаю-с...

— Что ты знаешь?

— Аграфена вешается на шею к этому учителю, и... и я сам видел...

— Что ты видел, я тебя не спрашиваю,— перебила его мать моя,— я только спрошу тебя: ты сам вешаешься ли к кому-нибудь на шею? Или — если какая-нибудь дура повиснет у тебя на шее — придешь ли ты жаловаться? А?

— Я... так только к слову...

— Пошел! тебя никто не звал и никто тебя не спрашивает!

Семен ушел заметно сильно сконфуженный, но я был в душе глубоко ему благодарен. Его появление почему-то вдруг повернуло в другую сторону мысли моей странной матери. За минуту она была барыня — и вдруг стала рассуждать так, как бы рассуждал какой-нибудь философ в конце осьмнадцатого столетия; но такое суждение кончилось выводом, до которого можно дойти только по женской философии, а именно, что виноват один только Глаголевский, и виноват не потому, что он человек такой же, как и все, а потому, что он учитель.

— И этого скота я еще рекомендовала в столоначальники! — сказала она,— и это было ее последнее гневное слово. Затем она сошла в сад и стала обламывать сухие ветви.

Приехал Набатов и влетел на террасу. Павлин зарычал, но я придержал его за ухо. Михаил Матвеич, или попросту

Миша Набатов, увидел в саду мать мою и стал ей раскланиваться.

— Вот еще волокита приехал! — заметила она в ответ на его поклоны и, видя, какую озадаченную физиономию скорчил при этом юный гость, засмеялась.

— Кто? Я волокита?! О, мадам Чалыгина! Я желал бы вечно волочиться по вашим следам, но это бы значило — куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Что вы щиплетесь, как рак,— это я знаю, но чтобы я была с копытом — это вы ошибаетесь: я не лошадиной породы.

— В каком смысле — в каком ужасном смысле вы принимаете слова мои! — сказал красавчик Набатов, как-то особенно блеснувши глазами, улыбаясь и в то же время делая жест, выражавший скорбь и отчаянье.

— О, несравненная мадам Чалыгина!..

— Поздно, поздно, cher monsieur Nabatoff!* сравнение уже сделано.

— Да я хотел сказать... Я совсем не про вас хотел сказать...

— Поздно — не виляйте! Я сержусь и ухожу одеваться... Сережа, оденься и ты: мы поедем вместе.

— А я? — спросил Набатов.

— А какое мне до вас дело?

И Набатов понимал, что мать моя нисколько не сердится, и мать моя понимала, что такой выходкой не рассердишь этого Мишу, хоть он и прикинется надувшим губы. Из этого взаимного понимания и выходили такие забавные разговоры. Набатов же, как уже я раз заметил, любил играть словами, каламбурить и дурачиться, как обыкновенно дурачатся все повесы в присутствии дам, прощающих их молодости. Молодость — это такой грех, который всего охотнее прощается теми, кто ему завидует. И если б этот смертный грех был вечен, то есть мог бы продолжаться до восьмидесяти лет, человечество пошло бы иным путем и не придумало бы тех скучных законов, которые оно придумало. Для Набатова, когда он был в таком обществе (а он особенно любил женское общество),— для Набатова, например, был закон не писан, и за это одни его любили, другие не выносили его присутствия. Но странная вещь, он и мне почему-то не очень нравился,— он, казалось, не только был по своей природе ветрен, но и желал казаться ветреным. Из-под его веселого простодушия выглядывала кошачья хитрость. Я иногда

---

* дорогой господин Набатов *(фр.)*.

очень смеялся, когда он шалил, но не любил его, да и он мало обращал на меня внимания — все больше ухаживал за Юлинькой.

Чрез полчаса, уже одетый в синюю курточку с черными шнурками и серебряными пуговицами в три ряда (вроде чего-то гусарского) вспрыгнул я в кабриолет и уселся возле моей матери, одетой по последней моде, с большими, белыми, страусовыми перьями на шляпе. Набатов выбежал нас провожать — и мы поехали. Но Набатов уцепился как-то сзади, между рессорами, и таким образом, к немалому моему удовольствию, проехал с нами до половины улицы; потом соскочил, упал и, пока я хохотал, он вытирал то свое колено, то свою прокатившуюся по дороге шляпу.

Мы проехали мимо дворца и направили путь к заставе по дороге в Царское.

— Мама!

— Что, душа моя?

— Вы давно познакомились с Набатовым?

— Не помню, давно ли; кажется, в театре князь Ладомиров его ко мне в ложу отрекомендовать привел.

— Какой он веселый!

— Будет ли из него путь, господь его ведает. Странный молодой человек! И за дамами, и за влиятельными лицами ухаживает. Логин завивать актрис ходил — за кулисами его видел, а старик Аким Александрович у архиерея встречал его и уверяет, что это пренабожный молодой человек; одним словом, наш пострел везде поспел. Надо на всякий случай предупредить Юлиньку, чтоб она ему не слишком позволяла вольничать.

За этим последовало молчание; лошадка бежала скорой рысью, страусовые перья развевались; за нами клубилась пыль, день был знойный; я стал думать о Юлиньке и вспомнил о письме, которое я нашел на дне своего чемоданчика. «Неужели это я потерял его,— думал я,— досадно!»

— Мама,— спросил я,— как вы думаете, если б я нашел чье-нибудь письмо, можно мне прочитать его?

— Запечатанное? — спросила мать.

— Нет, не запечатанное, а так, листик.

— Все-таки нельзя — подло подглядывать за чужими мыслями, если только...

— Bonjour! Bonjour! * — зазвенел женский голос из коляски, проезжавшей мимо. В коляске сидела полная, пожилая барыня, также по моде одетая, в такой же шляпке,

---

* Добрый день! Добрый день! *(фр.)*

но не с белыми, а с синими страусовыми перьями; с нею были еще девицы, одна — блондинка, другая — брюнетка; на запятках, держась за кисти, стояло два лакея в треугольных шляпах. Это каталась княгиня Малыгина с своей воспитанницей и ее гувернанткой.

— Я все забываю, что она была у меня с визитом,— сказала мать.

— А мы куда едем?

— В Царское.

Это значит, опять туда же, подумал я, и на мое расположение духа нашло небольшое облачко.

Из всех визитов, сделанных мною в это лето, я имею возможность рассказать вам только о трех, хотя все они на этот раз как-то смутно рисуются в моей памяти.

Помню, раз приехали мы на дачу к одному старику. Толстенький, невысокого роста, большеголовый, рябой и гладко выбритый, он носил еще на себе отпечаток вельможи старого, екатерининского времени: улыбка, взгляд, вежливость — все было то же, да не то. Чувствовалась какая-то разница, и уловить ее, передать ее нет возможности. Иначе держал он голову, иначе держал в руке золотую табакерку, иначе вынимал платок, сморкался и, поводивши платком у себя под носом, как бы слегка обметая верхнюю губу, опускал его в большой карман своего казакина... На широком лице его, еще свежем, несмотря на седые волосы, было, так сказать, три отражения трех нравственных сил — отражение веры в догмат, принятый с молоком матери и не поколебленной ни малейшим сомнением; отражение веры в несокрушимость своего положения как российского дворянина и помещика и отражение того самодовольства, которое является на лице человека, уверенного, что слава дней его не прейдет во веки. Он видел матушку Екатерину, стоял на карауле у ее апартаментов, гордился тем, что он человек лучшего времени, что все, что было после, никуда не годно, что свет начинает с ума сходить и что Россия, с кончины матушки Екатерины, назад пошла и до чего дойдет — одному господу богу известно. Таков был тот старик, к которому однажды завезла меня мать моя; звали его Тарутиным Тимофеем Николаевичем; мать мою он заметно очень любил, говорил ей «ты» — рассуждал с ней о политике, давал ей разные медицинские советы и собственноручно переписал для нее рецепт какого-то всеисцеляющего бальзама. (С этим Тарутиным я встречусь в дни моей юности, а потому и говорю о нем.) Однажды, когда моя мать беседовала с ним, я ушел в сад, окружающий дачу, и встретил там маленькую, пухленькую, курносенькую

девочку: она стояла на дорожке, с личиком, выпачканным раздавленными ягодами; увидавши меня, она как будто струсила, потом протянула ручонку в сторону и сказала: «Ici ist * малина!». Эта французско-немецко-русская фраза осталась у меня в памяти: не ясно ли, что этот ребенок с колыбели разом прислушивался к трем языкам и спутывал их, создавая себе свой особенный язык, не русский, не французский и не немецкий, а какой-то спутанный?

Помню, раз приехали мы на дачу к графине Калязиной, старушке лет шестидесяти... Мы застали ее в сквозных сенях с детским ружьем.

— Что с вами, графиня? — спросила мать моя.

— Да вот, что прикажете делать, моя милая! Внук мой — такой разбойник! — поставил меня здесь на часы. Ну, вот я и стою — сойти не смею.

Мать моя рассмеялась. Не помню, чем кончилась эта забавная сцена; помню только, что, когда мы вошли в комнаты, тонко продушенные запахом живых цветов, с мебелью, обтянутой желтым штофом, и с окнами, завешенными такими же дорогими гардинами, прибежал мальчик лет девяти, внук графини, оглядел меня с головы до ног красивыми, темно-серыми глазами, в которых так и сверкало что-то повелительное и дерзкое; он был в красном кивере и с детской саблей в руке.

— Бабушка,— спросил он у графини, не сводя с меня глаз и даже осматривая башмаки мои,— можно мне с ним познакомиться?

— Ах, какой ты! Конечно, можно... даже должно,— сказала старушка по-французски, смеясь и качая головой, и любуясь загорелыми щечками красивого внучка, и как бы извиняясь в чем-то перед моею матерью.

— А кто он такой? — спросил внук.

Ему объяснили, он выслушал.

— Пойдем со мной,— сказал мне внук графини и преспокойно взял меня за руку.

Мне сильно не хотелось его слушаться, но я пошел за ним. Пришли мы на чистенький, подстриженными акациями обсаженный дворик. На дворе этом было штук шесть мальчиков и одна девочка. Все они играли в солдаты, дали мне в руку палку, вместо ружья, поставили меня во фронт рядом с девочкой, у которой была точно такая же на плече палка. Молоденький граф Коля нами командовал,— кричал на меня, что я не умею ружья держать, махал саблей и, под

* Здесь есть (*фр. и нем.*).

звуки детского барабана, марширую впереди нас, вытягивал носки, шагал задом, словом, мастерски передразнивал офицеров того времени. Мы сбивались с ноги, особливо я (лучше всех марширована девочка, только отставала)... Наконец мое неуменье вести себя во фронте не на шутку рассердило сиятельного Колю. Он остановил нас и рассудил, что меня следует наказать палками по ногам; я, услыхавши такое повеление, разумеется, стал в оборонительное положение и решительно объявил, что не хочу играть. Коля стал меня уговаривать — уверял меня, что это не больно, что это так, только для вида, будто бы будут меня бить, а в сущности вовсе бить не будут, а только для вида.

— Вон, намедни,— добавил он, указывая на девочку,— вон намедни мы и Машу наказывали, и ничего — хотела заплакать, а увидела, что не больно, и ничего... Что же ты после этого за солдат?

Я все-таки не соглашался.

— А! если так! — закричал он, вспыхнув,— ребята, на гауптвахту его! Вот мы с тобой справимся! (Полагаю, что под именем гауптвахты разумелось пустое стойло в конюшне, которой дверь на этот раз была отворена.) Мальчики, как видно, уже привыкшие к повиновению, бросились на меня — кто схватил за рукав, кто за панталоны. Я стал бороться, отбиваться всеми силами, даже девочку задел локтем по голове, наконец, когда у меня вырвали мое ружье, то есть палку, и со всех сторон налегли на меня, я заорал.

Непременно вышла бы драка самая отчаянная, драка до синяков и до слез, если б вдруг из сеней не появился высокий, статный лакей в ливрее, обшитой галунами, и в красном жилете с серебряными пуговицами. Он нес поднос, уставленный чашками с шоколадом, и с серебряной корзинкой, наполненной бисквитами.

— Ваше сиятельство! — сказал он вкрадчиво-солидным тоном,— бабушка ваша прислала это вам и вашим гостям. Изволили приказать вам их попотчевать.

Все забыли меня и бросились к подносу; воинственное расположение духа у всех в одну минуту превратилось в сластолюбивое. Сам Коля потерял свою командирскую важность и принялся за чашку и за бисквиты. Я один имел еще тот же сконфуженный вид, я один считал себя почему-то глубоко оскорбленным и обиженным; это происходило оттого, что я рос между взрослыми, приноравливался к большим, а не к детям, и оттого, что никогда еще до сих пор не играл в солдаты. Очень был я рад, когда мать моя, в сопровожде-

нии сиятельной старушки, вышла опять в сени и позвала меня.

Коля, прощаясь со мной, поцеловал меня и сказал:

— Хоть ты и стоишь того, чтобы тебя под арест посадить, ну, да так уж и быть, на первый раз прощаю; приходи опять играть: мы тебя сделаем разбойником и будем ловить тебя.

Третий визит мой был к княгине Малыгиной, нашей соседке, но о нем следует говорить подробнее. Моим знакомством с домом этой княгини я покончу первое и последнее мое житье-бытье в Павловске, последний период моего безмятежного и радужного ребячества.

ГЛАВА XVIII

Дворовые княгини Малыгиной узнали нашу Юлиньку, ту самую Юлиньку, которая когда-то оставалась на их руках и на их попечении. Жена дворецкого Феоктиса, учившая ее когда-то чулки вязать, стала заходить к нам. Юлинька зазывала ее к себе в комнатку, угощала ее кофеем, иногда клубникой со сливками, иногда показывала ей какое-нибудь новое вязание тамбурной иглой,— и Феоктиса, женщина лет сорока, осторожная сплетница и олицетворенная вкрадчивость, с небольшими, очень умными карими глазками, с темным пушком над верхней губой и с таким же точно пушком над кончиком небольшого носа, сбоку похожего на очень маленькое седло для очень маленькой деревянной лошадки,— Феоктиса ничего дурного не говорила про свою барыню, но из ее слов выходило как-то само собой очень много скверного... Юлинька узнала, что Зизи, поступившей на ее место в дом княгини, очень плохое житье, что княгиня простить ей не может того, что она не красавица, что она не нравится гостям и ничем не веселит ее.

— Ничем! ну хоть бы рассказала что-нибудь или хоть бы как-нибудь подурачилась! — ничего-то, ничего в ней нет милого, моя матушка! Ничего милого! — повторила Феоктиса, то любуясь Юлинькой, то поглядывая на меня такими глазами, как будто видит во мне Амура, будущего победителя сердец.

Потом Феоктиса рассказывала какую-то очень запутанную историю насчет французика, мужа княгини, будто прокутившего в один год более 200 000 и теперь замышляющего жениться на какой-то другой, богатеющей-разбогатеющей русской барыне, только что овдовевшей.

— Ну-с,— говорила Феоктиса,— княгиня все это узнала, очень всем этим огорчена и пишет ему,— этому вертопраху, прости господи! — что если он женится, то она самому французскому королю будет собственноручно писать и все документы ему предоставит. Оно конечно,— продолжала Феоктиса,— барыня наша женщина уже немолодых лет, и не след ей было выходить замуж за эдакого мальчишку, да еще за француза: хоть бы какого русского нашла, ну, тот бы, по крайности, хоть что-нибудь чувствовал, а то что же может чувствовать какой-нибудь фертик, да еще француз, прости господи!.. Княгиня-то наша это теперь все сама понимает, и... и... уж не знаю, что у ней на уме! Ничем недовольна. А добрая, очень добрая! И сама теперь видит, что я ей нужна, что я одна при ней, что нечего ей на своего-то птенца уповать — тот ее и в грош не ставит. Ей-богу, так, матушка ты моя, даже попреки ей делает. И даром, что еще такая... все-то понимает! да еще как понимает-то! Кому же это может нравиться, коли таких лет, а уж все понимает! Вот вы, барышня, на моих, почитай, руках росли,— распространялась Феоктиса, обращаясь к Юлиньке и при этом опуская блюдечко с кофе на вершок ниже губ, чтоб оно не мешало им сплетничать,— вы на моих руках росли — и что же вы понимали?

Юлинька, по-видимому, и теперь не все понимала из того, что передавала ей Феоктиса; но всякий раз, когда шел разговор о Зизи, изъявляла желание повидать ее — «Чай, ни она меня не узнает, ни я ее».

Последствием таких разговоров было то, что Юлинька встретилась с Зизи, и уж я не знаю — Зизи ли первая подошла к Юлиньке или Юлинька первая подошла к Зизи. Знаю только, что я, в один прекрасный вечер, застал их обеих у нашего крылечка под липами и подошел к ним.

Зизи было с небольшим пятнадцать лет, но казалась она вовсе не ниже ростом и не моложе Юлиньки. На первый взгляд она произвела на меня неприятное впечатление. Бледное, выразительное лицо ее было какое-то не детское: черные, блестящие глаза ее из-под прямых бровей глядели — как бы это сказать — не то что сердито, не то что исподлобья, а так как-то не то холодно, не то недоверчиво; тонкий, орлиный нос ее слишком выдавался вперед, тонкие губы редко улыбались; но зато, когда появлялась улыбка, не скоро улыбка эта переставала удлинять ее рот и казалась непроницаемо насмешливой; так, например, когда она улыбалась, глядя на меня,— казалось, что глаза ее говорят: ну, ты еще глупенек, дитя, нечего мне толковать с тобой...

И стал я встречать эту Зизи все чаще и чаще в сообще-

стве с Юлинькой. Я думал, судя по сплетням Феоктисы, что я найду в ней грустную, забитую, угнетенную девочку; но вид ее вовсе не возбуждал во мне ни малейшего сострадания; напротив, иногда мне казалось, что она на Юлиньку и даже на мать мою глядит с состраданием. На свою гувернантку, девушку лет двадцати двух, немецкого происхождения, высоколобую, высокогрудую и голубоглазую Луизу Карловну, она почти не обращала внимания, и когда та звала ее, Зизи преспокойно оставалась стоять с нами на улице или сидеть на скамье в парке, точно слышала скрип дерева, а не голос своей наставницы.

О чем говорила Зизи с Юлинькой, оставаясь с нею наедине, я никак не мог себе даже представить. На чем они сошлись? А сошлись на чем-то. Казалось, между ними ничего нет и ничего быть не может общего, как между канарейкой и скворцом,— а видно, что-то было, что так скоро свело их и так скоро сблизило. Когда я издали смотрел на этих девушек, мне казалось, не Зизи, а Юлинька в чем-то признается ей, а Зизи только слушает, улыбается или сердито смотрит в землю и молчит. Когда же говорит Зизи, на ее бледном лице появляется румянец, глаза начинают блестеть, прямые брови сходятся в одну темную линию, а указательный пальчик на правой руке то поднимается, то делает какие-то жесты, как будто она и наставляет, и отрицает, а Юлинька слушает и глядит на нее с некоторым изумлением.

Я понимал, что мешаю им, а потому и не подходил к ним, и не слушал их. Гувернантка Зизи, Луиза Карловна, также редко подходила к ним. Гуляя с нами в парке, она также очень скоро сошлась с нашим Фрейманом и нашла в нем что-то среднее между чучелой и задушевным другом. То подтрунивала над его муругой фигурой, то вырывала у него из рук его коротенькую трубочку, то вдруг срывала с него шляпу и, вместе с этой несчастной шляпой убегая, заставляла меня ловить себя, то сентиментальничала и по целым часам беседовала с ним, усевшись на какой-нибудь скамеечке под тень наклонившихся деревьев; так же, как и он, поднимала глаза свои к небу, вздыхала, даже руку к сердцу прикладывала (чего не делал мой немец) и говорила, как бы упиваясь его речами:

— Wiederholen Sie! Wiederholen Sie! повторите — повторите!

Таким образом, почти все из живущих на даче княгини Малыгиной сошлись с нашими. Даже наш Семен, видно, решился утешиться: стал ухаживать за Липочкой, горничной Зизи, и по вечерам, где-нибудь за углом, по-голубиному

с ней беседовал. И все это сделалось как-то само собой, с легкой руки Феоктисы.

Вслед за этим сама княгиня Софья Ивановна Малыгина сделала визит моей матери. Мать моя была не рада этому визиту, а пришлось и ей, в силу светского этикета, недели две спустя отправиться на соседнюю дачу с визитом. На дачах, да еще по соседству, ничем нельзя отговориться — ни хлопотами по делам, ни нездоровьем, ничем,— стало быть, невнимание было бы равносильно явному пренебрежению и повело бы к пересудам, от которых до клеветы один шаг,— а какая же женщина не боится женских клевет?

День был праздничный; мы были с мама у обедни, а оттуда подъехали прямо к подъезду дачи, занимаемой княгиней. Выскочив из коляски, я хотел бежать домой; но мама обернулась и сказала мне: «Как! Ты хочешь меня одну покинуть? Не ожидала!»

Пришлось и мне познакомиться с ее сиятельством. Швейцар дернул за шнурок, лакей в штиблетах и галунах пошел докладывать. В зале кто-то закричал: «Sacre bleu!» * — и так резко, так звонко закричал, что я вздрогнул. Это был белый попугай в высокой проволочной клетке, и это он нас так приветствовал. По коврам вошли мы в гостиную, убранную диванами, зеркалами и фарфоровыми куклами.

Не успел я разглядеть какого-то пастушка, расстегивающего корсет какой-то пастушке, как видно, упавшей в обморок, не успел я полюбоваться на фарфоровую грудь ее, как в дверях послышался шорох платья — и появилась сама княгиня, которую я чуть-чуть было не принял за большую фарфоровую куклу, с такою же белой, полуобнаженной грудью, и точно так же готовую опрокинуться. В минуты первых, необходимых и с детства заученных приветствий, которыми обменивалась княгиня с моей матерью, я точно с таким же любопытством стал ее разглядывать и, разглядев, стал подозревать, что она — старуха...

— Это сын ваш? — спросила она по-французски мать мою.— Какой милый ребенок! Поздравляю вас, chère madame Tchaliguine! Я люблю, когда мальчики похожи на мать, и терпеть не могу, когда дочери похожи на отца; а он — две капли вы... Я его за это поцелую. Поди ко мне, душа моя! — И только что я машинально сунулся вперед, одна из полных, до самых плеч обнаженных рук ее, мягкая, как подушка, обогнула мою голову, и нервная дрожь пробежала у меня по

* Черт возьми! *(фр.)*

спине; сухие губы ее прикоснулись к губам моим — прозвучал поцелуй, да еще не один, а целых два... Тут я вполне почувствовал, что она старуха. Мать заметила мое смущение и расхохоталась...

— Садитесь! садитесь!.. Вы от обедни? не правда ли? Ну, кого видели? что слышали? Правда ли, что в Грузине такое было страшное происшествие?..[36] И... можно ли было думать, что у этого человека такое горячее, пламенное сердце!.. Говорят, окровавленным платком повязал себе голову и дышит мщением... ужасно! Как на все это посмотрят у нас!.. И неужели это правда?.. И знаете, что еще я слышала: будто папа недоволен нашим Библейским обществом[37], а именно тем недоволен, что оно будто бы посылает в Польшу книги Священного писания... Правда ли, что он издал буллу — и пишет в этой булле: мы-де страшно оскорблены таким коварством... Книги эти, пишет, подрывают фундамент нашей религии и, так сказать, зачумляют души...

— Это все было очень давно, княгиня,— кажется, в июле или в августе тысяча восемьсот шестнадцатого года...

— Вообразите, это я слышала на днях от Лизы Финиковой, которая слышала это от самой княгини Голыцыной. Я, признаюсь вам, очень струсила за наше общество...— И старуха положила руку свою на Библию, которая в богатом бархатном переплете с бронзовыми застежками лежала перед ней на столике.— Так это было уже давно!.. А-а!.. Ну, это меня успокоивает... Однако же, каков этот папа! Недаром я иногда спорю с Зизи... Вообразите, ей также католический исповедник — inspecteur *, как она его называет, запретил читать Евангелие. Я этого не понимаю, не понимаю, madame Tchaliguine — не понимаю!.. Ну, поговорим о чем-нибудь другом... Есть вещи, которые меня расстраивают... Я так много страдала, моя милая, и так еще страдаю... что...

Я при этом не мог не посмотреть на княгиню. Действительно, бесхарактерное и как бы опухшее, сомнительной белизны и свежести лицо ее выразило нечто похожее на страдание, что вовсе не шло ни к ее фальшивым локонам, в виде банта пришпиленным на высоте ее темени, ни к ее полновесному телу, перетянутому около талии узеньким, новомодным поясом, ни к ее позе, в которой проглядывала претензия на грацию... Трудно было, однако же, решить, сколько ей лет. Когда она не морщилась и не хохотала, ей казалось не больше сорока пяти; когда же лицо ее выражало

---

* надзиратель *(фр.)*.

тревогу, мелкие морщинки разбегались по всей ее физиономии — и тогда... тогда она вдруг выглядывала старухой лет шестидесяти или около...

— Где же ваша Юлинька? Я на днях ее встретила — и, признаюсь, позавидовала вам. Кто мог ожидать, что она так выровняется, будет такая грациозная, такая comme il faut! * Это большое счастие иметь при себе хорошенькую девушку; это привлекает, это оживляет общество, это... как бы вам сказать?.. Ну, да вы меня понимаете... Я очень пожалела, что вам отдала мою Юлиньку... Уступите-ка мне ее, chère madame Tchaliguine! Ха-ха-ха! вы смеетесь! ха-ха-ха! но я не шутя бы ее у вас похитила.

И рыхлое тело старухи от сдержанного смеха заколебалось на всех своих, видных глазу, поверхностях, на груди, около плеч и около шеи.

Мама в свою очередь стала хвалить ей Зизи.

— Ну, что моя Зизи! Что вы находите в ней хорошего? — холодно отозвалась княгиня и пристально поглядела на мать мою.

— Юлинька очень ее хвалит; говорит, что она редко встречала таких девушек.

— Ну, очень рада, что она ей так понравилась... Нет, madame Tchaliguine, не будем говорить друг другу ни комплиментов, ни колкостей. Я вам только одно сказать могу — я ничего не пожалела на воспитание моей Зизи и ничего не жалею. Увидела, что она плохо и с ошибками говорит по-немецки,— взяла ей немку, потому взяла, что на будущий год собираюсь ехать в Германию на воды, и если моя Зизи не будет говорить по-немецки — это срам! Этого сраму я не снесу, моя милая! Она хочет в женский монастырь уйти — пусть уходит, но я не пущу ее, пока не сошла с ума... сойду с ума, тогда пущу... А пусть уходит! Я на это ни слова; но пусть уходит так, чтоб я не знала, и не слыхала, и не видела! Что делать! на многое в жизни приходится смотреть вот эдак...— И княгиня перед глазами сделала из пальцев своих что-то вроде перегородки.— Не правда ли, chère madame Tchaliguine, если не глядеть на многое сквозь пальцы, лучше и не жить! Я, по крайней мере, я — я не могла бы жить!..

«J'vous adore! Baise moi! Sacrrrrre bleu! J'vous adore! sacrrrre!» ** — закричал попугай. Пользуясь этим случаем,

---

* хорошего тона *(фр.)*.

** Я вас обожаю! Поцелуй меня! Черт возьми! Я вас обожаю! черт! *(фр.)*

я вышел в залу и вдруг увидел Зизи. Сложа руки и вытянув ножки, сидела она у стены, около фортепьяно и саркастически улыбалась. Увидевши меня, она встала и ушла направо в дверь, не сказавши мне ни слова; впрочем, белый попка в эту минуту занимал меня несравненно более, чем эта неприветливая девушка. Вслед за мной в залу вошла княгиня и моя мать.

— Никак не могу отучить эту проклятую птицу кричать: sacré... Не поверите, как это меня бесит,— говорила княгиня, медленно выступая вперед.— Я купила этого попугашку в Марселе, и вероятно, какой-нибудь матрос так научил его. Что я ни делала, моя милая, чтобы отучить! Сама из спринцовки водой на него за это брызгала; никак перевоспитать не могу! никаким образом! И вообразите, кормлю я его, а он ведь — не-бла-го-дар-ный! — терпеть меня не может! Вот, поглядите... повожу пальцем около клетки... Видите, видите! так и хочет укусить, так и норовит! Видите, даже хохол свой дурацкий растопырил! И надоел же он мне ужасно! так кричит по утрам, что забыться не дает. Прикажу его в саду поставить. Пусть там кричит...

— Только на ночь его не оставляйте на открытом воздухе.

— Почему?

— Он простудится.

— Ничего, не беспокойтесь, я велю его закутывать,— а то не хотите ли, я вам уступлю его?

— Нет... мне не надо — я не люблю попугаев.

— Да ведь это в моде...

— Благодарю вас, княгиня... Ну, однако же, пора! Прощайте! Где ваша Зизи? Надеюсь, вы ей позволите бывать у нас...

— Прекрасно! только с уговором, чтоб ваша прелестная Юлинька навещала меня, свою бывшую мать... Я никогда бы с ней не рассталась, если б не случай — не увлеченье... Ну! вы женщина с сердцем, так же как и я, грешная, не любите дамского общества — вы меня понимаете... Ах, да! что бишь такое я хотела вас спросить!.. Постойте... что-то такое... касающееся...

И княгиня остановилась, потупя голову и куда-то в сторону покосивши выпуклые, когда-то голубые глаза свои. Так простояла она несколько секунд.

— Ну! забыла!.. Когда-нибудь вспомню... Прощайте, соседка, до свиданья!..

Таков был наш первый визит и мое первое знакомство с княгиней Малыгиной.

ГЛАВА XIX

«Да, Юлия, вы можете окончательно погибнуть, вам нужна моя помощь.

Темные, непросвещенные люди окружают вас — и они будут рады вашим заблуждениям.

Душа ваша спит — проснитесь — жених у дверей — час дорог. Небесная любовь ожидает вас. L'amour celeste vous attente... Это преступление — да простит вас святая дева».

Вот те отрывочные, темные и в настоящую минуту, конечно, далеко не слово в слово повторяемые мною фразы, которые с большим трудом разобрал я между строчками мельчайшим почерком исписанного по-французски почтового листика.

Это было письмо, найденное мною на дне моего чемоданчика; я вспомнил о нем и нашел его за подкладкой моей старой домашней курточки. Слова моей матери, что подло читать чужие письма, тревожили мою совесть, и сердчишко мое сильно билось, когда, удалившись в темный угол сада, совершал я это преступление.

Кто писал письмо, не знаю, даже крючковатой подписи никак я разобрать не мог. Являлся вопрос: отдавать ли мне это письмо или изорвать и бросить? Я решился отдать, прикинувшись, что не обращал на него никакого внимания.

— Откуда ты это взял?! — спросила меня изумленная Юлинька, раскрыв глаза, и яркий румянец разлился по всему ее личику.— Я давно искала это письмо, как оно могло попасть к тебе?

Я бойко рассказал ей, как письмо это попалось мне под руку.

— Зачем же ты до сих пор мне не отдал его?

Я также бойко сообщил ей, почему я никак не мог ей отдать его.

— Ну, и, разумеется, ты его прочел? — сказала она, не глядя мне в лицо. (Мать моя при этом непременно бы смотрела мне в глаза.) Пришла моя очередь покраснеть по уши.

— Отчего же разумеется?..

— Да оттого, что ты не можешь, чтоб не прочесть...

— Разве я такой подлец, чтоб чужое письмо...

— Ну, уж не говори, знаю, что ты прочел его. Спасибо, что отдал,— и, стараясь улыбнуться, она добавила: — умник, что отдал.

Затем она спрятала письмо в столик и села за свою работу. Я ушел из ее комнаты, как будто оплеванный. Мне стало невыносимо стыдно и горько. Она догадалась, что

я способен на подлость; уверена, что я и лжец, и подлец, и притворщик. Отчего же она так уверена! Господи, господи! Даже Юлинька видит, что я такой гнусный человек! Что делать?

И целый день я был не в духе. Гуляя в парке, я задумывался, и когда Луиза Карловна ущипнула меня за ногу, сказал ей: отвяжитесь!

Но не только мой поступок — самое содержание письма, его фразы никак не выходили у меня из памяти. О каком таком преступлении намекает это письмо? Юлинька — такая милая, такая светлая, такая добрая — преступна! погибает! нуждается в чьей-то помощи!.. Господи! Господи! что это за непонятная такая история!.. Жених у дверей... Какой жених? Разве есть жених у Юлиньки? Кто его знает? Кто его видел? Кто слышал об этом женихе? А как спросить? Заикнись я только спросить — сейчас будет явно, что читал письмо, а еще хорохорился, в обиду вламывался! Боже мой, боже мой! зачем же это я сказал ей: разве я подлец? лучше бы я этого не говорил... Что теперь делать?

И на другой день, и на третий день я был все как-то невесел. Под влиянием этих тайных угрызений, под влиянием таинственных фраз, мною потихоньку прочитанных, под влиянием похвал, расточаемых красоте Юлиньки, и моей вины перед ней я стал опять любить ее, думать и мечтать о ней. Я опять стал с особенным вниманием вглядываться в ее нежный и чистый профиль, в ее светло-карие глазки, опушенные длинными ресницами, в контуры головы ее, повязанной голубою лентою, со всех сторон прихватившей ее зачесанные вверх и в широкое кольцо, в виде коронки, заплетенные волосы. Я опять стал почему-то робеть в ее присутствии. И она ко мне переменилась: не то чтоб стала избегать меня, а стала не замечать моего присутствия, стала в отношении ко мне почти такая же, как и Зизи, только не глядела на меня с такою же саркастической улыбкой, но зато без всякой улыбки стала встречать меня — так-таки совсем без улыбки! Только и улыбалась, когда встречала Зизи и когда навстречу ей протягивала руки. Эту Зизи я начинал ненавидеть. В начале августа стояла великолепная погода. Павловск цвел; приезжающих и гуляющих было великое множество, каждый вечер к нам на террасу собиралась компания, пили чай, спорили, смеялись, читали тогдашней цензурой запрещенные стихи, каламбурили. Были военные, были статские; я почти никого не замечал и никого не слушал; я или уходил с моим Фрейманом на границу парка и там с одним мальчиком змейки пускал, или сидел дома и любо-

вался Юлинькой. Набатов являлся каждую субботу; но и к Набатову переменилась Юлинька; даже помню, как она на него рассердилась за то, что он при гостях потихоньку взял ее за руку. Я никогда не видал, как сердится Юлинька, и увидел в первый раз, как она сердится: вся ее фигура подалась назад, в глазах мелькнули большие-большие золотые звезды, брови и губки приняли выражение ребенка, который только что обжег себе пальчик и боится заплакать.

Сам Набатов понял, что Юлинька рассердилась, и заметно удивился такому явлению; он стал на ухо уверять ее, что если она сердится, то он при всех станет перед ней на колени.

— Я не сержусь,— говорила Юлинька.

— Если вы сердитесь, я всю ночь простою у вас под окном, буду вздыхать и молиться.

— Я не сержусь! не сержусь! — с торопливой досадой повторяла Юлинька.

— Monsieur Michel! — раздался голос моей матери — и все общество вдруг замолкло, все оглянулись на Юлиньку...— monsieur Michel, подите-ка сюда!

Набатов, сконфуженный и чуть заметно ежась, подошел к моей матери.

— Ну, садитесь подле меня и не смейте уходить!

Я уже, кажется, говорил, что Набатов в присутствии мужчин не позволял себе дурачиться. В то время немудрено было дошутиться до дуэли, если б кому-нибудь шутка его не понравилась. Он это очень хорошо понимал.

Так прошло недели две или три. Напрасно старался я разговориться с Юлинькой — никак не мог, и дошел до того, что стал при ней Зизи ругать.

— Это дрянь,— говорил я,— урод долгоносый. Я и говорить-то бы с ней не стал; просто спесивая дрянь, и только.

Но Юлинька и не думала мне возражать или заступаться, как будто ей было все равно!..

Время шло; стали перепадать дожди; август шел к концу. Юлинька стала по целым вечерам пропадать у Зизи. Княгиня Малыгина засыпала ее подарками. Эта старуха, как видно, всю жизнь свою была страстной и до глупости, до скандалов увлекающейся женщиной; до двенадцати лет она баловала свою Зизи так, как редко родные матери балуют дочерей своих; говорят, исполняла все ее прихоти и потом вдруг охладела. Теперь пришла ей очередь влюбиться в нашу Юлиньку. Видно, справедлива пословица: каков в колы-

бельку, таков и в могилку. Мать моя, смеясь, говорила Юлиньке:

— Смотри, как бы эта княгиня не объявила на тебя претензии; она уж и так кому-то сказала, что я тебя от нее увезла.

— Нет, мама (Юлинька также иногда называла мать мою: maman), я не люблю княгини, потому что она разлюбила дочь свою.

— А разве... Зизи дочь ее?

— Да,— коротко и решительно ответила Юлинька.

Мать моя почему-то не продолжала этого разговора — так он и кончился. Но вот что я отчасти помню: это разговор в нашей гостиной в тот вечер, когда к нам вдруг неожиданно явился Равинин.

Равинина все встретили с особенным удовольствием. Равинин был в духе — злой язычок его дребезжал, прерываемый всеобщим хохотом. Помню, что в то время, когда гостям разносили малину, мелкий сахар и сливки, речь зашла о княгине Малыгиной.

— Как, господа! — проскрипел Равинин,— вы берете молоко, не спросив хозяйки, откуда она его берет!

— Разумеется,— отозвалась мать моя,— берем, у кого и все берут,— у молочницы.

— У той самой молочницы, которая продает молоко княгине Малыгиной?

— Вероятно.

— Ну, так это то самое молоко, в котором она купалась. Разве вы не знаете, что она берет молочные ванны и потом за половинное количество свежего молока на другое утро уступает молочнице то самое молоко, в котором она освежала свои прелести.

— Фи! что за вздор!.. как? неужели?...— Все стали хохотать; некоторые морщились от этой грязной остроты, но некоторые поверили Равинину, и в числе поверивших был и я, разумеется. Равинин также не ел малины с молоком; но, говорят, совсем по другой причине, просто потому, что желчный темперамент его не выносил ничего молочного.

Потом Равинин зло осмеивал деятельность Библейского общества; тут мать моя рассказала, до какой степени папская булла 1816 года растревожила княгиню Малыгину.

— Это вот по какому случаю-с,— заговорил один подслеповатый молодой человек, потирая руки.— У княгини-с есть именье в Подольской губернии. Ей вздумалось послать своему сельскому священнику пятьдесят экземпляров русского Евангелия для раздачи крестьянам. Ma cousi-

пе *, Элиза Финикова, узнав об этом, объяснила ей, что это дело опасное и рискованное, что за это ей страшно достанется, потому что была такая-то булла. Княгиня хотя и... не очень умна, однако ж отвечала ей, что у ней крестьяне православные, а не католики. «А почему вы знаете?» — спросили ее. Оказалось, что сама княгиня не знает, какого вероисповедания ее крестьяне,— она никогда и не бывала в Подольской губернии...

— Мне она этого не говорила,— вступилась мать.

— А вы знаете, отчего она вам не говорила? Оттого и не говорила, что сама поняла, что сделала глупость.

И тут поднялся спор — одни стали доказывать, что следует желать, чтобы все наши крестьяне западных провинций приняли католичество, другие возражали. Я был тогда еще слишком мал, чтоб понимать подобные разговоры. Припомню только, что бо́льшая часть тогдашней аристократической молодежи училась в школах, основанных иезуитами; припомню уж кстати и то обстоятельство, что в то время некоторые светские дамы и девицы высшего общества, стоя в церкви, иногда так громко между собой разговаривали по-французски и обменивались приветствиями с молодыми людьми, так часто переходили с места на место, что превращали церковь в салон и приводили в соблазн толпу, то есть всех остальных прихожан, особливо бедных старичков и старушек. Такое поведение в модных русских церквах, смею думать, происходило вовсе не от атеизма и неверия, потому что в царствование Александра I наши аристократки наперерыв стремились слушать знаменитых в то время католических проповедников или с особенным увлечением отдавались мистическому настроению. Удивляться ли после этого, что в гостиной моей матери многие открыто проповедовали, что все спасение России в католицизме.

Мое же тогдашнее спасение от грустной мечтательности и предположений, обидных для моего щекотливого самолюбия, заключалось в Юлиньке.

— Мама,— спросил я как-то мать мою,— как вы думаете (тогда дети по большей части говорили *«вы»*, а не «ты» своим родителям: до *«ты»* еще не доходила русская цивилизация), как вы думаете, есть у Юлиньки жених или нет?

— Спроси ее, душа моя, есть ли у нее жених. Я ничего не слыхала и полагаю, что тут никакого от меня секрета быть не может; у ней есть отец, и я не могу ей запретить вый-

* Моя кузина *(фр.)*.

ти замуж за кого ей вздумается. Я очень бы желала, чтоб у ней был жених и чтоб этот жених был человек честный.

— Юлия Антоновна! — произнес я в тот же день вечером.

— Что тебе? — торопливо отвечала Юлинька, углубленная в чтение.

— Простите меня, если я виноват.

— Чем ты виноват?

— Разве я не виноват?

— Не знаю.

— За что же вы на меня сердитесь?

— Откуда ты это взял, что я на тебя сержусь? Какой ты смешной мальчик!

— Так вы не сердитесь?

— И не думала.

— Зачем же вы не хотели говорить со мной?

— Когда?

— Ведь вы знаете, что я вас очень люблю.

— Я в этом никогда и не сомневалась, и я тебя люблю...

— А Зизи я не люблю, не люблю, не люблю; она, должно быть, хитрая... и так улыбается, точно змея...

— Ты ее не знаешь и знать не можешь; это душа высокая, святая душа. Я не стою ее дружбы, даром что она моложе меня... Но я ее люблю и буду любить,— в горничные пойду к ней, если нужно,— так я люблю ее.

Помню, меня озадачила эта горячность Юлиньки: это была опять новая черта, которой я никогда еще не замечал в ее характере.

— Ну, хоть она и святая-рассвятая, а все-таки я ее не люблю, не люблю и не люблю.

После этого разговора мне стало легче; я убедился, что Юлинька на меня нисколько не сердится, и, вдобавок, мне было приятно слышать из уст ее, что и она меня любит. Я этому простому, детскому выражению, вероятно, придавал какой-нибудь свой особенный смысл, который и обольщал, и утешал меня. Раннее чтение романов принесло плоды свои на моей рано восприимчивой и пригретой почве, хотя плоды эти и были похожи на кислые яблоки, достигшие величины ореха, которые при первом ветре падают, прячутся в траве и только для разных козявок служат то чертогом, то благодатной, вкусно-сытной трапезой.

ГЛАВА XX

Лето заметно шло к концу. Постараюсь и я, как можно скорей, привести к концу описание моего летнего житья-бытья в Павловске. Главное, о чем я забочусь в моем рассказе,— это не забывать тех лиц, с которыми, к счастью или несчастью, придется мне сталкиваться в иные годы. И поневоле пропускаю я без очерка те лица, которые хотя и навещали гостиную моей матери, но исчезли с горизонта, прежде чем я почувствовал себя юношей. Я пропускаю их по трем причинам: во-первых, потому, что был мал, чтоб понимать их; во-вторых, потому, что никогда уже потом ни разу не встретил их и, стало быть, не имел случая ни подновлять моих впечатлений, ни вызывать по нескольку раз моих воспоминаний, ни проверить их; потому, наконец, что имена их стали слишком известны, и не мой суд — суд истории ожидает их.

Если б мать моя была жива и теперь писала свои записки, я уверен, она сумела бы их описать; для нее это были бы живые лица, для меня — тени прошлого; и наоборот, те, которые стали для меня впоследствии живыми лицами, для нее были тени будущего. Не знала она, что выйдет из Юлиньки, из Зизи, из Набатова, из Глаголевского, из Луизы Карловны, из Верочки, которую я встретил на Крестовском, из Коли — графа Калязина, из дочерей Логина, из меня, наконец, и моего нового приятеля Алеши Игнатина, который выучил меня змейки пускать.

Об Алеше Игнатине и на этот раз скажу только, что он жил с своим семейством в одной избе, между парком и чистым полем, между крестьянским двором и огородами. Отец его был бедный человек, мать — пожилая немка и больная женщина, старший брат — ученик Академии художеств, младшая сестра — ребенок в одной рубашонке, сидевший то на куче песку, то на сене, то на руках у своего папеньки, который, в свою очередь, любил сидеть на завалинке в одном халате.

Луиза Карловна — гувернантка Зизи — называла мать Алеши своей тетенькой (tante) и часто по воскресеньям, вместе со мной и Фрейманом, совершала к ним свою прогулку. Она уходила в избу и, быть может, оделяя детей конфектами или пряниками, воображала себя Шарлоттой и мечтала о каком-нибудь Вертере [38]. Фрейман садился на какой-нибудь пень или на бугорок и покуривал свою геттингенскую трубочку; я ходил или бегал взад и вперед, как человек, которому ничто еще не мешает бегать.

Раз Алеша пускал змей; я робко стал подходить к нему и остановился шагов за двадцать.

— Что стоишь? — сказал мне Алеша,— ты лучше придержи его, а я побегу... Что стоишь?

— Как придержать?

— Да вот эдак — да, смотри, на хвост-то не наступи ему! Ну...— Он отбежал шагов на тридцать.— Пущай теперь!

Я пустил; он побежал еще дальше; змей взвился своим мочальным хвостом, задев меня по носу. Эта потеха, разумеется, мне понравилась; я завел свой собственный змей и стал им, в сообществе Алеши, утешать себя от всяческих огорчений, вроде тех, например, которые наносила мне прямо в сердце жестокосердая Юлинька.

Мало-помалу я сошелся с Алешей. Сначала — совестно вспомнить — я оглядывал его чуть ли не так же, как оглядывал меня в Царском Селе молоденький графчик: меня инстинктивно смущали его грязные руки, его платье, похожее на коротенький капот, его шапка, ни дать ни взять такая же, как у нашего Егорки, и, наконец, его грубое, нецеремонное со мной обращение. «Что стоишь?», «Чего зеваешь?», «Ступай!», «Стой!», «Эх ты!» и т. п. Впрочем, в этой грубости не было ничего обидного, я нисколько не сердился на этого мальчика; мне только хотелось начать говорить с ним точно так же, как и ему со мной. Но сначала мне это не удавалось; не скоро дошел я до того, что и сам стал говорить ему: «Чего зеваешь?», «Ну, поворачивайся!» или: «Сам ты чудище!» и т. д. На вид он был невзрачен, глядел карапузиком; но бегал, как волчонок, и не было никакой возможности поймать его на бегу; он оборачивался, приседал, дразнил меня языком, визжал и из-под руки вывертывался так, что я из сил выбивался, но никакими хитрыми изворотами не мог схватить его.

Он был старше меня одним годом, но ниже меня; зато голова его была чуть ли не на вершок шире моей: лицо скуластое, глаза навыкате, губы толстые. Раз я застал его не в духе.

— Что ты, Алеша?

— Меня обидели.

— Кто тебя обидел?

— Сашка Порской.

— Кто такой?

— Да вон, брат мой Мишка дружит с ним. Из Академии ночевать к нам приходит — такой-то зуда, что... Ишь, как хохочут!

Из сеней в это время, действительно, слышался чей-то молодой, звонкий хохот.

— Чем же он тебя обидел?

— Стихи на меня написал.

— Какие стихи?

— А черт их знает, какие. У! зубоскалы! Я вот у них вырвал стихи-то — вooот они! во-от!

— Давай их сюда.

И Алеша отдал мне комок бумаги, который успел уже отсыреть в сжатом кулаке его. На этой бумажке было написано:

«Ты правду говоришь, а может быть, и врешь,
Что губы ты свои вершками продаешь,
Напрасно делаешь — напрасно губы тратишь:
Вершками продавать — большой убыток схватишь».

— Это он про тебя? А?

— Про меня.

— Да ты ему так же что-нибудь, какую-нибудь этакую штуку напиши.

— Я не умею,— отвечал Алеша и лег на землю сперва брюхом и в траву уткнул нос свой, потом перевернулся на спину и стал с отчаяньем глядеть в небо, покрытое дождевыми тучами.

— Ну, что ты валяешься! что ты, дурак, на сырой земле валяешься! — послышался голос старшего брата.

Это был отрок лет восемнадцати, красивый собой, белокурый и довольно плотный, в сюртуке, но без жилета и без галстука. Он вышел к нам на луг в сопровождении друга своего Сашки Порского. Сразу можно было видеть, что этот Сашка насмешник; такого умного, оживленного лица, как у этого Сашки, я никогда еще не видал; высокий лоб, серые, продолговатые глазки, нос с небольшой горбинкой, узенький, но выдающийся подбородок, немножко искривленный рот — все говорило, что это такой зуда, такая шпилька, такой колокольчик, что, коли начнет звенеть, поневоле унесешь в душе своей насмешливый и в то же время какой-то игриво-заливающийся смех его.

«Ах, Алешка ты, Алешка! —

начал он нараспев, засунув длинные, худенькие руки свои в карманы нанковых, изжелта-пыльного цвета панталон и сокрушенно покачивая головой.

Ах, Алешка ты, Алешка!
Хоть и ходишь ты в капоте,
Ты ни дать ни взять лукошко...

Тут Сашка приостановился и покрыл смехом небольшую паузу:

Ты ни дать ни взять лукошко
Или просто — пень в болоте!»

Обидчивость и даже злость Алеши, очевидно, потешала Сашку — и он в этот день сделал из него что-то вроде приятнейшего препровождения времени.

«Ах, Алешка ты, Алешка!» —

стал повторять Сашка экспромт свой, но, видно, уж слишком пронял он бедного мальчика. Алеша вскочил на ноги и, преследуемый звонким хохотом, весь испачканный, побежал к парку.

Я побежал за ним. За мной, выпячивая живот свой и пуская по воздуху голубые струйки дыма, пошел мой немец.

Он кричал мне:

— He! Es ist Zeit nach Hause... he!...*

— Что я им нынче дался? что они ко мне пристают, черти? — жаловался Алеша, забравшись в чащу и, как еж, прижавшись к дереву.

— Пойдем ко мне — мы на них также напишем...

— Пойдем.

Когда мы подходили к нашей даче, я боялся, чтоб кто-нибудь из наших не заметил моего нового приятеля. Чего доброго, какой-нибудь Семен принял бы его за уличного мальчишку и не позволил бы ему пройти ко мне в комнату. За моего немца я не боялся: он смотрел на Алешу, как на родственника сентиментальной Луизы Карловны, к тому же он отстал от нас чуть ли не на целую версту.

Когда Алеша вошел в нашу маленькую залу, уставленную цветами, он приостановился и стал ее оглядывать; потом молча и как бы сгорбившись, прошел ко мне в комнату — и ее стал оглядывать; потом сел на кончик кресла и насупился.

— Ну, будь веселее, голубчик,— сказал я ему и поцеловал его.

— Да я выпачкан, вытри меня, пожалуйста,— вишь, как я выпачкан!

Я принялся его чистить, даже предложил ему мыло и умывальник.

Так началась наша дружеская короткость. Алеша часа

* Эй! Время домой... эй!.. (*нем.*)

два или три пробыл у меня в комнате, переглядел все, что только мог переглядеть; был очень рад, когда я подарил ему тот клубок ниток, который берег я для своего собственного змея, предполагавшегося быть величины чудовищной. Воротившийся вслед за нами Фрейман поворчал на нас за то, что мы вынули пробку из его чернильницы и с места на место переложили какую-то книгу с его закладками.

Алеша забыл о мщении, но я не забыл своего обещания — достал бумаги, карандаш и стал сочинять... Думал, думал, что бы такое написать... и вытянул из головы своей следующих два глупейших стиха:

Зубы скалить очень можно,
Только очень осторожно.

На этом и кончилась моя первая попытка стихи писать. Видно, судьба не дала мне дара насмешки. Смею думать, что и тот, кому случайно попадется на глаза моя рукопись и кто проследит по ней историю моего детства, скажет то же самое, то есть подтвердит, что не было во мне никаких задатков ядовитого остроумия.

Помню, в этот самый день вечером, когда после легкого ужина я помолился, разделся и лег, а мой Фрейман, облекшись в халат, принялся продолжать бесконечное письмо свое, я думал то о своих неудачных стихах, то о Сашке: фигурка его беспрестанно вертелась у меня в глазах; она дразнила меня своим веселым смехом, и мне ужасно хотелось с ним познакомиться.

После приятного для меня объяснения с Юлинькой я опять пошел к Алеше. На этот раз я был позван в избу и вел себя в ней так же, как и Алеша у нас на даче, то есть все оглядывал и сидел на кончике стула. Помню, как отец Алеши стал меня допрашивать, чей я сын? где служил мой покойный папенька? какой у него был чин? и сколько душ крестьян у моей матери? Все эти простые вопросы, помню, ставили меня в тупик гораздо более, чем когда-то вопросы Логина о том, почему Нева течет в море, а не из моря, почему Земля есть шар и тому подобное. Ни о чине отца, ни о его службе, ни о количестве душ и земли, находящейся в наших владениях, я решительно никогда не думал и никогда ни у кого не спрашивал. Отец Алеши, вероятно, принял меня за страшного гордеца, а я отмалчивался, потому что и сам не знал, что мне отвечать ему.

Оставшись наедине с Алешей, я признался ему, как сильно люблю я одну особу и что, если он хочет, я могу показать когда-нибудь ему мою красавицу. Но Алеша при

этом оттопырил свои губы и, как мне кажется, слушал меня так, как обыкновенно слушают волшебные сказки: и не возражают, и не верят; знают, что вздор, что нет никакой волшебницы Кандиды и никакого ковра-самолета, а слушают с удовольствием. Он выразил свое желание увидать мою красавицу именно таким тоном, каким обыкновенно говорят: покажи мне твоего черта, в полной уверенности, что бояться нечего, потому что коли черт сам самолично не явится, показать его нет никакой возможности.

Я смутно догадывался, что неудачного я выбрал наперсника, и, действительно, между нами в то время мало было общего. Он едва-едва умел читать и писать по-русски; во всю жизнь до одиннадцати лет прочел только азбуку, несколько басен Хемницера да еще Карамзина «Марфу Посадницу», да и ту насильно его заставили прочитать, потому что уж больно скучно, говорил Алеша. По-немецки он знал порядочно (мать его учила), по-французски же ничего иль очень мало. Память у него была довольно тупа, и доставалось ему за это порядком: били его в школе, били дома. Все эти невзгоды выносил он скрепя сердце; но, прощая старшим, никогда, ни малейшей обиды не прощал своим сверстникам; он бы и брата своего поколотил, если б был уверен, что сладит с ним.

— Ты разве никогда не был влюблен? — спросил я, наконец, Алешу.

— А ты разве был? — спросил он меня в свою очередь — и когда же! — после того, как я целый час описывал ему красоту моей Юлиньки и намекал ему, что я когда-нибудь женюсь на ней... Господи, господи! какого бестолкового друга отыскал я себе в этом Павловске!

С Сашей, или Сашкой Порским, я так и не познакомился. Он все ходил с Мишей, братом Алеши, и в тот самый день, как я потом с ним встретился, он точно так же, засунув руки в карманы серовато-желтых панталон своих, поглядел на меня с кислой миной, насмешливая улыбка слегка покривила его губы, но он был не в духе, ни с кем не говорил, и глаза его были заплаканы. Кто так смеется, как смеется Сашка, тот, видно, в душе своей носит такой же неистощимый запас слез, как и смеха.

Вот все, что мог я вспомнить о моих знакомствах в Павловске; остается рассказать одно событие, потому что в частной жизни человека иногда появление новой личности — такое же событие, как для государства прибытие нового посланника или для провинции — приезд нового губернатора. Раз, проснувшись утром, я узнал, что мать моя

ночью отправилась в Петербург. Я пошел искать Юлиньку, но не нашел ее ни на террасе, ни в ее комнате; мне сказали, что она ушла гулять в парк.

День был воскресный, стало быть, свободный от уроков. Фрейман, проснувшись и напившись кофе, опять принялся доканчивать свое бесконечное послание в Германию к какому-то профессору, своему другу. Он посылал ему целые тетради, и, разумеется, посылал понемногу, чтоб не вдруг платить на почту. Я стал подбивать его идти в парк. Мне хотелось как можно скорей поглядеть на Юлиньку, как можно скорей расспросить ее, зачем уехала мать моя — зачем уехала, не простясь со мной, и неужели я не стою того, чтобы со мной проститься?

— Иван Богданович! Herr Фрейман! пойдемте, пожалуйста... Юлинька ушла одна — на нее могут пьяные напасть, мало ли какое может случиться несчастие! Что же вы ничего не говорите?

Немец встал, вытер свое перо, заткнул чернильницу и закурил свою трубочку.

— Что ж вы ничего не говорите?

Немец подошел к зеркалу и стал повязывать галстук, стиснув зубами мундштучок своей коротенькой трубочки.

— Она счастлива,— проговорил он.

«Она? Кто она? Что ты, бредишь, что ли!» — подумал я и продолжал:

— Ну, да, да, да... Но разве не может с ней случиться какого-нибудь несчастия?

— О! несчастие может со всяким человеком случиться.

— У меня есть какое-то дурное предчувствие: разве вы не верите предчувствиям?

— О! как не верить предчувствиям! Я, когда шел Наполеон, я имел большое предчувствие.

— Пойдемте же искать Юлиньку. Мне очень, очень нужно... Пойдемте!

— Где искать? Мы ее не найдем, дитя мое. Она молода, она хороша и, стало быть, счастлива! — сказал он, подавляя вздох.

— Авось найдем. Я на всякий случай зонтик возьму — может быть, дождь пойдет. Пойдемте!

Немец, не торопясь, уложил свое письмо, не торопясь, надел свой серый сюртук и свою немножко помятую шляпу и, как будто я стал виноват, что заставляю ждать его, проговорил с нетерпением: «So wollen wir gehn!» *

* Так идем! *(нем.)*

Мы вышли — и встретили Юлиньку около дворца. Она только что отошла от какого-то экипажа, который с опущенными стеклами покатил во весь дух по направлению к Петербургу.

— Я отдала письмо, просила отвезти,— сказала она, шагая к нам навстречу, продуваемая ветерком и с простывающим на лице румянцем.

— К кому же это?

— К одной моей подруге,— смеясь отвечала Юлинька.

— А ну, если его не отдадут, а прочтут?

— Ну, кто же станет читать! Не все же такие любопытные, как ты.

— А не знаете ли вы, зачем уехала мама в Петербург? Ночью был дождь, а она уехала?

— Что ж за беда, что дождь. Ей не спалось, ну, и захотелось ей выспаться в коляске на свежем воздухе, ну, и поехала. К тому же из Москвы дядя твой приехал, Лев Маркыч; ну, вот, кстати, утром и навестит его.

— Дядя мой приехал!

— Да,— помнишь, он года три тому назад приезжал, еще привез тебе два тульских пряника, пастилу да еще что-то... не помню...

— А я помню — тот самый маленький, стальной ящичек с бархатной крышкой, который я вам подарил.

— А, это он привез? Ну, вот!

И я стал думать: что-то на этот раз привез мне мой дядюшка? Я в то время едва знал его. В Петербурге он появлялся редко и имел такое множество знакомых, что заезжал к моей матери на несколько минут, спрашивал себе чашку чаю, выпивал ее, извинялся и уезжал. Это был щепетильный, чистенький, вечно приятно улыбающийся старичок с претензиями на моложавость, с наклонностями ухаживать за красивыми женщинами, причислявший себя к кругу самой высшей аристократии и дороживший пригласительными записочками от знатных особ. (Об нем я уже упоминал в первой главе моего рассказа. Мы еще с ним встретимся и тогда успеем покороче узнать его.)

Итак, думал я, мама уехала, чтоб повидаться с моим дядюшкой.

Но прошел день, другой, третий — она не возвращалась. Мы все, даже вечно спокойная Юлинька, были встревожены. У нас на даче вышли все деньги, оставленные на провизию нашему повару. Для чаю вдруг недостало сахару, потому что мама, по рассеянности, увезла с собой в кармане все ключи и в том числе ключик от жестянки с сахаром.

Мама воротилась к нам на дачу на четвертый или на пятый день к вечеру; с ней приехал и Лев Маркович. Увидавши меня, он сделал мне ручкой, то есть поцеловал кончики своих пальцев, и поглядел на меня с тою же любезной улыбкой, которая никогда не сходила с узеньких губ его.

— Не правда ли, очень вырос? — сказала мать.

— И похож на вас, моя милая,— сказал дядя.

— Он отчасти и на отца похож,— заметила мать.

— Гм! — промычал дядя, закусив губы и как бы в знак согласия наклоняя голову,— это пока еще неизвестно; я помню моего брата ребенком — сходства нет.

— Не знаю — иные находят...

— Хе-хе-хе! иные; не смею спорить... но я не нахожу: и в этом... в этом я прошу вас извинить меня, моя милая.

Мать моя поглядела на него с каким-то особенным выражением и спросила его, не хочет ли он с дороги чаю.

— Хе-хе-хе! вы знаете, что я чай люблю и готов пить его десять раз в день. Когда хотите буду пить, особенно теперь — я устал, меня закачало... Когда-то будет у нас шоссе! Вы мне дадите какой-нибудь уголок, чтоб я мог расположиться... Или, знаете что? Отправьте-ка меня в Царское Село — там у меня есть один приятель, отставной камергер Сытин, действительный статский советник Петр Петрович Сытин; я давно не видал его.

— Зачем вам к Сытину? Я не пущу вас; вы такой редкий гость, Лев Маркыч,— сказала мать, но сказала без той обычной ласковости в голосе, какая слышалась всегда, когда она о чем-нибудь кого-нибудь просила.

— Нет, уж вы, моя милая, позвольте мне выпить у вас чаю, отдохнуть и прикажите отвезти меня в Царское — я там и ночую.

Не дождавшись от моего дядюшки никакого подарка, я ушел, и уж не знаю, о чем он беседовал с моей матерью. Помню только, что часов в десять вечера дядя мой уехал в Царское ночевать у своего превосходительного приятеля, а в час ночи неожиданно воротился ночевать у нас (там его, вероятно, не оставили). Помню, какую он поднял возню у нас на даче: опять ставили для него самовар, превращали диван в постель, уставляли ширмы и туалетный столик (без туалетного столика дядя мой не мог провести ни одного утра). На другой день видел я его в бархатной ермолке и бархатных сапожках гуляющим по террасе. Он любезничал с Юлинькой, разливающей чай, жаловался на скверный петербургский климат и поджидал почтовых лошадей.

Его ужасно беспокоила мысль опоздать в Петербург. Если я не ошибаюсь, он обещал в этот день обедать у графа Хвостова [39]. Мать моя его не удерживала, несмотря на теплый, солнечный день — день, располагающий более к созерцанию природы, чем каменных громад, настроенных неугомонным человечеством.

В конце августа и мы в один холодный и дождливый день покинули Павловск.

ГЛАВА XXI

И вот я опять в Петербурге. В сумерки я пошел в мою детскую, и показалось мне, что я целый год не был в ней. Мысль, что в этой комнате все пойдет по-старому, так же, как шло и до моего отъезда в Павловск, невольно пришла мне в голову. Не знаю, что чувствует жеребенок, когда его к осени с чистого поля загоняют в стойло; но если он в то время что-нибудь чувствует, то это жеребячье чувство в этот вечер смутно отзывалось в душе моей. Жеребенок не к одной матери может привыкнуть; он может отчасти привыкнуть и к тому кучеру, который приносил ему воду, чистил его стойло и скребницей водил по спине его от гривы до хвоста. Не найдя этого знакомого ему кучера, очень может быть, что такой жеребенок меланхолически понурит голову и лишних раз десять обернет свою морду, чтоб посмотреть, не видать ли старого кучера. Моя Аграфена, конечно, сильно бы обиделась, если б я сравнил ее с кучером; но в этот вечер я невольно замечал ее отсутствие и скучал по ней, как жеребенок.

Когда мать моя из Павловска приезжала в Петербург, Аграфена явилась к ней объявить, что ей открывается новое место в няньки и что вряд ли она теперь будет нужна мне, так как она слышала о гувернере. Очень может быть, что Аграфена, догадываясь, что тайна ее разгласилась, хотела только испытать мать мою и решилась заговорить с ней, пустившись на такие соображения: дескать, станет ли барыня меня уговаривать остаться: коли станет уговаривать — останусь, коли нет — черт вас возьми!

Мать моя не стала ее уговаривать, но дала ей денег, подарила ей свой старый лисий салоп, какую-то шаль и еще что-то по части тряпок... Аграфене, очевидно, не хотелось покинуть наш дом, но после таких подарков пришлось покинуть.

Логин в наше отсутствие просватал старшую дочь свою

за какого-то часовщика, чухонца по происхождению, немца по фамилии и русского по вероисповеданию, человека довольно пожилого, но открывающего на Офицерской улице свой магазин и свою мастерскую, стало быть, за человека не бедного. Логин помолодел от такого счастья.

Константиновна сильно хворала: днем жаловалась на слепоту и старость, ночью стонала. Когда ей было самой невмочь пробраться в спальню к моей матери, она посылала кого-нибудь из женщин справляться, горит или уже догорела лампадка перед ее заветным образом, которым когда-то благословляли ее дитя, то есть моего покойного родителя. Если узнавала, что в лампадке масло выгорело или светильня вся вышла, больная приходила в страшное беспокойство — посылала зажигать ее и при этом давала наставления, где взять масло, сколько его налить, как вытереть поплавок и чем прочистить трубочку, в которую вставляется светильня. Одним словом, вся потухающая жизнь ее вращалась около нашей киоты и того священного огня, который блюла она чуть ли не полвека, с рвением древней весталки, боящейся за участь Рима.

Одна перемена в доме всегда ведет к разным, другим переменам; что было удобно при Аграфене, оказалось неудобным при Фреймане. Уже не моя детская, а библиотека стала моей классной комнатой. В самой детской последовала перестановка мебели, ибо не мог же мой немец спать на полу, подобно няне, и для его кровати нужно было очистить место, так же как и для письменного стола, ибо без кабинетного стола немец немыслим, так же как русский купец немыслим без образа, украшенного золотой или серебряной ризою.

Один из друзей моей матери проэкзаменовал меня кой в чем, нашел во мне огромные способности и посоветовал матери моей готовить меня в университет. У меня явились новые учители.

Всех памятнее мне мой законоучитель, то есть отец Алексей, который должен был заменить Глаголевского и заняться со мной латинским языком, всеобщей историей и российской риторикой. Этот отец Алексей был не стар и не молод, не мал и не высок, худощав, бледен и в то же время здоров. На вид он был тих, скромен и богобоязнен; но в глубине души своей — железо прокаленное. Он заставлял меня в классе сидеть навытяжку и всякий раз снимал со стола мой локоть, когда я облокачивался; он большое обращал внимание на то, как держу я перо и как лежит передо мной тетрадь, прямо или косо и насколько косо; мои учебники он берег, как

свою собственность, и не позволял мне в них отмечать уроков ни карандашом, ни ногтем.

— Я укажу вам,— говорил он,— укажу вам: *вот до сих пор* и не забуду, и вы помните,— вы должны это помнить, ибо о чем же вам теперь и думать, как не об уроке, и для этого господь бог дал вам память, а не ногти.

— А на что мне даны ногти?

— Оставьте их в покое и не заводите пустых разговоров: я вижу, что вы любите вдаваться в суетное празднословие.

И все это говорил он слабеньким, жиденьким голоском; и бородка у него была жиденькая, но взгляд стальной — и я решительно не смел спорить с ним. К тому же я воображал, что пойду к нему на исповедь и старался не слишком-то обнаруживать при нем мои греховные помыслы.

Он заставлял меня зубрить латинскую прозу, зубрить тексты и примеры из «Риторики» Кошанского [40]. Слава богу, память меня выручала, и он был доволен мной, уходя благословлял и удалялся так тихо, что казалось, весь он состоит из своей широкой шелковой рясы и только шелестит, не производя никакого ни стука, ни шума.

Десарт по-прежнему стал учить меня по-французски и так же кричать на меня. Фрейман — по-немецки.

Раз, в конце октября, гуляя с Фрейманом, я шел по Галерной и почувствовал, что кто-то сзади схватил меня за плечо; я вздрогнул, оглянулся, вижу — Глаголевский.

— Ну что, мальчик... здоров теперь? — спросил он меня, осклабя лицо свое.— А?

Я и сконфузился, и обрадовался.

— Можно ли мне к вам прийти? Я должен еще матушку вашу поблагодарить за письмо; много оно мне помогло... по гроб благодарен... А что, кабы вы ко мне зашли — вот я тут живу...

— Где?

— Вот тут, на этой самой улице.— И Глаголевский, несмотря на близость дома, им обитаемого, протянул свой указательный палец по направлению к подъезду.

— Зайдемте, Иван Богданович; это мой бывший учитель.

Моему Фрейману было решительно все равно, заходить или не заходить: на это он был у меня хорош. Удивительно флегматично относился он к явлениям обыденной жизни, не касающимся ни его трубки, ни его письменного стола, ни его кофейника. Из этого я заключаю, что вряд ли предчувствовал он нашествие Наполеона и проч.

Мы поднялись на третий этаж, попали в коридор и потом отворили дверь направо.

У Глаголевского на этот раз была уже не одна, а две комнаты, и кухня была в стороне, но мебель была не лучше. Я нашел тот же клеенчатый диван и тот же покоробленный стол под той же скатертью; зато на окнах были ситцевые веселенькие занавески; на постели подушки были белые, а не пестрые, халат был новый, бухарский; на столе лежала кипа канцелярских бумаг, и возле чернильницы стоял футляр для часов; другой футляр в виде бисерного башмака висел у его постели; видно было, что не только он сам, но и серебряные, десятирублевые часы его попали в милость и начинают благоденствовать. Ясно было и без слов, что Глаголевский сумел побороть врагов и получил звание столоначальника.

— А позвать Аграфену? — спросил меня Глаголевский, прищуря левый глаз и потирая руки.

— Как! разве она здесь? — пробормотал я с недоумением и даже с некоторым стыдом за мою нянюшку.

— Она у меня в кухне. А чем мне вас попотчевать?.. Не хочет ли ваш немец водочки хлебнуть? У меня все есть — и водка, и сыр, и ветчина, и балык, и все, что нужно на потребу — все, что нужно!

— Где же Аграфена? Можно мне — я пойду к ней в кухню? — спрашивал я его с нерешительностью в голосе, как бы не веря в возможность такого близкого свидания с моей нянюшкой.

— Хорошо, ступайте,— проговорил он, мигнув одним глазом, и из первой комнаты указал мне на дверь во второй комнате.

Эта вторая комната была угловая, так что вся его квартира с кухней с двух сторон замыкала коридор и имела два входа — прямо из коридора и через кухню. Я почему-то медлил и был свидетелем, как Глаголевский угощал моего немца. На маленьком подносе преподнес он ему рюмку и штоф очищенной.

Фрейман взял штоф, посмотрел его на свет, встряхнул, опять посмотрел на свет и обратно поставил его на поднос, к немалому удивлению Глаголевского.

— Я пив пиль — водка не пиль,— произнес мой Фрейман сперва по-русски, потом по-немецки, чтоб я мог передать Глаголевскому мысль его на случай, если он по-русски выразился не совсем правильно.

— Пива? Сейчас! — подхватил Глаголевский как бы в лирическом восторге.— Сейчас и пиво будет!

Он вышел, пошептался с кем-то в коридоре и, воро-

тившись, стал перед Фрейманом очищать место для стакана и бутылок. Пока все это происходило, я надумался, пошел в кухню и застал мою бывшую нянюшку развешивающею по веревкам сырое, вымытое белье достопочтенного Глаголевского, так же, как когда-то, лет девять тому назад, она развешивала и сушила белье ребенка, только что отнятого от кормилицы, то есть мое белье. Сильно зарделось широкощекое лицо Аграфены; она всплеснула руками и что-то уронила на пол, лишь только, опустив глаза, увидала мою физиономию.

— Ах! батюшки мои! какими судьбами? Милый ты мой кавалер! Вот поди ты! Чего не ждала, не гадала!..

Но Аграфена сначала вытерла себе руки сухим полотенцем, потом уже принялась обнимать и целовать меня, причем, разумеется, прослезилась.

Не стану передавать всей нашей болтовни, скажу только, что Аграфена уверила меня, будто она нанялась к Глаголевскому смотреть за его хозяйством, что она не кухарка (кухарки дома нет), но экономка, а потому и сидит все больше дома.

— Что делать! — говорила она,— выходило место няньки, да как поглядела я, так головушка у меня от одного детского крика закружилась: шутка ли, за тремя пострелятами глядеть, да еще за такую цену, что и на башмаки не хватит! Да лучше мне своих детей нажить, чем за такую цену! Ну... думала-думала — ну, что будет, говорю, поживу с ним, коли он не беспутный человек, а беспутный, ну и черт его побери совсем! Земля-то не клином сошлась... Ну что Юлия Антоновна? — продолжала она.— Вспоминаю я ее... дай ей бог здоровья. Столько времени жили-жили вместе, хоть бы словечком каким обидела! нет!.. Эдакая уродилась бесподобная барышня! Ты смотри, молодец, не говори, что ты меня видел здесь, ну их! Логин-то ваш, старая морда, немало на меня сплетничал... а намедни встретился, зовет на свадьбу. Пойду я!.. чего я не видела?.. эка невидаль!..

Так говорила Аграфена, а между тем время шло. Фрейман успел уже вытянуть два стакана пива и стосковался по своей трубке; трубки же, предложенной Глаголевским, даже и в руки не взял. Глаголевский, видя полную невозможность ни разговориться, ни сговориться с ним, пришел к нам в кухню с тарелкой мятных пряников, и няня принялась ими набивать мои карманы, к моему немалому удовольствию. Скоро, однако же, Фрейман позвал меня, и мы отправились с ним домой к обеду. Глаголевский проводил меня до самой Сенатской площади. Здание теперешнего Синода и Сената

тогда только что воздвигалось, было заставлено лесами и широко огорожено деревянным забором. И сколько мне помнится, вместо теперешнего бульвара вокруг Адмиралтейства шла канава, окруженная невысокими, похожими на прутья деревьями, тогда как на Невском проспекте росли деревья не ниже тех, которые растут на теперешних бульварах. О! как бы они были теперь высоки и зелены, немые свидетели моего детства! Но ими давно уже истопили казарму, и неуловимый дым их давно уже осел на чьи-нибудь сердца неизъяснимой горечью.

Все изменяется незаметно, что изменяется само собой, без всякого участия внешней силы, физической или нравственной. Юлинька же с июля по ноябрь так изменилась, что стало трудно мне понимать ее даже теперь, при всем моем желании осмыслить всякую перемену в ее характере. Ее минутная, мечтательная задумчивость превратилась в постоянную, прерываемую неожиданными проблесками живости и резвости, ей несвойственной. Оттого ли, что она уже стала смотреть на меня, как на совершенного ребенка; оттого ли, что поняла, что мое сердце не всегда спокойно в ее присутствии, или оттого, что молодая кровь бродила в ней,— она стала злоупотреблять своим на меня влиянием, то есть приказывала мне целовать себя, любовалась моим смущением и, не постигая, что со мной, обнимала мою голову и крепко прижимала ее к своей груди. Я чувствовал жар ее щек, слышал, как билось сердце у этой девушки, а она говорила мне:

— Ох ты, милый мой мальчик! какая я буду старуха, когда ты вырастешь!..— А потом, успокоившись, проповедовала мне католицизм, с глубочайшим убеждением, что без благословения папы я никогда не встречу ее на небе, и что, если б мы встретились на небе, мы бы целую вечность провели вместе, наслаждаясь такой любовью, о которой люди имеют самое слабое, самое смутное понятие. Затем она опять становилась холодна и по целым дням не обращала на меня почти никакого внимания.

Знакомство с Зизи и *особенное* уменье патеров исповедовать молодых девушек, как видно, в это время уже приносило плоды свои. Сладкоречивый, вкрадчивый исповедник влиял на ее чувственность, чувственность в свою очередь толкала ее на раскаяние и на осуждение своих сокровенных помыслов, а это еженедельно тянуло ее на исповедь. В заколдованный круг попала бедная Юлинька. Почему я так смело записываю мою догадку — объяснится впоследствии.

Итак, чистая Юлинька, быть может, бессознательно стала возбуждать меня уже не к младенческим, а отроческим

помыслам. Я с ужасом начинал их сознавать в себе, приписывал их демонскому искушению, молился по ночам, грустил, забывал свои уроки, получал выговоры, выслушивал пастырские наставления отца Алексея, убежденного, что мне и думать больше не о чем, как только об уроках,— казался иногда тупым, мечтал о том, встречу ли Юлиньку в коридоре и что будет, если я вдруг обниму ее, потом опять молился до того, что приводил в ворчливое недоумение моего Фреймана; одним словом, я и сам иногда не знал, что со мной делается. Между тем Юлинька все чаще и чаще стала уходить из дома и по целым дням и ночам проводить время у княгини Малыгиной. Мать моя то хворала, то писала письма, то принимала гостей, то выезжала в театр и, как теперь помню, 6 ноября, в первый раз в моей жизни, повезла меня смотреть какой-то балет. Сильное он произвел на меня впечатление! Всю-то ночь грезилась мне Юлинька в фантастическом костюме: полунагая, делала она какие-то удивительные пируэты, словно летала передо мной по воздуху, а я то ловил ее и летал по воздуху, то она ловила меня — и назад закидывала голову, когда я обнимал ее... Но в ложе сидел Равинин и направлял на нас свой бинокль и говорил кому-то на ухо, тихо, но так, что я не мог не расслышать этого шепота: «Велите-ка за кулисами приготовить пучок хороших розог». Я глядел за кулисы и видел — какие-то страшные, красного цвета черти ставят скамейку и собираются сечь меня...

Помню, я проснулся в душной темноте и стал прислушиваться к вою ветра, как бы к вою и стону бесов, врывающихся в комнату то сквозь трубу и вьюшки, то сквозь щели неплотно притворенной форточки. Вдруг, в воздухе, как будто кто тяжелым бревном ударил под каменным сводом в деревянные ворота, раздался пушечный выстрел.

Я стал думать, что, вероятно, поднялась вода в Неве, потому что и с вечера был сильный ветер. Когда везли меня из театра, я видел сквозь каретные стекла, как дрожали и жмурились огоньки в фонарях и как задувало их. Я тогда не думал ни о ветре, ни о фонарях, но впечатление, как видно, осталось и припомнилось. Потом я стал думать о том, почему Юлинька отказалась ехать в театр, куда ушла? и воротилась ли или осталась ночевать у Зизи? и если она ночует у Зизи, думает ли она обо мне? и что значат слова Юлиньки: «Я буду молиться о том, чтоб бог просветил тебя и привел тебя к пониманию истинной религии». Неужели ей не шутя хочется, чтоб я сделался католиком!..

Новый выстрел — и при этом как будто что-то покатилось по соседней железной кровле. Свист и отчаянное

завыванье ветра покрыли собой шум и стук чего-то падающего, и уж не знаю, упавшего ли куда-нибудь или унесенного ветром. Опять брякнула печная вьюшка и что-то зашевелилось в самой комнате. На меня напал ужас, и я решился разбудить моего Фреймана.

— Ei, was ist das?.. что такое?

— Слышите!

— Что?

— Я не знаю что... ужасный ветер, я еще никогда не слышал, чтоб так страшно выло. Я боюсь, mein lieber Herr Freimann! *

Фрейман стал уговаривать меня и ворчал. Опять раздался выстрел так, как будто кто толкнул в оконную раму, и она глухо звякнула.

Фрейман пошарил вокруг себя, достал огниво и трут, высек огонь, приложил серную лучинку к зажженному труту и уже потом зажег свечку. (Буди благословен изобретатель фосфорных спичек!..)

Оба мы вышли из мрака и оба очутились стоящими на полу в одних рубашках.

— Ну что? — спросил меня Фрейман, разинув рот, да так и остался с вопросительным выражением на сонном лице.

— Стреляют,— отвечал я, не зная, что сказать. (Не сказать же в самом деле, что чертовщина полезла мне в голову.)

— А?! стреляют?! зачем стреляют?..

— Верно, вода в Неве поднялась.

— Ну... что же вы?.. трус! знаете, почему стреляют, и будите... Что такое? Ничего нет такого особенного. Ветер воет... он всегда воет — и пусть его воет! Какое нам до него дело? Ну, в постель! ложитесь... трус!..— Немец поглядел на часы — был уже четвертый час утра,— лег, накрылся байковым одеялом и задул свечу.

Я также лег, но страх мой совершенно прошел, как будто на минуту зажженная свечка и человеческий голос могут рассеивать его, как бы по волшебному мановению; я же слышал, что Фрейман не спит, о чем-то вздыхает и, вероятно, также прислушивается к заунывному и на все лады и тоны переливающемуся завыванью бури; и стал я дремать под отдаленные выстрелы, повторяющиеся каждые пять минут, и заснул, мечтая о балете и о той танцовщице, которая так пленила мое воображение. А в это время умирала

* Мой дорогой господин Фрейман! (*нем.*)

Константиновна, и в целом доме никто не знал, как она отходит,— какие крылья, сквозь эту бурю, несут ее грешную душу — и куда несут?..

ГЛАВА XXII

На другой день (7 ноября) почему-то я проснулся поздно (то есть около девяти часов), и Фрейман, хотя и встал, почему-то не разбудил меня. На его столе горела свеча, пасмурное утро глядело в окна; ветер выл и гудел; но ни он, ни я не обращали на него ни малейшего внимания. Суетливость дня, одевание, умывание, протверживанье латинского урока, словом, шорохи проснувшейся жизни заглушали порывистые вопли бури и спасительные выстрелы.

Я вышел в столовую и у чайного столика застал Аксюту, заметно не успевшую еще причесать своих волос.

— Юлиньки нет? — спросил я.

— Нет.

— А мама встала?

— Нет, еще не встала.

— Ну, налей мне чаю.

— А бабушка Константиновна приказала долго жить.

— Как?!.— Я посмотрел на Аксюту — она посмотрела на меня.

— Да так, отдала богу душу, да и все тут. Что вы, не верите?

Видно, Аксюта по глазам моим прочла, что мне как-то не верилось. Умерла бабушка Константиновна! странно как (мне это казалось странным!)! умерла, и я этого не знал!.. Я перекрестился — мне стало жаль старухи Константиновны, а почему жаль,— и сам не знаю.

Кое-как допил я чашку чаю и пошел смотреть на покойницу. В семь часов утра ее обмывали и теперь, уже одетая (так, как сама когда-то одевалась она в светлый праздник или в причастный день), лежала она в просторной девичьей на столе, в белом капоте, в белом чепце с оборками и покрытая белой простыней. Лицо старухи, бледно-свинцовое, неподвижное, с выражением какого-то мертвого благоговения, с ввалившимися губами и двумя пятаками на закрытых глазах, не могло не поразить меня: мне было как-то жутко смотреть. В первый раз я видел жертву смерти, то есть бездушный труп, крестился и глядел на него издали.

В девичьей были одни только женщины — наши и чужие. Перед образом горели восковые свечи, толки происхо-

дили полушепотом — толковали о том, в котором это часу — с вечера или под утро умерла Константиновна; одни доказывали, что с вечера, другие уверяли, что всегда умирают под утро и приводили примеры; потом спорили; между прочим, жаловались на погоду и что в экую бурю, в экое ненастье привел ей бог умереть; расспрашивали, давно ли покойница причащалась. Оказалось, недавно, а именно около покрова, когда почувствовали, что ее что-то душит.

— Ну, вот и задушило... уж это всегда так! Сперва смерть-то у дверей стоит, потом за кроватью стоит, а потом уж и душит...— заметила какая-то сердобольная старушка в зеленом платке, должно быть, одна из обитательниц верхнего этажа.

С заднего крыльца отворилась дверь, и вошел Семен, бледный и растрепанный.

— Шапку унесло — не поймал,— сказал он, слегка задыхаясь.— Эдакая-то буря, что — и, господи! так и рвет!

— Ну, что же поп-то? Дьячка-то хоть нашел ли? — обратились к нему с расспросами.

Но, никому не отвечая, даже не замечая моего присутствия, Семен сел на лавку, снял сапоги и стал выливать из них воду.

Не успела старушка в зеленом платке обидеться, как в окошке звякнуло стекло, как будто кто-нибудь вышиб его ударом камня; ворвался ветер, загудел и поднял край простыни, которая прикрывала покойницу. Заволновались складки, зашевелились оборки чепца вокруг мертвой головы, как будто вдруг она ожила; у образов погасли свечи... Все стали креститься; я побледнел и невольно попятился. Не успели стекла́ заложить подушкой, не успели опять затеплить восковые свечи и поправить саван, как на дворе раздался крик, а за дверями, на задней лестнице послышались пискливые голоса, какие-то странные взвизги и вздохи.

С шумом расхлобыснулась дверь, вбежали Логин, жена его, дочери и в числе их невеста, бледная как смерть и в белом, бальном платье.

Бедная девушка! в это утро примеряла она свое подвенечное платье (в ожидании портнихи, которая заносила его с вечера с тем, чтобы прийти за ним поутру), и не успела снять она это платье, как вдруг в комнате их сделалось совершенно темно; в окна, выходящие на тротуар, плеснули волны; сквозь выбитые стекла, с ревом и пеной, опрокидывая горшки и банки, полилась вода и быстрыми потоками стала заливать их подвальную горницу. Едва-едва успели они, по колено в воде, выскочить в нижние сени, взбежать на

лестницу и с лицами, искаженными от ужаса, мокрые, растрепанные, появились в нашей девичьей, перед лицом ничем уже не возмутимой покойницы. Все ахнули — одна Константиновна не обратила на их испуг ни малейшего внимания. Что же касается до меня — я бросился бежать сначала в библиотеку, потом в залу, потом в мою комнату; увидевши Фреймана, закричал: «Мы тонем!» и, не дождавшись ответа, бросился будить мать мою.

Но я застал ее уже в гостиной, только что вставшей с постели. В одной кофте и ночном чепце она стояла у окна, была бледна и как будто не верила собственным глазам своим.

— Мама, что это?.. что с нами будет?..

— Разве ты слеп? Видишь, наводнение...— сказала мать.— Будем пока смотреть... Больше нам нечего делать...

— Мы не утонем, мама?

— Авось, бог милостив, не утонем,— и слеза покатилась у нее по щеке.— А вон,— добавила она,— этот мужичок — вон, видишь,— коли не удержится — потонет...

— Где, мама?

И я стал смотреть в окно. Ни улиц, ни Мойки не было. Все было покрыто свинцовыми волнами — реки не реки, озера не озера,— не знаю, как и назвать эту поверхность бушующей стихии, эти волны с несущимися по ним обломками, со всех сторон охватившие городские здания. Чугунные решетки набережной изредка еще мелькали между углублений, образуемых на воде порывами крутившегося вихря; наконец, и они мелькать перестали. По ту сторону канала я увидел человека, обхватившего руками деревянный фонарный столб. Столб этот покачнулся и, казалось, падал, а он висел спиной к волнам, с руками около разбитого фонаря. Он был без шапки; но, судя по движению головы его, не терял еще присутствия духа и высматривал, нет ли откуда-нибудь спасения. Вдруг на фонарный столб надвинулась боком какая-то полуразбитая барка; вокруг этой барки неслись дрова и расплывались во все стороны; фонарь не вынес и клюнулся в воду, но мужик, уцепившись за корму, вскочил на барку, побежал, поднял какое-то бревно и остановился. Барка поплыла дальше, мы стали следить за ней: вот пронеслась она мимо кареты, которой кузов торчал из воды, без кучера на козлах; вот, чуть-чуть не задев кареты, она ударилась в угол дома, приостановилась и начала тонуть... Мужик, к немалому утешению моей матери, воспользовался вывеской, вскарабкался сперва на нее, а потом на железный навес, прикрывающий спуск в какой-то винный погреб.

Далее шла улица и в перспективе была видна от нас, но что там происходило, трудно было понять. Все было как бы в тумане. Небо было покрыто сплошными темными тучами, воздух шумел, но дождя не было; не его ли капли буря дробила в мельчайшую водяную пыль и эта пыль неслась по городу?

Я видел, как эта буря заворачивала железные листы на кровлях, и живо помню, как слетел с одной трубы ветроуказатель, изображающий дракона с разинутой пастью; помню, как он покатился, сделал несколько зигзагов и приостановился в водосточной трубе, прежде чем слетел на улицу. Одним словом, недаром была бледна мать, недаром я дрожал: зрелище было захватывающее дух, потрясающее зрелище!

События выходили из ряда обыкновенных, и все, что окружало нас, все стало необыкновенно: обычное течение жизни изменилось и изменило людские отношения.

Зала наша, как трактир или постоялый двор, стала наполняться людьми, нам совершенно незнакомыми. Иные забежали прямо с улицы, не спрашивая, кто мы, и не говоря нам, кто они. Иные знали наших людей и перебрались к нам из нижнего этажа с своими чадами и домочадцами, с мокрыми узлами, сундуками и подушками.

Мать моя почувствовала озноб и пошла одеться. Я вышел в залу. Тут была налицо почти вся наша дворня, кроме горничной Аксюты, повара и кучера.

В девичьей были также чужие люди; но мысль о том, что нас могут обокрасть, никому не приходила в голову, и очень понятно, почему она не приходила: можно было украсть, но с украденным бежать было некуда.

Логин был в зале и стоял спиной к печке, скрестивши на животе пальцы рук и понурив голову. Он был похож на приговоренного к смерти и глядел так, как будто наступает страшный суд. Жена его сидела на стуле в каком-то полузабытьи: очки криво сидели на носу ее, глаза были закрыты; иногда, когда вой ветра или стук падающих кирпичей, оторванных от какой-нибудь трубы и покатившихся по железной кровле, заставлял ее вздрагивать, она испуганно глядела в окно и крестилась. К худенькому плечу ее прилегало обнаженное, молодое плечо ее дочери-невесты, и так странно было видеть на ней в эту минуту подвенечное платье с открытым воротом, с полурасстегнутым лифом и мокрым подолом; она была в папильотках и плакала. Сестры ее также были в слезах, но не плакали. Егорка стоял на окне. Семен оглядывал страшно затоптанный и местами мокрый пол,

беспрестанно уходил в переднюю, на всех косился, но не смел никого гнать, потому что гнать можно было только в воду и никуда больше...

Теперь о незнакомцах. Пропускаю тех, которые ночью ушли к себе вниз, зажгли фонари, стали отливать воду и приводить в порядок свои вещи, скажу только о тех, которые волей-неволей должны были остаться ночевать у нас. Между ними только трое особенно как-то рельефно сохранились в моей памяти, а именно: седенький приказный в поношенном вицмундире, в шинели с подкладкой, из-за которой выглядывала вата, и с портфелем под мышкой; он вел себя философом и говорил: «Вот поглядите, через десять минут все это опять сольет, и все придет в надлежащий порядок; только подвалы да погребки пострадают; вот поглядите!» Тут он вынимал серебряные часы свои, похожие на луковицу, и всем указывал на стрелку — через десять минут все пройдет — и его превосходительство непременно приедет в департамент, ибо не было еще примера, чтоб его превосходительство не приехал в наш департамент.

Другой был купчик, остриженный в кружок. Скрипя своими сапожками, он ходил от окна к окну, останавливался, что-то высчитывал, загибая пальцы, то один, то другой, и потом, поднимая руки, голосил: «Мать пресвятая богородица! что же это будет! Ведь это банкрутством пахнет... это... помилуйте-с!.. Если это так продолжится-с — это ведь все снесет-с, все, как есть. Товар на бирже — на открытом месте... Ничего не поделаешь... Что ж это будет-с!..» Но никто не отвечал ему. Купец поглядывал в окна и опять принимался ходить, поскрипывая своими сапожками. Наводнение застало его под навесом нашего крыльца, и он успел взбежать на лестницу, прежде чем волна докатилась до ног его.

Третий, напротив, был явно в воде чуть не по пояс: суконные шаровары его облипали вокруг сухощавых ног, даже поношенный синий плащ его был снизу подмочен и висел, живописно закинутый на одно плечо. Это был еще молодой человек лет двадцати семи, среднего роста, сухой, смуглый, с греческими чертами лица, истомленными, но резкими; низенький лоб его был пересечен складками, идущими вверх от черных сдвинутых бровей. Неподвижно стоял он у среднего окна, сложа руки крестообразно, à la Napoléon *, и глядел на улицу, то есть на картину бури и наводнения. Смятый клеенчатый картуз был у него под мышкой;

* как Наполеон *(фр.)*.

перед ним на окне лежал его мокрый свернутый зонтик. Я стал у другого окна, подле Егорки, и поглядывал на его неподвижный профиль. Сзади меня стал мой немец. Он через плечо мое глядел на волны и с кислой миной продолжал покуривать свою трубочку; вытянутое лицо его казалось совершенно зеленым, но он молчал — только изредка, поднимая брови, поглядывал на небо.

Когда мать моя, в капоте и закутавшись в большой платок, появилась в зале, никто не подошел к ней, кроме седенького приказного; он поцеловал у ней ручку и сделал несколько шагов назад, приниженно сгорбившись. Купчик спросил ее:

— Чем же это кончится? сами извольте рассудить!..

Человек в плаще даже и не оглянулся.

Но, подойдя ко мне, встревоженная мать моя поглядела на его профиль и спросила меня на ухо:

— Ты не знаешь, кто это?

— Не знаю, мама!

— Il se pose *... и в какое время! А где Логин? — Она подошла к невесте, и костюм ее удивил мою мать. Паша поднялась с места и стала горько и громко плакать; старуха, мать ее, бросилась обнимать ее и простонала:

— Маааатушка!.. Все-то залило... ничего-то нет у нас...

— Все будет, если бог до конца на нас не прогневался. Не вы одни пострадаете... Слава богу еще, что успели вовремя выбраться...

— Через десять минут, много через двадцать, ваше сиятельство, вода сбежит, и все будет по-прежнему,— сказал круглоголовый седенький и под гребенку остриженный приказный. Кажется, он был очень доволен, что сидит у нас в зале, а не в департаменте.

Человек в синем плаще оставался по-прежнему неподвижен, и мать моя решилась подойти к нему.

— Как вы думаете,— спросила она его,— скоро ли все это кончится?

Незнакомец,— как будто кто разбудил его,— быстро обернулся к моей матери.

— Что вы сейчас сказали?

— Я... я спросила вас, как вы думаете, скоро все это кончится?

— Не знаю, madame, это до меня не касается... Проклятый город! Если он провалится сквозь землю... Пусть!.. Но он не провалится сквозь землю, он потонет. Разве вы не

---

* Он рисуется *(фр.)*.

замечаете, что земля опустилась и море заняло свое прежнее место... Я это давно предчувствовал... Впрочем, это до меня не касается...

Мать моя поглядела на него как на сумасшедшего.

— Что вы сказали? — И черные глаза его так поглядели на мою мать, что она отступила, и беспокойство слишком ясно выразилось в лице ее, и без того бледном и как бы измученном.— Люди, madame, гибнут каждый день и каждый день разоряются. Не потоп, а люди друг друга губят и разоряют.

— Вы несчастны? — спросила его мать моя,— или...

— Не мешайте мне глядеть, как тонет Петербург,— не мешайте... И вы тонете, madame, и хорошо сделаете, если потонете...

Мать отошла от безумного.

— Семен! — распорядилась она,— ступай на нашу парадную лестницу и заметь, до которой ступеньки заливает ее водой: без этого мы не узнаем, когда начнет сбывать...

Семен вышел. Я пошел за Семеном. Наша парадная лестница была также завалена мокрыми пожитками; на той же площадке, на которой отворялась дверь из нашей передней, кроме мокрых узлов, была кадочка с кислой капустой и валялся окорок. Окно с этой площадки выходило на двор, и я заглянул в него; двор наш также был залит водою; по воде плавали дрова, доски, ушат, щепки и всякая дрянь. Сквозь вой ветра, ни на минуту не умолкавшего, слышался вой собак — изредка ржание лошадей, которых не успели вывести из конюшни.

Семен нашел, что лестница наша залита *всего только* по девятую ступеньку, и я побежал сказать об этом моей матери. Когда я воротился в залу, я нашел мать мою разговаривающей со старичком-приказным; он узнал, что у нас в доме покойница, и вызывался читать по ней Псалтырь, уверяя, что наводнение долго продолжаться не может, но что он готов на богоугодное дело посвятить всякий свободный от службы час...

— Дайте мне Псалтырь, я буду читать... я не хуже дьячка буду читать, ваше сиятельство! — говорил он моей матери, униженно кланяясь. Во всякое другое время он бы рассмешил ее, но кому было тогда до смеха! В доме у нас нашелся Псалтырь, и седенький приказный, захватив свой портфель, отправился в девичью.

А между тем буря все еще не унималась, наводнение росло и росло, волны стали еще грознее, и мы слышали, как они ударяют в стены нашего дома. Вообразите же наш ужас,

когда к двум часам пополудни вода на нашей парадной лестнице поднялась с девятой ступеньки на двенадцатую... когда мы увидели по волнам несущиеся трупы лошадей, часть какой-то кровли, раскрашенную караульную будку, и между ними лодки и катера с матросами и с командующими на них офицерами... Казалось, слова незнакомца в мокром плаще, зловещие слова его — сбываются... Все стали молиться; я убежал в спальню матери.

Там был сумрак; только огонь лампадки да тусклый свет дня, пробивавшийся сквозь опущенные сторы, кой-где освещал беспорядок этой неприбранной комнаты; постель была измята, на полу лежала кофточка, сброшенная моей матерью; все это гармонировало как нельзя более с беспорядком природы, с беспорядочным состоянием души моей, и наводило пущее уныние. Я думал, что настает чуть ли не всемирный потоп, что не один Петербург — вся земля должна погибнуть от этого наводнения. Я, рыдая, упал на колени перед мерцающими иконами и стал так молиться, как молятся только на корабле, в ураган, среди ежеминутно угрожающей опасности.

Не помню уж, сколько прошло времени, помню только, что среди молитвы моей вдруг долетели до меня чьи-то слова: «Сбывает! вода сбывает!..»

— Слава богу! — послышался голос моей матери.

— Слава богу! — повторил за мной чей-то тихий голос, и горничная Аксюта, которая, закрыв лицо, все время лежала за пологом, поперек кровати, и которой я не заметил в сумраке, зашевелилась и подняла свою голову. Она страшно могла бы испугать меня, если б я тотчас же не узнал ее.

Торопливо я сделал несколько земных поклонов (видно, и перед богом-то мы не умеем быть слишком долго благодарными), торопливо произнес: «Слава тебе господи!», вскочил с колен и побежал в другие комнаты; но уже и в других комнатах становилось темно, наступали сумерки, приближалась ночь, то есть было около трех часов пополудни. Вода сбыла только на две ступеньки, и это уже всех обрадовало, даже купчика, который так сокрушался о своих товарах. Видно, жизнь дороже всякого товара. Я ушел в свою комнату посмотреть, что делает мой немец? Он сидел на своей постели и покуривал трубочку.

— Вода сбывает,— сказал я ему.

— Это великое, великое бедствие! — сказал он,— я теперь сижу и думаю.

— О чем же вы думаете?

— О!.. о чем я думаю!.. о многом, дитя мое! В этот день

я снова пережил все свои несчастия, все свои страдания и внутренно плакал. Вы этого не замечали, но, глядя на вашу мать, я плакал: она напомнила мне Амалию Вагнер, ходившую по развалинам своего замка; она была одна несокрушимее всех, и я один... я один понимал ее!..

Я решительно был не в состоянии понимать моего наставника; и так как в моей душе уже не было отчаяния, то в нее стала проникать какая-то резвая радость. (Так весело становится на корабле, когда буря затихает, опасность прошла и капитан собирается завтракать.) Мне же казалось, что моя горячая молитва была недаром, что она спасла всех — весь Петербург спасла. Как же было не радоваться!

Я пошел в гостиную, через залу, уже тускло освещенную одной стенною лампой. Незнакомец в плаще в это время выходил из передней: видно, он хотел уйти, но увидал, что вода еще выше аршина, и воротился. Купчик, подогнувши ноги, сидел уже в гостиной. Там горела свеча, и мать моя приказывала повару хоть к семи часам изготовить обед, а пока поставить самовар. К счастью, плита в кухне была запалена еще до начала наводнения, был запас сухих дров и кой-что из вчерашней непочатой провизии.

Я опять пошел в залу поглядеть на невесту Пашу, поговорить с Феней, которая о чем-то кого-то упрашивала, и — встретился с незнакомцем в плаще. Уже на голове его был клеенчатый картуз и из-под мышки торчал зонтик, приподнимая сзади плащ его.

— Милый ребенок! — сказал он,— не знаете ли вы, кто живет в этой квартире?

— Мы живем,— отвечал я, смотря на него с некоторым недоверием.

— А дома ли та молодая, хорошенькая девушка, которая живет у вас?

— Какая девушка?

— Та, у которой лицо Психеи. Я ее знаю... Я знаю, что она живет у вас... Я видел... Отчего ее нет?

— Кого? Юлиньки?

— Гм! ее зовут Юлией... Где же она, эта божественная Юлия? Неужели она не знает, что Ромео ждет ее!.. Нет!.. Милый ребенок! скажите мне, ради самого создателя, где она?

— Чего вы от меня хотите?.. Юлинька вчера еще ушла и не воротилась.

— Ушла и не воротилась! — произнес он, побледнев,— и не...во...ро...тилась!.. Как же это?!. Петербург еще цел и невредим, а Юлия не воротилась?.. Я с ума сойду, если тут

есть хоть какая-нибудь правда... А как вы думаете, по ком это у вас читают Псалтырь? А? по Юлии?

— Нет... нет...

— Ну, так я пойду искать ее.— Он отворил буфетную дверь, постоял около коридора и потом опять к передней направил шаги свои.

Я решительно не знал, что и подумать. Мысль, что это сумасшедший, еще не приходила мне в голову; иначе я давно убежал бы от него под чью-нибудь защиту, меня он просто пугал своим видом, своим голосом, своими глазами, своими странными манерами; я пошел и передал моей матери разговор о Юлиньке.

— Я решительно не могу понять, что это за человек,— сказала мать вполголоса, опершись локтями на стол,— сумасшедший он, или просто сумасброд, или прикидывается? Аксюта... скажи, пожалуйста, потихоньку нашим людям, чтоб они наблюдали за этим господином в плаще... Если он сумасшедший или помешанный, надо быть с ним ласковее, не раздражать и не пускать его на улицу, а то он непременно потонет... Поди, погляди, где он?

Аксюта вышла и увидала его в зале: он опять возвращался из передней; походивши немного, он сел в углу залы около горшков с лимонными деревьями, положил нога на ногу, скрестил руки, повесил голову и так просидел часа два, задумавшись и ни на кого не обращал внимания. На него также перестали обращать внимание — даже забыли о его присутствии.

ГЛАВА XXIII

Около семи часов вечера позвали меня обедать, и я вместе с Фрейманом отправился в столовую. В столовой был накрыт стол приборов на десять: две свечи на высоких шандалах светили поверх закрытой миски; несколько бутылок початого и непочатого вина стояло перед приборами; в углу горела лампа на выдвижном деревянном столбике. Матери моей не было, и мы стали ожидать ее. Налево около окна сидели две забеглые старушки в старомодных чепцах, на вид приживалки; в то время не было почти ни одного сколько-нибудь богатого дома, где бы не было трех, двух или, по крайней мере, одной приживалки (мать моя терпеть их не могла; но это нисколько не мешало им иногда посещать нас или с разными сплетнями заходить в нашу девичью). Направо, вдоль стены, за стульями стояли: наш гайдук с тарелкой,

наш Семен, еще не успевший причесать волос своих, унылый купчик в допотопном сюртуке, точно пойманный вор, с понурой головой и с рукой за пазухой, и, наконец, седенький старичок в вицмундире, только что воротившийся из девичьей, где он читал Псалтырь, и, как говорят, читал с редким усердием. Он один имел тот фатально-равнодушный вид, который так иногда неприятно на похоронном обеде поражает заплаканные глаза хозяина, только что похоронившего свою последнюю радость или свою первую надежду.

Логин двигался как автомат и, по-видимому, совершенно машинально, как бы по привычке, поднес к приказному графинчик с водкой; потом также машинально, обойдя стол, поднес его к двум старушкам; одна из них рукой отстранила соблазн и потрясла головой, другая так же потрясла головой, но соблазнилась и выпила. Потом приказный вынул табакерку (с полинялым изображением Кутузова), ударил по ней указательным пальцем, раскрыл и поднес ее Логину. Логин взял щепотку табаку, но не донес ее до носа, все просыпал себе на манишку и вышел. Все это делалось молча, все были пасмурны, а на Логине просто лица не было.

Вообразите себе, что вы ходите над водой, которая залила и покрывает все ваши пожитки — все, что скопили вы правдой и неправдой, все, что вы готовили себе на старость или дочерям в приданое, вообразите вы все это — и тогда вы поймете, отчего на Логине лица не было и отчего с подносом он двигался как автомат — ни на что не глядел и никого не слушал.

Все ждали моей матери, но вошла Аксюта, встревоженная, торопливо спросила: выходила ли барыня?

— Не слепая, сама видишь! — отвечал ей Семен.

— Надо пойти ей сказать.

— Что еще?

— А это, изволите видеть, это-с... я и не понимаю, что такое! — вдруг заговорил седой приказный, расставив руки.— Это, это... я и не знаю, что такое-с?! Я читаю, изволите видеть, и вдруг он приходит, открывает покойницу и стоит, с полчаса стоит — глаза у него такие страшные, что я... согрешил, грешный, подумал, что это либо оборотень какой, либо висельник.

При этом старичок на всех обернулся с легкой усмешкой, но никто и не думал улыбнуться на слова его.

— Стали его спрашивать, изволите видеть,— продолжал старичок,— кто он такой, зачем он пожаловал и какое ему есть дело беспокоить покойницу? Предлагали ему помянуть новопреставленную или хоть на образ лоб пере-

крестить — ничего этого, словно окаянный, он не слушает,— и откуда такой появился, господь его ведает! — точно, изволите видеть, на него столбняк нашел.

— Господи! — послышался громкий вздох со стороны старушек.

— Мама думает, что он помешанный,— отвечал я.

— Господи помилуй! — повторилось новое восклицание с тем же вздохом, и затем одна из старушек стала глядеть на меня с выражением ужаса, а я стал расспрашивать Фреймана, следует ли бояться помешанных.

— Гм!.. да... ну... понятно, что... Гм! разумеется... впрочем... Гм! какого рода помешательство...— пробормотал мой немец, как бы выражая мысль свою не столько словами, сколько разнообразными движениями губ и каким-то неопределенным гмыканьем.

Я подошел к окну, выходящему на темный двор, увидал в чьих-то руках двигающийся фонарь и его отражение, двигающееся в воде. Видно, вода все еще стояла на довольно значительной высоте, и все еще двор наш похож был на огромный садок для живой рыбы, окруженный постройками. При свете этого фонаря увидал я на противоположной стороне двора открытое окно и в нем высунувшегося по пояс старика в халате и в белом колпаке. Он махал рукой и что-то кому-то приказывал. Слышалось, что в воде кто-то двигается. Ветер, несколько переменивший направление, хотя уже и не был так силен, но все еще шумел, и я опять услыхал этот шум, когда, приложившись к стеклу, хотел сообразить, о чем это кричит высунувшийся колпак в халате, вероятно, хозяин дома.

В это время послышались шаги и голос моей матери; я оглянулся — и не верил глазам своим. Мать мою под руку вел незнакомец в синем плаще, тот самый, о котором была речь и которого я только что назвал помешанным; густые темные волосы его торчали вверх, плащ висел на одном левом плече и свалился на пол, едва он вошел в столовую. Семен его поднял и положил в углу на порожний стул. Старушки встали, раскрыли рты и перекрестились. Приказный немножко попятился. Я также немножко струсил за мать мою.

Но на этот раз незнакомец наш, надо отдать ему справедливость, скорей глядел наследным принцем, светским фатом — чем хотите, только не помешанным: он сиял и, казалось, гордился честью вести под руку мать мою. Французский язык его, беглый, с парижским акцентом, приятнейшим образом защекотал слух мой, потому что в звуках его

послышалось мне что-то такое в высшей степени любезное. Мать моя, по-видимому, также была довольна им: она любила все необыкновенное, и романический, странный незнакомец, даже как помешанный, не мог не занять ее. Выслушав Аксюту, она сама пошла в девичью, как хозяйка, сама пригласила его обедать и подала ему руку. Вероятно, симпатический, ласковый ее голос спасительно подействовал на его воображение, и мозги его пришли в порядок.

Когда мать моя села за стол, рядом с нею сел и он, подозрительно и быстро оглядев присутствующих.

Отняли крышку с миски, поднялся пар — и мать моя, разливая суп, не переставала его расспрашивать,— и этот сумасшедший премило стал рассказывать свои заграничные похождения, свою встречу с Байроном, свое восхождение на Везувий и свои студенческие проказы в Геттингене. Судя по словам его, следовало думать, что это человек очень богатый, которому ничего не стоит сотню студентов угостить шампанским на удивление всего немецкого города, со всеми его бюргерами, профессорами и студентами; что ему ничего не стоит купить фермуар и подарить его знаменитой танцовщице, нанять десять экипажей, заказать флаги, устроить кавалькаду, фейерверк и проч.,— и так странно было видеть на этом человеке смятое жабо, жилет с оторванной пуговицей и на сюртуке протертый локоть, одним словом, следы той бедности, которая так противоречила словам его. Он, по-видимому, на эти следы не обращал внимания и был так мил, как франт первой руки, tiré à quatres épingles *, вполне убежденный, что никто не может быть ни любезнее его, ни приятнее в обществе. Все, даже старушки, успокоились,— один только купчик, ни слова не понимавший по-французски, с недоверием на него поглядывал.

Все шло хорошо, даже очень хорошо, потому что присутствие этого странного молодого человека развлекало мать мою и отвлекало ее мысли от явлений дня, таких необычайных и таких бедственных! Кроме меня, в этот день никто не жалел об отсутствии Юлиньки. Все были убеждены, что она или у своего отца, или у княгини Малыгиной, а княгиня жила целым этажом выше нас, дальше нас от Невы и, стало быть, вне всякой опасности.

Под конец же стола не только мать моя, но и я был радехонек, что нет с нами нашей Юлиньки. Вот что случилось.

Незнакомец был в ударе, сыпал отборными фразами, как

* одетый с иголочки (*фр.*).

из рога изобилия, и, в пылу какого-то рассказа о какой-то дуэли с каким-то французским виконтом, налил себе из бутылки рюмку вина и выпил — выпил спеша, чтоб как можно скорее дорисовать картину своего подвига, выпил — и вдруг все лицо его как бы передернулось: он побледнел, сдвинул брови, смолк и опустил рюмку на скатерть.

— Что с вами? — спросила его мать моя, с беспокойством поглядывая то на него, то на пустую рюмку.

— Что это такое? — спросил он вполголоса, оглядывая присутствующих.

— Это ром,— отвечала мать.

— Это ром... Ром! Вы говорите, что это ром. Гм! vous plaisentez, madame... *

В глазах его промелькнула подозрительность, он поглядел на мою мать, потом на купчика, потом опустил ресницы и задумался. Все переглянулись. Мать моя поняла, что несчастный, по рассеянности, вместо вина выпил рому, поняла, что уже поздно винить кого-нибудь в этой ошибке, испугалась за последствия и не знала, как ей быть в таком случае.

— Чем же все это кончилось? — спросила она его с притворным равнодушием и переставила бутылку с ромом поближе к своему прибору.

Он молчал.

— А с Байроном вы говорили по-английски?

Незнакомец продолжал молчать с опущенными черными ресницами; черты лица его были бледны, неподвижны и холодны.

Чтобы дать ему время одуматься, мать моя обратилась к купчику и спросила его: чем он торгует?

— У нас всякий товар-с, ваше превосходительство,— заграничным сахаром торгуем, чай тоже с Макарья идет к нам. Тятенька кажинный год в Нижний ездят-с; только нынешний год, по своему нездоровью-с, а пуще по старости, посылали меня-с. Не знаю, что бог даст-с, а эта вода много нам всяких хлопот и бед понаделает. Это не приведи бог-с! Тоже и на бирже у нас товару не мало с кораблем пришло. У нас и москательная лавка есть, отсюдова недалече-с, около Харламова моста.

— Не против ли того дома, где живет Грибоедов? Вы знаете Грибоедова?

— Нет-с, не слыхал, чтоб такой жил.

— А жена есть у вас?

---

* Вы шутите, мадам... *(фр.)*

— Жена молодая-с, а живы ли там у меня все, не знаю-с; тоже сынишко есть маленький,— гляди, на улице или в лавку побежал — долго ли до греха-с?.. Прогневали мы господа бога! Чай, страху одного что понатерпелись.

В это время незнакомец протянул руку, достал опять ту же бутылку и опять налил себе полную рюмку.

— Это ром! не пейте! — воскликнула мать моя.

— Э! все равно — я выпью и отраву, если только вам будет угодно отравить меня... Господа!..— Стул его быстро отодвинулся назад, и он встал, приподнявши рюмку, как обыкновенно провозглашают тосты.— Господа! пью за здоровье Юлии! Кто не будет сейчас пить со мной за ее здоровье, тот мой враг — злейший враг мой! тот пусть знает, что я... я... буду стреляться с ним через платок — через платок! — повторял он с азартом; глаза его горели, руки дрожали, голос дрожал.

— Прекрасно! будем все пить за здравие отсутствующей Юлиньки и за ваше здоровье,— сказала озадаченная и взволнованная мать моя.— Семен! налей всем вина — какое есть... Пейте, господа! Сережа — выпей и ты... тебе не мешает.

Всем налили лафиту, кому в стаканы, кому в рюмки, и — делать нечего — все мы должны были пить за здоровье Юлиньки.

Незнакомец опять сел и опять задумался.

— Где она? — заговорил он.— Куда ее от меня спрятали? Куда?.. В гроб? Несчастные! Изверги! что вы с ней сделали! О! проклятие, проклятие!..— Слезы потекли по его щекам, он уткнул лицо свое в руки, положенные на стол, и стал рыдать.

— Это невыносимо! — прошептала мать моя.

Я так же был страшно потрясен всей этой неожиданной сценой.

Долго он плакал, все сидели за столом молча и почти не двигаясь; старушки крестились, Семен, от изумленья, хлопал глазами. Логин глядел исподлобья. Мой немец был растроган. Никому не шел кусок в горло,— и когда мы увидели, что плачущий безумец заснул, мы, по мановенью матери моей, тихонько отодвинули стулья и встали из-за стола. Я подошел к матери и, не переставая целовать ее холодные руки, прошел с нею в гостиную.

— Какой, должно быть, хороший человек! — говорила она,— и что это с ним? Неужели он влюблен в Юлиньку — и помешался, или это так, временное помешательство,

прилив крови к голове? Наводнение это, может быть, слишком потрясло его.

— Это, сударыня, должно быть, он самый и есть,— сказала Аксюта, которая принесла матери моей одеколон и склянку со спиртом.

— Кто такой?

— А тот самый, что надысь на улице пристал было к Юлии Антоновне; та прибежала запыхавшись да и говорит: какой-то мужчина, говорит, не отставал от меня до самой лестницы, до самой-то лестницы, говорит, не отставал, не отставал, все что-то бормотал по-французски и шел без шляпы. Должно быть, он и есть.

— А! может быть! Что же нам с ним делать? Сережа, друг мой, ступай в свою комнату и отдохни; я также скоро лягу — мне нездоровится... Ну уж денек!.. Herr Freiman, отведите его; вам сейчас принесут кофе; в зале же сыро — везде как-то сыро и холодно.

Фрейман ушел, но я заупрямился и не пошел в свою комнату; мне не хотелось ни на одну минуту покидать моей бодрой и на этот раз распорядительной матери, потому что вообще нельзя сказать, чтоб она была распорядительна.

Был восьмой час вечера, а нас все еще невольно тянуло к окнам. Конечно, никогда еще наша северная столица не была закутана в такой черный, непроницаемый мрак; ни одного фонаря не светило ни на площадях, ни на улицах. Если б не светящиеся окна, можно было бы подумать, что на месте великолепного города опять вырос тот дремучий лес, который сто двадцать лет тому назад точно в такой же мрак закутывал голову Петра Великого. Золотые полосы — отражения этих светящихся окон — были единственными телеграфами, приносившими к нам весть, что вода еще не сбыла и покрывает мостовую, заливая фундаменты. Больших волн с пеною не было уже видно, но ветер еще сильно струил и морщил воду, судя по тем огненным струйкам, которые среди мрака играли на этих золотых отражениях. На одном из этих отражений, как теперь помню, вдруг нарисовался черный силуэт лодки с двумя гребцами и человеком на руле; одна из этих черных фигур приподнялась, наклонилась и уперлась, должно быть, веслом в мостовую,— черная полоса лодки двинулась и опять исчезла во мраке. В это время, судя по официальным данным, вода стояла на высоте пяти футов и девяти дюймов — стало быть, в нашем квартале уже открывалась возможность ходить в воде по улицам. Наш купчик, не перестававший выбегать на подъезд, пришел

проститься с моей матерью, поцеловал у нее ручку, потом вышел в переднюю, снял с себя новые сапоги, засучил панталоны и отправился к себе домой к Харламову мосту. Семен же снабдил его своей палкой для того, чтоб он мог ощупывать дно и не провалиться в какую-нибудь промоину; за эту палку, в благодарность, купчик обещал ему фунт чаю и четыре фунта сахару.

Приказный совершенно акклиматизировался в нашей девичьей. Беспрестанно пил чай с нашими домашними, потом опять принимался за Псалтырь — и так хорошо, трогательно и душеспасительно читал, что любой дьячок, слушая его, мог бы заболеть от зависти. О нем заботились наши женщины и чужие старушки; но... позаботиться о спящем безумце, который уже свалился на пол и лежал, как убитый, некому было, кроме моей матери. Вопрос, где его поместить на ночь, был несколько раз обсуждаем ею то с Семеном, то с Аксютой, то с Логином. Решили наконец постлать в зале на полу тюфяк, перенести и уложить его, не тушить стенной лампы до утра, дополнив ее маслом, на всякий случай положить в ногах спящего его плащ, картуз, зонтик и оставить его таким образом в покое. Так и сделали; при этом не могу не заметить, что Аксюта принесла для него ту самую подушку, на которой умерла Константиновна. Я видел, как в бесчувственном положении, со свесившимися назад волосами, перенесли его из столовой в залу, опустили голову его на эту подушку и покрыли ноги его байковым одеялом, причем Семен не утерпел и выругал его: принес же его черт в такое время! и без него хлопот немало, а тут еще с ним возись, черт эдакий!

Что еще сказать в заключение этого дня? Мать моя так утомилась нравственно и физически, что рано, около девяти часов, простилась со мной и отправилась к себе в спальню, а я, собираясь спать, застал Фреймана за письменным столом и, вероятно, за письмом к своему другу, в котором он, с сентиментальной точки зрения, описывал ему петербургское наводнение.

Взобравшись на свою кровать, долго не мог я заснуть: вой бури, город в волнах, обломки, мужик на фонаре, лодки на улицах, мертвое лицо старухи, невеста с голыми плечами и мокрым подолом, наконец, какой-то сумасшедший, спящий от меня через коридор,— все это беспрестанно рисовалось и видоизменялось в моем воображении; помню, как я босой вдруг выскочил из-под одеяла, подбежал к двери и запер ее на задвижку.

— Э! что вы там... Was machen sie! * — заворчал Фрейман, не оборачиваясь.

Ничего не отвечая, я опять прыгнул в кровать свою.

А зачем, вопрос, я запер дверь? Затем, ответ, что я сам в это время был как бы не в своем уме. Ну что, вообразилось мне, если ночью проснется этот сумасшедший да забежит ко мне в комнату, да начнет кусать меня,— а?! Но и затем я не успокоился. А что, если, продолжал я фантазировать, мать моя да позабыла запереть свою спальню — а он ночью заберется к ней и задушит, или перекусит ей горло, или... И страшные картины одна за другой беспрестанно слагались в утомленном мозгу моем и долго тревожили меня, прежде чем я заснул с молитвой на губах и с мечтою,— какою-то радужной, любовной мечтой о хорошенькой Юлиньке.

ГЛАВА XXIV

Только что стало светать, как я уже был у окна и говорил: слава богу, вода совершенно сбыла; двор был занесен и завален дровами, щебнем, обломками мебели и какой-то безобразной рухлядью, выжатой морозом. Везде, куда только проникали румяные лучи утра, сверкал иней или капли, превращенные в ледяные слезы. Около сараев стояла кучка людей в полушубках и валенках; когда она раздвинулась, я увидел труп околевшей лошади. «Неужели это наша караковая!» — подумал я и чуть было не согрешил — чуть было не сказал: царство ей небесное! Около нее стоял наш кучер нагнувшись, что-то говорил с запальчивостию и размахивал руками; очевидно, он оправдывался и объяснял своим слушателям, что спасти эту лошадь не было никакой человеческой возможности.

Логин проснулся (если только он спал) раньше меня, то есть часу в шестом утра, зажег фонарь и спустился в свое обиталище. Холод заставил его вернуться, но он выпросил у судомойки ее шубенку, напялил ее себе на плечи и опять спустился. За два двугривенных уговорил он дворника вытащить ему из его коморки один сундучок, обитый железом. В его коморке воды еще стало на три четверти от полу, и большая часть его пожитков вместе с досками из-под его брачного ложа, плавала на поверхности, представляя собой при блеске фонаря весьма плачевное зрелище. Впрочем, сундучок был найден, к великому благополучию Логина. Все почти было цело, по той причине, что дверь в эту комнату

* Что вы делаете! (*нем.*)

напором воды была прихлопнута и еще по той причине, что низенькие окна были малы: сквозь их отверстие волны похитили только деревянный болван, на котором когда-то он заплетал и пудрил парик моего батюшки, ручную кофейную мельницу да еще какой-то маленький ящик с булавками, шпильками, крючками и т. п. принадлежностями женского туалета.

Разумеется, прежде всего Логин вынес святые образа и приложился к ним, а потом уже потащил на спине сундучок свой с деньгами,— деньги, стало быть, не пропали; серебро не промокло, а промокшие ассигнации тщательно были выложены, расправлены и выглажены утюгом. На лице Логина стала появляться краска; ибо надежда, что платье и белье может быть разглажено не хуже красненьких и синеньких,— была для него отраднее зари небесной.

Раньше Логина проснулся незнакомец, и вот что про него рассказывал Семен.

— Слышу,— говорил он,— кто-то вошел в переднюю и кричит: «Гей!..» Продрал я глаза, зажег свечу, вижу — стоит этот черт, прости господи! совсем как есть одетый, и зонт в руке кверху поднят. «Выпускай, говорит, а не то смотри!» — говорит. Что смотреть-то,— я его спустил с лестницы, отворил дверь на улицу и, только что он туда сунулся, запер за ним дверь на запор. Ну, думаю, хоть всю ночь теперь стучись — не отопру; убирайся подобру-поздорову отколь пришел. Ну, вот воротился я в переднюю и пришло мне в голову: а ну как он что-нибудь стянул — как же это я его так выпустил? Может быть, он столовые часы либо серебро какое стянул... Инда дрожь меня пробрала; вышел я в залу, оглядел — ничего, кажется, все цело; лампа еще горит; я ее потушил и лег спать,— и ведь, что вы думаете, лег спать, а беспрестанно мне этот черт мерещится. «Выпускай»,— говорит; куда, думаю, тебя выпускать? уж я тебя раз выпустил,— оборотень ты, что ли? леший, дери твою душу! Оглянусь — опять засну — опять толкает те в бок: выпускай, говорит,— ах ты господи!.. И так-то до трех раз... Нет, уж попадись он мне! — храбрился Семен: он вообще любил храбриться. Вспомните, как он два раза хотел поколотить Глаголевского.

Мать моя проснулась позже всех, и проснулась с страшной головной болью: у ней сделался мигрень — болезнь, которая довольно часто ее мучила.

Казалось бы — настал конец всем беспокойствам, все в доме нашем придет в обычный порядок, и ничего такого не

случится, что бы нарушило мир наших сердец и наше спокойствие. Юлинька не явилась ни на другой, ни даже на третий день; но мы понимали, что и явиться ей к нам не было пока никакой возможности, ибо на другой, и даже на третий день, не везде еще было восстановлено обычное движение на улицах; с Фрейманом я мог дойти только до Невского и воротиться. Перейти Невский не позволяла нам полиция: в средине улицы образовался провал, по дну которого еще текла грязная вода. По набережным каналов лежали изломанные садки, барки, обломки кровель, занесенные из Коломны, от чугунного завода или из Екатерингофа, изломанная мебель, дрова, разбитые бочки и тому подобное. Таким образом, думали мы, если мне нельзя было дойти до Десарта, который квартировал в Малой Конюшенной, то, конечно, и Юлиньке нельзя было дойти до нас по той же самой причине.

Только на четвертый день, и то по протекции отца Алексея, могли мы похоронить нашу Константиновну, и не на Смоленском, как она желала, а на каком-то другом кладбище. Но что же было делать? Посмертные жилища на Смоленском были так же, как и дома гаванских обывателей, разорены нахлынувшим морем. Каменные памятники были опрокинуты, деревянные унесены водой, множество крестов, с надписями и без надписей, найдено было в Летнем саду. Вон куда занесло их! Говорят, будто бы даже гробы, приподнятые со дна могил, плавали по волнам, покачивая мертвецов своих: как в день страшного суда, наводнение перемешало их — богачи смешались с нищими, знатные с крепостными плебеями, и, вероятно, никогда уже не воротились они ни на прежние места свои, ни под мрамор с громкой эпитафией, ни под бедный деревянный крест с безграмотной надписью.

Вода и на четвертый день наполняла эти размытые ямы, лишенные вечных своих обывателей, и разбежавшиеся могильщики — одни еще не воротились к месту своего служения, другие, спасавшиеся под колоколами, не нашли ни своих лопат, ни своих заступов.

— Что это, в самом деле, эта ветреная Юлинька с нами делает? — говорила в это утро мать моя.— Пропала, точно в воду канула, хоть бы дала знать о себе!

«Сегодня, вероятно, она к нам явится,— думал я,— господи, господи! рада у Энэи хоть неделю целую прогостить... Та, говорят, у себя в комнате устроила какой-то налой и с утра до ночи молится. Это хорошо! пусть себе молится! пусть себе! Но разве Юлинька не может без нее

и к богу-то обратиться? Отчего же я один молюсь?.. Оттого, что Христос сказал: «Затвори клеть твою...»

В это же утро синий мокрый плащ, иначе незнакомец наш, прислал или сам занес к моей матери письмо, писанное по-французски. Переведу его слово в слово.

Перед носом моим в эту минуту лежит одна драгоценность, ни для кого, кроме меня, не имеющая никакой цены; эта драгоценность не что иное, как найденная мной тетрадка, в оны блаженные дни мною самим сшитая и украшенная сердцем из серебряной бумаги, наклеенным как раз посредине верхнего à la mouarè antique * тисненого листика. С тех пор истрепалась, истерлась эта тетрадь, и серебряное сердце потеряло свой прежний блеск; но, глядя на нее, я помню, как в те дни я не знал, чем мне ее наполнить, начал, разумеется, с стихотворений Пушкина, потом стал вписывать в нее все, что попадалось мне на глаза: нашел у себя в кармане стишонки: «Ты правду говоришь, а может быть, и врешь» — списал; нашел на полу счет из лавочки, откуда, вероятно, повар наш забирал зелень и овощи,— списал; нашел в уборной какой-то узор с вензелями для меток — срисовал; и в ту же тетрадь, между прочим, попало письмо этого сумасброда, покинутое в гостиной на столе моей матери. Вот оно:

«Madame! ужасно вспомнить, что я у вас наделал! сколько беспокойства я должен был причинить вам моим поведением! при одной мысли о том дне, который я провел у вас, кровь бросается мне в голову: что могли вы обо мне подумать! О, я безумец, безумец! Скажите несравненной, божественной Юлии, что я на коленях прошу простить меня. Как! при всех поцеловать ее — это ужасно! Что вы обо мне подумали? Что подумали все те, при которых я дозволил себе эту дерзость? Помню, как она покраснела и как вы посмотрели на меня! — не только вы, маленький сын ваш поглядел на меня с негодованием; — только безумная любовь, одна только любовь и может оправдать меня. Где любовь, там свобода,— где свобода, там — бушуйте волны... Ревите бури, падайте города и vive la liberté! ** Буду ждать вашего ответа, обожаемая мной особа,— верьте мне, что я охотно умру, как за Юлию, так и за вас. Что вы ей такое? Тетка? Мать? или злая мачеха? Во всяком случае, остаюсь

ваш преданный слуга

Илья — лорд Ильин».

---

* Здесь: как муаровая ткань в античном стиле (*фр.*).

** да здравствует свобода! (*фр.*)

— Теперь нет сомнения, что он помешан,— сказала мать моя, прочитав это удивительное послание.— Бедный лорд! Какая горячка у него в мозгу! Адреса нет, но если бы и был адрес — я вряд ли решилась что-нибудь отвечать ему; он привязался бы к какому-нибудь слову, иначе бы все понял — бог знает что бы вообразил себе, и вместо того, чтоб мне успокоить его, я бы пуще его расстроила. А, право, я желала бы знать, кто он такой, что свело его с ума и не могу ли я хоть чем-нибудь быть ему полезна. Если он не в сумасшедшем доме, значит, помешательство его — тихое помешательство, то есть не из числа опасных; судя по его подписи, надо предполагать, что он сошел с ума или от страшного самолюбия, или от неудовлетворенного честолюбия,— отчего-нибудь да произвел же он себя в лорды!

Все эти рассуждения моей матери были выслушиваемы мной как раз после того, как люди наши воротились с кладбища, похоронив Константиновну, и, отслушав литию, принесли мне кутью, с тем, чтобы я, за упокой души ее, съел несколько изюмин.

Вечером забежал к нам Набатов. Мать моя, только что переставшая страдать от головных болей, никого из чужих не принимавшая и даже не читавшая газет, была очень рада Набатову и оставила его с нами чай пить. Он был не то не в духе, не то в каком-то конфузливом настроении, но рассказал нам множество анекдотов, в то время передаваемых из уст в уста; рассказал, что в это время происходило в Зимнем дворце, как нашего государя потрясло это бедственное событие и как один наш знакомый, а именно полковник Герман, посланный государем в казармы, вскочил было на гофкурьерскую тележку, но должен был ее бросить; сел верхом на лошадь — но лошадь дрожала, не слушала поводов и шла, на каждом шагу останавливаясь, протягивая шею и оглашая воздух жалобным ржаньем; соскочивши с лошади, он пошел пешком по горло в воде и непременно бы потонул, если б не наехала на него лодка и не взяла его. Потом сообщил он нам новость о назначении временных генерал-губернаторов, под начальством петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича; о том, что утром (то есть одиннадцатого ноября) подписан рескрипт на имя князя Куракина о выдаче пострадавшим безвозвратно миллиона рублей из хозяйственных сумм военных поселений; о составляющемся по этому случаю комитете и о своем желании попасть в этот благотворительный комитет.

Все это были животрепещущие новости, всех равно интересовавшие; Набатов хоть был порядочный враль, но](не

malheur oblige; * слишком врать в дни общественного бедствия, когда и без того у всех воображение было болезненно настроено, когда никакая веселость никому на ум не шла, было бы так же неприлично, как врать и дурачиться в траурной карете, двигающейся за погребальной процессией. Набатов в этот вечер был даже как-то не похож на всегдашнего Набатова: он был сдержан или хотел казаться серьезным — быть может, оттого, что в последнее время стал как будто побаиваться моей матери: она не давала ему спуску и советовала ему умерить свое фальшивое ребячество,— ибо, говорила она, вы давно уже не ребенок — и давно уже себе на уме.

Беседа с Набатовым, тихая и спокойная, была вдруг прервана самым неожиданным образом появлением моего француза Десарта.

Я первый увидал блеск очков его, мелькнувших в дверях, и сердце мое радостно екнуло: я подумал, что вслед за ним появится Юлинька; но Десарт остановился в дверях, посмотрел на нас и спросил:

— Et où est ma fille? ** — а где дочь моя?

— А где она?! — отозвалась ему на это мать моя,— мы хотели об этом у вас спросить; она уехала от нас шестого числа вечером; сказала, что поедет к княгине Малыгиной, а оттуда проедет к вам.

Десарт вошел в комнату: лицо его было смято, старческий румянец на щеках принял какой-то свинцовый оттенок. Глядя на него, казалось, что он сейчас начнет бранить мать мою.

— Да,— начал он,— я это знаю, она ночевала у меня, но в семь часов утра отправилась к ранней обедне в католическую церковь; в этот день она хотела исповедаться и причаститься. Я еще спал, когда она вышла, приказала моей хозяйке приготовить кофе к ее возвращению, и...— добавил он изменившимся голосом,— с тех пор я не видал ее, не видал.

— Ну, так она у княгини Малыгиной; ее дочь Зизи чуть не каждый день с утра в католической церкви — вероятно, они встретились, та уговорила ее, и она с нею отправилась.

— О небо! что, если она погибла, что, если погибла!.. Бедное, бедное дитя мое!..— и Десарт сел на диван, уткнул лицо в подушку, шитую гарусом, и стал рыдать. Никогда я не мог даже и вообразить себе этого старика в таком положе-

* Несчастье обязывает *(фр.)*.

** Где моя дочь? *(фр.)*

нии; он хныкал, как ребенок, и хныканье его было какое-то особенное: он тявкал, точно маленькая собачка, и при этом вздрагивали его плечи и приподнимали голый затылок: отчаяние его было похоже на истерику.

Глядя на него, я так же стал реветь. Мать моя погрозила мне пальцем и стала утешать его.

— Послушайте, monsieur Десарт,— заговорила она,— прежде времени зачем предаваться такому отчаянию! Сами посудите, неужели Юлинька такой ребенок! Положим, наводнение застало ее в церкви,— разве она не могла там спастись! Стоило только встать на скамью или взобраться на кафедру. Если наводнение застало ее на тротуаре, то ей стоило только взбежать на первую попавшуюся лестницу. Были ли вы в церкви?

— Был — был! нет, нет и нет!

— Ну, может быть, она у княгини Малыгиной.

— Был — нет ее, нет ее у княгини. Она погибла! погибла, бедное дитя мое!..

— Нет! — говорила мать,— я ручаюсь, что она не погибла. Сережа, перестань плакать! Завтра я найду вам ее; человек не щепка, он так пропасть не может.

— Я завтра обегаю все дома около костела, полицию подыму на ноги,— сказал Набатов. Он был бледен — известие о пропаже Юлиньки, видимо, произвело на него впечатление. Кто знает, может быть, он и в самом деле был неравнодушен к ней.

Десарт перестал плакать, поднял свалившиеся очки и поправил подушку.

— О, милосердное небо! — сказал он, поднявши руки,— неужели ты лишишь меня моей Юлии?! Нет! Нет, вы правы, милая мадам Чалыгин,— бог не захочет погубить ее в цвете лет. Она верила в его милосердие, и неужели... неужели... неужели!

— И вы верьте,— утешала его мать моя; а сама была бледна и, быть может, в глубине души своей не верила ее спасению.

Десарт понюхал табаку, значит, заметно поддался ободряющим и утешительным словам моей матери.

— Очень может быть, она у кого-нибудь из пансионных подруг своих; на дворе мороз, ветер не утихает — ее не пускают.

— Очень может быть,— повторил Десарт. Как сангвиник, он был вспыльчив, когда сердился за уроками, и, как сангвиник, не мог слишком долго предаваться крайней степени своего отчаяния.

Часов до одиннадцати вечера он просидел с моей матерью; я не видал, как он ушел с Набатовым, ибо в это время, в слезах по Юлиньке, заснул в ее комнатке, на ее любимом диване. Мать моя, вместе с Фрейманом, нашла меня спящим, велела меня оставить в покое и не будить до тех пор, пока я сам не проснусь. При этом она поручила меня двум младшим дочерям Логина, которые должны были спать на полу в той же комнате, ибо ночевать в их подвальном помещении еще не было никакой возможности: печь их была подмыта наводнением и там сырость была страшная. Старшую же сестру их, Пашу, взял жених и отвез куда-то к своей родственнице; Логин с женой пристроились в кухне, по милости нашего повара, их кума, то есть крестного отца их младшей дочери.

Шепот двух девушек разбудил меня, я раскрыл глаза и увидел на столе зажженный огарок в широком медном подсвечнике, а на полу Феню и ее младшую сестру под одеялом. Они еще не спали и разговаривали о Юлиньке.

Вслушиваясь в шепот их, мне показалось, что и они уже уверены, что Юлиньки на свете нет, и обе страшно по ней горюют. Мысль о ее погибели с новой силой вдруг опять пришла мне в голову.

— Вы почем знаете, что Юлинька потонула? почем вы знаете? — спросил я.

Девушки замолчали.

— Неужели она потонула... неужели! господи, господи!..— и я стал молиться и плакать.

Феня встала, подошла ко мне в одной рубашке, стала целовать меня и всячески утешать, в чем, конечно, и успела, потому что около заплаканной щеки моей я почувствовал молодую, девственную грудь.

— Мы вас не пустим от себя, голубчик вы наш! — сказала она,— ночуйте с нами — мы не дадим вам плакать...

И уж я не помню, как случилось, что она меня разула, стащила с меня курточку и положила с собой на пол, так что я очутился вдруг на двух тюфяках между двумя сестрицами, из которых одной было восемнадцать, а другой пятнадцать лет.

Я смотрел на них, как на служанок, и, вероятно, потому не так с ними церемонился, как когда-то церемонился в присутствии Юлиньки. Они смотрели на меня, как на ребенка, а кто же стыдится младенцев, да еще плачущих! Феня же была бойкая из бойких; сестра ее была скромнее и до самой шеи закрывала себя одеялом.

— Спите, голубчик! Христос с вами,— говорила Феня,— нам ваша мама велела беречь вас...— Затем она потушила свечку и легла.

Я затих и притворился спящим, приятно озадаченный новостью моего неслыханного положения. Сердце мое билось, как перепел, пойманный в сеть.

Через полчаса мои соседки не только спали, даже стали похрапывать!

И признаться ли, я не мог ни думать, ни даже оплакивать Юлиньку; напрасно мысль о ее погибели приходила мне в голову. Мое горе как обессилело в наплыве еще не разгаданных, отроческих ощущений. Какое-то страстное любопытство жгло меня; но положить руку на тело спящей Фени или сестры ее мне казалось страшной дерзостью. Я то решался и уже протягивал руку, то боялся разбудить их, боялся показаться недостойным их ласки и доверия. О, сколько зла могло причинить мне это доверие! Несомненно, что для них я был чем-то вроде деревянной куклы, которую, как дети, они раздели, разули и положили около себя; но был ли я действительно куклой, это им не приходило даже и в голову. Я всю ночь боялся пошевелиться и вообще вел себя так, что они действительно могли подумать, что я нечто вроде мальчика, сверченного из их же тряпок. Видно, с детства рано в мозгу моем сложились те перегородки, которые идут наперекор нашим желаниям, без которых в эту ночь я оказался бы озорником и без которых никогда, ни у кого, не может развиться так называемое самообладание.

Забывшись сном под утро и потом раскрыв глаза, я уже не нашел около себя моих наивных соблазнительниц. Феня, с платьем под мышкой и с голыми ножками, осторожно притворила за собою дверь, уходя в коридор вслед за сестрой своей. Логин и жена его от них же узнали, что я провел с ними ночь; но никто из старших и не подумал сделать им за это выговор; а меня стыдила Аксюта, дразнил Семен, и я очень боялся, чтоб как-нибудь мать моя так же не стала дразнить или стыдить меня. Целый день старался я как можно реже попадаться ей на глаза, был уныл и страшно рассеян.

Но не до меня было моей матери: она целый день то уезжала, то приезжала, и лихорадочное беспокойство ясно отражалось в чертах лица ее.

ГЛАВА XXV

Несмотря на все поиски, предпринятые моей матерью, нашими дворовыми, Десартом, Набатовым и, наконец, полициею, Юлиньки след простыл. Десарт не плакал, по крайней мере в моем присутствии; но румянец его посинел, щеки впали; он был раздражен, проклинал Петербург, сердился на русские порядки, на то, что никто нигде не мог найти тела его дочери (что, впрочем, внушало ему некоторую надежду), и, вероятно, в глубине души своей он страшно боялся, чтоб желание его не исполнилось и чтоб ему на самом деле не показали трупа его Юлиньки.

Княгиня Малыгина была больна и не приняла моей матери.

Описать мое собственное расположение духа в ту отдаленную для меня эпоху довольно трудно. Что я горевал — это несомненно; но чтоб я был безутешен, это едва ли. Погибель Юлиньки всего сильнее подействовала на мое воображение. Я приходил в ужас, воображая себе эту милую девушку на дне холодного и бурного моря, окруженную раками и теми уродливыми рыбами, которых изображения видал я на картинках, приложенных к «Musée d'enfants» *. То представлялось мне, что я, сидя в лодке, плыву по Неве в ясный, лазурный день, гляжу в прозрачные волны — и на дне вижу Юлиньку: она еще жива, силится раскрыть глаза, поднимает белые руки, как бы стараясь за что-нибудь ухватиться или поймать кого-нибудь за руку; что-то хочет сказать и не может...

Такие фантазии чаще всего приходили мне по ночам, среди дремоты, и не раз, уткнувшись в подушку, я горячо и непритворно плакал.

День развлекал меня, в особенности Феня. Я не мог встретить ее без того, чтоб не вспомнить ночи, проведенной возле нее, на полу Юлинькиной комнаты. Не знаю, влюбился ли я в нее или нет, знаю только, что стал находить в ней бездну каких-то новых прелестей, иногда позволял себе с ней заигрывать, иногда не спускал с нее глаз, и сильно хотелось мне, чтоб опять повторилась для меня такая же бессонная, беспокойная ночь, посреди двух сонных и совершенно спокойных девушек...

Но случайности никогда не повторяются, а теперь, под старость дней моих, я очень рад, что и не повторилось подобной случайности...

---

* «Детскому музею» *(фр.)*.

Таким образом, в отсутствии Юлиньки, Феня стала пищей для моей неугомонной фантазии.

Фантазии не только у детей, но и у больших дураков никогда не переходят в действительность. Утешаться ими — это привилегия тех вечных детей, которым никогда не суждено поднять розовое покрывало жизни, смело заглянуть ей в лицо и увидеть ясно, какова она,— похожа ли хоть сколько-нибудь на наши фантазии? Горе тем, кто поднял это покрывало слишком рано, и горе тем, кто опоздал поднять его!

Я заметно похудел, побледнел, казался скучающим и утомленным, вяло учился; но всегда почти знал свои уроки, хотя и стал часто пропускать их, по милости моей матери.

Доктор сказал ей, что мне непременно нужно рассеяние, и вот мать моя, выезжая, стала брать меня в свою коляску, ездить со мной по магазинам, лавкам и даже с визитами.

Бывало, воротишься к самому обеду: ну, говорят мне, ждал вас, ждал вас учитель, так и ушел. «Ну,— думаю про себя,— слава богу!»

Помню, как раз, в конце ноября, мы приехали к княгине Малыгиной. Швейцар опять сказал моей матери, что княгиня еще в постели и никого не принимает. На верху парадной лестницы в это время появилась женщина в домашнем чепце и в старой кацавейке. Это была Феоктиса. Она узнала нас, сбежала вниз, стала расспрашивать, горевать, ахать и уверять мать мою, что ее княгиня будет в отчаянье, коли узнает, что мы были, а ей нельзя было принять нас, таких дорогих гостей.

— Да что с ней такое? — спросила ее мать моя.

Феоктиса довольно подробно рассказала нам, как у ее барыни холодеют ноги, в особенности левая часть бока (даже на себе показала, где именно эта часть), что барыню ее с утра до ночи, а иногда и ночью оттирают разными спиртами и суконками, что это не помогает, что при этом у ней одышка, кружение головы и даже был обморок, когда она узнала о пропаже Юлиньки. Потом Феоктиса рассказала нам, что накануне седьмого ноября Юлинька была у них все время в комнате у Зизи и уехала вечером в совершенно добром здоровье.

— Мне надобно видеть эту Зизи. Не можете ли вы меня проводить к ней.

— Дома ли Зинаида Николаевна? — спросила она швейцара.

— Дома.

Мать моя сняла салоп, я свою шинельку, и мы стали подниматься на верхнюю площадку.

В это время словоохотливая Феоктиса сообщила новость, о которой мать моя не имела ни малейшего понятия. А именно, что княгиня хотела положить в ломбард, на имя нашей Юлиньки, десять тысяч, если только та перейдет к ней в дом и будет считаться по-прежнему ее воспитанницей. Я был так развлечен рассматриванием новых для меня комнат и их богатого убранства, что видел (и то только мельком) изумленное лицо моей матери, но не слушал и не слыхал ничего из того, что Феоктиса сообщала ей.

В одной из комнат увидал я клетку с знакомым мне попугаем. Бедный попка! он сидел, поджавши голову под крыло, медленно ее приподнял, когда я постучал в клетку, важно покачал головой, как бы осуждая меня за то, что я нарушил покой его, и опять спрятал нос свой, выглядывая на меня из-под крыла одним только глазком, черным, как черная большая бисеринка. Он, верно, был болен, потому что по временам жмурился и вздрагивал.

Феоктиса провела нас в коридор и постучала в дверь направо. Ответа не было. Феоктиса опять постучала — гробовое молчание.

— Не у княгини ли она? Пойду погляжу... Где бы ей быть, кажись?.. Али...

— Не беспокойте ее,— сказала ей мать моя. Но только что шагов на десять мы отошли от двери, дверь эта скрипнула, и в полутени, в полусвете выглянула головка Зизи. Мы обернулись и остановились. Щурясь и как бы не узнавая нас, она медленно пошла к нам навстречу.

— Извините, дитя мое,— сказала ей мать моя по-французски,— мы хотели зайти к вам в комнату.

— О! благодарю вас. В моей комнате ничего нет интересного. Пойдемте лучше в маленькую гостиную. А мама не приняла вас?

— Нет.

— Ну, пойдемте в маленькую гостиную.

Через ряд комнат дошли мы до небольшой, уютной комнатки, с круглым зеркалом против двери, с знакомой мне фарфоровой пастушкой на этажерке и с большим турецким диваном между двумя изразцовыми, узорными печами, с какими-то китайскими белыми куклами, размещенными по узорчатым карнизам их.

Зизи была в темном платье с открытым воротом, с черными лентами в заплетенных косах и такая же бледная, как и летом. (Видно, загар не приставал к ее недетскому личи-

ку.) Она села от нас немного поодаль, сложила на груди свои руки, немного сгорбилась, вообще приняла такой вид, что готова слушать нас, незваных гостей.

— Я хочу поговорить с вами и спросить вас...— начала мать моя.

Зизи выразила на лице своем покорность и ожидание.

— Так как вы были дружны с моей покойной... Господи! неужели же покойной Юлинькой!.. Скажите, не говорила ли она вам о каком-нибудь намерении зайти к кому-нибудь от ранней обедни, в это ужасное утро?

— Нет, не говорила...

— И вы ничего мне сказать не можете?

— Что ж я могу сказать вам. Что мне это так же больно, как и вам, в этом, я думаю, вы не сомневаетесь.

— Вы так же уверены, что она потонула?

— Да, в этом я была почти уверена...

— Были? — повторила мать моя,— стало быть...

Зизи потупилась.

— Да, до прошлой ночи я была в том уверена.

— Отчего же, дитя мое, только до прошлой ночи?

— Так.

— Вы что-нибудь узнали?

— Да... но... впрочем, я и теперь ничего не знаю...

— Ничего? — вопросительно повторила мать моя, не спуская с нее глаз.

— Да... но я... я стала спокойнее.

— Успокойте же и меня, ради бога! Неужели вы ничем, так-таки ничем не можете меня успокоить?

— Едва ли.

— Дайте мне возможность хоть чем-нибудь утешить бедного старика, ее отца. Он, верно, болен. Я уже три дня, как его не вижу...

— Он католик, его должна утешать религия,— сказала Зизи, поднявши голову, и поглядела прямо в глаза моей матери.

— Если религия утешает, то и те, которые исповедуют эту религию, должны утешать.

— Если б он был здесь, я бы сказала: молитесь и вы утешитесь.

— Это мы и без вас знаем,— возразила мать моя, и в голосе ее послышалось легкое раздражение.

Зизи опустила ресницы; последовало молчание.

— О чем вы думаете, дитя мое? — спросила ее мать моя более ласковым голосом, как бы стараясь сгладить это минутное раздражение.

— А вот я о чем думаю. Никогда я не видала моего отца, и он никогда не видал меня; но в моих руках были письма... случайно я их прочла и поняла, что это пишет отец мой. Он звал (Зизи при этом слегка запнулась),— он звал кого-то на путь спасения... раскаивался, и видно было, как много он страдал... как глубоко верил. У меня эти письма отняли, меня даже вздумали было уверять, что никогда ничего подобного отец мой писать не мог, потому что будто бы я родилась не от виконта, а от какого-то блудника и не... а от какой-то женевской модистки... Я плакала, когда у меня chère maman * отняла эти письма; но помолилась, и что же! — все они пришли мне на память, и я почти слово в слово записала их. Отняли у меня только бумагу — мысли остались со мной... Так и теперь: если Юлинька погибла, как вы думаете,— дружба ее осталась со мной, и это меня утешает... Но она жива.

Я так и впился и глазами, и слухом в эту девушку; мысль, что Юлинька жива, не могла меня не обрадовать.

— Докажите! — сказал я ей тоном моего учителя математики.

— Стало быть, вы уверены, что она жива? — перебила меня мать моя.

— То есть не уверена,— тонко улыбнувшись, отвечала Зизи,— а как бы вам это сказать?.. мне кажется, что я этому верю.

— Ведь нельзя же так верить ни с того ни с сего.

— Я верю ни с того ни с сего, то есть, если я скажу вам, почему я верю, вы... вы мне не поверите.

— Чем вы заслужили мое недоверие? Если б я считала вас такой дурной или лживой, я не отпускала бы к вам нашей Юлиньки с такой охотой. Я, напротив, была рада вашему сближению. Надеюсь, что я не ошиблась в вас.

— Надеюсь, что и Юлинька во мне не ошиблась...

— Ну, так говорите же, говорите, отчего вы думаете, что Юлинька не погибла?

Зизи поглядела на мать мою, как бы мысленно допрашивая себя, стоит ли ей говорить и не лучше ли помолчать; но или не хотелось ей оставлять мать мою в недоумении, или весь этот разговор вела она с умыслом так, чтоб увенчать его своим признанием.

— Хорошо,— сказала она сухо,— я вам признаюсь: ночью я молилась за упокой души ее и вдруг слышу голос: *«Она жива, не плачь!»* Я оглянулась — никого! вынесла

* дорогая мама *(фр.)*.

свечу в коридор — никого! Был час ночи, все спали, и все было тихо... Я поблагодарила бога, задула свечку и легла спать...

Зизи вдруг замолчала и опустила ресницы. Мать моя с минуту ничего не говорила, наконец произнесла:

— Eh bien! Eh bien, mon enfant! * Так как вы слышите голоса свыше, так как бог удостоивает вас этой неизреченной милости, я уверена, что рано или поздно вы узнаете из того же источника все, что нужно для того, чтоб найти нам нашу Юлиньку. Я уверена, что через вас бог поможет нам. Не правда ли?

Зизи, прежде чем кончила говорить мать моя, подняла на нее глаза и смотрела ей в лицо прямо из-под темной полосы прямых бровей своих, как бы желая удостовериться, с верой или с недоверием относится к ней мать моя.

Вслед за тем мы стали прощаться с ней. Мать моя стала ее приглашать.

— Я не хочу вас беспокоить,— сказала Зизи.

— Напротив, я до сих пор не приглашала вас потому, что думала, вам будет со мной скучно; думала также, что Юлинька за меня приглашала вас. Прощайте. Кланяйтесь княгине; скажите, что жалею, что не могу ее видеть.

— Maman непременно бы вас приняла, если бы успела справиться с своим туалетом. Я сама по утрам не вхожу к ней: по утрам она не любит свидетелей...— И саркастическая улыбка появилась на губах ее.

— Да уж теперь не утро, третий час,— сказала моя мать, подходя к зеркалу и поправляя шляпку.

— Есть женщины, для которых день начинается с той минуты, когда они, глядясь в зеркало, почему-то вообразят, что они хороши собой.

— Ого! да какая вы, моя милая! — сказала мать моя и, слегка покрасневши, отошла от зеркала.

— Да, я никуда негодная девушка: говорю все, что думаю...

— Много же у вас будет врагов, если вы так откровенны.

— Я не боюсь никаких врагов.

— Не потому ли, что у вас никогда их не было?

— У меня!..— начала было Зизи, но вдруг переменила тон и смиренно проговорила: — Да, может быть, потому, что, как вы говорите, у меня врагов еще не было.

Поглядевши на Зизи с каким-то недоумением, мать моя окончательно с ней простилась — не поцеловала ее, как бы

---

* Хорошо, дитя мое! *(фр.)*

следовало ожидать, а просто простилась и повторила свое приглашение.

Когда мы сходили с лестницы, мы встретились с каким-то человеком средних лет, довольно благообразной наружности. Судя по его длиннополому сюртуку, связанным концам галстука, коротко остриженным волосам и шляпе в руках, можно было сразу узнать в нем лицо духовного сана, то есть католического пастора. Он прошел мимо нас, слегка наклонивши голову, при этом искоса поглядел на нас, и от него повеяло тонким запахом каких-то цветов, смешанным еще с более тонким запахом церкви.

— Нет, это не дитя!.. это... это... я еще никогда не встречала таких девушек. Сама была институткой, сама была религиозна до того, что чуть не запостилась и не умерла с голоду. Но... это не то...— рассуждала мать моя, сидя в коляске и укутавшись в салоп, потому что холодный ветер дул нам в лицо, и снежинки, в одиночку и далеко врозь кочующие в сером воздухе, прилипали к нам.— Недаром княгиня ее не любит,— продолжала мать.— Положим, в прошлую ночь ей был какой-то голос — отчего же, тому назад дней пять-шесть, она и с Десартом точно так же как-то таинственно вела себя, точно так же намекала ему, что Юлинька не погибла, говорила ему о каких-то новых испытаниях, ниспосланных на нее провидением? Нет, верно, она что-нибудь да знает... Заметил ты, как она намекнула на слабости княгини, той самой, которую она называет своей матерью?

— Нет, мама, не заметил.

Мать моя повторила слова Зизи (что и дало мне возможность их припомнить и записать); из этих слов я также не понял, почему княгиня по утрам не любит свидетелей, вообразив себе, что она не любит их по своей стыдливости.

— Как не понять! понимаю, мама,— отвечал я,— я также не люблю ни при ком...

— Чего ты не любишь?

— Надевать чулки или что-нибудь эдакое...

— Ты глуп — вот что! Кто же просит, чтоб княгиня при посторонних, особливо при гостях, натягивала чулки! Зизи просто намекала на белила, румяна, фальшивые зубы и букли,— и это очень дурно. Положим, я бы стала румяниться; ну, разве ты выдал бы меня кому-нибудь из посторонних?

— Нет, я бы не выдал...

— Ну, то-то же. Ты умник, и сердце у тебя благородное, хорошее сердце.

Мне было это очень лестно слышать из уст моей матери;

но все-таки при этом я вспомнил, что у ней на туалете, между прочими вещицами, стоит какая-то маленькая фарфоровая баночка и что в этой баночке находится что-то такое очень розовое.

Когда мы приехали домой, Логин доложил нам, что был отец Алексей и велел мне сказать, что если он опять меня не застанет, то и не захочет больше учить меня. Услыхавши это, мать моя пожалела, что взяла меня с собой.

— Ты же никогда, никогда не скажешь, что у тебя урок, никогда!

— Я думал, мама, что вы знаете.

— Ты этого не думал и не мог думать; а что ты мастер оправдываться, это я давно заметила.

Я замолчал.

На другой день, помню, в отсутствие матери, я забрался в ее уборную, нашел на туалете вышеупомянутую баночку и перед зеркалом нарумянил себе щеки (это была губная помада). Мне показалось, что я с розовыми щеками стал в десять раз красивее, пошел показаться Фене; но, встретившись с востроглазой Аксютой, сконфузился и проворно носовым платком стер с лица красоту свою.

ГЛАВА XXVI

Весь ноябрь, до самой поздней зимы, погода стояла самая безобразная. То морозило, то поднимался ветер с моря, и напуганные жители нашей северной Пальмиры не раз с беспокойством прислушивались: уж не опять ли палят адмиралтейские пушки, и эти пушки, действительно, не раз принимались палить. Нева забирала силу и опять как будто готовилась на какое-то неблаговидное покушение. Не помню, были ли к наступающей зиме наведены через Неву снесенные поломанные мосты; помню только, что, пока не замерзла эта река, с Васильевским островом только ялики и поддерживали сообщение. Много, я думаю, лишних грошей и пятаков спустил в кошель знакомец мой Митрофан, помахивая своими веслами. Он заметно не узнавал меня, когда я с Фрейманом приходил на эту пристань. Я ему кланялся, а он меня звал на Васильевский остров.

Раз на этой пристани встретил я Алешу Игнатина; он был с братом и также не узнал бы меня, если б я не подскочил к нему и не схватил его за руку. Бедные мальчики! они только что навещали своего отца, заболевшего горячкой и прямо из уездного суда отвезенного в больницу. Во время

наводнения семейство Игнатиных спаслось на чердаке, но потеряло все, что имело. Больная мать ушла с ребенком-дочерью гостить на Песках у какой-то родственницы (не у родителей ли Луизы Карловны?), а Костя поместился в Академии художеств, у одного из своих товарищей, и вез своего брата к одному академическому профессору с тем, чтоб Алеша растирал ему краски, а тот дал бы ему за это уголок, хоть за ширмами, где обыкновенно раздеваются натурщики и натурщицы и где лежит всякий хлам.

Алеша нисколько, по-видимому, не обрадовался нашей встрече, торопил брата садиться в лодку, и, когда я стал просить его зайти ко мне, он только спросил меня:

— А где ты живешь?

— Все там же, дружище... и знаешь, что я тебе скажу?.. Какое со мной несчастие! Юлиньки нет уже... уже... она... или потонула, или... уж и не знаю, что с ней такое случилось!..

— Какая Юлинька?

— А та самая, помнишь?..

Алеша тряхнул головой, как будто и в самом деле что-нибудь вспомнил, поглядел на Неву и попросил у брата носового платка, чтоб высморкаться. Костя нехотя достал ему свой носовой платок.

— А вы где живете? — в свою очередь спросил у меня Костя, когда я соображал, прилично ли мне дать Алеше свой собственный носовой платок или неприлично.

— Я уж Алеше написал свой адрес,— отвечал я.

Костя засмеялся.

— Вы думаете,— сказал он,— что он найдет его?.. Да у него и книги-то все потонули: он только и спас одного котенка... хотел его к отцу в больницу тащить.

— Где ж этот котенок? — спросил я.

— Да в нашей пустой квартире остался, стеречь мои этюды. Можете себе вообразить-с, рамы еще не исправлены, печей еще нет, а мои этюды на стенках как висели, так и висят-с! Пришли мы вчера... а уж котенок несчастный и бежит к нам навстречу!..

— Я его к мамаше отнесу,— проговорил Алеша.

— Да, как не так! Мать с ребенком кормят, так, думаешь, и котенка твоего кормить станут... Умен больно! Пойдем!

И, простясь со мной, они сели в лодку и поехали по направлению к Академии.

Воротившись домой, я рассказал моей матери о моей

встрече с Алешей. Мать моя принялась журить меня, зачем я его не привел к себе, не отогрел и не накормил.

— Ну, ты должен непременно отыскать его и даже его котенка — непременно!.. Хорош приятель, нечего сказать!..

Никогда суровый, эгоистический, холодный Петербург не казался мне таким добрым, как в это несчастное время. Мать моя хотела у одного домовладельца нанять целый этаж для семейств, лишенных приюта, написала ему письмо и, ради бога, просила его сбавить цену. Домохозяин отвечал, что ни одной копейки он ей не уступит; но для несчастных весь верхний этаж свой отдает даром... Беспрестанно слышал я, как в одном месте, откачавши воду и вытащивши пожитки каких-нибудь бедных обитателей подвальных помещений, работники отказывались от платы, им предложенной; как, в другом месте, какая-то нищая старушка отказалась от новой теплой шубы, потому что спасла дырявый салоп свой и потому, что шуба эта может пригодиться какой-нибудь другой нищей, у которой ничего, даже и дырявого салопа не осталось на зиму...

Поехали мы с Фрейманом на Васильевский остров искать Алешу, спрашивали об нем у сторожей Академии, взбирались по лестницам на самый верх — и везде по коридорам слышали один ответ: «Постучитесь в таком-то нумере, не там ли». Мы стучались: выглядывали косматые, поистине артистические, головы и говорили нам: «Не знаем. Постучитесь, попробуйте, в двадцать первый нумер: там есть какой-то мальчик...» Но и в двадцать первом нумере его не оказалось. Так мы и отправились по Неве назад, и по таким высоким волнам, по каким я еще ни разу не ездил. Лодку страшно качало. Я трусил, и мой Фрейман также трусил и ворчал: «Эдак можно простудиться. Никогда я с вами так не поеду!» Он обеими руками придерживал свою шляпу и сидел, в воротник шинели спрятавши горбатый нос свой.

Зизи, несмотря на приглашение, так ни разу и не была у моей матери. Но княгиня Малыгина удостоила нас своим посещением. Она приехала расспросить нас, не знаем ли мы чего-нибудь об Юлиньке.

— Если она жива, то спросите об этом Зизи,— сказала ей мать,— если кто-нибудь знает что-нибудь, так это она.

— Почему вы, моя милая, так думаете?

— Мне так кажется.

— Я ничего не понимаю, ничего не понимаю. Моя Зизи чуждается меня и, пока я не позову ее, никогда сама не подойдет ко мне... Да и где скрываться Юлиньке, и зачем? Она должна была видеть, как я люблю ее... Я... знаете ли что,

chère madame Tchaliguine, я ведь замуж хотела отдать ее...

— За кого?

— А знаете... у меня ведь огромное в Петербурге знакомство, и один молодой человек, с очень, даже с очень приятною наружностью и... и с состоянием, раз увидал ее у меня — и растаял, стал беспрестанно приезжать ко мне и проболтался, что влюблен. Я приняла в нем участие... Но я ничего еще не говорила Юлиньке, сказала только Зизи... и то, знаете, шутя... как одно предположение... только спросила: как ты думаешь, пойдет ли Юлинька за Латынина?

— За Латынина? Это тот самый Латынин, который был адъютантом у князя К.....на?

— Да, да, этот самый, прелестнейший молодой человек... прелестнейший!..

— Я его знаю, он, кажется, у меня бывал... он в отставке за то, что обыграл кого-то... он и у меня являлся только к картам. Бывало, только что затеется банк и штос — Латынин тут как тут, и господь его знает, откуда он явится. Но на Юлиньку он не обращал ни малейшего внимания.

— Ах! что значит не обращал внимания! как будто не довольно одного какого-нибудь взгляда, как будто от одного взгляда не может зависеть судьба нашего сердца? Помните, что пишет об этом, кажется, Жан-Жак Руссо... Милый писатель! я когда-то его обожала...

— Но... вспомните, что когда Латынин посещал мой дом, Юлинька была еще девочкой.

— Эх! и это ничего не значит, моя милая! ничего не значит!.. Я пожилая женщина — и могу влюбиться в вашего Сережу... это ничего не значит!

— Что же сказала вам Зизи?

— Зизи!.. Зизи меня озадачила... Поздно, говорит. Как, говорю, поздно? Она, говорит, не пойдет за него. Отчего, говорю, не пойдет? Не пойдет, говорит, потому что Юлия уже отдала свое сердце в руки, более достойные, которые сберегут ее для бога, и потому еще, говорит, что Латынин не имеет никакой религии, а потому будто бы и не должен на ней жениться... Как вам это нравится?.. Я, признаюсь, побледнела даже... Как, говорю, по-твоему, и у меня нет никакой религии?.. Никакой, говорит. Что вы на это скажете? Я уж теперь и не говорю с ней... Я, моя милая, просто начинаю ее бояться.

— Почему она не хочет у меня бывать? Это такая девочка, с которой, как я вижу, нужно говорить умеючи...

— А вы думаете, я не умею говорить!.. Но она меня

с вами в грош не ставит... Я также, моя милая, говорить умею, даже браню ее, в глаза браню,— ничего!..

— Пошлите ее к отцу.

Княгиня выпучила на мать мою глаза и даже как будто вздрогнула.

— А почему вы знаете, кто ее отец?

— Я не знаю...

— А может быть, я и сама не знаю, кто ее отец... Вы... моя милая... что-нибудь эдакое... какие-нибудь сплетни... Не... нет... Я знаю, что на уме у этой девочки... Она не щадит меня... Она... О! я ее знаю!.. Только послушай, что она говорит!.. Не жди она от меня наследства... нет! скорей вас сделаю своей наследницей.

— Благодарю вас...

— Нечего, ma chère *, смеяться... Я всю жизнь свою делала такие вещи, которых никто ожидать не мог... Вы не смейтесь... А уж я эти все сплетни выведу на чистую воду... Бедная Юлинька!.. Верите ли, chère madame Tchaliguine, как я ее любила? Бывало, позову ее, усажу, любуюсь... Ну, чего ты хочешь? говорю, хочешь, бал для тебя сделаю? всех позову: пусть глядят на тебя, любуются тобой... И я видела — у меня глаза, я вам скажу, насквозь видят,— видела, как ее трогала моя привязанность... Вдруг войдет Зизи: пойдем, говорит. Та, бедная, встанет и уходит... Моложе ее — и такую власть забрала над ней! Как вы это себе объясняете?

— Подумаю. Может быть, наш разговор и объяснит что-нибудь.

Так беседовала у нас княгиня. Когда она уходила, я заметил, несмотря на ее величественную походку, что она нетверда на ногах... или уж у ней была привычка на ходу как будто слегка спотыкаться и всем телом слегка подаваться вперед. Нечего и говорить, что мать моя проводила ее до передней, а я убежал, потому что старуха на прощанье хотела расцеловать меня.

Когда она уже садилась в карету, подсаживаемая двумя гайдуками, я подбежал к окну и увидел на улице человека в клеенчатой фуражке и в синем плаще... Это был Ильин. Я указал на него моей матери. Он стоял спиной к канаве и глядел к нам в окна...

— Позову я его,— сказала мать моя,— право, он не хуже этой дуры.

— Да ведь он сумасшедший?

---

* Моя дорогая *(фр.)*.

— Если не в сумасшедшем доме, значит, не опасное помешательство.

И она стала махать ему рукой, чтоб он зашел. Но он в это время стал глядеть за уезжающей каретой княгини и по тротуару бросился за ней чуть не бегом. Удивляюсь, как он не спотыкался и не падал. Тротуар перед решеткой вдоль Мойки был местами взломан и приподнят наводнением: гранитные плиты его лежали так неровно и так были скользки, что даже ходить по ним не было никакой возможности.

— Ну,— сказала мать моя,— уж он и старуху эту не принял ли за Юлиньку?

Спустя дня два или три мать моя, выезжая со двора, опять встретила этого несчастного джентльмена. Она подозвала его к коляске и сообщила ему о пропаже Юлиньки. Не знаю, поверил ли ей этот мрачный лорд или не поверил. Помню только, что он целый час после этого, понурив голову, неподвижно стоял на одном и том же месте, точно оглушенный громом. Наш Семен глядел на него из окна и хохотал над ним; прохожие также оглядывали его с головы до ног.

— Ну, что смеешься? — сказал Логин Семену,— ты думаешь, он перед счастием стоит?.. Это он к несчастью какому-нибудь... Не было его — и бед у нас не было...

Кстати, замечу, что Паша вышла уже замуж. Свадьба была справлена на квартире жениха. Я был в церкви. Мать моя была чем-то вроде посаженой матери. Я возил образ, и в этот вечер карманы мои были битком набиты конфектами. На свадьбе между почетными гостями была и моя няня Аграфена... Как же это, думал я, она говорила, что ни за что не пойдет к этому Логину!.. Жених ничего больше не делал, как только всех потчевал. Невеста сидела, потупив глазки. Феня была так хороша в этот вечер, с такими пушистыми локонами и с такими коротенькими рукавчиками, что я мечтал: нельзя ли и мне как-нибудь жениться на Фене.

Не помню хорошенько всех подробностей этой мещанской свадьбы; но припоминаю, что мать моя на квартире жениха поднесла ему хлеб и соль, потом выпила бокал шампанского и уехала; я попросился у ней остаться с няней, хоть до десяти часов вечера. Припоминаю, как странно, в магазине жениха, со всех стен качались, бегали, щелкали и постукивали маятники и как никто на это, кроме меня, не обращал никакого внимания. У меня разболелась голова, и, когда другие ели, пили, курили и слушали музыку, я ушел в этот магазин, освещенный одной лампой и запертый с улицы, сел

на стул, и казалось мне, все часы о чем-то хлопочут, и все маятники что-то непонятное говорят со мной.

Вошла няня; я спросил ее: будет ли Глаголевский?

— Воона, кого вспомнил!.. Придит-ко он сюда — попробуй!.. Чего он тут не видал? Обойдемся и без этого сокровища! — отвечала она весело.

Вошла Феня — я сказал ей:

— Феня, я кутил (то есть выпил бокал шампанского). Если я как-нибудь засну, пожалуйста, разбуди меня или отвези меня домой.

— А мы еще плясать будем,— отвечала Феня.

— Позволь мне поцеловать твою руку...

— Вот выдумали — руку!.. Мы и так с вами целуемся...

Все ушли опять в задние комнаты и оставили меня. Свадьба делалась все шумнее и шумнее. Скрипки пиликали. Горничные плясали, грызли орехи, растаптывая ореховую скорлупу своими подошвами. Логин был пьян, беспрестанно плакал от радости и со всеми целовался.

В десять часов я не мог никак домой попасть. Кто ни приезжал за мной — все оставались: приехал Семен — остался, и даже с Аграфеной любезничал как ни в чем не бывало. Приехал Фрейман — ему подали бутылку портеру, он сел у особенного столика, закурил сигару, да так до двенадцатого часа и остался в качестве наблюдателя.

Полночь застала меня в часовом магазине лежащим на стульях и дремлющим. Сквозь сон маятники на все лады лепетали мне: тик-тик! ти-ки, ти-ки, ти-ки!.. и бог знает, что мне лезло в голову под эти «ти-ки, ти-ки»... В двенадцать часов начался звон часовых молотков также на все лады, даже выскочила кукушка, зашипела и закуковала.

Домой воротился я чуть ли не во втором часу. Ехал я в санях, прижавшись к Фрейману, и, вероятно, думал: слава богу, зима! — зимой не бывает наводнений; зиму еще проживем...

ГЛАВА XXVII

На сцене зима 1824—1825. Сцена, занимаемая этою владычицей севера, так велика и обширна и такое бесчисленное множество заключает в себе актрис и актеров, что не всем суждено отыскать или видеть между ними главных действующих лиц. Я также, по малолетству, прозевал их; но в этих записках главное действующее лицо — это я сам, всеми позабытый мальчик, потом юноша, потом муж. У меня была

маленькая роль; но, как увидите, на сцене жизни нелегко играть и те маленькие роли, которых никто не назовет историческими.

Начало этой зимы было ознаменовано тем, что, гуляя по Невскому, я встретил знакомое мне личико, подрумяненное морозом,— девочку в атласной шапочке, опушенной белым мехом, в теплых сапожках и в теплых варежках. Она не обратила на меня ни малейшего внимания; но, проходя мимо ее, я произнес:

— Верочка!

Сам испугался моей смелости и ускорил шаги свои. Девочка оглянулась и приостановила свою мамашу.

— Почем вы знаете, как зовут мою дочь? — спросила меня мамаша.

Я хотел уйти; но Фрейман, в свою очередь, остановил меня.

— Вас спрашивают,— сказал он по-немецки,— отвечайте же, коли спрашивают.

Хорошенькая мамаша с хорошенькой дочкой подошли ко мне.

— Я вас не знаю,— начала Верочка.

— Мне кажется,— отвечал я, сконфузившись,— на Крестовском... помните?.. я еще оставил вам мою тросточку.

— Мамаша! ты не помнишь, кто мне на Крестовском оставил свою тросточку?

— А как ваша фамилия?

— Сережа Чалыгин.

— Ах, да, помню! Я тогда не видала вас, но много слыхала о вашей матушке. Приходите к нам. Мы живем у Казанского собора. Ах, да! помню,— повторила девочка.— Приходите к нам. Мы живем у Казанского собора. Помню,— добавила она,— вы Сережа! Вы еще гулять со мной ходили, и на вас была синенькая курточка с золотыми пуговками.

— До свидания! — сказала мамаша.

— До свидания! — повторила Верочка тем же тоном.

«Когда это я с ней гулять ходил? — думал я и, рассеянный, беспрестанно на кого-нибудь натыкался.— Когда же это?.. Что это она выдумывает?!. А небось не помнит — поцеловала меня. Эдакая куколка!»

Но, с игривой мечтой об этой хорошенькой куколке, воротился я домой в таком расположении духа, как будто со мной случилось какое-то необыкновенное приключение. Дома ожидало меня другое приключение. В моей комнате, совершенно неожиданно, я застал Алешу Игнатина, обрадовался и бросился обнимать его. Мать моя отыскала этого

Алешу чрез мадам Калистратову, муж которой, как я уже заметил, служил чем-то при Академии художеств.

Прежде всего, разумеется, я рассказал Алеше о моей встрече на Невском, о том, наконец, как я однажды бежал из дому и путешествовал на Крестовский остров с моим слугой Егоркой.

— У меня есть,— сказал я ему,— слуга Егорка; но теперь он уже не живет у нас, потому что его отдали к часовщику, учиться часы чинить.

Алеша провел у нас целый день и, после ужина, остался ночевать на диване в классной комнате. После этого,— уж я и не помню, как это случилось,— Алеша остался у нас опять ночевать, опять и опять,— наконец, и совсем остался у нас в доме. Само ли собой это сделалось или мать моя этого пожелала, не помню. Сначала он был как потерянный — не резвился, не шумел, дичился моей матери, исподлобья глядел на Фреймана и, когда я поверял ему свои мечты и фантазии, оттопыривал губы и глядел на меня вопросительно... Но к нам немудрено было привыкнуть, ибо в доме нашем не было никаких особенных церемоний, даже, по правде сказать, и большого порядка не было. Алеша скоро развернулся, и мы с ним поднимали такую возню, так иногда шумели и бегали, что мать моя не раз высылала сказать нам, что у ней от нашей беготни голова трещит.

Через месяц Алеша должен был, в качестве воспитанника, учиться у тех же приходивших ко мне учителей, и тут-то в первый раз стал я сознавать не без гордости все превосходство своих способностей над его прилежным бессилием. Я стал сравнивать мои познания и мои успехи с его успехами, и сравнение это начинало льстить моему детскому самолюбию. Алеша был также самолюбив: во всем покоряясь старшим, он не выносил ни моих наставлений, ни моей иронии, страшно зубрил он свои уроки, и малейший успех стоил ему немалых трудов и усилий. Не оттого ли, отделавшись от этих трудов и усилий, вдруг переходил он к бешеной резвости, скакал по столам и стульям, лазил на двери и ногами становился на бронзовые ручки, часто ломал вещи и нередко надоедал моему немцу, которому не всегда удавалось унять его.

Чувствуя свое умственное превосходство над моим приятелем, я не хотел ни в чем уступать ему. Судите же сами, какой ядовитой скорбью обливалось мое самолюбивое сердце, когда, начиная бороться с ним, я падал спиною на пол и долго не мог встать, придавленный его коленом или его руками, коротенькими, но сильными. В эти позорные для

меня минуты кровь приливала мне к лицу, и раз — это было в присутствии Фени — я не вытерпел и, поднявшись с полу, бросился с кулаками на моего противника. Алеша, в свою очередь, так хватил меня кулаком по щеке, что у меня искры из глаз посыпались. Феня схватила меня, прикрикнула на Алешу и стала бранить его; я расплакался. Читая тогдашние переводные романы, я не раз мысленно присутствовал на рыцарских турнирах, сочувствовал победителям, жалел, зачем все это вышло из обыкновения, воображал себя силачом, и какой бы я был тогда непобедимый рыцарь — и что же? ребенок, который целым годом моложе меня, сбивает меня с ног и нисколько при этом не гордится, как будто ему сбить меня с ног ничего не стоит, все равно, что муху прихлопнуть!.. и не рыцарь заступается за женщину, а Феня заступается за рыцаря, и — этот рыцарь хнычет... Обидно!

Такие ссоры не раз случались. Алеша дулся и уходил от меня куда-нибудь в дальний угол; я почему-то считал его виноватым и также дулся. Иногда, подкравшись, я ударял его линейкой по спине и кричал радостным голосом: «Отомстил! отомстил! Э! что, брат! отомстил небось!..» Таким мщением унимал я свое взволнованное сердце; но Алеша не отвечал мне на заигрыванье, отказывался играть со мной и делался втрое прилежнее; и так продолжалось до тех пор, пока, вслед за усиленным напряжением памяти и тяжелого прилежания, для Алеши не наступала реакция: тогда сама натура его начинала требовать движения: он забывал ссору и готов был опять бороться со мной или скакать по стульям.

Алешу навещал брат его Костя. Мать моя однажды, поговоривши с ним, предложила ему давать мне уроки рисованья. Костя стал являться к нам в определенные сроки и учить меня выводить глаза, носы, уши и профили. Ему было лет около девятнадцати: он был белокур, бел, румян, приземист и только окладом своего лица походил на Алешу. Но характер этого лица был совсем другой: глаза влажные и чувственно-ласковые, губы мягкие и улыбающиеся, манеры вкрадчивые, голос заискивающий. Он соединял в себе восторженность юноши с каким-то добровольным лакейством. Даже Егорка мне так не услуживал, как этот Костя: он чинил мне карандаши, поднимал резинку, когда я ронял ее,— одним словом, вел себя как какой-нибудь услужливый паж, приставленный к маленькой принцессе. Или уж он был до бесконечности благодарен нам за то, что мы пристроили его братишку, и, угождая мне, думал угодить этим моей матери. Когда я просил его что-нибудь рассказать мне, он принимался описывать академическую жизнь, профессоров,

мастерские и разные проказы своих товарищей. Вообще, все его рассказы вращались около академических стен: в этих стенах, как видно, жила вся его надежда на будущее. Не знаю, был ли у него талант, но огня и любви к живописи было много. Слушая его, мне казалось, что передо мной сидит будущий русский Рафаэль. Для того, чтоб это я вообразил себе, мне кажется, достаточно было молодому человеку иметь у себя палитру и краски; а у него, кроме этого добра, были еще надежды украшать своею кистью будущий Храм спасителя, по проекту Витберга, воздвигаемый в Москве на Воробьевых горах. (О том, что миллионы, которые следовало положить в основание этого громадного храма, разошлись по карманам чиновных плутов, воспользовавшихся гениальной доверчивостью молодого архитектора, и что храма этого никогда не увидит — недостойна увидеть Россия,— об этом наивный юноша и не воображал, и не думал.)

Беседы наши с Костей, по большей части, происходили в столовой, которая была проходной комнатой. Помню, как однажды Феня, с утюгом в руке, появилась на пороге этой комнаты, прошла несколько шагов, взглянула на Костю, приостановилась и покраснела. Костя поглядел на нее и улыбнулся.

— Вы ее знаете? — спросил я Костю.

— Кажется, где-то я вас видел? — сказал он Фене.

— На улице всякий видит,— отвечала Феня.

Костя поглядел на нее своими светло-маслеными глазками.

— Как ее зовут? — спросил он меня, наклонив курчавую голову.

— Феней.

— Феня... Феничка! Куда же это вы уходите? останьтесь с нами...

— Да, есть мне время...— сказала она и, обернувшись на пороге, исчезла в коридоре.

— Стройная девушка-с!.. хоть бы головку написать-с. Просто беда в Петербурге, совсем женской хорошей натуры нет: у иной головка недурна, зато-с лапы такие, что из каждого пальца по набалдашнику можно выточить. У иной плечо недурно-с, зато уж живот такой, что не знаешь, как писать: выйдет тыква или бог знает что-с. Совсем хороших натурщиц нет.

Выслушав первый раз такие новости, я сначала (говорите после того, что дети не хитры) — я сначала ничего не возражал и ни о чем не расспрашивал, как будто все, что ни

говорил он, мне давно известно. Я только поддакивал и, наконец, догадался, какую роль играет натурщица в студии художника. Впервые от роду узнал я, что без живой натуры ни одной женщины нельзя ни написать, ни изваять правильно. Все это показалось мне не только ново, но и дико, не только дико, но и непостижимо. И во всем этом было что-то такое в высшей степени заманчивое. Мастерская художника явилась моему воображению преисполненной каких-то таинств, вроде элевзинских [41]. Неужели, подумал я, даже божественный Рафаэль — и тот не избегал такого соблазна!

— А Рафаэль? — спросил я у Кости,— как же он-то?

— А Форнарина-то была на что? — отвечал Костя.— Да и без Форнарины, стоило ему только пожелать, любая бы красавица за честь почла... На то Италия-с! Не то, что наш Питер!.. Италия!.. эх! попаду ли я туда когда-нибудь? Вот Карлуша Брюллов уехал [42]. Что-то он там напишет!..

«Уж не сделаться ли и мне художником? — подумал я.— Буду проситься у мама ходить в Академию».

В эту же зиму я раза три был в театре и видел знаменитую Семенову в роли Федры [43]. Помню, восторгам публики конца не было. Блеск и шум рукоплесканий уносил я с собой, и образ актрисы беспрестанно рисовался в моем воображении. Сказать по правде, я восхищался только ее декламацией, ее трагическими позами, ее величавой фигурой, но не понимал ее роли, не мог или не умел сочувствовать ее страданиям. Отрывок из перевода «Федры» [44] я нашел в одном из тогдашних журналов, кажется, в «Благонамеренном», и несколько раз в зале принимался читать эти топорные вирши, позировать и делать жесты.

«Уж не поступить ли и мне в актеры?» — думал я.

Мало того: едва ли не в эту зиму в первый раз я пустился в авторство,— сшил особенную тетрадку и написал заглавие: «Верная Матильда, или Рыцарь с золотою шпорой, роман, соч. Чалыгина».

Вот начало этого романа слово в слово:

«Темная, бурная ночь покрывала небеса. Лес на пустынном берегу острова был мрачен, трава была усеяна каплями росы... Все птицы и мотыльки спали мертвым сном, дожидаясь утренней зари. Все было тихо... вдруг с моря раздался звук рога; звук этот трикратно повторило громозвучное эхо. В лесу раздался свист, к берегу подъехала лодка, и вышли на берег пираты или морские разбойники.

— Ромуальд,— сказал один из разбойников,— ты слышал?

— Слышал,— отвечал другой разбойник.— Это ясно: он свистит.

— Да, это, верно, Селиверст, которого мы послали разведывать, что делается в замке.

В это время рыцарь фон Крюгер стоял за деревом и, когда вся банда вышла на берег, подслушал, что атаман сбирается в эту ночь похитить из замка прелестную Матильду.

Разбойники разложили костры, а рыцарь фон Крюгер потайной тропинкой пошел лесом прямо к замку, стараясь оружием своим не зацепить за дерево, чтоб не разбудить разбойников.

Когда он пришел к замку, то увидал, что уже подъемный мост поднят и караульного не было. В окошке одной башни светился огонек: это была спальня Матильды.

— Прекрасная Матильда! — сказал рыцарь фон Крюгер,— клянусь гербом моим и шпагою, что я спасу тебя от этих пиратов. Я знаю, для кого они хотят украсть тебя!

После этого рыцарь пошел опять в лес, нашел в овраге один камень, отвалил его и спустился в подземелье, сообщающееся с внутренностью замка. Кроме его, никто не знал об этом подземном ходе».

Таково было начало. Я читал его Косте и Логину. Косте очень понравилось, а Логин огорчил меня: он не поверил, чтоб это я сам сочинил. «Взяли,— сказал он,— да и списали с какой-нибудь книжки: я даже читал где-то...» Как я ему ни божился, как ни клялся, что это я сам писал,— не поверил.

Помню, в эту зиму мало гостей собиралось по вечерам у моей матери, как будто наводнение в ноябре на все и на всех навело какое-то уныние. Однажды — это осталось у меня в памяти — какой-то господин вечером читал у нас стихи Жуковского:

Сумрачен, тих, одинок, на ступенях подземного трона
Зрелся от всех удален Серафим Абадонна... и пр. [45].

Читал он это с потрясающим искусством, под какую-то музыкальную импровизацию. Кто-то сидел в это время у клавикорд, брал аккорды, стараясь музыкой выразить то же, что чтец выражал своим голосом. Эффект выходил удивительный. Гости были в восторге, у некоторых из них на глазах навертывались слезы. Алеша в это время дремал, клевал носом, а я глядел на него с насмешливым сожалением.

Но вместо многолюдного и шумного общества появился у нас один гость, старый приятель моей матери, некто Александр Сидорыч Кремнев. Мать моя так была рада, когда он

приехал к нам, что чуть ли не упрашивала его поселиться в комнате нашей исчезнувшей Юлиньки. Кремнев этот давно уже у нас не был; фигуру его я едва-едва припоминал себе; он все время то хозяйничал у себя в деревне, то скитался по Херсонской и Киевской губерниям. Несомненно, что моей матери он платил таким же расположением. Отказавшись от комнаты в нашем доме, он стал чуть ли не ежедневно посещать нас. Я привык к нему, как к чему-то неизбежному и повседневному; Кремнев же баловал меня и, как мне казалось, любил меня не меньше моей матери. Что за человек Кремнев — постараюсь уловить его образ и, насколько могу, очертить его.

ГЛАВА XXVIII

Кремневу было около сорока пяти лет; но вся фигура его настолько же дышала силой, насколько лицо его выражало доброту и прямодушие. Когда-то, блистательный адъютант чуть ли не самого Кутузова, он казался помещиком средней руки, за неимением средств потерявшим всякую охоту блистать среди столичного общества. При высоком росте, в профиль, он казался немного сутуловатым, и голова его покоилась на плечах, поистине геркулесовских. Руки были красны, на сгибах пальцев морщинисты и покрыты редкими волосами. Бороду и усы он брил, и это шло к лицу его, на котором был отпечаток мужества, но ничего не было марсовского, военного. Напротив, если б можно было обрить его бакенбарды да повязать лицо платком, он выглянул бы из этого платка чем-то вроде здоровой русской кормилицы, с загаром, отделяющимся полосой от белого лба, и с улыбкой, сверкающей необыкновенно белыми и ровными зубами. Лоб его казался еще выше, оттого что, сквозь рыхлые, плотно остриженные его волосы, уже начинала спереди сквозить небольшая лысина. В минуты душевного волнения щеки его, слегка книзу отвиснувшие, покрывались румянцем, тонкие, как паутинки, жилки наливались кровью, и тогда, я полагаю, немногие бы решились дразнить его. Одевался он, нисколько не следуя моде, в какой-то казакин без пуговиц, застегнутый на одни крючки; носил широкие, серые шаровары и терпеть не мог перчаток. Ни для кого на свете не менял он этого костюма, в нем делал визиты — и раз в нем же явился на какой-то вечер, где были танцы и музыка; незнакомые на него косились; знакомые, напротив, были бы изумлены, если б он поступил иначе. Впрочем, и то сказать,

в Петербурге он только и ездил, что в холостую компанию; из прежнего дамского общества только одна моя мать и сохранила для него прежнее обаяние. Он так и говорил ей: «Вы одна, перед которой я бы на коленки встал и не назвал бы себя за сие дураком».

В коротком обществе он был говорлив и, надо сказать правду, очень любил много про себя рассказывать. Впрочем, на этот счет все люди тогдашнего времени были страшно словоохотливы; тогдашние рассказы для многих заменяли книгу, и в обществе была потребность слушать их, так же как в наше время читать газеты. Если верить рассказам Кремнева, надо полагать, что человек этот, действительно, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. Чего с ним не было: он и тонул, и горел, и, раненный французскими штыками, был найден между убитыми, а потом взят в плен русскими, нагрянувшими в какое-то местечко во Франции и нашедшими его в притворе какого-то католического монастыря, где его лечили монахини. Раз его чуть было волки не съели; раз, на Волге, он спас какое-то судно от разбойников, которые хотели ограбить хлебного торговца, а судно на дно пустить. Я, бывало, слушал его с большим удовольствием, а он рассказывал очень спокойно и очень чинно даже о таких случаях своей жизни, которые самого его возмущали. Образования он был недюжинного, знал хорошо по-немецки и даже Плутарха [46] читал. К стихам не чувствовал никакого пристрастия, но любил тогдашних русских поэтов, как славу отечества; он был патриот; Россию называл Российским государством, сражение — боем, флот — флотилией. Не читая Пушкина, он, ради патриотизма, охотно бы подставил за него лоб свой, и о ссылке его говорил чуть не со слезами. Вообще, подобно большинству людей образованных того времени, он больше был склонен во всем видеть светлую, радужную сторону; даже в Равинине (который тем и брал, что казался каким-то исключением) он ценил положительный (в сущности же сухой и мелкий) ум его, что, впрочем, не помешало ему чуть было не затеять с ним истории.

Равинин, в одном обществе, так выразился о Кремневе: «Кремнев потому Кремневым и прозывается, что кремень порядочный, сам пороху не выдумает, но если в него ударить, то, чего доброго, может зажечь его». Это дошло до Кремнева. Он покраснел и опустил ресницы — значит, обиделся. Но его обидело не то, что он пороху не выдумает, а слово *«ударить»:* он понял его в буквальном смысле.

— Ударить!.. Еще не было на свете такого человека, который, ударив Кремнева, не поплатился бы за это своею

жизнью,— говорил он, вынимая свою табакерку и поднося ее к носу, что он делал очень редко, ибо носил при себе табакерку только для каких-то экстренных случаев — для облегчения головы.

Мать моя едва его успокоила, растолковавши ему, что слово «ударить» следует понимать в иносказательном смысле, то есть «за живое задеть» или что-нибудь в этом роде.

— Во всяком случае,— сказал Кремнев,— я потребую объяснения.

— А помните,— раз говорила ему мать моя,— какой вы были кутила, сколько проигрывали, сколько на одно шампанское шло у вас...

— Я бы и теперь мог это же самое делать,— отвечал Кремнев,— но, не переделавши себя, можно ли мечтать о том, чтобы что-нибудь когда-нибудь переделалось в семье и в государстве? Нет, спасибо одному из членов Союза [47]: он раскрыл мне глаза... И вы непростительно поступаете, что не только себя, но и сына вашего приучаете к роскоши. Зачем вам такая квартира, такое множество слуг и служанок? И уж как же вы, моя матушка, не умеете экономничать! Не пуд ли сахару у вас выходит в месяц, а?

— Да, около пуда...

И Кремнев начинал математически доказывать моей матери, что она может проживать втрое менее, ни в чем себе не отказывая, и в пять лет заплатить все долги свои.

Во всем этом я понимал только одно — что Кремнев имеет на мать мою влияние, что она почему-то не умеет с ним спорить, хоть и спорит, и что всякий спор с ним кончается с ее стороны чем-то вроде очень веселого, задушевного смеха.

Кремнев был и шутить великий мастер, но, повторяю, в очень небольшом обществе. Раз, на святках, вечером, к нам неожиданно явилась княгиня Малыгина; еще было двое каких-то молодых гостей. (Набатов почему-то реже являлся с тех пор, как не стало Юлиньки, и еще реже с тех пор, как прослышал о Кремневе: вероятно, фигура Кремнева ему не слишком нравилась, или суждения его казались ему слишком откровенными.) Княгиня Малыгина вошла к нам, немного запыхавшись, села в кресла, пожаловалась на крутые ступеньки нашей лестницы, на метель, на петербургскую скуку и, вслед за тем, сообщила моей матери, что вчера она видела Юлиньку. Можете вообразить, как мы испугались и обрадовались.

— Да, и в престранном виде я ее видела: в белой рубашке с распущенными волосами... Так я и обомлела...

— Где? каким образом?!

— Ах, мать моя! каким образом! разумеется, в зеркало: я гадала... дернула меня нелегкая погадать о ней в зеркало! Imaginez vous, chère madame Tchaliguine *, как я испугалась!.. ночью хотела посылать за доктором: такой на меня напал страх... Вот и сегодня, вышла я в гостиную... стоит ваза — я подумала, бог знает что... руки, ноги затряслись, насилу сообразить могла, что это ваза. Ах, как у меня эти нервы расстроены, вы себе представить не можете... к тому же одиночество — не выношу одиночества... Посылала в театр ложу взять — все до единой заняты — чей-то бенефис — и все до единой!.. Зизи моя все сидит у себя в келье; я ее комнату называю кельей и даже не захожу к ней, признаться: там у ней налой какой-то, духовник ей книги какие-то читает... Вот не думала, не гадала... Ах, да... что бишь я хотела?.. да... ведь это удивительно! только что я взяла зеркало — вижу — господи помилуй!.. Юлинька моя... бледная... такая, мать моя, бледная... Так у меня сердце и замерло... Попробуйте-ка вы погадать...

Мать моя была в хорошем расположении духа, и, чтоб угодить княгине, велела в свою уборную принести зеркало, столик, две свечи и села перед трюмо, а мы все собрались в смежной комнате, то есть ее кабинете, где горела лампа и где княгине было очень удобно сидеть на низеньком диване. Княгиня велела нам всем молчать, чтоб ничем не развлекать внимание гадальщицы. Прошло полчаса. «Кажется, что-то вижу»,— послышался голос моей матери. Кремнев не утерпел, прокрался в уборную и через ее плечо заглянул ей в зеркало. Мать моя не испугалась, она слышала за собой осторожные шаги его; но все-таки вскрикнула и, обернувшись, поймала его за бакенбарду. Смех сообщился всем, кто подглядывал за этой сценой. Одна княгиня хоть и смеялась, но была недовольна.

— Добро бы еще молодой человек! а то, чай, у самого дочь невеста, а туда же... Как вам не стыдно в ваши лета!..

— А вы, княгиня, в ваши лета, о ком гадали?

— Я гадала о Юлиньке.

— Это вчера; ну, а третьего дня вы о ком гадали?

— А почем вы знаете, что я гадала третьего дня?

— Да я все знаю, княгиня!

— Ну... я гадала о муже.

— Что ж вы видели?

— Ну, это не ваше дело...

— А хотите, я вам всю вашу будущность предскажу?

---

* Представьте себе, дорогая мадам Чалыгина *(фр.)*.

— Каким манером?

— На картах.

— А вы умеете?

— Учился во Франции у мадам Ленорман [48], у той, знаете, которая Наполеону предсказывала.

— Вы? у Ленорман?.. Est ce possible! *

— А что вы думаете,— шепнула ей мать моя,— эта колдунья была влюблена в него, когда он был офицером.

— Неужели... влюблена!.. Это интересно! Я не влюбилась бы... право бы, не влюбилась, разве когда вы были очень молоды... только не видать, чтобы вы были когда-нибудь очень молоды... Ну, хорошо, велите, chère madame, принести этому шалуну карты... Погляжу я, как он гадает.

Карты были поданы, столик пододвинут к дивану.

— Теперь,— сказал Кремнев, тасуя карты,— теперь я прошу вас, княгиня, прежде, чем я начну раскладывать карты, попрошу вас потрудиться и сказать мне... то есть вы мне позволите предложить вам один вопрос?

— Какой это вопрос?

— Вопрос первой важности: сам Наполеон, когда гадал, не избежал этого вопроса, а именно: в котором году вы родились?

Княгиня выразила изумление; в глазах ее мелькнули тревога и недоверчивость.

— Быть, сударь, не может, чтоб мадам Ленорман, урожденная француженка, была так неделикатна... Нигде, в особенности во Франции, никто не решится даме, которой за двадцать пять лет, предложить такой щекотливый вопрос — никто! Это невежливо... и невежливо! Не правда ли, madame Tchaliguine?

— Гм... да... но monsieur Кремнев ко всем обращался с таким же вопросом, когда гадал... Я сама нахожу это неловким,— отвечала мать.

— Это очень неловко... очень.

— Мадам Ленорман никогда иначе не гадала,— сказал Кремнев.— В числах есть разгадка многого такого, во что немногие могут проникнуть. Надо иметь ключ к цифре, выражающей год рождения, и уж потом приступить к гаданью. Если вы находите, княгиня, вопрос мой нескромным, скажите мне на ухо...

Княгиня сидела в нерешительности, как бы сама не зная, как ей поступить в таком случае.

* Возможно ли это! *(фр.)*

— На что же на ухо...— сказала она вполголоса и как бы раздумывая.

— Ну, скажите вслух,— подхватил Кремнев.

— Ну, вслух... ну... Быть не может, чтоб мадам Ленорман задавала такие вопросы!

— Ну, да ведь вам не сто же лет, княгиня?

— Двести! а замуж все-таки не пошла бы за такого пожилого человека, как вы. Очень нужно знать вам год моего рождения!

— Ну, довольно... я не могу гадать. Сережа, возьми карты.

— Ну, да я вам скажу. Постойте. Я, так и быть, скажу вам на ухо.

Кремнев нагнулся к княгине, княгиня нагнулась к Кремневу и что-то сказала ему на ухо.

— Семьсот шестьдесят и...— начал было Кремнев; но княгиня зажала рот его и так рассердилась, что привстала и хотела сию же минуту выйти в другую комнату.

— Не расслышал, княгиня,— сказал Кремнев,— и хотел переспросить вас, извините... Впрочем, теперь все равно — вы можете уйти — я без вас разложу карты, и если только я действительно расслышал год вашего рождения, я узнаю всю вашу жизнь прошедшую и будущую.

— Я ничего знать не хочу...

— А мне позвольте полюбопытствовать: надеюсь, в вашей жизни нет ничего такого, за что казнят или ссылают.

— Ну, посмотрим, посмотрим. Гадайте! Увидим, какой вы гадальщик.

Кремнев пресерьезно стал раскладывать карты.

— Тому пятнадцать лет или около, княгиня,— начал он,— приезжал в Петербург один человек... один... по-видимому иностранец, если только я не ошибаюсь, и, по-видимому, был он к вам очень когда-то близок.

Княгиня побледнела.

— Правда? — спросил Кремнев.

— Не помню,— отозвалась княгиня, стараясь подавить внутреннее волнение.

— Этот человек,— продолжал Кремнев, не обратив на ее испуг никакого внимания,— или этот иностранец спрашивал вас о каком-то ребенке... Правда?

— Не... Неправда!

— Вы от него хотели что-то такое скрыть и уверили его, что ребенок этот не существует. Правда?

— Да что вы: черт! — вскрикнула старуха,— за кого вы

меня принимаете, чтоб сметь так шутить со мной, говорить мне такие вещи?!

— Итак, все это неправда... ну, карты врут. Отчего же вы так сердитесь?

— Я не сержусь, chère madame Tchaliguine! Этот человек на мои нервы действует... он, должно быть, магнетизер... Уверьте его, пожалуйста, что карты его врут, врут бессовестнейшим образом.

— Очень может быть... если карты врут,— сказал Кремнев,— это значит, что года вашего рождения я не расслышал.

— Конечно, не расслышали... Да и что это такое? Я хочу знать будущее, а вы мне говорите мое прошедшее. Да что бы вы про меня ни сказали в прошедшем — все могло быть; мало ли чего со мной не было! что ни выдумайте — все было...

— Ну, уж этому я, княгиня, не поверю, чтоб с вами все было, что говорят эти глупые карты. Вон они говорят, будто когда-то вы спали на чужой постели, и таким образом пришлось вам разыграть роль чужой жены. Может ли это быть?

Княгиня, которая ни в каких скандалах такого рода не находила себе особенного бесчестия, засмеялась.

— Если и была такая оказия,— сказала она,— то уж я и не помню. Это забавно...

— Да, карты говорят, что это очень старая история,— проговорил Кремнев, как бы намекая на года княгини.

— Ну, ну... колдун... довольно! Погадайте лучше на себя, греховодник вы, право, греховодник старый! Откуда это вы, мать моя, добыли этого господина? Врет, врет — и не краснеет. Познакомьте-ка меня с ним, пожалуйста: я до вралей всегда была большая охотница.

— Имею честь рекомендовать,— проговорила мать моя,— Кремнев Александр Сидорыч.

Кремнев встал и поклонился. Княгиня, как дама светская, сметливая и изворотливая, заговорила с ним о Париже и спросила его, между прочим, как он познакомился с мадам Ленорман.

— Да я ее никогда отроду не видал,— сказал Кремнев.

— Как! да вы же...— княгиня уставила на него глаза свои.

— Да разве вы не видите, что я шутил для того, чтоб как-нибудь занять вас? Я и гадать-то не умею...

— Не умеéте! А!..

— Просто говорил вам, княгиня, все, что приходило в голову.

Княгиня встала, подозвала мать мою, ухватила ее за талию и, как обыкновенно прохаживаются институтки, стала ходить с ней по гостиной от дверей к дверям. Я видел, как ей было жарко; тело ее волновалось на всех видных глазу местах, а таких мест княгиня оставляла вдоволь, потому что, действительно, сохранилась не по летам, несмотря на свои похождения. О чем она беседовала с моей матерью — не знаю. Кремнев, опершись одной рукой на колено, искоса на нее поглядывал и иногда лукаво улыбался. Я смотрел на него с чувством непростывшего удовольствия, потому что я сам был не прочь кого-нибудь подурачить, сам иногда дурачил Алешу, уверяя его, что я знаю такие кабалистические слова произносить, что ко мне является какой-то дух и делает все, что я прикажу ему. Княгиня уехала довольно поздно.

— Она непременно хочет, чтоб вы ей сделали визит,— сказала мать моя Кремневу, который с двумя молодыми людьми принимался закусывать.

— Нужно будет, так пойду к ней,— отвечал он, проглатывая рюмку водки.— А ты чему весь вечер смеялся? — обратился он ко мне.

— Мне также было смешно.

— Тебе смешно,— сказала мать моя,— оттого, что ты ничего не понимаешь.

— Я все понимаю,— отвечал я.

— Ну, тем хуже для тебя, если ты все понимаешь.

— Не нападайте на моего мальчика,— сказал Кремнев, потрепавши меня по щеке,— он будет когда-нибудь умнее нас... право! Бог его не обидел, надо правду сказать.

И с этой минуты я особенно полюбил Кремнева; но и эта любовь вскоре чуть-чуть было не перешла в ненависть.

ГЛАВА XXIX

Помню, в эту зиму в дом наш приезжали полицейские. Не снимая шпаг и не зная, куда девать свои большие треугольные шляпы, садились они в зале у ломберного стола, раскладывали на нем свои бумаги и отбирали показания о пропавшей Юлиньке. Ее лета, ее приметы — все это они записывали, потом закусывали, потом уезжали. Мать моя обещала сто рублей тому из них, кто найдет ее. Но, полагаю, по всем приметам, ими записанным, ни один из них не мог бы составить себе даже приблизительного понятия о миловидном личике нашей Юлиньки; эти же самые полицейские могли, сходя от нас, встретить у наших ворот эту Юлиньку,

толкнуть друг друга локтем и сказать: «Вишь какая смазливая!», и не только не узнать в ней той особы, о которой расспрашивали, но даже и не подумать, что это именно та самая, которую велено им отыскать во что бы то ни стало, живую или мертвую.

Как видно, по связям моей матери, за это дело горячо взялись люди влиятельные.

— Как вы думаете, Александр Сидорыч, куда могла деваться Юлинька? — спрашивала Кремнева мать моя.

— Я того мнения, что ее в Петербурге нет: она уехала.

— Но как уехать? без вида, без паспорта, без бумаг!

— Ничего этого не нужно, ибо Русь велика и обильна, но порядка в ней нет... Я кого угодно, угождая властям, буду возить по России без всякого письменного вида. Вот вам доказательство: один мой сосед — царство ему небесное! — влюбился в горничную одной помещицы и увез ее; он жил с нею десять или пятнадцать лет,— все это знали. Двадцать раз приезжали к нему и становые, и губернаторские чиновники; все они с этой горничной обедали за одним столом; подкутивши, целовали у ней ручки, потому что она была хорошенькая и вела себя, как любая барыня. Все были уверены, что это та самая беглая Лукерья, которую разыскивают,— и никто пальцем до нее не дотронулся. Б..., разумеется, не жалел ни денег, ни угощения, и шло все как по маслу. Когда же он умер, несчастную Лукерью, уже в преклонные годы, взяли, высекли и по этапу отправили к барыне. Это все было на моих глазах. Итак, если Юлинька попала или попадет к человеку с деньгами или с весом, никто и спрашивать не станет — кто она? Никто никакого вида от нее не потребует, особливо в деревне.

— Но это все не может быть! С кем ей уехать? Я просила Набатова узнать, здесь ли Латынин — тот Латынин, который был в нее влюблен и которого княгиня изволила за нее сватать. Кто знает... быть может... Впрочем, это было бы известно Зизи, а Зизи прямо сказала княгине, что Юлинька не любит Латынина — что она, вишь, кому-то уж отдала свое сердце, в какие-то руки, более достойные...

— Я знаете, что сделаю,— сказал Кремнев,— воспользуюсь приглашением княгини, познакомлюсь с Зизи и порасспрошу ее. Понимаете, с какой стороны я к ней подъеду...

— Понимаю... хитрый вы человек...

Кремнев улыбнулся: слово «хитрый» польстило ему. Я заметил, что люди простодушные и прямодушные, люди, решительно не способные ни на какую хитрость, особенно любят, когда их считают плутоватыми; это льстит им.

— Так неужели я хитрый? — спросил Кремнев, скорчив плутовскую мину.

Мать моя поглядела ему в лицо не то с упреком, не то с каким-то особенным чувством.

— Да... вы хитрый!

Я, конечно, мог бы по глупости поверить в лукавство и хитрость Кремнева: но не это меня с ним поссорило. Поссорило подозрение. Поводом к нему был разговор мой с Аграфеной, которая в последний день масленицы вечером зашла к нам *прощаться*, то есть просить прощения в грехах своих. Чтоб легче заслужить это прощение и, может быть, и для того, чтоб что-нибудь получить от моей матери, она принесла мне фунт изюму и фунт каких-то пряников.

Матери моей не было дома, и, в ожидании ее возвращения, няня уединилась со мной в залу около часов, тускло освещенных стенною лампой, и сперва очень чувствительно просила меня не забывать ее, уверяла меня, что она меня, такого-сякого, любит, как сына родного, пуще, чем родного, как такого барина, какого другого и на свете нет. Разумеется, я от всей души ей верил и сидел на стуле, обогнувши одной рукой ее дебелую шею и задумчиво поглядывая на светильню лампы. Потом выражение любви ее ко мне перешло в сожаление.

— Что это будет,— сказала она,— коли да мама твоя опять замуж выйдет?

— Как замуж? — спросил я.

— Да так, золотой мой! как выходят замуж, так и выйдет.

— Да за кого же это?..— И я поглядел на широкое лицо ее, тускло освещенное лампой.

— Да известно за кого...

— За кого, няня?

— Ну да... может, врут, а поговаривают — тоже люди: чай, глаза есть — видят.

— Что ж они видят?

— Ну, видят, кавалер ты мой милый, что дело будто бы на тот конец идет, что свадьбе-то не миновать.

— Да за кого же это?

— Ну, да вот за этого-то... как бишь его? Каждый божий день заходит к вам, а ты не знаешь!

— За Кремнева?

— А то за кого же?.. Ты только не говори, смотри!

Сердце мое сжалось.

— Это не может быть,— сказал я шепотом.

Няня помолчала.

— Ну, и дай бог, чтоб это враки были, и очень буду я рада, коли барыня да не захочет ни за что, ни про что по рукам, по ногам связать себя. Эдакая радость замуж выходить! Ну, любит человека — ну, и люби, а то еще замуж! Вон я, на что мужичкой родилась, а чего-то, чего, бедная, замужем-то не натерпелась? Еще слава-те, господи, что господь бог скоро к рукам его прибрал, мое-то сокровище! Буду век жить, не забуду, каково мне было мучиться-то с ним.

— Что ж, разве он бил тебя?

— Да что уж и говорить! Вы его, чай, не помните! Я уж нянькой вашей была. Придет, бывало, в кухню или в девичью — пьянехонек! Давай, говорит, денег! «Да где я тебе денег возьму? — говорю.— Ты мне дай, бесстыжий ты эдакий!» Пять рублей, говорит, в месяц плати мне беспременно, а не то, говорит, с места долой! Не хочу, говорит, чтобы ты в няньках жила... Что ты будешь с ним делать! Ну, я платила ему оброк... Да что еще говорит, бывало: ты, говорит, себе полюбовника найди, и чтобы у тебя мне на выпивку всегда деньги были... Срам, бывало! Натешится, наругается, да и уйдет. Вот-те и муж! Еще, слава богу, барыня, маменька ваша, за меня заступалась: бить ему у себя в доме не позволяла, даже раз за будочником приказала сходить, чтоб унять его... Так-то любо замужем-то! И... и... и!.. Ну, вот хоть бы этот Кремнев — сам-то, чай, промотался, деньжонок-то нет; ну, видит к себе ихнее расположение: давай, говорит, попробую, барыня богатая, все есть — буду себе жить-поживать да детей наживать... А то еще и твое-то состояние ухлопает, а ты ему за это ручки целуй. Разве я не знаю, как эти дела-то делаются... Не дай бог!

Не могу и выразить, до какой степени ядовиты были для меня речи моей няни возлюбленной. Добрейший, честнейший Александр Сидорович вдруг показался мне в другом свете: я возненавидел его с этого вечера, стал ревновать его, подглядывать за своей матерью — одним словом, почувствовал в душе моей что-то нехорошее.

Раз, великим постом, Кремнев вошел в кабинет моей матери и притворил за собой дверь. Я это заметил, прилег в гостиной на диван и притворился спящим. Поговоривши о чем-то с моей матерью, Кремнев стал прощаться и, вероятно, при этом, следуя обычаям того времени, приложился к руке ее. Звук чмокнувших губ его произвел на меня тяжелое, горькое впечатление. Когда он проходил гостиную, я так и впился глазами в лицо его.

В этот же день, когда наступили сумерки, то есть перед

самым ужином, потому что время шло к апрелю и дни становились все длиннее и длиннее, а ночи короче и прозрачнее, я в зале поссорился с Алешей. Он был в периоде резвости, а я в периоде какой-то унылой мечтательности и отказывался, не хотел ни бегать, ни играть с моим приятелем; он тащил меня за рукав, а я его отталкивал. Наконец он рассердился и выругал меня чертом. В эту минуту в залу входила мать моя.

— Кого ты это назвал чертом? — спросила она Алешу.

— Меня, мама...

— За что?

— За то, что я не хочу играть с ним.

— Алеша, проси у него прощения.

Алеша надулся и не хотел просить у меня прощения. Мать моя приказала Фрейману наказать его, то есть оставить без ужина. Когда Фрейман и Алеша удалились, мне стало жаль моего Алеши, и я стал упрашивать мать мою простить его.

— Нет,— сказала она,— если и ты будешь груб, я и тебя не помилую.

— Ради бога, простите...

— Не проси!

— Ну! хоть ради Александра Сидоровича простите его!

— Почему же это ради Александра Сидоровича? Ты в последнее время ни на что не похож стал, так с ним невежлив, что даже третьего дня, когда он хотел тебе что-то сказать, а может быть, и приласкать тебя, ушел, надувшись!.. Что это такое?

— Мама!..

— Я тебя спрашиваю, что все это значит? Давно ли ты с ним так невежлив?

— Я не люблю его.

— За что это ты так невзлюбил его?

— Это тайна...

— Тайна! Нельзя ли мне, твоей матери, знать эту тайну?

— Нет, не спрашивайте, не могу, не могу, не могу я вам сказать этой тайны.

— Ну, так и не говори со мной.

Я заплакал. Мои слезы, даже прерывистый голос мой не могли не поразить чутких нервов моей матери. Она поставила меня перед собой у колен своих и, мешая строгость с лаской, стала меня допрашивать: то обнимала меня, то отталкивала. Долго я молчал, наконец, решился и, запинаясь, сквозь слезы, проговорил:

— Мама, милая, простите... я боюсь, что он на вас женится... боюсь!

Мать моя оперлась локтем на окно, поглядела куда-то в воздух и, глубоко вздохнув, проговорила:

— Вот наказал меня бог этим мальчиком!..— И, несмотря на сумерки, я видел, как изменилось уже немолодое, но все еще красивое лицо моей матери.— Откуда ты узнал эту новость? сам придумал? а?

— Сам придумал.

Мать моя стала смотреть мне в лицо, и глаза ее, отражая косвенный свет последних лучей, падавших в окно, казалось мне, сияли каким-то особенным, выразительным блеском — грозно-задумчивым и робко-удивленным.

— Ну, так что ж? — начала она,— положим, ты это выдумал или вообразил себе, что я выхожу замуж. Почему же это тебя так тревожит? почему ты плачешь, а не радуешься?

— Не знаю, почему...

— Разве Кремнев дурной человек? Говори, дурной он человек?

— Нет, не дурной, мама.

— Злой?

— Нет!

— Глупее тебя или умнее? а?

— Не знаю, ма... умнее! — скороговоркой добавил я, как бы спохватившись.

— Если он и добр, и умен, да еще и честен, чего же ты боишься, а?.. Ну, так слушай же, что я тебе скажу: я была бы рада и была бы счастлива, если б он за меня посватался, завтра бы охотно пошла за него замуж, потому что люблю его и уважаю. Ожидал ли ты этого? Теперь ты вот что послушай: на той неделе мы будем говеть, и я на духу моему исповеднику скажу то же самое, что я тебе сейчас сказала, и знаю, что бог, не запретивший ни любить, ни выходить замуж, когда нет мужа, не осудит меня; а ты, когда ты пойдешь на исповедь, ты должен будешь покаяться, что огорчил мать свою; что ты заранее осудил ее, не имея никакого права судить ее, что ты не любишь ее, потому что не желаешь ей счастия. Помни же это... Прощай! мне некогда.

Оглушенный словами ее, озадаченный, пристыженный, я схватил ее руку, но эта холодная, трепетная рука только скользнула по горячим губам моим. Она ушла. Я облокотился обеими руками на подоконник и стал плакать. Я не мог дать отчета, что именно потрясло меня. Если б мать моя сказала мне просто, что мои подозрения неосновательны, что

этого никогда не будет и быть не может, что я совершенно могу на этот счет быть спокоен,— я бы, действительно, был спокоен; но мог ли я думать, что я окажусь сыном, недостойным моей матери, что я не только виноват, но преступен и должен каяться? Пришли звать меня ужинать — я отказался.

А на другой или на третий день после этого мать моя веселым тоном сказала Кремневу при мне и даже при Аксюте:

— А знаете, что мой Сережа вообразил? Он вообразил, что вы собираетесь на мне жениться.

— Ба! — Кремнев засмеялся.

Аксюта также скорчила улыбку и поглядела на мать мою.

— Я, пожалуй,— продолжала мать моя, преспокойно вышивая в пяльцах,— пожалуй, и выйду за вас замуж, только с уговором, чтоб вы каждый день раза по два секли моего Сережу — один раз утром, другой раз вечером.

Кремнев так громко засмеялся, что я не мог не улыбнуться. Я понял, что мать моя шутит.

— Ну, так вы никогда за меня замуж не пойдете,— сказал Кремнев,— я на таких условиях никогда не женюсь на вас.

— Видишь, Сережа, из-за тебя я буду всю мою жизнь вдоветь. Стоишь ли ты этого?

— Да я и вам его сечь не позволю,— сказал Кремнев.

— Ну, Сережа, не ждала я, чтоб Александр Сидорович был на твоей стороне. Поцелуй его за это...

Я стоял в нерешимости и, улыбаясь, поглядывал то на Кремнева, то на мать мою; он протянул мне руки и чрез минуту целовал меня так, как будто мы с ним сто лет не видались. Этот полушутливый, получувствительный разговор освежительно подействовал на мое расположение духа; семя недоверия и ненависти как будто потеряло свою жизненность, стало скорей забавно, чем серьезно. О, я понимаю теперь, отчего даже тот, кто клеветал на мать мою, поговоривши с ней, начинал бранить врагов ее.

На страстной неделе я говел и, помню, на исповеди сказал отцу Алексею, что иногда огорчаю мать мою. Он прочел мне нотацию и отпустил мне мое прегрешение.

Тут, кстати, приведу ничтожный, в сущности, факт, но который, как нельзя лучше, доказывает, до какой степени, в дни моего ребячества, я был склонен все воплощать и верить самым нелепым фантазиям. Надо сказать, что мы исповедовались не в церкви, а дома; в кабинете был накрыт

стол, поставлен образ спасителя, там горели восковые свечи, и туда к отцу Алексею не только мы, но и дворовые собрались идти на исповедь. Первая пошла мать моя и затворила за собой дверь; я с Алешей слишком близко стал к этой двери, вероятно, ожидая своей очереди. Вдруг Феня полушепотом закричала нам: «Отойдите, отойдите! Видите, как из-под двери-то грехи ползут, грехи ползут!..» Я отскочил, как будто и в самом деле грехи моей матери приняли вид каких-то змей или чудовищ. Была ли в этом убеждена сама Феня, или слышала какую-нибудь легенду, или просто сама выдумала, чтоб кто-нибудь из нас, подходя близко к двери, не подслушал грехов ее,— не знаю; она так же, как и мы, была в каком-то нервном состоянии, то смеялась, то как будто плакала.

Прошла святая, пришла весна. Никто так рано не загорел, как Кремнев: скоро лицо его сделалось совершенно коричневым. «В поле хочу»,— говорил он, и глядел таким степняком, как будто кругом его был лес, а не каменные палаты. В начале мая он от нас уехал в деревню. В кухне у нас спекли для него на дорогу ватрушки и пирожки, а мать моя сама ездила за заставу провожать его.

Вскоре после этого получила она письмо из Москвы от моего дяди, намекала мне на какие-то происки московских родных моих (со стороны отца), говорила, что дорого дала бы, чтоб никогда с ними не встречаться, и сама куда-то уехала на почтовых; мы же отправились на Петергофскую дорогу, на маленькую дачу, состоявшую из двух комнат и мезонина. С нами отправилось семейство Логина и неразлучный со мною Фрейман. Тут я, к немалому моему удивлению, узнал, что эта дачка наша собственная, а не чужая, но что мы сами никогда в ней не жили.

В это лето я больше развился физически, чем умственно; даже могу сказать — физически развился на счет моих способностей и моей впечатлительности. Беготня и купанье в заливе давали мне аппетит и укрепляли нервы. Фрейман, сам не умея плавать, учил меня нырять, и я выучился нырять, не выучившись плавать. С Алешей я стал уже бороться с большим успехом; но лазить по деревьям так, как он, не мог. Брат его Костя стал пешком приходить к нам из города: он не переставал учить меня рисовать, конечно, находя в этом свою выгоду, ибо не даром же он учил меня; иногда ночевал у нас и, как кажется, слегка приударял за Феней. Феня с ним кокетничала и раз, при мне, упрашивала его что-то никому никогда не сказывать. Костя клялся и божился, что никому не скажет.

Костя был тип веселого бедняка, примиренного с обстоятельствами, вечно готового на послуги, но бодрого и неунывающего. Тип этот не только сносен, но иногда и привлекателен, особливо в юности. Он совершенно сошелся со всеми нами: приходил, когда хотел, и не раз, входя, говорил жене Логина:

— Ах, если бы вы меня покормили, бабушка! Нет ли у вас хоть молочка или чего-нибудь этакого? Не обедал-с.

— Неужели не обедали?

— Ей-богу, не обедал-с,— утверждал он, и так весело утверждал, что нельзя было сердобольной старухе не покормить его.

Помню, как рассказывал он о друге своем Саше Порском:

— Иду я намедни по Васильевскому-с, подхожу к его домику, слышу его голос — точно с неба падает,— и что ж вы думаете? — сидит на трубе.

— Как на трубе?

— Да также-с: взлез на чердак, с чердака на кровлю, а потом на трубу — и любуется. «Что ты там делаешь?» — кричу. «Возлюбленной моей дожидаюсь»,—говорит.

— А что этот Порской, все еще в Академии учится?

— Какой-с учится! С прошлогоднего лета не ходит. Нашли на полу какие-то стишки на профессора... преуморительные-с... Я, когда вспомню или найду, прочту вам. Ну-с, догадались, что это Сашка мой сочинил: кому же иначе? призвали, распекли, да и велели вон выходить... а человек с талантом... Хорошо, что еще отец его на какой-то фабрике деньгу зашиб — дом есть свой, низ под жильцов идет, а сами живут в мезонине; а кабы ничего-то, как вот у нас, что бы тогда? У меня, когда я голоден, есть желание кого-нибудь эдак задеть-с, только никак я этого не могу, потому что самого так заденут, что придется волком выть... Ты смотри у меня, Алеша, учись: не будешь учиться, буду больно бить.

— Не буду учиться,— отвечал Алеша.

У этого Алеши, надо сказать правду, к концу зимы мало-помалу проявилась склонность к математике, стал он решать задачи так, что учитель Фирс счел долгом заявить моей матери, что Алеша мальчик далеко не глупый.

Наступила осень — сырая, петербургская осень, с дождями, ветрами, вставливаньем зимних рам, выниманьем теплого платья, ранним огнем, зубной болью и ожиданием первого санного пути, как великой божьей благодати.

С первым санным путем воротилась в Петербург и мать моя. По дороге она заезжала к Кремневу в деревню и нашла его одного среди опустелого дома, в прокопченном кабинете,

увешанном охотничьими ружьями (по большей части шведскими), палашами, шпагами и эспадронами, нагайками всех сортов и портретами собак. Отец Кремнева был когда-то страстный охотник и выезжал в поле, как владетельный принц, окруженный мелкопоместными соседями, приживальщиками, шутами, егерями и гончими, с поварами на телегах и с мальчиками, из которых одни должны были подавать умываться, другие набивать трубки и чистить чубуки.

Кремнев явился у нас в доме спустя недели три после приезда моей матери и объявил ей, что всех крестьян своих сделал вольными хлебопашцами [49].

ГЛАВА XXX

Занятый своими уроками, погруженный в свои личные ощущения и детские страстишки, я в это время не имел ни нравственной возможности, ни особенной охоты обращать внимание на тогдашнюю политику. И Россия, и Наполеон, и Москва, и 1812 год, и русский царь, и Кутузов, и Барклай, и какой-то Аракчеев — все были для меня еще звуки, создававшие в уме моем бесчисленное множество разных поэтических или воинственных образов; они питали мой патриотизм, и перед многими из них я благоговел бессознательно. Действительность, или та огромная машина, называемая Российской империей, двигая своими административными рычагами и бюрократическими колесами, не поражала еще слуха моего ни своим скрипом, ни своим шумом. Под сенью родительского дома и не зная нужды, я был далек и от тех жерновов, которые из зерен муку делают; я был еще нетронутое зерно.

Когда в ноябре, вечером, к чаю явился к нам Кремнев и объявил, что государь император Александр Павлович приказал долго жить, я помню, как это известие страшно отозвалось во мне. Вероятно, подумал я, в этой новости есть что-то страшное или потрясающее. Кремнев был расстроен; мать моя задумалась; Фрейман поднял глаза к потолку и сказал:

— Все падает, и великое, и малое... Смерть есть благо, сказал Шиллер; но Шиллер это мог сказать потому, что с высоты божественной на мир глядел,— мы этого не можем...

— Что теперь будет? — сказала мать моя, скрестивши руки.

— Уже послан к Константину курьер,— сказал Кремнев.

— Кто же теперь будет у нас государем? — спросил я.

— Константин Павлович...

Все притихли. В эту минуту донесся до нас отдаленный гул колокола. Быть может, в соборе, после всенощной, уже пели панихиду, и по всем церквам стали раздаваться медленные удары печального звона.

В эту ночь мать моя долго не спала и беседовала с Кремневым — о чем, господь их ведает.

Наступило смутное время, нечто вроде междуцарствия. Я пишу не историю: я описываю жизнь мою; но и на маленькой моей жизни отразилось это смутное время: оно разнесло тех, которые окружали колыбель мою; оно навсегда унесло родную мать мою.

Между присягой Константину и присягой Николаю волновалось целое море недоразумений, страхов и надежд, слез и радостных ожиданий, и волновалось оно не на одном верху — при дворе или в среде высшего общества,— нет, волнение это заметно с каждым днем спускалось все ниже и ниже [50]. Даже дворовые наши стали как бы не те люди и глядели как-то иначе. Аксюта, с таинственным и суровым видом, передала моей матери какие-то темные слухи о мрачном взгляде Константина на наше дворянство. Хоть мать моя и убеждала ее, что это вздор, Аксюта, как кажется, верила не матери моей. Таким образом, в народе уже носились тревожные слухи, способные волновать его. Недовольных своими господами среди крепостных было несомненно великое множество. Даже, судя по тусклому лицу и выражению глаз нашей горничной, можно было заключить, что и она недовольна моей матерью — женщиной, которая была иногда до слабости снисходительна к недостаткам и порокам своих крепостных подданных и даже охотно отпускала их на волю и без всякого выкупа, как она уже и сделала с дочерьми Логина. Можете же вообразить, какое недовольство, какая ненависть могли таиться в тех семействах, где крепостное право шло об руку с невежеством и произволом.

Слухи, сообщенные Аксютой, испугали мать мою. С негодованием стала она говорить о тех, которые распускают их.

— Чего они хотят? — говорила она гостям своим,— исчезновения с лица русской земли всего западного, всего европейского! Сермяжного царства, что ли, хотят они! [51]

И за этим были шумные споры; я не могу повторить их, потому что не понимал их; знаю только, что между гостями моей матери были в это время головы спокойные, тихие, лица

задумчивые и, наоборот,— горячие, беспокойные, с энергическими голосами и пламенными взглядами. Между первыми был и Кремнев. Но на этот раз, как кажется, его мало слушали.

Положительно помню, что никто из гостей в это время у нас не засиживался: они появлялись как бы налетом и пропадали. Случалось, что шумно начавшийся вечер оканчивался мертвой тишиной, и в этой тишине я видел мать мою, погруженную в такую глубокую задумчивость, в какой никогда прежде я не видал ее.

Дня за два до четырнадцатого числа, около трех часов пополудни, сидел у меня Глаголевский; мы беседовали: я спрашивал его об Аграфене, о книгах, какие он теперь читает, и скоро ли он воротит те книги, которые я когда-то давал ему без позволения моей матери. Глаголевский хотел принести мне какую-то модель корабля, которую обещали ему подарить за какое-то дело. Потом он рассказывал мне, какие были в народе предчувствия и какие были в природе явления, предзнаменовавшие кончину императора.

— Помните,— говорил он,— какой в этот день (то есть девятнадцатого ноября) был великий туман распространен по городу? Я вышел и подумал: что бы это такое значило? Мог ли я тогда думать, что в этот самый день, в Таганроге, монарх кончает свое земное поприще? В этот день я едва мог найти один нужный мне подъезд: в трех-четырех шагах трудно было видеть лицо человеческое. А что касается до попа, превращенного в козла, то это недостойно вероятия; это еще прошлого года нарочно выдумали, ради шутки... Этому вы не верьте! Я уже об этом справлялся и положительно теперь знаю, что в Святейший синод никогда никакого дела ни о каком попе-козле не поступало.

Так душеспасительно и мирно мы беседовали. Глаголевский, так же как и я, был далек от всякой современной политики — ничего не предчувствовал, кроме одобрения со стороны начальства, и был совершенно доволен; но явился новый гость и нарушил в нем это блаженное спокойствие.

Гость этот был Равинин. Войдя в классную, он спросил меня:

— А где твоя матушка?

— Ее дома нет.

— Визитов не делает, а никогда дома нет. А Кремнев дома?

— Не знаю.

Равинин был желтее обыкновенного; но от лица его так и веяло каким-то холодом и величием. Он сел, поправил

очки, согнулся и стал смотреть в окно; потом, когда надоело ему в окно смотреть, он устремил глаза свои на Глаголевского.

— Вы,— спросил он,— учитель?

— Да, я когда-то учил вот его,— отозвался Глаголевский, ткнувши в воздух указательный палец свой,— теперь больше службой занят.

— Гм! На пользу отечества... а где вы служите?

— Я начал довольно счастливо: с августа прошлого тысяча восемьсот двадцать четвертого года состою столоначальником в гражданской палате.

— В каком столе?

— В столе, где купчие крепости.

— Гм! это стол выгодный! — проскрипел Равинин.— Ну, и когда же вы теперь пойдете на службу?

— Завтра,— отвечал Глаголевский.

— Знаете, что я вам посоветую: придите завтра в палату да и плюньте на нее.

— Как?!.— Изумленный Глаголевский вылупил на него бледные глаза свои.

— Да уж я же вам говорю, так-таки придите и плюньте.

Изумление Глаголевского перешло в краску на лице и в легкий смех недоумения.

— Никак нельзя этого сделать,— сказал он,— ибо это бесчинно, за это выгонят.

— Да ведь и так всех вас выгонят: палата будет сдана в архив, председатель ваш так же будет в архив сдан. Я вам не шутя говорю — гражданской палаты не будет, и я советую вам разве для того только завтра туда отправиться, чтоб навсегда проститься с ней. Не шутя вам говорю.

— Да как же это?.. А дела-то? Гражданские дела да без гражданской палаты!.. чудно!

— Всем вашим палатам конец.

— Вышло такое распоряжение?

— Выйдет такое распоряжение.

— А Сенат?

— Может быть, и Сената не будет.

— А что же будет?!

— Ну, что будет — это вы сами не нынче завтра увидите.

Равинин проскрипел это таким самоуверенным тоном, что Глаголевский побледнел: он решительно струсил и за свое место, и за свое жалованье.

Серьезно или шутя говорил все это Равинин, не знаю. Мне было тогда все равно, будет ли гражданская палата или

не будет; тогда этот разговор мало интересовал меня, но впоследствии я вспомнил его. Что же касается до Глаголевского, он прямо от нас пошел к самому председателю, передал ему все, что слышал, и точно так же страшно напугал маститого и богобоязненного председателя.

И в это время таких тревог, я полагаю, было немало по всем углам нашей столицы, начиная с кабинета графа Милорадовича [52] и кончая последней харчевней, где не знали, за кого пить — за Константина или за Николая, и где, по этому поводу, как я слышал от Семена, случались драки.

Эти маленькие ссоры и драки скоро перешли в драку на Сенатской площади и стали историческим событием [53].

Я уверен, что мать моя не знала о том, что готовится 14 декабря на этой площади, хоть она и была знакома со многими членами разных тайных обществ.

Если б она знала, что в этот день готовится, она, конечно, не отпустила бы меня гулять с Логином (так как отец Алексей прислал сказать, что он на урок не будет, и так как мой немец ушел на свидание с каким-то приезжим пастором) или, по крайней мере, она сказала бы мне, чтоб я не ходил туда, где будет давка, свалка, пальба и т. п.

Отпуская меня, она преспокойно пила кофе и читала какую-то французскую книжку.

ГЛАВА XXXI

Какими судьбами очутился я, неразумный мальчик, на Сенатской площади 14 декабря 1825 года? Задавая себе подобный вопрос, я должен сильно напрягать свою память, чтобы ответить на него. Неужели наивное любопытство, которое с детства обусловливало мое развитие и не последнюю роль играло в том процессе, из которого вырабатывался мой характер,— неужели, говорю я, это любопытство было так сильно, что, несмотря на прирожденную мне робость, оно могло увлечь меня в толпу и лицом к лицу поставить с таким событием, перед которым, как на поле битвы, никто не мог бы считать себя вне опасности?

Зачем это бежит народ с запальчивыми лицами, горланя и размахивая руками,— бежит по Вознесенскому проспекту и Гороховой? Отчего это так много вытянутых, озадаченных физиономий, выражающих не то испуг, не то недоумение? Откуда так много вопросительных и восклицательных фигур с раскрытыми ртами, с шапками на затылке, фигур в распахнувшихся шубах, фигур в фризовых шинелях, фигур бритых

и небритых, стоящих на тротуарах около бакалейных лавочек, на ступеньках подъездов или под каким-нибудь фонарем, расспрашивающих друг друга, или сурово и подозрительно поглядывающих будочников? Я знал об этом настолько, насколько и провожатый мой Логин; а Логин мой знал настолько, насколько знали об этом в тех многочисленных семействах, которые в это самое время преспокойно возбуждали аппетит свой легонькой закуской и готовились к сытной трапезе, нисколько не подозревая, что в эту самую минуту, за несколько улиц, а именно на Сенатской площади совершается нечто вроде революции.

Пусть другие собирают исторические факты и излагают перед вами причины и последствия 14 декабря; я не историк моего отечества,— я только историк впечатлений, вынесенных мною, по милости этого дорогого мне отечества. Читатели мои увидят не более того, что я видел, и, быть может, поймут этот день никак не более, как понимал его тогда ваш юный слуга — Сережа Чалыгин, или как понимал его в то время каждый, более или менее развитый и образованный будочник.

Я думал, что будет большой парад с музыкой и пальбой со стороны Петропавловской крепости, будет новая присяга, и — спешил. Я только и слышал, что митрополит проехал, но когда пронесся слух, что Милорадович — граф Милорадович убит,— Логин почувствовал что-то такое не совсем удобное для нашей прогулки и ухватил меня за рукав, что было с его стороны равносильно настойчивому желанию убираться восвояси. Я, как послушная лошаденка, почуял вожжи и повернул назад, хотя вперед тянуло меня какое-то смутное желание увидеть какое-то зрелище. Зачем бы, думал я, бежит народ, коли там нет и не будет никакого зрелища! Я уже слышал издалека барабанный бой и какой-то гул (не то «ура!», не то бог знает что такое!). Но что делать! Логин все сильнее и сильнее тянул за вожжу, то есть за рукав моей шинели.

Но только что мы повернули назад, как натолкнулись на Костю и Сашу Порского. (Личность этого Саши сильно меня интересовала, потому что я слышал про него много смешного и оригинального, и, разумеется, обрадовался, что натолкнулся на друга моего приятеля Кости.) Они спешили на Сенатскую площадь; Саша говорил, что взлезет на фонарь и все увидит; Костя так же толковал, что картина, вероятно, будет живописная, но что он намерен подобру-поздорову перебраться через мост и поглядеть на эту картину издали.

— А ну, как нас с тобой подстрелят? — говорил он.

— Ну, брат, туда нам и дорога,— отвечал Саша Порской, порываясь вперед.

— Возьмите и меня с вами,— проговорил я.

— Пойдемте-с, ведь мы с вами бунтовать не будем, не правда ли-с?

— Я буду бунтовать,— проговорил Порской.

— Как же ты будешь бунтовать? — смеясь и скаля зубы, спросил его Костя.

— Пущу кому-нибудь в рожу кисет с табаком или калоши сниму с ног, начну бросаться...

— Ну, брат, это убыточно: табаку жаль, а калоши также стоят недешево.

— А вон,— не слушая его, продолжал Саша,— и сумасшедший идет. За ним, господа! У него такая грозная фигура, что перед ним все расступаются.

И, действительно, я увидал в толпе сумасшедшего Ильина: — он был в той же клеёнчатой фуражке, но уже не в плаще, а в теплой бекеше с потертым бобровым воротником. Он был бледен и шел твердой поступью, сложа на груди своей руки à la Napoléon. Глаза его казались сверкающими и повелительно грозными.

— Расступись! — кричал он. Все оглядывались и расступались.— С дороги! с дороги! пропустить!..— повторял он повелительным голосом и шел.

Глядя на него, иные ворчали, иные пятились, как от зачумленного. Мы пошли за ним. Логин умолял меня идти домой, грозил, ворчал, сердился, тянул за рукава, а я не слушался; послушная минута прошла; и вот, какими-то судьбами, пробиваясь сквозь толпу, очутились мы на площади, в проходе между шеренгами выстроившегося войска.

— Vive la charte! * — закричал сумасшедший, поднявши правую руку и обернувшись в ту сторону, где за толпой слышался топот кавалергардских лошадей и где мелькали султаны. Он остановился, а мы хотели пройти за фронт и потом пробраться к каменным кучам материала, заготовленного для постройки Исаакия [54].

— Стой! — гаркнул кто-то у меня под самым ухом,— и я увидел человека с грубым лицом, в партикулярном платье, но в военной шинели и в фуражке с желтым околышем. Быстро оглядев нас с ног до головы, он остановил мутные глаза свои на румяной физиономии сконфуженного Кости и сердито спросил его:

* Здесь: да здравствует закон, конституция! (*фр.*)

— Вы за кого?.. А?!. За кого вы, говорят вам!..

— За... за Константина,— запинаясь пробормотал Костя.

— Молодец! на тебе! — и он сунул ему в руку заряженный пистолет. Костя взял его — и не успели мы подумать и сообразить, что все это значит, как тот же человек закричал нам: — Проходите налево — там наши...

Но не успели мы пройти несколько шагов, как подбежал к нам другой офицерик, на вид развеселый-преразвеселый малый, и, увидев меня, стал просить Логина как можно скорей увести меня.

— И куда это ты, старина, завел его?

— Ба-а-атюшки! — умоляющим голосом стал было оправдываться Логин...

— Постойте, я сам провожу вас,— подхватил он с любезностью кавалера, услуживающего дамам.— Вы видите, видите, что у нас творится,— свои своих не узнают,— продолжал услужливый офицерик и показал налево.

Сквозь толпу мы увидели блеск колеблющихся штыков и какую-то крикливую суматоху. Часть народа, которая, как мне казалось издали, стояла точно на каких-то холмах, двинулась с возвышений и обнажила большие дровяные склады: в воздухе замелькали пущенные в солдат поленья,— с их стороны раздались ружейные выстрелы,— казалось, вот-вот начнется свалка... Недалеко от нас, со стороны Невы, в ту же сторону пробежала другая толпа — и в семи шагах от меня я увидел... лодочника Митрофана. Он бежал в полушубке нараспашку, махал веслом и, выпуча глаза, кричал:

— Констанция!

— Ишь дурачье! — сказал офицерик,— кричат, а и сами не знают, что кричат.

Проведя нас к начинающимся постройкам (теперешнего Синода или Сената, не помню), офицерик сказал мне:

— Ступайте по Галерной, а как придете домой, не забудьте поклониться от меня вашей матушке.

Костя и Саша Порской исчезли. Как они отбились и куда вдруг забежали, господь их ведает. Впрочем, мне и моему несчастному Логину было не до них. Рады-рады мы были, что очутились на Галерной.

— Шестой десяток живу — страстей таких не было! Нас и тут, чего доброго, задавят. Куда вы, барин! видите, какая толпа валит! — ворчал мой Логин.

— Зайдем к Глаголевскому,— сказал я, очутившись у того крыльца, которое вело в его обитель.

— Куда тут заходить — вишь, и лавки, и ворота все заперты.

Я толкнулся в дверь под навесом,— она, скрипя, отшатнулась и пропустила нас в темные сени. Тут по каменной лестнице, взобравшись на третий этаж, скоро очутились мы в большом коридоре и, наконец, в квартире Глаголевского. Его мы не застали дома, а застали одну сожительницу его Аграфену; она преспокойно стряпала обед и дожидалась своего Василия Васильевича. Отворяя дверь, она, судя по улыбке, обрадовалась моему появлению, но не бросилась на этот раз ни обнимать, ни целовать меня.

Мы рассказали ей со всеми подробностями наши приключения. Аграфена выслушала нас по-видимому без всякого участия к нашему положению. Маленькие глазки ее выразили даже какое-то недовольство, но что значило это недовольство — мы бы никогда не узнали, если б она сама не сказала нам:

— И не то еще будет! Вот погодите!

— Да что же это такое будет-то? — спросил ее Логин, сложа руки на животе и устремя на нее серые глазки свои из-под нависших стариковских бровей.

На его вопрос Аграфена не обратила ни малейшего внимания и продолжала:

— Вишь чего захотели! измены присяге! Эко дело! Да что же после этого будет, коли народ да православное воинство будет присяге изменять! Я бы их всех, изменников!..— И маленькие, опухшие глазки ее сверкали так, как только могут сверкать маленькие, опухшие глазки.

— Да что ты... сваха! — возразил Логин, тряхнувши головой,— что ты мелешь-то! Ведь Константин Павлович сам отказался, али не слыхала?

— Да я и слышать-то этого не хочу. Отказался! как не так! Пусть бы сам приехал да и сказал бы народу — так и так, дескать, отказываюсь от венца прародительского... Отказался! станет он от царства отказываться!.. Вот погоди, как он сам-то нагрянет...

— Да ведь он бумагу прислал,— возразил Логин,— отречение.

— Кто бумагу прислал? А ты видел, што ли, эту бумагу-то? а?

— Да и в газетах было напечатано, в ведомостях...

— В газетах! А кто в газетах-то пишет да печатает — не знаешь? Ну, не знаешь, так и молчи!

— Ну, ты вот много знаешь. Эка — сваха! расхрабрилась больно, умнее печатного хочешь быть... Чай, от Сената манифест был... То-то!

— То-то! — повторила Аграфена.

Таков был политический спор между Аграфеной и Логином. Я был на стороне Логина, потому что действительно слышал про отречение; что касается Аграфены, то, вероятно, слова ее выражали главную суть этого дня, этого, так сказать, громко выраженного народного недоразумения. Народ же был, как и теперь, темен и безграмотен; печатные правительственные указы если и доходили до ушей его, то, во-первых, доходили до ушей его через уста приказных, то есть через такие уста, к которым он не питал ни малейшего доверия; во-вторых, верил слухам; в-третьих, многое понимал и толковал по-своему. Логин мой не любил уступать; уступить бабе было позорно с его точки зрения, а потому он и спорил с Аграфеной до тех пор, пока та не принесла ему графин с настойкой и не поставила на стол тарелки с горячими пирожками, с такими великолепно-вкусными пирожками, что я оказался неравнодушен к ним и принялся за них с большим аппетитом, к немалому удовольствию моей гостеприимной няни.

Наступили сумерки... Аграфена ушла в кухню. Логин стал спиной к печке, принял свою лакейскую позу и о чем-то крепко задумался. Я стал глядеть в окно, но сквозь двойные рамы, кроме стены Зимнего дворца, углом выходящего на площадь, ничего разглядеть не мог. Вдруг угол этот озарился алым блеском и через две-три секунды грянул пушечный выстрел. Стекла в окнах звякнули; Логин перекрестился; Аграфена вышла из кухни, но также спокойно и равнодушно стала накрывать на стол. Не прошло пяти минут, как грянули новые выстрелы — это уже были целые залпы. Рамы в окнах дрогнули, между ними посыпались осколки лопнувших стекол. Логин побледнел, у меня замерло сердце, Аграфена — и та приостановилась, но, судя по ее лицу, не заметно было, чтобы струсила. Не успели мы очнуться от грома этих выстрелов, как в комнату, не снимая шинели, ввалился Глаголевский; без шляпы, бледный и тяжело дышащий, он был похож на человека, только что выскользнувшего из-под ножа или убежавшего от виселицы. Аграфена поглядела на него с насмешкой.

— Что ты, мой батюшка! — сказала она,— али ополоумел? Ведь не в тебя же там целили, есть и почище тебя!

— Да, не в меня! Кабы не юркнул в ворота, прохватило бы и меня; так-то картечью жарят, что спаси господи!

— Что с вами случилось? — спросил я.

— Да чуть не убили... Пойду завтра молебен отслужу... право! Изволите видеть — не успей я добежать до подъезда — трах!.. повалили бы и меня... Пули так и визжат, так и визжат. Вот уж до чего мы дожили! Владыко всемилостивейший!..

И Глаголевский к потолку возвел оловянные глаза свои.

— Да кабы и в тебя попало, так бы не велико горе-то, сокровище ты эдакое,— отозвалась Аграфена, снимая шинель с своего сожителя.— А где же шляпа-то? а?

— Шляпа! А я хотел было в одну калитку сунуться, она у меня и слетела; пока повернулся — калитку-то кто-то успел сзади запереть, а шляпа-то полетела... знаете... покатилась — да так ее и растоптали... народ бежит как оглашенный... До шляпы ли тут, помилуйте! До своей квартиры оставалось три шага, кой-как добежал, спас господь... А вы-то как... а? как вы-то сюда попали?

Мы рассказали ему, как мы попали.

— Экой день, экой день! Согрешили перед господом... Ну, впрочем, слава богу! Завтра весь Петербург, вся святая Русь будет молебны петь, крамольники дрогнули и побежали...

— Кто побежал? — спросила Аграфена.

— А вот все те, кто не хотел Николаю Павловичу присягать,— вот кто...

Не привожу того разговора, который вслед за этим последовал между моей бывшей нянькой и ее возлюбленным. Кончилось тем, что она выругала его приказной строкой, а он ее глупой бабой. Наконец приказная строка приказала глупой бабе принести себе настойки и готовить обед. Глупая баба повиновалась — и принесла ему вдобавок тарелку с пирожками. Приказная строка съела их при нас около десятка с большим аппетитом. Поедая их, он стал двигать бровями и указательным пальцем, молча приглашая и нас последовать его примеру; но мы сказали, что мы уже успели позавтракать. Опустошив тарелку, он утерся и, потрепав Аграфену по плечу, сказал ей:

— Сама ты, баба, не знаешь, чего хочешь, а я знаю, чего я хочу. Впрочем, за пироги спасибо.

Видно оба — и приказная строка, и глупая баба — были люди с характером.

ГЛАВА XXXII

Незаметно подошел ранний декабрьский вечер. Темь уже глядела в окна, когда мы сели обедать.

— Логин! садись с нами,— сказал я, хотя, должен сознаться, во всякое другое время мне было бы так же неловко или дико с ним сидеть за одним столом, как иному франту было бы неловко в гостях сидеть без галстука или без перчаток.

Логин был последовательнее: он меня не послушался и ушел обедать в кухню. Смешно подумать, что Логин скорей бы дал бы мне затрещину или выругал бы меня, чем сел бы со мной за один стол чай пить или обедать. Изменить такие отношения может только одинаковость воспитания между господами и их прислугой; но будет ли это когда-нибудь, и возможно ли это, и нужно ли? — не ведаю.

Аграфена или была сыта, или была не в духе, только я не помню, чтобы она с нами обедала; кажется, выпила только стакан пива, посидела с нами и вышла.

Глаголевский также был не в духе и все время расспрашивал меня о Равинине. Он, по-видимому, никак не мог простить ему того страха, который тот ему задал, уверив его, что гражданская палата провалится. Для Глаголевского это значило потерять в сей жизни последний жизненный оплот. Он, как видно, сделавшись столоначальником, считал себя уже пребывающим посреди надежной и от всяких бурь защищенной пристани. Он уже завел все нужные для службы связи и, вероятно, многих чиновных особ уже успел обаять точно так же, как когда-то обаял наших дворовых своими душеспасительными рассказами. В самой наружности его было уже не то, что было прежде,— он отпускал бакенбарды, и подбородок его начинал лосниться, так хорошо и так гладко был он выбрит.

Сильно он жалел о своей погибшей шляпе: рассказывал, где он ее купил, по чьему совету и сколько заплатил за нее в магазине; это была первая шляпа, которую надел он с тех пор, как вышел из семинарии. Бедственное было это число для него — 14 декабря!

— Никогда я этого распроклятого дня не забуду! — говорил Глаголевский.

После обеда мне сильно захотелось идти домой — и совсем не потому, чтоб мне вообразилось, до какой степени неизвестность и мое отсутствие должны пугать или беспокоить мать мою,— нет, мне хотелось только как можно скорей рассказать ей о моих *необыкновенных* похождениях на

Сенатской площади. Был еще седьмой час вечера, а мне уже казалось, что поздно, очень поздно. Собравшись домой, мы и не подозревали, что нам пробраться до своего обиталища будет так же трудно, как было бы трудно перебраться в неприятельский лагерь из осажденного города.

Глаголевский зажег фонарь, надел старую свою с ушами шапку и проводил нас до подъезда. Увы! подъезд был заперт — это было первое препятствие. Мы стали стучать в дверь в надежде, что дворник на тротуаре услышит нас и выпустит на улицу; но не тут-то было — мы только испугали нижних жильцов. Справа, из дверей нижнего этажа, высунулась голова в черном колпаке и уставила на нас страшно испуганные, ястребиные глаза свои.

— Ишь, черти! что вы тут стучите, только пугаете, окаянные! — проворчала эта голова, седая и морщинистая, и, вдобавок, рельефно освещенная снизу фонарем Глаголевского. Оглядевши нас, она опять спряталась, захлопнула дверь и заперла ее.

Глаголевский пошел за дворником. Дворник сказал ему, что отпирать подъезды запретила полиция и что, если мы хотим, то он, так и быть, пропустит нас в ворота через калитку. Нечего было делать, надо было опять подняться до самого верху (причем мой несчастный дядька сильно запыхался), надо было пройти весь верхний коридор и спуститься по другой, узкой и вонючей лестнице.

Помню, как вдруг мне стало жутко, когда очутились мы на тротуаре и услыхали за собой скрип железной задвижки и стук замка за воротами. Улица была темна, глуха и безлюдна; только мостовая, покрытая выпавшим к ночи снегом, едва-едва белелась. Со стороны Сенатской площади слышался стук подков, и вдали «слу-у-у-ша-а-ай!» раздавалось протяжно со всех сторон и замирало в холодном воздухе. Пройдя направо дома три или четыре, мне показалось, что посредине улицы стоят две высокие фуры и что на одну из них какие-то темные фигуры поднимают и кладут что-то темное. «Эка темь!» — подумал я, стараясь вглядываться, и чуть не упал, потому что в эту минуту был схвачен за ворот каким-то полицейским.

— Кто вы такие? Куда ты? а? — спросил он.

Я так испугался, что и отвечать не мог. Логин умоляющим голосом стал объяснять ему, что я сынок ее превосходительства, что мы были в гостях и домой идем; при этом он ему кланялся и называл «батюшка вы мой».

Видно, слово «батюшка» понравилось или смягчило душу полицейского: он выругал Логина крепким словом, но таким

тоном выругал, что нам сейчас же стало ясно, что он над нами сжалился и отпустит нам душу на покаяние. По его совету мы стали под какие-то запертые ворота и притаились.

Пока мы стояли таким образом, прижавшись в темные углы и не смея дохнуть, таинственные фуры тронулись, и, сквозь медленный грохот колес их, мне послышался стон. Вслед за удаляющимися фурами подоспел и двинулся целый отряд конницы. Несмотря на темноту, зоркие молодые глаза мои видели, как отсвечивалась сбруя, как белели перевязи и как, на шагу, лошади мотали головами, как будто кланялись. Одна из них фыркнула от меня в двух или трех шагах... Наконец они проехали...

— Теперь ступайте,— сказал нам полицейский,— да коли не попадетесь, скажите там у себя дома, что, коли время будет, я наведаюсь, зайду к вам.

— Угостим, ей-богу, угостим! — отвечал Логин,— и барыня будет благодарна.

— Ну, то-то же... да тише идите! — советовал полицейский.

И мы пошли так тихо, так тихо, как только воры ходят, собираясь обойти сторожей и подобраться к сонным. Я даже дрожал слегка, точно преступник. Свернув в переулок налево, мы благополучно дошли до площадки перед Поцелуевым мостом, но тут перед нами открылось невиданное в столице зрелище: горящие костры на мостовой, ружья в сошках, группа оседланных и дымящихся лошадей, кучки солдат и офицеров — одним словом, целый бивак. Рассудок убедил нас, что идти назад бесполезно, что и у других мостов через канал могли быть точно такие же пикеты; прятаться же еще хуже — это значит навлекать на себя незаслуженное подозрение. Хотя у меня и замирало сердце, хоть мы и струсили, но решились идти спокойно, прямо на мост. Караульный окликнул нас и остановил, какой-то офицер подошел к нам, выслушал нас, вызвал кого-то из кучки солдат, и этот «кто-то» побежал к командиру доложить о нашем желании пройти домой. Позванные к командиру, мы прошли мимо одного бивачного огня, возле которого, как мне показалось, солдатики пили сбитень. Ближе всех к огню стоял какой-то господин с красным шарфом на шее, с подвязанной рукой, стало быть, раненый, и был погружен в глубокую задумчивость. Командир (полковник или генерал — господь его ведает!) сидел на скамье около будки и, завернувшись в шинель, казался неподвижным; уличный фонарь освещал полумонгольские черты лица его, выдававшиеся скулы и большие, длинные глаза, которые глядели как будто сквозь

дремоту — что, разумеется, не мешало им отлично все видеть; на одной щеке его было черное пятно — вероятно, пластырь.

Я молчал,— Логин за меня отбояривался. Он стоял без шапки, кланялся, чуть не плакал.

— Окажите божескую милость, ваше превосходительство! — говорил он,— в первый и последний раз запаздываем, ваше превосходительство...

— Ну, как я вас пропущу? — говорил командир,— может быть, ты переодетый бунтовщик, кто тебя знает! Эй, Григорьев! Позвать сюда Григорьева!.. Проводи вот этого мальчугана и этого старого дурака до их дома, ну, и сдай их там с рук на руки...

Я уверен, что серебряная серьга в одном из ушей моего Логина была замечена и красноречиво доказала его невинность... Таким образом, божеская милость была нам оказана, и мы, в сопровождении солдата Григорьева, преблагополучно дошли до нашей квартиры, хотели выслать Григорьеву на водку, но он махнул рукой и сказал: «Какая теперь водка?» — потом, заметивши дом наш, исчез во мраке.

С криком радости бросилась обнимать меня вся бледная, вся трепещущая мать моя. Она плакала. В первый раз я видел ее плачущею и понял, сколько в этот день должна была перечувствовать и перестрадать эта женщина.

Я был в этот вечер похож на человека, только что освободившегося из плена или воротившегося из дальнего путешествия; я, с моими детскими рассказами, быть может, преувеличенными по милости разгулявшегося воображения, между домашними стал предметом любопытства. Когда я пил чай в столовой, в дверях со всех сторон выглядывали на меня головы наших дворовых, на меня глазели, как на невиданное зрелище, наблюдали, как я пью чай, и делали разные на мой счет замечания: Феня думала, что я прозяб; судомойка воображала, что я испугался; Лукерья сомневалась, обедал ли я. Муж ее Логин больше ничего не делал, как всю вину сваливал на меня.

— Звал я его домой, тащил-тащил, ничего с ним не поделаешь! — говорил он, продолжая хмуриться и трясти головой.— Затесались, куда не следует, ну и... слава тебе, господи, что еще не зашибли да не задавили! А и зашибли бы — я бы виноват не был... Я знал, что не след нам в эту сторону гулять идти...

Логина позвала старуха жена его, и я видел, как за дверью Аксюта поднесла ему рюмочку водки...

Я спросил, где Фрейман, но он еще не воротился. Видно,

немецкий пастор, не доверяя ночной тишине и спокойствию, не отпустил его.

На другой день утром я застал Александра Сидоровича Кремнева в кабинете моей матери. Лицо его было так же ясно, как и всегда, только слегка как будто осунулось — как будто он не спал две или три ночи сряду; он держал мать мою за руку, щупал пульс.

— Ничего, я еще пока здорова,— говорила ему мать моя, полулежа на диване в белом утреннем капоте. Она была желта и бледна, черные волосы ее в беспорядке выбивались из-под ночного чепца и падали на подушку вокруг головы и шеи.

— Нет, я все-таки думаю сходить за вашим доктором.

— Это у меня не в первый раз... болит бок и небольшое лихорадочное состояние.

— Вы, моя милая, очень беспокоитесь.

— А вы уж очень меня хотите утешить. Нет, Александр Сидорович, я женщина, я знаю лучше вас, что ожидает друзей моих.

— Разумеется, их ожидают большие неприятности; но... на то есть гражданское мужество... Вот вы больны... я уж вижу, что больны.

— Да, я простудилась...

— А зачем вы вчера выбегали на улицу?

— Да я не на улице, а в лавке простудилась. Купец Бакалейкин,— тот самый, который прошлого года спасался у меня от потопа, даже обедал, кажется,— узнал меня, зазвал к себе в лавочку и все приставал, все меня расспрашивал: чего нам ждать? кто будет нашим царем? и проч. и проч. Ну, потом предложил мне напиться чаю. Я не хотела его обидеть и согласилась,— чай же у него такой прекрасный, отборного сорта чай. Тут вдруг раздались эти пушечные выстрелы... приказчик затворил лавку и зажег лампаду у образа; побежал народ; я вышла на тротуар... впрочем, я была в салопе, трудно было простудиться — мне было совсем не холодно, даже жарко было... право... Сама не понимаю, как я могла простудиться.

— Да вот еще этот мальчик наделал вам хлопот.

— Да, я думала, что я его уж и не увижу. Бог знает, что приходило мне в голову... Посылала за вами — вас с утра дома нет. Вы, верно... ну, пожалуйста, говорите правду: вы, верно, были *там*.

И она в сторону протянула руку, бледную и прозрачную; черные глаза ее остановились на лице Кремнева, как бы читая в спокойных глазах его все беспокойно-тревожное, то,

что шевелилось на дне души этого человека, по-видимому, откровенного и простодушного.

— Ну, да чем же вас, моя матушка, удостоверить? Проснулся я, по обыкновению, рано, облился холодною водою со льдом, задал урок моему мальчишке — и вышел на улицу. Тут я вспомнил про одного больного — живет он у Таврического дворца — ну, и пошел к нему напиться чаю да поболтать с ним; он же великий мастер погоду угадывать: вот, думаю, узнаю, какая будет погода. Надо вам сказать, что это не человек, а, так сказать, ходячий барометр: если ноги, говорит, похолодели — будет туман, коли поясница ломит — снег или дождь пойдет; коли голова, говорит, начала с левого виска болеть — жди, говорит, северного ветра,— и знаете, человек при этом хороший — много страдал и совершенно невинно выключен был из службы... Ну, вот я тихим шагом, не спеша, к нему и отправился. Просидел у него до полудня, а может быть, и до часу. На обратном пути, на Литейной, встречаю,— едет в коляске княгиня Малыгина,— поклонился. Княгиня остановила экипаж, замахала рукой: поедемте, говорит, ко мне кофе пить. Я, разумеется, отказывался; хотелось побывать у вас, моя милая,— но... княгиня одна из тех женщин, которые не любят, чтобы им отказывали,— приказала одному из своих гайдуков соскочить с запяток и подсадить меня; меня подсадили, и я сел — сел и поехал. Ну, разве я поехал бы, если бы знал, что делается в городе? Не понимаю, как могло это тайное общество вообразить, что оно достигнет своей цели... Гм, да! Судя по всему, его намерения были известны двадцати или тридцати особам из целого города. Такое количество людей ясно и открыто действовать не может. Но на что они надеялись? Разве перевороты делаются экспромтом? Нет! Я очень теперь доволен, моя голубушка, что, так сказать, официально не был внесен ни в один список их общества и что последнее время не был приглашен ими ни на одно из их совещаний. И уверен, что многое заветное исполнится, до многого радостного и утешительного еще доживем мы с вами — и до освобождения крестьян, и до иного устройства наших судов, и до большей свободы печати... до всего еще доживем, ибо время идет, то есть не время, а Европа идет — мы не отстанем... тяжело было бы бороться с ней, если б отстали. Правду сказал Елисей Федорович, что без Петра Великого и Екатерины Второй Наполеон в двенадцатом году не бежал бы из России, ибо не стрельцам же нашим бороться было с таким войском и с такими генералами. Не было слишком большого застоя, оттого мы с ними и сладили, а будь

застой — ну, и сгнили бы... Известно, стоячая вода портится.

Так или почти так говорил Кремнев, и я думаю, что вся эта речь была сказана в утешение моей матери. Она, вероятно, сильно побаивалась, что его возьмут и она останется совершенно одна, без всякого дружеского участия, без всякой нравственной поддержки, в которой нуждаются иногда женщины, даже самые сильные по характеру.

Если бы вчерашними приключениями нервы мои не были потрясены, слова Кремнева, вероятно, не произвели бы на меня ни малейшего впечатления, они прошли бы мимо ушей моих так же, как много проходило их, нисколько, ни на одну минуту не заставляя меня задуматься. События подстраивают нас на восприятие тех или других идей, и выражение «освобождение крестьян» впервые задело меня за живое. Освобождение! Какое освобождение? Разве они в тюрьме, в цепях, в плену? разве они невольники? Что это значит?.. Я никогда не был в деревнях, но мужиков наших видел — видел, как они приезжали к нам и привозили оброк, холсты, сушеные грибы, каленые орехи, иногда даже какого-то особенного вкуса пряники. Мужиков видел я на рынках, на базарах, и все они казались мне свободными; о каком же это освобождении говорит Кремнев? О наших судах я также не имел ни малейшего понятия и — о, блаженное неведение! — под словом «цензура» разумел что-то такое, касающееся только до картинок, изображающих неприличные сцены, или до стихов вроде Баркова [55]. То, что стыдно вслух читать или на что стыдно смотреть, то и не пропускает цензура, думал я; а что такое свобода печати? Неужели она тоже несвободна? Все это сильно заняло мою голову, так же сильно, как когда-то слово «любовник».

Мне хотелось кой о чем допросить Кремнева, хотелось, чтобы он рассеял во мне кой-какие сомнения; но мне было стыдно его расспрашивать... и я со дня на день отлагал мое намерение. Наконец я решился однажды подойти и спросить его:

— Александр Сидорович, неужели наши крестьяне не свободны?

— Да, не свободны, оттого что они рабы...

— Рабы! как рабы?

Кремнев объяснил.

— И Логин раб? — спросил я не без удивления.

— И Логин.

Помню, что, когда после этого небольшого разговора я увидел вошедшего Логина, я поглядел на этого приземи-

стого старика и отца семейства так, как будто на лбу его хотел прочесть что-нибудь особенное. Раб! Я могу его продать, проиграть в карты, как говорил Кремнев,— и от этой мысли что-то горячее прихлынуло к щекам моим. До сей поры никогда ничего подобного не приходило мне в голову. Оттого ли, что в нашем доме с этими рабами обращались более или менее по-человечески, или просто оттого, что самое близкое к нам, самое очевидное до такой степени приучает к известному порядку вещей, что всего менее останавливает наше внимание, и если и возбуждает вопросы, то далеко не так, как предметы далекие, являющиеся нашему воображению, а потому и кажущиеся нам особенно любопытными. Не странно ли, что я знал уже о том, что римляне военнопленных обращали в рабов и что не было патриция, который не окружал бы себя рабами; что это были невольники — люди самые жалкие и презренные; все это я уже знал — и не знал, что у меня дома, под носом, такие же рабы и рабыни!..

И пониманию таких простых и ясных вещей не научили меня ни отец Алексей, ни Десарт, ни Глаголевский, ни учитель математики, никто! Кремнев первый дал мне понять всю силу и безнравственность будущих прав моих над людьми.

И, быть может, на многое бы указал мне Кремнев, многое бы при его помощи разъяснилось в голове моей, если б не обстоятельства. Увы! я и не подозревал, что всех нас ожидает. Приступаю к описанию событий, изменивших течение моей жизни и ставших источником многих, многих страданий, как мне кажется, мною не заслуженных, а потому и ожесточивших мое бедное, с детства нежное и страстное сердце.

ГЛАВА XXXIII

За неделю до рождества мать моя слегла в постель. Кремнев не послушался ее и послал за ее доктором. Иван Павлович явился. Это был ничем не знаменитый, но тем не менее, как говорят, врач, счастливый на руку. Родом он был из Малороссии, что и было слышно по особенной интонации его голоса. Ездил он в одиннадцатом году за границу, посланный министерством изучать устройство военных госпиталей. На дороге в каком-то дилижансе познакомился он с покойным отцом моим и в 1816 году, при письме от него, явился в Петербург к моей матери. Мать моя дала ему взаймы 2000 рублей ассигнациями (на переезд в столицу из

Полтавы семьи его), и с тех пор Иван Павлович счел своею обязанностию навещать нас, как друг дома, и часто без всякого приглашения являлся к нам в дом узнавать, нет ли больных или заболевающих. Человек он был довольно хитрый, но не своекорыстный, долга своего не платил, но от платы за визиты отказывался. Ему уже был шестой десяток, и я живо помню его фигуру и его физиономию: приземистый, большеголовый, с большими оттопыренными ушами; он приходил к нам постоянно в светло-синем сюртуке с бронзовыми пуговицами, в белом галстуке и с большой черепаховой табакеркой, отделанной в золото; садился, подогнув коротенькие ножки, и серыми, очень суровыми глазами, из-под широких, наполовину как бы вытертых и приподнятых бровей, глядел на всех с необыкновенным благодушием — точно папенька, окруженный своими детьми и внуками. Он и действительно был папенька бесчисленного множества дочерей всех возрастов; любимый разговор его был о детях,— и мать моя постоянно знала все, что делается у него в семействе: какой ребенок захворал, кто из них расквасил себе нос, как вела себя Дуничка при ее поступлении в пансион и какой бисерный кошелек связала ему Зизинька,— все это он рассказывал с большими подробностями, точно дети его всем нам были так же близки и дороги, как и его родительскому сердцу. Плешь Ивана Павловича, круглая, как тарелка, со всех сторон в виде венца окружена была узенькими прядями волос, и он эти волосы зачесывал с затылка на лоб, с правого виска налево, а с левого виска направо, и все эти узенькие и реденькие волоски, точно он их приклеивал к своей плеши, лежали на ней очень гладко и никогда не ерошились.

Больные, особливо чадолюбивые маменьки, как я слышал, питали к нему великое доверие: он писал предлинные-длинные рецепты и был великий охотник сам пробовать на язык все, что он ни прописывал; бывало, увидит склянку с лекарством, откнет ее, потрясет, взболтает, понюхает — и на язык!.. Мать моя почему-то звала его *безвредным* доктором (признаюсь, не помню, как была его фамилия; помню только, что оканчивалась она на *ко*).

Когда Иван Павлович ...*ко* подошел к постели моей матери, он стал пресурово глядеть на нее и в то же время двумя ладонями приглаживать свою голову. Потом взял ее за пульс, сжал губы и поглядел еще суровее; потом сел на табурет, поджал ножки и превратился в папеньку.

— Ну, что ты, сосунок! — обратился он ко мне,— что ты

теперь, на каком глаголе остановился?.. Ишь как вытянулся! В гвардию бы его... в гвардию, сударыня.

— А как вы находите больную? — спросил Кремнев.

— Больная нехорошо ведет себя... Я на больную сердит, очень сердит. Приходят святки, хотел пригласить к себе,— у меня старшая дочь невеста, за аптекаря замуж выходит,— а она в постели, нехорошо! очень сердит; третья дочь моя Зизинька выучилась марш играть на фортепьянах — и так хорошо выучилась, что я бы не поверил... Пышка еще эдакая, и так играет!..

— Ну, вылечите меня к праздникам, безвредный доктор!

— Ну, сударыня, показывайте язык; пульс у вас лихорадочный, но... это пройдет; погляжу, каков язык.

Мать моя высунула язык. Безвредный доктор сжал свои губы, замолчал и, казалось, ожидал вдохновения. Кремнев смотрел на него с беспокойством.

— Все это пройдет...— вдохновился доктор,— и вы непременно, сударыня, споете что-нибудь у меня на праздниках. У моей Люлиньки тоже начинает уж голосишко показываться, и такой хорошенький голосишко! Я намедни горлышко ей пощупал — должна хорошо петь. Ну, а я вам микстуру закачу.

И безвредный доктор подошел к столу, чтоб начать писать рецепт свой.

— Да у меня болит бок,— сказала мать моя.

— Правый или левый?

— Правый.

— Ну, на бок горчишник; велите позвать горничную и налепите. Да возьмите горчицу хорошую, а микстурку сейчас я вам пропишу. Это простуда...— И безвредный доктор подошел к окнам, освидетельствовал своими ладонями — не дует ли, поправил гардины, подтянул полог над изголовьем постели, так что закрыл им голову моей матери, и настрого приказал, чтобы не было сквозного ветра.

— Откуда тут быть сквозному ветру? — с неудовольствием сказала мать моя.

Но прежде чем кончить рецепт свой, безвредный доктор подошел ко мне, обеими своими лапами схватил меня за щеки и помял их с видимым удовольствием, опять назвал меня сосунком, уверил всех, что я расту не по дням, а по часам, и непременно вырасту с каланчу или с колокольню.

— Ты смотри, брат,— заключил он,— не беспокой своей матушки, дверями не хлопай, а коли захочешь войти ручку

поцеловать у ней, входи осторожненько, тихохонько, ибо матушке твоей нужно теперь большое спокойствие.

— Доктор,— произнесла мать моя из-за полога,— не слыхали ли вы чего-нибудь? Кто еще схвачен? Вообще, что делается на свете?

Лицо доктора изобразило ужас и недоумение.

— Мы еще с вами не схвачены,— сказал он, таращa глаза,— ну и поблагодарите за это господа бога... И что это вздумалось вам спрашивать! Я на все подобные расспросы гляжу, как на некоторое умопомешательство, хотя и в слабой степени, но все-таки умопомешательство... И к чему это ведет? Бог даст день, бог даст и пищу; сыты, одеты, обуты — ну, и да будет святая воля его! Влас же с главы не пропадет без воли его...

— Ну, безвредный доктор, дописывайте скорей рецепт.

— Я мой рецепт допишу, но... что значит рецепт, если вам будут в голову приходить мысли такие необычные? Я, сударыня моя, не на один рецепт, а и на господа бога уповаю. Я вам скажу,— продолжал он, уже обратя изумленные глаза свои к Кремневу и поднявши брови на целый вершок от них,— я вам скажу... такое время, что на помешанных в больницах места нет.

И безвредный доктор стал дописывать длинный, всевозможными крючками, палочками и точками, точно иероглифами, украшенный рецепт свой.

— А не знаете вы сумасшедшего Ильина? — спросила его мать моя, невидимая за пологом.

— Не говорите много...— отвечал доктор,— я предписываю вам совершенное спокойствие.

— То есть смерть! — еще громче произнесла мать моя.

По лицу Кремнева пробежала тень, а я почувствовал что-то неприятное, точно тонкая-тонкая игла в эту минуту прошла по мне; я как бы с испугом поглядел на постель моей матери. Не назову это предчувствием,— нет, вероятно, слово «смерть», как самое неожиданное в эту минуту, поразило нас.

— Что за жизнь, коли нет спокойствия,— начал было доктор,— но... вот вам микстура,— а что касается до этого Ильина, то я удивляюсь, откуда вы его знаете... я только что от него приехал. Он, сударыня вы моя, ранен, но ранен очень деликатно: одна картечка задела его по руке, другая — слегка поконтузила ногу... Сумасшедшему простительно лезть куда не следует. Как это только умные-то люди туда полезли — не постигаю! Это для меня, судари вы мои, удивительно! Это, я вам скажу, так удивительно, что даже

непостижимо! Кто же этого не знает, что такое пушка? разве она рассуждает? Паф-паф! — и конец, и черни этой как не бывало,— кто этого не знает? Ильин этот непременно бы, не к ночи будь сказано, попал в крепость, кабы не нашлись люди, а в том числе и обер-полицеймейстер, достоверно убедившие правительство, что он помешанный.

— А где он живет? — спросил Кремнев безвредного доктора.

— Спасибо,— проговорила мать моя,— я сама только что хотела спросить... Les beaux esprits se rencontrent *.

Доктор сказал Кремневу адрес Ильина. Александр Сидорович пошел к окну и вынул записную книжку. Пока он записывал, доктор опять подошел к моей матери и сказал ей:

— Об одном позволю вам думать — о благополучном посещении семьи моей. Все мы, сударыня моя, будем вам рады. О болезни вашей не думайте: я вооружусь и победоносно прогоню ее. Спокойного вам дня и спокойной ночи; завтра заеду... Затем он уехал, к немалому удовольствию моей матери. Она его охотно выносила, потому что привыкла к нему, но, как мне кажется, вовсе не питала к нему ни особенной привязанности, ни особенного доверия.

Судя по лицу и поведению безвредного доктора, мать моя была вне всякой опасности. Прошло еще несколько дней, а ей если и не было хуже, то по крайней мере и лучше не было. Кремнев навещал ее ежедневно и утром, и вечером, читал ей, подавал лекарство, и когда она капризничала (мать моя, когда была больна, была капризна) — унимал ее полушутливым, полусерьезным голосом. Вообще, болезнь матери моей никого не пугала; я гулял, катался и даже делал визиты — у меня же много было праздного времени, и я, ради рассеяния, стал пользоваться всяким случаем, чтоб куда-нибудь уйти или уехать с Александром Сидоровичем. Он почему-то баловал меня, а кого же мы и любим в эти года, как не тех, кто более или менее балует нас.

Фрейман был рад оставаться дома; декабрьские события совершенно поглотили его ум; на Россию стал смотреть он совсем иными глазами, с каким-то страхом и трепетом, и беспрестанно писал письма в Германию. Сколько, быть может, немецких, газетных столбцов в этот год наполнялось за границей сведениями о России, заимствованными из-под пера моего достопочтенного гувернера и наставника! Он был убежден, что без поэта Шиллера и без многого множества разных либеральных немецких писателей и вдохновителей

* Великие умы всегда найдут общий язык (*фр.*).

того времени — в России не было бы 14 декабря, а потому, как немец, считал дело это чуть ли не выражением германского духа, еще дремлющего, как говорил он, и только наполовину пробужденного Наполеоном Бонапарте. Можете себе вообразить, как расписывал он это событие, будучи швабским патриотом, идеалистом и романтиком! Он и на Кремнева стал смотреть как на человека отсталого и ретроградного, когда услыхал от него сожаление о даром погибших и потраченных силах, и когда Кремнев сказал ему: «Я вовсе этому не радуюсь, четырнадцатого декабря может надолго остановить развитие России».— «О! может ли это быть,— отвечал мой немец.— О! вы дальше нас пойдете, я даже начинаю бояться за бедную Пруссию: какую жалкую роль она играть будет, если у вас свобода будет, а у нас не будет...» Так мечтал мой наивный Фрейман, и так он трусил, чтоб Россия, в гражданской жизни своей, посредством реформ, не опередила дорогой ему Германии.

За Алешей приходил Костя; давая мне последний перед праздниками урок, он рассказывал, как Порской ругает его за то, что он пистолет, так неожиданно полученный им на площади, не ему отдал, а потихоньку бросил. «Помилуйте-с,— говорил Костя,— как я мог ему отдать пистолет? Он бы непременно выстрелил, потому что это беспардонная башка-с — ему все равно!..» Потом рассказывал, как возмутившиеся солдаты, перебравшись через лед по Неве, хотели из Академии художеств сделать для себя нечто вроде крепости, но не могли, потому что академическое начальство со всех сторон заперло ворота и не пустило их; рассказывал, как с моста палили пушки и ядрами пробивали лед, чтобы не допустить мятежников по льду перебраться на Васильевский остров, и проч. и проч. Не знаю, насколько были справедливы слова его: в это время слухов и рассказов было такое множество, что если бы все они были записаны, то, конечно, две четверти из них оказались бы совершенно ложными и одна четверть — до такой степени отличалась бы неправдоподобием, что сразу изобличила бы расстроенное воображение рассказчиков; но толпа была особенно расположена к тому, чтоб верить именно самому неправдоподобному.

Куда пригласили Алешу на все праздники и почему Костя нашел нужным его увести от нас — не помню; мы расстались без особенного горя, только я стал скучать в его отсутствие. В спальню к матери я беспрестанно не смел входить, не зная, спит она или нет, а в задних комнатах не с кем было ни спорить, ни шалить, ни ссориться. Во всем доме стало как-то пусто, сонно и пасмурно. Даже ясное лицо

Кремнева стало омрачаться. Раз я обедал — это было в сочельник накануне рождества; Кремнев вышел из комнаты моей матери, подошел к столу, налил себе стакан квасу и выпил залпом.

— Матери твоей немного лучше,— сказал он,— но прошедшую ночь она сильно страдала; если это повторится — надо будет созвать консилиум, а нынче вечером она просит меня, чтоб я навестил раненого Ильина и узнал, не нужно ли ему чего-нибудь. Говорит, что, судя по его костюму, он человек очень бедный и, вероятно, нуждается... Хочешь ехать со мной?

— К сумасшедшему-то?

— Ну, да...

— А если он...

— Что, ты трусишь?

— Нет, не трушу; поедемте, я с вами нигде не трушу, с вами хоть на крепостную стену полезу, куда хотите.

— Ох ты мой храбрец, храбрец! — с нежностью произнес Кремнев, потрепав меня по щеке, и через Аксюту приказал нашему кучеру заложить сани к шести часам вечера.

ГЛАВА XXXIV

Через четверть часа мы сели в сани и поехали. Был тихий, морозный, звездный вечер (в столицах ночь начинается не раньше полуночи). В одном из больших домов, фасадом выходящих на Неву, я заметил сквозь одно из его зеркальных окон пирамиду зажженных свеч и ярко освещенный потолок. Кремнев сказал мне, что это елка. Рождественская елка тогда еще не была в повсеместном употреблении; она начала входить у нас в моду не раньше сороковых годов и началась с высшего аристократического круга. Дом этот, который так привлек мое детское любопытство, не принадлежал ли тогда какой-нибудь придворной даме немецкого происхождения? — по крайней мере, у его подъезда, за экипажами, я заметил придворных лакеев. Мороз слегка пощипывал нос мой; елка фантастически рисовалась в моем воображении; на Петропавловской колокольне пели куранты: четко, в неподвижном, как бы застывшем воздухе отливались серебряные заунывные звуки. Кремнев взглянул на крепость, перекрестился и велел кучеру поворотить к Конюшенному мосту. Там, близ канавы, остановились мы у ворот какого-то дома, вышли из саней и вызвали дворника. Дворник стал уверять нас, что никакого Ильина у них не

стоит и что нет такого: нет и нет; он всех знает, а такого нет; но когда Кремнев сказал, что он сумасшедший, дворник оскалил зубы и спросил нас в свою очередь:

— А нешто он Ильин прозывается?

— Ильин.

— Ну, так с парадной во втором этаже, дверь направо.

— Ой ли! так ли ты говоришь, братец?

— Верно говорю, там.

— Может быть, это другой какой-нибудь сумасшедший?

— Никакого другого нет — он и есть самый, чернявый эдакой... в картузе... других тут нет и не слыхать... Верно вам говорю, идите на парадную.

Мы взошли на парадную и позвонили в бельэтаже направо. Отворилась дверь в довольно просторную прихожую комнату, освещенную стенным фонарем с граненым зеркальцем. Два лакея в ливрейных фраках, один высокий, другой низенький, повернули к нам свои рябые, выбритые физиономии.

— Вам кого-с? — спросил нас низенький, тогда как высокий, в полуоборот и как бы готовясь идти в зал, молча и нагло-вопросительно глядел на нас.

— Здесь живет Ильин, молодой человек, тот самый, который ранен?

Низенький лакей поглядел на высокого.

— Здесь,— ответил высокий,— только барыни дома нет.

— Да мы к нему, а не к барыне.

— Без барыни нельзя.

— Да кто такая твоя барыня?

— Моя барыня кто такая? Баронесса Бафель.

— Как?

— Бафель... Бафель, баронесса.

— А больной Ильин — что он, квартиру, что ли, у ней нанимает или так живет?

— Он квартиры не нанимает,— внушительно отвечал высокий лакей,— а вы приходите в другое время.

— Сними с меня шинель,— сказал Кремнев, покрасневши,— и доложи господину Ильину, что полковник Кремнев желает его видеть.

— Нельзя... без позволения нельзя докладывать.

— Я тебе не только позволяю — приказываю: ступай и принеси мне ответ его. А если барыня твоя держит его взаперти — ну, тогда другое дело,— тогда отсюда я поеду к обер-полицеймейстеру... Человек, нуждающийся в сочув-

ствии и в помощи, не должен быть взаперти, как дикий зверь. Ступай!

— Да помилуйте, сударь,— начал высокий тоном ниже,— ведь вы, чай, изволите знать — они не в своем уме и, так сказать, в меланхолии...

— Если его одного пускают бродить по улицам, значит, он не дерется и не кусается; а если не дерется, значит, незачем его и под стражей держать, особливо в такое время, когда он болен. Я знаю, что ранен он неопасно и страдает бессонницей, и не выйду отсюда, пока его не увижу.

Не думаю, чтобы Кремнев был вправе добиваться в незнакомом ему доме свидания с личностью, ему известной только по слухам, и не понимаю, что было причиной его настойчивости — желание ли занять больную мать мою рассказом о человеке, который заинтересовал ее, или просто потому, что погорячился, вообразивши, что если взрослый дворянин сам не отказывается принять его, то никакие лакеи не могут его не допустить к нему. Едва ли это справедливо и законно в данном случае: иногда не только доктор больного, но и его экономка, даже сиделка, может ради его спокойствия распорядиться и не допускать к нему посторонних.

Кремнев, сбросив шинель, вынул из кармана табакерку, отогнул крышку и не спеша поднес ее к своему носу. Самоуверенная, совершенно барская физиономия моего Кремнева, а главное — его богатырское сложение и щеки, покрасневшие не то от мороза, не то от досады, как видно, не остались без некоторого влияния на высокого; он поглядел на низенького, низенький кашлянул в руку и сказал:

— Как угодно-с!

— Ну, так ступай, братец...— начал было Кремнев, щуря глаза, как вдруг звякнул звонок, и оба лакея бросились к двери.

В лакейскую вошла барыня, в сопровождении других двух лакеев, в теплых траурных ливреях, в полукруглых лакейских шляпах, холодных, даже заиндевелых. Барыня быстро прошла между нами, остановилась и молча протянула вперед одну ногу. Низенький лакей бросился на пол и стал стаскивать с нее теплые сапожки. Барыня сперва оперлась на его спину, потом перекачнулась, подняла другую ногу и уже другой рукой оперлась на его затылок. В это время высокий лакей снимал с нее крытый атласом лисий салоп, а она исподлобья, или, лучше сказать, из-под черной бархатной шляпки с высокой тульей, поглядывала то на меня, то на Кремнева. Мы, конечно, догадались, что это сама баронесса.

— Кого им нужно? — спросила она своих лакеев.

— Мы уже вам говорили-с... желают видеть братца вашего,— заявил высокий лакей.

Баронесса поморщилась.

— Какого братца? Илью Тимофеича? Что ж ты им сказал?

— Я им говорил-с! — отвечал высокий, стоя навытяжку.

— Извините, сударыня,— заговорил Кремнев, укладывая в карман свою табакерку,— мы никогда бы не подумали обеспокоить вас, но одна особа прислала нас навестить вашего брата, поговорить с ним и дать знать, в каком он положении.

— Он лежит, потому что не очень здоров,— сухо отвечала барыня.

— Я это знаю, сударыня; он нечаянно ранен; это-то и заставляет думать некоторых, что новое, неожиданное потрясение воротит ему его рассудок.

— А! так вот зачем!.. Кто же эта особа, которая так интересуется нашим больным? Желала бы я знать...

— Позвольте, сударыня, умолчать,— отвечал Кремнев с плутовской улыбкой,— когда-нибудь после я сообщу вам кой-что, а теперь, будьте так любезны, прикажите проводить меня к больному... Мы будем вам очень благодарны.

Барыня на минуту задумалась. Лицо ее напомнило мне черты ее сумасшедшего брата — такие же черные глаза, такой же подбородок, даже щеки такие же бледные. Только нос у этой барыни был длиннее, и если у брата профиль был греческий — у нее был армянский.

— Свечей! — сказала она и вышла в залу, не отвечая нам.

— Поедемте домой,— шепнул я Кремневу.

— Нет, подождем, на успех есть надежда,— отвечал он мне по-немецки.

Пришел высокий, зажег на фонаре восковой фитиль и сказал нам, как бы полушепотом:

— Подождите в зале.

Мы вошли в залу и стали ждать. Зала, освещенная стенной лампой, была длинна, узка, оканчивалась четырьмя колонками и дверью с занавесками, откинутыми на обе стороны; вдоль стены, что против окон, висели портреты; на закрытом ломберном столе лежали обточенные мелки и коробочки с бостонными марками. Я не смел не только ни до чего дотронуться, не смел подойти поближе к портретам и рассмотреть их. Кремневу так же, судя по лицу его, было не совсем-то приятно.

Когда в гостиной (за драпри) появились свечи и послышался шорох платья, нас пригласили в гостиную. Полагаю, что — не скажи Кремнев, что он послан какою-то особой, и не будь у него на казакине нашито разных орденских ленточек,— баронесса просто-напросто велела бы нас прогнать: это, я думаю, понял сам Кремнев.

— Еще раз извините, сударыня, что вас обеспокоили. Честь имею рекомендоваться — Кремнев, отставной полковник гвардии,— а это... я по дороге взял его прокатиться, сынок одной моей знакомой, ее превосходительства, госпожи Чалыгиной.

— Не знаю, кто такая,— садитесь.

Мы сели. Поза ее выражала усталость; она сидела в креслах, закинув назад голову и опустивши руку, украшенную бриллиантовыми перстнями; перстни эти так и сверкали на черном фоне ее платья; она была вся в черном (вероятно, носила траур по покойном императоре).

— Вы, вероятно, от всенощной изволили заехать? — начала она.

— Нет, я не успел быть у всенощной.

— Кто же эта особа, которая вас *могла* прислать?

Кремнев был бы в великом затруднении, что ей отвечать на это, потому что на это отвечать ему не хотелось; но баронесса, помолчав, сама его выручила, добавив с некоторым оттенком насмешки в голосе:

— Ведь не граф же прислал вас, надеюсь?

— Какой граф? — спросил Кремнев.

— Аракчеев.

— А почему вы,— позвольте вас спросить,— почему вы это подумали?

— Да потому, что у вас не маленький чин,— кто ж вас может посылать! К тому же граф лично знает моего мужа и всегда принимал в нас живейшее участие.

— Я так же хорошо знаю графа... и он меня знает очень хорошо, даже раз велел меня под арест посадить за то, что я с ним поспорил... Я бы, сударыня, ни за что бы с ним не спорил, если бы он меня сам не вызвал. Ему донесли, что я заочно осмелился осуждать одно из его распоряжений, он и приказал быть мне двадцать первого марта в селе Грузине. Я хоть и был в отставке, но поехал, потому что как же я мог знать, зачем меня требуют? Ну, и попался же в лапы...

— И хорошо попались?..— подхватила баронесса с некоторой игривостью, как бы довольная, что такой дюжий мужчина, в плечах чуть не косая сажень, руки такие, что при

одном взгляде на сжатый кулак придешь в трепет и недоумение,— и попался...

— Да уж так попался, что до сих пор просидел бы взаперти, кабы один приятель не выручил... Впрочем, до сих пор ни в каком бы случае просидеть не мог, ибо, я полагаю, сударыня, вы это изволили слышать: почтенный ваш граф Аракчеев не в милости[56].

Баронесса приподняла голову и не без изумления поглядела в глаза Кремневу.

— Не в милости! Этого быть не может,— заключила она спокойно и холодно.

— Однако же это более, чем вероятно, это несомненно: Аракчеев не в милости.

— Вы это не шутя говорите?..— У баронессы побелели губы, и, судя по выражению глаз ее, можно было подумать, что она немедленно закричит на нас.

— Нет, эту радостную новость я вам не шутя сообщаю,— сказал Кремнев.

— Не в милости! Такой великий, гениальный государственный человек — не в милости!.. Это... это быть не может! После последних событий, кому же и в милости быть, как не графу Аракчееву? Это нелепый, глупый слух... Говорите, что вы еще слышали?

— Я только слышал, что ему не дозволено являться ко двору впредь до разрешения и что он бросает свое служебное поприще.

— Да как же это? От кого же вы это слышали?

— Да все говорят... Карамзины, Куракины, Перовские... это не тайна.

— Я была у всенощной и ничего не слыхала; наконец, вчера была у княгини Г., и также об этом не было помина... Значит, это только предположение... это слух, распускаемый недовольными.

— Это не слух, сударыня,— это, смею уверить вас, голая правда,— и поверьте, все этому рады, потому что не будь у нас этого великого человека и не создай он целую массу таких же, как он, маленьких Аракчеевых, то есть таких же деспотов, для которых, кроме их личного произвола, не существует никаких законов, ни божеских, ни человеческих,— не было бы и тех происшествий, о которых вы упомянули и о которых все вспоминают не иначе, как с великим сокрушением. На таких людей, как Аракчеев, следует смотреть, как на самых сильных возбудителей к разного рода мятежам и беспорядкам. Уже три бунта потревожили Российское государство с тех пор, как он стал у его кормила[57],—

и продолжай он господствовать — военные поселения, не нынче завтра, поднялись бы, да еще как поднялись-то бы, сударыня вы моя! — во всеоружии! — и увлекли бы за собой все, что пахнет казачеством,— а я вам доложу, что весь юг России пахнет казачеством. Нет, не дай нам бог таких государственных людей!

— А! — сказала баронесса с живостью обрадованного гнева,— теперь я вас понимаю, но предупреждаю вас, что слова ваши будут переданы, кому нужно, и вы раскаетесь. Все, что вы сейчас говорили, может быть перетолковано в очень, даже в очень невыгодную для вас сторону.

— Я этого не боюсь,— отвечал Кремнев,— во-первых, потому, что вы доносить на меня не будете, а кроме вас, доносить на меня некому, а во-вторых, потому, что не я один так думаю: ныне благополучно вступивший на престол государь император точно такого же мнения о графе. Если бы он не разделял в сем случае мнения людей благомыслящих, то, разумеется, и не удалил бы от своей персоны сего честолюбца.

— Если это правда, то это неблагодарность! — выговорила она, как бы вспыхнув, и при этом кулачок ее стукнул в поверхность стола, возле которого она сидела.

— Вот эти ваши слова могут быть перетолкованы в дурную сторону; конечно, я передавать их кому-либо не стану, но из ваших слов, сударыня, заключаю, что в доме у вас небезопасно, и если у вас в доме есть шпионы, то бойтесь.

Этот меткий и неожиданный отпор моего старого друга страшно осадил эту барыню. Она сама как будто чего-то струсила, спрятала свой кулачок и, поспешив замять разговор об Аракчееве, незаметно перевела его на брата.

— Мужу моему особенно будет жаль... но довольно об этом... об этом нечего говорить, мало ли бывает на свете чудес... Вот хоть бы брат мой, спрашивается, что ему было нужно на Сенатской площади? Вы думаете, раны его не наделали мне хлопот! Вы думаете, что, не будь он сумасшедший, приятно мне было бы видеть, что мой родной бросает своим поведением такое черное пятно на всю семью мою?! Я удивляюсь даже, как смеют еще навещать его и расспрашивать?! Как смеют!..

— Если навещают вашего брата, как несчастного молодого человека, и навещают, следуя словам спасителя: «Возлюби ближнего твоего»,— то следует ли в христианском государстве мешать проявлению такого христианского чувства?

— А какая польза от этого чувства? Что он — голоден

или дров у него нет, что ли? Кажется, судя по моей обстановке, вы можете заключить, что я не нищая...

— У него *здесь* голод, здесь дров недостает,— сказал Кремнев, постучавши себе в голову пальцем.— Вот о чем надо позаботиться...

— Как? вы надеетесь, что он образумится?.. Не надейтесь... Еще, слава богу, я спасла часть отцовского достояния, которое он не успел разбросать... и чего это мне стоило! Вы еще не знаете истории моего любезного братца. Он от самолюбия разорился и от того же самолюбия с ума сошел. Когда был за границей, познакомился с негодяем Байроном и вздумал подражать ему... На Женевском озере сочинил такую вакханалию, таких наделал скабрезных историй, что швейцарцы немедленно приказали ему выехать, без всякого христианского сожаления. Ему хотелось быть первым волокитой, первым в свете наездником и дуэлистом, даже — смешно сказать! — первым в России писателем; он и теперь убежден, что Карамзин и Жуковский перед ним мухи, не стоящие внимания. От такой амбиции, у кого хотите, голова кругом пойдет,— тут я не виновата... Наконец, до какого безумия дошел — хотел всех моих людей на волю отпустить! стал раздавать свои последние деньги,— мало этого — стал банковые билеты рвать! Что вы после этого прикажете? Прикажете с христианским братолюбием обращаться с ним?..— И при этом на Кремнева она поглядела с некоторым ожесточением, даже на щеках ее стали являться красные пятна. Как видно, барыня эта была — ух, какого горячего темперамента! Иногда, по блеску глаз ее, казалось, что и она недалека от сумасшествия,— много чего-то нервного было в этом блеске.

— Ну,— продолжала она,— попробуйте дать ему денег, попробуйте! Вы думаете, что он купит себе платье или калоши новые себе сделает? Как не так! Он или бросит их в канаву, и потом целые два часа будет в воду глядеть, или отдаст их первой потаскушке... Много крови он у меня испортил... И знаете еще что... какая у него idée fixe? * Ему воображается, что я намерена отравить его... что я питаю против него какие-то страшные замыслы... Мало этого, он во всем подозревает отраву: попробуйте, принесите ему калач или пряник, вот вы увидите, станет ли он их есть...

— Мне очень интересно знать, как он отнесется к моему посещению.

— А! вы еще не отложили вашего намерения?

---

* навязчивая идея (*фр.*).

— Будь я молодой человек, сударыня, я бы все здесь сидел... все бы глядел на вас и слушал бы; но... лета у меня такие, непростительные лета, что за ветреность никто не извинит... Дал слово непременно побывать у вашего брата,— и такой у меня досадный характер — не могу не сдержать своего слова...

— Да кто вам мешает! Взаперти, что ли, я держу его или боюсь кого?.. Человек! Федька! Проводить вот этих господ к Илье Тимофеевичу. Прощайте, желаю вам успеха.

— А вам, сударыня, позвольте пожелать и богатства, и душевного спокойствия, и честных сыновей, и красивых дочек. Вот у меня и жених для одной из них — видите, какой молодец! всего только тринадцать лет, а уже глядит пятнадцатилетним юношей. Позвольте поцеловать вашу ручку.

Баронесса, как озадаченная, дала ему поцеловать свою ручку.

— Сережа, будь вежливый кавалер, простись, как следует; добрейшая баронесса, вероятно, когда-нибудь еще позволит нам навестить ее.

Я тоже шаркнул ногой и поцеловал ее руку. Наклоняясь к этой руке, я успел-таки внимательно разглядеть ее дорогие кольца. Помню, как один зрачок мой уперся прямо в бриллиантовый луч. Уж не от того ли, когда я поднял голову и поглядел ей в лицо, она обратила внимание на глаза мои.

— У этого мальчика очень блестящие глаза,— сказала она, как бы мимоходом, и, не вставая с места, проводила нас легким наклонением головы.

Но за комплимент глазам моим я не мог не почувствовать тайной благодарности. Выходя из комнаты вслед за высоким Федькой, я быстро обернулся, чтоб хоть раз еще поглядеть на эту чернобровую барыню. Она уже сидела облокотясь и, сморщив лоб, как бы в волнении, барабанила пальцами по гладкой поверхности стола.

ГЛАВА XXXV

Мы прошли через зал обратно в переднюю, что немного даже удивило нас.

— Пожалуйте-с,— говорил Федька, высокий лакей, по правде сказать, с весьма джентльменской наружностью.

Из передней отворилась дверка в какую-то темную комнатку, в которой пахло лакейскими носками, ваксой и клоповником. Из этой проходной комнаты, по витой лесенке, взошли мы наверх и очутились в другой темной,

низенькой комнатке с перегородкой, не доходящей до потолка. Свет из-за этой перегородки проводил по этому потолку прямую линию от стены до стены и чертил такую же линейку сверху вниз, там, где виднелась неплотно притворенная дверка.

— Пожалуйте-с,— повторил Федька,— наклонитесь немножко... Не ушибитесь!..— И вслед за ним мы вошли в довольно просторную, совершенно квадратную, но низенькую комнату. Кремнев едва мог помещаться в ней: будь она на два вершка ниже, он бы в потолок уперся своею лысиной.

Когда мы вошли, на нас дунул холодный ветер из отворенной форточки; Федька сейчас же затворил ее. На кровати, поставленной вдоль перегородки, лежал больной, точно мертвец, озаренный свечой с медным колпачком, который должен был потушить ее в ту минуту, когда светильня догорит до известного места. Глаза больного были закрыты, и ресницы их широкими полукружиями резко оттеняли истощенное, бледное, как бы бескровное лицо его.

— Он не спит? — спросил Кремнев нашего провожатого.

— А бог его знает, спят они или нет,— отвечал высокий Федька и уже протянул было руку, чтобы разбудить его.

— Оставь его, не буди, если спит,— шепотом сказал Кремнев и остановил лакея за руку.

Ильин поднял ресницы.

— Вас, сударь, навестить пришли,— сказал ему Федька на ухо, но так громко, что тот вздрогнул.

— Кто? — спросил больной.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Кремнев.

— Слава богу, покорно благодарю.

— Мы слышали от доктора, что раны ваши неопасны и что вы, вероятно, совершенно выздоровеете.

— Что раны! это вздор. Фи! такие ли бывают раны... Жажда, вот что...

— Поди и принеси сюда стакан лимонаду! — сказал Кремнев лакею.

— Без доктора, сударь, ничего ему давать не приказано.

— Я сам доктор, хочешь, я тебе покажу свои раны — у меня их на теле до семи штук, и все больше штыками,— так тебе ли меня учить, любезный, что можно пить, чего нельзя? Поди и принеси, братец, лимонаду или просто воды и лимонов!

— Воды и лимон! — повторил больной слабым голосом.

Я как сел на стул против него, как уставил на него глаза свои, так и не сводил их, как будто он совершенно приковал

их к своей мертвенной физиономии. Едва вышел высокий Федька, как больной приподнял голову и стал прислушиваться.

— Ушел? — спросил он таинственно.

— Ушел.

— А я вас знаю... этого мальчика я также знаю... Как это вы зашли ко мне?

— А одна особа приказала вам кланяться, узнать о вашем здоровье, и главное — приказывает вам беречь себя и не предаваться никаким мрачным мыслям.

— Знаю, кто эта особа... Скажите ей, что больное, разбитое сердце мое в ее руках... скажите ей, что у темного, погибшего ума моего одна надежда, один тепленький, светлый луч — это она... Пусть Юлия бранит меня, пусть! Она все-таки мой добрый дух. Ее брань для меня слаще всякой музыки... Ах, зачем не раньше я... несчастный! — зачем я не раньше ее встретил!.. Ведь вы знаете, что я сумасшедший... Вы не верите? Я сам этому не верил... но я теперь все это очень хорошо помню... Сестра хотела меня в сумасшедший дом отправить, но в тот же день я дал тягу... а пока я бегал — вакантное-то место мое и заняли... Ау! вот оно что...

— Старайтесь вы, батюшка вы мой, все припомнить, и рассудок ваш просветлеет. Только надейтесь и будьте спокойны... Довольны ли вы вашим доктором?

— Доктором? Это мешок с требухой. Я, когда он идет, слышу, как у него в животе бурчит; но... ничего... сестры моей трусит, надо сказать, очень трусит... ну, да ведь и я... Пожалуйста, дайте мне пить... жажда!

— У вас маленький жар, должно быть, а лоб холодный.

— Скажите Юлии,— начал больной уже по-французски после продолжительного молчания,— что у меня были жандармы и взяли все мои бумаги, и в том числе взяли одно произведение, mon chef d'oeuvre... * я его десять лет писал... десять лет... десять лет я писал его! Там все: земля и небо, ад и рай... Это было бы колоссальное произведение... И там есть одно место, одно пророческое место: Англия с Россиею встречаются на Востоке, и от этой встречи колеблется Европа и колеблется Азия... Это место я послал в переводе к Ламартину...[58] терпеть не могу его «Méditations» **, но... голова с огоньком, с огоньком, с огоньком голова!..

Все это мог бы говорить и не сумасшедший, как думал Кремнев; в это время он хоть и бредил немного, но ум его

* мой шедевр (*фр.*).
** «Раздумья» (*фр.*).

далеко был от какого-нибудь сумбура. Голова его, благодаря потере крови, была настолько ясна и свежа, насколько можно было этого ожидать. Он высказывался так, как, вероятно, высказывался бы и до начала своего помешательства.

— Как бы это мне воротить мою рукопись?

— Бумаги ваши непременно воротят вам,— сказал Кремнев.

— Едва ли... Там есть такие истории, что — je vous demande mille pardon! * — не воротят!.. Разве за границей похлопотать; я уж думал было писать об этом к баварскому королю.

Ну, подумал я, вот начнет-то чушь городить! но ничуть не бывало.

— Мы были с ним когда-то приятели,— продолжал Ильин,— а познакомились, когда он был еще наследным принцем. Всякий раз, когда проезжал я через Мюнхен, из гостиницы посылал ему визитную карточку и был приглашаем им на ужины en petit comitè **. Ух! как мы с ним тогда либеральничали!

Кремнев говорил мне после, что и в этом нет ничего невозможного — что за границей молодому человеку, про которого пустили слух, что он чем-нибудь знаменит в России (а такие слухи часто распускались и, по незнанию русского языка, принимались без всякой поверки и критики), что такому молодому человеку легче познакомиться с владетельным принцем за границей, чем с русским откупщиком или с каким-нибудь директором департамента в Петербурге. Ничего нет мудреного, что Ильин, провозглашая себя богачом и пишущим поэмы, был знаком с баварским королем. Быть может, такие-то удачи в жизни и свели его с ума, по возвращении в Петербург, где даже родная сестра не хотела принять его.

— Не лучше ли вам, батюшка вы мой,— заметил ему Кремнев,— попросить об этом вашу сестру?

— Сестру? Тс!..— И насколько можно было подняться на постели, Ильин приподнялся, и насколько можно было поднять здоровую свою руку, он ее приподнял.— Кабы она знала, она бы давно сожгла мою рукопись!.. Тс!.. говорите тише, я ее боюсь...— И волосы его как бы сами собой изображали страх: они стояли торчком во все стороны, точно черный венец на белом фоне подушки.— Сестра моя, гм!.. Остерегите Юлию... скажите ей, чтоб она... того... как можно

---

* я прошу у вас тысячу извинений! *(фр.)*

** в маленьком интимном кругу *(фр.)*.

дальше от сестры моей... Кстати, старый дружище! я давно хотел спросить тебя,— обратился он к Кремневу фамильярным тоном и с таким доверчивым лицом, что Кремнев засиял от удовольствия, хотя и усомнился, не принимает ли больной его за кого-нибудь другого, действительно, ему давно знакомого.— Вот что... дружище! объясни ты мне, ради аллаха, куда это уехала Юлинька?

— Мне бы, дружище, и самому это хотелось знать, куда она уехала,— отвечал Кремнев.

— Я бежал за ней, бежал, чуть не целых пять верст бежал, никак догнать не мог,— то есть я бы догнал... шалишь! — я бы непременно догнал, если б не снежная куча, на которую я наткнулся.

— А в чем она ехала? — спросил Кремнев, и радостное любопытство так и светилось в глазах его.

— В чем? Она просто в возке ехала — и плакала... даже закричала *прощайте*, когда выехала за заставу.

— А за какую заставу?

— А туда по московскому тракту... как зовут, дьявол ее знает...

— А когда это было?

— Это было... было... постойте, у меня записано... Мальчик! отодвинь-ка вот тот ящик, что в столе налево, и подай мне тетрадь с черной каемочкой.

Я подошел к письменному столу и отодвинул ящик.

— Здесь ничего нет,— сказал я,— никакой тетради, только пучок перьев и еще какая-то коробочка.

— A bas! * значит, и эта тетрадь под арест пошла!.. Как мне без нее быть?..— И глаза его выразили странное беспокойство...— Там я записывал мое сердце — и то унесли... О, племя людское!.. крокодилово отродье! посев дьявольский!

В эту минуту высокий лакей принес графин с лимонадом и стакан.

— Утоли, дружище, жажду твою, все будет хорошо, все найдем и воротим... Не унывай, дружище! — говорил Кремнев больному, дружески положа на плечо его свою богатырскую руку.— Вот, не хочешь ли, брат, лимонаду,— на, я налью тебе...— Кремнев стал наливать, Ильин стал на него коситься...— Не слишком ли холоден?.. позволь мне, дружище, отпить немного.

Больной выразил на лице своем нечто похожее на ужас, но не сказал ни слова. Кремнев выпил полстакана.

---

* *Долой! (фр.)*

— Хорошо сделан, все в пропорцию. Ты его, что ли, делал? — обратился он к Федьке.

— Никак нет-с. На кухне делали.

— Отдай, братец, от меня эти пять рублей тому, кто делал... На... ступай!

Федька взял ассигнацию и вышел. Ильин опять приподнялся.

— Я дома никогда не пью...— сказал он.

— Напрасно, дружище!

— Ты ничего в желудке не чувствуешь?

— Ничего.

— Не бурчит?

— Нисколько, а что?

— Так... Налей мне немного, жажда!

Тут случилось опять пренеприятное обстоятельство. Едва только Ильин поднес стакан к своим перегоревшим губам, как вдруг — чик! — колпачок прихлопнул свечку, и все мы остались в совершенной темноте. Я никак этого не ожидал, да и Кремнев, занятый разговором, этого не предвидел. Стакан с лимонадом выпал из рук больного и, облив колено Кремнева, покатился по полу.

— Экая досада, дружище! — светильня догорела, и колпачок ее прихлопнул. Как думаешь, где бы мне еще свету достать?

На эти успокоительные слова Ильин не отвечал ни слова. Кремнев ощупью нашел свечу, ощупью спустился вниз и пропал минут на десять. Мне так стало страшно, что я вышел потихоньку из комнаты и остановился впотьмах у лестницы. Когда свеча была внесена и мы с Кремневым уселись на прежние места, Ильин уже не узнал нас и что-то бредил.

— Я от него не уйду теперь,— сказал Кремнев,— а ты, Сережа, ступай вниз, оденься, вели подать сани и уезжай. Скажи твоей матери, если она позовет тебя, что я ворочусь пешком; да вели мне постель приготовить в твоей классной; а если мать не позовет тебя, то и не беспокой ее, пожалуйста... А я, как только успокою его и осмотрю его перевязки, так и ворочусь... Прощай!

Я сошел вниз и, пока надевал в рукава шинель свою, слышал, вероятно у баронессы в гостиной, веселый говор. Вышедши на улицу, я постоял на крыльце, и, верно бы, простоял долго, если б низенький лакей, выбежав за мной, не крикнул нашему кучеру:

— Сани! подавай!..

ГЛАВА XXXVI

Безвредный доктор долго не находил ничего опасного в положении моей матери, и мы были совершенно спокойны. Я с утра брал рисовальную доску, садился у окна и, пользуясь коротким зимним днем, рисовал. Отделка платья и складок черным итальянским карандашом мне удавалась, даже было весело перекрещивать линии, выводить клеточки и их затушевывать; но отделка лица положительно не удавалась, и лицо какой-нибудь Мадонны, при сравнении с оригиналом, казалось измятым, иногда даже заплаканным. К рисованью в это время я пристрастился так же, как когда-то пристрастился к чтению старых романов. Костя приходил ко мне, исправлял мой рисунок, да так исправлял, что я завидовал его уменью и был в восторге. По уходе его мне казалось, что это я все сам так чисто отделал или отчеканил, по выражению Кости, и совесть меня за это очень мало мучила, а, кажется, должна была бы мучить, потому что рисунок этот я готовил к Новому году в подарок моей матери. Фрейман, кроме того, в каком-то немецком альманахе нашел какое-то немецкое стихотворение на Новый год, стихотворение, украшенное виньетками, и, вместо урока, задал мне, во-первых, стихи эти переписать со всеми вычурами немецкой каллиграфии и, во-вторых, выучить их наизусть для произнесения. Кремнев, заходя ко мне в комнату, одобрял меня. В свободное время (а его таки было немало) я просиживал в спальне моей больной матери, и, когда случалось она засыпала, я едва шевелился, боясь разбудить ее. Помню, как, сидя на низенькой скамеечке, я клал мою голову на постель, к ногам ее, и мечтал,— и какие светлые, какие радостные были тогда мечты мои! Или уходил в девичью и дурачился,— иногда в коридоре поджидал Феню и, когда она проходила, бросался на нее и щекотал ее, как русалка; но русалка защекотывает до смерти, а я... защекотывал ее до сильного румянца на щеках или до той досады, сквозь которую сквозило удовольствие. Удовольствие это заключалось в желании щипать меня; Феня щипалась больно, и я помню, какие синяки были у меня на руках.

Раз, это было в полдень, все было тихо в нашем доме, только на кухне и в девичьей пахло рождественским праздником: там были и водка, и пироги, и ватрушки, и гости, и нарядные ситцевые платья; но в эти отдаленные уголки нашей квартиры все двери тщательно были затворены, и, как я сказал, все было тихо. Доктор Иван Павлович зашел ко мне и спросил, где Кремнев; я сказал, что не знаю.

— Мне бы надо с ним поговорить,— сказал он.

— Подождите, он скоро придет.

— Нет, уж я лучше прийду часа через два; матушка твоя заснула, ей нужен покой,— ты... смотри, не шуми, верзило... а не то — я тебя!

И, бросивши на меня свирепый взгляд, доктор удалился прежде, чем я успел спросить его, здоров ли теперь сумасшедший Ильин и прошло ли его сумасшествие.

Кремнева дома не было также по случаю праздников. Я, ходя или, лучше сказать, прокрадываясь из комнаты в комнату, заглянул в гардеробную, потом в ту комнату, заставленную шкафами и картонками, где Аксюта шила и гладила,— никого там не было; я хотел спрятаться в шкаф, что-то подсмотреть. Сам не знаю, что я хотел; мне хотелось чего-то необыкновенного, страстно-мистического... какой-то игры... мне хотелось прыгать и красться по-кошачьи, даже кого-нибудь укусить... Во всем этом, вероятно, высказывалась какая-то переполненность молодой, свежей и, так сказать, еще животной жизни. И в этом-то расположении духа услыхал я за стеною шорох и, как лягавая собака к дичи, подкрался к той самой двери, сквозь замочную скважину которой, когда-то в детстве, видел я какое-то фантастическое заседание.

Каким пером изобразить мне мое волнение, недоумение и, пожалуй, испуг, когда, направляя глаз мой против замочной щели, я вдруг заметил, что с той стороны на меня глядит также чей-то глаз!.. и что взгляды наши встретились...

Я отскочил... и отошел в сторону. Минуты две все было тихо по-прежнему. Вдруг слышу — в дверку стали стучаться.

— Отоприте! — услыхал я мужской голос.

Я побежал за Аксютой, встретил Логина и рассказал ему, что кто-то стучится к нам из чужой квартиры.

— Что вам тут надо?..— спросил Логин.

— Отопри, говорят тебе!

— Да куда ты лезешь?.. в чужую квартиру!

Но вместо ответа послышались такие полновесные удары в дверь, что, я думаю, через коридор в зале можно было слышать, что кто-то стучится.

Прибежала Аксюта.

— Ключа нет,— сказала она в щелку.— Что?.. а?

— Пьяный, что ли? — спросил Логин.— С ума сошел...

— Да что, Логин Семенович, говорит, что сломает дверь, если не отопрем; а как отпереть!

И Логин, и Аксюта находились в великом смущении, не знали, что и подумать; я также дрожал не от одного страха, я дрожал и от злости: я никак даже не мог вообразить себе такой дерзости; я боялся за мать мою, боялся, что возобновившийся стук дойдет до чутких ушей ее; казалось, я был способен в эту минуту убить этого дерзкого нарушителя нашего спокойствия.

Я послал Семена за Кремневым, и тот, встретив его на лестнице, рассказал ему, в чем дело.

Не медля ни минуты, Кремнев пошел в ворота, вызвал дворника, послал за хозяином и, узнав, что в соседней с нами квартире — следователь и какие-то полицейские, прямо отправился к ним, и уж не знаю, как он объяснил им, что к нам в квартиру стучать им вовсе не следует, что они будут отвечать, если испугают больную генеральшу, то есть мать мою. Великие слова «генеральша» и «ее превосходительство», конечно, употреблялись Кремневым в таких случаях, где ему было необходимо придать вес словам своим, а где было необходимо — он это знал как нельзя лучше, потому что прошел сквозь огонь и медные трубы. Недаром он говаривал: кто не пройдет сквозь эти огонь и медные трубы да не закалится, тому на святой Руси и жить нельзя.

Когда все опять утихло, вслед за Кремневым и я вошел в спальню моей матери. Она не спала; с беспокойством поглядела на Кремнева и сказала:

— Пожалуйста, бросьте в печь эти несчастные письма,— и она указала на большой сверток бумаги, перевязанный розовой лентой.

Вероятно, этот сверток был у ней под подушкой, иначе я не понимаю, как он мог явиться у ней подле постели, на ее ночном столике.

— Да что вы беспокоитесь, моя милая?..— начал было Кремнев.

— Не могу не беспокоиться: всякий, кто писал ко мне, свободно выражал себя и откровенно излагал свои помыслы,— придется отвечать даже за помыслы. Ступайте скорее и, если в коридоре топится печка, бросьте в огонь это сокровище; перестаньте умничать — идите!

Кремнев взял сверток (я думаю, около ста писем, если не более), и мы вышли. Печка в коридоре только что истопилась, я заглянул в нее,— и едва успел отнять свою голову, как сверток уже очутился на куче красных, не успевших покрыться пеплом угольев. Бумага зачадилась.

— Ба! — сказал Кремнев,— отворяй скорее вьюшку, иначе мы, брат, чаду такого напустим, что...

И мы таки напустили чаду, потому что я отворял трубу в первый раз в моей жизни, а в жизни даже и на это нужна некоторая опытность.

— Что вы тут делаете? — крикнула на меня Аксюта, не замечая Кремнева.

— Тетради старые жгем,— отвечал Кремнев.

— Извините, сударь, я вас не заметила.

Мать моя была очень бледна, у ней дрожали руки, и ноги были холодны, как лед. В боку все еще чувствовалась боль. Она ничего почти не ела, только пила морс, потому что чувствовала жажду. Кремнев также похудел за все это время; он был возле моей матери точно сиделка или сестра милосердия; читал ей, потом щупал пульс, потом прикладывал к голове ее руку... и уверял мать мою, что он одарен магнетизмом и может ее вылечить; потом опять читал, потом подавал лекарство, потом сидел подле нее молча или говорил ей: «Засните, ну попробуйте заснуть!» — и так проходили для них дни и ночи. Иногда он возвращался откуда-нибудь около полуночи (как, например, от Ильина), прокрадывался к ней в спальню, да так и не ложился и не раздевался до самого утра. Мать моя несколько раз видела его спящим возле себя в креслах и решилась только однажды разбудить его, потому что какой-то необыкновенный сон произвел на нее слишком тяжелое впечатление: то был какой-то призрак, и на нее напал панический ужас. Что это был за сон, она никому из нас не рассказала.

Так проходили святки, и я был убежден, что к Новому году мать моя встанет с постели. Я уже воображал, как я преподнесу ей мой рисунок и скажу ей немецкое стихотворение. Мало того — далеко залетела моя фантазия,— я воображал, что Кремнев непременно женится на моей маме, и уже смотрел на это без всякого к нему недоброжелательства; напротив, кажется, я был бы рад, если бы это случилось: я так давно не видал веселья в глазах моей матери, так давно не слыхал ее музыки, ее симпатического, поющего голоса, что мне казалось, что все это воротится, когда она выйдет замуж, потому что разве она не говорила мне, что любит его и уважает?

Но накануне Нового года Кремнев вошел ко мне грустный и мрачный; небольшие серые глаза его были красны, лицо измято. Я хотел его утешить и сказал ему:

— Александр Сидорович, женитесь скорей на моей маме... пожалуйста, женитесь!..

— Ах, дружище! Кабы она была здорова! Завтра утром консилиум.

— Что такое консилиум?

— Съедутся доктора и будут совещаться, что им делать.

— А Иван Павлович?

— Иван Павлович сам сознается, что болезни не понял.

— Разве есть опасность?.. А?

— Нет, дитя мое, пока еще нет опасности,— проговорил он и вышел.

«Ну, нет опасности, а он уж и нос повесил»,— подумал я. И не странно ли? Чем опаснее становилось положение моей матери, чем беспокойнее было настроение в доме, чем ближе была роковая минута,— тем я был беспечнее, спокойнее духом. Мысль о смерти моей матери, как какая-то нелепость или очевидная невозможность, даже не приходила в мою голову. Я так же рисовал, так же готов был бежать и дурачиться, так же заигрывал с Феней. Или сама природа, подготовляя удар, сберегала мои силы и не давала мне задумываться. Или есть несчастия, которых так же не предчувствуешь и которым так же не веришь, как чахоточный не верит скорой и неминуемой смерти.

В ночь на 4 января, около трех часов пополуночи, сквозь сон я почувствовал, что меня кто-то будит, и помню, как мне не хотелось вставать, ибо мне казалось сквозь сон, что меня будят для того, чтоб вести меня куда-то к заутрени. С трудом приподнял я глаза, вижу, за ширмой моего немца горит свеча; судя по тени, двигающейся на стене, он одевается и повязывает галстук, а подле меня в одной юбке — Феня. Волосы ее распущены, на плечах платок, в глазах слезы, в лице что-то такое страшно-напряженное, как будто ей нестерпимо жаль меня.

— Феня! Что такое? мама?!, ради бога, Феня, говори скорее, что такое?! — И я схватил ее за руку и в испуге устремил на нее глаза свои. Я уже догадался... но ждал. Она молчала — и я крикнул во все горло: — Что такое, Феня? Умерла? А?!

— Ступайте... проститесь...— сказала она, закрыв лицо руками, и заплакала.

Быстрее мысли соскочил я на пол. Не помня себя, на босые ноги свои натянул я свои шароваришки, потом надел башмаки, потом схватил куртку, но не надел ее, а побежал с нею. Бросившись в отворенные двери, я кого-то толкнул в коридоре и через залу влетел в гостиную...

Там, перед образом в углу, горела восковая свеча. Логин поймал меня за руку и как-то на бегу за мной напялил на меня мою курточку. Кремнева, сидящего в углу в креслах, я не заметил — и ворвался в кабинет. Там также перед

каждым образом горели свечи, как бы в великий праздник. Я толкнул в дверь, ведущую в спальню матери, но чья-то рука, придержавши эту дверь, не хотела меня пускать туда. Я закричал:

— Мама! это я... пустите!..

Выглянула голова, повязанная платком, заглянула мне в лицо — и пропустила.

Я увидел зрелище, очень необыкновенное в нашем подлунном мире; но оно неизгладимо врезалось в моей памяти.

Мать моя была уже мертва; но она сидела на своей постели, поддерживаемая руками горничных; глаза ее были закрыты, голова опущена, нижняя челюсть отстала от верхней и придавала ей вид женщины, чему-то наивно изумленной и раскрывшей рот свой. Волосы черными космами падали на ее голые плечи, несколько прядей висело перед ее склоненным профилем; руки также висели; наши женщины сбирались уже раздевать ее и приступить к обмыванию.

Мое присутствие помешало этому обряду. Голову новопреставленной опять опустили на подушку, и я, рыдая, упал на теплый, еще не простывший труп моей матери.

Мое отчаяние было ужасно. Когда меня вывели из спальной, я упал на колени и стал молиться. Маленький безумец, я вообразил, что могу сотворить чудо, что мне стоит только попросить бога воскресить мать мою, и она воскреснет. Я был в этом так уверен, так уверен в ту минуту, что, как бы под наитием какого-то вдохновения свыше, сказал присутствующим:

— Не плачьте, маловерные, она воскресла!.. пустите меня...

Но Кремнев подошел ко мне и взял меня за руку.

— Через меня, дружище, она велела передать тебе свое благословение...— И он перекрестил меня... потом обнял, потом сел на стул и стал тихо плакать. Не вешая головы, он сидел, как обыкновенно сидят в гостиных, слегка откинувшись, и только слезы бежали по лицу. Упавши перед ним и охвативши своими руками одно из его колен, я истекал слезами и в то же время глядел на него — как будто в его слезах ища оправдания своему отчаянию.

Но не прошло и часу, Кремнев уже бодро встал, велел мне дать воды напиться, утерся мокрым полотенцем и стал распоряжаться. Все в доме повиновались ему и слушались его, как бы своего законного барина, все перед ним расступались. Кремнев, видно, успел заслужить любовь не одну мою. В тот же день утром он написал два письма: одно в Москву

к дяде моему Льву Марковичу, другое к моему опекуну Никите Ивановичу Нарышкину; последнего он просил как можно скорее приехать.

Не к чему прибавлять, что полиция явилась вслед за гробовщиками и что не только все комоды и ящики, но и спальня, и кабинет были заперты и опечатаны.

ГЛАВА XXXVII

Представьте, что вы сидите в театре и видите представление. Героиня лежит без движения, без жизни, лежит посреди сцены мертвым трупом; почему она мертва — господь ее ведает; актеры входят и уходят, сходятся, расходятся, плачут, глупо улыбаются, появляются с озабоченными лицами и исчезают, как тени; зачем они? почему? для чего? — ничего неизвестно! Автор так спутал действие, до такой степени ничего не договорил, что вы ничего не понимаете, смотрите на сцену и, кроме непонятной боли в душе, кроме горького зуда в глазах, ничего не чувствуете. Вы и поражены, и удивлены, и опечалены, и даже оскорблены — но как, чем и зачем?!. вы никакого отчета не можете дать никому, ни другим, ни самому себе.

Таков я был во время отпевания и погребения моей матери.

Когда вокруг гроба, обитого черным бархатом и серебряным позументом, поднимался кадильный дым, а отец Алексей провозглашал вечную память и певчие подхватывали «Вечная память!», Фрейман выглядывал из коридора в залу, и никогда я еще не видал, чтобы рот его был раскрыт так глубокомысленно, никогда еще не видал, чтоб шиллеровский нос его носил такой плачевно-сиротливый вид. Он едва ли не впервые от роду видел русский обряд погребения и, глядя на него, философствовал или поэтизировал — не знаю, знаю только, что он был преисполнен загадочных дум и, уходя в свою комнату, так часто насасывал чубучок свой, что от табачного дыма у меня глаза резало (видно, мои глазные нервы от беспрестанных слез стали чересчур чувствительны).

Накануне похорон Кремнев рассказал мне, что мать моя еще с вечера проговорилась ему, что не переживет этой ночи, и хотела послать за мной, потом раздумала и сказала: «Нет, я расплачусь, когда его увижу, и расстрою его прежде времени; он же чересчур чувствителен — я за него боюсь, много ему придется перестрадать прежде, чем он узнает жизнь.

Берегите его, я вам поручаю его, паче всего берегите его от разных происков родных его, он еще не знает их, что это за люди. Скажите Сереже, чтобы он был честен, неподкупен и тверд — и что на все доброе я его благословляю». Потом мать твоя,— продолжал Кремнев,— велела мне вынуть из бюро восемьсот пять рублей и сказала: «Вот пока все, что у меня есть; похороните меня без пышности, как можно дешевле, и если для Сережи не хватит денег, напишите Нарышкину — у него есть еще наши деньги. Он чудак, но честен; я не желаю моему сыну другого опекуна, к тому же он очень богат и в чужом не нуждается...» Кремнев взял деньги не прежде, как вошла Аксюта, при ней сосчитал их и положил на стол. Когда мать моя была в агонии и священник в час ночи читал отходную, люди уже окружали постель ее, но — желание моей матери было исполнено: меня не разбудили и не позвали.

Вот сущность всего того, что мне передал Кремнев. Я не привожу речей его потому, что не чувствую в себе настолько искусства, чтобы передать на этой странице все то тепло, которое в них слышалось. Он, как видно, глубоко любил мать мою и терял в ней все, что было для него на сей земле самого лучшего, самого святого и благородного. Смею думать, что если б он был просто любовник моей матери, в самом вульгарном смысле слова,— это не утаилось бы от многочисленных глаз нашей многолюдной прислуги, а если б не утаилось,— то не верю я, чтоб эта прислуга после смерти моей матери отнеслась к нему с таким сочувствием и уважением. Иному просто бы сказали: «Ну, сударь, больше вам тут делать нечего», или: «Вы что за барин!», или бы косились на него, как на человека, способного украсть ключи или что-нибудь зажилить, пользуясь удобным случаем. Одна моя отставная нянюшка сомневалась в нем, но и та предполагала, что он добивается руки моей матери.

Много приходило всякого народа поклониться ее телу, но знакомых из высшего круга никого почти не было. Я не помню даже, чтобы Набатов был. Один старик Тарутин, со звездой на груди, приезжал отслушать одну панихиду — и, сколько мне помнится, благоговейно молился о новопреставленной, тихо бормоча про себя молитвы и коротенькой, толстенькой рукой своей делая на груди маленькие крестики; но Тарутина я никогда прежде не видал у нас в доме и говорю только о тех, кто часто бывал у нас,— их-то, говорю, и не было.

И то сказать, многие из наших знакомых и не знали

о кончине моей матери. Кремнев не имел права звать их от своего имени, к тому же не знал их адресов, а главное — знал, что большинство из них арестовано.

Глаголевский сидел у меня по целым часам; Костя и Алеша оставались ночевать, Егорка (будущий часовщик) явился так же мне прислуживать — и разносил чай всякий раз, когда другим людям было некогда. Читать Псалтырь опять стал появляться тот же седенький приказный, который когда-то читал Псалтырь в нашей девичьей над телом старой Константиновны. Упиваясь коньяком под видом чая, он страшно потел — и так же, кажется, был доволен смертью моей матери, как и наводнением.

Не стану описывать всего, что я чувствовал во все эти дни; но так как в этих признаниях я вовсе не желаю щадить себя, то и скажу откровенно, что были минуты, когда я мысленно рисовался моим горестным и, как мне казалось, каким-то исключительным положением. Я оставался один, сиротой, без матери, с колыбели страстно мною любимой,— и это было горько, очень горько; но мне нравилось, мне льстило, как какой-нибудь слабонервной барыне, то внимание, те заботы и ласковое ухаживание, которые возбуждал я в окружающих моими слезами, моей тоской, моими головными болями. Все-то хотели развлекать, утешать меня. Костя тащил гулять, приносил мне рисунки; Глаголевский, как человек, знающий *досконально* загробные тайны, рассказывал мне, в каком именно месте должна теперь находиться душа моей матери и как все ближе и ближе подвигается она к райским вратам, слыша, как мы об ней молимся... Наши старухи и я внимали ему, как человеку, специально изучившему предмет свой, то есть небо и преисподнюю. Аграфена причесывала меня и оттирала мне ноги, когда они были холодны; Феня, поливая то меня, то платок мой одеколоном, целовала меня, как будто я был собственное дитя ее. Зять Логина подарил мне на часы цепочку из французского золота, а Саша, то есть Александра Логиновна, жена его, принесла мне коробку с обсахаренными фруктами.

Как не избаловаться посреди такой обстановки! как не вообразить себя маленьким плачущим принцем! как не изнежить своего и без того уже слишком нежного сердца! Один Алеша *обижал* меня: он преравнодушно глядел на меня, когда я плакал, глядя на гроб моей матери.

5 января, утром, забросанная сосновыми ветвями, а может быть и можжевельником, позеленела наша улица. Погребальные дроги, под траурным балдахином, запря-

женные в шесть лошадей, стали у нас на снегу под окнами. Факельщики расхаживали, топтались на одном месте, смеялись и повязывали себе уши. Прохожие останавливались, спрашивали, чьи похороны; но что особенно бросалось в глаза — это множество жандармов и полицейских у нашего подъезда,— даже, как мне помнится, у нашего заднего крыльца, на дворе, почему-то расхаживал будочник.

К девяти часам зала наполнилась народом, прибыли священники, нам всем роздали свечи, началась панихида. Я стоял подле Кремнева, не бледного, но скорей покрасневшего от грустных и тяжелых дум, его обуревавших. Я молился и плакал, как вдруг, минут за двадцать до выноса тела, подошел Семен, немного встревоженный, и сказал Кремневу, что какой-то адъютант просит его в переднюю. Кремнев вышел, но, спустя минуту, в облаках кадильного дыма, я уже увидал его подходящим к гробу моей матери. Он приподнял покрывало с ее лица, с этого воскового лица с синими губами, поглядел на него, приложился к холодным рукам, перекрестил ее, перекрестился — и потом ко мне обратил лицо свое. Припоминая все это, я чувствую, что он хотел подойти ко мне, да — он непременно хотел подойти ко мне; но в эту минуту в дверях послышался чей-то вежливо-повелительный голос: «Пожалуйста, не мешкайте!» Толпа зашевелилась, робко зашушукала, даже певчие, продолжая петь, покосили глазами,— и, пославши мне поцелуй рукой, Кремнев прошел в переднюю.

Я бы ничего не понял; но Костя тут же передал мне странную, невообразимую новость: Кремнев был арестован, то есть его увезли куда-то в карете в сопровождении адъютанта и двух жандармов.

Сильно поразила меня эта новость. Какой-то испуг охватил меня — и слезы застыли у меня на лице. Я робко оглядывался, как бы спрашивая: а меня, меня не арестуют?!

Наконец, при общем крике и вопле подняли гроб — и, упираясь в него кто рукой, кто плечом, понесли и поставили его на дроги. Священники и певчие пошли вперед, дроги тронулись; я хотел идти пешком, но меня посадили в четвероместную карету. Со мной сели Аграфена и, кажется, дочь хозяина дома, девица с пухлым лицом, с отекшим носом, с маленьким ротиком и картавая. Когда же, вслед за ними, хотел влезть Глаголевский — все места оказались занятыми, и он захлопнул дверцу.

Кто же это было четвертое лицо, которое осмелилось занять место Глаголевского?

Это было лицо, для меня совершенно новое: это был человек средних лет, в серой шинели с стоячим бобровым воротником. Из этого воротника выглядывал треугольный нос его; в нем, в этом носе, ничего не было необыкновенного: он был ни мал, ни велик,— но я еще никогда не видал таких носов. Поверх воротника торчали уши и глядели глаза, серо-карие, блестящие, но с тяжелыми веками, опустившимися чуть не до половины зрачков, брови же, густые и темные, лезли на лоб под самую шляпу. Рот, окруженный баками, прятался в меховой воротник, застегнутый серебряными лапками, и только изредка, когда он выглядывал в окно, то есть, когда нос его в профиль казался мне совершенным треугольником, я видел зубы его, длинные и белые. Судя по выражению глаз его, он находился в тревожном состоянии духа, как будто боялся, что его начнут допрашивать, и в то же время был очень рад, что попал в карету и удостоился чести сопровождать меня. Мне было тяжело встречаться с его взглядами; казалось, он изучал лицо мое, изучал мою одежду, изучал моих спутников и прислушивался к их каждому слову.

Скоро окна нашей кареты заиндевели, и мы двигались как бы в белых потемках, не зная, по какой улице нас везут, и не чувствуя поворотов кареты. Сквозь скрип колес ее не слыхать было певчих, и напрасно, через плечи незнакомца, сквозь передовые стекла, старался я разглядеть печальную процессию.

Когда карета остановилась у ворот кладбища, незнакомый мне человек первый выскочил и помог мне сойти со ступенек, причем я почувствовал, что рука его сильно пожала локоть мой,— при этом он так на меня взглянул, как будто хотел грустный взгляд свой на веки веков запечатлеть в моей памяти. Потом он мелькнул передо мной в ту минуту, когда я с лопатки бросил горсть песку на могилу моей матери... Помню, как глухо стукнул этот сырой песок о гробовую крышку и как сжалось мое сердце.

Наконец, наплакавшись и назябнувшись (мороза было около двадцати трех градусов), пошли мы в какой-то домик, неподалеку от кладбищенских ворот, и там стали пить чай и закусывать. Я думал о Кремневе и молчал. Глаголевский находил необходимым в мой чай подливать рому, и я находил это довольно вкусным. Ром сначала разогрел меня, но на обратном пути в карете я заснул и продрог. Приехавши домой, я почувствовал нечто вроде озноба, головной боли и тошноты. Меня уложили в постель, но я долго не спал и все

думал: «Отчего умерла мать моя? за что взяли Кремнева? что со мной будет? и — ходит ли полиция вокруг нашего дома? Если ходит, то зачем? что ей надо? Бережет ли она меня от воров или завтрашний день прийдет, возьмет и увезет меня,— за что? — а за то, что я был 14 декабря на Сенатской площади...» Мне не шутя мерещилось, что я бунтовщик, что Кремнев взят по ошибке и что скоро узнают, что это я с Логином, а не Кремнев — был на площади.

ГЛАВА XXXVIII

Так очутился я один, посреди большой и богато убранной квартиры, тому назад несколько дней занимаемой моей незабвенной матерью.

Иногда, в своей траурной куртке, ходя один по гостиной с завешенными зеркалами, я подходил к дверям кабинета моей матери, глядел на большие, красные печати, которыми была припечатана обмотанная вокруг дверной рукоятки веревочка,— прикладывал ухо... и слушал. Там кто-то вздохнул и тихо, тихо произнес: «Сережа!» — рассказывал я Алеше с таинственным видом; но я вовсе этого не слыхал, мне хотелось это слышать, и я это выдумал. Алеша так же прикладывал ухо к двери — и так же ничего не слыхал.

— Алеша! — сказал я однажды,— знаешь, за что я на тебя зол? За то, что ты не любил моей матери... за это я на тебя страшно зол.

Алеша вытаращил на меня глаза свои.

— Ты даже ни разу не заплакал, даже Костя, брат твой, и тот плакал,— а ты как какой-нибудь истукан, прости господи.

Алеша, как виноватый, потупил глаза и вздохнул.

— Ты бесчувственный, Алеша!

— Молчи! — крикнул он... Слезы показались на глазах его.

— Бог с тобой, Алеша, никогда мы с тобой друзьями не будем, никогда...

— Ну, и не надо...

— Ну... ну, и не надо! — повторил я не без горечи.

Конечно, кому не жаль потерять милую, добрую и умную мать; но, по правде сказать, миллионы остающихся сирот могли бы даже в эти минуты позавидовать моему положению. Я был олицетворенная беззаботность; откуда, каким образом шли деньги на мой стол, чай и кофе — словом, на все мое содержание? — я даже не спрашивал, этот вопрос

даже не интересовал меня. Ведь все есть, все откуда-то само собой берется, и все идет по-прежнему. Видно, так и следует, о чем же тут думать!

Расскажу все то, что припомню я об этом времени, то есть от кончины моей матери до приезда моего опекуна Нарышкина. Это время, вероятно, не осталось без влияния на мой характер или на мой образ мыслей.

В это время я не учился, а бил баклуши посреди балующей меня дворни. Немец мой Фрейман не покидал меня, но и он меня баловал, и ему жаль было со мной расстаться. К тому же покойная мать моя осталась должна ему, и он ждал приезда Нарышкина.

За Алешей пришла Луиза Карловна, бывшая гувернантка Зизи; она очень была рада видеть нас, и мой немец был ей очень рад: сам сварил для нее кофе, на свои деньги купил ей каких-то сластей и, угощая ее, все похаживал да покуривал — и с таким серьезным видом, как будто дело делал. Луиза эта немного похудела с тех пор, как я видел ее в Павловске; но говорила, что теперь ей очень, очень хорошо и что она пришла за Алешей потому, что один богатый купец обещался отдать его в какое-то училище... Луиза, разумеется, не сказала нам, что в это время она существовала на иждивение этого богатого купца...

С Алешей я горячо простился, подарил ему множество книг, отдал ему подушку, пестрое одеяло и свою готовальню, то есть ящик с циркулями, и просил, даже умолял его не забывать меня; но, сказать по правде, я не был очень опечален этим прощаньем. Между нами, кроме резвости, ничего не было общего; к тому же его присутствие иногда надоедало мне; с детства я привык быть один — и теперь, так сказать, медленно и незаметно развращаясь посреди раболепной дворни, мне даже хотелось быть одному, чтоб никто на меня не глядел, когда я смеюсь, вместо того, чтоб плакать, или дурачусь, когда мне следует быть тише и солиднее. Мне было совестно быть спокойным или веселым, когда мать моя в могиле, а Кремнев — единственный друг мой, быть может, сидит в тюрьме; а между тем, помимо воли моей, как бы на зло себе — я с каждым днем становился спокойнее и спокойнее.

Алеша также расстался со мной равнодушно, но я почти уверен, что я, по своей неопытности, бестактности и детской раздражительности, беспрестанно оскорблял его самолюбие и что он скрывал в себе это оскорбление, боясь, чтоб кто-нибудь не стал за это вдвое более трунить над ним. А что Алеша был самолюбив — это нередко он доказывал своим

усиленным прилежанием и теми успехами, которые не дешево ему стоили.

О моя неопытность! И Семен, и Логин, и повар, и кучер, и женская прислуга — все наперерыв старались задобрить меня, приобрести мое доверчивое расположение. Вокруг меня создался тот призрачный мир небывалой любви, который только рабский расчет может создавать и который рушится сам собою от малейшего случая. Одни рассчитывали идти на оброк и думали, что слова мои будут иметь вес в глазах моего опекуна и попечителя; другие рассчитывали на подарки, на гардероб моей матери; третьим хотелось на волю: к числу этих последних, несомненно, принадлежала бедная Аксюта, ближайшая горничная моей матери. Она одна была пасмурна, держала себя вдали от меня и глядела с каким-то затаенным недоверием.

— Что-то еще будет,— говорила однажды эта девушка,— скажу спасибо, когда себе добро увижу.

Я сказал на это:

— Вот, как я выросту, всех-то, всех отпущу на волю, у меня рабов не будет.

Аксюта подхватила:

— Да, когда-то вы еще вырастете!.. Жди вас!.. Куда я буду годна тогда? Вы мне журавля-то не сулите — синицу дайте.

Помню, что я охотно бы в эту минуту дал ей не одну синицу, а целую дюжину синиц; но я мог только смутно сознавать, что у меня есть какие-то права карать и миловать; но что значит дать вольную, как поступить ради такого великого дела — я не имел ни малейшего понятия; мир официально-бумажный был для меня то же, что китайская империя; — он был для меня далек, закрыт, чужд и непонятен.

Зато другой мир, нисколько не похожий на официальный, начинал уже открывать мне свои тайны. Он был ближе к природе,— уставы его сочинялись не в министерствах и не зависели от кого бы то ни было. Тайны его влекли меня, и в то же время я боялся их, как смертного греха или как какого-то безумия.

Я узнал про Феню вещи, для меня в то время совершенно непостижимые. Костя, вероятно для того, чтоб оправдать в глазах моих кой-какие вольности относительно этой девушки, по секрету сообщил мне, что в первый раз встретил ее в коридоре Академии и что она натурщица. Сначала я этому не верил и заставлял его божиться и клясться, что это правда; потом я почувствовал к Фене нечто вроде маленького

презрения; потом выражение Кости, что она *служит искусству* и что в этом ничего дурного нет, заставило меня смотреть на нее, как на какую-то особенную, из ряда вон выходящую девушку, как на какое-то мифологическое существо под видом горничной. Я то краснел за нее, то сам терял всякий стыд, когда оставался с ней наедине, то есть шалил с ней, как с наряженной куклой или статуей,— и при этом, случалось, она совершенно не обращала внимания на сдернутый платок или на расстегнутый ворот, стояла задумавшись, уставясь в землю лбом, и молчала. Уж не прикидывалась ли она такой бездушною для того, чтоб придать мне смелости?

Раз я сказал ей, что хочу сделаться художником, только с тем, чтобы она была моей натурщицей.

— Что такое натурщица? — спросила она меня с притворным изумлением и вся вспыхнула.

— Нет! — сказал я, скорчив гримасу и прищуриваясь,— *ты* скажи мне, что такое натурщица?

Слово за слово — и я выдал тайну Кости. Феня стала умолять меня не проговориться как-нибудь.

— Ради бога, барин, душечка,— говорила она,— молчите. Меня отец убьет — убьет, если вы ему скажете или если как-нибудь это дойдет до него.

Я клялся, что не скажу.

— Но как это ты, Феня, решилась? Как ты могла решиться!

— Как! Ваша маменька покойная виновата, кабы не она...

— Как это она виновата?!

— Раз она послала меня с запиской к художнику ***; ну, я пошла, прихожу — выходит барин, человек уж немолодой, заговаривает со мной, шутит, ведет в мастерскую, картины показывает. Хочешь, говорит, я тебя выучу рисовать; я говорю, выучите. А вот, говорит, я собираюсь писать кающуюся Магдалину, лежит в лесу без одежи и читает книгу; мне нужна натурщица, не знаешь ли ты, где бы мне достать такую? Я сперва не понимала, что это такое значит; он мне объяснил и стал приставать ко мне, чтобы я была у него натурщицей, обещая мне платить по три рубля за час, клялся и божился, что будет уважать меня и чтоб я не боялась... ничего то есть не боялась. Ну, на этот раз я вырвалась и убежала,— прибежала домой запыхавшись, отдала вашей маменьке ответ с каким-то альбомом да и говорю ей: так и так, мол, никогда вы меня туда не посылайте...

«А что такое?» — говорит. Ну, я и рассказала ей все, что было; а ваша мама поглядела на меня да и сказала: «Ну, дура

же ты; я бы на твоем месте согласилась, он же человек женатый — бояться нечего; можно быть и натурщицей честной девушкой; а видно, ты хорошо богом создана; ведь не всякая, говорит, годна для этого, нужно, говорит, красоту иметь». Ну вот, я и стала думать, честно это или нечестно? Так бы это все и прошло, если б опять ваша маменька не вынесла этого альбома и не спросила: кого бы послать к ***? «Феня,— сказала она,— пошли хоть Федота да расскажи ему, куда пройти, да чтобы он руки вымыл!» Я подумала, подумала да и говорю ей: «Я, сударыня, говорю, и сама схожу».— «А что, говорит, если он опять будет приставать к тебе?» — «Да пусть пристает, говорю, не боюсь...» Ну-с... так и пошла опять. Так мало-помалу он и уговорил меня. Да что он,— я бы его не послушалась, а то пришла его жена, еще молодая женщина, и та стала меня уговаривать — и уж потом они хвалили меня, хвалили! Так я и стала натурщицей! Человек он солидный, ничего дурного от меня не хотел, не обижал меня — я так и привыкла.

После этого рассказа я, конечно, перестал винить ее; только спросил не без тайной ревности:

— А что, если бы Костя тебя позвал, неужели бы ты и к нему пошла?

— Костя ваш болтун — ни в жизнь я не пойду к нему! — сказала она и вся вспыхнула.

И эта Феня непременно бы заняла первое место в моем воображении, и ничто бы не спасло меня, как барчонка, от баловства и своевольного с ней обращения, если б не встреча с хорошенькой Верочкой.

ГЛАВА XXXIX

Эту Верочку опять встретил я на Невском, и на этот раз ее мамаша, Анна Филипповна Зайковская, уговорила Фреймана зайти к ним в гости. Мы зашли, и с тех пор я несколько раз бывал у них. Передам впечатления, оставшиеся у меня в памяти.

Детская Верочки была маленькая комнатка, одной только перегородкой отделенная от спальни ее матери, где часто слышался скрипучий голос Равинина. Комната эта заключала в себе немалое количество всякого рода игрушек: на стене висел волан рядом с раскрашенным арлекином из картонной бумаги, приводимым посредством шнурка в движение, то есть дрягающим руками и ногами; в одном углу сидели кукла разряженная и кукла раздетая, в другом — лежал в колыбе-

ли ребенок с стеклянными глазками, из-за него выглядывала усатая морда деревянного пуделя; на маленьком столике стояли жестяная печь и миниатюрная кухонная посуда, а посреди всего игрушечного царства, рядом с зеркальцем, на двух точеных ножках перед окном возвышалась клетка с белкой; это была единственная живая игрушка, двигающаяся без помощи пружин и ниток.

Самой Верочке было около девяти лет, и в эти годы сама она была невообразимо изящною, хорошенькою куколкой.

Когда я вошел к ней, она сейчас же поцеловала меня и сейчас же села за свой маленький туалет, взяла гребешок и стала причесывать свои растрепавшиеся локоны. Кокетливо любуясь на свое отражение в зеркале и щуря глазки, она продолжала болтать со мной.

— Ну! — сказала она, соскакивая с низенькой скамейки и бросая гребень,— ну-с, чем мне вас угощать теперь?

— Ничем,— сказал я отрывисто.

— Нельзя, мама разбранит меня, если ничем не стану вас угощать; хотите кофе?

— Нет-с, покорно вас благодарю.

— Ну, хотите котлету под соусом? — и говоря это, Верочка схватила маленькую оловянную кастрюльку, раскрыла крышку и поднесла мне три миндальных ореха, которые едва помещались на дне этой посудины! — Mangez ça *, одну вы — я другую... ну, садитесь, будьте как дома... Вы кушайте, а мне позвольте отправиться по хозяйству. Знаете, у хозяек всегда много хлопот,— добавила она.— Вам же не будет скучно: вот вам рекомендую — Дарья Ивановна, госпожа Белкина! — обратилась она к белке, усевшейся на задние лапки.— Вот и вам котлетка, Дарья Ивановна, только, пожалуйста, займите гостя; если он будет скучать без меня, я буду на вас в большой, в большой претензии.

И Верочка выбежала из комнаты, размахнувши своими русыми локонами.

Я остался один с белкой, то есть с Дарьей Ивановной, но ей, должно быть, не понравилась моя физиономия,— она вскочила в колесо и, воображая, что улепетывает, стала быстро перебирать своими лапками; колесо закружилось вихрем и зашумело.

Вошла Анна Филипповна, мамаша Верочки. Эта бывшая актриса несомненно была в свое время кумиром молодежи.

---

* Кушайте это *(фр.)*.

Ей и теперь казалось с небольшим двадцать три года, тогда как, судя по летам ее дочери, ей должно было быть никак не менее двадцати семи. Миловидная блондинка с высокой грудью и тонкой талией, с тонким румянцем на щеках и прозрачными голубыми жилками на висках, она сразу влекла к себе. Темно-голубые, почти синие глаза ее глядели грустно и задумчиво, а улыбка не сходила с губ — так и порхала по всему лицу... Равинин, человек, насмеявшийся над множеством обманутых им женщин, недаром же привык к ней так, что, несмотря на всю свою сухость и скаредность, не решался расстаться с ней; на этот раз я слышал голос его, но не видал его.

— А где же моя дурочка? — спросила мамаша.

— Не знаю-с.

— А вы скучаете без вашей мамы?

— Да-с, очень...

— Придет время — перестанете скучать, много воды утечет: вечно нельзя ни о чем плакать... поплачете, да и перестанете. Спасибо вашему гувернеру, что он позволил вам зайти к нам; он ушел куда-то, но сказал, что сейчас вернется...

— Я... и без него могу-с...

— А моя дурочка с ума по вас сходит. Ей непременно хотелось, чтоб вы зашли к нам.

В это время вбежала Верочка.

— Где ты была? — спросила мамаша.

— Так, бегала по хозяйству...— и улыбнулась, глядя прямо в глаза своей матери.

— Ну, играйте, играйте!..— И она вышла.

«Я не дитя, чтоб играть с ней»,— подумал я и сказал:

— Я не люблю играть, даже кукол терпеть не могу.

— А что же вы делаете?

— Как что я делаю? Читаю, пишу, рисую.

— А что же вы читаете? «Священную историю»? А?

— Нет!

— А что же?

— Романы,— отвечал я не без гордости.

— А знаете: «Гусар, на саблю опираясь, в глубокой горести стоял»? [59]

— Нет... не знаю...

— А я знаю... А знаете вы загадки?

— Какие?..

— Какие-нибудь.

— Какие-нибудь — знаю. А вы небось отгадаете? Ведь вы не отгадаете...

— Ну, скажите... скажите... погляжу, какие у вас такие загадки.

— Ну, что значит: четыре четырки, две растопырки, седьмой вертун да два яхонта?

Верочка расхохоталась, да так, что я сконфузился, как будто сделал или сказал какую-нибудь непростительную глупость. Долго хохотала Верочка, а чему — я решительно понять не мог, только краснел да глядел на нее.

— Повторите-ка,— сказала она, утихая.

— Не хочу я повторять,— сказал я,— вы надо мной смеетесь.

— Ну, а хотите я вам загадаю?

— Загадайте.

— Что значит — что-о-о-о зна-а-ачит,— протянула она, поглядывая на меня исподлобья, коварно улыбаясь и краснея,— что это значит: «Милый мой спит со мной, ходит в трауре»? И затем она опять захохотала и, как бы волнуясь от тайного смущения, прошлась по комнатке.

Я стал думать... долго думал, и мне казалось, я начинал понимать смущение Верочки: «ходит в трауре» — кто же это ходит в трауре? Я хожу в трауре,— это она меня назвала «милый мой» — понимаю!.. Но что значит: спит со мной? разве я сплю с ней? О! это значит, что когда она спит, она обо мне думает... что без мысли обо мне она и спать не ложится!.. Понимаю,— она этим просто хотела сказать, что влюблена в меня.

Так размышлял я, краснея и волнуясь, и — о, хитрец! — в то же время прикидывался ничего не понимающим, говорил, что такой загадки нет и никогда не было. Потом просил неделю на размышление, уверял, что когда я приду в другой раз, тогда я отгадаю...

— А когда вы придете в другой раз?

— Не знаю.

— Приходите завтра — завтра воскресенье.

— Может быть...

— Нет, не хочу «может быть», а завтра, завтра, непременно завтра...

На другой день, пройдясь с Фрейманом по Невскому, я сказал ему:

— Ступайте куда-нибудь, а я зайду к Зайковским,— меня нынче звали — я обещал зайти. Вы после за мной зайдите.

— Гм!.. опять туда?.. ну, gut *.

* хорошо (*нем.*).

— А отчего вы не хотите, чтоб я один шел, разве я маленький?

— Это русский такой глупый порядок,— отвечал он,— у нас в ваши года мальчики одни гуляют и одни в школу ходят.

— Пустите,— я один пойду.

— Ну, gut.

Позвонил я к Зайковским. Горничная отворила мне дверь, я снял шинель и спросил: дома ли Верочка?

— Пройдите в ее комнату, подождите; ее дома нет, сейчас придут...

Я вошел в комнату Верочки,— вижу — на небольшом сундучке, бледно-желтый, в зеленом халате, сгорбившись и опустивши черешневый чубук, сидит Равинин. Когда я вошел, он раскрыл рот и, оглядев меня, спросил:

— Это ты звонил?

— Я-с...

— Маланья! поди сюда...

Вошла та же горничная.

— Ты не была на лестнице?

— Была, Николай Николаевич!

— Никого там нет?

— Никого-с.

— Набей мне трубку,— проскрипел он.— А ты что теперь делаешь? — обратился он ко мне,— баклуши бьешь? Говори, как арестовали Кремнева?..— И, вытянув шею, Равинин уставил на меня черные, испуганные глаза.

Я, как умел, рассказал ему все, что знал.

— А не знаешь ты, бумаги твоей матери опечатаны?

— Опечатаны.

— Полиция опечатала? Э?

— Полиция.

— Э!.. А никаких бумаг или писем матушка твоя не жгла — а?

Я молчал и потупился, боясь выдать то, что считал тайной. Я вспомнил, что Кремнев не желал даже, чтоб наши домашние знали об этих сожженных письмах.

— Э! Что ж ты не отвечаешь?

Я молчал: он мне в лицо упирал глаза свои и наконец проговорил:

— Поди сюда.

Я подошел; он одной рукой тяжело охватил меня за шею и сказал:

— Скажи мне на ухо, жгла мать твоя бумаги или не жгла?

Лицо его при этом приняло свирепое выражение. Мне даже показалось, что он собирается удавить меня. Я молчал.

— Что же ты молчишь... глупый мальчишка! Я не шутя тебя спрашиваю... трус! Разве я не вижу, что ты что-то знаешь, или тебе не велено говорить?

— Не велено,— прошептал я ему на ухо.

Лицо Равинина просияло.

— Гм! так она их сожгла... ну, и никому не говори про это... Умная женщина мать твоя. А ты сам видел? Э?

— Александр Сидорович при мне...

— Что при тебе?.. ну, говори, мальчик! — и он погладил меня по голове.

— Бросил в печь какую-то связку,— сказал я.

— И много было там писем?

— Не знаю.

— Ну, а какой величины была связка — эдакая... или эдакая?

— Вот эдакая,— отвечал я, раздвинув пальцы.

Вошла Маланья и принесла Равинину трубку. Он перестал глядеть на меня и стал курить, заметно успокоенный. Но разговор этот дал немалую пищу моей фантазии и моим предположениям...

Что касается до загадки... увы! в этот же день к вечеру разгадка положила конец всем моим мечтам и фантазиям. «Милый мой спит со мной, ходит в трауре» — значило: блоха!!

Это слово «блоха» было сказано Верочкою шепотом, на ухо своей мамаше; но так как шептать и в то же время заливаться громким смехом невозможно — шепот как раз получил какую-то особенную звучность, и чуткие уши мои как раз подслушали это милое словечко — «блоха».

— Я не знал,— сказал я полуобиженным тоном,— что это такая глупая загадка!

Пробыв с Верочкой до самого вечера, любуясь ею в сумерки, любуясь при свечах, любуясь на скамеечке пред пылающей печкой,— я не мог в нее не влюбиться, и не мог потому, что ребяческое сердце мое было мягко и впечатлительно, как воск; нервы наэлектризованы, а голова полна грез и мечтаний, тех мечтаний, которыми полна беззаботная жизнь, романы, рассказы, намеки, жажда чего-то необычайного и молодая, рано ускоренная в своем движении кровь. Любовь эта опять приняла какой-то идеальный характер — и перед яркой красотой Верочки померкло свежее, приятное, но все-таки простое лицо нашей Фени. Я перестал уже и подходить к ней, особливо с тех пор, как однажды, за обедом

у Зайковских, Анна Филипповна сказала нам: вы сидите — точно жених с невестой. При этом, помню, Верочка оглянулась на меня, как бы желая удостовериться, достаточно ли я хорош для того, чтобы быть женихом ее.

ГЛАВА XL

Прошло шесть или семь недель...

Я сидел у себя в комнате и занимался, рисовал баканом пылающее сердце, пронзенное стрелами Амура. Мой немец переписывал немецкие стихи для Луизы Карловны. (Пользуясь тем, что я целые дни стал проводить у Верочки, он ходил к Луизе в Троицкий переулок, и уж я не знаю, просто ли питал к ней дружеское расположение или также платил дань Амуру...)

Итак, мы оба были серьезно заняты, как вдруг отворилась дверь, и вошел низенький старичок с красноватыми бугорками вместо бровей, угреватый, седой, плотно остриженный и с тростью, которой набалдашник был усеян каменьями: это был мой опекун Нарышкин.

Я смутился и встал перед ним, не говоря ни слова.

Он поглядел на меня, замигал глазами и что-то сказал, но что такое — я не расслышал. Потом он подошел к моему столику, взял в руку рисунок с пылающим сердцем, поглядел на него, положил опять на стол, как вещь, на которую не стоит обращать внимания, и по-французски спросил Фреймана: доволен ли он учеником своим? Фрейман ломаным французским языком начал довольно подробно докладывать ему о моих способностях. Старичок помыл свои руки, то есть плотно потер их одну о другую, и вышел.

Мысль о том, что этот человек может мной распоряжаться, невольно пришла мне в голову. Я спрятал «пылающее сердце» и с легкой дрожью вышел в залу. В зале, около буфета, стояли Логин и Семен.

— Я здесь недолго пробуду,— сказал старичок,— даже не знаю, точно ли покойная барыня назначила меня опекуном — не знаю. Я остановился в гостинице и уж дал знать полиции, чтоб она сняла эти печати. Надо поглядеть, есть ли завещание. А где этот... Кремнев, который писал ко мне?

Ему сказали, что Кремнев арестован. Старичок как будто удивился, но не сказал ни слова; потом оглянул мебель, зеркала, часы, старые картины и прошептал:

— Куда эту дрянь девать?..

Тут пришли наши женщины и девицы: каждая из них

молча подходила к его руке, и он давал им целовать ее, как нечто для него самого священное. Судя по вытяжке и по трепету, с каким встречали наши домашние Никиту Ивановича, надо было предполагать, что уже до них дошли слухи, что этот старикашка крут и шутить не любит. Вспомнил я, глядя на него, мое раннее детство, вспомнил, как я тогда его боялся и как однажды Равинин подсылал меня к нему и приказывал мне сказать ему, что он — шпион. Все это я вспомнил — и почему-то, глядя на его распоряжения, холодные и в то же время отличающиеся какою-то лаконичной краткостью, видя, как он на всех зорко и пристально поглядывает своими маленькими серенькими глазками,— я начинал чего-то трусить.

— Не приезжал Лев Маркович? — спросил он Логина.

— Никак нет-с! — отвечал ему Логин, заложа руку за пазуху.

— Кто вел расход со дня кончины генеральши?

— Я-с! — отвечал Логин.

— Все это мне в свое время представить; теперь я ни во что не вмешиваюсь. Сережа! одиннадцать часов. К двенадцати мы будем с тобой на кладбище: сейчас одевайся и едем служить панихиду. Часто ли ты по ней панихиду служил?

Я сказал, что два раза.

— Маловато: бог молитву любит; без молитвы и трава не растет.

И через десять минут я уже летел с ним в теплом возке к загородному кладбищу, на могилу моей матери.

Там в церкви во время панихиды я горько плакал; Нарышкин стоял на коленях, и стоял так, как будто они были у него железные. Он не плакал, но, склонясь одной рукой на свою трость, твердо держал в другой свечу, бормотал про себя молитвы, мигал и не обращал на меня внимания, чего мне очень хотелось... Мне хотелось, чтоб мое горе поселило в нем такое же ко мне участие, как и в моих домашних. Участие — это в своем роде баловство, к которому мы привыкаем с детства и без которого жить не можем, если только оно навсегда избаловало нас. Беспрестанное участие в наших невзгодах нередко обессиливает характер наш, обессиливает в такой же мере, в какой сочувствие к трудам нашим его поднимает и укрепляет.

Наступили дни, описание которых ни в каком случае не могло бы удасться мне. Я сам ничего не знал, что делается в нашем доме.

Полиция отперла дверь кабинета и спальни моей матери;

при этом был какой-то адъютант, какой-то господин в дворянском мундире, какой-то чиновник... Отпирали ящики, записывали, составляли акты. Завещание было сделано по форме и прочтено при всех наших домашних; но оно было очень коротко, то есть не заключало в себе никаких распоряжений ни насчет наших домашних, ни на счет вещей: все распоряжения, в том числе и хлопоты по уплате долгов, сваливались на опекуна, то есть Нарышкина. Завещание это было сделано еще в год смерти моего отца, и, вероятно, было сделано с мыслью, что жизнь еще длинна и что есть еще время сделать когда-нибудь другое завещание. Все же, что на словах поручила мать моя передать Нарышкину, погибло для меня и для многих, потому что Кремнев не мог сообщить опекуну ее последних желаний.

Аксюта позеленела, не услыхавши в этом завещании своего имени. Другие, в особенности Логин, по-видимому, были покойны.

Денег между бумагами покойной было найдено только 217 рублей с надписью: «За квартиру». Логин сообщил, что за похороны расплачивался Кремнев и что на дальнейшие расходы он получил от него же 424 рубля ассигнациями в ту самую минуту, когда тот выходил из передней, чтоб уехать,— что деньги эти были отданы ему при свидетелях, что он тотчас же их счел и записал.

Нарышкин взял из гражданской палаты какого-то чиновника и занялся с ним моими делами. Он каждое утро около двенадцати часов приезжал к нам в дом, призывал по очереди людей наших, и, к концу концов, были сделаны им следующие распоряжения:

Квартиру сдать, ненужную мебель продать; кучера, повара, поваренка и всю мужскую прислугу отпустить на оброк и дать им паспорты. Баб и девок перевести в деревню, в том числе и Аксюту. Логину поручить поправку нашей маленькой дачи, что на Петергофской дороге, и на этой даче поселить его вместе с женой (дочери его, как вольные, могут жить, где хотят). Я должен также на некоторое время ехать в деревню к Нарышкину и жить там под его надзором.

Фрейману были отданы деньги за два месяца, и ему было сказано, что если он пожелает, то может также ехать в деревню и что на дорогу ему будут выданы деньги: Фрейману жаль было покинуть Питер, ему не хотелось ехать, и ничего решительного он не сказал Нарышкину, то есть сказал, что подумает.

Кредиторов моей матери опекун мой принимал у себя в гостинице и со многими из них расплачивался: видно, он

знал, что у матери моей не осталось денег, и приехал с деньгами.

Итак, в судьбе моей, в судьбе всех меня окружающих совершался переворот. Для меня все это было неожиданно. Я мечтал... о чем я не мечтал? — и о том, что я буду великим художником, и о том, что я женюсь на Верочке, и о том, что спасу Россию от какой-нибудь гибели, и о том, что рабов у меня не будет и что я сделаюсь писателем не хуже Карамзина... одним словом, мечтал обо всем, кроме жизни в деревне, под надзором старика, уже почему-то для меня в высшей степени неприятного. Даже днем я бросался на свою постель, и уткнувши голову в подушки, думал: «Как это я расстанусь с Верочкой, с Феней, с Логином, со всеми, к кому я привык, как это я буду жить в деревне — и что такое деревня?.. Господи, господи! что такое будет? Не сказать ли этому Никите Ивановичу: не хочу, не хочу, да и баста, делайте со мной, что хотите... Не станет же он меня бить за это? А что, если он станет бить меня?!.»

Начались толки у нас в кухне, в девичьей, в передней.

Одно утешало нашу дворню: Нарышкин оказался щедрым. Отложив в сторону меха, подушки, кружева, золотые вещи, каменья и образа моей матери, велел их укладывать, а весь остальной гардероб — платье, белье и обувь отдал нашим женщинам.

— Эти тряпки,— сказал он,— вы можете себе взять, а дележ — это уж не мое дело, а ваше.

И начался дележ, то есть споры, ссоры, упреки и взаимные нарекания. Даже Аграфена, как моя бывшая няня, пришла и пожелала себе части. Всякий раз, когда Нарышкин садился в возок и уезжал, поднимался содом у нас; из меня хотели сделать нечто вроде судьи, но эта роль не удавалась мне, и я не знал, что мне делать. Аксюта уверяла, что лиловое атласное платье было ей обещано еще моей покойной матерью. Феня уверяла, что так как Аксюта взяла себе самое лучшее платье пропавшей Юлиньки, то и может ей уступить это лиловое. Аксюта говорила: «Ты вольная, тебе ничего не нужно,— дай мне волю — я ничего не возьму»; ей возражали, что шелковое платье не нужно ей будет в деревне. «Ну, так я продам его, дряни вы эдакие, а если не продам, так изорву — лишь бы не вам!»

Одним словом, дележ этот перессорил всех моих домашних, и в этом настроении духа наши люди по целым дням не только не обращали на меня внимания, а забывали вовремя ставить самовар или готовить что-нибудь к завтраку. Я уверен, что в это время были и такие, которые крали, то

есть прятали к себе все, что попадалось на глаза и что можно было спрятать. Стройная жизнь превратилась в хаос, и, среди этого хаоса, один только мой Фрейман преспокойно писал свои письма и покуривал свою трубочку. Раз ему забыли подать кофе, он послал меня спросить, будет ли ему кофе; мне отвечали, что был, да вышел, купили да еще не изжарили и не смололи. Фрейман оделся и пошел в кондитерскую к знакомому немцу кофе пить. Он понимал, что все идет врозь, и что он сам не знает, на что ему решиться и где он будет; но он был философ — ему было все равно.

В одну из таких неприятных минут явилась к нам княгиня Малыгина. Нетвердой поступью, но бодро держа свою голову, она вошла к нам в залу и, запыхавшись, объявила, что желает со мной видеться. Я вышел; она обняла меня, стала целовать, ахать, охать, расспрашивать и наконец вздумала немедленно везти нас к себе обедать (меня и Фреймана). Мы, как ни отговаривались, никак не могли отговориться — и поехали.

Княгиня ухаживала за мной, даже уговаривала меня не ехать в деревню — остаться у нее в доме. «Велю тебе, mon cher, приготовить комнату,— говорила она,— и будешь ты жить у меня, как сынок родной; право, скажи-ка это своему опекуну, зачем тебе ехать, и ехать в глушь! Вот я не один десяток на свете живу, а никогда в деревне жить не могла... Нет, дитя мое, кабы ты у меня жить остался, я бы повезла тебя за границу, душа моя, и чудесно бы ты прокатился со мной...»

Видно, княгиня эта решительно не знала, чем заполнить жизнь свою; у ней, очевидно, сердце было любвеобильное, но непостоянное и взбалмошное, такое же, как и голова ее. Несмотря на ее шестьдесят лет, ей, вероятно, нравился не характер мой и не мое сиротство возбуждало в ней сожаление, а просто нравились ей мои карие глаза, которые даже баронесса Бафель нашла блестящими. Покинутая и даже во всех отношениях обманутая и осмеянная своим юным мужем, она была огорчена и расстроена, не догадываясь, насколько были смешны ее претензии на красоту и страсти. В молодости избалованная светом и отвергнутая им в старости, она не довольствовалась воспоминаниями, ей хотелось беспрестанно если не самой влюбляться и действовать, так, по крайней мере, видеть влюбленных, принимать в них участие, играть роль в каком-нибудь сватовстве, скандале и проч. и проч. Одним словом, не унималась эта скучающая, суеверная, на французских мемуарах XVIII столетия воспитанная натура. Зизи не могла удовлетворять ее. Не красавица и религи-

озная до фанатизма, скрытная не по летам и холодно-насмешливая, к тому же убежденная, что княгиня родная мать ее, и оскорбляемая названием воспитанницы, Зизи не могла не потерять ее расположения, мало того — ее присутствие для княгини было чем-то вроде божеского наказания: несомненно, что между ними были частые сцены, и что эти сцены ставили княгиню в неприятное положение.

После обеда Зизи села за клавикорды и стала петь «Stabat mater» *. У нее был контральт, она пела недурно, на церковный манер, но пела с чувством, мягко, как бы кого благословляя; опускала она свои руки на клавиши и поднимала глаза свои, как бы созерцая какое-то мимо нее проносящееся видение. Была ли это аффектация или это было искренно — не знаю.

— Ах! Юлия когда-то любила этот гимн,— сказала она, окончив свое пение.

— Юлия сама бы пела недурно, если б училась,— заметила княгиня.

Тут я рассказал им, как я был у сумасшедшего Ильина, и передал все, что он говорил нам о Юлиньке.

Зизи вся превратилась в слух и, когда я кончил, воскликнула:

— Ну что! Ведь я сказала, что она жива! и что голос свыше не обманул меня!..

— Да... но ведь он безумный,— заметила княгиня,— ему это могло померещиться.

— О! — сказала Зизи,— безумные часто ближе к истине.

— Не согласна,— возразила княгиня,— юродивые — да... но не безумные.

— А что такое юродивые? — спросила Зизи и вытянула свои губы в саркастическую улыбку.

— Ты этого, мать моя, не знаешь,— твои патеры люди ученые — и, может быть, люди очень умные; но о наших юродивых не имеют никакого понятия... никакого, мать моя, никакого понятия! лучше не спорь.

И Зизи не спорила, но с таким презрением поглядела на свою мама, что лучше бы спорила.

Потом разговор пошел о Кремневе. Княгиня была в страшном недоумении, за что это могли взять его.

— А впрочем,— добавила она,— поделом ему! — и утвердительно кивнула головой.

Зизи, напротив, не утерпела и сказала мне:

---

* Мать ‹скорбящая› стояла (*лат.*).— Начало кантаты Дж. Пергалези.

— Ах, какая досада! какая досада! мне хотелось непременно его видеть, мне нужно непременно поговорить с ним; авось его скоро выпустят.

— Ну, уж вряд ли,— сказала княгиня,— кто попался, того не выпустят.

Затем у княгини явилась фантазия заставить всех нас говорить по-немецки. Зизи на этот раз с ней не спорила и стала по-немецки расспрашивать моего Фреймана, давно ли он знает Кремнева и что он о нем думает.

— Как вы думаете,— спросила княгиня Фреймана,— дурно или хорошо Зизи говорит по-немецки?

— Она говорит недурно,— отвечал ей Фрейман.

— А все-таки Сережа говорит лучше, чем она.

Наконец, обласкавши меня и закормивши меня конфектами, княгиня на прощанье подарила мне великолепную фарфоровую чернильницу и отпустила нас. Признаюсь, я уехал домой с большим удовольствием, так как мне было как-то неловко в гостиной княгини. То ли дело в маленькой комнатке за перегородкой у грациозно-шаловливой хохотушки Верочки!

ГЛАВА XLI

Но пришла пора, я должен был расстаться со всем, что было дорого мне, как ребенку. Я помню, какая лихорадка была в душе моей и какое томно-бледное личико отражалось в тех зеркалах, которые стояли, прислонясь уже к пустым стенам, и ожидали покупщиков своих. Помню, когда дюжие руки поднимали их и уносили, в последний раз мелькнуло и покачнулось в них мое отражение. Часть нашей мебели, и в том числе двуспальную кровать моей матери, купил часовщик, муж Саши, иначе сказать, зять нашего Логина. Помню, как опустела наша квартира, *дворянское гнездо мое*, и какой беспорядок был во всех комнатах, начиная с передней и кончая девичьей. Кажется, опекун мой решился продать все наши громоздкие вещи для того, чтобы уплатив по какому-то просроченному векселю, не допустить кредитора до взыскания, то есть до продажи с аукциона всего нашего движимого имущества. Говорю, кажется, потому что помню, речь шла о каком-то просроченном векселе и о том, что пока я выросту — воды много утечет; и тогда я могу завести мебель по своему собственному вкусу и выбору.

Нарышкин не отдавал отчета в своих распоряжениях. Он стоял в лучшей петербургской гостинице и занимал лучший

нумер в три комнаты с коврами и канделябрами. Вставал он с постели по-деревенски, около семи часов утра, иногда еще раньше, при свечах. Яков, его камердинер, подавал ему умываться, потом приносил самовар, заваривал чай, шел за хлебом, и во все это время не произносил ни одного слова — барин не любил разговаривать. Никита Иванович, пока варился чай, в шелковом китайском халате становился на колени перед образом и молился, ни на кого не обращая ни малейшего внимания. Пока он пил чай, Яков чистил его платье; пока Яков чистил платье, в переднюю собиралась целая толпа мужиков и мастеровых, крепостных его барина, находившихся в то время в столице, кто с просьбой, кто с оброком, кто за паспортом, кто с жалобой на полицию, а кто с поклоном и даже каким-нибудь приношением. После чаю начиналась аудиенция, но Нарышкин и при этом не пускался ни в какие разговоры. Помню, раз при мне какой-то мужичонко, косноязычный, должно быть, штукатур, потому что смурый кафтанишко и даже лицо его были забрызганы известью, много и долго что-то толковал Никите Ивановичу. Долго слушал его опекун мой с невозмутимым спокойствием, вдруг покраснел, схватил его за бороду и ну ее трепать. Мужичонко повалился на колени и стал за эту трепку лобызать руки своему барину. Я убежал в сени с ноющим чувством в груди — я еще никогда до того времени не видал, как треплют бороды. Мужичонко вышел в переднюю и грязным комком не то платка, не то тряпки стал вытирать сморщенные глаза свои. Яков, камердинер, на этот раз развязал язык свой и стал укорять его, продолжая шмыгать щеткой:

— Дай вам волю-то,— ворчал он,— вы и бога-то забудете... Шутка сказать, третий год шляешься, оброку внести не можешь! Вам бы тут все пьянствовать да по трактирам чаи распивать!

И гладко выбритое, еще молодое, но уже сурово-холуйское лицо Якова принимало при этом совершенно барское выражение. Этот Яков и на меня как-то неприятно действовал, он и со мной обращался как-то молча и как будто внушал мне: вы, дескать, барин и вам-де болтать со мной не приходится.

Все это я помню, потому что последние дни мои в Петербурге проводил я в той же самой гостинице, в какой-то длинной и узенькой комнате с одним окном и спал на диване. Чемоданы мои были уже уложены. За день или за два до масленицы назначен был час нашего отъезда. Фрейман переехал куда-то на квартиру и только по утрам часа на два, на три стал заходить ко мне. Мне хотелось проститься с Де-

сартом — даже он стал дорог моему сердцу; Десарт был болен, у него была горячка, и он был при смерти: видно, что потеря Юлиньки не прошла для него даром. Итак, даже если этот, когда-то ненавистный мне старик Десарт стал мне мил и дорог, можете вообразить, как дорога и мила мне стала Верочка, как тяжело мне было расстаться с этой хорошенькой и ласково-веселой девочкой!

— Позвольте мне сходить проститься с Зайковскими,— сказал я Никите Ивановичу часу в седьмом вечера, после того как, напившись чаю, он сел за письменный стол и стал что-то переписывать.

— У твоей матери,— отвечал он, подумавши,— не было никаких Зайковских в числе ее знакомых.

— Это мои знакомые.

— Кто ж тебя с ними познакомил?

— Кто меня с ними познакомил? Кажется... Равинин.

— Этот Асмодей, прости господи, если и познакомил тебя, так не к добру.

— Не знаю, к добру ли, только я очень люблю Зайковских, они добрые...

— Ну, ступай, ступай, если добрые! — торопливо и как бы сердясь, отвечал он. Ходя около его локтя, я, очевидно, мешал ему; он, кажется, был очень доволен, что в этот вечер я не буду торчать у него под носом, и отпустил меня.

Был безоблачный, ясно-морозный вечер, когда один, без проводника, очутился я на Невском. Там, на углу Морской, остановился я — и стал мысленно прощаться со всеми мимо проезжающими и мимо проходящими. Да, я прощался в эту минуту и с этими темными, круто поворачивающими экипажами, и с этими фонарями, и с этими золотом сверкающими вывесками, и с этими тенями, которые, как в калейдоскопе, росли, сокращались и перепутывались на утоптанном снегу, между колес, лошадиных ног, тротуарных тумб и пешеходов, перегоняющих салопы и платки, которыми горничные спешили накрывать свои головы. Эти беспрестанно двигающиеся тени были беспрестанно движущимися иероглифами. И было бы так же трудно понять их, как трудно понять смысл в коловороте столичной жизни; но я и не хлопотал о каком бы то ни было понимании,— напротив, как кажется, я никогда еще не был так далек от какого бы то ни было сознательного понимания. Мне просто было грустно: так, быть может, бессознательно грустно молодому деревцу, которое вытаскивают из земли с корнем с тем, чтобы пересадить его куда-то в незнакомое место — туда, куда вздумается людям перетащить его.

Настоявшись на одном месте и наглядевшись на водоворот столичной жизни, сначала тихими, потом торопливыми шагами пошел я по Невскому и от Казанского собора повернул направо. Нашел знакомый подъезд, взбежал в третий этаж и позвонил.

Я мечтал, как этот вечер вдвоем проведем мы с Верочкой, как я скажу ей, что я ее люблю, и как я поклянусь ей ни на ком, кроме ее, не жениться — ни на ком, ни на ком! Я мечтал, как обоим нам будет грустно — как Верочка будет плакать и целовать меня. Я мечтал так, как мечтают все влюбчивые мальчики на четырнадцатом году от рождения.

Но не удался мне этот вечер, этот прощальный, последний мой вечер в Питере! Случилось то, что я никак не предвидел.

Я застал Верочку с ее мамашей в салопах, в теплых сапожках и в капорах. Они уезжали — их ждала уже у крыльца карета, которой я и не заметил, так я был рассеян и так мне было грустно.

— Куда это вы? — спросил я их с отчаянием в голосе, и вот узнаю, что они едут к нашему доктору Ивану Павловичу, что у доктора этого детский вечер по случаю именин его старшей дочери, сговоренной за какого-то аптекаря. Каким образом супруга Ивана Павловича решилась принять у себя бывшую актрису и теперь женщину-содержанку,— это для меня покрыто мраком неизвестности. Она была пациенткой ее супруга, и очень может быть, что Иван Павлович сам не знал, кто она, что она, и просто, как великий знаток в детях, захотел побаловать себя Верочкой, поглядеть, как будет перед ним танцевать и прыгать эта миловидная куколка. Ее же мамаша, по виду своему и манерам, была дама в высшей степени приличная.

— Если вы знакомы с Иваном Павловичем — он будет очень рад, садитесь с нами и поезжайте... Так-таки просто садитесь и поезжайте.

Так решила мамаша Верочки. Я, разумеется, не спорил — мне было все равно, куда бы ни ехать, лишь бы в этот вечер не расставаться с Верочкой. У мадам Зайковской был, вероятно, и расчет взять меня с собой: она ехала в дом первый раз, и явиться с сыном мадам Чалыгиной, той самой, которая слыла аристократкой и о которой она так много слыхала от Ивана Павловича, было ей с руки. Это могло ее самое поднять в глазах хозяйки дома, как намек на ее знакомство с моей матерью.

— Куда хотите везите меня,— говорил я,— куда хотите!

Сели мы в двуместную карету. Верочка поместилась между мной и своей мамашей. Поехали.

Боже мой! неужели тот мальчик — и я, пишущий эти строки,— одно и то же лицо? Что же между нами общего? Что общего между иссякнувшим мутным потоком и теми жемчужными струями, которыми спадал он с высоты и пробирался на простор в долину?!. Одно общее — это — русло. Отнимите у этого русла память, и оно забудет, какие волны скользили по его зыбучей поверхности и насколько их течение видоизменило берега его.

Петербургские улицы не без ухабов. Эти ухабы я теперь проклинаю; но тогда, по милости этих ухабов, сильно раскачивался кузов кареты и Верочка хваталась за мою руку. Я крепко сжимал, тихонько от мамаши целовал ручонку Верочки и блаженствовал.

Наконец, мы приехали и вошли в переднюю. Я оробел — сразу можно было понять, что народу видимо-невидимо. Шуб и салопов были целые горы; ливрейные аргусы стерегли их. В зале слышался визг смычка, шум и говор. Не успел я снять шинельки, как из залы высунулась вопросительная физиономия Ивана Павловича. Этот безвредный доктор, этот добродушный папенька, по обыкновению, прежде всего устремил в переднюю свирепые взгляды и, уже вслед за этими взглядами решился подарить нас своей улыбкой.

— А знаете, кого мы привезли к вам? Надеюсь, вы не в претензии,— сказала ему Зайковская, улыбаясь и поправляя рукой свои локоны.

— Кого?.. Ага, брат! молодец!..— Но, поглядевши на меня, безвредный доктор выразил недоумение: жена его была суеверна; а я — вообразите, и в день рождения его дочери приехал — в траурной курточке!— Ага, брат! — повторил доктор и уставил на меня глаза свои.

Мамаша Верочки, кажется, также поняла всю неприличность моего костюма; но я, наивная душа, я ничего не понял. Несмотря на все желание мое корчить светского молодого человека, я, известно вам, от природы был довольно дик и застенчив при встрече с незнакомыми; вообразите же, что было со мной, когда этих незнакомых я нашел чуть ли не целую сотню. Битком была набита зала; но все больше были дети, мальчики да девочки всевозможных пород и возрастов. Потряхивая своей головкой, приседая и кланяясь, с пылающими щечками прошла Верочка в гостиную. Нагнувши набок свою широкую, лоснящуюся голову, скося

глаза и помахивая бровями, туда повел ее за руку сам почтенный хозяин вечера — сам Иван Павлович. Я, сконфуженный, остался в зале, нашел на углу стул, завладел им, уселся и — ни с места...

Не прошло десяти минут, как две скрипки и виолончель заиграли снова ритурнель кадрили, и танцующие дети, вместе с взрослыми, стали устанавливаться парами. За кадрилью последовал экосез, за экосезом — вальс, потом гросфатер — шумный, топотливый, оглашаемый детским смехом и говором. Нескончаемо долго тянулся для меня этот вечер, и чего-чего только в эти часы я не передумал! Я то ревновал Верочку, когда она любезничала с каким-нибудь кавалером, то любовался ею, и был совершенно счастлив, когда она, проходя мимо меня, тащила меня на середину и звала меня танцевать, а я отнекивался, уверял, что танцевать не умею, то рад был, что приехал, потому что лакомые подносы недаром же проходили мимо меня: они, как магнит, притягивали к себе всю пятерню мою, и мне приятно было при свете ламп читать конфектные билетики. Эта конфектная поэзия как нельзя лучше отвечала настроению души моей: то я воображал себя совершенно одиноким и всеми забытым, то считал себя незваным гостем и краснел от стыда, то поглядывал на дверь, ведущую в гостиную, и видел там супругу Ивана Павловича с большими темно-малиновыми бантами на чепце, из-под оборок которого мелькали маленькие бесцветные глазки и, наконец, лоснилось все лицо ее, расплывающееся в какую-то притворно-сладкую улыбку,— и все казалось мне, что улыбка эта переходила в какую-то плаксивую гримасу, когда ее глазки замечали в углу мальчика в трауре, то есть мою особу. Сам Иван Павлович (надо отдать ему справедливость) не только подходил ко мне, но еще сунул мне в руку какую-то грушу, необыкновенно сочную и душистую. Потом, когда я съел ее, он сурово спросил: не болит ли у меня желудок? и сказал, что, в случае надобности, я могу пройти через коридор в комнату Люлиньки, на этот раз превращенную в госпиталь для временно заболевающих.

Дети, особливо мальчики, сначала не обращали на меня внимания; но когда я у одного из них перехватил конфекту, имевшую вид колчана с золотыми стрелами,— на меня стали устремляться то насмешливые, то явно недоброжелательные взгляды. Особливо одному белокурому гимназисту, сутулому и при том завитому, я очевидно внушил какое-то подозрение. Он даже раз подкрался к моему карману и, заметив торчавший из него кончик платка, вдруг потянул его. Хоро-

шо еще, что я успел вовремя схватить его за руку, поглядеть на него сверкающими глазами и сказать:

— Ступай на улицу платки-то из карманов вытаскивать!

Но этим не кончилась история. Нас позвали ужинать. Стол для детей был накрыт в спальне хозяйки; кровать ее была отгорожена ширмами; около этих ширм стоял диванчик. Когда я вошел в эту комнату, я стал следить за Верочкой, и только что она села за стол, я шмыгнул, как кошка, и, как ни в чем не бывало, уселся с нею рядышком. Верочка, по-видимому, не обратила на это никакого внимания, но гимназист обратил.

Во время ужина он беспрестанно шалил и дурачился — вскакивал с места, просил лакеев налить ему бокал настоящего шампанского (у нас же на столе был мед, а не шампанское) и дразнил нас тем, что он пьет вино, а не мед. Девочки, глядя на него, хохотали; няньки, стоя за их стульями, уговаривали их кушать и пустякам не смеяться. Я сидел возле Верочки так смирно и тихо, что не смел не только есть или пить, не смел прямо глядеть ей в лицо: ноющее чувство страсти сделало меня совершенным дураком, и, как дурак, я был счастлив тем, что несколько складок ее воздушного кисейного платьица прилегло к ноге моей. Я покраснел, когда она задела меня локтем, и побледнел, когда она прищурила свои глазки и какому-то мальчугану погрозила своим пальчиком. Вообще, я был похож на человека, страдающего угрызениями совести и ежеминутно боящегося, что окружающие уличат его в преступлении. Вспомните, что весь вечер занимая последнее место — я теперь сидел на виду, так сказать, на самом первом месте, и в моей траурной курточке беспрестанно попадался на глаза суеверной хозяйке, которая раз десять ходила за ширмы, звенела ключами, выдвигала ящики, шарила, душила себя одеколоном и уходила... Выпив бокал настоящего шампанского, гимназист стал еще развязнее и стал понемногу приставать ко мне. Я долго отмалчивался, наконец, он назвал меня *черной пигалицей*, и так неожиданно-смешно назвал, что все девочки, даже моя Верочка, залились неудержимым смехом.

Я вышел из терпения, хотел засмеяться и отплатить ему тоже каким-нибудь прозвищем, но, видно, язык мой отказался произнести пошлейшее слово, которое пришло мне на ум; я привстал с места — и поднял кулак. Только что я поднял кулак, поднялся страшный гвалт. Сколько ни было нянек, все в один голос заахали, заголосили:

— Ай! ай! ай! драться! на драку лезть за столом-то, за

трапезой-то божией! Ай, страм какой! а еще барин! добро бы еще махонькой!!!

Я сел пристыженный и униженный. Мальчики все до одного приняли сторону моего врага и явно готовились после ужина сотворить со мной какую-то штуку.

Верочка также как будто осудила поступок мой, сказавши: «Вы чуть-чуть не задели меня по носу...» Мне хотелось плакать. Но, к счастью, загремели в гостиной стулья, а, вслед за этим, поднялась и наша компания; я проскользнул между большими, через залу пробрался в переднюю, огляделся и спрятался за вешалкой, за стеною шуб и салопов: там прижался я в темный уголок и горько заплакал.

Весь этот рассказ, скажут мне, годится в детскую книжку; но... в продолжение жизни моей между большими я встречал точно таких же детей, таких же завистников, таких же ахающих нянюшек, таких же любителей затевать разные штуки и приставать к партии наиболее дерзкого или наглого; даже мысли, которые в это время ворочались у меня в мозгу, эти детские мысли не раз впоследствии приходили мне в голову, и все они сводятся на одну и ту же детскую жалобу: что я им сделал? за что они на меня напали? за что вдруг ни с того, ни с сего возненавидели?

Так иногда рассуждает и чиновник, которого обижают взрослые дети, то есть такие же, как и он, чиновники; так рассуждает и сочинитель, на которого напали со всех сторон дети журнального мира — фельетонисты и критики... «Что я сделал?!» А я сделал то же, что делают и большие, сорокалетние, даже пятидесятилетние дети: я перехватил лучшую конфекту, как они перехватывают друг у друга лестное внимание какой-нибудь особы высокопоставленной или какого-нибудь редактора. Я поместился за ужином рядом с лучшей дамой, занял место подле прелестной Верочки. Может быть, каждому из этих мальчуганов хотелось занять то же самое место. Что ж тут удивляться и, точно взрослые дети, повторять: что я им сделал? за что они меня так возненавидели?! Итак, не за что собственно было мне обижаться, но факт был тот, что я обиделся. Мой последний прощальный вечер, с его мечтами и фантазиями, был отравлен. Меня искали мои враги по всем комнатам, даже заглядывали за вешалку, но, к счастью, никто из них не нашел меня, и я вышел из моего убежища не прежде, как услышал голос Верочки:

— А где же мои теплые ботинки?

Когда я стал надевать мою шинель, из залы глядели на

меня десятки глаз, высовывали мне языки, приставляли пальцы к носу, как бы давая знать мне, что я остался с носом, тогда как в сущности они остались с носом, ибо искали и нигде не нашли меня.

В этой же карете Зайковские повезли меня к себе на квартиру. Верочка задремала, и ее головка склонилась к моему плечу. Ее мамаша шутила над ней и заставляла меня рассказывать, что я делал целый вечер. Ожидала ли бедная госпожа Зайковская, что в эту ночь судьба готовит ей неприятный сюрприз — одно из тех огорчений, которые заставляют сильно думать, потому что нельзя не думать, очутившись на краю какой бы то ни было пропасти.

В передней Зайковского я нашел Логина, который дожидался меня, сидя на лавке, спал и только что проснулся. Горничная, снимая салоп с своей барыни, сообщила ей в двух словах, что Николая Николаевича нет, что за ним приезжали и куда-то увезли. Я помню, как мамаша Верочки вздрогнула и как вытянулось лицо ее. Особенно помню при этом совершенное равнодушие горничной.

— Кто же это приезжал? Как же это приехали и взяли?

— А кто их знает! — отвечала сонная горничная,— приехали да и взяли.

— Он поехал с офицером?

— А кто его знает? какой-то с воротником... пакет привозил — ну его совсем!

— От кого пакет? А?..

— А я не знаю — ну его...

— И Николай Николаевич ничего не приказал сказать мне?

— Скажи, говорит, что потребовали,— больше ничего...

— И больше ничего?

— Ничего...

Зайковская не простилась со мной, быстро ушла в темные комнаты, даже свечи не дождалась. Не знаю, любила ли она Равинина; но все материальное благосостояние этой женщины было в руках его. Пусть же подумают в эту минуту о ней все те, которых все благосостояние — квартира, стол, одежда, экипаж, отопление и освещение,— все зависит от чьей-либо благосклонной прихоти. Она же очень хорошо знала Равинина. Она понимала, что этот эгоист, попавшись в беду или поневоле расставшись с ней, о ней и не подумает.

Я так же в этот вечер не подумал об этой женщине. Я догнал ее дочку в коридорчике, перед дверями ее детской, отдал ей конфекту с колчаном и сказал ей:

— Прощайте, Верочка, мы больше не увидимся.

Она торопливо отвечала мне: «Прощайте, прощайте!» и убежала.

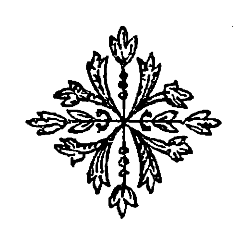
И вот, вся награда за горячую любовь! Взрослые, когда я вырос, поступали со мной не лучше, но, как видите, все начинается с детского возраста.

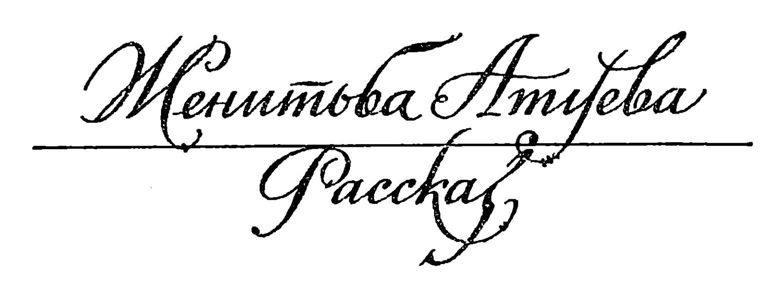
Эту последнюю ночь мою в Петербурге я спал не лучше возлюбленной Равинина, то есть почти не спал. На другой день, в час пополудни мы выехали. Нечего, кажется, говорить, что нас провожала целая толпа народа, что мне целовали руки, что Аксинья была зла и плакала, что Феня глядела на меня с грустным сожалением, что мать ее, жена Логина, повесила мне на крест какую-то ладанку, что Фрейман и Костя целовали меня и просили не забывать их, что Аграфена принесла мне на дорогу целый узел ею самой напеченных ватрушек и что опекун мой садился в карету, окруженный своими оброчными, которые и на улице, несмотря на вьюгу, стояли без шапок.

— Прощай, Петербург!

— Перекрестись! — сказал мне Нарышкин, и, когда возок наш, запряженный в шесть почтовых лошадей, тронулся,— я перекрестился.

Мы ехали в Рязанскую губернию, в имение Никиты Ивановича: и этот загадочный для меня старик, не то злой, не то добрый, не то дурак, не то умный, во всяком случае, чудак, молчаливый и неприветливый, заменил для меня все и всех, кого я покинул. *Заменил, не заменив!* Я плакал целые десять верст и только на первой станции, оглядывая снежные поля кругом и низенькие избы, понял, что прошедшего не воротишь. Как невозвратное, оно навсегда стало мне мило и дорого, так дорого, что история моего детства, вероятно, своими подробностями надоест не одному из числа тех, кто вздумает когда-либо пробежать рукопись Сергея Чалыгина.





I



тучали ножи и вилки, раздавался нестройный говор и носился пар от кушаний. За кухмистерским столом, в квартире госпожи Пфаль, под № 7, сидело около двадцати человек посетителей, по большей части людей молодых и еще не оперившихся. Был уже пятый час, и все места были заняты. Смерклось, и подавали свечи. Роза, пухленькая немочка, с ямочками на щеках, в синем полинялом спензере * и в фартучке, служила за столом. Молодые люди заговаривали с ней, иные заигрывали. Роза ни на кого прямо не глядела, но иногда кокетливо улыбалась и опускала глазки. Обед был в самом разгаре, подавали чиненную фаршем репу под соусом — блюдо для кухмистерского стола не совсем обыкновенное. Вдруг в передней раздался звонок. Роза поставила блюдо, побежала отпереть дверь, и спустя две-три минуты в комнату вошел новый, неизвестный хозяйке посетитель.

Это был человек, по-видимому, лет двадцати шести, невысокого роста, в сюртуке, клетчатых брюках, в золотых очках и с длинными космами волос, зачесанных за уши. Сухощавое, продолговатое лицо его книзу заканчивалось русою коротенькою бородкой, неподстриженною, но, очевидно, еще не успевшею подрасти; усики также были едва заметны, только кончики их торчали явственно в виде двух запятых; заостренный, продолговатый нос его был недурен в профиль; вообще, он был не хорош, не дурен; серые блестящие глазки на этот раз глядели исподлобья, так как вошел он

* короткая (шерстяная) куртка (*от англ.* spencer).

нагнув голову и как будто сконфузившись в присутствии незнакомого ему общества.

— Есть мне место? — спросил он вполголоса.

Никто не отвечал, только некоторые на него оглянулись, и застольный говор заметно стал тише.

Роза побежала за хозяйкой, передав блюдо с репой кому-то из присутствовавших, и оно пошло переходить из рук в руки; сосед стал потчевать соседа.

Пришла мадам Пфаль, женщина пожилая, но еще проворная.

— Вы немножко опоздали,— сказала она,— ну, да как-нибудь... Роза! накрой этому господину на ломберном столике, у окна... знаешь?

— Не дует? — спросил молодой человек и, не дождавшись ответа, положил на окно свою круглую шляпу, вместе с другими шляпами, шапками и фуражками.

Наконец принесли ему прибор, поставили стул и подали тарелку с супом.

— Что стоит билет? — спросил он.

— Сорок копеек,— отвечала, поглядывая в сторону, Роза и побежала за новым кушаньем.

«Здесь, кажется, не худо кормят,— подумал молодой человек,— гораздо лучше, чем у этой Панщевской. Гм! или они знают, что я литератор Атуев, или черт знает, что про меня думают, вошел — и притихли. Чего доброго, подумали, что я шпион какой-нибудь... и, как нарочно, ни одного знакомого!.. Как же это Солодов сказал мне, что здесь наш кружок иногда обедает...»

И Атуев стал вслушиваться в застольный говор. Говорили про апраксинский пожар; [1] но не про самый пожар, а кто где был в это время.

— Я,— говорил один,— был в это время в Павловске; долго машина не шла: пожарных инструментов дожидались.

— Каких пожарных! С какой стати из Павловска в Петербург пожарные инструменты посылать?..

— Да я сам с ними ехал.

— Да этого быть не может!

— Да я же вам говорю...

Начинался спор.

— А я в это время,— говорил другой,— у Макаровских в преферанс играл, и, как нарочно, только что сдали мне, и — можете представить, вижу, десять бескозырных! — вдруг прибегают, кричат: пожар! Эдакое несчастье!..

— Ну, а я,— сказал какой-то молодой франтик с эспаньолкой,— я в это время был здесь и Розе куры строил [2].

Все захохотали. Роза покраснела, с какою-то жалобно-кислою миной поглядела на франтика и покачала головой.

— Он все врет,— сказала она, и опять все захохотали.

Атуев посмотрел на сконфуженную девушку и подумал: «Туда же краснеет, а у самой, чай, и счету нет, сколько перебывало любовников».

Под конец обеда до слуха Атуева стал доходить знакомый голос. Кто-то кому-то объяснял какой-то инструмент.

— Это очень просто,— говорил знакомый голос,— трубочка... другая с округленным концом... она выдвигается, стоит только подавить пружину, и является острие; вы можете его поворачивать... очень просто: штука эта совсем не хитрая...

Атуев, в ожидании пирожного, перекинул одну руку за спинку стула, вытянул ногу и стал прислушиваться. Не столько самый предмет разговора интересовал его, сколько звуки знакомого голоса. «Неужели это Тертиев!» — подумал Атуев.

Ему подали пирожное, розанчик с капелькой красного варенья посредине; он начал его обламывать и есть, беспрестанно оглядываясь на один косматый затылок. «Должно быть, оброс; при мне был стриженый»,— думал Атуев.

— Пожалуйста, мне кофе покрепче и без сливок,— сказал он горничной нарочно громко, чтоб обратить на себя внимание.

Косматый затылок продолжал толковать какому-то бледному старичку о неизбежности какой-то операции и ни разу не повернул к нему своей физиономии.

Кончился обед; иные стали выходить, иные закуривали папиросы; комната наполнилась дымом и отдыхающими после обеда петербургскими джентльменами.

Наконец к окну, около которого сидел Атуев, подошел, несомненно за своею шапкой, широкоплечий, нараспашку, молодой человек с замечательно выразительною физиономией, с невысоким, но выпуклым лбом, с большими, темными при свечах глазами, прямым носом, широкими ноздрями и раздвоившимся, гладко выбритым подбородком. Это был тот самый косматый господин, голос которого, как какой-нибудь смычок, прошел по душе Атуева, возбудив в ней страшное желание заглянуть ему в лицо (ибо у каждого человечьего голоса непременно есть какое-нибудь человечье лицо), и Атуев, сквозь очки, устремил на него глаза свои.

— Тертиев, это вы? — спросил он.

— Я.

И благообразно-скуластый молодой человек поглядел на

Атуева с суровым недоумением и раздул ноздри; но вдруг лицо его озарилось; под верхнею губой сверкнули зубы, и темные, широко расставленные брови приподнялись.

— Это ты, Атуев? Ха, ха! Какими судьбами! Сколько лет не видались.

— Да сколько лет? Лет семь... много воды утекло! Помните... помнишь, я поехал в Харьков, а ты в Академию; пять лет я пробыл в университете, да вот здесь два года... Ну, что ты поделываешь?

— Да все еще без места; что бог пошлет, тем и пробавляюсь...

— Я также, чем бог пошлет... Пишу, знаешь, в разных журналах участвую.

— Молодец! Удивительное дело, как это я не узнал тебя; ну, и много тебе платят эти редакторы?

— Да я в прошлом году ровно тысячу триста пять рублей заработал.

— Мо-о-о-лодец! — еще громче и еще веселее сказал Тертиев.

Атуев поглядел ему в глаза. «Что это значит: «молодец»? — подумал он; но это сомнение, это мимолетное облачко нисколько не помешало им дружески разговориться, вызвать наружу кое-что когда-то обоим им близкое, но уже в настоящую минуту для них обоих не только далекое, но и вызываемое-то для того только, чтобы над ним, как над чем-то ребяческим, подтрунить, превратить в шутливое воспоминание.

Заметно, оба приятеля, друзья в детстве, товарищи по гимназии, были рады друг другу; но, расставаясь, уже на улице, ни Атуев не сказал Тертиеву, где он живет, ни Тертиев — Атуеву. Даже и вопроса об этом не было. Видно, петербургская жизнь уже успела наложить на них клеймо свое. Свою дружескую встречу оба сочли не более не менее, как приятною случайностью, которая тем только и хороша, что она случайность.

II

Кухмистерский стол госпожи Пфаль, как видно, понравился Атуеву; он закупил у ней несколько билетов и стал в урочный час являться к ней обедать, но не каждый день, а раза два-три в неделю. Там постоянно встречался он с Тертиевым, перебрасывался с ним через стол словами, сообщал ему новости, но не сближался с ним. Он, по двум-трем фра-

зам, пойманным на лету, стал подозревать Тертиева в идеализме и слишком высокого был о себе мнения, чтобы, ради каких-то воспоминаний, жертвовать чистотой своих убеждений или близко сходиться с людьми противоположного лагеря. Однажды Тертиев был не в духе, а между тем речь зашла о какой-то рецензии на книгу одного немецкого ученого; Тертиев, как оказалось, только что прочел эту рецензию и стал на нее нападать; Атуев заступился, начался горячий спор, и тут-то только понял Атуев, что спорить с Тертиевым нет для него никакой возможности. Тот на каждом слове стал обрывать его, доказывал громогласно, что автор рецензии ни аза не смыслит в естественных науках и не обладает сотою долей той учености, какая видна в книге ученого автора. Атуев надулся и замолчал.

После обеда, когда все стали расходиться, он подсел к Тертиеву и сказал ему:

— Конечно, я не специалист, но у меня есть известные идеи, известное направление и... та статья, которую ты обругал,— моя статья.

— А я так и думал,— нисколько не сконфузясь, отозвался Тертиев.

— Почему же ты так думал?

— А потому, что будь это чужая статья, ты за нее не вступился бы; у нас на Руси за чужое никто вступаться привычки не имеет; никому ни до кого, кроме своей шкуры, дела нет; до такого братства мы еще не доросли да вряд ли и дорастем; раса такая славянская, грызться за свои личные интересы — первое удовольствие.

— Так ты думаешь, я за себя?.. я за мысль...

— Тут одна может быть мысль: дай нам бог побольше таких добросовестных ученых и тружеников, как этот немец, другой мысли быть пока не может; а ты взял у него две, три фразы, не понял их и — поехал...

— Не понял! — перебил его Атуев,— так я дурак, потвоему?

— Настоящих дураков на свете так же мало, как и настоящих гениев. Считай я тебя дураком, я бы и спорить с тобой не стал: для дураков закон не писан... А если ты сердишься...

— Напротив, ты заинтересовал меня; ты, я вижу, моего поля ягода — реалист.

— А ты реалист?

— Полагаю, что да; это ты можешь сам заключить, если прочтешь статью мою, под заглавием: «Последние метафизики».— И тут Атуев назвал ему те номера журнала, где была помещена статья его.

— Прочтем! — сказал Тертиев, берясь за шапку.

Через неделю Атуев узнал, что Тертиев ищет квартиру, и вызвался показать ему две комнаты на Ивановской улице. Тертиев принял предложение, и они вместе отправились. Квартира оказалась подходящая: дрова, прислуга и самовар от хозяйки; лестница невысока; два окна на улицу.

Тертиев переехал на эту квартиру, и Атуев стал посещать его, сначала редко, потом чаще и чаще. Какая была тому причина — конечно, он и сам не знал. Самолюбивый, обидчивый, Атуев мог переносить только Тертиева, несмотря на то, что тот как бы считал обязанностью своею ни в чем с ним не соглашаться и постоянно его оспаривать. Атуев чувствовал, что эти споры дают ему материал и открывают пред ним целую массу таких фактов, о которых он не имел понятия. Он увидел, что у Тертиева немало поклонников, и стал дорожить его мнением, воображая, что от этого чудака зависит если не вся, то хоть сотая доля его будущей репутации.

Тертиев же, в свою очередь, видел в Атуеве кой-какие стремления, находил их честными, хоть и ни к чему не приложимыми; чувствовал, что его приятель, точно так же как когда-то в гимназии, подчас нуждается в его нравственной помощи, и, как человек в сущности очень мягкий и добрый, несмотря на свои резкости и угловатости, не только привык к посещениям Атуева, но и полюбил его почти так же, как любил в то время, когда они вместе долбили латинскую грамматику и мечтали о своем будущем студенчестве.

Тертиев одним из первых вышел из Медицинской академии; но на докторском экзамене один из профессоров, лично к нему не расположенный, поставил ему дурной балл и таким образом превратил в нуль все выдержанные им из других предметов экзамены. Трое из товарищей Тертиева, те, которые своими успехами много были обязаны влиянию Тертиева и которые сами признавались, что им никогда не догнать его, получили право на звание докторов, а Тертиев провалился: излишняя пылкость характера ему подгадила. Это обстоятельство не могло не подействовать на Тертиева: он стал раздражителен. То думал заняться чем-нибудь другим, сделаться, например, химиком по преимуществу, и не в применении к медицине, а к фабрикам и заводам, то думал получить какое-нибудь место при больнице, то заняться переводами, то сделаться инженером, так как он знаком был с математикой и умел чертить. Практики у него, разумеется, почти не было, и если бы не переводы да не работа в журналах, он мог бы умереть с голоду. Вырабаты-

вал он себе рублей шестьдесят, семьдесят в месяц, жил уединенно, даже волокитства не позволял себе и ни в ком не искал для себя протекции. «Эх! как-нибудь проживем, земля не клином сошлась»,— думал он про себя, работал, верил в свои силы; но на свой вторичный докторский экзамен, по правде сказать, плохо надеялся, ибо тот же самый профессор точно таким же способом мог вторично насолить ему, особливо если Тертиев осмелится не по его тетрадке на экзамене отвечать ему. Но возвратимся к Атуеву.

III

Атуеву было с небольшим двадцать лет в то время, когда, после севастопольского погрома, в нашем обществе началось кой-какое умственное брожение, когда правительство приступало к реформам [3], а все благоденствовавшее при крепостном праве, все залежавшееся и заспанное с испугом и недоверием встречало эти реформаторские замыслы; когда, в свою очередь, молодое поколение, ничего, кроме недовольства и жалоб не слыхавшее из уст своих отцов, старших братьев и судьбой пришибленных наставников,— поколение, привыкшее с детства смотреть на всякую истину, как на нечто запрещенное цензурой, и, стало быть, все запрещенное привыкнувшее считать несомненною истиной,— ринулось с юношеским увлечением искать ее и вдавалось в радужные мечты, как насчет своих собственных сил и зрелости, так и насчет быстрой перестройки всего нашего общества; когда российский нигилизм заговорил в одно и то же время с русским патриотизмом; когда каждый кружок людей рассуждающих и нередко одна и та же семья представляли собой несколько отдельных личностей, переставших друг друга понимать и друг другу сочувствовать,— одним словом, в это знаменательное, хаотическое время Атуев только что кончал свой курс в Харьковском университете.

Это умственное брожение застало нашего юношу, так сказать, врасплох, точно так же, как и многих молодых людей оно застало ни научно, ни нравственно к нему не подготовленных. Атуев, воспитанный в доме зажиточной тетки — своей крестной матери, в среде не только религиозной, но и суеверной, и сам в глубине души своей с детства верующий, вдруг должен был ухватиться за Фейербаха [4] и Бюхнера [5]. Атуев, приученный с почтительным страхом глядеть на каждого полицейского, так сказать, с молоком

всосавший дух кротости и повиновения, вдруг, ни с того ни с сего, должен был принять участие в студенческих демонстрациях. Пописывавший стишки, с восторгом хватавшийся за все, написанное Кольцовым и Лермонтовым, и заучивший их наизусть, вдруг должен был соглашаться, что поэзия — вздор и что искусство не выше сапожного ремесла, что оно не только не помогает развитию, но как бы усыпляет мысль, изнеживает, создает мечтателей или, что все равно,— бездельников.

В это время многие, накануне верующие, просыпались атеистами; утром поклонники поэзии к ночи того же дня делались ненавистниками рифмованных строчек, и, что всего страннее, никто не замечал такого резкого, ничем не оправданного перехода из крайности в крайность. И Атуев, по-видимому, не был исключением: он вдруг явился отрицателем, и таким спокойным и самоуверенным, как будто от роду он ничему не верил или как будто отрицать ровно ничего не стоит и даже очень приятно. Но таким он только казался; в сущности, люди не так-то легко отделываются от своих первоначальных впечатлений, верований и образа мыслей, как это кажется снаружи. Атуев, поглядывая на образ, которым благословила его покойная мать и пред которым когда-то, во дни его детства, по ночам горела лампадка, давал обет отслужить молебен, если только удачно выдержит последние выпускные экзамены, и, конечно, осмеял бы за это своего товарища, если бы тот не скрыл от него своего религиозного настроения. Атуев в университете никого не удивил своим новым направлением; напротив, иногда провирался, хваля то, что другие осуждали, или осуждая то, что принято было хвалить, он иногда рисковал удивить своею отсталостью. Благодаря своей памяти и переписчикам лекций, Атуев считался порядочным студентом и у некоторых профессоров был на хорошем счету; но учиться как следует ему было некогда: с одной стороны, одолевали страсти, с другой стороны — желание играть роль кавалера в тогдашнем харьковском обществе. Влюблялся он беспрестанно, то в какую-нибудь барышню, то в какую-нибудь горничную, и раз, не шутя, втюрился в девочку, дочь отставного урядника, обитавшего в слободе, в собственной казацкой хате. Девочка эта была кровь с молоком, торговала на мосту мочеными яблоками и грушами и на первый раз обманула его. Атуев назначил ей свидание, она обещалась прийти и не пришла. Этим она доказала ему свою нравственность и подлила масла в огонь. Атуев не отставал, покупал у ней то груши, то яблоки, давая ей четвертаки вместо гривенников,

и девочка его полюбила, то есть стала потихоньку навещать его, потом вдруг изменила, сошлась с каким-то юнкером. Атуев в это время стал на себя не похож: ревновал он ужасно, не спал по ночам, все подстерегал своего соперника, все хотел убедиться, точно ли она ему изменила. Раз отец этой девочки, седой, коренастый казак, пьяный застал его ночью на завалинке, около окна своей хаты, принял его за поджигателя и чуть было собственноручно, впотьмах, не поколотил его. Атуева спасла темная, воробьиная ночь, она прикрыла его, дала ему возможность отбиться от собак и прибежать домой. Убедившись в измене своей возлюбленной, Атуев чуть не утопился. Спустя два-три дня после того, как он пробовал утопиться, он уверял товарищей, что никогда ни в кого влюблен не был и что нет еще женщины, которая была бы в силах покорить его железное сердце. Вообще, казаться волокитой он не стыдился, но казаться влюбленным ему было стыдно. В двадцать лет он уже любил корчить из себя холодного сердцееда, иначе сказать, прикидываться иногда Печориным. Я говорю *иногда*, потому что, во-первых, мода на печоринство проходила даже в провинциях и потому, во-вторых, что роль эта была ему не по силам. Я, как беспристрастный рассказчик, вовсе не намерен ни осуждать, ни хвалить Атуева; он был не глуп, впечатлителен и обладал умением казаться в десять раз ученее, чем он был на самом деле. Несмотря на природную наклонность к праздности, иногда, как юноша самолюбивый, он порывался серьезно заняться то древними языками, то историей, и эти порывы не остались для его головы без некоторого следа и относительной пользы. Но о современных учениях он знал только по слуху. Когда, бывало, кто-нибудь заговаривал при нем о сенсимонизме, фурьеризме, коммунизме, он весь превращался в слух, молчал, догадывался, в чем главная *суть*, и уже на другой день с таким тактом вводил в свою речь эти новые для него слова, что, казалось, произведения Фурье [6] и Прудона [7] были ему известны, как свои пять пальцев.

Только самые ближайшие из его приятелей (а он выбирал приятелей из числа самых даровитых, лучших студентов) плохо доверяли его учености: «Ну, молчи, ты,— говорили они ему,— суешься туда же спорить, а не знаешь, о чем речь идет!» Атуеву это было нож острый; иногда, после таких речей, он запирался дома, рылся в книгах, в энциклопедических словарях, и все это для того только, чтобы, при случае, отомстить, то есть навести разговор на тему ближе всего ему знакомую, только что вычитанную, и поразить всех изобилием данных, гнездящихся в его голове. Это

ему иногда удавалось и как нельзя более тешило его самолюбие. Вы скажете, что это шарлатанство; да, пожалуй, но это и талант в своем роде, талант, которым обладают немногие... Недаром, спустя два года по выходе из университета, Атуев с ног до головы превратился в петербургского шаркуна и не без некоторой удали выступил на литературном поприще по части фельетонов, журнальных заметок и рецензий. Недаром нашлись и редакторы, которые не шутя вообразили, что это один из самых образованнейших молодых людей, один из тех, которых не мешает прикармливать.

Модные идеи с необыкновенною легкостью прививались в голове его; он писал и писал. Не спрашивайте, верил ли он сам тому, что писал; знал ли то, о чем судил. Кажется, на этот вопрос ответило время; слава его была эфемерна и недолговременна, даже в том кружке, где на него смотрели, как на деятеля, и где он думал блистать.

IV

Прошло около двух лет. Атуев был все таким же Атуевым, только лицо его приняло цвет осеннего петербургского неба да пострадали зубы. Что же касается до его деятельности, то она шла в гору: перо его уже начинало приобретать бойкость. Появившийся в то время роман «Что делать?» произвел на Атуева потрясающее впечатление. Прочтя его, он пошел еще далее, он решил, что никогда не женится, найдет жену, но не женится. Она будет работать в артели швей, ⟨он⟩ в артели литераторов, и все пойдет, как по маслу. В этом смысле он проповедовал и проникался ненавистью к прежним писателям; до романа «Что делать?», говорил он, нет русской литературы. «Блажен кто верует, тепло ему на свете!» [8]— сказал Грибоедов, и Атуев был бы совершенно счастлив, если бы никто не сомневался в его даровитости, если бы можно было печатать все, что успевал он иногда вычитывать из разных контрабандных французских книжек, и если б он был немножко богаче, ибо жизнь становилась все дороже и дороже, а его потребности все шире и утонченнее; он же любил комфорт, женщин, книги в богатых переплетах, новоизобретенные лампы и умывался не иначе, как самым лучшим французским мылом. Наконец, Атуев был бы счастлив, если бы петербургская жизнь, в виде разных врагов и недоброжелателей, не отравляла его существования. Да, Петербург не был бы Петербургом, если б он не помял боков Атуеву. Плохо ему было подчас... Вообще, трудно

ладить с потребностями, не соответствующими кошельку, нередко впадающему в совершеннейшее истощение. То запрещение журналов, приютивших его под крыло свое, то редакторские капризы, то женские плутни и коварные измены, то неприятные слухи и какой-то безотчетный страх беспрестанно волновали его легко волнуемую душу. Из числа его приятелей Тертиев оказался самым надежным, но зато не раз бесил его своею диалектикой и наводил на него хандру невообразимую. Сердце его так же ныло болезненно; напрасно он искал себе жены, такой именно, какой ему хотелось. Юные девицы, даже те, которых он считал архинигилистками, даже те, которые по-товарищески нисколько не стеснялись заходить к нему, до такой степени безукоризненно вели себя, до такой степени были к нему строги и холодны, что в жены ему не годились. Только одна из них, и то самая некрасивая, была, по-видимому, влюблена в него, но едва убедилась, что Атуев никогда на ней не женится, подразнила его и вышла замуж за другого пролетария. Атуев написал ей горькое письмо, продиктованное ему раздраженным самолюбием. Та показала это письмо своему мужу. Муж вступился и наговорил Атуеву дерзостей, чуть не поколотил его. Тем и кончилась эта история.

Не знаю, что бы стало с Атуевым, если бы не умерла его тетка, крестная мать его, и если б он не получил телеграммы, вызывающей его в Херсон за получением наследства по завещанию. Обрадованный смутным ожиданием впереди чего-то хорошего, Атуев сосредоточился и только одному Тертиеву сообщил, что его, черт знает для чего, тревожат и вызывают, быть может, из каких-нибудь пустяков.

— Что делать! — говорил он,— надо ехать! Если мне на дороге вздумается что-нибудь написать фельетонное, пришлю на твое имя; ты, пожалуйста, передай кому-нибудь из редакторов, только всякого вздору не печатай с моим именем; главное — деньги, деньги на тот случай, если я как-нибудь ворочусь сюда без денег.

— Хорошо,— согласился Тертиев,— напиши какую-нибудь госпитальную чепуху, я в «Медицинском вестнике» ее оттисну. А что ты будешь делать с твоею квартирой? Сдашь ее?

— Нет, знаешь Дуню Сигареву, я ей предложил на это время поселиться в моей комнате, она девушка честная и... досадно, никак не может отыскать себе ни места, ни занятия. Пожалуйста, брат, прими ее под свое покровительство; не будет ли у тебя перевода какого-нибудь или переписки?

— Знаю Сигареву... видел. А ты ей скажи, чтоб она как-нибудь зашла ко мне.

— Хорошо, скажу.

— Только грамотная ли она?

— Еще бы! Преобразованная девушка! и с необыкновенною силой воли... с необыкновенною!..

— Вот ты бы на ней женился.

— Эх, Тертиев, какой ты странный! Сколько лет меня ты знаешь и не можешь понять, что я, как политический деятель, как публицист, не должен обзаводиться ни женой, ни ребятами. Еще бог знает, в каких трущобах я кончу жизнь мою! Но, прощай, однако... хлопот бездна! Прощай! не говори никому, куда я уехал и зачем. Пусть думают что хотят; даже можешь какую-нибудь утку про меня пустить.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Тертиев,— я всем расскажу, что ты бежал в Америку, в южные штаты, стоять за рабство негров [9].

— Ну, вот еще что выдумал, стоять за рабство!

— Да ведь написал же у нас какой-то естественник, что негры еще не люди и что, стало быть, рабство их есть дело законное [10].

Атуев почему-то сконфузился.

— Да мало ли кто что пишет,— сказал он,— какое мне до этого дело?.. Впрочем, ври про меня, что хочешь. Прощай, душа моя.

Они поцеловались и расстались как добрые приятели.

V

Прошли два летние месяца; в это время почти никто в Петербурге и не заметил отсутствия Атуева, но Атуев не мог слишком долго лишать столицу своего присутствия; он получил наследство, исполнил все формальности и спешил обратно в Петербург уже не тем Атуевым, каким он выехал: у него был капитал в сорок четыре тысячи и четыреста десятин земли в херсонских степях, стало быть, верных четыре тысячи дохода. Он мечтал уже о новом журнале, о редакторстве, о шести тысячах подписчиков, и, вероятно, эти мечты действовали на него благотворно: он пополнел, похорошел, повеселел, даже как-то вытянулся, словно вырос; свежий воздух родных ему полей придал лицу его цвет юношеской свежести, давно уже им утраченный и не надолго прочный для всякого, кто на самом деле чего-нибудь добивается среди той умственной и нравственной атмосферы, которую можно просто назвать петербургскою атмосферой.

Всякого петербургского кабинетного человека поездка по России не может не отрезвить, освежая не только тело, но и ум, насквозь прокопченный, если не наркотическими, то уж наверное болотными миазмами. Сила новых, часто грустных и тяжелых впечатлений не может иногда не поколебать койкаких кабинетных фантазий и убеждений, на них построенных. Дворцы из алюминия как-то сами собой вылетают из головы посреди безлюдных пространств или многолюдного невежества; практическая, прочная нить вкрадывается и незаметно впутывается в обычную ткань размышлений. Но Атуев не был наблюдателем. Явления жизни, быта или народного духа, если на них не указывала книга или статья (да и то не всякая, а окрашенная в любимый им цвет), не оставляли в уме Атуева почти никакого впечатления или очень слабое, то есть такое, каким он сам, без помощи своих приятелей или своих любимых авторов, не мог и воспользоваться. Атуев, как теоретик, не мог переродиться и остался верен себе и своему кружку. Но сердце его решительно переродилось; романтические мечты стали навещать его, и он влюбился.

Влюбился он накануне своего прибытия в Петербург, в одну из пассажирок, которая ехала с кумыса из Оренбургской губернии, с своею пожилою и очень чахоточною тетушкой. По целым часам, молча, глядел он на этот строгий, полуримский, полугреческий профиль, на эти длинные ресницы, широкими полукружиями опускающиеся на утомленные, карие с блеском глаза, на эти немного сухие и бледные губы, изредка насмешливо улыбающиеся, на этот невысокий, но умный лоб с золотистым пушком около пробора волос, идущих на затылок и там, по-дорожному, скрученных в одну тяжелую, после неловкого сна, до самой спины спустившуюся косу.

«Аристократка! — думал про себя Атуев.— С ног до головы простота и изящество!.. Давно уже не встречалось мне ничего подобного... Поэзия, черт возьми! Однако это дама, а не девица! Я сразу заметил, что это дама. Об заклад побьюсь, что она замужем. Что-то такое есть в ней сознательно небрежное, самоуверенное... Непременно, или молоденькая вдова, или замужняя».

Хорошо, что не с кем было побиться об заклад Атуеву: он ошибся. Когда он с ней познакомился (его рекомендовал ей на одной станции один знакомый ему молодой человек, Сергей Сергеевич), оказалось, что она вовсе не замужняя, а девица, Людмила Григорьевна Клевер, дочь одного покойного тайного советника, когда-то занимавшего

очень видное место в среде высшей петербургской бюрократии.

До самого Петербурга Атуев ухаживал за ее больною, сухощавою тетушкой, угощал ее леденцами, поддерживал ее за локоть, при входе в вагон; старался занять ее рассказами, намекал на свою литературную известность и на свое состояние; мысленно старался разгадать значение улыбки, которая, по временам, змеилась на устах ее племянницы. Когда же вагон подошел к дебаркадеру Петербургского вокзала, Атуев попросил позволения бывать у них, и ему показалось, что эта просьба немножко удивила их.

— Мы живем очень скромно и почти никого не видим с тех пор, как умер брат мой, но... если вы вспомните, мы будем рады...— отвечала тетушка, и, при этом, маленькие изжелта-серые глазки ее заблестели как два лезвия двух перочинных ножичков и поглядели на Атуева, как будто хотели прочитать на его физиономии: не шутя это вздумал он навязываться к ним на знакомство или так, ради одной дорожной любезности?

Атуев не смутился — недаром же в двадцать лет он был Печориным,— пошел нанять для них карету, посадил их, подал им их дорожные мешки (чуть своих не растерял) и простился с ними в уверенности, что его сердце уже не принадлежит ему. Многие страсти начинались и начинаются с такой уверенности. Усевшись на извозчика, с дорожной сумкой чрез плечо и с маленьким чемоданчиком у ног, Атуев отправился на свою прежнюю квартиру, но не думал ни о своей квартире, ни о том, что завтра будет он делать. Образ бледной пассажирки плавал пред ним в туманном воздухе, глядел из каждого окна, выглядывал из каждой кареты и то говорил ему: «Не обманите нас, я жду!..», то говорил ему: «Какой, однако же, вы дурак! воображаете, что мы вас примем!..»

«А что, если мое письмо к Сигаревой не дошло и она еще не очистила мою комнату»,— подумал Атуев, взбираясь к себе наверх по витой чугунной лестнице.

Войдя в коридор, он подошел к дверям своей комнаты, нашел ее запертою и заглянул в щелку, желая убедиться, вынут ли ключ; ключа в замке не было, и он пошел за ним к хозяину.

— Все ли благополучно? — спросил он горничную.

Но горничная оказалась уже не та, которая ему прислуживала, и, вытаращa глаза, спросила, кого ему нужно.

— Сигарева все еще в сорок восьмом нумере?

— Не знаю-с!

— Да вы давно ли здесь?

— Да уж с месяц...

— Кто же живет в сорок восьмом нумере?

— Этот нумер заперт; там никто не живет.

— Ну, так это я там живу; пожалуйста, сходите за ключом.

— Ключ у хозяина.

— Ну, ступайте, возьмите у хозяина ключ да поставьте мне самовар, я буду чай пить. Я Атуев.

Войдя в свой нумер, Атуев, к удивлению своему, нашел все на прежнем месте и на столе записку следующего содержания:

«Я прожила здесь три недели, но вы ничего не сказали мне насчет цены, а я забыла вас спросить. Даром жить не хочу, да и хозяин ваш — дрянь, вообразил себе, что я ваша любовница. Прислуга также самая подлая, да и соседи, нечего сказать, подлец на подлеце. Обиднее всего, что я не знаю, сколько я должна вам за три недели. Пожалуйста, не вообразите себе, что я вам обязана. Когда приедете, приходите; где я живу — узнайте у Котиковой, она все там же, на Выборгской. Ваши книги находятся у ней. Прощайте!

А. С.».

«Благородно!» — подумал Атуев и весьма довольный, что не нашел у себя в квартире девицы Сигаревой (что могло бы на первый раз стеснить его), даже и не заметил грамматических ошибок, которыми щеголяло это немножко резкое послание.

VI

Атуев никому не сказал, что он получил в наследство деньги. Он был уверен, что Тукин попросит у него несколько тысяч взаймы на свою библиотеку и не отдаст. Боркин втянет его в свое предприятие и — чего доброго — надует; а Зулин прямо ему скажет, что если он капиталист, то он скотина; что если он эти деньги не отдаст на такое трудовое дело, которое не одному ему, а многим приносило бы постоянные выгоды, то он — свинья или, что еще хуже, изменник. Мало того, он укажет ему на кой-какие выражения из атуевских статей и на основании их докажет Атуеву, что он сам не признает прав собственности на такие деньги, которые собственными руками им не заработаны.

Атуев, чтобы никого не озадачить, остался даже жить в том же коридоре и у того же хозяина, только перешел из одной комнаты в две, с окнами на улицу.

Атуев, посетив Тертиева, поднял толки о новом журнале, намекнув, что деньги он может достать, что ему один купец обещался дать на проценты, если только он убедит его, что журнал удастся. Раза два или три у Атуева на квартире собирались его приятели и приятельницы, и толки превратились в совещания; одни требовали, чтобы журнал этот не был его собственностью, а издавался бы на артельном основании (хотя и на деньги, занятые Атуевым), и чтобы чистый доход с журнала, по истечении года, делился поровну между редактором и постоянными сотрудниками; другие уверяли, что порядочного журнала издавать нельзя — прихлопнут, и что, стало быть, нелепо приниматься за такое дело; третьи прямо говорили Атуеву: ты, брат, лопнешь; были позубастее тебя, да и связи литературные у них тоже были не тебе чета, и то лопнули; это уж как дважды два...

Атуев спорил то с теми, то с другими, то соглашался, то не соглашался, чуть было не поссорился с двумя из числа своих будущих сотрудников и втайне решил: *не издавать журнала.*

Ему же было не до литературы: спустя недели две по своем возвращении он встретил свой идеал, то есть Людмилу Григорьевну, в английском магазине, и так как он был в новом пальто с бобровым воротником, поверх которого лежали его гладко причесанные, почти до самых плеч отпущенные волосы, он решился подойти к ней и с замирающим сердцем спросил о здоровье ее тетушки, потом стал помогать ей выбирать кой-какие вещи, вроде наперстка, ножниц, тамбурной иглы и т. п.

— Разве вы знаете толк в этих вещах? — спросила его Людмила Григорьевна.

— Нет, не знаю,— отвечал Атуев.

— Ну так не мешайте мне! — сказала девушка и насмешливо улыбнулась.

— Приеду к вам, чтобы попросить у вас извинения,— сказал Атуев довольно развязно, потому что в жизни его было время, когда он всячески приучал себя к этой развязности; он даже не улыбнулся, боясь, чтобы улыбка его, сопровождая любезность, не показалась ей слишком приторною.

— А почему вы знаете, где мы живем?

— Я узнаю в адресном столе, если вы не скажете...

— Я вам этого и не скажу, потому что вы не спрашиваете.

— Скажите!.. Я... я вас спрашиваю.

— На Большой Конюшенной, дом Р... номер одиннадцать. Впрочем, предупреждаю вас, если вас не примут, это будет значить, что тетушка не так здорова и принять вас не может.

С этими словами Людмила Григорьевна спустилась с лестницы и вышла на улицу.

Атуев пошел по следам ее, но догнать ее и опять заговорить с ней не решился. Последние слова ее его озадачили. «Что это значит, думал, как это понять: хитрость это или прямодушие?» И, погрузясь в такие соображения, он долго шел так рассеянно, что, несмотря на капли дождя, долго не мог догадаться развернуть зонтик и тем спасти свою новую, только что в магазине Циммермана купленную шляпу.

Всю ночь он думал, что ему делать, и решился быть настойчивым. «Не примут раз,— сказал он,— пойду вторично; вторично не примут — в третий, в десятый, в сотый раз пойду!..» О женитьбе он еще не думал; но победить сердце аристократки показалось ему таким великим подвигом, что он готов был на все рискнуть, лишь бы достигнуть цели.

Атуев был счастлив; дня через три он был принят у тетушки Клевер и был поражен: квартира была небольшая и очень просто убранная; и тетушка, и племянница были одеты со вкусом, но также очень просто. В обращении их он не нашел ничего натянутого; только в глазах старухи заметил пытливость, и в этой пытливости что-то такое, что придавало маленькому, худому лицу ее, с тонким носом и с тонкими губами, злое и, в то же время, умное выражение.

Атуев завел речь о литературе. Оказалось, что тетушка не только не читала последних журналов, но и читать их не хочет.

— Пишут,— сказала она,— не зная ни человеческого сердца, ни правил приличия; попалась мне повесть, и до того безнравственная, что я дала себе слово ничего не читать, разве вот что-нибудь Гончаров, или Тургенев, или граф Толстой напишут...

Атуев вступился за новую литературу и ее реальное направление. Оказалось, что тетушка очень хорошо понимает, что такое реальное направление, но к реалистам причисляет у немцев Гете, а у русских — Пушкина! [11]

Атуев поморщился. «Эк ее,— подумал он,— никак, в прошлом веке изволит вязнуть. Из каких же благ я стану ее оттуда за уши вытаскивать: еще, чего доброго, рассердится!» Атуев забыл, что юность его прошла не в прошлом веке и что

в семнадцать лет он знал наизусть и «Брожу ли я вдоль улиц шумных», и «Я помню чудное мгновенье», и «Буря мглою небо кроет», и не только знал наизусть — упивался Пушкиным.

«Господи! Какая отсталость!» — продолжал он думать, и решил щадить старушку, а с Людмилой Григорьевной поступать так же точно, как поступает с ним Тертиев, то есть не щадить ее...

Испросив у тетушки и у ее племянницы позволение навещать их, Атуев раскланялся и вышел, довольный своим началом. Людмила Григорьевна ему еще более понравилась в этой скромной обстановке. «Ну! Верно, не очень богаты,— подумал он.— А я-то вообразил, что попаду к аристократам. Ничего аристократического! даже на лестнице швейцара нет; даже гардины на окошках не шелковые; зала маленькая, гостиная еще меньше. А что будет, если я посватаюсь! Вот будет штука-то!..»

VII

В начале октября того же года Атуев зашел к Тертиеву, лег у него на клеенчатом диване, закурил папироску, поправил очки и, помолчав, сказал ему:

— Дружище Тертиев, сообщу тебе секрет, одно прескверное обстоятельство!..

Тертиев ходил по комнате, также курил папироску и поглядывал не столько на Атуева, сколько на его новые брюки с лампасами, на его цепочку к часам и на его модный галстучек; он догадывался, что Атуев разбогател, и мысленно прощал ему эту безвредную фантазию. Излишнее франтовство он причислил к области фантазии.

— Какое же такое скверное обстоятельство? — сказал Тертиев.— Глядя на тебя, право, трудно подумать, чтобы ты находился в крайности.

— Я женюсь...

— Почему же ты это называешь скверным обстоятельством. А?..

— Да потому, что жениться, это... это... очень не легко... Брак не только связывает нас по рукам и ногам, брак притупляет наши способности, делает нас эгоистами, филистерами. Фу! черт возьми, как подумаешь... За наши естественные права, за те права, которыми пользуются все животные без всякого дозволения царя зверей, мы отплачиваемся не только вечными обязанностями, отплачиваемся неволей...

— Да что,— перебил его Тертиев,— тебя насильно, что ли, под венец-то тащут или ты сам идешь? А?

— Разумеется, сам иду.

— Так зачем же ты идешь? значит, тебе по вкусу это скверное обстоятельство?

— Пожалуйста, не привязывайся к словам; я это дело считаю серьезным, а ты привязываешься.

— Так ты всякое серьезное дело считаешь скверным! Поздравляю! — При этом Тертиев покосился на Атуева, шевельнул бровью и, повернувшись к нему спиной, продолжал ходить по комнате.

Атуев покраснел, также шевельнул бровью (точно он не мог этого не сделать по законам отражения) и надулся.

— Если бы ты влюбился, Тертиев, неужели бы ты женился? Ну-ка, скажи по совести!

— А смотря по обстоятельствам. Захотел бы около себя детей иметь — женился бы.

— А разве без женитьбы нельзя детей иметь?

— Если ты не эгоист, говорю *эгоист* в смысле бездушного себялюбия, которому ни до кого дела нет, то нельзя,— нельзя ни с нашими законами, ни с нашим обществом. Прежде заставь общество переделать те законы, которыми оно управляется, и уж потом и поступай сообразно с новыми началами.

— Переделать общество можно только начиная с самого себя.

— Ну, и приноси ему себя в жертву, а не жену и не детей. Ты спрашивал ли эту особу, на которой ты женишься, хочет ли она быть твоей без всякого вмешательства церкви и государства? Если хочет, ты, пожалуй, вправе... Да и то еще далеко не в полном праве, потому что ты лишен возможности спросить будущих детей твоих, хотят ли они быть незаконными. Вот если б и они на это заранее согласились...

— Слушая тебя, иногда, право, не веришь ушам своим; на все ты найдешь возражение, на все, лишь бы только возражать. Право, заговори я, что мне следует, как честному человеку, жениться, ты стал бы доказывать мне, что не следует.

— И теперь скажу, что не следует. Если ты так смотришь на брак, ищи женщину равную себе как по убеждениям, так и по силе характера, ибо для того, чтобы выносить на плечах своих тяжесть уз, не признаваемых обществом, нужна сила.

— А если нет такой женщины.

— Неправда... а если нет, не женись.

— А если я чувствую потребность иметь около себя существо, которое бы я любил, уважал и так далее.

— То есть потребность жить семейною жизнию? Ну, так не ломайся и не прикидывайся несчастным, если нашлась такая женщина, которая может любить и подарить тебя семейным счастием. Бери ее себе на веки вечные, храни ее как зеницу ока; нянчи детей, копи деньги на их воспитание, словом, будь мужем и отцом. Или тебе хочется быть семьянином, не будучи ни мужем, ни отцом? Ну, в таком случае, донжуанничай,— кто тебе мешает!

— Твое возражение никуда не годится. Во-первых, Дон-Жуаны выдуманы; их нет. Это глупая, поэтическая фантазия. А если и были Дон-Жуаны, то наше время не признает их, как идеалистов пустых и вредных. Я хочу разумной и свободной семейной жизни, а ты советуешь мне донжуанничать.

— Что же ты до сих пор делал? Разве не донжуанничал? Где недоставало красоты, или ума, или ловкости, деньги в ход пускал. Вспомни, сколько ты зарабатывал своими статьями — сам же говорил,— и куда по большей части уходили эти деньги? Из всего, что ты мне тут наговорил, только и можно вывести одно заключение, что тебе всю жизнь хочется донжуанничать и ты боишься, как бы брак не помешал тебе...

Атуев замахал руками и поднялся с дивана.

— Ну, бог с тобой! — сказал он.— Я думал тебя обрадовать, а ты напал на меня, как на какого-нибудь школьника. Право, мне не до того, чтобы с тобой спорить. Прощай!

— Да ты прежде обрадуй, а потом и прощайся. Вот чудак, думал обрадовать меня каким-то скверным обстоятельством!

И Тертиев засмеялся, удержав за руку обидевшегося Атуева.

— Да, я не в духе.

— Я давно, брат, замечаю, что у тебя нутро горит; верно, влюблен. Оделся по последней моде и помышляет о подруге жизни.

— Нечего тут помышлять. Я посватался и...

— И тебе нос наклеили? А?..

— В том-то и штука, что дали согласие.

— И ты от этого не в духе! Ха-ха-ха! — на весь дом захохотал Тертиев.— Так зачем же ты сватался?

— Да совсем не то, ничего ты не понимаешь.

— Да что же такое?

— Да я не уверен, любим ли я; кто ее знает... Может

быть, просто нужно за кого-нибудь замуж выходить, ну и выходит, благо нашелся дурак. Эта мысль, одна эта мысль обидна, терзает меня, мучит, спать мне не дает. Вижу, какая-то с ее стороны нерешительность, как будто она боится чего-то, а вовсе не из робких, ни... нисколько!! Просто понять не могу.

— Да кто она такая?

— Некто mademoiselle Клевер.

— Немка?

— Нет, то есть, пожалуй, что и немка; мать была русская, отец обрусевший немец. Тайным советником был.

— Значит, помесь. Ха-ха! это хорошо, это, брат, для приплода ничего лучше быть не может. Право! Женись, советую. По крайней мере, ничего лучшего ты не выдумаешь, хоть ты и донжуанничал за нигилистками; я давно, брат, заметил, что тебе халата недостает. Право! — говорил Тертиев, развеселев и потирая руки.

Атуев опять сел на диванчик и показался Тертиеву человеком расстроенным.

— Да сам-то ты любишь ли свою невесту?

— А кой черт заставил бы меня решиться на такой шаг, если бы не это; не за деньги же я продаю себя, да у нее и нет никакого состояния; я втрое ее богаче... Любовь проклятая тут примешалась, вот что! Удивительное существо, братец ты мой, и, что всего глупее, существо загадочное, непонятное. То ласкается, ухаживает за мной, а нынче утром чуть не оттолкнула. Кто знает, что у ней на душе? может быть, и влюблена в кого-нибудь: и это бывает. Разве это не бывает? бывает сплошь да рядом: одному — руку, а другому — сердце. Признаюсь тебе, Тертиев, не знаю я ее, совсем не знаю.

— Да ведь и она тебя не знает.

— И она меня не знает. Впрочем, я высказываюсь пред ней, а она молчит, я откровенен, а она скрытная... и хитра, должно быть... Тетушка тоже у ней есть; она живет со своею тетушкой. Светская старушка, начитанная, но суха телом и душой, при этом религиозна и совершенная англичанка, да и невеста моя тоже на английскую мисс или леди смахивает, на английских романах выросла...

— Что же тут дурного? а если тебе это не нравится, откажись; отказаться от девушки до венца никогда не поздно.

— Не могу; вот в том-то и штука, что не могу; напротив, тороплюсь свадьбой. Ровно через десять дней повенчают

меня, раба божьего. Только, пожалуйста, Тертиев, никому не говори, прошу тебя.

— Болтать о твоей свадьбе не вижу никакой необходимости.

Наконец Атуев пригласил Тертиева быть своим шафером и в то же время свидетелем. Дал ему свой новый адрес и простился с ним. Простившись, полетел на Невский покупать подарки.

VIII

Я, автор этого рассказа, признаюсь вам, был очень удивлен, когда услыхал, что у Атуева есть невеста и что эта невеста не только не похожа на нигилистку, но, о ужас! ходит, смотрит, говорит и даже одевается как светская девушка.

Невеста Атуева, Людмила Григорьевна Клевер, была во всех отношениях девица благообразная, благовоспитанная и благонравная. Глядя на нее, мне почему-то казалось, что за нее непременно посватается или генерал, или статс-секретарь, или племянник какого-нибудь министра и что рано или поздно, а уж быть ей высокопревосходительною. Мог ли я даже вообразить, что она выйдет замуж за Атуева! Вот как все на свете обманчиво и как мы легко ошибаемся.

Людмиле Григорьевне был уже двадцать четвертый год, и она казалась выдержанною, серьезною и даже скрытною девушкой. Стройная, бледная, с золотистыми искорками в больших карих глазах, внимательно-строгих и задумчивых, она настолько же способна была внушать страсти, насколько и гасить их своим немного сухим, постоянно сдержанным обращением. Какая-то мягкость и даже доброта, разлитая по всему ее лицу, не исключала того серьезного выражения, которое сразу говорило вам: «Я не глупа, со мной не шутите», и когда она смеялась, это был дурной знак, это значило, что в вас, в ваших речах, манере, тоне голоса, Людмила Григорьевна подметила что-то такое смешное, чего вы сами в себе никак не заметите, будете думать, думать, чему это она смеялась, и только покраснеете с досады. Она не была явною насмешницей, но это-то и бесило многих; не она, ее глаза, ее губы казались насмешливы, и насколько вам приятно было с ней беседовать, когда она была холодна и спокойна, то есть не казалась ни слишком любезною, ни слишком веселою, настолько же становилось жутко, когда она глядела вам в глаза и ловила каждый звук вашего голоса. В эти минуты

как-то не верилось ее веселости. «Это недаром она так смеется,— думали молодые франты,— это недаром, о! знаем мы».

А что знаем? — в этом никто из этих щекотливо-самолюбивых юношей, которые за ней ухаживали, не мог бы отдать себе никакого отчета — ни малейшего.

Покойная мать ее была женщина очень добрая, но пустая и апатичная. Зато отец, тайный советник Григорий Иванович Клевер, был человек для своего времени замечательный. Он, сын какого-то оптика из Риги, сам пробил себе дорогу, завел связи и к шестидесяти летам очутился на высоких ступенях административно-бюрократической лестницы, с двумя звездами на груди и не без некоторого влияния на своего министра, бывшего своего ученика. (В ранней молодости он давал ему уроки немецкого языка и математики.) Горд он был и заносчив ужасно, но был и справедлив; умел давать щелчки по носу тем, кто старался пленить его своею угодливостью или, по его собственному выражению, хвостом вилял, и награждал скромных, едва заметных тружеников своей канцелярии: редкий из них под его начальством не получал к праздникам наградных денег, и — его любили. Только что стала подрастать дочь его, он пригласил к себе в дом сестру свою, Клару Ивановну, в то время классную даму в каком-то институте, и поручил ей воспитание Людмилы. «Пожалуйста, только не слушай моей дражайшей половины, не балуй ее; моя дражайшая половина ничего в воспитании не смыслит, довольно с нее и того, что я ее в генеральши вывел...» И Клара Ивановна ревностно принялась за воспитание своей племянницы; она благоговела пред своим братом и на церемонной ноге стояла в отношении к жене его, которую не любила за то, что, по ее мнению, она не довольно ценит великий ум Григория Ивановича и не гордится его высоким положением. На попечении матери оставался другой ребенок, Аркаша, родившийся спустя шесть лет после старшей сестры своей. «Он еще не минует рук моих»,— думала Клара Ивановна и исключительно посвящала себя воспитанию своей племянницы, как бы предчувствуя, что лет через десять она заменит ей мать и отца.

Григорий Иванович жил на широкую ногу, проживал почти все, что получал, тысяч пятнадцать в год, давал иногда обеды, держал экипаж, большую прислугу и надеялся в будущем не столько на пансион, сколько на аренду, которая была ему обещана. Квартира у него была большая, и, что всего замечательнее, в его передней была полка с образами и пред каждым праздником горела пред ними лампада.

Будучи сам лютеранином, он строго следил за тем, чтобы люди его соблюдали посты и ходили на исповедь. По службе он покровительствовал немцам, вне службы казался русским с головы до пят; дома даже не говорил по-немецки, даже иногда слово «немец» в ругательном смысле употреблять любил.

На шестидесятом году потерял он жену свою; на шестьдесят седьмом году, при перемене министра, Григорий Иванович получил афронт по службе, погорячился и подал просьбу об отставке в надежде, что ее не примут; но враги восторжествовали, Клевер был отставлен. Это потрясло его; он не мог уже жить без того, чтобы курьеры не стояли у него в передней, чтобы министры не подавали ему руки, чтобы подчиненные не расписывались у него в Новый год; жить без подчиненных для него значило не жить. Вместо аренды дали ему при отставке владимирскую звезду и 2000 пенсии. Взяток он не брал и очутился в довольно стеснительных обстоятельствах. Не прошло двух лет после этой несчастной для него отставки, как он заболел и умер.

Тетушка Клара Ивановна наняла небольшую квартирку, сократила расходы, но не бросила света. Когда Людмиле минуло восемнадцать лет, она стала иногда вывозить ее на балы и принимать визиты молодых людей, увлекавшихся глазками Людмилы Григорьевны.

Замечательно, что до двадцати лет Людмила Григорьевна многим вскружила голову, много выслушала признаний, но еще никто ни разу не просил у ней руки ее. Когда Атуев встретился с ней в английском магазине и проводил ее с лестницы на улицу, она подумала: «Ну, если и *этот* не посватается, значит, я никогда не выйду замуж».

Не приди ей в голову эта мысль, быть может, Атуев не получил бы так скоро ее согласия. Атуев же, как бы назло всем своим убеждениям, посватался за нее прежде, чем признался ей в любви своей; это также помогло ему. Признание в любви она бы встретила или холодно, или насмешливо: она уже не раз слыхала их за мазуркой; но предложение она приняла не без тайного страха, не без волнения, не без краски в лице; но все-таки приняла, потому что Атуев не был противен и потому что тетушка раскусила его настолько, что подметила в нем доброе сердце и некоторую порядочность...

Девушки, вообще, бывают двух сортов: одни любят не иначе, как безумно, примешивают к любви своей романические мечты и всевозможные фантазии, любят нередко наперекор всем враждебным их чувству обстоятельствам; другие, напротив, начинают любить только тогда, когда

к любви их примешивается чувство долга. Людмила Григорьевна принадлежала к разряду последних. «Атуев мой жених»,— подумала она и — полюбила Атуева. Очень может быть, что в его манерах, в языке той страсти, которой он не сдерживал, когда беседовал с ней наедине, в его презренье к разным приличиям, в его желании казаться и демократом, и передовым человеком, и замечательным публицистом, было много смешного или забавного; но Людмила Григорьевна уже не улыбалась насмешливо, когда глядела ему прямо в глаза или ловила каждый звук его голоса. Несмотря на все это, свадьба Атуева чуть-чуть было не расстроилась, и это было именно в тот день, когда он ныл сердцем и беседовал с Тертиевым.

IX

Однажды утром, после завтрака, Людмила Григорьевна сидела в гостиной у столика и что-то шила, низко наклонив над работой свою голову. В белой, словно из слоновой кости выточенной руке ее быстро мелькала игла; очерк стройной шеи уходил под ее кружевной воротничок и на груди замыкался коралловою брошкой. Профиль ее казался серьезнее обыкновенного; изредка ее ресницы тяжело, как бы нехотя, поднимались и большие глаза как-то особенно поглядывали на Атуева. Атуев был в ударе.

В той же комнате, на ручке кресел, около окна, сидел Аркаша, брат его невесты, юноша семнадцати лет, готовящийся поступить в студенты, очень красивый, так же как и сестра его, на вид весьма серьезный, в сущности же очень ветреный и недалекий малый; от лоснящейся головы его пахло гелиотропом; он поглядывал то в окно на улицу, то на Атуева: Атуев уже целый час как проповедовал.

— Смею думать,— говорил он между прочим,— что свобода есть одно из первых условий всякого союза между мужчиной и женщиной.

Людмила Григорьевна молча согласилась с этою общеизвестною истиной.

— Кто же нас может заставить любить друг друга, если мы как-нибудь, когда-нибудь друг друга разлюбим!

Людмила Григорьевна поглядела на своего жениха так, как будто чего-то испугалась; но это было одно мгновение; пальчики ее также ровно и также быстро передергивали иглу.

— А вы не допускаете ревности? — спросил его будущий студент.

— А вы, молодой человек,— вы ее допускаете?

— Я? я ничего не говорю... не испытал еще...

— И вы никогда не должны испытывать — это унизительное, отвратительное чувство. Я не понимаю даже, как мог Шекспир отнестись к нему так серьезно. Помните этого несчастного Отелло? Возмутительно! Я никогда не позволил бы себе написать такую трагедию. Впрочем, во времена варварства возможны и такие сцены, и такие драмы. В наше время серьезные люди понимают, что трагический конец есть следствие предрассудков, опутавших нашу жизнь.

— Страсти не предрассудки,— тихим голосом и как бы запнувшись,— заметила Людмила Григорьевна.

Атуев поправил очки, сложил кончики своих немного растопыренных пальцев и продолжал:

— Я не против страстей, данных нам самою природой, но против тех страстей, которые привила нам ложная и искалечившая нас цивилизация. Поглядите на животных, ревнуют ли они когда-нибудь? Да-а-ас! разум решительно этого не допускает. Если вас не любит женщина или изменила вам, никакая отелловская ревность не поможет.

— Гм... да! это правда,— проговорил будущий студент и стал опять в окно глядеть.

— Политических страстей также нет у животных,— не поднимая глаз, заметила Людмила Григорьевна.— Кажется мне, что и публицистов нет... Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

Атуев смутился, как будто кто-нибудь в него выстрелил. Улыбнись только при этом Людмила Григорьевна, и ее слова поразили бы его окончательно, но она не улыбалась и продолжала работать.

Атуев уже собирался с силами, чтоб отвечать, и уже сморщил лоб, как вошла горничная с каким-то шитьем и подала его Людмиле Григорьевне. Та поглядела на работу и стала учить ее:

— Ты это здесь промечи, а потом загни вот так, понимаешь? Нитки у тебя есть?

— Есть еще.

— Какой нумер?

Горничная сказала, какой нумер.

— Тот самый, который я дала тебе?

— Тот самый.

— Ну, хорошо, ступай.

Горничная вышла.

Атуев пришел в себя и начал:

— Ваше возражение было очень метко, но не попало

в цель. Политические страсти также искусственны; будет время, когда и их не будет.

— А долг искусствен? — перебила его Людмила Григорьевна.

— Какой долг? долг власти или долг покорности?.. Вот вы умеете шить лучше вашей горничной, и она вас слушает; я, положим, знаю химию лучше вас, и вы меня непременно будете слушать, если вздумаете учиться, то есть покоритесь моему знанию. Какой же тут долг? Кто кого в чем слабее, тот тому и повинуется. Не правду ли я говорю, Аркаша?

Аркаша покачал ногой и, обернувшись к Атуеву, проговорил:

— Разумеется, кто слабее...

— И все это очень просто, без всяких романических бредней. Вы также девушка положительная, реальная, не мечтательная девушка.

— Будто уж вы никогда ни о чем не мечтаете?

«Никогда»,— чуть было не сказал Атуев, но это уже и самому ему показалось слишком реально.

— Да, иногда, в хорошем расположении духа, почему же и не помечтать! Это даже полезно: мечты — это умственный моцион, и когда нет никакого дела, почему же не прогуляться; но это еще не значит быть поэтом или мечтателем.

— Вам,— заметила Людмила Григорьевна,— нынче было как-то особенно приятно мечтать о непостоянстве, воображать себя человеком непостоянным,— и ее губы в первый раз насмешливо улыбнулись.

— Вы думаете? Напротив, я был бы мечтателем, если бы вообразил себя постоянным; но я не Герман, а вы не Доротея; [12] для буколической жизни мы не годимся. Теперь я вас люблю, и глубоко, искренно люблю, а буду ли любить вас через три, четыре года, не знаю. Я могу влюбиться, вы можете влюбиться, и если за это отвечать, так придется отвечать и за лихорадку, и за горячку, и за ревматизм; никто в этом не виноват и виноватым быть не может; по крайней мере, я этой вины не допускаю. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны.

Людмила Григорьевна побледнела и перекусила нитку, но казалась совершенно спокойною.

Будущий студент взял свою шотландскую шапочку, провел рукой по волосам и вышел.

Атуев подсел к своей невесте и замолчал. Кровь его прильнула к сердцу, и мозг потерял способность, повторяя чужие слова и мысли, поучать и спорить. Он стал любовать-

ся красотой девушки, наконец, тихонько обнял ее и хотел поцеловать.

Она уронила работу, обернула к нему бледное лицо свое и стала глядеть ему в глаза, как бы разглядывая или желая прочесть в них что-то не совсем ей понятное или загадочное. В расширенных зрачках ее светилось недоумение; к щекам стал медленно приливать румянец.

Когда же, наконец, губы его прикоснулись к щеке ее, она слегка подалась назад, что-то хотела ему сказать, но не сказала,— только приподняла руку, как бы желая на этот раз защитить себя от его страстной ласки.

Атуева огорчило это невольное движение.

— Вы меня не любите? — спросил он робко и, сложа руки на груди, повесил голову.

Людмила Григорьевна продолжала молчать, только потупила ресницы и покраснела сильнее прежнего.

— Вы не хотите говорить, не хотите отвечать мне?

— Я нынче не расположена говорить... завтра...

— Да что с вами? Вы меня пугаете.

— Ничего, дайте мне подумать, приходите завтра...

— В котором часу?

— Когда хотите... лучше вечером, днем у меня работа, я спешу, и...

— И я вам мешаю.

— Нет, не то я хотела вам сказать, но... нынче у меня голова болит... Прощайте...

— Да, вы очень бледны, я такою никогда не видел вас.

Ему показалось, что руки ее дрожат. Он поцеловал их; потом, когда она встала и наклонила голову, поцеловал ее волосы и вышел с стесненным сердцем, с каким-то досадным, неудовлетворенным чувством — вышел озлобленный на самого себя, на свое ненужное ораторство, на ее холодность и направил шаги свои к Тертиеву... но мы уже слышали их беседу.

X

Тетушка Клара Ивановна, раз решившись выдать замуж свою племянницу, уже не мешалась в беседы жениха и невесты, знала, что ее присутствие будет их стеснять, и всякий раз, когда приходил Атуев, удалялась в свою комнату.

С остатком легких в груди и изредка покашливая, чахоточная и сухопарая, она не могла ни на минуту быть без

дела, была еще бодра и не теряла ни остроты глаз, ни остроты своей памяти. И нельзя было не дивиться ее уменью, не прибегая ни к баловству, ни к ласке, заслужить не только любовь, но и полнейшее доверие молодой девушки; Людмила, или Люля, спокойно выносила воркотню ее и по-прежнему доверяла ей все, не исключая даже тех признаний в любви, которые ей приходилось когда-то выслушивать. Старая дева, к счастию, была без всяких предубеждений против замужества и очень была рада видеть Людмилу влюбленною в своего жениха, хотя мысленно и удивлялась ей. «Ну уж,— думала она про себя,— нашла сокровище!»

В это утро старуха не слыхала их разговора; она сидела в креслах, с чулком в руках, шевелила стальными спицами и в то же время читала какую-то английскую книгу, развернутую на ее коленях. Людмила Григорьевна, простившись с женихом своим, посидела с полчаса в гостиной, глядя в потолок и ничего не делая, потом встала, пошла к тетке и, постояв перед ней, сказала:

— Знаете, ma tante *, что я скажу вам?

— Что такое? — спросила тетка, взбросив на нее маленькие блестящие глазки, которые многие находили ядовитыми. Мигом поняли эти старые глазки, что племянница подошла к ней не с тем, чтобы спросить ее, какое надеть платье, или пожаловаться ей, что горничная прескверно выгладила рукавчики.

— Я ему откажу,— чуть не шепотом сказала Людмила, потупясь, и глаза ее не знали, куда им глядеть: на тетушку, в пустой угол или себе под ноги.

— Что такое? — сухо отозвалась старуха.

— Да так; мы не сходимся в образе мыслей. Он не признает ни брака, ни долга, ни обязанностей, даже ревности не признает.

— Ну, что еще? — спросила старуха.

— И вообразите, что еще говорит! Говорит, что я, выйдя замуж, могу влюбиться и любить кого мне вздумается.

— Ну, а еще что?

— Да уж, кажется, чего же больше!

При этом Людмила Григорьевна развела руки и еще ниже потупилась. На губах старухи появилась усмешка, руки с чулком опустились на книгу.

— И ты ему веришь? Эх, ты!.. Да мало ли что он говорит, а ты уж и уши развесила. Кажется, матушка, не взаперти жила, а ума не нажила еще. Вон тот, который нос-то

---

* тетушка *(фр.)*.

откусил у жены своей, тот, чай, и не то еще городил своей невесте.

— Так как же вы думаете, ma tante? — помолчав, спросила Людмила.

— Да нечего тут думать, матушка. Все вздор!.. Ревности не признает, а намедни как с Сергеем Сергеичем вышла ты в другую комнату, так покоробило его всего, точно на иголках, усидеть не мог.

— Неужели? — с полуусмешкой проговорила Людмила, и щеки ее покрылись румянцем. Точно от насмешливых слов старухи начали таять и распускаться все ее страхи и недоумения.

— Вздумала отказывать! — продолжала старуха, откашлявшись в платок.— Я дышу, мать моя, на ладан; не нынче завтра богу душу отдам, а она вздумала отказывать! На твоего ветреника брата я плохо надеюсь; не скоро он наживет что-нибудь. Думаю, что еще и твое добро проживет. Тяжело тебе будет. От прежнего родства мы отстали; в свете друзей не нажили; умри я, куда ты пойдешь? К дядюшке, что ли, твоему, картежнику? Он и брата-то твоего вконец испортит. Нашла повод отказывать! Влюблен в тебя, и сама небось влюблена... От тебя, матушка, зависит, чтоб он, женившись на тебе, не разлюбил тебя. Ты не глупа: переделай его по-своему; всякого мужчину умная женщина переделать может.

— Вы думаете, ma tante?

— Мужчины краснобаи, говорят так, что подумаешь — орел парит... а уж ты и струсила!.. В ужас пришла!.. Ну, откажи, это от твоей воли зависит.

И старуха подняла с колен свой чулок и начала, попрежнему потряхивая тюлевым чепчиком, шевелить стальными спицами.

Людмила, помолчав с полминуты, засмеялась, и этот беззвучный смех принял на губах ее насмешливое выражение. Видно, это выражение по наследству перешло к ней от ее же тетушки.

— Знаете что, ma tante, он просто хотел пощеголять предо мной своими новыми идеями и нарочно выбрал такую минуту, когда брат мой был. Захотелось выиграть в его глазах.

— Давно бы так, мать моя, догадаться.

— Понимаю, хорошо же! — весело заключила Людмила Григорьевна и, поцеловав свою умную тетушку, воротилась на свое прежнее место в маленькую гостиную и опять принялась за свою работу.

XI

Людмила Григорьевна и тетушка ее, Клара Ивановна, решили между собой не посылать свадебных пригласительных билетов, во-первых, потому, что многие так выходят замуж, то есть экспромтом, во-вторых, потому, что партию эту обе они не считали блистательною. Атуев не принадлежал к тому петербургскому кружку, в котором вращалась иногда Людмила Григорьевна: он не был ни особенно богат, ни особенно известен. Тетушка Клара Ивановна уже справлялась кой у кого насчет атуевской знаменитости: оказалось, что, вне его кружка, даже имени его никто не слыхал. Наконец, Людмила Григорьевна сама настолько знала свет, что не рассчитывала на прежние связи и на прежнее внимание, выходя замуж за человека не только темного, но даже и не чиновного. Атуев на вопрос тетушки: «Где вы служите?» отвечал: «Я член Географического общества». Наконец, выходя замуж, Людмила Григорьевна не жалела о свете, *ледяном* и *беспощадном*, как выразился Лермонтов [13]. Она одного только желала, и желала от всей души: умного, деятельного мужа и безмятежного семейного счастия, по крайней мере, настолько, насколько возможно это счастие. Атуев же до такой степени поколебал ее уверенность в прочности семейных начал, высказывая ей свои убеждения, что она несколько раз порывалась воротить ему данное слово и не была уверена — состоится ли свадьба.

Совершенно по другим причинам, Атуев тоже никому не говорил, что он женится. Законным браком он думал себя скомпрометировать, уронить себя в глазах тех юношей, которые, по его собственному мнению, привыкли верить ему, как оракулу; он боялся сплетен, предположений, догадок и проч. проч.

Никто не знал, где он нанял квартиру и с каким вкусом ее отделал; но тайна все-таки разгласилась по вине самого Атуева. Дернул же его черт пойти к редактору и попросить его быть посаженым отцом. Редактор вытаращил глаза, расставил руки, отказался на том основании, что сам был несчастлив в супружестве, и сказал, усмехаясь, что не хочет, как человек несчастный, повлиять на судьбу его. Атуев никак не мог понять, отчего человек, у которого такой роскошный кабинет, такой экипаж и такая любовница — несчастный! [14] Он потупил глаза, извинился, что так некстати побеспокоил его своей просьбой, и редактор, как человек великодушный, снисходительно извинил его. Сходя с лестницы, сконфуженный Атуев проговорил себе под нос:

«Ну, слава богу, отказался! Еще, чего доброго, подумали бы, что это подлость с моей стороны, черт его возьми совсем!»

Но подумал ли Атуев о том, что небезызвестное редактору не может оставаться тайной для редакции, что у редакции есть немало родни и целый легион таких личностей обоего пола, которые относятся к ней, как провинция к столичному городу или как губернские чиновники к сплетням губернаторши? Этого он не подумал и бесконечно был удивлен и озадачен, когда, в назначенный день и час, выскочив из кареты и, в сопровождении посаженого отца, войдя в церковь, где уже все было заранее готово для венчанья, он застал порядочную кучу народа и в этой куче разглядел физиономии своих приятелей и приятельниц. Атуев смутился и мысленно проклял себя за то, что, как нарочно, в посаженые отцы себе пригласил дядю своей невесты, генерала со звездой, лентой, в полной форме и даже с генеральскою осанкой.

Дьячок зажигал свечи; певчие занимали правый клирос и откашливались; священник был в алтаре; толпа шушукалась, и сотни глаз глядели на Атуева, как будто в этот день, в этом фраке и в этом белом галстуке он уже не Атуев, а владетельный принц или японский посланник.

Атуев узнал и Дуню Сигареву, и девицу Кудревич, и девицу Младову, и госпожу Барабанову, и Петрова, и Сласова, и Нимаева. Тертиев был также тут и тотчас же позвал его в алтарь к священнику.

Атуеву почему-то казалось, что девицы и дамы глядят на него как-то особенно насмешливо, а юноши серьезно и как бы снисходительно. По выходе из алтаря не без волнения прошелся он от налоя к дверям, от дверей к налою, пожимая руки своим знакомым, и мельком, как бы с затаенным страхом оглядываясь на ряд икон, как будто очи святых могли разглядеть и понять в душе его тот сумбур, в котором никакой психолог ничего бы понять не мог. На вид он был, конечно, не только спокоен, но даже улыбался, как бы говоря: «Пожалуйста, глядите, как я над собою смеюсь, пожалуйста, смейтесь!», а между тем была и такая минута, когда ему вдруг почудилось, что он пришел на свои собственные похороны, и дрожь пробежала у него по спине.

— Не правда ли,— пожав плечами, сказал он одной девице,— не правда ли, все это как-то дико? Византию напоминает...

— Плачу дань обществу,— сказал он другому, еще молодому малому, но уже с лицом пожилого профессора.

— Плати, брат, плати! — проворчал тот сквозь зубы.

— Видишь, генерал... это родственник мой дальний, навязался ко мне в посаженые; думал ли я, что моя свадьба не лучше иной купеческой, не обойдется без генеральской ленты? Вот оно что значит ирония-то действительности! — кому-то на ухо пояснял и оправдывался Атуев.

— Мы слышали,— пролепетала ему одна гувернантка, девица средних лет, черноглазая, смуглая, со вздернутым носиком и подвижными бровками,— мы слышали, что невеста ваша — аристократка.

— Фи! — возразил Атуев,— за кого вы меня принимаете? Она такая же аристократка, как и вы...

— Никогда, никогда не пойду я замуж,— прошелестила злыми губками воспитанница этой гувернантки, высокая голубоглазая девочка лет пятнадцати, в гарибальдийской шапочке набекрень и с русыми пушистыми локонами, спадающими на ее худенькие плечики.

— Никогда? — спросил ее Атуев, как бы с некоторым сомнением.

— Никогда,— повторила девочка,— любовь не нуждается в церемониях.— И тонкий румянец разлился по ее бледному личику.

— Вашими бы устами да мед пить! — проговорил Атуев и подумал: «Также выйдешь, голубушка, замуж, как и все! Знаем мы вас!»

Невеста не заставила слишком долго ожидать себя; послышался стук четвероместной кареты; настежь отворилась дверь, и в сопровождении двух дам, мальчика с образом и брата Аркаши в церковь вошла Людмила Григорьевна.

С замирающим сердцем, не то обрадованный, не то испуганный, жених пошел к ней навстречу; лакей, в серой ливрее с красными кантами, снял с нее бурнус; дамы поправили головной подвенечный убор ее. Атуев поклонился Аркаше; священник вышел из алтаря в полном облачении; певчие грянули: «Гряди, гряди!» Толпа раздвинулась и опять сдвинулась; невеста поразила всех строгою красотой своею, стройностью стана, мертвенною бледностью и каким-то скромным величием.

Во время венчания никто так горячо не молился в глубине души своей, как сам Атуев, тот самый Атуев, который всех деистов называл метафизиками [15] и свысока относился к ним, как к людям далеко не серьезным. Атуев в это время суеверно трусил за свое неверие; на него вместе с ладаном повеяли детские воспоминания; пред ним ожили забытые отроческие впечатления и как будто ожили темные лики святых в золотых сияниях. Впрочем, он старался не подда-

ваться обаянию и, несмотря на свое настроение, явно желал казаться присутствующим равнодушною жертвой роковой необходимости — оглядывался, улыбался и кусал себе губы.

Когда под сводами раздались известные всем слова апостола: «Жена да боится своего мужа», легкий шепот пронесся в толпе, особливо с той стороны, откуда выглядывали дамы и девушки.

— Это что за рабство! — шепнула одна.

— Вот еще как! — пробормотала другая.

Гувернантка шепнула что-то на ухо своей воспитаннице, и та насмешливо улыбнулась. Невеста покосилась на толпу и перекрестилась.

Наконец венчание кончилось; Людмила Григорьевна пошла прикладываться к образам. Атуев принимал поздравления и, между прочим, особенно крепко пожал руку Тертиеву. К чести присутствующих, Атуев не слыхал ни одного пошлого комплимента своей суженой, ни одного упрека за то, что он никого о своей свадьбе не уведомил и никого не позвал, хотя он, как жених, был бы не прочь и от комплиментов, приятных для его самолюбия, и от упреков, на которые в ответ и в оправдание уже и фразы были им приготовлены.

Наконец — конец. Атуев вздохнул свободнее; он уже несся со своею молодою женой сам-друг в карете; пользуясь вечерним сумраком, обнимал и целовал ее, клялся ей в вечной, неизменной любви, одним словом, опять превратился в самого пламенного поклонника красоты, и в страстных речах его звучало много той поэзии, которая перестала быть в моде у наших реалистов, но которая никогда не была и не может быть модой, точно так же, как никогда не могут быть модой — глаза, слух, красота или молодость.

XII

Не знаю, достаточно ли было первых глав для того, чтобы читатели составили себе кое-какое понятие о моем маленьком герое Атуеве; впрочем, всякая глава должна выяснять его личные качества; в одном месте прибавить свету, в другом — тени, ибо без удачного солнечного освещения не может рельефно выступить никакая фигура.

Жизнь Атуева переменилась.

Недаром его посаженый папенька, генерал, на другой день свадьбы, за обедом у Атуева, поднял бокал и произнес следующий спич:

— Господа! нашего полку прибыло. Дай же бог, чтобы сей новобранец оказался храбрым воином, чтобы защищал свою крепость (при этом генерал указал рукой на Людмилу Григорьевну) от всяких неприятельских покушений, и желаю, чтобы в междуусобных бранях муж, то есть наш почтенный Николай Захарыч, оставался победителем. Ура!..

Атуеву, как и следовало ожидать, речь эта была не по вкусу. Тертиев же захохотал от всей души, выпил за здоровье генерала и сказал ему:

— Вы молодец, ваше превосходительство! Вы бы и в парламенте лицом в грязь не ударили.

И генерал так был этим польщен, в таком был ударе, что даже начал либеральничать, что вовсе не шло ни к его подкрашенным усам, ни к его осанке.

Упоминаю об этом только потому, чтобы наша краткая повесть о семейной жизни Атуева не осталась, так сказать, без приличного предисловия.

Думал ли сам Атуев, что из него выйдет такой милый и нежный супруг, и думала ли Людмила Григорьевна, что она такая чувственная, страстная женщина! Ледяная наружность ее вовсе этого не обещала.

«Ну вот, поди ты,— думал про себя счастливый муж,— кто бы мог ожидать! Суди теперь по девицам, что из них выйдет».

Впрочем, не следует забывать, что это были медовые месяцы...

Новая квартира Атуева приняла такой порядочный, такой комфортабельно-изящный вид, что любо-дорого. Хозяйка умела управляться как с собой, так и с прислугой. Не бранясь, была взыскательна и умела острить над мужем, не оскорбляя его самолюбия. Все шло как по маслу. К довершению благополучия Атуева оказалось, сверх всякого чаяния, что у Людмилы Григорьевны и деньги есть. Как видите, атуевское бескорыстие было увенчано неожиданною наградой, чего никак нельзя сказать вообще про всякое бескорыстие.

Атуев стал, однако же, расчетливее, и вообще новый образ жизни не мог в некоторых отношениях не изменить его: например, он, будучи холостым, не чуждался пьяных собеседников, лишь бы эти собеседники были литераторы. Людям своей партии он прощал все елико возможные безобразия, и нередко сам с ними пил или прикидывался пьяным. Теперь стал бояться их, бояться как пьяного говору их, так и их свиста. Он знал, что поссориться с ними, значит попасть в карикатуру или на другой же день быть обла-

янным. Как видите, положение было очень щекотливое. Прежние его приятельницы по-прежнему иногда заходили к нему; но он принимал их у себя в кабинете и рекомендовал их жене своей только в таком случае, когда это было неизбежно, то есть когда Людмила Григорьевна сама в это время входила к нему в комнату.

По субботам он не всех приглашал к себе, но уже с разбором. Литературные вечера его были порядочно скучны, один Тертиев оживлял их своим присутствием.

Тертиев сначала не понравился Людмиле Григорьевне; но, привыкнув к его манерам и его крикливому голосу, она нашла в нем много хороших качеств и не только была любезна с ним, но говорила мужу, что из числа его приятелей это — самый благонадежный.

— Да чем же он тебе так нравится?

— Да он оригинален, и без натяжки оригинален.

— Он горд и самолюбив как черт.

— Ну что ж! другие это скрывают, а он не умеет. Тетушка его не выносит, но я привыкла.

Атуев, по-видимому, был очень доволен, что его аристократка (так иногда он называл жену свою) оценила демократа, его старого приятеля; беспрестанно приглашал Тертиева и шутя уверял его, что он, бог его знает чем и как, пленил жену его.

Тертиев не любил семейных домов, но заходил к Атуеву довольно часто. Людмила Григорьевна умела поджигать его на спор, а спорить было потребностью души его; он не мог не спорить.

«Неужели,— стал думать Атуев,— ей приятно, что он не щадит меня! Неужели ей весело, что я иногда пасую пред его ученостью?! Ни одного моего знакомого не оставил он в покое, всех разбирает по ниточке и всех бранит. Она, привыкшая к светской сдержанности и к гостиным разговорам, вдруг находит, что Тертиев милейший человек! Милейший! Что ж в нем такого милого! Энергическая, резкая физиономия, вот что ей нравится... Мне же это вовсе не нравится»,— продолжал думать Атуев.

Но странно устроены иные головы. Узнав раз, что жена его не читала романов Жорж Занда [16] и что тетушка не давала ей читать их, Атуев возмутился духом.

— Как! — говорил он,— не читать Жорж Занда! Да знаешь ли ты, что некоторые из наших дам и даже девиц не только прочли ее давным-давно, но и считают ее уже отсталою женщиной, находят, что Жорж Занд все еще борется против таких вещей, которые давно уже утратили всякую

силу и всякое значение в современном образованном обществе.

— Пожалуй, я буду все читать,— отвечала ему жена его,— все, потому что за себя не боюсь. Не книги для меня страшны или опасны, а люди...

И Атуев последнюю фразу понял по-своему.

«Она боится за свое сердце... за свою страстность,— подумал он.— Гм!.. не книги опасны, а люди... Кто же эти опасные люди? Уж не Тертиев ли?..»

И жутко ему стало при мысли потерять сердце женщины, к которой он с каждым днем привязывался силою неодолимой страсти.

Иногда хотелось ему испытать ее, попробовать, будет ли ей грустно или хоть скучно, если он покажет вид, что он уже к ней охладел и скучает. Но чаще всего сам грустил, воображая, что жена его стала равнодушнее к его любезностям.

Писать он не успевал, и часто труды его пропадали даром; но Атуев хотел взяться за какой-то большой труд и добывал себе книги, по его мнению, необходимые.

Жажда литературной славы томила его. Трудно утолить эту жажду без таланта и без учености. Но Атуев был уверен, что он не бездарнее других и что при знании языков ему ничего не стоит сделаться великим критиком.

Атуев не замечал, что в том кружке, где он до сих пор вращался, он уже падал и что бывшие его поклонницы в эту зиму уже на других перенесли свои надежды и свои помыслы и так между собой толковали про Атуева: «Знаться с Атуевым еще можно, он нашего поля ягода, только жена его — дрянь. Ну, да нам с ней не кашу варить, а он все-таки добрый малый!»

«Добрый малый»! Что может быть хуже, обиднее этого прозвища в такое время, когда желчь для человека чуть ли не дороже золота, когда вражда, презрение и ненависть стали для него единственными силами, достойными любви и поклонения.

Одна только Сигарева, та самая, которая не захотела даром жить на квартире Атуева и оставила ему на столе записку, только она еще верила уму и перу Атуева; но и та, вообразив себе, что Атуев женился на деньгах, потеряла к его личности прежнее доверие. Навещая его, она насмешливо оглядывала его кабинет и все допрашивала, скоро ли он станет издавать журнал и не закажет ли он ей какого-нибудь перевода. Только это в ее глазах и могло оправдать женитьбу Атуева.

Атуев лгал ей, говоря, что журнал будет, что это его

мечта и единственная цель, при этом излагал ей план своего будущего издания, и Сигарева мирилась с Атуевым.

Сигарева воображала, что Атуев был втайне неравнодушен к ней (было время, он и за ней ухаживал) и что, не будь она к нему так холодна, Атуев никогда бы не женился на какой-то Клевер.

Атуев, как нарочно, беседуя с нею, казался задумчивым и говорил не раз, что он не может быть счастлив, потому что тяготится *мещанским счастием* [17].

Вскоре после его женитьбы девица Сигарева, будучи еще в какой-то женской переплетной, поссорилась с ее учредительницей, которая будто бы не доплатила ей сорока восьми копеек и будто бы имеет явное намерение все прибрать к своим рукам, тогда как мастерская эта вовсе не ее собственность, а основана на новых началах, именно на началах свободного труда и ассоциации. Сигарева требовала суда и расправы. Атуев взялся быть ее адвокатом, ездил, разбирал это дело, мирил враждующих, одну упрашивал не лишать себя работы, другую не лишать себя труженицы, но как он ни хлопотал, как ни старался, труженица бросила переплетную.

Теперь она готовилась в акушерки, и тут Атуев, по мере сил своих, старался ей быть полезным.

Атуев также воображал, что эта бедная девушка неравнодушна к нему, и от всей души жалел ее.

Между Атуевым и Сигаревой одно было общее: оба они не столько жили, сколько сочиняли, выдумывали жизнь свою. За сим — ничего общего. В Атуеве лежала закваска и религиозных верований, и поэтических образов, и романтических мечтаний; в Сигаревой ничего этого не было; она искренно не понимала ни одного лирического стихотворения, ни одной драмы, основанной на страстях, и все романы, за исключением «Что делать?», считала пустяками и вздором, не стоящим внимания. Атуев был постоянно добрый малый и злым только прикидывался, во что бы то ни стало старался злиться. Сигарева была иногда добра до самоотвержения, иногда зла до нелепости; вся она состояла из порывов и любила только крайности. Атуев по своему образованию и начитанности мог бы и теперь еще быть учителем Сигаревой и, несмотря на это, в голове его была порядочная каша: его новейшие теории постоянно расходились или враждовали с его наклонностями, привычками и задушевными целями. Сигарева чему раз поверила, так с тем и осталась; в ней не было ни притворства, ни горьких сомнений или колебаний, но жизнь ее была пуста и в высшей степени безалаберна.

Честная до щепетильности, она была самолюбива, обидчива и ни с кем не уживалась, особливо с женщинами. Житейского такта или благоразумия не было в ней ни на каплю. Нанимая комнатку в одном коридоре со студентами, она с ними не церемонилась, и нередко, сидя в одной юбке и нечесаная, принимала их к себе, не обращая ни малейшего внимания на тот беспорядок, который царствовал в ее комнате; но никто из этих молодых людей не смел быть с нею дерзок, особливо с тех пор, как она за один неожиданный поцелуй отплатила совершенно неожиданною оплеухой. Это была краснощекая, свежая блондинка с голубыми глазами, крупными губами и вздернутым носиком, сильная и здоровая.

Носились слухи, что она еще ребенком — в каком-то губернском пансионе — прослыла неукротимою и потом ушла от своих родителей. Слухи эти были не без основания. Мать ее, вдова и помещица Т-ой губернии, безвыездно жила в деревне; кроме Дуни, то есть Авдотьи Ивановны Сигаревой, у ней на руках целая куча детей, четыре девочки и четыре мальчика. Дом этой барыни, если только заглянуть за кулисы ее семейной жизни, верх беспорядка и хаоса невообразимого. Никто не знает своего места, своего угла, своего дела. Гувернантки ссорятся с няньками; няньки летом по ночам вылезают из окошек и уходят к своим любовникам. По утрам, когда происходит умыванье, иные дети умываются на заднем крыльце, иные в коридоре, иные вовсе не хотят умываться, убегают в сад, и их там ловят по приказанию барыни. Сама барыня женщина чувствительная, любит иногда выпить лишнюю рюмочку, и тогда, при дурном расположении духа, всем достается; писки и крики раздаются по всему дому. И в этот-то хаос воротилась из пансиона семнадцатилетняя Дуня. Началось с того, что она запретила матери бить сестер; возникла борьба, борьба тяжелая и подчас возмутительная. Бог знает чем бы она кончилась, если бы мать Дуни была постоянно в одном и том же настроении духа; но этого не было: иногда она затихала, удалялась в свои комнаты, молилась, тосковала и по целым неделям то равнодушно глядела на детей своих, что бы они ни делали, то баловала их. Так прошел год. Неукротимая дочка стала деспотом и в то же время проповедовала полное неповиновение: при матери строго говорила своим сестрам и братьям: «Не слушайтесь!» Мать вступалась за свои права; поднимался спор, упреки и жалобы. Наконец Дуня стала требовать своих бумаг и проситься вон из дому; мысль своим собственным трудом зарабатывать себе кусок хлеба давно уже гнездилась в голове ее. «Хуже вам будет,— говорила

она матери,— если я сама уйду; пропадать так пропадать!» Мать наконец сказала ей: «С богом! я не держу, иди на все четыре стороны»,— но, прощаясь с ней, залилась слезами и приказала своему управляющему достать ей на дорогу денег. Управляющий принес триста рублей, и эти деньги безалаберно добрая мать положила потихоньку в чемодан своей дочери. Она уже считала ее навсегда погибшею. С этим чемоданом Дуня и прибыла в Питер и, по следам Сусловой [18], думала было поступить в Медицинскую академию, но ей доказали, что, во-первых, для этого она нисколько не подготовлена, а во-вторых, сообщили ей слухи, что для женщин двери Академии будут заперты.

Сделавшись петербургскою современною девушкой, много испытала она всяких напастей, но все выносила и все к чему-то стремилась. С необычайною энергией бралась она то за то, то за другое дело; но у ней не хватало то знания, то терпения и способности подчиниться людям знающим и терпеливым. В своем кружке, разумеется, Сигарева слыла отъявленною нигилисткой.

XIII

Людмила Григорьевна прежде всего старалась быть со всеми любезною. Она была любезна и с Авдотьей Ивановной Сигаревой, когда та приходила к ее мужу; но не могла не заметить, что эта гостья поглядывает на нее исподлобья или ограничивается ничего не поясняющими ответами. «Что ей до меня за дело?» — думала про себя Дуня.— «Ей, кажется, не угодно говорить со мной»,— думала про себя Людмила Григорьевна и удалялась в другие комнаты, предоставляя своему мужу беседовать с этою несговорчивою девушкой. Одним словом, не нашлось между ними местечка удобного для симпатии, и антипатия не замедлила занять его.

Однажды утром, перед завтраком, Людмила Григорьевна, зная уже, что муж ее хлопочет достать для Сигаревой какой-то анатомический атлас, была в кабинете и между прочим стала уверять своего мужа, что из Сигаревой ничего путного не выйдет, что экзамена она не выдержит, а если и выдержит, то все же не быть ей акушеркой.

— Судя по всему тому, что я про нее знаю,— говорила Людмила Григорьевна,— нет у ней ни постоянства в прилежании, ни настойчивости, ни терпенья. И что это ей вздумалось — в акушерки! Не к лицу ей это.

— Надо же что-нибудь делать,— возражал Атуев.— Найдется по душе работа, найдется и терпение.

— Никогда не найдется...

— Ты в этом уверена?

И Атуев через очки поглядел на жену свою с оттенком иронического неудовольствия. Ему показалось, что она потому только говорит так о Сигаревой, что он ей покровительствует и о ней заботится. «Женщины этого не любят»,— подумал Атуев.

— Да она груба и как одевается! Можно и в ситцевом платье ходить, да не так; пуговки оторванной пришить на себе не хочет. Спрашиваю тебя: должна ли акушерка на больных производить тяжелое впечатление? Уход за больными требует ласковости и аккуратности, а у ней смятые воротнички, руки исцарапаны, точно она с кошками дралась! Нет, не нравится мне твоя Сигарева.

— Напротив, мне это-то именно в ней и нравится. Вон, Тертиев...

— Что Тертиев?

— Тот так же мало заботится о своей внешности, что же ты на него не нападаешь?

— Какое мне дело на кого-нибудь нападать? — рассердившись, проговорила Людмила Григорьевна.— Нападать! Разве я нападала когда-нибудь на твою Сигареву?

— Ну, не сердись, голубушка! Голубушка моя, милая моя, не сердись!

И Атуев притянул ее к себе, обнял и стал целовать. «Ревнует, значит, любит меня»,— подумал счастливый муж, осыпая жену нежными именами и поцелуями.

Вдруг из передней шумно отворилась дверь и в кабинет влетела Сигарева. От нее еще веяло уличным холодом, на шее мотался вязаный шарфик, щеки горели. Влетев, она остановилась как вкопанная и, пораженная любовною сценой, судя по выражению ее глаз, казалась не столько сконфуженною, сколько сильно испуганною. Людмила Григорьевна, вспыхнув, отскочила от своего супруга и строгим взглядом встретила незваную гостью — неожиданную нарушительницу их семейного благополучия.

— Извините! — сказала девушка,— я уйду...

Атуев готов был провалиться, так ему было досадно.

— Как это вы вошли? — спросил он.

— Очень просто: дверь с лестницы не была заперта.

— Не заперта! Люля, поди узнай, что такое? Может ли это быть?

— Иначе я не могла бы войти,— возразила Сигарева,—

дверь была не только не заперта, но на целый вершок отворена. Пожалуйста, не вините меня...

Людмила Григорьевна, не говоря ни слова, вышла вон. Через минуту звонкий, разгневанный голосок ее уже раздавался в коридоре: она кликала мальчика и делала выговоры своей служанке.

Атуев сидел с глупою миной, повесив голову. Сигарева стянула с себя шарфик и нахмурилась.

— И вы,— сказала она,— вы позволяете вашей жене бранить людей, тогда как они такие же люди, как и вы, как и всякая барыня, а может быть, даже и лучше...

Атуев обиделся.

— Если бы,— сказал он,— вы наняли меня для того, чтоб я запирал вашу дверь и берег ваши вещи, надеюсь, вы были бы вправе взыскивать с меня, если бы я не исполнил своей обязанности...

— То-то и есть,— приподняв указательный пальчик и глядя исподлобья, сказала девушка,— если б я вас нанимала, вы бы не пошли служить ко мне, потому что вы аристократ, белоручка, трутень, живущий чужими трудами и заедающий чужой хлеб, не гражданин человечества, не передовой человек, а просто... буржуа и филистер.

Атуев был уязвлен.

— Ну вот!.. То аристократ, то буржуа, сами не знаете, что городите! и к чему вы все это приплетаете, господь вас ведает! Гражданство и незапертая дверь, что тут общего?.. Ну, калоши бы ваши, бурнус бы ваш украли... ну что тут хорошего?

— И пусть бы украли... А знаете, что сделал Туркин, когда человек обокрал его?

— Не знаю-с; ни о каком Туркине не имею ни малейшего понятия.

— А! вы не знаете! так я вам скажу. Вот что сделал Туркин: он позвал этого человека и сказал ему: «Прости, что я довел тебя до воровства...»

— А! так он сам его довел?..

— Не перебивайте, слушайте! Позвал человека и сказал ему: «Владей моим украденным пальто и моим жилетом, но оставайся у меня и, если ты судьбой обижен, требуй, чтоб я прибавил тебе жалованья». Вот это человек!

— Просто дурак какой-то; и кто вам это рассказывал? Так это все невероятно! После этого, если вы меня обокрадете, я же должен буду на коленках пред вами извинения просить.

— Да... да!..— вспыхнула Сигарева, и глаза ее заискри-

лись.— На коленках предо мной, если вы меня доведете до такой низости! на коленках!.. Но — как вы смеете думать, что это возможно?

— Помилуйте! — возразил Атуев, покраснев до ушей и приподняв плечи,— я ничего не думаю, у меня и в мыслях не было обидеть вас... Я просто не понимаю вас.

— Э, да что мне с вами толковать! Прощайте!.. Моя нога у вас не будет!

С этим словом она повернулась к дверям, встряхнула головой и вышла.

Атуев как сидел на стуле, так и остался сидеть, разгоряченный до последней степени. Он почувствовал, что терял свою единственную поклонницу, он струсил, что она разгласит о нем, как о буржуа, как о человеке, который с новыми идеями не имеет ничего общего.

XIV

Почему-то до самого обеда и муж и жена были не в духе: оттого ли, что на дворе была оттепель, на небе серо, на улицах сыро и в комнатах тускло, или оттого, что появление Сигаревой расхолодило их. Целый день они о ней говорили и спорили.

— Я это понимаю,— между прочим говорил Атуев,— это... это понятно... она оттого и городила такой вздор, что, когда увидела нас, кровь бросилась ей в голову. Стало завидно...

— А что, разве она влюблена в тебя? — спросила Людмила Григорьевна.

— Кажется, есть тот грешок...

Карие глаза супруги с особенным блеском остановились на лице его.

— Ты, кажется, очень рад, что по тебе страдают,— проговорила она и улыбнулась.

Погруженное в сумерки, тусклое лицо ее в эту минуту напомнило Атуеву улыбающиеся губы ее чахоточной тетушки.

— Не рад; но не гнать же мне было ее за это!

— Мне было бы особенно интересно поглядеть, хоть в щелочку, как это ты с ней наедине любезничаешь?

Атуев пожал плечами и взялся за какую-то книгу.

— Как это ты рассыпаешься в подобных случаях!.. Очень бы хотелось поглядеть,— продолжала шутить Людмила Григорьевна, и глаза ее уже зловеще-весело поглядели на Атуева.

В этот день за обедом разговор также не клеился. Людмила Григорьевна на французском языке высказывала неудовольствие.

— Петя лучше всех,— заключила она,— спасибо Тертиеву, что он нам рекомендовал его, мальчик услужливый.

— А дверей не запирает,— заметил муж.

— Его не было дома, Степанида должна была запереть за ним дверь и забыла; у ней в голове ветер ходит.

— А куда ходил мальчик?

— Я посылала его к тетушке.

— А!.. вечно эта тетушка!.. Ты бы мог,— обратился он к мальчику уже по-русски,— ты бы мог с заднего крыльца уйти.

— Да куфарка на рынок пошла, куфню заперла... ключ с собой в карман взяла, я пробовал... пробовал — не отворяется, пошел через парадную.

— А сказал ты Степаниде, чтоб она за тобой дверь замкнула?

— Сказал-с,— неуверенным голосом и глядя растерянными глазами, отвечал мальчик.

— Вздор! Вздор! — отозвалась Степанида, ставя на стол бутылку красного вина.— Ничего ты мне не сказывал, я тебя не видела.

Начался спор и взаимные обвинения; Людмила Григорьевна приказала им замолчать.

Затем оказалось, и что красное вино, только что третьего дня откупоренное, уже скислось и что без воды его пить нельзя. Точно с утра Сигарева принесла прозу и унесла с собой всю поэзию их брачной жизни. От разговоров, от стола, от погоды, от прислуги и от всего несло чем-то мелкобудничным, пошло-обыденным; этого они сами не замечали, но чувствовали, что им скучно и что к занятиям никакой охоты нет. Вечером к чаю явился Тертиев, хозяйка ему обрадовалась. Атуев, по-видимому, также обрадовался, но после чаю тотчас увел его к себе в кабинет.

Тертиев, закуривая сигару, признался, что он вот уже две недели как ходит в магазин к одному оптику и волочится там за одним микроскопом...

— Торгуюсь,— говорил Тертиев,— как жид торгуюсь — не уступает. Сто восемьдесят рублей крайняя цена, а где я их возьму? Хотел ему платить помесячно, не хочет, кредита не имею...

— А тебе очень нужен этот микроскоп?

— А разумеется...

Тертиев начал развивать планы своих занятий.

Скоро разговор с медицины перешел на политику. Тертиев говорил много, и говорил с жаром.

Был уже двенадцатый час ночи. Атуев почувствовал, что в дверь молча вошла жена его, молча села в уголок и стала их слушать. Тертиев долго не замечал ее присутствия, но как-то оглянулся и увидел ее,— чрез минуту он опять оглянулся, и на лице его выразилось что-то похожее на промелькнувшее удивление. Атуев как раз заметил это движение на лице своего приятеля, тихонько обернул свою голову и, опершись на локоть, сквозь пальцы стал глядеть в угол. Из угла сияли глаза Людмилы Григорьевны.

Большие, горящие каким-то неподвижным планетным блеском, были устремлены они на говорящего Тертиева. В этих глазах, казалось, было что-то страстное и что-то благоговейно-робкое. Сердце Атуева болезненно сжалось. «Так смотреть,— подумал Атуев,— это или верх неприличия, или верх кокетства, или верх страсти!»

Ни того, ни другого, ни третьего не мог он даже вообразить себе, и потому все это разом как-то резко пришло ему в голову.

Никогда еще Людмила Григорьевна не сидела в его кабинете так поздно и так долго. Был уже второй час, когда Тертиев взялся за шляпу и, пожав руку уже рассеянному Атуеву, вышел в переднюю.

За ним, не прямо из кабинета, а через зал, вышла Людмила Григорьевна.

Атуев весь превратился в слух и притаил дыхание. Тертиев надевал шинель и калоши, и Атуев никак не мог расслышать, что такое говорит ему на прощанье Людмила Григорьевна, говорит так тихо и так проворно, как будто с умыслом, чтобы никто не мог понять ее.

Он уже хотел подкрасться к двери, но скрип его же собственных сапогов испугал его.

— К какой стати ты сама пошла его провожать? — не утерпел он и пробормотал с досадой жене своей, встретившись с ней на пороге спальни.

— А что! — наивно-удивленным голосом, простодушно возразила жена.— Я пошла узнать, есть ли кому посветить или подать шинель. Все спят.

— И тебе бы давно спать пора.

— Э! еще будет время! Да и почему я должна спать, а ты не спать... вот еще новости!

Атуев потушил лампу, вздохнул и пошел раздеваться.

«Посмотрим, будет ли он ревновать ко мне»,— подумала Людмила Григорьевна.

XV

«Меня легко надувать, женщины всегда меня всю жизнь надували! Такая моя судьба»,— думал Атуев, и мало-помалу стал ревновать жену. Ему стало казаться, что Тертиев иногда в ее присутствии с умыслом не щадит его, с умыслом щеголяет своею диалектикой и советует ему, Атуеву, повнимательнее перечитать кой-какие труды европейских ученых и литераторов. Атуев как будто забыл, что Тертиев всегда был таков; тайная досада грызла его завистливую душу. «Понимаю, брат, что все это значит!» — говорил он про себя, когда Тертиев пускался в рассуждения пред женой его и когда та исподтишка, как бы нехотя и как бы не замечая мужа, бросала на него пламенные взгляды, по крайней мере, такими именно, сквозь ревнивые очки, казались они глазам Атуева.

Всего вернее, что милой Людмиле Григорьевне хотелось помучить своего благоверного. И если это так, то цель ее была достигнута. Атуев уже воображал, что она влюблена в его приятеля, и страдал.

— Отчего ты не хотел нынче завтракать? — спросила его однажды Людмила Григорьевна.

— Так, у меня аппетита нет.

— Где ты вчера был вечером? Опять где-нибудь ел слоеные пирожки, тебе вредно слоеное, ты сам это знаешь, и...

— Да нет! Какие слоеные пирожки? Откуда вдруг вечером — слоеные?!

— Ну, так что-нибудь копченое?

Атуев поморщился и выразил на лице своем досаду.

— Если я мешаю тебе, я уйду...

— Да нет же! Ты нисколько мне не мешаешь. Только откуда ты взяла копченое?! Придет же в голову фантазия. Я просто чай пил у Тамариных, хорошие люди, заехал к ним и засиделся. А что? Вчера без меня никто у нас не был?

— Заходил Тертиев.

Атуеву показалось, что жена его запнулась при слове «Тертиев», не вдруг произнесла эту фамилию.

— Заходил? Почему же он не остался, не подождал меня?

— Не знаю, спроси его, я не спрашивала.

— Чудесный человек этот Тертиев! Люблю его, работящий, честный, правдивый...

— Что это ты вздумал вдруг так хвалить его?

— А разве тебе не приятно, что я хвалю его?

— А!
— Что а? Ну, чему ты смеешься?
— Ты не ревнуешь ли?
— Я?! Вот еще новости! Ревность! Избави бог! Надеюсь, что ты, как честная женщина, сама мне прямо скажешь, что разлюбила меня и полюбила другого. А? Не правда ли?
— А если это тебя огорчит, оскорбит?
— Все же лучше знать, чем быть обманутым.
— Ну, не бойся, не бойся; я не обману тебя,— полусерьезно пробормотала ему в ответ Людмила Григорьевна.
— Люля! Если... если Тертиев или кто-нибудь, как-нибудь затронет твое сердце... Я... клянусь тебе, я ни слова не скажу тебе,— с жаром в лице проговорил Атуев.
— Не бойся, не бойся, Тертиев и не думает.
— А ты желала бы, чтоб он о тебе думал? — игривым голосом подхватил Атуев.
— Отчего ж бы и не желать? Это приятно, когда о нас думают,— отвечала жена тоном деревенской дурочки.
— А, так ты кокетка?
— Немножко,— отвечала она жалобно, как бы признаваясь и, в то же время, нисколько не боясь своего признания.
— Вот уж ничего нет хуже кокетства,— горячо подхватил Атуев.— Я этого не ожидал, право, не ожидал! Кокетство! да это извращенное честолюбие... Не любить и желать быть любимой, что может быть этого хуже, преступнее? По какому праву мы, оставаясь лично спокойными, посягаем на спокойствие других?
И Атуев, глядя на нее из-под очков, даже вопросительно рот раскрыл.
— А ты, мой Атуличка!.. Ты никогда не кокетничал? И даже с Сигаревой не кокетничал? А? — припав к плечу его, проговорила жена и обеими руками ласково провела по щекам его. Она была в шаловливом настроении духа.
— Никогда! Ей-богу, никогда! — перебил Атуев.— Впрочем, в субботу придет Тертиев, и если ты считаешь его умнее меня,— ну, да если, по-твоему, он умнее меня, спроси его, признает ли он кокетство, допускает ли его в порядочной женщине? Вообще, что он об этом думает.
— Право, кажется, ты меня к нему ревнуешь,— улыбаясь и поглядывая на него искоса, лепетала Людмила Григорьевна.
— Ну, нет же, я тебе говорю...
— Честное слово?
— Честное слово, что не ревную.

Людмила Григорьевна весело поцеловала своего супруга в лоб и вышла.

Атуев остался один пред кабинетным столом своим, передвинул чернильницу и хотел писать; но поднял перо, упер глаза в стену и подумал: «Однако же она не возражала мне, когда я сказал ей: ты считаешь Тертиева умнее меня. Гм! Не хочет, чтоб я ревновал — о женщины!»

XVI

Пришла суббота; вечером, к десяти часам, у Атуева собрались гости. Мужчины курили, спорили и рассаживались в кабинете со стаканами чаю. Три какие-то дамы и, редкая гостья, тетушка Клара Ивановна находились в столовой, где кипел самовар. Людмила Григорьевна разливала чай. Мальчик уходил, разносил и обратно приходил с подносом. Дамы были одеты не без претензий на моду, хозяйка была весела и любезна.

Атуев был в духе; в среде его гостей были две или даже три литературные знаменитости; был один романист, один юморист и один преисполненный гражданской скорби поэт; все они придерживались одного и того же направления, но участвовали в разных журналах и потому друг на друга косились. Впрочем, все было очень прилично и комфортабельно, по углам велись сдержанные разговоры; у каждого на уме было его последнее произведение, и каждый очень тонко допытывался, известно ли оно прочим членам общества и что о нем думают.

Дамы после чаю отправились в уборную, маленькую комнату возле спальной ниши, меланхолически озаренную китайским фонариком. Но голоса мужчин и туда долетали, особливо голос Тертиева.

— Что вы мне говорите,— кричал он.— «Если бы!» Это все равно, если б я сказал: а что, если б у лошади да коровий хвост, или: а что, если бы Волга да в Неву текла. Куда годится ваше: «если бы!» Я знать его не хочу, потому что на нем я вам что хотите построю, куда хотите поеду. Европа на три века стоит впереди нас, это факт; ну, о факте и рассуждайте.— Ему что-то возражали.— Пустяки! пустяки! — гремел вновь Тертиев, и многие решили, что это пренесносный господин, не столько всякого переспорит, сколько перекричит [19].

Тетушка Клара Ивановна издали затыкала себе уши и спрашивала хозяйку: «Неужели он, мать моя, всегда так орет».

Дамы смеялись.

— Пожалуйста, милая, скорей вели им ужинать дать,— заключила тетушка,— авось поедят, поедят да и разъедутся.

За ужином действительно говорили как будто тише: присутствие ли дам, или усталость, или вкусные блюда были тому причиной.

Тертиев сел около хозяйки, лоб его лоснился, волосы ерошились, губы улыбались; он выпил стакан красного вина и был расположен к любезности.

Вдруг, посреди говора, стука ножей и вилок, возвысился голос самого Атуева:

— А что, брат Тертиев, как ты думаешь вообще о кокетстве? Следует ли женщине быть кокеткой?

— А как же! Ха-ха-ха! Как же, разумеется, следует,— заголосил Тертиев и стал доказывать, что женщина без кокетства никуда не годится, выеденного яйца не стоит.

Что Атуев не забыл спросить об этом у Тертиева, это одно уже было подозрительно: значит, разговору с женой он придавал особенное значение и был убежден, что Тертиев будет на его стороне, то есть разразится против кокетства и станет карать его. Он даже помнил, как однажды в разговоре с ним Тертиев высказывал диаметрально противоположное мнение, чуть ли не с грязью мешал всякую женщину, которая бы вздумала с ним кокетничать. Никак, никоим образом не ожидал Атуев со стороны Тертиева такой выходки. Он видел, как жена его улыбнулась и даже покраснела от удовольствия.

«Уж не сговорились ли...» — подумал он, ошеломленный красноречием своего приятеля, и возмутился духом от такого предположения.

После ужина, в часу четвертом, проводив гостей, Атуев сказал жене, что у него от табачного дыму голова кружится.

— Зачем же ты сидишь в кабинете, здесь такой дым, что ужас! Отвори форточки.

— Да, твоя правда,— сказал он и перешел в ее уборную.

«Гм! Не может быть, чтоб он наперед не знал, что я спрошу его»,— думал Атуев, сдергивая с шеи галстук пред туалетным зеркалом своей супруги. «Но где же это они могли сговориться? Где? Он до самого ужина не подходил к ней, она ни слова не говорила с ним, и, когда он сел подле ее, даже немного стул свой от него отодвинула. Гм! Как ей было приятно, что он — за нее... Улыбнулась и покраснела... Однако же каналья этот Тертиев! Не ожидал я от него такого лицемерия».

Все это болезненно ворочалось в мозгу Атуева; ревность

начинала пускать свои маленькие ростки и усики, как какое-нибудь вьющееся растение, и душила его, не давала ему заснуть. Утомленная же вечером жена его спала крепким сном безмятежной невинности и до самого утра ни разу не повернула к нему головы своей.

XVII

Прошло несколько недель, и Атуев сам уже начинал трунить над своею ни на чем не основанною ревностью. Правда, иногда приходило ему в голову как-нибудь, хоть на будущее время, обезопасить себя от тайных (в сущности же мнимых) посягательств своего приятеля: то хотелось ему с ним поссориться, как-нибудь обидеть его, чтобы тот плюнул на него и перестал бы заходить к нему, то хотелось как-нибудь оклеветать его. Но Тертиев как нарочно был чем-то очень занят и пропадал; поссориться не предвиделось никакого извинительного предлога или благовидного случая; а оклеветать — оклеветать было также не совсем-то удобно; это не то, что назвать дураком Августа Шлегеля [20] или нацарапать какую-нибудь статейку о Маколее [21] и за узкость его взглядов прочесть ему приличное наставление. Выдумать какую-нибудь нелепость про своего приятеля, да еще такого крикуна, не так-то легко; да и поверит ли еще жена его какой-нибудь выдумке! А ну как еще самого Тертиева спросит! что тогда?..

И Атуев решительно отверг в самом себе сей замысел, гнусный и неблаговидный. «Все это вздор! — решил он,— если она влюблена в него,— ничто не поможет. Да и влюблена ли еще? Из чего это видно? Вот уж недели две, как он и носу своего к нам не кажет, а она и не спросила ни разу о нем: также спокойна, также занята и также ко мне внимательна. Решительно не имею причины сомневаться ни в ее честности, ни в ее любви ко мне. Буду наблюдать... Наблюдать, конечно, никогда не мешает, но ревновать — глупо до последней степени».

Наконец Атуев перестал думать о Тертиеве; но судьба, злая судьба, как нарочно, такую придумала штуку, что волей-неволей заставила думать.

Раз, это было незадолго до рождества, шел он из Гостиного двора к себе на Гороховую (он жил на Гороховой улице), шел со свертком только что купленной им бумаги. Запахивая полы своей ильковой шубы, он старался предохранить грудь от снежной вьюги, которая дула ему то в лицо,

то в затылок, и на Невском, около Казанского моста, повернувшись, увидел девицу Сигареву. Она переходила проспект в своем осеннем бурнусике, в сером вязаном шарфе вокруг шеи и шла прямо на него, одною рукой приподнимая подол платья, из-под которого виднелась бахрома юбки, а другой поддерживая какой-то узел с книгами.

— Скорей! Вас задавят... Чуть вас дышлом не задели,— сказал ей Атуев.

Сигарева подпрыгнула, перескочила на тротуар и стала отряхивать свои ноги. На ней были резиновые калоши, и ей, бедняжке, было заметно холодно, молодые щеки ее, обвеянные снежною пылью, румянились, руки без перчаток также казались розовыми.

— А, это вы! — отозвалась она без малейшей улыбки.— Как это вы разглядели меня с высоты вашего величия.

— Эдакая вы злая! За что вы на меня сердитесь?

— Еще бы на вас не сердиться!

— Ну, как ваши дела?

— Э, черт возьми их, мои дела! Одна моя подруга книги мои забыла у своего приятеля. Насилу их выручила! Иду браниться...

— Вы не бранитесь! Сознайтесь, что вы были тогда виноваты.

— Что-о-о-о! Я была виновата? Вот еще какие новости!

— Да как же, сами посудите, стоило ли горячиться, вмешиваться в распоряжения жены моей.

— Я и не горячилась. Ей было досадно, что я вошла без доклада; разумеется, досадно. В других домах швейцар докладывает лакею, лакей камердинеру, и уже потом...

— Да вы бы хоть в дверь постучались. Посудите сами, я мог в эту минуту одеваться, и — мало ли что...

— Кажется, в двенадцать часов быть раздетым вы не имеете обыкновения, не в этом дело: дело в том, что жена ваша терпеть меня не может, ну, да мне, конечно, от этого ни тепло, ни холодно. Вот я сейчас ее только встретила. Вы, пожалуйста, скажите ей, что я вовсе не ей кланялась, а Тертиеву. Так и скажите.

У Атуева заныло сердце, и он спросил ее, где она встретила жену его.

— Да вот, около кондитерской Вольфа; я прохожу, Тертиев узнал меня и поклонился. Разумеется, я также поклонилась.

— Когда же это вы их встретили? Быть может, это была не жена моя.

— Я еще, слава богу, не ослепла. Она и «здравствуйте» мне не говорит, когда я прихожу к вам, а я, по-вашему, должна ей кланяться! До чего вы избаловались, как я погляжу на вас!

— Прощайте, мне некогда,— пролепетал Атуев.

— Ну сердитесь, черт возьми, а я подчиняться вам не намерена... Прощайте...

Но Атуева уже не было, он как на крыльях ветра шел вверх по Невскому.

Догадалась ли эта девушка, поглядев вслед за ним своими сердитыми глазками, догадалась ли, какую бурю подняла она в душе этого человека? — едва ли. Слова ее были без всякого злого умысла; она не подозревала в Атуеве ни ревности, ни даже страстной любви к жене своей. В человеческих страстях она так же мало смыслила, как и в китайской грамоте. Быстрое исчезновение Атуева она поняла посвоему: «Рассердился гордячка! — подумала она,— и ведь сам глуп, даром, что идеи проповедует, и жена его дура, и он дурак!»

Поздно вечером воротился Атуев домой. Где он ходил и куда заходил, господь его ведает.

— Ты нынче опять не в духе,— сказала ему Людмила Григорьевна.

— Да все дела, все неприятности,— проворчал муж.

— Какие дела? Какие неприятности? А?

Атуев молчал, локтем опершись на стол и ладонью подпирая голову.

— Разве я не должна знать твоих дел? Неприятности! Какие же это, а? Мне кажется, я, как жена твоя, обязана разделять с тобой все: и дурное, и хорошее.

— Ну, нынешние жены! Бог уж с ними,— вполголоса, как бы сквозь зубы, процедил Атуев.

Людмила Григорьевна потупила голову и опустила ресницы.

— Ты меня обижаешь.

«Я же ее обижаю!» — подумал Атуев.

С минуту продолжалось обоюдное молчание; наконец Людмила Григорьевна откинула назад свою голову и стала глядеть на него, как бы стараясь разгадать выражение лица его.

— У меня также есть одна неприятность,— проговорила она, не спуская с него задумчивых глаз.

— Какая?

— Не твое дело,— отвечала она, поднялась с кресел и поспешно вышла.

У Атуева сжалось сердце. «Неужели и это притворство? — подумал он.— Боже мой! Боже мой!»

И с четверть часа просидел он на одном и том же месте, потом прошелся по кабинету, отворил дверь и, сквозь темноту, наполнявшую комнаты, увидел свет в виде ярко-тонкой линии, обозначавшей дверь в спальню. Шаркая туфлями, он подошел к спальне и постучался.

— Кто там? войди! — послышался голос Людмилы Григорьевны, и шорох упавших на пол юбок дал ему знать, что она раздевается.

Он вошел и сел на маленькую кушетку; свеча, горевшая на туалете, осветила расстроенное лицо его.

— Я тебя обидел, Люля? — начал Атуев.

— Чем ты меня обидел? — холодно спросила его жена, стоя перед зеркалом и накидывая ночную кофточку на свои обнаженные круглые плечи.

— А тем, что не сказал тебе, какая была со мною неприятность.

— Видно, не нужно мне сказывать, оттого ты и не сказал,— тем же тоном отвечала она, снимая шиньон, из-под которого две темных косы, как две заморенные змеи, тяжело упали ей на спину.

Атуев поглядел на нее влюбленными глазами. Хороша была она усталая и, в то же время, сердитая.

— Я тебя так люблю, так люблю,— начал он,— к чему же мне тревожить тебя всяким вздором. Все это вздор, что я хотел сказать тебе; мне досадно, что всякая глупость на меня действует. Вот что было, слушай и смейся, если только ты в самом деле на меня не сердишься.

— Слушаю.

— Встретилась со мной эта дура Сигарева, и, право, я чуть не прибил ее... вообрази, Люля, в претензии на тебя, зачем ты ей поклонилась.

— Ну да, ну — что ж! Отчего же ей не кланяться, когда она кланяется.

— Да она не тебе поклонилась.

— Кому же? Тертиеву? А разве она его знает?

— Именно Тертиеву, и эдакая дура! Я, говорит, поклонилась Тертиеву, а она, то есть ты, это на свой счет приняла. Ну, как же не досадно! Такая девушка, которой я все, что только мог... все, что только от меня зависело... и вот она чем платит!

Чуткий слух жены разом подсказал ей, что ее благоверный не совсем-то с ней искренен.

— Какой вздор! может ли это быть?

— Ты мне не веришь?

— Может ли это быть, чтоб такая глупость могла тебя расстроить, что у тебя могут быть такие неприятности?

— Больше никаких, ну, право же, больше никаких неприятностей. Сама ты видишь, что это вздор, но мне было досадно.

Людмила Григорьевна высвободила из его рук свою руку, прежде чем он успел поцеловать ее, и прошлась по комнате.

— Нет, нет! Или ты это выдумал...— начала она.— Ты все еще расстроен, я это вижу... или тебе просто неприятно было с ней поссориться, сознайся.

— Ну да, конечно, это неприятно.

— Тебе это больно, до смерти больно,— и она указательным пальцем правой руки постучала по указательному пальцу левой.— Ты просто неравнодушен к ней. Ведь ты недаром же предоставил себе полное право влюбляться...

— Разве я одному себе предоставил это право? — с досадой проговорил Атуев.— Я и тебя не могу лишить этого права, не могу... ну, что делать? не могу...— договорил он задыхающимся голосом.

— А! Так это правда? это правда?! — и Людмила Григорьевна, побледнев, остановилась посреди своего будуара, посреди разбросанных принадлежностей ее дневного туалета. Глаза ее заискрились, и вслед за этим строгим блеском показалась улыбка злая, саркастическая, невыносимая.

— Как! — вдруг вскрикнул Атуев, как бы очнувшись,— ты думаешь, что я влюблен в нее? в нее!! Что ты, Люля, я еще не сошел с ума...

— Нет, ты не равнодушен к ней. Признайся!

— Люля, умоляю тебя, не терзай меня, я не только не люблю, не только не влюблен, я просто ее ненавижу. Как ты могла это подумать? Ты... Нет, ты этого не думаешь. Ты так, нарочно мне говоришь, тебе хочется, самой хочется, чтоб я в кого-нибудь влюбился, во-о-от что!

И Атуев с отчаянием поглядывал на жену свою. Он никак понять не мог этой незаслуженной ревности и огорчился, мало того, обиделся. Разговор их в этом тоне продолжался довольно долго, до двух или трех часов ночи; оба они легли спать, не уверенные друг в друге, но наполовину примиренные и друг другом утешенные. Несмотря на то, что Атуев не сознался жене, что он ревновал ее к Тертиеву, жена догадалась наконец, что, может быть, Тертиев во всем этом играет не последнюю роль; по крайней мере, она объяснила

мужу, что была у тетки, которая сильно заболела, лежит в постели и просит каждое утро навещать ее, потом пошла в английский магазин покупать шелк и на Невском совершенно нечаянно встретилась с Тертиевым, что она виновата, забыла передать ему поклон его и сожаление, что они давно не виделись.

— Какое мне дело, что ты встретилась с Тертиевым или с кем-нибудь, мало ли у тебя знакомых; я тебе верю и не ревную тебя, а ты мне не веришь и ревнуешь: нашла к кому приревновать,— к Сигаревой! — сокрушенно жаловался Атуев, погружая свой нос в подушку и уже засыпая.

Что обоим им снилось в эту ночь? какая дребедень? Не знаю.

XVIII

Такие-то неприятности или, лучше сказать, недоразумения начались между супругами, и это на третий месяц их супружества! Отчего так скоро? Невероятнее ли было бы, если б автор этого рассказа дал им годика три-четыре пожить без таких недоразумений. Нет, ревнивые, наклонные по своей натуре к ревности мужья по большей части ревнуют жен своих в первые месяцы, иногда даже в первые дни их брачной жизни, и, напротив, нередко позднее чувство это засыпает, по мере раз возникшего доверия, по мере успокоения удовлетворенной страсти и начинающихся забот о детях, по мере скуки, наводимой иногда однообразием семейной жизни, и, наконец, по мере увядания тех прелестей, которые в подругах жизни их казались им когда-то соблазнительными для всякого, одаренного зрением, вкусом и иными общечеловеческими свойствами.

Атуев ревновал, потому что страстно любил жену свою и боялся за непрочность своего счастия; любовные похождения его сластолюбивой юности воспитали в нем недоверие к женщинам, и это недоверие развилось в нем в пугливую подозрительность, стало быть, ничего тут нет невероятного.

А между тем тетушка Клара Ивановна была действительно плоха; она лежала в постели и, по большей части одинокая, по целым дням и ночам шептала молитвы и ожидала смерти. Иногда только из-под байкового одеяла протягивалась тощая, желтая, как воск, рука ее и звонила в колокольчик; приходила горничная, давала ей лекарство, поправляла ей подушки или выслушивала ее приказания: «Сотри пыль, подай мне чистый носовой платок, дай мне сюда о-де-колону, подними стору»,— и тому подобное.

Жалко было смотреть на это существо, в жизни прослывшее злым и завистливым, а в сущности доброе и самоотверженное.

Одна только Людмила Григорьевна навещала свою тетушку чуть ли не каждый день; но ни разу не говорила ей о своих домашних спорах и маленьких перепалках с мужем; наперед знала она, что тетушка или перетревожится, или резко осудит ее, убежденная, что мужчины с колыбели до гроба дети, с которыми надо только умеючи вести себя, и что Атуев более чем кто-либо ребенок, не ладить с которым одной только дуре было бы простительно.

Раз Атуев сидел у себя в кабинете и писал. Да извинят меня читатели, если я умолчу о заглавии статей его: чего доброго, иной начнет из любопытства их разыскивать, прочтет и увидит ум Атуева в полном блеске: зачем же мне без всякой нужды ослеплять моих читателей. Статьи забыты, и сам Атуев не помнит многого из того, что произвело в то время ретивое перо его. Итак, он писал... вдруг поднял голову и поглядел на Аркашу, брата жены своей, который, полулежа на диване, читал какую-то французскую книжку. Атуев вынул часы и поглядел. Был третий час...

— Не знаешь ты, жена воротилась? — спросил он.

— Не знаю,— отвечал Аркаша,— кажется, еще нет.

— Ты нынче был у тетушки?

— Вчера был.

— В котором часу?

— Да так, около обеда... Не помню в котором часу.

— Ну, что она?

— Плоха.

— Жаль ее, бедную, чего доброго, не встанет.

— Да, умирать ей не хочется.

— Что это сестра твоя, пошла в десять часов и хотела к двум домой непременно быть. Пропала.

— Не знаю, отчего она пропала,— лениво, сонным голосом протянул Аркаша. Когда он долго что-нибудь читал, ему всегда отчего-то дремалось.

Атуев вышел в переднюю, надел свою шубу, вышел и крикнул извозчика. Чрез несколько минут он уже был на Конюшенной, перед дверями тетушки. Позвонил. Вышла горничная.

— Здесь жена моя?

— Никак нет-с.

— Была она здесь? — спросил он, уже входя в переднюю.

— Были-с, да уж с полчаса или больше, никак, уехали-с.

Атуев потупился.

В эту минуту из спальной тетушки долетел до передней звон ее колокольчика. Горничная побежала к ней.

— Кто там? доктор? — спросила больная.

— Нет-с. Николай Захарович.

— Попроси его подождать в гостиной. Люля сейчас приедет. Ох! подай мне... кхе!.. кхе! кхе!.. Где мой платок, да подними стору... темно...

Воротившись в переднюю, горничная уже не застала Атуева; заглянула на лестницу; но уже и на лестнице его не было; она заперла за ним дверь и торопливо воротилась в свою комнату.

XIX

На Конюшенной, не доходя Невского, Атуева окружила целая толпа извозчиков.

— Ваше сиятельство,— кричал один,— возьмите четвероместную, попросторней будет.

— Господин купец! Вот, пожалуйте, пожалуйте! Лошади, карета первый сорт.

— А куда вашей милости? — спрашивала его одна борода, мигая глазами и приподнимая шапку.

— Мне по часам... Сколько за час?

— А до которого часу вашей милости?

— Ну, до пяти часов?

— Ну, положите четыре рублика...

— Три, и... и на водку.

— Э! садитесь!

— Да что вы, барин, куда садитесь-то, одры лошади-то, глядите, не довезут, вот, сюда пожалуйте, сюда!

И Атуева манили, чуть не тащили в разные стороны.

Он отворил дверцы рекомендованной кареты, поглядел, есть ли в окнах занавески и опускаются ли стекла, потом сел и велел ехать.

— Куда прикажете?

— На Ивановскую, пошел...

Извозчик взнуздал лошадей, вскарабкался на козлы, и карета двинулась. На повороте в Ивановскую улицу Атуев спустил переднее стекло и крикнул:

— Эй! как тебя? Поезжай тише, и когда я скажу тебе: стой! остановись налево поближе к тротуару и не трогайся с места, пока я не скажу тебе, прибавлю рубль на водку, слышишь, рубль прибавлю, только слушай! Если тебя будут

нанимать, скажи, что карета занята, или нет, скажи, что барин велел дожидаться, или... слушай! впрочем, нет, ступай!

Карета шагом двинулась по Ивановской.

Проехав дом, где квартировал Тертиев, Атуев велел остановиться, карета взяла влево и остановилась пред какими-то воротами.

Опустив занавеску с левой стороны, Атуев пересел и в раскрытое окно исподтишка стал смотреть направо. В шести или семи саженях от него виднелся тот подъезд, который вел в квартиру его приятеля. Сердце Атуева болезненно сжалось, глаза его остановились на двух окошках, по его расчету, несомненно озаряющих ту комнату, воздух которой отравляет своим дыханием Тертиев. Мысль, что, быть может, там в эту минуту жена его, молотком била его в голову, пульс его бился сильнее обыкновенного и, казалось, под меховою шапкой отдавался в висках его...

Приняв такой наблюдательный пост, Атуев весь превратился в то внимание, которое по силе своей равнялось разве его страсти и его ревности,— в то сосредоточенное, напряженное внимание, которое, истомив глаза и слух, долго продолжаться едва ли может, по крайней мере требует необычайного терпения.

Прошло полчаса. На ступеньке, под навесом, появилась какая-то девочка в синем дырявом полушубке, приостановилась на пороге и прислонилась к стенке. Девочка эта показалась ему подозрительною,— чем-то вроде шпиона, высланного освидетельствовать улицу; но постояла она недолго и скрылась.

— Гей, карета! — крикнул кто-то с тротуара,— что ты тут стоишь. А?

— Велено стоять, ну, и стою,— проворчал извозчик.

— Не место тебе тут стоять,— загорланил дворник,— черт ты эдакий! не видишь,— ворота. Загородил дорогу... Двигай! двигай! говорят тебе, че-о-орт!

— Да что ты ругаешься, леший... Ну!..

И карета, к ужасу Атуева, двинулась, проехала еще сажени три вперед и остановилась около забора. Не моему перу изобразить ту бешеную досаду, которая в эту минуту заклокотала в груди Атуева. Во-первых, это движение кареты могло развлечь, могло помешать его наблюдательному вниманию; во-вторых, быстро надвигались сумерки, пошел снег; стало быть, чем дальше стояла карета, тем труднее было для него напрягать свое зрение,— он же был близорук. «Черт возьми»,— ворчал Атуев.

С лишком час, бесконечно долгий час для Атуева, стояла карета. Атуев все еще глядел, хотя уже далеко не с таким вниманием. Наступила ночь, или, вернее, тот час, когда зажигают фонари, то есть около половины четвертого. Атуев дышал уже легче и свободнее, ему уже становилось немножко стыдно. «Дурак я, дурак, какую штуку выкинул! Что, если узнают? Может ли это быть?.. Из каких благ бросил я четыре рубля,— даром, ни за что бросил! Да еще вдобавок ноги озябли, чего доброго, флюс или жабу схвачу...» Так сам с собой разговаривал Атуев, продолжая поглядывать на подъезд; он уже намеревался расплатиться с извозчиком, зайти погреться к Тертиеву и, быть может, лично удостоверившись в своей собственной глупости, пригласить его к себе обедать. Вдруг Атуев вытаращил глаза и чуть не упал в обморок: с подъезда сошла какая-то дама, закутанная в темный башлык; средний рост, медленная походка — вся фигура жены его. Помутилось в глазах Атуева, сердце забило тревогу, он высунул в окошко голову и стал напряженно смотреть вслед за удаляющеюся тенью, наконец протянул руку из окна наружу, уцепился за холодную медную ручку и стал вертеть ее, толкая в каретную дверь коленками; дверка не отворялась; изо всех сил он ударил в нее и вылетел из кареты, наступил на полу своей шубы, чуть было не упал в снег, но как-то справился и неровными шагами пошел за дамой. Ему хотелось как можно ближе удостовериться, точно ли это жена его. Он был убежден, что это она; ему хотелось поймать ее за руку и сказать ей,— он и сам не знал, что бы такое он ей сказал, если бы поймал ее за руку,— только чувствовал, что сильно, страшно сильно будет то слово, которое сорвется у него с языка.

Запыхавшись на десяти шагах (как это бывает с нетерпеливыми и страстными охотниками, завидевшими дичь), он уже видел, как дама подходила к извозчику с явным намерением сесть и уехать... Но в эту минуту догнала его карета.

— Барин! а барин! — кричал извозчик, нагибаясь к нему с высоких козел и натягивая вожжи,— а деньги-то!

— Отдам, отдам! — глухо, не своим голосом пробормотал Атуев.

— Вы мне деньги-то сперва заплатите!.. А то, ишь, побежали! — грубо, чуть не на всю улицу приставал извозчик.

— Отдам! поезжай за мной!

Извозчик заподозрил барина в намерении улизнуть и, стегая лошадей, ругался.

— Да ну, на, черт тебя возьми,— сказал Атуев, то-

ропливо вынул из жилетного кармана бумажку и бросил ему на руку.

Извозчик взял бумажку и стал ее рассматривать.

— Еще рубль надоть получить с вашей милости.

Но Атуев уже не слыхал его; дама вскочила в сани, оглянулась, он ясно видел, как она робко и торопливо на него оглянулась и уехала. Целый ад был в душе Атуева.

— Дьявол ты эдакий,— сказал он наконец извозчику, как бы желая на нем сорвать свою неудачу, или свое великое горе.— Я бы тебе, собака ты, я бы тебе десять рублей дал, если бы ты подождал меня. Мало тебе трех рублей, подлец! Убирайся ты к черту! не дам я тебе ни полушки.— Быстрыми шагами, весь в огне, двинулся он, безнадежно глядя на шевелящийся сумрак полуосвещенной улицы. «О русский народец! — негодовал он, и слезы бежали по его щекам,— мало ему за час три рубля! Изверги! Безбожники! Ни бога, ни таксы нет на них.— О! это она! чувствует мое сердце, что она, коварная!.. подлец, а не женщина! А как я верил ей, как я верил! Что теперь! я или его убью, или себя убью... Вот оно семейное-то счастие! недаром я на него восставал — недаром я писал... Вавилон!» — сжав под полой кулак, обратился он к фасадам зданий, обступивших Невский. Ясно, что это Петербург изволил он назвать таким грандиозно-неприличным именем.

XX

В пять часов Атуев был уже дома. Что может быть несноснее, натянутее положения, когда муж и жена сидят вдвоем за обеденным столом, молчат и дуются. Людмила Григорьевна была огорчена тем, что муж, не видавший ее почти с утра, и не поздоровался, и не поцеловал ее. Она же очень устала. Тетушка почувствовала такую боль в груди, что послала ее за своим доктором на Васильевский остров, велела ей во что бы то ни стало привезти его. Но доктора она не застала дома и целый час ждала его в приемной комнате; наконец доктор воротился, но ни за что не хотел с ней ехать, жалуясь на усталость и голод,— надо было уговорить его, потом надо было успокоивать тетушку, потому что та уже стала тоскливо метаться и прощаться с ней,— одним словом, для Людмилы Григорьевны это утро было самое неприятное. Усталость лежала на всем лице ее, как-то удлиняя черты и в то же время притупляя их.

Атуев почти ничего не ел; жена его, напротив, ела

с аппетитом, но молчала. Она думала: «Это он приезжал узнавать, там ли я. Он, кажется, не только меня ревнует, подозревает в чем-то. Хорошо же! Сам, быть может, волочится за этой... за этой Сигаревой, быть может, даже бывает у нее и не сказывает... Пусть же думает обо мне что хочет».

Принявши мысленно такое решение, Людмила Григорьевна к концу стола казалась уже совершенно спокойною, и это-то спокойствие, с явными следами усталости (испуга и тревоги, по мнению Атуева), чуть не свело его с ума.

Он думал, что, по крайней мере, она по-прежнему его спросит: «Отчего это ты не в духе»; он думал, что она первая подойдет к нему, как лисица, виляющая хвостом. Ничуть не бывало! ест за двоих и не обращает на него ни малейшего внимания. В конце стола он сухо спросил ее:

— Здорова тетушка?

Она отрывисто отвечала:

— Все так же.

Наконец он спросил:

— Не сердитесь ли вы на меня за что-нибудь?

— За что? — спросила она его в свою очередь, доедая пирожное.

«Странно! — думал Атуев, вставая из-за стола и уходя в гостиную,— если она меня так же видела, как и я ее, чем мне объяснить это дьявольское спокойствие? неужели притворством? А что, если это притворство?! если это притворство?! Какова должна быть та женщина, которая так умеет притворяться!.. Да она человека убьет и будет потом в состоянии поехать на бал, улыбаться и танцевать... Ужасно! такое самообладание!.. Но я помолчу до поры до времени. О! я также способен на самообладание, я также — характер! Сумею с достоинством поддержать себя... Но — что же я скажу ей! что я ей скажу! — всплеснув руками, мысленно вопрошал он самого себя, стоя в темной гостиной спиной у теплой печки и покачиваясь. «Делайте, что хотите,— скажу я ей,— я уже не муж ваш...» А ну, как она мне на это: «Если это так — то... ничего не может быть приятнее!» Что тогда? «Да ведь я люблю тебя, страстно, безумно, глубоко люблю!» — «А я,— скажет,— люблю, да не вас». Что прикажете делать!.. Боже мой! Боже мой! за что такое страшное наказание!..» И он то к потолку поднимал глаза свои (что, казалось бы, вовсе не шло к писателю с его направлением), то прислушивался, что делает жена, не плачет ли она, не вздумала ли лечь в постель; но в доме царствовала мертвая тишина. Он заглянул в уборную, увидел, что жена преспокойно сидит в уголке пред лампой и что-то шьет. Быть может, тишина эта

и разразилась бы каким-нибудь объяснением, если бы вечером не приехал Аркаша и в кабинете Атуева не занял своего любимого местечка на диване.

— Не женись, брат Аркаша,— сказал ему Атуев, уже сидя за письменным столом и закуривая папироску.

— А что?! — спросил его юноша, не без некоторого удивления.

— Да так, брат, возьми кого-нибудь на содержание и живи, пока живется да любится; по крайней мере, не связан.

— Если я возьму кого-нибудь на содержание, то это непременно француженку,— отозвался юноша, которому очень понравился совет Атуева.

— Почему же непременно француженку?

— Да уж так,— отвечал, вяло улыбнувшись, Аркаша, и ничего другого не мог бы ответить. Он знал только одних французских актрис, то есть видел их издали на михайловской сцене [22], знал, что такая-то *прелесть*, такая-то *восторг*, а такая-то страшно дорога и все-таки находит таких счастливцев, которые на нее разоряются. Всеми ими он пленялся и даже покупал себе их фотографические карточки; но почему француженка лучше, то есть пикантнее немки или русской, этого он еще не мог вполне уяснить себе.

«Дурак,— подумал Атуев,— не понимает, даже не догадывается, что если я, женатый человек, муж сестры его, даю ему такие советы, то это недаром, значит, мне горько, тяжело, невыносимо. Дурак! еще молоко на губах не обсохло, а уж мечтает о француженках...» И Атуев опять погрузился в свои невыносимые размышления. Поздно уехал Аркаша, поздно догорела его лампа. Атуев зажег свечу, разделся, тихонько прокрался в спальню к жене своей, увидел, что она спит, и, так же тихо воротившись в свой кабинет, лег на диван, подложив под себя кожаную подушку и накрывшись халатом. Это была, со дня его свадьбы, первая ночь, проведенная им не на брачной постели. Людмила Григорьевна не спала, она слышала, как вошел муж, и притворилась спящею; через час она заплакала, но плакала так тихо, что Атуев и не подозревал горячих слез ее.

XXI

На другой день, в десять часов утра, почти в одно и то же время, муж и жена выехали из дому; она к тетушке, он к Тертиеву.

Тертиев был занят: он писал ярое возражение на какую-

то заметку по поводу одной медицинской статьи его, и был не в духе. Автор заметки как раз указывал на те авторитеты, которые отрицал в своей статье Тертиев, доказывая их научную несостоятельность, их отсталость... и проч. В авторе заметки Тертиев видел своего заклятого врага и не знал, кто этот враг. Заметка появилась в печати без всякой подписи. Мысль, что, вероятно, это кто-нибудь из числа академических светил и что, чего доброго, редакция журнала не примет его возражений, найдет их или слишком резкими, или почему-либо к печати неудобными, мысль эта заранее его бесила; стакан с остывшим кофе стоял на краю стола; он был в одной рубашке и в широких грузинских шароварах, спереди завязанных какою-то красною тесьмой с кисточками, на ногах были стоптанные туфли, курчавые волоса на голове, по обыкновению, отличались живописным беспорядком. Иногда он вставал и гордо прохаживался, обдумывал, что писать, и, обдумав, опять бросался к столу, опять хватал перо и писал почти без помарок, твердым, ровным и довольно разборчивым почерком.

Услыхав звонок, он сморщил лоб и стал смотреть на дверь, раздув ноздри и с таким свирепым выражением в глазах, что, можно было подумать, посетитель, увидев его, непременно попятится.

Вошел Атуев.

— А! это ты? — сказал Тертиев и, опять пригнувшись к столу, стал писать, догоняя порванную фразу.— Занят, брат, посиди немного, сейчас,— проговорил он с расстановкой.

Атуев молча сел на стул, вынул из кармана складную табачницу с папиросною бумагой и стал свертывать папироску; руки его дрожали, он был бледен, но папироску он все-таки как-то свернул, склеил ее языком, достал серную спичку и стал ею шаркать по стене.

— Можно бы стену-то и не пачкать,— сказал Тертиев,— на это спичечница есть.

И он со стола подал ему спичечницу.

Атуев взял ее и почему-то пересел на клеенчатый диванчик.

В приеме Тертиева не было ничего необыкновенного; он часто так принимал его, когда работал или был не в духе, и Атуев никогда на это не сердился, но теперь этот прием показался ему наглым до последней степени.

— Тертиев,— сказал он,— я пришел поговорить с тобой.

— О деле или о пустяках? — не покидая пера, отозвался Тертиев.

— Быть может, о пустяках для тебя, а для меня о деле.

— Что такое?

— Ты, ты... соблазнил... чужую жену...

Тертиев обернулся и поглядел на него с недоумением.

— Ты развратил ее... благородно ли это?

Тертиев положил перо, поднял голову и уже поглядел на Атуева таким вызывающим взглядом, что тот смутился.

— Ну, что дальше, говори,— сказал Тертиев.

— Я все сказал, ты понимаешь, ты... ты должен понимать меня. Вчера вечером, в четвертом часу, я знаю, она была у тебя... Да... я... я... это знаю...

— А какое тебе до меня дело? Какое ты право имеешь приходить ко мне и делать мне выговоры?

— Я имею ли право!..

— Никакого права,— горячась, перебил его Тертиев.— Доказывай, почему я не имею права любить, кого хочу, и принимать, кого мне вздумается удостоить этой чести. Доказывай! Когда ты был холостым, разве ты не заводил интрижек? А? разве не была у тебя какая-то купчиха из Коломны и разве ты мне, вот, сидя на этом месте, не рассказывал, потирая руки, как ты ловко изволил надувать ее мужа?.. А? Ну, говори, не рассказывал? Ну, а я тебе ничего не рассказывал, потому что не имею похвальной повадки хвастаться такими дешевыми победами или разрисовывать кой-какие сцены ради потехи приятелей. Да и почему ты знаешь?

— Потому что я видел,— вставая с места и весь дрожа, отвечал Атуев.— Она была вчера... Говори, была она у тебя?

— Была,— с ударением на слове, как бы два раза подчеркнув его, отвечал Тертиев.

— Ну, если так...

— Ну что, если так?

— Ты... подлец!

Тертиев остолбенел, Атуев взял шапку и, с красными пятнами на лице, вышел вон из комнаты.

Тертиев, как сидел в своих креслах, так и остался сидеть; он не верил ушам своим, он так был озадачен, что даже позабыл о статье своей. Чтоб Атуев мог так горячо принять к сердцу его интрижку с женой какого-то пьяного приказного, чтоб Атуев решился назвать его подлецом за женщину ему совершенно неизвестную! Надо с ума сойти, до того это нелепо! Или Атуев не только знаком с этою женщиной, но

и влюблен в нее: не только влюблен, но и не без претензий на нее, не без прав на эту женщину? «Какими же это судьбами? — думал Тертиев.— Когда же это моя Анна Семеновна успела ему эдакую страсть внушить? Да нет, это вздор! Можно ревновать ко мне, но упрекать меня за те же поползновения, в которых он сам не безгрешен, это дико. Что же это такое?»

Тертиеву даже в голову не могло прийти, что Атуев под словом «чужая жена» разумел свою собственную, то есть женщину, к которой Тертиев, кроме симпатии да некоторого дружеского расположения, ничего не чувствовал. О ревности Атуева к жене своей или к нему он даже и подозревать не мог; стало быть, что ж мудреного, что в эту минуту все его мысли вращались около его возлюбленной Анны Семеновны, которая, действительно, у него была и которую Атуев, действительно, мог встретить и видеть. Тертиев вовсе не был влюблен в эту Анну Семеновну; он никогда за ней даже не волочился, случай их свел: она приходила к нему лечиться от побоев мужа, влюбилась в него и первая бросилась к нему на шею. Тертиеву стало жаль ее, он знал, что у этой женщины нет на свете ни привязанностей, ни отрады, ни надежды на лучшую будущность, и вся вина его заключалась только в том, что он позволил ей любить себя и иногда — навещать: говорю «иногда», потому что, несмотря на то что Анне Семеновне было не более двадцати трех лет, несмотря на то что она была недурна собой, стройна и умела держать себя, несмотря на ее темные глаза и бледные губки, Тертиев посреди своих занятий не всегда был расположен к амурным восторгам и по целым неделям не виделся с нею. Случалось, когда судьба посылала ему деньги, он считал своим долгом помогать ей, как матери голодающего ребенка, у которого отец пропивает почти все свое жалованье. Деньги эти жгли ей руки; но она все-таки брала их. Тертиев понимал ее положение, но не увлекался. Узнай он, что Анна Семеновна влюблена в Атуева или посещает не его одного, он нисколько бы не изменил к ней своих отношений, даже бы не упрекнул ее. Перестань она навещать его, Тертиев также не был бы в отчаянии.

Непонятна, в высшей степени непонятна для Тертиева была выходка Атуева. Но как человеку, чуждому средневековых рыцарских преданий, Тертиеву, как ни был он оскорблен и опечален, ни на одну минуту не пришла в голову мысль о дуэли или о кровавом мщении... «Коли сразу я за это слово да не придушил его, значит,— думал он,— я имею время подумать и рассудить, что бы это такое значило? Если

это только придирка, чтобы разойтись со мной (кто знает, быть может, я уже давно ему не нравлюсь своим резким языком и нецеремонным с ним обращением), если это придирка, то неужели Атуев, этот мягкий по своей натуре Атуев, не мог просто написать мне записку: дескать, так и так, пожалуйста, вы меня не знайте. К чему же было нужно прибегать ему к такой глупой выходке, к такому сильному слову и наконец явно идти на опасность получить от меня затрещину или, еще хуже,— будь у меня под рукой нож, я мог бы сгоряча пырнуть им. Грех да беда на кого не живет. Или он помешался?..»

Так терялся в догадках и так рассуждал про себя Тертиев, допивая стакан простывшего кофе. Чрез полчаса, походив по комнате, он опять принялся работать и писал до обеда; обедать, по обыкновению, пошел к кухмистерше; там, как ни в чем не бывало, спорил за столом и хохотал по поводу какого-то анекдота. Воротившись домой, опять принялся за перо и писал до часу ночи. Но, прежде чем лег спать, задумался. Жаль ему было ни с того ни с сего порвать приятельские, воспоминаниями детства освященные отношения. Нашло на него грустное раздумье, и не спалось. Наконец, вздохнув, вынул он из стола почтовый листок, согнул его и написал Атуеву письмо следующего содержания:

«Милостивый государь!

Если вы не сошли с ума, то, конечно, имели достаточную причину для того, чтоб оскорбить меня; но если вы влюблены в А. С. (Тертиев не написал полного имени), то самая отчаянная ревность ваша еще не давала вам никакого права требовать отчета в моем поведении, потому что и в таком случае ваше поведение как человека недавно женатого во сто раз постыднее. Где вы с ней познакомились и где вы с ней виделись,— не мое дело, меня это нисколько не интересует. Во всяком случае, виноват я или не виноват, надеюсь, что вы не только избавите меня от ваших посещений, но постараетесь и на улице не встречаться со мной.

Остаюсь презирающий ваше негодование

Ф. Тертиев».

XXII

Записка Тертиева на другой же день, в воскресенье, полетела по городской почте, и суждено ей было еще более запутать и расстроить отношения Атуева к жене его.

Аркаша почти каждый вечер стал навещать сестру свою, то есть сидеть или лежать в кабинете Атуева. Дома ему не сиделось. Он жил у своего дяди, опекуна, у того самого генерала, который был посаженым отцом на свадьбе нашего Николая Захаровича. Генерал этот, пожилой вдовец и служака, по утрам был занят провиантскими бумагами, а по вечерам постоянно играл в преферанс по маленькой и нередко воевал за ломберным столом до трех-четырех часов пополуночи. Иногда, когда недоставало партнера, он посылал за племянником и говорил ему: садись! племянник садился и, разумеется, иногда проигрывал. Проигрывать ему было хоть и обидно, но неубыточно: по большей части дядя-генерал хоть и ворчал, но расплачивался. Три дня тому назад Аркаша сел играть с тремя престарелыми генералами, и на этот раз сел по собственной своей охоте, так сказать, навязался на игру в надежде к праздникам лишних рублей двадцать положить в свой карман и на них пожуировать; но надежда его обманула: он продулся в пух и, оставшись совершенно без денег, на другой день стал просить генерала дать ему на расходы хоть десять рублей. Генерал сначала сказал, что не даст, потом сказал: «Погоди!» Что может быть хуже этого «погоди!». Эдак можно годить недели и месяцы, и Аркаша, для которого недели и месяцы без денег показались бы целою вечностью, решился занять или у сестры своей, или у ее мужа. Он собирался куда-то вечером и на этот раз рано забрался в квартиру Атуевых. Забравшись, он медлил со своею просьбой, терпеливо выжидал благоприятной минуты, а в сущности до семи часов вечера еще не чувствовал той великой крайности, которая придает особенную смелость и находчивость.

Атуеву было неприятно его появление. Он не мог при этом молокососе явно предаваться своему отчаянию, быть, так сказать, вывеской своего собственного малодушия; он не находил пока нужным посвящать брата жены своей в тайну своего семейного горя, он стыдился этого горя, и присутствие Аркаши было для него невыносимо. Обыкновенно бывает так, что чем громаднее у человека самолюбие, тем меньше оно выносит; муха кажется ему слоном; каково же было выносить слона, а не муху! Он при Аркаше с притворною лаской, но торопливо простился с женой, показал вид, будто куда-то торопится, и ушел из дому. Аркаша остался обедать; за обедом он спросил сестру свою, была ли она утром у тетушки.

— Нет, не была,— отвечала Людмила Григорьевна.

— Отчего же?

— Да так; мужу моему, вероятно, неприятно, что я каждое утро у ней бываю; нынче я не поехала, посмотрю, что он мне скажет, будет ли доволен моим поведением.

— Ага! видно, он тебя в ежовых рукавицах держит.

Ничего на это не отвечала Людмила Григорьевна; только слеза показалась у ней на щеке; она утерла ее салфеткой и продолжала обедать.

Флегма-брат не заметил этой слезы и точно также продолжал обедать.

После обеда, с чашкой кофе, он отправился в кабинет, в третий раз пригладил перед зеркалом свою голову, уселся в креслах Атуева, закурил папироску и стал читать газету, первую, которая попалась ему под руку.

Не прошло получаса, как кто-то позвонил в передней. Мальчик Петя отпер дверь, принял из протянутой руки почтальона письмо со штемпелем городской почты и подал его Аркаше. Аркаша, успевший не только принять вид и позу хозяина, но и вообразивший себе, что он дома, взял письмецо, не поглядел на адрес, сорвал конверт и стал читать. Мало-помалу на лице юноши изобразилось нечто похожее на ужас и изумление; долго он не верил глазам своим. «Что я наделал! — подумал он.— Что я наделал! Это не ко мне письмо. Это... это... необыкновенное письмо... Ужасное! Обязан ли я, как брат, сообщить записку Тертиева сестре моей? Так вот оно отчего он такой! Эге!..»

Прошел еще час, а он все еще не решил, что ему делать и обязан ли он показать это письмо сестре своей.

Раздался новый звонок. Аркаша вздрогнул, спрятал письмо в карман, и чрез гостиную с бьющимся сердцем отправился в комнату сестры.

На этот раз, вслед за звонком, вошел Атуев и занял в своем кабинете место, только что пригретое Аркашей.

— Сестра! который теперь час? — спросил Аркаша Людмилу Григорьевну, входя к ней на цыпочках.

— Посмотри сам, у тебя есть часы!

— Мои неверны. Ба! скоро семь!

И Аркаша почувствовал, что уже наступил час неизбежной крайности.

— Ради бога, Люля,— сказал он,— выручи, крайне нужно пять или шесть рублей, дай пожалуйста, до двадцать четвертого числа. Я, ей-богу, тебе отдам... честное слово!.. Что ты так смотришь?..

— Да у меня ничего нет, кроме мелочи.

— Ну, займи у мужа...

— Да я, право, не знаю, что у него на уме, дуется вот уже третий день. Две ночи спит у себя в кабинете.

— Неужели в кабинете?

— Да; я еще имела глупость спросить его: за что такая немилость? Молчит, ничего не отвечает; бледный такой, расстроенный.

— Я знаю, отчего это,— сболтнул Аркаша.

— Ну, знаешь, так говори... Что такое? Кажется, я не подала ему ни малейшего повода.

— Нет, прежде сходи к нему и спроси у него пять рублей.

Людмила Григорьевна подумала.

— Хорошо,— сказала она и пошла к мужу.

— Николя,— сказала она ему, став за его креслами.

— Что? — спросил он ее, как бы очнувшись; быстро повернул к ней лицо свое, и на одно мгновение глаза их встретились.

— Нет ли у тебя пяти рублей?

Атуев подумал, потом вдруг как-то неестественно засуетился, раскрыл стол и сказал:

— Бери,— все бери, что у меня есть; все бери.

— Да мне всего не нужно; я даже не для себя, у меня брат просит; конечно, если бы не праздник, я бы не дала ему.

— Мне ничего не надо, ничего! Мне уже не долго жить!

Людмила Григорьевна не могла не дрогнуть от этих слов, от этого голоса; она его любила и поняла в эту минуту, что так говорить может только одно отчаяние. Но мысль, что это отчаяние проистекает из какого-то ей неизвестного темного источника, быть может, оттого, что какая-нибудь нигилистка не приказала принимать его, мысль эта ожесточала ее огорченную душу, и слеза, готовая кануть, удержалась, подхваченная мигнувшею ресницей; глаза ее упирались в его затылок, и он не мог видеть лица ее.

Не слыша в ответ ни ответа ни привета, Атуев тяжело вздохнул, вынул на стол все деньги, рублей около восьмидесяти пяти, захватил их в руку и через плечо подал их жене своей.

Людмила Григорьевна выбрала пятирублевую, сказала: «Мне больше не надо, спасибо»,— положила остальные деньги на стол и вышла.

Получив деньги, обрадованный студент вынул из кармана письмо от Тертиева, торопливо сунул его в руку сестре и сказал:

— Спасибо, душка! Из этого письма ты узнаешь, отчего твой муженек не в духе, только, ради бога, не показывай ему

этой записки. Я сделал скверность: мне ее подали, и я по рассеянности нечаянно распечатал. Тут, кажется, какая-то интрижка... Только ты будь умна и из таких пустяков не поднимай истории. Прощай, Люля.

И он быстро вышел, покинув озадаченную сестру свою с тою запиской, содержание которой уже известно моим читателям. Выходя от сестры, Аркаша был уверен, что поступил так, как и следовало ему поступить в данном случае; вообще, о благородстве и неблагородстве поступков он имел очень шаткие понятия. Наклонный к эпикуреизму, ни над чем не привык он долго ломать голову. Тетушка Клара Ивановна выучила его читать, когда ему было семь лет, и затем уже не имела никакого влияния на его воспитание.

XXIII

Натянутое положение супругов должно же было наконец разрешиться, разрешиться в какую-нибудь катастрофу: кончиться или разрывом, или примирением. Записка Тертиева подняла в душе молодой женщины бурю, ничем не меньшую той, которая бушевала в груди ее супруга.

«Несчастная я,— думала она,— хоть бы не хитрил со мной... И это мой муж!.. Презренный!.. и я должна быть женой его; всю жизнь должна жить с человеком, который меня не любит, который готов променять меня на всякую... и, по себе судя, осмеливается еще ревновать меня! Да нет! что я?! Он и не ревновал, он просто был в отчаянии, что какая-то А. С., уж не Авдотья ли Сигарева?.. ему изменила... довела его до ссоры с приятелем! Недаром я боялась выходить за него, недаром!.. Боже, вразуми меня! Нет! Я не такая, чтоб он мог оскорбить меня. Я уйду от него, я не хочу слышать о нем; не хочу, не хочу, не хочу!»

И она, ломая руки, ходила по своей одинокой, озаренной светом лампады спальне. В эту ночь Атуев слышал шаги ее; как-то тяжело стучали они в пол, даже раз послышалось ему ее восклицание: «А!» Раз даже хотел он войти к ней, но, заглянув в полурастворенную дверь, он увидел в полусвете глаза ее и не посмел войти. «Нет, не время! — подумал Атуев.— Да и зачем мне идти к ней, когда между нами все кончено! все! Суровая, злая женщина! Я сказал ей, что я скору умру, и она, она на это ни слова! как будто я не муж ее! как будто она не уверяла меня в своей любви!.. в своей верности! и... и как будто я, несчастный, никогда не любил ее!»

«Ветреник! развратник!» — думала про себя Людмила Григорьевна.

«Притворщица! Камень бесчувственный! Бессовестная! Хоть бы капля раскаяния! Хоть бы какое-нибудь чувство!» — думал чрез две комнаты Атуев, лежа на своем диване, на который, по его приказанию, недоумевающая горничная с вечера принесла подушку, простыню и одеяло. В сомкнутых глазах его зудели слезы. К утру он почувствовал что-то вроде озноба, закутался в свой халат и забылся.

Когда он раскрыл глаза, было уже утро, и пред ним, совсем одетая, в шляпке, стояла жена его.

— Ага! — сказал он, приподняв голову.

Он подумал спросонья, что она пришла к нему сама во всем признаться и, быть может, упасть к ногам его...

— Что вам угодно? — спросил он ее наконец, видя, что она куда-то собиралась и не думает упадать к ногам его.

— В кого вы так влюблены? — спросила она его с сострадательным презрением.

— В вас,— отвечал он,— а вы в кого?

— Не обо мне речь. Впрочем, что же я вас спрашиваю? Какое мне до вас дело?.. Я это могу и без вас узнать. Где живет Тертиев?

— Вы не хуже меня знаете, где он живет.

— Где он живет? я вас спрашиваю; мне нужен его адрес; или вы боитесь... совесть нечиста. Что же вы молчите? Я непременно хочу застать его дома. Если только вы сами мне во всем не признаетесь, я брошу вам в лицо ваше обручальное кольцо и уйду от вас. Вы можете быть покойны, я мешать вам не буду, только или признайтесь, или дайте мне адрес.

— Вы хотите от меня уйти *к нему?* — с горькою усмешкой, полусидя на диване, спросил Атуев.

— К кому бы то ни было, только скажите мне, где живет Тертиев?

— Нет, это уж из рук вон,— накидывая на себя халат и привставая, начал Атуев.— Это из рук вон! Вы... вы... спрашиваете у меня его адрес, тогда как сами... тогда как я собственными глазами своими видел, как вы... вы... сходили с его подъезда, были у него целые два часа. Какая же вы коварная! лицемерная!.. Ожидал ли я этого от вас?! от вашего воспитания! После всего того, что я от вас слышал! А еще на меня нападали когда-то. Не обманывайте, не надувайте меня! Я все знаю, все, все, и оскорбил ли я вас хоть одним словечком, оскорбил ли я вас хотя намеком!

— Что такое?! — сдвинув брови и скрестив пальцы рук, проговорила Людмила Григорьевна.— Я вас не понимаю...

Даже и понимать не хочу... вы дошли до такого бесстыдства, что можете мне в глаза говорить о каких-то безобразиях, утверждать, что сами видели! Что это? Где я наконец! — и заливаясь слезами, она села на порожний стул и закрыла руками лицо свое.

Атуев был озадачен слезами жены своей: не заплачь она, он бы сам сейчас заплакал; слезы ее не могли на него не подействовать, потому что он любил ее. «Но не хитрость ли это?» — подумал он и проговорил, понизив голос:

— Вы плачете, но виноват ли я? Тертиев этого не скрывает; он сам сказал, что вы у него были...

Людмила Григорьевна вдруг отняла руки от лица и поглядела на него с каким-то ужасом, как бы желая удостовериться: не с ума ли спятил несчастный муж ее или не клевещет ли с каким-нибудь затаенным умыслом...

— Оправдывайтесь, если можете,— добавил Атуев еще тише, как бы приглашая тем и жену свою говорить как можно тише.

— Оправдываться! — сказала она, возвысив негодующий, слезами освеженный голос.— После такого оскорбления оправдываться! Вы с ума сошли.

И, быстро поднявшись с места, она вышла из кабинета в переднюю, такая же гордая и холодная.

Атуев слышал, как она, надевая салоп, спрашивала мальчика, знает ли он, где живет Тертиев, и, получив утвердительный ответ, приказала ему одеваться и ехать с ней. Когда горничная заперла за ними дверь на лестницу, Атуев закрыл глаза. Он чувствовал, что в груди его что-то закипает и подступает к самому горлу; он думал, что или действительно он с ума сошел, или что это сон, злой, нелепый сон. Она уехала и, быть может, не приедет, не воротится! быть может, милый образ навсегда исчез из глаз его; разве это не смерть? Разве он желал, хотел оскорбить ее? Как же это так могло случиться? Разве он не любил ее? Разве он изменил ей? Разве не она... А что, если в это утро он навсегда потерял ее! Навсегда!

И Атуев так горько зарыдал, как еще никогда, с тех пор как мать на свет родила его, не рыдал Атуев.

XXIV

Тертиев только что встал и, ходя из угла в угол, разминал себя, даже раза два зевнул во все горло, потягиваясь и вытягивая кверху свои мускулистые руки; на нем был тот

костюм, который обыкновенно составляет переход с постели к умывальнику. В комнате было свежо (видно, хозяйка плохо печь истопила), но в окна, сквозь морозные узоры, светило солнце, значит, был уже час одиннадцатый. В Петербурге зимой все работающие по ночам и не обремененные службой встают довольно поздно. Тертиев, видно, не был исключением.

В дверь к нему постучалась хозяйка.

— Что вам?

— Мальчик вас спрашивает, через кухню прошел.

— Какой мальчик? позовите-ка его сюда.

Чрез минуту в коридоре послышались шаги, и вошел Петя.

— А! Петя! Ну что? зачем ты? — начал было веселым тоном Тертиев, но вдруг бровь его зашевелилась и он спросил: — Ты с письмом от Атуева?

— Нет-с, барыня просит вас сойти к ней, она на улице вас дожидается.

— Какая барыня? Людмила Григорьевна?

— Да-с.

Тертиев походил по комнате.

— Ну, скажи, что оденусь и выйду.

«Это она мирить меня приехала,— подумал Тертиев,— или муж прислал с извинением. А может быть, и в сумасшедший дом свезти его. Черт его знает! Третьего дня меня выругал, нынче, может быть, кусаться стал...»

Умывшись, одевшись, накинув шинель и старую академическую с козырьком фуражку, Тертиев вышел на улицу; увидел сани, в санях Людмилу Григорьевну. Он поклонился ей. Она вышла из саней на тротуар.

— Вы давно у нас не были!..— сказала она, протягивая руку, и горячий румянец заиграл на щеках ее.

— Я все занят был,— отвечал Тертиев, глядя ей в глаза и как бы стараясь прочитать в них, чего она от него хочет. Уж не влюбилась ли в него? Чем черт не шутит!

— Пройдемтесь, мне надо кой о чем спросить вас.

И она велела мальчику ехать вслед за ней по улице.

— Филипп Егорович! я хочу вас спросить...

«Ну,— подумал Тертиев,— это романом пахнет. Начнет она меня допрашивать, за что я с мужем ее поссорился».

— Спрашивайте,— сказал он,— я от ответа не отказываюсь, хоть, признаюсь вам, очень бы желал, чтобы вы не спрашивали меня, за что именно я поссорился с вашим мужем...

— Нет, я просто хотела бы вас спросить, давно ли вы стали клеветником.

— Я?.. Клеветником? Это какими судьбами — клеветником! Кого же это я оклеветал, по вашему мнению? Мужа вашего, что ли?

— Меня!..

— Вас! Как так!..

Тертиев остановился и опять посмотрел на нее из-под козырька своей фуражки. Он не знал, захохотать ли ему, рассердиться ли или отнестись к этой барыне с сожалением, потому что лицо ее позеленело, а в глазах с опущенными ресницами и на губах было не совсем обычное выражение.

— Вы изволили сказать моему мужу, что я была у вас,— тяжело дыша, проговорила Людмила Григорьевна.

— Я? Вашему мужу? Что за дребедень!..

— Кто же из вас двух клевещет?

— Постойте. Ба! я теперь понимаю; как хорошо, что вы сами заехали...

И Тертиев захохотал таким искренним смехом, что этот смех не мог не озадачить Людмилу Григорьевну. Она в свою очередь приостановилась и поглядела ему в лицо.

— Надо вам сказать,— продолжал весело Тертиев,— что ваш сумасшедший муж просто-напросто выругал меня подлецом. Так-таки и брякнул, что — подлец! Ха-ха-ха! И я, будь у меня в это время в руках нож, я бы или в подоплеку, или в брюхо ему засадил его, и вышло бы черт знает что! Но я отчасти понял, что если человек несет такую дичь, так уж, вероятно, или не в своем уме, или, действительно, есть какая-нибудь причина немаловажная; иначе бы я на месте убил его; но чувство справедливости прежде всего. Теперь и выходит, что я очень хорошо сделал, что не отправил его ad patres *. Ха-ха! Так это он мне про вас говорил, что будто бы видел вас, как вы от меня шли! Это значит, что он за вас принял мою Анну Семеновну! Я же, ха-ха-ха! посудите сами, мог ли я подумать, что речь про вас идет?! Сам, говорит, видел, была у тебя чужая жена. Ну, я ему и сказал: да, была чужая жена, потому что действительно не моя, а чужая. Он мне на это брякнул подлеца, ха-ха-ха! и улепетнул. Ну, назови он мне вас, милейшая! ну, я все бы и понял и сам бы его выругал, а то имя-то ваше произнести духу-то у него и не хватило... Не понимаю, чем я мог подать повод так ревновать вас ко мне, решительно не понимаю.

— И вы до сих пор были уверены, что дело идет о какой-

* к праотцам (*лат.*).

то Анне Семеновне? — с прояснившимся лицом перебила его Людмила Григорьевна.

— А что ж я мог думать! Не мог же я полагать, что этот сумасброд принял мою дульцинею за жену свою.

— А разве она на меня похожа?

— Разве ростом да дородством, да вот еще башлык свой носит так же, как вы,— сзади золотая кисточка. Другого сходства не обретаю.

— Благодарю вас, что вы меня успокоили. Вы не клеветник; что же касается до моего мужа, то я... я разойдусь с ним... Такое подозрение. Так оскорбить меня!.. Впрочем, сделайте мне одно одолжение.

— Какое?

— Нет, даете слово, что сделаете?

— Не дам, прежде скажите.

— Зайдите к нему. Когда я ушла, он плакал, как ребенок. Отнесите ему вот эту вашу записку, он еще не читал ее. Она попалась мне в руки распечатанная; как это случилось, вам нечего объяснять, только это помимо воли моей случилось. Думала ли я, что из таких случайностей может выйти такая неприятная история. Итак, вы к нему зайдете и... и объясните...

— Ни заходить к нему, ни объяснять ему что-либо я не намерен,— резко отвечал Тертиев, и за несколько минут смеющееся лицо его приняло строго суровое выражение.— Вы мне скажете, что он по ошибке назвал меня подлецом, стало быть, мне извинить его следует, нет-с, это не так-с! Если у меня украдут часы, а я по ошибке назову вас воровкой, не знаю, будете ли вы после этого говорить со мной. Это ясно. Стало быть, вы меня не просите, потому что это будет совершенно напрасно. Вы жена и хотите с ним расстаться за оскорбление, а я не жена, а просто приятель и должен быть снисходительнее жены! Он может с повинной прийти ко мне. Да и это я ему делать не советую; ибо это слово «подлец» такое слово, что его никакими тряпками не сотрешь, никакими сладкими речами не замажешь. Я могу презирать такое оскорбление, но не прощать! Так вы и знайте, милейшая!

— Ну, с вами делать нечего, благодарю вас. Прощайте!

— Прощайте, Людмила Григорьевна, жаль мне вас!..

«Эх жизнь,— проводив ее глазами и насупив на глаза фуражку, подумал Тертиев,— вот были знакомы, виделись, спорили иногда, начинали, может быть, понимать друг друга, вдруг какая-нибудь нелепость, пошлость какая-нибудь — и прощай! оборвалась нить! Неужели это было

последнее наше свидание? Судя по всему, она сойдется с мужем,— она из числа прощающих, а все-таки вряд ли она долго будет любить его!..»

XXV

Людмила Григорьевна немедленно, то есть не заезжая домой, поселилась у своей тетушки. Чтобы не пугать ее и не перетревожить, она рассказала ей свою ссору с мужем так, что вышло только смешно. Больная выслушивала этот анекдот, сидя в постели и уже работая спицами.

— Что же ты намерена теперь делать? — тряся головой, спросила она племянницу.

— Я, ma tante, намерена его помучить и остаться с вами... Прежде чем он не придет в себя, прежде чем не убедится, что он кругом виноват,— я к нему не поеду.

— Вот оно что! вся по характеру в моего покойного братца. «А Аркаша — дурень, в мать пошел,— подумала про себя Клара Ивановна.— Приди-ка он сюда, дам я ему чужие записки читать! Эдакой пустой мальчишка! ни о чем серьезно не думает!»

Прошел день; пришла ночь. Людмила Григорьевна легла на диване в спальне у своей тетушки.

— Как это странно! — сказала она, ложась.— Опять я с вами! точно и замуж не выходила!

— Только как же это, моя милая, ты со мной останешься. Может быть, твой дурак муж не одумается, не сознается в вине своей и все-таки завтра же тебя к себе потребует!..

— Я завтра не пойду, особливо если он потребует. Да если он будет требовать, я и вовсе не пойду, как бы я его ни любила. Умру, а не пойду,— горячо подтвердила Людмила Григорьевна.

— А если он тебе не даст паспорта?

— Какого паспорта?

Тетушка, откашлявшись, рассказала ей, в чем дело. (Она же когда-то и Свод законов [23] читала.)

— Как! а если бы муж оказался мерзавцем и негодяем первой степени? Если б он не любил меня и в то же время хотел бы у себя в доме держать меня, как мебель, как крепостную, и не давал бы мне паспорта! Что тогда?

— И тогда ты обязана была бы жить с ним.

— А если бы жить с ним не было никакой человеческой возможности, если бы он напивался и бил меня?

— И тогда бы, матушка, без его паспорта тебя бы никто к себе не принял.

— И такой закон?

— Такой закон.

— Да ведь такой закон держит сторону негодяев! Честный и образованный или просто доброй души человек всегда даст паспорт жене, если та не захочет жить с ним. Например, как я ни зла на моего мужа, а я уверена, что он непременно пришлет мне паспорт, если я об этом попрошу его. Чью же руку держит закон? На чьей он стороне?.. на стороне злых и эгоистов, на стороне тех, которым приятно нравственно добивать жену свою...

— Кому это приятно? — поморщившись и оправляя на себе одеяло, заметила тетушка,— откуда ты это вычитала? Ты думаешь, если б у тебя были грудные дети, ты бы могла спокойно ночевать у меня, могла бы из пустого каприза покинуть дом свой?

Людмила Григорьевна забыла, что тетушке нужен покой, что уже двенадцатый час ночи, что уже свеча догорает, и стала возражать, пускаться в рассуждения.

Долго молча слушала ее тетушка; наконец вдруг привстала, упираясь на руки, села на кровати в белой кофте, в белом чепце, худая, страшная, и тень ее, с дрожащею головой на сухой и длинной шее, обрисовалась на стене за ее постелью.

— Люля! — сказала она.

— Что, тетушка?

Людмила Григорьевна испугалась.

— Ты... ты нигилистка!.. ты...

— Ах, ma tante, успокойтесь. Неужели размышлять — значит быть нигилисткой?

— Да разве я учила тебя так размышлять?

— Размышлениям учит жизнь, ma tante! Ради бога, успокойтесь! Мало ли что я говорю и мало ли что иногда лезет в голову.

— Так ты в самом деле несчастна, Люля, если ты так рассуждаешь?

И в голосе старухи послышались слезы.

— Я счастлива, ma tante, и буду счастлива. Вот вы увидите! Дайте только мне выдержать характер. Разве вы не видите, что муж до ослепления меня любит, иначе бы он и не ревновал меня.

— А ты?

— И я люблю, успокойтесь, ma tante. Он добрый малый и совсем не такой ветреник! Право же, не шутя говорю вам, что я люблю его. Дня через три, четыре мы сойдемся, и все

пойдет как по маслу. Я его изучила... я... я знаю теперь, как мне вести себя...

— Ах, Люля, Люля! как ты меня напугала своими размышлениями! И я училась, и я читала и никогда не доходила до таких мыслей.

Людмила Григорьевна босиком перескочила к постели своей тетушки, поцеловала ее и стала уверять ее, что она совершенно такого же мнения, что напрасно она тревожится и проч. и проч.

Старуха опять улеглась; свеча догорела, и Людмила Григорьевна, задув ее, также протянулась на диване, но долго не спала, и долго мысленно упрекала себя за то, что своими, ей самой непривычными рассуждениями, так встревожила свою престарелую воспитательницу, вторую мать свою.

XXVI

Мальчик-слуга, воротившись домой без барыни, был позван Атуевым в кабинет и рассказал ему, как умел, о свидании Людмилы Григорьевны с Тертиевым. Барин допрашивал его, по-видимому, без всякого любопытства, даже в руках держал какую-то книгу и покрасневшими глазами глядел в нее, даже имел вид все уже знающего наперед или совершенно довольного женой своею, как поступившею на этот раз сообразно с данною ей инструкцией. Мальчишка, конечно, не подозревал, что такое творится в доме: кухарка была за барина, горничная — за барыню, хотя и у той и у другой были одни и те же подозрения; не было только решено: кто из двух, то есть барин приревновал или барыня заартачилась, а уж что-нибудь, да недаром...

На другой день Атуев получил записку следующего содержания:

«Надеюсь, что вы позволите мне взять кое-что из моих вещей. Пришлите мне мои подушки, одеяло и часть белья. Надеюсь, что в мое отсутствие вы совершенно успокоитесь; я также с своей стороны постараюсь о вас не думать. Прощайте!

Л.».

Атуев сам вышел в кухню к посланной и спросил о здоровье тетушки и как провела у ней ночь жена его.

— Все слава богу-с,— отвечала горничная,— приказали кланяться-с.

Это «приказали кланяться» она уже прибавила от себя; но Атуев поверил, что ему прислали поклон, и это его немножко успокоило.

Затем он написал жене своей:

«Требуйте, все что нужно. Так как я люблю вас, я не в силах был вынести вашу измену и оскорбил вас невольно. Никакое учение, хотя бы и социалистическое, не оправдывает обмана и не возводит в принцип лукавства... Я никогда не позволил бы себе вас обманывать из уважения к человеческому достоинству. Надеюсь, что Тертиев, если только вы с ним виделись, подтвердил вам слова мои. Как ни горько, как ни тяжело с вами расстаться, поступайте, как знаете, и будьте счастливы...

Остаюсь ваш любящий и несчастный

N. A.».

Посланная получила подушки, целую корзину белья, записку и рубль на извозчика.

Когда она уехала, Атуев вошел в спальню, лег на свою двуспальную кровать и опять залился слезами. Он вспомнил, что через два-три дня рождество Христово, что в этот день он мечтал о подарке жене своей; мечтал о том, как будет этот подарок принят и каким восторженным поцелуем отдарит его благоверная.

«Все пошло к черту!» — подумал Атуев и никак не мог на этой фразе успокоиться. Семейная жизнь уже успела пустить в него свои цепкие корни, и вырвать их было не легко ему.

Чрез день, по городской почте, он опять получил письмо, увидел на конверте почерк жены, и сердце забилось в нем радостным предчувствием; но это было мерцание его собственных, им самим еще не вполне сознанных надежд и желаний (а он желал или оправдания, или признания, или, по крайней мере, того отчаяния, в котором слышались бы и любовь и горе). Увы, конверт заключал в себе, во-первых, просьбу прислать ей свидетельство на отдельное жительство, во-вторых, записку Тертиева, причем Людмила Григорьевна откровенно рассказала ему, как она попала к ней в руки, и советовала ему, если он встретит Аркашу, выбранить его за рассеянность.

И то и другое было для Атуева громовым ударом. Он увидел, что жена его не шутит, и, главное, уразумел из письма Тертиева, что не только напрасно он оскорбил жену свою, но и Тертиева назвал подлецом совершенно напрасно. «Я смешон! — сокрушенно повторял Атуев, стоя посреди

своего кабинета, расставив ноги и подбоченившись.— Ведь я смешон!! Все могу я вынести,— этого не вынесу!.. Это... это ужасно! Я смешон! Она меня презирает! Что же такое я наделал?.. Ух!..» Потом он расхаживал, махал руками и горячился... «Как сметь читать чужие записки! — кричал он сам про себя (потому что можно и *про себя кричать*, когда монолог не на подмостках сцены, а на сцене жизни действительной).— Разве это не подлость! Приходит ко мне записка, он берет, распечатывает, читает, отдает не мне, а жене моей! По какому праву?.. Где я наконец! Кто заплатит мне за все страдания, которые я с тех пор вынес! Сколько потерял, потому что ничего не мог работать; решительно ничего не лезло в голову! Рассеянность! Положим, рассеянность! Зачем же он не извинился? Зачем не мне отдал записку?.. Тьфу! Подлость!.. И Тертиев дурак! Черт знает, что вообразил себе. Очень мне нужна его Анна Семеновна!.. Я так же об ней думаю, как о чужих подошвах. Вообразил, что ревную к ней! Скажите пожалуйста!..»

Так кипятился Атуев.

Ночью он писал длинное, страстное послание к жене своей, упрекал себя, просил, умолял ее простить его, но о паспорте ни слова. Письмо это осталось без ответа. Наступил канун рождества; никогда еще так страшно не тосковал он, не падал так духом, как в тот день. Квартира без жены показалась ему могилой. Он страдал ужасно; все думал, как ему поступить, и в рождественскую полночь, сидя у себя в кабинете, придумал написать письмо и вслед за тем отравиться. Он писал:

«Я решился умереть. Жизнь меня обманула. Судьба поставила в такое положение, что явно я не могу ни говорить, ни писать, ни действовать. Я родился свободным и умру свободным! Радуюсь, что этого права, права умереть, никто, никакая деспотическая власть отнять у меня не может. Никого не вините в моей решимости. Все мое завещаю жене моей.

Николай Атуев».

Вот какой повод к самоубийству избрал для себя Атуев! Сочиняя это письмо, он услаждал себя мыслию, что строчки им начертанные будут перепечатаны во всех газетах; что если ему не удалась слава при жизни, по крайней мере, пусть хоть имя его, как мученика идеи, не вынесшего на плечах своих всей тяжести современной действительности, прошумит вслед за известием о его страдальческой кончине. Письмо это было, однако же, не сразу написано; он пугался собственных фраз своих; иногда вставал, ходил, раз даже

заглянул в кухню и там вперил глаза свои в икону, озаренную праздничною лампадкой. Кухарка спала, раскрыв рот, и похрапывала. Атуев и на нее поглядел: «Вот она,— подумал он,— удивится, что барин умер... А Люля! Люля моя!.. Неужели и она не поймет, что это она меня убила, что я не могу жить, потеряв навсегда любовь ее... Ах, Люля! Люля!..»

«Нет! — подумал он, ложась спать,— погожу еще день или два. Для праздника не следует тревожить ни людей моих, ни жену».

XXVII

В первый день рождества Атуев сделал несколько визитов и, по-видимому, был покоен; только когда спрашивали его:

— А как здоровье вашей супруги? — сердце у него сжималось, он отвечал:

— Слава богу-с, но тетушка ее, Клара Ивановна, очень плоха, она теперь у ней пока вроде сестры милосердия.

— И вы одни теперь?

— Что делать! — пожимая плечами, отвечал Атуев.

На другой день ему почудилось, что, воротившись домой, он непременно найдет у себя в кабинете жену свою, но ошибся и поехал походить пред ее окошками, на Конюшенной.

Были сумерки; он уже возвращался с своей прогулки и нечаянно встретил одного доктора, по фамилии Бурко, приятеля и однокашника Тертиева.

— Где вы живете? — спросил его Атуев.

— А вот тут, на дворе.

— Можно зайти к вам?

— А зайдите, потолкуем. Вы где обедаете?

— Я... нигде.

— Как нигде?

— Так, нездоровится что-то.

— Ну, мы вас полечим.

— Ну, вот и прекрасно.

— Что вы говорите: прекрасно?

— А то, что я уверен, вы мне поможете. Давно ли вы были у Тертиева?

— Вчера был.

— Он вам ничего не говорил?

— Ничего, а что?

— Так, ничего... кажется, сама судьба послала мне вас навстречу.

Перебрасываясь подобными вопросами и подобными ответами, оба они вошли под ворота, потом направо по двору и, наконец, по лестнице во второй этаж, налево.

Атуев никак не ожидал, чтобы товарищ Тертиева, одного с ним выпуска и такой же бедняк, жил так богато. Кабинет Бурко был убран не только со вкусом, но и с некоторою роскошью. Книги выглядывали из великолепных маленьких шкапчиков с резными украшениями. За стеклами и без стекол, на комоде и на этажерках стояли снаряды; тут были и кресла для исследования больных, и спирометр для страждущих грудными болезнями. Чего, чего не было! На диване лежали шитые по бархату подушки; в углу топился камин, ярко озаряя пестроту всего этого разнообразия и угол кабинетного стола, на котором стояли ящики для сигар и подсвечники, в виде уродливых, вытянутых, словно зеленою ярью подернутых фигур, одним словом, модные, хотя и безобразные подсвечники. Атуев сразу понял, что попал на квартиру человека практического, умеющего пользоваться всяким случаем не без пользы для своих карманов.

— Вы, кажется, счастливы? — сказал ему Атуев.

— А что?

— Да так, по всему видно, что вы не одних дворников да прачек лечите, как Тертиев.

— У Тертиева никогда не будет практики,— отвечал хозяин, улыбаясь и потчуя Атуева настоящими гаванскими сигарами.

— Отчего же это?

— А! Да оттого, во-первых, что он много пишет: это хорошо для науки, но не для публики; во-вторых, потому что много говорит, и часто неудачно, невпопад говорит, а в-третьих, потому что больным льстить не умеет, а это главное.

— Да как же это льстить?

— Очень просто: на каждого умирающего смотрите, как на человека бессмертного; на каждую расслабленную, развинтившуюся, капризную барыню — как на существо неземное; на каждого мнимо больного — как на человека опасно заболевавшего, и у вас непременно будет практика, разумеется, если при этом вы ловки,— не без лукавой улыбки добавил он, зажигая свечку.

— Доктор, я к вам с просьбой,— сказал наконец Атуев,— помогите мне умереть, жизнь невыносима. Что за климат! Что за люди! Что за мерзость кругом творится, куда

ни поглядишь! Дайте мне на всякий случай какого-нибудь... эдакого порошка, ну, да вы понимаете. Я нарочно к вам обращаюсь, потому что вы человек вполне современный, для вас самоубийство не есть преступление.

— Гм! — промычал хозяин, усевшись против него в кресла, и, поглядывая в камин, спросил его: — Так жизнь вам надоела, значит?

— Да и к чему жить? Были идеи, были надежды и вера в лучшее, все прошло. Чувствуешь, что только землю бременишь даром... Вы не думайте, что я с тоски или с отчаяния, нет, просто оттого, что сознаю, ну... как бы это выразиться, дошел до такого сознания, что жить без какого-нибудь общественного дела, без какой-нибудь цели, значит не жить... Понимаете?

— Понимаю! Гм!..

— Если вы мне и не дадите яду, вы этим меня не спасете: я или в прорубь брошусь, или серных спичек наемся...

На это доктор спокойно ему заметил, что, конечно, он его не спасет, но по крайней мере отвечать за него не будет.

— А как это узнают, позвольте вас спросить, как узнают, что я получил от вас какое-нибудь зелье или снадобье? Не бойтесь, я не раз говорил жене своей, что у меня есть яд, что я во всякое время могу отправить себя в поля Елисейские [24], и она мне верит.

«Ну, едва ли тебе хочется в Елисейские!» — подумал про себя доктор и сказал ему:

— Хорошо-с, за мной дело не станет.

Атуев сейчас же повел разговор на другой тон, стал трунить над его интрижками и завидовать ему.

Через полчаса хозяин поднял портьеру и вышел в другую комнату, пробыл там минут десять и вынес Атуеву небольшую сткляночку какого-то иссеро-белого порошка.

— Смотрите ж,— шепнул он ему,— не выдайте меня, это довольно сильный яд.

Атуев взял сткляночку, спрятал ее к себе в боковой карман и сказал:

— Не беспокойтесь, это тайна... Только нет ли у вас зельтерской воды или чего-нибудь эдакого, у меня жажда.

— А чаю не хотите?

— Да ведь вы же еще не обедали?

— Я был на именинах и так позавтракал, что обедать не буду.

— А какого нынче святого?

— Да, должно быть, Якова, двадцать шестое число.

— Ну, дайте мне чаю.

Бурко звонком позвал человека и велел ему подать чаю.

Атуев мало-помалу пришел опять в такое грустное настроение духа, что доктор не шутя стал думать, что Атуеву плохо, и даже как будто раскаялся, что дал ему яд. Атуеву же хотелось все рассказать доктору, все, что с ним случилось, и, как у человека практического, попросить у него совета, но он когда-то слышал от Тертиева, что доктор Бурко не только сплетничает, но даже и анекдотцы разные про своих знакомых выдумывает; это пугало Атуева, и он удержался от излияний.

— Прощайте, доктор! Постойте, между нами будь сказано, какое действие оказывает ваш порошок?

— Тс!..— и Бурко глазами показал на своего слугу, выносившего поднос со стаканами.— Если вы весь его примете, то чрез полчаса умрете.

— Значит, не вдруг,— это скверно... быть может, еще боль будет страшная, я этого не хочу.

— А! ну уж я не знаю! впрочем, не думаю. Если у вас внутри нет никакого органического повреждения, то вы и не почувствуете, только заснете. Эдакое замирание во всем теле,— понимаете? А если вы примете половину этой порции, то можете еще успеть и завещание написать. Раньше часу или двух не подействует; тогда можно будет даже еще и спасти вас; у меня есть противоядие.

— А если спасете, то никаких последствий?

— А! это судя по организму!..

— Ну, прощайте.

— Прощайте, Атуев, только постойте, не пеняйте на меня, сами просили. Помните это, Атуев.

— Еще бы,— отвечал тот вполголоса,— пенять! Напротив, благодарен вам; вы не лишили меня последнего права.

«Вот черт! — подумал Атуев, выйдя на улицу,— помогает отравиться,— и это ему нипочем: точно я для него лягушка или крыса! Эдакое, подумаешь, железное времечко! Как, кажется, не закалиться в эдакой среде... Неужели никто и не вздохнет, коли я отравлю себя?.. Гм! Как будто я вздыхал о тех самоубийцах, о которых каждый месяц читал в газетах! да-а!.. О Люля, Люля! до чего я дошел! Но неужели и ты... холодное существо! и ты не заплачешь!..»

Искреннее горе, искреннее чувство и истинное раскаяние в Атуеве беспрестанно мешались с чем-то фальшивым, неестественным, натянутым, притворным, но это он едва ли замечал в себе.

XXVIII

В тот же день, в девятом часу вечера, Людмила Григорьевна была испугана своею горничною, Степанидой, которая, вызвав ее в переднюю, торопливым голосом сообщила ей, что барин умирает и просит ее заехать к нему проститься.

Людмила Григорьевна оцепенела, но не вдруг поверила, схватила горничную за руку и спросила:

— Правду ли ты говоришь мне? Если это обман...

— Ей-богу, барыня... Руки похолодели, насилу языком ворочает.

Не заходя в спальню тетушки, Людмила Григорьевна, дрожа всем телом, накинула на себя салоп, капор, сбежала с лестницы и на извозчике, который дожидался ее у подъезда, покатила к себе на квартиру.

Никак не ожидала она ничего подобного. Ей уже становилось скучно в гостях у больной тетки, и она непременно бы поехала к мужу, если бы тот прислал ей паспорт; но муж не прислал ей этого паспорта, и она упрямилась. Думала ли она, что случится такая катастрофа! Представьте же себе весь ужас бедной женщины, когда она увидела мужа своего на диване, бледного как полотно, с закатившимися глазами, с хрипотой в горле, и пред ним на столе, возле очков, недопитый стакан со следами какого-то порошка. Она схватила его за руку, рука была холодна. Людмила Григорьевна упала на колени и, со слезами на глазах, припала головой на грудь мужа.

Он обнял эту милую для него голову и спросил:

— Это ты, Люля? Прости меня!

— Безумный, безумный! что ты наделал? Говори скорей, что ты с собой сделал?.. Как мог ты, несчастный, сомневаться в любви моей! Как мог ты!..

И она, плача, стала обнимать и целовать его.

— Спаси меня,— шепнул ей муж.— Еще есть время; у доктора Бурко, что на Малой Конюшенной, есть противоядие... Если он дома, я спасен. Скорей... вот адрес... или пошли за ним, или дай мне умереть...

Не прошло пяти минут, как все люди были подняты на ноги: кухарка послана за молоком, мальчик и горничная оба поехали искать доктора Бурко и во что бы то ни стало привезти его.

Можете себе представить, какими ужасными казались и ей и ему минуты ожидания!

Людмила Григорьевна не жалела никаких ласк, никаких утешений; поила своего мужа наскоро вскипяченным моло-

ком, но тот уверял ее, что ему не легче, что он чувствует замирание во всем теле, что у него жжет в груди, и при этом раскаивался, проклинал докторов, жалел о жизни, плакал от страха и уже готов был упасть в обморок, когда раздался громкий звонок в передней и вбежавшая горничная известила о приезде доктора.

Атуев заметно ожил; надежда озарила его туманную голову.

— Я вижу,— сказал доктор Бурко, входя в кабинет с таким строгим и злым лицом, что, несмотря на всю его красивую наружность и румяные щеки, Людмила Григорьевна поглядела на него, как на чудовище,— я вижу, что с вами нельзя иметь дела. Вы посылаете за мной людей, и, опоздай я к вам приехать, на меня пало бы подозрение, что я вам дал что-то вредное, тогда как я вам ничего такого вредного не дал... Меня бы ради вас притянули к следствию, и вы, милостивый государь, испортили бы мою репутацию.

— Но до репутации ли, когда нужно спасти человека? — проговорила Людмила Григорьевна.

— Мне моя репутация дороже-с,— отвечал Бурко с некоторым озлоблением.

— Спасите, доктор, я чувствую...

— Ну, что вы чувствуете? Покажите язык. Где порошок, мною вам прописанный?

— Я не помню, доктор, вот он на столе...

Доктор взял сткляночку, поднес ее к свету, и улыбка искривила его губы.

— Вы, однако же, и половины не приняли! Куда годится такое животолюбие? Я никак этого не ожидал от вас. Сударыня,— сказал он, с ног до головы оглядывая Людмилу Григорьевну и как бы любуясь красотой ее,— пока я дам ему противоядие, пожалуйста, прикажите большой горчичник сделать, это главное...

Людмила Григорьевна побежала в кухню делать горчичник.

Только что она вышла, Бурко нагнулся над ухом умирающего и шепнул ему:

— От сахару с перцем не умирают. Полноте воображать себя умирающим. Чего еще доброго, от одного воображения на тот свет отправитесь.

— Доктор! неужели? — спросил Атуев, и краска выступила на лице его.— Ради бога, не говорите жене моей, что вы меня надули. Как же вам это не совестно!

— Ну вот, еще вздумали какую претензию объявлять. Сами рады, что я надул. Небось кабы на самом-то деле

захотели умереть, весь бы порошок приняли. Я с вас меньше двадцати пяти рублей за этот визит не возьму, потому что вы помешали мне; я вот теперь опоздаю... меня в пяти домах ждут...

— Хорошо, хорошо, доктор,— пробормотал Атуев, а сам подумал: «Ну этот доктор не умрет с голоду: он не Тертиев».

И — надо отдать справедливость Атуеву, в эту минуту мысленно он не пощадил себя, порядком себя выругал.

Людмила Григорьевна принесла горчичник, и доктор при ней преспокойно облепил живот своего приятеля.

— Уж он дал мне противоядие,— сказал Атуев,— мне легче; успокойся ради бога...

— Доктор, доктор! Что, если бы не вы?.. Пожалуйста, побраните его — сумасшедшего. Можно ли так?..— лепетала благодарная Людмила Григорьевна, сидя у ног своего ожившего супруга.

— А кто у вас домовый доктор? — спросил ее Бурко.

— У нас нет домового доктора.

— Возьмите меня, я возьму с вас недорого.

Атуевы согласились. Бурко повеселел, напился чаю, полюбезничал, получил двадцать пять рублей и уехал.

Разумеется, Людмила Григорьевна осталась с мужем и послала уведомить тетушку, что она ночевать у ней не будет.

Атуев был очень рад, сбросил с себя горчичник и как сумасшедший целовал чуть не до утра жену свою.

Я также рад, что все благополучно кончилось. Трагический конец был бы даже как-то и не к лицу Атуеву. Но неужели конец?

Господа, пока жизнь тянется, конец одного есть начало другому, или, лучше сказать, не видно ни конца ни начала. Чувствуются одни только превращения, и те совершаются так незаметно, что не всякому глазу, постоянно за ними следящему, уловить их колеблющееся движение.

С того времени прошло не бог знает сколько лет, но уж Атуев не совсем тот Атуев, каким вы уразумели его в этой повести. Он уже совершенно под башмаком жены своей, состоит на службе, получает порядочное жалованье и имеет в виду выгодное место, к тому же у него двое детей, двое маленьких Атуевых. Жизнь его окончательно разошлась с его убеждениями; но теории, как ни шатки они были в душе его, до такой степени приучили его к известным взглядам и к известным тенденциозным выражениям, что и теперь Атуев точно так же называет себя рационалистом, так же

верует в одни естественные науки, хоть сам ими и не занимается; так же нападает на искусство, то есть требует от него чего-то такого, чего он и сам порядочно не сознает. С Тертиевым он сошелся не скоро, но сошелся настолько, что при встрече на улице или в гостях по-прежнему с ним разговаривает; из числа этих разговоров приведу один, которому я был свидетелем. Речь шла о страстях и о том: страсти ли действуют на ум или ум возбуждает страсти? Между прочим кто-то заговорил о ревности.

— Ревности не должно быть,— провозгласил Атуев и опустил глаза, потому что Тертиев поглядел на него так, как ястреб глядит на свою добычу.

— Эх, «не должно быть!» — возразил не без злости Тертиев.— Если б ты сказал, что ревность, как и всякая другая страсть, должна быть умеряема воспитанием или рассудком, одним словом, находит в нас самих противовес или границу, я бы тебя понял, а то «не должна»! Это то же самое, если б я сказал тебе: нос твой не должен слышать запаху дегтя или тебе на морозе не должно быть холодно, а летом на солнце — жарко... Вон, бывают и такие индивидуумы, которые и без селезенки жили несколько лет: следует ли из этого, что у человека или у Атуева не *должно* быть селезенки? Это, братец, не рациональный взгляд, а фантазия.

Недавно я, автор этого рассказа, случайно встретил Тертиева и спросил его, как поживает Атуев.

— Я уже года с четыре ничего не слыхал о нем — не знаю... А ты что это вздумал писать — напрасно, брат. Атуев наверное не читал и не прочтет твоей повести: ты не настолько в *милости* у наших фельетонистов, чтобы он стал читать твои произведения.

— Какое мне до этого дело: описывал я его вовсе не потому, что когда-то, встречаясь с ним у тебя, имел достаточно времени, чтоб разглядеть его,— и не потому, что вслед за ним встречал разного рода Атуевых, а просто потому, что в самом себе не без досады заметил нечто им общее — нечто атуевское. От этой фальши, от этой заразительной погони за фразами самому мне захотелось вылечиться. А как вылечиться! Единственный способ отделываться от своих недостатков — это (при помощи наблюдения над другими) возводить их в *перл создания* — ну вот, я как мог, так и постарался.

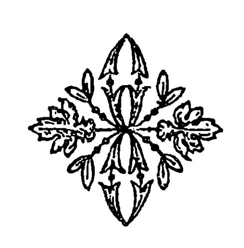
— Спасибо за балет, а за старанье вдвое! — рассмеялся

Тертиев,— только как же это ты у некоторых рецензентов попал в проповедники ревности!

— Любезный друг! — отвечал я ему,— проповедовать ревность, это то же, что проповедовать в Петербурге дурную погоду — или уверять, что Некрасов в своих сатирах скверную погоду проповедует! Я хотел только выставить на вид те противоречия, в которые поневоле впадает ревнивый, скупой, честолюбивый или какой бы то ни было страстишкой обуреваемый человек, заучивши фразы, которые ему не по силам...

— И все-таки,— возразил спорщик Тертиев,— и все-таки хорошо, что Атуевы кой-какие фразы заучивают.— Если бы твой Атуев не говорил, что *поэзия — вздор*, он бы чего доброго стал стихи писать и — вообрази, что бы из этого вышло! Если бы он не повторял с юности, что *ревности не должно быть*, он не мог бы и настолько *сдержанно* отнестись к жене своей в припадке ревности, насколько он отнесся к ней в твоем рассказе. Фразы, пока они не выветрились и не опошлились, держат иных в узде — и хорошо делают. Если же ты от Атуевых ожидаешь действительного, а не призрачного перерождения, если ты этого ожидаешь — то не скоро ты, брат, этого дождешься!

За сим Тертиев пожал мне руку, и мы расстались.



Воспоминания

СТАРИНА И МОЕ ДЕТСТВО

I



е мода писать свои воспоминания меня искушает, не ей уступаю я, а тем, кто этого желает и просит.

Вообще, писать свои воспоминания — это или очень легко, или очень трудно. Человеку старому не легко быть верным оценщиком того, что происходило в его детстве или в его бесшабашной юности.

Разочарованный едва ли беспристрастно отнесется к тому, что когда-то имело на него чарующее влияние, а человек, переставший верить, едва ли и поймет, что происходило в душе его, когда он верил. Необходимо хоть немножко прежнего ума, прежнего сердца, прежней веры для того, чтобы в семьдесят лет дать себе отчет о том, как думалось, как чувствовалось и верилось в эти былые, навсегда утраченные годы.

Ничего нет легче, как сочинить свои воспоминания, особливо в такие годы, когда:

Иных уж нет, а те далече...[1],

когда некому уже проверить автора — насколько он врет и насколько справедливо относится к людям или событиям прошлого.

Таких воспоминаний не мало появилось в нашей текущей журналистике. Не верьте тем из них, где авторы выводят на сцену все более или менее известные, громкие имена, а сами

постоянно прячутся за кулисами,— нигде, ни одним словцом не проговариваясь насчет старых грешков своих, точно пресерьезно внушает вам: вот вам факты и лица, судите их, и до меня лично вам никакого дела нет...

Или не верьте воспоминаниям, где авторы (а тем паче авторши) приводят длинные разговоры, которых будто бы они были свидетелями тому назад лет тридцать или сорок. Все эти разговоры не только сочиняются и освещаются так, как угодно их осветить, смотря по симпатии или антипатии к тем лицам или к тем знаменитостям, какие выводятся на сцену. Не верьте и мне, если я буду приводить вам из моего далекого прошлого целые разговоры с кем бы то ни было, если они тотчас же не были кем-нибудь записаны; да если бы они и были записаны, в них не будет доставать главного — тона.

Можете ли вы, не будучи сами артистом, передать тон, то есть всю красоту или весь смысл музыкальной пьесы, сочиненной гением? Вспомните Фрейшица, *разыгранного перстами робких учениц* [2] или, добавлю, учениц, которые смело барабанят чужую пьесу в уверенности, что так и следует играть ее, а между тем сам автор в их игре не узнал бы своего произведения.

Таковы иногда и записанные разговоры, если только тот, кто их записывал, не стоит на одном умственном уровне с тем лицом, которое он выводит на сцену.

Вот, думает иной автор (или авторша), я беру вам личность такого-то. Вы находите его великим, умным, чуть не гениальным, а поглядите-ка, как я его раскусил (или раскусила), и какой он от этого стал маленький. Думал ли он, что я во всех отношениях его умнее и нравственнее? Он этого не думал, напротив — он почему-то на меня не обращал никакого внимания. Ну, так вот же ему! Читайте и удивляйтесь!

И действительно, иной простодушный читатель читает, верит, пожимает плечами и даже не подозревает, как легко писать такие воспоминания.

II

На этот раз я решаюсь описать только мое раннее детство, не окруженное никакими знаменитостями, и знаменательное только в одном отношении,— оно было окружено такой стариной или такими бытовыми картинами, о которых в наше время не многие старики помнят и не многие записы-

вают. Знаменитый сатирик наш, Салтыков (Щедрин), был едва ли не из числа последних могикан, которые уходили в эту старину и рисовали нам нравы той крепостной эпохи, которая, так сказать, ушла навсегда из-под ног молодых поколений, ныне выступивших на поприще русской жизни. Но рассказы Щедрина — это уже художественные произведения в сатирическом тоне. Я не буду рассчитывать ни на художественность, ни на сатиру. Мало того, я нахожу для себя невозможным то, что было невозможно для меня, как для ребенка, то есть понимание характеров или лиц, окружавших колыбель мою.

Ребенок любит или не любит, свыкается с чем-либо или дичится, страдает или радуется — наблюдает по-своему; но едва ли дает себе отчет — почему и за что именно он любит мать свою, или — что за люди: его нянька, горничная, лакей, кучер и проч. и проч. И все же первые чувства и впечатления незаметно влияют и на будущий склад его характера, и на всю последующую жизнь его. Так, я уверен, что если бы в ребячестве своем я кого-нибудь ненавидел, это бы отозвалось в душе моей и в юные годы, и в моей преклонной старости, и на всех моих произведениях.

Никто не может быть свидетелем нашего раннего детства, если под словом «детство» разуметь внутренний мир ребенка или те силы, из которых слагается весь будущий нравственный строй, или склад его ума, или, короче сказать, черты его индивидуальности.

Кто может об этом говорить, как не тот, кто сам был этим самым ребенком и не лишен способности мысленно пережить этот далекий возраст, от которого не осталось уже на земле ни одного свидетеля.

Эта способность легко утрачивается, и если я еще сохранил ее, то разве только потому, что мне в лучшие годы жизни случалось не раз оглядываться на мое счастливое детство и находить в нем тот материал, из которого лепил я такие фигуры, как *Илюша* в рассказе «Статуя весны» или как маленький герой в рассказах «Груня», «Дом в деревне» [3], «Признания Сергея Чалыгина» и др.

Большую часть этих детских и полудетских рассказов я писал поневоле, так как, прибывши в Петербург с Кавказа, в начале пятидесятых годов, без всяких средств к жизни, я попал в разгар таких цензурных тисков, что писать о взрослых людях было весьма затруднительно. Цензура была строга до абсурда, до полнейшего непонимания того значения, которое должна иметь литература, или до явного непризнания в ней какого бы то ни было значения.

В эти тяжелые годы я усиливался брать сюжеты самые невинные, но и это не помогало!.. Поверит ли кто-нибудь в наше время, что даже такие рассказы, как «Статуя весны» и «Груня», были запрещены тогдашней цензурой. Первый из *предположения* цензора, что ребенок, глядя на статуэтку, вероятно, имел дурные эротические помыслы, а второй — из предположения, что я под словом *школа* разумел гимназию!..[4]

Но, видно, нет худа без добра: все эти неудачные попытки литературным трудом заработать себе кусок насущного хлеба помогли мне развить такую память по отношению к моему детству, что, мне кажется, я помню его лучше, то есть яснее и отчетливее, чем то, что было со мной на прошлой неделе.

Я, конечно, не могу не сознаться, что память моя ограничена, что она часто никак не может отдать себе отчета, что было прежде, что после; года же, числа, имена как-то особенно не ладят с ней, и что, стало быть, мои воспоминания будут, во-первых, не чем иным, как проблеском того, что особенно на меня влияло, раздражало, радовало, пугало или смущало, и, во-вторых, они если и будут иметь какой-нибудь интерес, то прежде всего интерес психологический и затем бытовой.

III

Я, конечно, не мог бы вам сказать, когда и где я родился, если б об этом не сказали мне другие и если бы на это событие не было указания в моем метрическом свидетельстве.

Я родился в Рязани, на Певческой улице, в доме какого-то соборного певчего Чернева (или Чернова?). Я едва помню, как нянька моя, раз гуляя со мной, указала мне на этот домик, обшитый тесом, в три или четыре окна на улицу, и сказала, что я тут родился. Что значит родиться — я не знал, да, кажется, и знать не желал. Я только понял, что тут прежде жила мать моя, что мы теперь живем в другом доме, и, может быть, думал, что попробуй Матрена оставить меня одного — я домой ни за что не найду дороги, не буду знать, куда идти, и что со мной тогда будет?

Тогда Рязань казалась мне большим, очень большим городом, таким, что заблудиться в нем ничего не стоит. Все тогда казалось мне большим: и наша маленькая зала, и наш двор, и сад, не говорю уже о том чувстве необъятного простора, которым дышал я, когда меня водили за город.

Официально записан я родившимся 7 декабря 1819 года, но так как я родился ранее полуночи в вечер николина дня, то и решено было праздновать день моего рождения 6 декабря, а не 7-го, когда мне дали имя и впервые внесли его в приходскую книгу. Крестная мать моя и родная тетка по матери Вера Яковлевна Кафтырева не раз рассказывала, как она и ее сестры в николин день узнали на балу у генерал-губернатора Балашева о моем рождении, тотчас же покинули бал и в бальных платьях приехали ночью поздравить мать мою. Знаю и то, что родная бабушка моя, Александра Богдановна, прислала моей матери сундучок, обтянутый красным сафьяном и обитый железом (или жестью), с разными принадлежностями вроде свивальников, одеял, нагрудников и прочего. Все это было или вязано или стегано по атласу и обшито кружевами. Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит, говорит русская пословица; но если я родился при бабушке, то, к сожалению, когда вырос, жил без всякой ворожбы каких бы то ни было бабушек. Бабушкин сундучок с горбатой крышкой я живо помню, так как в детстве не раз на нем сиживал.

С чего начинается наше самосознание — этого никто не помнит, и я не помню, полагаю только, что у всех оно начинается с того момента, когда мы перестаем путаться в красках и очертаниях и начинаем кое-что наблюдать и запоминать, иначе сказать, с того момента, когда наше «я» и «не я» положит начало двум отдельным мирам: внутреннему и внешнему, душевному и материальному. Посмотрите, как каждый полугодовалый ребенок любит все ощупывать. Этим путем он идет к сознанию, что все, что он видит, не он, что он вещь другая, не мать и не те люди, которые его окружают, а сам по себе, нечто особенное и всем владеющее, ибо и мать его, и стол, и стул, и кровать — все это его, вместе с ним, и не может быть отнято.

Вот источник первых проявлений воли или каприза. Я не забыл, как я ревел и выходил из себя, увидавши, что нянька брата моего Мити дала ему в руки какое-то выдвижное зеркальце, а мне ничего не дали. Матери не было дома, а я так надсаживался, так надрывался, так был несчастлив, что и моя нянька, которая, вероятно, была сама еще девчонкой (хотя и казалась мне большой), вынуждена была побежать на базар и купить мне такое же точно грошовое зеркальце в бумажном красном футлярчике, с оттиснутым посередине цветком. Отчего вдруг вспомнил я это с такой ясностью, что, кажется, это было вчера?

Оглядываясь и все оглядывая, я стал помнить себя в квартире на Жандармской улице (или переулке), которая шла от Московской улицы близ заставы и упиралась в поле с проселком к кладбищенской церкви св. Лазаря. Дом, где мы жили, был едва ли не третий от загородной межи или канавки, заросшей бурьяном. Перед нашими окнами, выходящими на улицу, тянулись только конюшни с маленькими окошечками над стойлами. Одно окно из девичьей выходило на огород и на соседний флигелек, а окно из детской выходило на двор с собачьей конурой, где жил Орелка и лаял, когда мы летом проходили в калитку сада. В саду направо была куртинка, обставленная высокими липами, и баня, а налево были гряды с бобами, горохом, капустой и иными овощами. Дорожка, которая шла от калитки, перекрещивала другую дорожку. Налево росли вишни, направо колючие кустики крыжовника и виден был покачнувшийся дощатый забор соседей.

Я помню баню, потому что там нас мыли девки в белых рубашках; мыло попадало нам в глаза, и мы орали и барахтались; а дорожку я помню потому, что я раз нашел там в кустах пустое гнездышко и каждое утро ходил навещать его в ожидании, что в нем появятся птички,— да еще потому, что я там рыл какую-то ямку; зачем-то наливал в эту ямку воду из лейки и никак не мог понять, куда уходит вода — льешь, льешь и никак не нальешь, не успеешь притащить новую лейку — и что же: только одна грязь на дне, а воды ни капли. Разве можно забыть такие неудачи и неприятности!

В это мифическое время моего существования я помню еще, как раз, в отсутствие моих родителей, моя Матрена взяла меня на руки и побежала к заставе на Московскую улицу. Едва мы успели туда прибежать, как застучали барабаны, толпа народа задвигалась и побежала с криками за какой-то коляской, за которой неслись еще какие-то экипажи и в пыли мелькали, должно быть, султаны на шляпах. Я хоть и таращил глаза, но не только не подозревал, что это был въезд императора Александра I в Рязань, не подозревал даже, что есть на свете императоры; знал только, что есть мама, Матрена, кучер Федор, лакей Трофим, горничная Улита, братнина няня Дуня — и с меня этого было весьма достаточно.

В каком году Александр Павлович был проездом в Рязань, об этом всякий может справиться, если это в данном случае почему-либо нужно. Я же думаю, что такая справка вовсе не нужна для моих воспоминаний.

IV

Через пустой огород из окна нашей девичьей видно было квадратное окошечко соседнего флигеля. Там была какая-то лотерея... Быть может, дворовые что-нибудь разыгрывали между собою и по соседству — к нашим засылали с грошовыми билетами. Что такое лотерея? — я не имел ни малейшего понятия. И вот, когда настал вечер, я сел у окна в девичьей и смотрел с напряженным вниманием в окошко соседей. Теперь в этом окошке я бы ровно ничего не увидел, кроме света на занавеске, заслоняемого тенями людей, собравшихся в горнице, а тогда... тогда мне виделось, что там пересыпается золото и происходят какие-то таинства. Я был и трусом настолько же, насколько и фантазером, но фантазером я был поневоле: тогда, во дни моего раннего младенчества, стоило мне только в сумерки или при свече поглядеть в темный угол комнаты, как уже эта темнота тотчас же начинала шевелиться, свертываться в клубок под карнизом у самого потолка, а внизу у самого пола то раздвигаться, то суживаться. Стоило мне в постели закрыть ресницы или посмотреть на темный полог, как уже перед глазами моими плыли маленькие звездочки или тянулись узоры постоянно очень мелкие и симметрические (в виде «глазок и лапок» по выражению приятной дамы, выведенной в «Мертвых душах» Гоголя). Стоило уткнуть нос в подушку, чтоб видеть огненные пятна в виде каких-то неопределенных расплывающихся фигур; иногда эти пятна сверкали точно фейерверк, и я не только сам ими любовался — я уверил моих братьев, когда они подросли, что стоит забраться в темную комнату, чтоб увидеть, как там плавают светящиеся духи,— и случалось, по моей милости просыпались они рано утром, пока еще не отворяли ставней, и вместе со мной забирались в темную гостиную на диван.

В этом, конечно, нет ничего особенного — каждый взрослый может увидеть то же самое, если в темноте, закрыв глаза, сосредоточить на них все свое внимание, иначе сказать, мысленно будет смотреть в собственные глаза свои, и ему может показаться, что световые пятна (фосфены) проходят в темноте, беспрестанно видоизменяя свои неопределенно-мутные очертания, особливо, если он потрет глаза рукой или слегка подавит их. Мне даже теперь, в моей старости, случалось наблюдать, и я заметил, что когда у меня свежа голова, пятна эти проплывают справа налево и слева направо; когда болит голова — они поднимаются вверх одни за другими; при сильной усталости или в лихорадочном

состоянии — дробятся, форма их теряет мягкость очертаний и неуловима, не поддается никакому наблюдению. Если не ошибаюсь, эти светящиеся пятна не что иное, как движение крови в сомкнутых веках или какой-нибудь влаги в самом глазе; движение это возбуждает теплоту и, может быть, вызывает в мозгу световое ощущение.

Зачем же я припоминаю то, что нисколько не относится к детству? Но если, будучи ребенком, я в этом видел какую-то игру или занимательное для себя зрелище, то ясно, что я смотрел на это, как ребенок, и при этом несомненно фантазировал. К тому же и то сказать,— детские глаза, еще не притупленные чтением или внимательностью к труду, гораздо восприимчивее и, вероятно, этого рода феномены происходят в них гораздо резче, ярче или рельефнее, чем в ином позднем возрасте.

Помню — меня еще брали на руки (стало быть, лет мне было немного), когда однажды вечером, только что сонного уложили меня в кроватку, покрытую узорным ситцевым пологом, как я раскрыл глаза и увидел у ног моих нечто ужасное, что-то вроде косматой, мертвой головы... Я закричал страшным криком. В тихой детской еще горела свеча, и мать моя еще не ушла в свою спальню. Она тотчас бросилась ко мне, распахнула полог и взяла меня на руки. Я кричал: мертвая голова! мертвая голова! Насилу меня успокоили, подняли при мне одеяло, подушки, показали мне, что ничего нет, что мне это померещилось. Помню, как долго я не решался вернуться в свою постель и как нянька моя шепнула моей матери: «Сглазили». Затем она пошла, принесла деревянную чашку с водой и с плавающими по ней угольками. Меня «умыли с уголька». «Умыть с уголька» — это техническое выражение всех нянек, которые верят, что ребенка можно сглазить.

Было ли это наяву (в галлюцинации) или во сне — конечно, я этого не знаю; но в эти мифические годы моего существования в моей детской, облепленной лубочными картинками, весьма возможно, что я сны мои нередко принимал за действительность.

Раз, когда я уже подрос, при мне кто-то заговорил о луне, и я вдруг вспомнил, что на старой квартире (в Жандармском переулке), вечером, когда уже смеркалось и когда матери моей не было дома, Матрена и Трофим притащили из сеней в залу лестницу, затем в потолке подняли доску и полезли на чердак луну смотреть, луну, которая будто бы раздвоилась или... уж я не знаю, что такое с ней сделалось; но сделалось что-то такое, что надо было на нее смотреть не иначе, как

с чердака. Припомнивши это, я пресерьезно стал допрашивать мою няньку, что это такое было? Что было с луной и зачем она из залы лазила на чердак? Конечно, нянька моя стала уверять меня, что этого никогда не было да и быть не могло. «Ну, вот,— думал я,— не шутя, сам своими собственными глазами видел, и вдруг говорят мне, что этого никогда не было!»

Иногда же сны заставляли меня горько и неутешно плакать.

Так, однажды, я видел во сне, будто к нам на квартиру зашла Смерть в виде старушки. Я тотчас же понял, что она пришла с тем, чтобы убить мать мою, а милая маменька, чтобы не пугать меня, притворяется спокойной и всячески старается как-нибудь, куда-нибудь удалить меня. И вот страшная, хотя на вид и добродушная, старушка затворилась с моей матерью в ее спальне, а меня няня взяла за руку, насильно вывела на двор, дала в руки узелок, посадила рядом с кучером на высокие козлы какой-то кареты, а сама, с моими меньшими братьями и с няней Дуняшей, села в карету, и все мы куда-то поехали, кажется к бабушке, у которой была уже эта самая старушка и уже отрубила ей голову. Во сне я плакал, сидя на козлах, плакал, когда проснулся, и плакал, когда рассказывал сон мой моей матери.

Если ребяческие сны мои были так ярки, что до сих пор не изгладились из моей памяти, то что же мудреного, что некоторые из них казались мне, ребенку, чем-то происходившим наяву, чем-то таким, чему я был свидетелем.

Полагаю, что родился я сильно золотушным и болезненным. Сказывали мне, что вся голова моя была покрыта струпьями и очистилась только после прорезывания зубов. Влияло ли это обстоятельство на мою раннюю впечатлительность и пугливо настроенное воображение — не знаю.

Не помню, с какого именно года моего младенчества,— кажется незадолго до того, как я стал учиться грамоте,— иногда в полусне я ощущал нечто такое, чего уже никогда потом в жизни моей не повторялось. Ощущение это невыразимо — это был страх и в то же время высочайшее наслаждение. Мне казалось, что какая-то сила связывает меня в какой-то студенистый узел и начинает меня вытягивать; тянет и тянет,— я становлюсь все тоньше и тоньше, боюсь, что вот-вот еще немного, и я оборвусь. Но при этом страхе и замирании сердца я тотчас же просыпался, покрытый по́том, и не понимал, что такое со мной происходило. Было ли это болезненным или нормальным ощущением? Оно было не часто, но постоянно одно и то же,— и, если не оши-

баюсь, позднее семи лет я не ощущал ничего подобного. Конечно, интересно знать, было ли с другими в детстве нечто похожее на то, что я сейчас рассказал, и рассказал впервые, ибо в то время я, ребенок, никому не мог передать того, чего я сам понять не мог.

V

Однажды мать моя очень была удивлена, когда я сказал ей, что помню белую карету, в которой возили меня к бабушке. Теперь я совершенно забыл о ней, но не забыл другой кареты — зеленой, четырехместной или скорее шестиместной — так она была объемиста. Запрягали ее цугом в четыре лошади, с форейтором, лазали в нее по трем откинутым, складным ступенькам; ступеньки эти, звякая, опускал и поднимал лакей в потертой ливрее и в большой треугольной шляпе,— лакей, который соскакивал с высоких запяток для того, чтобы отворить или захлопнуть каретную дверцу. Внутри карета была обита желтым сафьяном, кисти были шелковые, серые. Каждое воскресенье и каждый праздник карета эта появлялась у нас на дворе, около десяти часов утра и ожидала нас. Если была зима — меня закутывали, натягивали на ноги белые, лохматые, вязанные из пуху и шерсти, сапоги до колен, и вместе с другими возили меня к бабушке, у которой был собственный дом на углу Дворянской улицы. Когда я не хотел так тепло одеваться, мне говорили, что мои ножные пальцы были уже отморожены. Я этого не помню, помню только, что они иногда очень пухли, очень зудели и что их мазали каким-то жиром.

VI

Бабушка моя была урожденная Умская, одна из побочных дочерей графа Разумовского (какого, не знаю). Звали ее Александрой Богдановной (это не значит, что отец ее был Богдан). Одиннадцати или двенадцати лет вышла она замуж за Якова Осиповича Кафтырева, родного племянника генерал-аншефа Петра Олица, лифляндского помещика и рыцаря, в юности участвовавшего в чесменском бою и силача необыкновенного. О его силе рассказывали мне вещи невероятные: рассказывали, будто бы этот Олиц мало того, что мог через кровлю сарая перебрасывать двухпудовые гири, мог, втыкая свои пальцы в дула солдатских ружей и вытянув

руки, поднимать их и на отвесе горизонтально держать и даже качать их. Рассказывали, что никогда он не бывал болен и умер только потому, что, упавши с лошади, о камень разбил свою грудь. Деда своего я уже в живых не застал, но видел портрет его, в мундире с красными отворотами и с напудренной косой, с черным, должно быть, тафтяным, подвязанным под нее мешочком. Слышал я, что в молодости он был у дяди своего адъютантом и играл на флейте (складную флейту его я видел в старой кладовой). Умер же он в чине действительного статского советника, состоя на службе советником или председателем какой-то рязанской палаты.

Дед мой и жена его были очень богаты, но разорил их процесс с племянником Федором Михайловичем Тургеневым, по поводу села Хамбушева, принадлежавшего брату моей бабушки. Братец этот занял у сестры 100 000 с тем, чтобы завещать ей все свое состояние. Состояние это оттягал Тургенев, подсунувши Умскому другое, им самим составленное завещание, предварительно напоив его и подкупив его любовницу. Процесс этот длился около двадцати лет и кончился тем, что на сенатском докладе этого дела Александр I сделал надпись: «Кафтырев прав по совести, а Тургенев — по закону». Закон перетянул, и благосостояние Кафтыревых было значительно поколеблено. Род же Кафтыревых происходит от татарского мирзы, когда-то владетельного хана Кафы,— теперешней Феодосии. Вероятно, хан этот взят был в плен еще при царе Борисе, обжился в Москве, принял православие и записан в разрядной дворянской книге под фамилией Кафтырева.

У бабушки моей было восемнадцать человек детей, но большая часть из них умерла от оспы; не без следов на лице ускользнули от оспы и остались в живых: сыновья — Димитрий и Александр Яковлевичи и пять дочерей: Вера, Анна, Наталья, Евлампия и Ольга. Из них две первых не были замужем — Наталья была замужем за отцом моим, Петром Григорьевичем Полонским, Евлампия — за Т. П. Плюсковым, Ольга за Панкратьевым. У Натальи Яковлевны Полонской я был старшим сыном; через год родился брат мой Дмитрий, через два года брат Григорий, через три года Александр. Затем был еще Николай (умерший в младенчестве), затем Петр, Павел и дочь Александра. Кажется, довольно и этого, чтоб в кратких словах очертить мое происхождение и упомянуть о моих братьях, которые позднее будут играть не малую роль в моих воспоминаниях.

VII

Когда всех нас привозили в дом бабушки, я шел с ней здороваться в ее спальную, которой она уже не покидала ни днем ни ночью. Широкая двухспальная кровать старухи стояла в нише и была занавешена белыми занавесками, обшитыми бахромой,— и когда она не спала, обе занавески были откинуты, образуя над головой ее род палатки. Весь день, перед столиком, сидела она на кровати, опустив ноги на скамеечку. На ее столике помню я то старый часослов, то хлопушку от мух, то несколько блюдечек с мелкими камешками, по большей части находимыми в утином желудке. Все эти камешки бабушка моя любила сортировать по их величине и цвету, и каждый сорт всыпала в особенный, ею надписываемый, мешочек. Для чего она это делала? Мечтала ли она, что из этих камешков можно будет сделать мозаику или облепить стенки небольшого баульчика? Не знаю. Иногда для меня, ее любимого внука, на этом столике появлялась китайская штучка, которую я называл «чашечка в чашечку»,— и действительно, вся штука состояла в том, что в одну чашку вкладывалась другая, в другую третья и так далее. Это была неподдельная и очень старинная китайская вещица. Таких китайских вещей у бабушки были целые сундуки. Они достались ей тоже от какого-то брата, состоявшего при посольстве в Китае. (Вообще при Екатерине II все Умские были в большом почете, все были богаты и на виду.) Иногда же совершенно другой сюрприз готовила нам эта бабушка: она нанизывала на нитки в разные цвета крашенный горох и эти длинные бусы дарила нам.

Однажды, получив такой подарок, я ушел в залу и стал кружиться; нитка с горохом вертелась кругом меня колесом, а я был точно ось пущенной в ход вертушки. Мне очень понравилось такое быстрое на одном месте кружение; меня стали останавливать — я не слушался; но бабушка меня не останавливала, она сказала только, что от такого кружения у меня мозги вытекут. Я испугался за свои мозги и присмирел, даже руками не раз щупал голову — нет ли трещины и целы ли мозги! Целый день меня тревожили слова бабушки: я им верил; ибо в те счастливые годы я всему верил, что бы ни сказали мне.

Деревянный дом моей бабушки (до ее кончины) в наше время показался бы чем-то вроде антика или чем-то вроде любопытной редкости (если бы такие дома можно было хранить за стеклом в музеях со всеми их обывателями или

хоть с чучелами из этих обывателей). Не успела умереть бабушка, как уже все в этом доме изменилось, и дом потерял уже первобытный характер свой; и теперь (я видел его в 1881 году, в мой приезд в Рязань) он был снаружи почти такой же, но уже с пристройкой сеней, выходящих на улицу. Сада же, который увидал я с бывшего моста (теперь насыпанного вала, близ гимназии, по Воскресенской улице) я совсем не узнал, в таком он запущении. Там, где были высокие старые липы и куртины с яблонями, грушами и вишневыми деревьями, стояла какая-то изба посреди гряд с капустой; где были цветники и непролазные кусты малины — там на веревках было белье развешано. Так все меняется, и, к сожалению, не всегда к лучшему.

Постараюсь пером моим заменить музей и показать вам дом моей бабушки со всеми его жильцами и деталями.

Через деревянное крыльцо и небольшие, зимой холодные, а летом пыльные сени направо была дверь в переднюю. Эта передняя была полна лакеями. Тут был и Логин, с серьгою в ухе, бывший парикмахер, когда-то выучивший меня плести ягдташи, и Федька-сапожник, и высокий рябой Матвей, и камердинер дяди моего, Павел. И эта передняя была отчасти их спальней, отчасти мастерской, так как все они более или менее были башмачники и сапожники. Тут вечно пахло сапожным варом, клоповником, ваксой, салом... Ко всему этому все принюхались, никто не находил это странным, тем более, что такие же точно передние были во многих барских домах, в особенности в деревенских усадьбах у старосветских помещиков. Из передней шла дверь в небольшую залу. В этой зале вся семья и мы по праздникам обедали и ужинали. Обедали в час пополудни, ужинали в девять часов вечера. Пол в этой зале был некрашеный; потолок обит холстом, выкрашенным в белую краску; посредине висела люстра из хрусталиков, а пыльная холстина местами отставала от потолка и казалась неплотно прибитым и выпятившимся книзу парусом.

Стены были оклеены обоями, из-под которых, по местам, живописно выглядывали узоры старых обоев (что мне особенно нравилось).

Во время обеда и ужина за моим дядей и за каждой из моих теток стояло навытяжку по лакею с тарелкой, а вдоль стены с окном на двор от самого угла стояли кадки с целой рощей померанцев, лимонов и лавров. В особенности памятно мне круглое, лавровое деревцо, которое было на аршин выше моей головы. Эти деревья, перенесенные когда-то из старой, развалившейся оранжереи, мне потому па-

мятны, что зимой по вечерам я за ними прятался, так что в зале, освещенной только одною масляною стенною лампой, меня не было видно.

В гостиной на полу лежал тканый ковер с широкой каймой, на которой узор изображал каких-то белых гусей с приподнятыми крыльями, вперемежку с желтыми лирами. Зеркальная рама в простенках между окошек, кресла, овальный стол перед диваном и самый диван — все было довольно массивно и из цельного красного дерева, одни только клавикорды не казались массивными. В одном углу стояли английские столовые часы с курантами или молоточками, которые каждый час перед боем ударяли в металлические чаши разной величины и звонко играли старинные менуэты; в другом углу была изразцовая печь с карнизом, на котором стояло два китайских, из белого фарфора, болванчика; под этими болванчиками ставили иногда курительные свечки (монашенки), и тогда от них очень хорошо пахло.

За гостиной шли двери с маленькою прорезной дырочкой, в которую из спальной можно было подглядывать, кто приехал и кто вошел в гостиную.

Спальная бабушки была постоянно сумрачна, так как два низких окна, выходившие на улицу, вечно были завешены спущенными гардинами, зато мягко было ступать, пол был обит войлоком и грубым зеленым сукном. Прямо против двери висели портреты моего деда и моей бабушки, еще далеко не такой старой, в тюлевом чепце, завязанном у подбородка лиловыми лентами, в турецкой шали, и, если не ошибаюсь, с ридикюлем в руке. Тут было немало комодов и сундуков, прикрытых коврами; налево была кровать, помещавшаяся в нише с задней дверкою; с одной стороны этой ниши шел проход в девичью и темное пространство по другую сторону ниши, до самого потолка заваленное сундуками, сундучками, коробками, мешками и, если не ошибаюсь, запасными перинами. Тут же за дверкой прямо с постели можно было спускаться на пол. У прохода в девичью постоянно на полу или на низенькой скамеечке, с чулком в руке, сидела босая девчонка. В те времена такие девчонки у барынь играли роль электрического звонка, проведенного в кухню или людскую, их посылали звать кого нужно. Помню, незадолго до смерти бабушки, в этом проходе появилась новая, привезенная из деревни девочка, Вера, красивая голубоглазая блондинка, и с таким благородным, задумчивым личиком, что я, шести лет, уже был не совсем равнодушен к ней. (Она жила не долго и умерла в заутреню в первый день пасхи.)

Из девичьей шла дверь в небольшие сени с лестницей на чердак, на заднее крыльцо, и холодное зимой, насквозь промороженное господское отделение. В тех же сенях была постоянно запертая дверь в пристройку, где была кладовая.

Девичья была что-то невероятное для нашего времени. Вся она была разделена на углы; почти что в каждом угле были образа и лампадки, сундуки, складные войлоки и подушки. Тут жила и Лизавета, впоследствии любовница моего дяди, и горничная тетки Веры Яковлевны — Мавра, и горничная тетки Анны Яковлевны — Прасковья, и та, которая постоянно на заднем крыльце ставила самовар и чадила — Афимья, и еще какое-то странное существо, нечто вроде Квазимодо в юбке [5], эта в доме не имела никакого дела, ее никто не звал, никто не заставлял работать, это был урод,— какой-то обрубок с большой головой, с глазами навыкате, с толстыми губами, с опухлыми и как бы отекшими пальцами. Она никогда почти ни с кем не говорила, никогда не смеялась и не плакала, только тяжело дышала, ворочалась и копалась в голове своей; как ее звали — не помню. Ночью, проходя по этой девичьей, легко было наступить на кого-нибудь. Все спали на полу, на постланных войлоках. Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна — высокая, строгая и богомольная, нянька моей матери, и наши няньки и лакеи — все спали на войлоках, разостланных если не на полу, то на ларе или на сундуке.

Из девичьей налево шел коридор, из которого шли три двери: в комнату, к моим теткам, в кабинет, к моему дяде, и в залу, не считая двери в небольшой чуланчик, куда Константиновна ставила горшки свои и где лежали поломанные вещи очень старого происхождения. Тетки спали в кроватях под белыми занавесками, Константиновна на полу; со стен глядели портреты моего прадеда, моей прабабки и родного дяди моего, дяди Петра Олица. Кроме этого последнего портрета, писанного в 1772 году, который до сих пор в синей ленте, с тростью в руке, глядит на меня, и, как кажется, глядит довольно доброжелательно, все остальные портреты сгорели в Рязани, в конце 70-х годов, в квартире двоюродных сестер моих Плюсковых. Так никогда уже больше не увижу я моих предков, которых глаза были так живо написаны, что в детстве они смущали меня, ибо следили за мной, куда бы я ни шел в их присутствии.

Но кабинет дяди Александра Яковлевича, часто по целым месяцам запертый в его отсутствие, был для меня самая знаменитейшая, самая поучительная комната. Когда

я подрос и уже умел читать, я часто выпрашивал ключик от дверей этого кабинета, там выбирал себе любую книгу и читал, забравшись с ногами на диван. Весь этот кабинет был и музей и библиотека. Слева от входа во всю стену стоял шкап в два этажа с откидной доской посередине. За стеклами было множество книг, а на нижней полке, на горке, лежали медали, древние монеты, минералы, раковины, печати, куски кораллов и проч. и проч.

По обеим сторонам этого шкапа с передвижными со стеклами дверками висели шведские ружья, персидский в зеленых ножнах кинжал, китайские ножи, старинные пистолеты, шпаги, чубуки, ягдташи и патронташи. Горка между двух окон, выходящих на двор, тоже была уставлена китайскими вещами и редкостями, а на комоде была целая гора переводных романов Ратклиф, Дюкредюминеля, Лафонтена, Мадам Жанлис [6], Вальтер Скотта и других. На перегородке, за которой спал мой дядя, висели планы столичных городов, рисунок первого появившегося на свете парохода и копии с разных старинных картин (небольшого размера) голландской школы, переведенные на стекло и сзади раскрашенные. Картина масляными красками была только одна над входной дверью, изображала она лисицу, которая тащит петуха; был ли это оригинал или искусная копия — не знаю.

В этом же кабинете помню я воздушное огниво и огниво в виде пистолета на ножках. Дядя мой постоянно курил трубку, носил при себе трут и кремень. Запах трута особенно мне памятен; теперешние спички пахнут фосфором и постоянно напоминают мне, что время огнива и трута также кануло в вечность, как и мое младенчество.

По ту сторону ворот тянулась изба с двумя крыльцами — там была кухня. Кушанья к столу носили через двор. Там жили дворецкий с женой, жена Логина с дочерьми, жена Павла с дочерьми, повар, кучер, форейтор, садовник, птичница и другие. Редко бывал я в этой избе; но все же бывал, и помню, как я пробирался там мимо перегородок и цветных занавесок. Сколько было всех дворовых у моей бабушки — не помню, но полагаю, что вместе с девчонками, пастухом и косцами, которые приходили из деревень, не менее шестидесяти человек. И все это надо было кормить и одевать... что все было... жалованья не получал никто, даже никто и не воображал себе, что можно получать какое-то жалованье!

Вот тот дом, где я в детстве проводил каждое воскресенье. Мама моя была очень любима своими сестрами

и охотно посещала их и старуху мать не только по воскресеньям, но иногда и в будни.

В этот же день возили меня слушать всенощную, молебны, а когда я подрос и стал говеть, часы и вечерню, так как бабушка моя уже в церковь не выезжала, а призывала приходских священников. Накануне больших праздников весь дом с вечера наполнялся запахом ладана, везде у образов горели свечи и лампадки, а образов было так много, что на страстной неделе в комнату теток вносили длинный стол, на котором и они сами, и их горничные снимали с образов серебряные ризы, мыли их и с помощью щеточек чистили их толченым мелом. Помню, какое это было продолжительное, хлопотливое и лично для меня приятное занятие.

Кроме дворовых бывали в доме и приживалки. Помню одну старуху, которая помещалась как бы на полатях, в каком-то отверстии над дверью комнаты моих теток. Не было ли это помещение, на которое лазили из коридора и которое было открыто и видно из комнаты? Смутно я помню эту старуху, сидящую наверху и расчесывающую свои волосы большим деревянным гребнем, каким лен расчесывают перед тем, как начинают прясть нитки. Помню, что она заваривала чай у себя в горшочке и пила его с медом. Но другая старуха, у которой была своя, покривившаяся, с дырявой крышей, хатка посреди города на углу Воскресенской и Введенской улиц, старуха, которая приходила только гостить на два, на три дня,— не раз занимала мое ребяческое воображение тем, что рассказывала мне, как она умирала, три дня была в царствии небесном, видела бесов, рай, престолы, богородицу, ангелов и как ей было сказано три слова с тем, чтобы она никому в жизни не поверила их, никому не поведала, и как она через три дня воскресла. Кто-то мне говорил, что старуха эта, действительно, обмирала, то есть около трех суток лежала в обмороке.

Если вы спросите меня, как я относился к такого рода рассказам,— вместо ответа на этот вопрос я вам только скажу одно, что когда была гроза и я в окно ночью смотрел на молнию, я воображал, что это трескается свод неба и что сквозь эту трещинку на одно мгновение просвечивает царствие божие,— и было очень мне досадно, что в эту мгновенно появляющуюся и закрывающуюся трещинку я никак, никак не мог разглядеть ни рая, ни ангелов. А чтоб пояснить вам, почему мне тогда приходили в голову такие фантазии, скажу вам, что в нашем доме о законах природы никто ни разу мне не говорил. Бабушка, тетки, а может быть, и мать моя о физике не имели никакого понятия. Отец мой был тоже

человек малообразованный. Дядя, конечно, был просвещеннее всех, но, вернувшись из Петербурга, он учил меня ползать, сам ползал со мной по ковру, хохотал, сочинял мне песни на языке, им самим выдуманном и нигде не существующем, иногда потчевал меня конфектой или пряником и никогда ни о чем не рассуждал. Старший брат его, Дмитрий Кафтырев, был еще просвещеннее; к сожалению, он в Рязань никогда не заглядывал, постоянно жил в Петербурге. Как жил — не знаю; знаю только, что издал две брошюры: одну о Сибири, другую о водяных путях сообщения в России, и один перевод из Вальтер Скотта, перевод прозаической поэмы: «Дева Локкатринского озера».

Бабушка моя получила свое воспитание, надо полагать, в конце царствования Елизаветы, то есть выучилась только читать и писать; у нее были целые тетради записанных ее рукою народных загадок. Почерк был старинный, крупный и наполовину славянскими буквами — так помню, буква «я» писалась так, как она печатается в Библии, на церковно-славянском языке.

Барыня она была характерная и своеобразная,— старая барыня старого века. То беседовала она с нищими, которые в лохмотьях и босиком приходили к ней в спальную; она помогала им, иногда лечила их. Припоминаю, как лечила она одну слепую старуху; дала ей кусок сахару и оловянную тарелку (?) и велела ей тереть эту тарелку куском сахара, и когда на тарелке покажется порошок, смочить его водой и прикладывать к больным глазам. От простуды и от ушибов давала какую-то женевскую мазь домашнего приготовления. Но это благодушие вовсе не мешало ей ворчать и ругательски ругать свою посыльную девчонку, если она уйдет не вовремя, или спутает нитки, или спустит спицу и не довяжет чулка. Кажется, она и на колени ее ставила... а впрочем, все это было так давно, что многого я не помню.

Из деревни Смолеевки (Рязанской губернии, Ряжского уезда), куда ездил хозяйничать дядя мой Александр Яковлевич, каждое лето пригоняли к бабушке на двор целое стадо баранов; из более отдаленных деревень — Лозынино, Костолыгино, Артемьево (Калязинского уезда, Тверской губернии), да еще из какой-то симбирской деревни не раз приезжали почтенные, лысые, бородатые старосты, привозили целые мешки пряников, пух, сушеные грибы, каленые орехи и холсты.

Иногда в пасмурной спальне моей бабушки заставал я такую сцену: на суконном полу лежали кучами свертки холста, между ними, поджавши ноги, с железным аршином

сидела Афимья и мерила каждый сверток, произнося вслух: один аршин, два аршина; помню, когда доходила она до тридцати, то говорила: двадцать десять, затем тридцать десять, сорок десять. Кто записывал счет, сама ли бабушка или одна из двух дочерей ее — не помню. Продавать холст или что бы то ни было из барского дома в то время сочли бы за великий срам, это бы означало крайнюю степень нужды или обнищанья. Ясно, что все, получаемое из деревень, а в том числе и холсты, большею частью раздавалось дворовым, ибо нужно же было чем-нибудь кормить и одевать такую ораву.

Вечерний чай пили мы после вечерен в пять часов пополудни (раньше, чем теперь мы садимся за обед). Когда, бывало, в гостиной, прозвонив менуэт свой, часы били десять, все говорили: «Ах, как поздно! Пора спать!» Едва ли даже и гости засиживались позднее десяти часов, так как оставаться ужинать в чужом доме не было в обыкновении. Только приживалки, заезжие родственники да холостяки бесприютные, сумевшие в доме стать на короткую ногу с хозяином, могли садиться за ужин.

Чай разливала Дарья, жена толстого и желтолицего дворецкого (самовар ставили на лежанку в комнате моих теток). Дарья же разливала и послеобеденный кофе. Она же была и кума моя (так как я еще в ребячестве крестил дочь ее). В качестве кумы, на масленице в прощеный день, она приносила мне фунт изюму или фунт фиников. Она же иногда в зимние вечера рассказывала мне такие сказки, что я помирал со смеху, и, наконец, она же, когда я был уже гимназистом, зазывала меня в свой чулан и там поила меня кофеем, моим любимым в то время напитком.

Нечего говорить, что как в доме бабушки, так и у нас соблюдались все посты и что в великий пост и на страстной неделе мы не видали ничего скоромного. «Какое обширное поле горшков!» — воскликнул однажды какой-то тогдашний остряк, увидавши обеденный стол, заставленный постным кушаньем. Горшков у нас было немного, но все же то были горшки, а не суповая чаша, сковороды, а не блюда. Мы не замечали в то время, чтоб от постной пищи подводило у нас животы или портились желудки, как это часто замечают теперешние постники... Но — что же мудреного! Во дни моего детства о подделках пищи никто не имел ни малейшего понятия. Химия еще не процветала, и у нас продавалось настоящее ореховое масло, настоящий мед, ничем не подмешанный, и квас был домашний, и колодезная вода была чиста, как кристалл. Святая неделя в доме бабушки проходи-

ла без всяких особенностей, только мы ездили к Кафтыревым чуть ли не ежедневно и вместе с детьми дворовых, в зале на разостланном ковре с лубка, согнутого в виде желоба, катали яйца; но святки сильно пахли стариной. Тогда в этой же самой зале, по вечерам, при свете двух сальных свечей и одной масляной стенной лампы, собиралась вся женская прислуга (кроме старух) и хором голосила подблюдные песни. Бабушка, сидя на своей постели, надушив одеколоном руки, раскладывала пасьянс. Моя мать, ее сестры и кто-нибудь из гостей играли в бостон в гостиной, где на овальном столе стояло варенье, пастила, моченые яблоки, брусника и всякого рода сласти. Из залы я перебегал в гостиную, из гостиной в залу. От варенья — к святочным песням; каждая песня заканчивалась припевом:

Кому вынется, тому сбудется.
Сла-а-а-а-ва!!

При этом, соблюдая очередь, подносили и мне тарелку, завязанную салфеткой и звякающую от встряхиванья; я протягивал руку и вынимал из-под салфетки чье-нибудь кольцо или ключик, чья была вещь, тому было и пророчество. И я нес эту вещь в гостиную или в спальную к бабушке и объявлял: вам вышло: «Уж как звал кот кошурку в печурку спать», или — вам вышло: «Уж как шел кузнец из кузницы». Иногда выходило, что моя восьмидесятилетняя бабушка непременно должна будет выйти замуж, и это нисколько не казалось мне смешным или диким! О том, когда можно или не можно жениться или выходить замуж, я не имел никакого понятия, думал иногда, что и меня, мальчугана, могут женить — чего доброго!

Когда проходили святки и зимние вечера начинались все еще с трех-четырех часов пополудни, не раз мне случалось в той же бабушкиной зале участвовать в хороводах, которые водили все собравшиеся туда дворовые. Иногда затевались воистину деревенские игры. Сколько раз, бывало, сидел я на полу вместе с Катьками, Машками и Николашками и вместе с ними тянул: «А мы просо сеяли, сеяли!», а другой ряд сидящих перебивал нас: «А мы просо вытопчем, вытопчем!»

Все это я очень любил и едва ли не все эти народные песни знал наизусть; но не странно ли: когда в доме бабушки случались свадьбы и в ушах моих раздавалось: «Виноград в саду растет» или иные песни, в которые, по обычаю, вплетали имена холостых людей или девиц — я затыкал уши, убегал и прятался. До того мне делалось противно и гадко,

что я не знал, куда деваться!.. Чем это объяснить? Вдумываясь в такую странность, можно подыскать только одно объяснение: вероятно, я верил, что если эти и свои и чужие девки, назло мне, упоминают в своих песнях мое имя, то этим явно изобличают свое намерение женить меня (!!!). А я мечтал уже о пустынножительстве, мечтал добиться святости и, быть может, в глубине души своей носил уже смутный облик того ангела, которому поверял я

И мысли, детскому доступные уму,
И сердцу детскому доступные желанья!

VIII

Вот каков тому шестьдесят лет был дом моей бабушки. От него веяло далекой стариной даже в то время. Каким бы антиком показался он в восьмидесятых годах нашего столетия, если бы каким-либо чудом можно было воссоздать его. Кто удостоил или удостоит прочтением первый том моего романа «Записки Сергея Чалыгина», тот заметит, как я много был обязан дому моей бабушки. Не ее ли дворовых, не исключая Логина с дочерьми и старухи Константиновны, целиком перенес я в иные условия — в другую, петербургскую обстановку.

Множество дворовых, когда-то окружавших наше детство, давало больше пищи для наблюдательности, больше времени на то, чтобы вглядываться или изучать их характеры, они не мелькали, как теперешняя прислуга с неизвестным прошлым и с нашим равнодушием к их будущей участи. Не с изучения ли крепостных дворовых началась натуральная школа нашей литературы... [7] Ведь то, что иногда скрывалось от старших, не скрывалось от глаз и ушей ребенка... Это или развращало и притупляло, или, напротив... учило создавать типы — вроде гоголевского Селифана, Осипа, Петрушки — или развивало, уча любить, страдать и ненавидеть.

Если мрачные стороны крепостничества не возмущали моего детства, то не потому ли, что дом моей бабушки и моя мать были как бы исключением — я же описываю такое раннее детство, когда не только мысль о рабстве, самое слово это не приходило мне в голову. Юность познакомила меня с нуждой и с тогдашними крепостными порядками и с вопиющими злоупотреблениями этих маленьких царьков, которые владели душами. Но я еще и не касаюсь моей юности — это совсем, совсем иная история! Не одна моя жизнь шла скачка-

ми; но не будь этих скачков, мы и не ушли бы от прошлого на такое расстояние, что если бы наши дети и отцы ожили — они не поняли бы нас... и, быть может, сами пожелали бы опять умереть, чтобы не слушать нас. Смею думать, что и для будущих поколений наша жизнь покажется непонятной и даже дикою... Таков прогресс... Если вырастет зло, то и добро настолько же вырастет, чтоб бороться с ним,— и арена для такой борьбы будет все шире и шире. Идеи так же цветут и дают плоды и семена, как и всякое растение. Но каков бы ни был плод, между ним и корнями, скрытыми под землей, даже сучьями и ветвями, будет великая разница. Такой прогресс неизбежен, хотя бы гениальный граф Л. Н. Толстой и отрицал его.

Но — вернусь к моим рязанским воспоминаниям.

Сколько раз мы ни нанимали в Рязани квартиры, мы за целый отдельный дом с садом платили в год не более ста рублей ассигнациями, то есть не более двадцати пяти рублей серебром. Вероятно, та же дешевизна дозволяла нам иметь свои сани и дрожки, своих лошадей и содержать около шести человек прислуги.

Жизнь наша была тихая и смирная. Мать моя была олицетворенная любовь и кротость. Я ни разу не слыхал от нее ни одного бранного слова. Прислуга ее не боялась. Только отец мой, Петр Григорьевич, высокий худощавый брюнет, был несколько сух сердцем и вспыльчив. Однажды при мне в девичью пришла Анна, жена кучера, и о чем-то стала назойливо спорить с моей матерью. Вдруг из спальни как вихрь вылетел мой отец в халате нараспашку и дал со всего размаху такую пощечину Анне, что та вылетела за дверь в сени и тотчас как бы стушевалась. Мать моя побледнела. Отец стал оправдываться. Это были едва ли не единственные побои, какие я видел в детстве.

Живо помню, как я, походивши по комнатам, отправился к себе в детскую и стал расспрашивать свою Матрену, что такое было и за что мой папенька прибил Анну? Но Матрена вместо ответа боязно указала мне на мою кроватку, завешенную пологом. Там, согнувшись в три погибели, спал или притворился спящим мой отец. Почему он на этот раз не пошел спать на свою постель, а забрался в мою — не знаю.

Мать моя страстно любила своего мужа, и даже няньки наши замечали, как она тосковала, когда он надолго уезжал от нас. Говорят, что les extrêmes se rencontrent *, и это едва ли не одна из тех житейских истин, которые подсказаны

---

* крайности сходятся (*фр.*).

долгим наблюдением и испытаниями, вынесенными сердцем.

Мать моя любила читать и читала все, что попадало ей под руку. Любила стихи и с ранних лет записывала тогдашние романсы, песни и стихотворения. Таких песен накопилось у ней не мало толстых тетрадей. Отец стихов не любил, и я думаю — имею основание думать,— не понимал их. Русская литература его не занимала. Если он с похвалой отзывался о Карамзине, Жуковском и Дмитриеве, то очевидно только потому, что у них был большой чин и что наши государи их жаловали [8]. Мать моя была со мной ласкова и предупредительна. Отец любил меня, но если бы мне вздумалось поцеловать его — непременно бы отстранил меня рукой и сказал: ступай! В одном невозможно было бы и врагу упрекнуть его — это в подкупности или во взятках. Он был честен до педантизма. Во время турецкой войны в начале царствования Николая I отец мой служил в провиантской комиссии, т. е. в интендантстве. Года два прожил он в Молдавии и на Дунае. Раз на него подали донос вел. кн. Константину Павловичу. Тот сгоряча велел сказать моему отцу, что он завтра его повесит. Выслушавши это, отец мой преспокойно лег спать: он был уверен, что на другой день он будет оправдан, ибо все счеты были верны и ни копейки не было украдено или утрачено. Вернувшись в Рязань к жене, он привез ей в подарок турецкую шаль, турецкий чубук для моего дяди, мне детское тульское ружье, две каких-то литографии и пустой кошелек.

Родился он в Малороссии. Отец его был отставной казацкий капитан и обитал в своей собственной хате в городе Нежине. Вот что я, между прочим, читаю в копии одной бумаги, выданной отцу моему от Рязанского дворянского депутатского собрания в 1834 году, августа 24 дня.

«Дворянские депутаты рассматривали предъявленные при прошении от титулярного советника Петра Григорьевича сына Полонского подлинную грамоту, данную в октябре месяце 1796 г. из Новгородско-Северского депутатского собрания отцу его, дворянину, Григорию Иосифову сыну Полонскому, две копии за свидетельством — первую из малороссийского Черниговского дворянского депутатского собрания 1807 года июля 12-го, с определения, последовавшего о внесении рода его в дворянскую родословную книгу,— а вторую со списка формулярного о службе его, просителя, за подписанием правителя канцелярии г. рязанского генерал-губернатора, по коим просит написать его в ту же часть дворянской родословной здешней губернии книги», и т. д. и т. д.

Период без запятых так длинен, что, выписывая его, я не вижу ему конца и должен ограничиться этим извлечением.

Что же мудреного, что, родившись в уездном городишке Нежине, в конце прошлого века, отец мой не мог получить никакого образования, не знал ни одного европейского языка. Неизвестно, где выучился он читать и писать красивым почерком. Между тогдашними сослуживцами он не был, однако же, из числа последних по своему развитию, напротив, считался между ними человеком весьма грамотным и всякое дело смекающим. Как попал отец мой на службу в Рязань, после того как он с 1808 г., января 25-го, служил в *разных местах*, тоже неизвестно, да я думаю, и неинтересно.

Заключаю из герба нашего, что предки моего деда были поляками, ибо описание его начинается такими словами (списываю с соблюдением тогдашней орфографии):

«В книге полской короны гербовника автора Нѣицкаго вътомѣ 3-мъ настраницѣ 65 напечатано тако... Имѣет быть нащитѣ в лазоревом полѣ зъвѣзда въ новомѣсечіи неполная въ верхъ рогами обращенная, въ срединѣ оной луны зъвѣзда о шести рогахъ, нашлемѣ павлинный хфостъ накоторомъ также луна какъ и нащиту...» и так далее.

Все это (и происхождение, и чины, и герб) было совершенно чуждо моему детскому миросозерцанию. Довольно бойкий и резвый мальчуган дома и в доме бабушки, я сторонился чужих, и помню, как я раз постыдно бежал из какого-то сада, куда, по приказанию матери, завела меня моя вечная спутница, Матрена. Только что увидел я там мать мою, окруженную хозяйкою и гостями, только что в глазах моих запестрели их платья и зонтики, я сначала уперся, а потом повернул назад, и уже никто бы не уговорил меня вернуться к той скамье, где сидело дамское общество и где, как кажется, кто-то варил варенье. Я помню, что до самых ворот дома нашего нянька не переставала за такую трусость стыдить меня.

С моей матерью была в приятельских отношениях одна барыня и помещица, постоянно живущая в своей усадьбе, где-то недалеко от Рязани,— Варвара Михайловна Леонова. У ней была большая семья, большой дом, барский сад и даже фортепиано, под аккомпанемент которого когда-то пели: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» или «В небе чисто, в небе ясно, в небе звездочка горит»...

Леонова часто за покупками ездила в Рязань и с большим своим ридикюлем постоянно заезжала к моей матери.

К ней я настолько привык, что не противился, когда мать моя раза два в лето, собравшись в деревню к Леоновым, брала меня с собой и, разумеется, не одного, а с Матреной. У Леоновых я сошелся с каким-то мальчиком, может быть, с меньшим сыном самой Варвары Михайловны. После обеда в саду мы оба стали сажать в грядку (подле самого фундамента дома нами вырытую) какой-то кустик. Грядка эта разрыхленная и с комьями почему-то сильно мне не нравилась.

Не успевал мальчик уходить за чем-нибудь, за водой или за граблями, как я тотчас же ее приминал ногами, искусно лавируя, чтоб не задеть посаженного кустика. Мальчик сердился и опять разрыхлял грядку, а я опять ее сверху притаптывал. Кончилось тем, что мальчик при мне пожаловался на меня какой-то хорошенькой барышне, с зелеными лентами, до пояса перекрещенными спереди и сзади. Вероятно, это была старшая его сестрица. Сестрица эта не сказала мне ни слова, только поглядела на меня, но в этом взгляде я прочел: ишь, скверный мальчишка! Это он назло так делает!..

По чистой совести я делал это не назло, а просто потому, что притоптанную грядку находил гораздо красивее. Слезы навернулись у меня на глазах, я подбежал к няньке и сказал: уйдем! И пошли мы по какой-то уединенной аллее, усеянной желтыми, осенними листьями, дошли до изгороди и остановились. День был серенький, тихий и теплый. За изгородью шло неровное, волнистое поле, кой-где чернелись кусты и зеленели верхушки березовой рощицы. Пахло сеном и смолой. За кустами пестрело медленно подвигающееся стадо, и где-то недалеко звучала пастушеская свирель.

Весь этот пейзаж давно бы исчез из моей памяти, если бы не эта свирель. Вот с тех пор прошло с лишком шестьдесят лет, почти что целая жизнь прошла; сколько впечатлений прожито, сколько дум передумано, сколько горя переиспытано, а звук этой свирели до сих пор говорит душе моей. Что говорит? Не знаю... может быть, просто напоминает мне мою детскую восприимчивость и подсказывает мне: твое «я» и теперь все то же! Не верь тем мудрецам, которые говорят тебе, что твое «я» изменилось, что оно может меняться и даже двоиться. Не верь, это нелепость! Окружность может и увеличиваться, и неправильно расширяться, и получать иную окраску,— будет меняться длина радиусов, но центр их всегда останется один и тот же, а к этому-то центру всего ближе те далекие впечатления, которые наполняли собой первую очерченную вокруг него линию. Вот почему они так

ясны и так памятны. Круговая линия твоей жизни так расширилась, так стали длинны радиусы и так далеко ушли от этого «я», от этого центра, что все разглядеть и все запомнить ему нет уже никакой возможности. Вот почему все, что было в детстве, для тебя ближе и памятнее, чем то, что было на прошлой неделе.

IX

В наши дни, когда какие-нибудь жонглеры посещают провинциальный город, о дне и месте их представления афиши разносят по домам почтальоны или нанятые посыльные; в дни моего детства афиши эти развозились и разбрасывались по городу самими жонглерами.

Помню, раз летом, мы сидели за обедом, как вдруг на улице зазвучали трубы и послышался топот коней. Я бросился к окну, и никогда не забуду того впечатления, которое вынес я при виде каких-то фантастических рыцарей в шлемах, с развевающимися перьями и гордо едущих на статных лошадях с побрякивающими уздечками, красивых женщин в трико телесного цвета, в одежде каких-то богинь, с венчиками на головах, и амура с колчаном и подвязанными крыльями на маленькой лошадке. Передо мной тихим шагом верхом и на дамских седлах ехали не то люди, не то полубоги. Едва ли я могу передать вам то чувство, ныне мне уже непонятное, с каким я глядел на это зрелище. Так как звуки трубы или рога заставляли дворовых выбегать за ворота, то клоун в колпаке с погремушками подъезжал к воротам, протягивал руку и передавал афишку кому-нибудь из дворовых. Сопровождаемые мальчишками, заезжие гости проезжали и заворачивали в другую улицу. Афишки переходили от людей к господам, разглядывались, прочитывались и, если на них были оттиснуты какие-нибудь лубочные рисунки, нередко судьба предназначала им красоваться на крышке внутри какого-нибудь сундука крепостного рядом с узорным кружком от помадной банки.

Такие появления жонглеров, конечно, были не часты. Мне кажется, в детстве не более двух раз я видел их. Затем они исчезли. Я слышал, что появление их на улицах, по жалобе какого-то архиерея, было запрещено в начале царствования Николая, и, вероятно, было запрещено по причине якобы соблазна и дурного влияния на народ. Но русский народ искони привык наряжаться на святках, и появление

ряженых едва ли могло смущать его; даже наши суеверные старухи смотрели на это, как на обычай заезжих скоморохов, смотрели, не крестясь от дьявольского наваждения и не отплевываясь. А на детей, ничего не видавших, кроме физиономии дворовых с прорванными локтями, кроме полупьяных приказных во фризовых шинелях, да кроме пузатых кучеров,— такое зрелище, несомненно, было первым толчком к развитию эстетического чувства.

Забегу немного вперед, чтоб не возвращаться к жонглерам. Я уже был несколько старше, когда меня привели на какой-то двор, уставленный скамьями и стульями перед ареной, загороженной досками, и увидал я скачку на лошадях, прыжки через обручи, пляску на канате под музыку (полковую), лазанье на шесты и богатырскую игру с чугунными пудовыми гирями. Мерная, самоуверенная, в высшей степени пластически-красивая пляска на натянутом канате, похожая на полет, на подъем, и легкое прикосновение к канату мускульного и в то же время как бы воздушного тела — производили во мне невыразимо радостное удивление. Как ребенок, я даже и вообразить себе не мог, что эти женщины, эти мужчины и этот ребенок были такие же люди, как и мы. Все они, думал я, появились из каких-то неведомых мне прекрасных стран, и, в доказательство, в какой степени было сильно мое впечатление, я скажу одно: я до сих пор помню, как звали того, кто плясал на канате,— фамилия его была Дункель. Мало того, когда, год спустя, я услыхал, что Дункеля и его семью где-то на дороге ограбили и чуть ли не убили, я так сокрушался, как будто это были мне родные, близкие люди!..

Прозаической, закулисной часто неприглядной стороны всех этих представлений я, конечно, даже и не подозревал. Замечу здесь только одно (я не помню, чтоб кто-нибудь сделал такое наблюдение): после всякого появления таких жонглеров в губернских и уездных городах в детях усиливается страсть к гимнастическим упражнениям, и иногда до такой степени, что это становится опасным. Был и такой случай, что, наглядевшись на ловкость жонглеров, один ребенок вздумал пройтись по балюстраде лестницы, упал и разбился... Лично на меня жонглеры произвели такое же впечатление: в саду между деревьями протянулась веревка, через которую я стал кувыркаться; только попытка ходить на руках, помню, не удавалась мне. А в простом народе я замечал иногда то, чего положительно я теперь уже не вижу. Это необыкновенно ловкое уменье после пляски вприсядку вылетать из комнаты колесом, то есть, расставив руки

и ноги, боком перекувыркиваться в воздухе, быстро опираясь в пол то пятками, то ладонями.

Такую пляску и такое вылетанье из комнаты колесом я видел на свадьбе старшей дочери хозяина нашей второй (памятной мне) квартиры в доме купца Гордеева. На этой свадьбе я был вместе с матерью. (Мы жили тогда на Воскресенской улице; наша семья в деревянном доме, хозяева в каменном двухэтажном флигеле с лестницею на двор.) Я с матерью сидел за парадным круглым столом, рядом с невестой. Стол был накрыт скатертью и уставлен всевозможными сластями, нам подавали чай, мед и обсахаренные крендели. У дверей толпа женщин орала свадебные песни; из передней, под звук балалайки, вылетали парни и девки; пол трещал под каблуками плясуна, который бил ими дробь, точно в барабан стучал, вертелся и приседал и под конец укатывался колесом в переднюю. Эту свадьбу я не забываю по двум причинам. Хозяйский сын, может быть, годом или двумя меня старше, увел меня в другую комнату и показал мне лубочное изображение какого-то страшного людоеда; этот людоед не скоро вышел у меня из головы — так он напугал меня. Свадьба же была нарушена быстро пробежавшим слухом, что где-то пожар. Все пришло в волнение. Все выскочили на крыльцо. Я тоже с матерью очутился на ступеньках лестницы. Помню холодноватую ночь и блеск зарева: на Симеоновском рынке, близ церкви Симеона Столпника, горела какая-то лавчонка. Звук набатного колокола доносился до нашего слуха. Церковь была недалеко и стояла на небольшом возвышении. Что было дальше — не помню.

X

Домик Гордеева, куда мы переехали, был не велик. Я помню только переднюю в виде коридорчика с дверью налево в девичью, направо — в детскую окнами на двор и затем в другую детскую окнами на улицу; прямо дверь в гостиную, из которой налево шла спальня моей матери, сообщающаяся с девичьей,— вот и все. Нас, детей, уже было четверо; на этой квартире, если не ошибаюсь, родилось еще двое: Александра и Николай.

Полагаю, что на этой квартире мы жили не менее четырех лет. Сначала я помню в ней моего отца и те большие листы, которые он по циркулю разлиневывал и потом в клетки что-то вписывал своим красивым мелким почерком; это была

служебная работа и производилась в гостиной на ломберном раскрытом столе.

При отце, помню, спал я у себя в детской в откидной шифоньерке. Моя кровать была похожа на шкап, который на ночь отпирался сверху и превращался в откидную постель на двух разгибающихся ножках. С этой постели помню я раз стоны и надтреснутый голос моего заболевшего брата Александра; помню, как он бредил, как прикладывали к икрам его табачные листы, намазанные медом, и как я за него молился. Мне уже был седьмой или восьмой год, и я знал наизусть кой-какие молитвы. С этой же постели, помню, я не раз вслушивался в шум проливного дождя и при блеске молнии боялся всемирного потопа. Няня Матрена сказывала мне, что я не раз сонный садился на кровать, размахивал руками и бормотал то «Отче наш», то «Богородицу», то с кем-то разговаривал. Если я и не был лунатиком, то весьма возможно, что полнолуние оказывало на меня некоторое влияние. Впрочем, я такой был нервный ребенок, что мог сонный привставать и сидеть на кровати и без всякого полнолуния.

Брат Александр, любимый мой брат, на этот раз выздоровел; самый же меньшой, Николай, умер. Я помню его белое с черными бровками младенческое личико с закрытыми глазами и пятнышками на опущенных мертвых веках с черными ресницами. Помню, как мне было жаль его и жаль его кормилицы, которую я выучил читать «Отче наш» и «Верую». Каким способом удалось мне это — не понимаю. Думаю, что деревенская безграмотная баба заучивала в день не более двух-трех слов и что ученье продолжалось целые месяцы не столько по моей, сколько по ее собственной охоте. Я же в этот блаженный период моей жизни сам в молитвах многого не понимал; так, например, слово «чаю» постоянно вводило меня в искушение; что такое «чаю»? Какой тут может быть «чай»?! В последний год нашего житья у Гордеева я уже не помню присутствия моего отца. После турецкой войны [9] он получил место в интендантстве и уехал в Динабург. Помню же я это потому, что спал уже не в своей откидной шифоньерке, а рядом с матерью на ее широкой двухспальной кровати из красного дерева с столбиками и точеными шариками по углам.

Тут я помню, как в зимние долгие вечера я, лежа, дожидался своей матери, уехавшей к сестрам, то есть в дом к моей бабушке, как прислушивался, не скрипят ли полозья, не отворяют ли ворот. Помню, как мать моя, по обыкновению, долго не спала и при свете одной сальной свечи на постели читала романы из библиотеки моего дяди. Раз

я упросил ее читать вслух и выслушал с большим вниманием какое-то приключение в замке с подземельями у каких-то рыцарей. Мозг мой долго потом работал, и образы не давали мне спать.

Тут я должен вспомнить и один мой дурной, некрасивый поступок, который, я, конечно, мог бы и скрыть, если бы не решился ничего не скрывать из того, что я вспомню.

Раз перед какими-то праздниками, может быть, перед рождеством, я лег спать. Мне не спалось; мать лежала рядом и читала... Вдруг за дверью я услыхал голоса нашей женской прислуги, а в их числе и голос моей няньки, плеск льющейся воды и вообще что-то не совсем обычное. Несомненно, что наша девичья с позволения моей матери в этот вечер была превращена в баню (там же была и печь, а может быть, и котел с горячею водою). Я смутно вообразил себе, что там купаются; меня взяло любопытство. Я попросился у матери выйти в коридор и босиком через гостиную прошел в переднюю. Затем я быстро растворил дверь в девичью и увидел залитой водою пол... Няньки подняли крик... Я поглядел на них, засмеялся и пошел обратно через гостиную в спальную...

Помню, как это неприятно подействовало на мать мою. Она сделала мне выговор, но не сердилась. Я чувствовал только, что я чем-то огорчил ее, но, признаться сказать, мне вовсе не было стыдно. Я был так еще невинен в глубине души своей, что это смешное зрелище не имело для меня никакого влияния. В эти года я не имел ни малейшего понятия о том, о чем грезят взрослые отроки или безусые юноши, наслушавшиеся всего от своих школьных товарищей. Я в этом поступке своем видел только повод для себя дразнить мою Матрену и Дуню, няньку моего брата Мити, дразнить тем, что я видел их... и я дразнил их, и они меня стыдили и в то же время фыркали от смеха.

Не знаю, было ли бы лучше, если бы за это детское озорничество меня прибили или высекли. Я бы тогда, конечно, вообразил себе, что я совершил какое-то великое преступление, и стал бы допытываться, ломать себе голову — в чем же состоит это преступление? почему няньки могут нас раздевать и мыть нас в бане, а мы не можем смотреть, как они сами моются? Думаю, что мать моя поступила очень хорошо, удовлетворившись легким выговором и ничем не смутив моей совести. Она глубоко верила моей невинности, а стало быть, и поступок мой приписала только неуместному детскому любопытству.

Едва ли это был не единственный исключительный

случай. Да и зачем это было нужно, когда в Рязани я не помню ни одной квартиры без саду и бани. Не произошло ли это оттого, что баня была уже кем-нибудь занята или оттого, что у нас не хватило дров натопить ее?

XI

Не могу забыть и не могу не смеяться, что даже в те младенческие годы всякая женская красота или даже миловидность производила на меня особенное впечатление, как бы влекла к себе. Конечно, это не была любовь,— это было только инстинктивное, изменчивое, и неустойчивое влечение... Маша, меньшая дочка нашего хозяина, наивная девочка лет девяти, невольно привлекала меня своей резвой и шаловливой миловидностью. Я бегал с ней по саду и только при ней позволял себе ходить на верхнюю дорожку, где нам, жильцам, по условию с хозяином, гулять не позволялось. Дорожка эта для детей была очень соблазнительна: там густо росли малина, вишни и красная смородина. Все лето одна ягода заменяла другую, и, чтоб не рвать их мимоходом, нужна была большая сдержанность... Все здоровые дети — большие сластены, но не все так влюбчивы или привязчивы. В хозяйский сад мы могли проходить не иначе, как через сарай с сквозными воротами. В затворенных воротах, идущих в сад, была калитка с очень высоким порогом. В сарае стояли хозяйские и наши экипажи — дрожки и пошевни; там пахло сбруей, навозом и сеном и было летом прохладно и пасмурно. До сих пор помню, как я вдруг как-то затих и съежился, когда маленькая Маша перелезла через порог калитки, влезла ко мне в пошевни и нежилась на сене. Няньки смотрели на нас, как на детей, и мы не боялись их; но тятенька этой милой девочки был строг и, если б увидал ее у нас в сарае, ей бы непременно досталось.

В то наивно-блаженное время ни одна мечта моя не заходила дальше того, что видели глаза, а глаза видели бледное личико, как лен светло-русую косу, серые невинные глаза и улыбку с ямочками на подбородке.

Рос я не по годам, а по часам, но часто хворал; в особенности мучительны были головные боли. Иногда на ночь мне повязывали голову платком с мятым мякишем ржаного хлеба, слегка смоченного мятным квасом; иногда давали мне в воде какие-то *росные капли*. Случались и перемежающиеся лихорадки. Тогда еще не было придумано аптеками никаких облаток для хинина и прочих гадостей, никаких капсюлей,

и мне не раз хотелось оттолкнуть и разлить по часам предлагаемую мне горечь. При этом соблюдалась особенная диета: не позволялось есть ничего соленого, ничего копченого и ничего молочного, что еще больше располагало к худобе, и я был худ, как щепка.

Однажды, больной, днем, лежал я на постели моей матери. Мать сидела у окна и что-то шила; за высокой спинкой кровати мне было не видать ее. Я закрыл глаза и услыхал, что из девичьей в спальню прошла какая-то чужая старуха и, вероятно, вообразивши, что я сплю, стала полушепотом говорить моей матери: «Ох, матушка! Не хочется вас огорчать, а не жилец *он* у вас, не жилец на белом свете!.. Не долго ему остается на белом свете жить!..»

Я тотчас же понял, что речь идет обо мне, и сердце мое болезненно сжалось.

Когда незнакомая мне старушка ушла, я не вытерпел, повернулся и застонал, не от боли, а от прилива страха за жизнь свою.

Подошла мать; тотчас же смекнула, что я слышал весь разговор и что это меня встревожило. Не помню, что она говорила, вероятно, старалась утешить, тогда как я прощался с ней и повторял: знаю, что я скоро умру... знаю, знаю!

Этот случай укоренил во мне мою трусливую мнительность. Я стал преувеличивать свои недуги и иногда по целым часам находился в меланхолическом настроении. Помню, мне не хотелось думать о смерти, и я всячески старался чем-нибудь развлекать себя.

Раз у бабушки в доме летним вечером я вышел на переднее крыльцо, увидал лакеев и сидящего на ступеньках старого парикмахера Логина, страстного охотника читать старые романы и готового через каждые два-три месяца вновь перечитывать читанное, так как все им читанное совершенно вылетало из головы его.

Увидал я этого Логина и говорю ему: положи на ступеньку пальцы — я покажу тебе фокус. Он мне поверил и протянул два пальца. Я вдруг одной ногой наступил на них и перескочил с крыльца на двор. Дворовые захохотали. Мне тоже сделалось несколько веселее, и я стал прыгать и бегать по двору. Думал ли кто-нибудь в эту минуту, что я своим озорничеством лечил себя от мысли, что я чахну и что смерть у меня за спиной... Дескать, какая же тут смерть, когда я еще способен на такие глупые и резвые выходки! Но или Логин был терпелив, или я был довольно легок — не помню, чтоб он жаловался, что я отдавил ему пальцы. Помнится мне даже, что он сам смеялся. Ишь, дескать, молокосос, как он

меня надул — какую штуку выкинул! А подкладка этой штуки, повторяю, была мысль о смерти и желание ей назло подурачиться.

Единственный сынишка нашего хозяина — тот, который на свадьбе сестры своей пугал меня изображением людоеда, был по части мнительности диаметрально мне противоположен. Я боялся проглотить дробинку, попадающуюся в застреленной и поданной на стол дичи; а он ел все, что ему попадалось под руку: незрелые яблоки, мел, грифель; раз при мне откусил кусочек от плитки акварельной зеленой краски и стал грызть его, как бы презирая мои предостережения на счет ядовитости яри или зеленого цвета. Этот мальчик скоро умер — оттого ли, что все ел, или просто оттого, что был чахоточный. Его хоронили, когда я был уже гимназистом и жил в другой части города.

XII

Когда мне перевалило за семь лет, я уже умел читать и писать и читал все, что попадалось мне под руку. А попадались мне под руку все старые, иногда очень старые книги, в кожаных переплетах — с высохшими клопами между страниц. Издание времен Екатерины — комедии Плавильщикова [10], и особенно памятна «Русалка» — волшебное представление с превращениями и куплетами. Вот, если не ошибаюсь, начало одного куплета:

Мужчины на свете
Как мухи к нам льнут,
Имея в предмете,
Чтоб нас обмануть.

Иногда попадались и новые, по тому времени, издания, вроде «Достопамятностей России» (с картинками), и тогдашнее «Живописное обозрение» [11]. Первые, прочитанные мною, стихи уже побуждали меня подражать им. Чаще всего в тогдашних изданиях попадались стихи Карамзина и князя Долгорукова [12].

На стихи память у меня была отличная, восьми-девяти лет я знал уже наизусть лучшие басни Крылова, все сказки Дмитриева, монологи из комедий Княжнина [13] и кое-что из трагедий Озерова [14]. Читал я стихи вслух, и кому же? Моей няньке и всей безграмотной дворне, которая, как мне тогда казалось, слушала меня с большим удовольствием, даже ахала от удовольствия! Одна только богомольная няня моей

матери, старуха лет восьмидесяти — Константиновна, была так сурова, что не внимала мне.

Семилетний мальчик, я, конечно, должен был говеть, так как уже миновал официальный срок моего младенчества.

Говенье происходило в доме Кафтыревых. Там совершались все службы, кроме обеден. Мать моя рано утром ездила к своим сестрам слушать часы [15] и меня брала с собой. Однажды почему-то ей не захотелось будить меня, и она уехала одна. Когда я проснулся и узнал, что мать моя уже уехала, я плакал от такой обиды и долго не мог утешиться.

Но что читал дьячок, в церкви ли, в зале ли у бабушки — я ничего не понимал, кроме «Господи помилуй!». Это непонимание нисколько не мешало моему религиозному настроению, а это настроение не мешало лени стоять и ждать, скоро ли все кончится и скоро ли в гостиной я заберусь на диван с ногами или пойду в кабинет к дяде и буду смотреть, как он высекает огонь и закуривает свою большую пенковую трубку с волосяным чубуком, который гнется.

Когда я шел на исповедь, мне подсказывали грехи мои, так как я никак бы не мог сообразить, в чем именно я особенно грешен. Не помню, ездила ли моя бабушка причащаться в приходскую церковь (к Николе Дворянскому) или причащалась она дома, как старуха, которой было уже около восьмидесяти лет от роду.

Тогда казалось мне, что все всегда так было и всегда так будет, и в голову не приходило, что бабушка моя скоро,— прежде, чем мы переедем на другую квартиру, переселится в вечность, что я буду держать свечу на похоронах ее и что, когда ее поднимут в тяжелом гробу и понесут из залы, между дворовыми, столпившимися у дверей передней, поднимется такой вой и плач, что я побледнею и с ужасом убегу в пустую комнату моих теток, вместо того, чтоб участвовать в шествии за погребальной колесницей.

Припоминаю, что о смерти моей бабушки Александры Богдановны было как бы некое предсказание.

С Кафтыревыми, а равно и с моей матерью была очень дружна одна старушка, какая-то Екатерина Ивановна Гашевская, очень почтенная и добродетельная особа. Я не знаю о ее происхождении. Знаю только, что жила она одна на антресолях, в доме воскресенского диакона или священника. В деревянном доме, где жила она, летом у открытого окошка постоянно сидел кто-то в рясе и чай пил. Чтоб зайти к Гашевской, надо было из сеней (или из передней) подняться по очень узенькой и темной лестнице и, мимо сундуков и развешанных на стене салопов и капотов, пройти к ней в комнату,

и когда, после обедни, мы заходили к ней, она угощала нас кофеем, моим любимым тогда напитком, до такой степени любимым, что кума моя Дарья, зная мою слабость, иногда, подмигивая, заводила меня в свой чулан и там на сундуке поила меня кофеем... Но я боюсь увлечься в сторону и позабуду сказать, что эта самая Гашевская, незадолго до смерти моей бабушки, видела во сне, будто бы она стоит в церкви на панихиде и слышит, как диакон с амвона за упокой поминает имя новопреставленной боярыни Александры, потом — имя Екатерины и затем третье имя, которого она не хотела сказать ни моим теткам, ни моей матери. Сон этот действительно оказался пророческим: за смертью бабушки моей, Александры, последовала смерть самой Гашевской, Екатерины, и затем смерть моей матери, Натальи. Вот то третье имя, которое никому не хотела открыть Гашевская.

XIII

На похоронах моей бабушки были и новые для меня лица. Низенькая, кругленькая, черноглазая старушка Анна Васильевна Клементьева, жена только что прибывшего в Рязань нового почтмейстера, и ее племянница Анна Николаевна (фамилии не помню), молодая вдова, блондинка, веселая, милая и всегда к лицу одетая дамочка.

Еще при жизни бабушки Клементьевы раза два или три были у моих теток и затем стали приезжать к ним каждую неделю. Обе они, и старушка Клементьева, и ее племянница, были такие простые и сердечные, что сойтись с ними было немудрено. Они же и не аристократничали, как другие рязанские дамы, и не были такими чудачками, как, например, генеральша Анцыферова, у которой карета была похожа на Ноев ковчег [16], а лошади были такими заморенными клячами, что жалко было смотреть на них, когда она в большие праздники ездила по рязанской мостовой с визитами.

Я помню, как-то раз старушка Клементьева приехала к моим теткам в особенно веселом настроении духа. Она была в восторге от своего старика.

— Вообразите,— говорила она,— потребовал, чтоб ему подали Евангелие! вообразите!!

Чтоб понять радость старухи, надо заметить, что старик Клементьев почему-то считался вольтерианцем и что жена его постоянно сокрушалась при мысли, что муж ее безбожник. В то время достаточно было носить в уме своем сотую

долю того, что носит теперешняя молодежь, чтоб прослыть человеком погибшим, то есть безбожником.

Когда я говорю: «я помню», это не значит, что это случилось или говорилось непременно при мне; это просто значит, что такое составилось мнение и, так как я был любопытен, дошло до моего слуха и произвело такое впечатление, которое почему-то осталось... Припоминая о чем-либо, мне легко спутать говоренное при мне или выслушанное от других.

Когда я бывал у Клементьевых и когда из задней двери в залу выходил к нам высокий, сутулый, похожий на Державина старик, в длиннополом сюртуке или в чем-то похожем на халат, я глядел на него как на человека, которого сатана непременно утащит в ад, если он не покается. Суров и несловоохотлив был этот Клементьев. Его побаивались и жена и племянница; одна только внучка его, дочь Анны Николаевны, хорошенькая девятилетняя девочка, его любимица и баловница, не боялась его и, когда по вечерам сидел он, обложенный книгами, смело входила в его комнату. Эту девочку звали Наденькой, и эта девочка была моим идеалом. Насколько может быть влюблен ребенок, настолько я был влюблен в нее. И если я умел в юности моей танцевать,— я ей обязан этим уменьем. Только она да зависть, что меньшой брат мой и другие дети с ней танцуют, а я — нет, заставили меня преодолеть мое упорное намерение никогда не заниматься такими бесовскими делами, как танцы...

Когда в назначенные дни мать моя брала меня и брата к Клементьевым (жили они во втором этаже над почтой в казенной, почтамтской квартире), и там, под звуки скрипки, какая-то мадам, несомненно пожилая, отставная танцовщица, начинала ставить детей сначала в позицию, потом учила разным па, потом экосезу и вальсу, я сидел в углу и только смотрел исподлобья на такие упражнения.

Но если любовь когда-то погубила Трою [17], то что же мудреного, если она мало-помалу сломила мое упрямство.

Я тоже стал танцевать, только ради того, чтоб иметь право рукой своей прикасаться к руке этого воплощенного херувима с голубыми глазами и с золотистыми локонами.

После смерти моей бабушки мы какими-то судьбами очутились на другой квартире, хозяином которой был булочник, бывший крепостной моей бабушки, отпущенный ею на волю. У этого булочника (кажется, его звали Абрамом) были два дома: один каменный, двухэтажный, с лавкой внизу, на углу Астраханской и Введенской улицы, другой же деревянный и одноэтажный, которого фасад и крылечко,

с лесенкой направо и с лесенкой налево, выходил на Введенскую улицу. Задние окна этого дома из спальни глядели в сад, а из нашей детской на двор, на кухню и на задний фасад того дома, где обитал старый булочник с женой, с сыновьями и с дочерью Любой.

В этой квартире помню я себя сидящим и рисующим пылающее сердце, пронзенное стрелой. Рисую я на квадратном кусочке какой-то плотной бумаги, держу кисть и беру краску с бумажки, густо, в виде овального кружка покрытой лоснящимся слоем бака́на (такие бумажки тогда продавались, и при их помощи можно было и рисовать сердца, и румяниться). Кончив свой рисунок, несомненно заимствованный из какого-нибудь старинного альбома с шарадами, я понес его в спальную матери, где сидела Анна Николаевна, маменька Наденьки.

Пылающее сердце было тщательно завернуто в маленький пакетик и передано гостье с тем, чтобы она отвезла его своей хорошенькой дочке.

— Передайте Наде,— сказал я и вышел.

Затем я услыхал их сдержанный хохот... Это меня несколько покоробило... Я смекнул, что пакетик был развернут и сокровенное чувство мое обнаружено. Было ли передано мое оригинальное послание — не знаю, я об этом уж ни у кого не спрашивал, да полагаю, что и спрашивать было конфузно.

И не этот ли конфуз удержал в моей памяти такое, в высшей степени пустое и неинтересное событие. Но если тут и был какой-нибудь конфуз, он ничего не значит перед тем конфузом, который выпал мне на долю в сорока верстах от Рязани у наших двоюродных Плюсковых, в их деревне Острая Лука.

Летом, в разгаре самого лета, Плюсковы — Тимофей Петрович и Евлампия Яковлевна, прислали за нами свою крытую шестиместную коляску, запряженную четверней. Лошади переночевали на дворе у Кафтыревых, и на другой день мы поехали: две тетки, моя мать, я и — что могло быть радостнее и прекраснее! — Наденька и ее мать. Целый день высочайшего эстетического наслаждения, целый день сладкой тревоги и боязни каким-нибудь глупым словцом или резким движением оскорбить или обеспокоить мое маленькое божество, такое свежее, милое и нарядно-воздушное!! Я был на седьмом небе.

Не доказывает ли детская любовь, что можно любить, не имея ни малейшего ни о чем понятия? Дети, которые рано все знают, так же, как и развращенные старики, любить не

могут,— это мое личное наблюдение. Воистину платонически любить могут только или дети, или беспомощные старики накануне смерти. Их потухающий взгляд иногда с упоением созерцает молодую красоту и боится потерять ее из виду, хотя они и знают, что красота эта никогда им не принадлежала и никогда уже принадлежать не может. В жизни их песенка спета, но в душе их еще звучит проснувшееся эхо младенческой чистой любви. Но у этой младенческой любви бывают и смешные стороны.

Приехавши к Плюсковым, я тотчас же на целый вечер побежал в сад с моими кузенами, кузинами и Надей. Значит, все мы порядочно набегались и рано полегли спать. Мальчиков уложили на антресолях в комнате с балконом в сад и двумя окнами; уложили на полу, постлавши кому матрас, кому перину и всех снабдивши подушками и одеялами. Этого добра у старых помещиков было такое изобилие, что и полдюжины гостей, внезапно наехавших на усадьбу и оставшихся ночевать, не сконфузили бы хозяев — у всех бы нашлись и подушки и одеяла.

На другой день утром никто не разбудил меня, все ушли вниз чай пить, а я все еще спал, как убитый.

Вдруг я очнулся и вскинул голову. В комнату вбежали мои кузины, тоже еще очень маленькие девочки, и вместе с ними Наденька.

Можете вообразить мой ужас, когда они стали надо мной смеяться, а *она*, мало того что звонко захохотала, ухватилась за мое одеяло и стала его стаскивать. Я тоже за него уцепился, не давал с себя стащить его и кричал: убирайтесь, убирайтесь! Боже мой, как мне было стыдно и в каком я был отчаянии!

Они убежали; я вскочил, запер на щеколду дверь на лестницу и стал наскоро обуваться и одеваться...

XIV

Не имею ни малейшего намерения из моей ребяческой любви сделать идиллию или рассказ, прикрашенный фантазией. Задача моих воспоминаний слишком далека от того, чтоб пускаться в сочинительство, и если все, что пишу я по желанию немногих, многим кажется неинтересно или незанимательно, то ничто не мешает им закрыть эти страницы и поискать других. Мне же иногда и самому совестно, что мое личное, интимное, мне одному дорогое, я навязываю другим, как будто у каждого нет точно таких же воспоминаний или

как будто детство мое достойно особенного внимания. Чтоб загладить невольную вину мою, остается одно: как можно проще и искреннее относиться к самому себе, не стараться поэтизировать то, что кажется поэтическим только по летучести милых воспоминаний и подогретого старческого воображения.

Чем кончилась первая младенческая любовь моя — скажу позднее, тем более что чувство мое было с перерывами — то исчезало, то снова выплывало и выносило меня на высоту какого-то восторженно-благоговейного созерцания, делало меня немым и робким в присутствии веселой и беззаботной девочки, в отсутствии же заставляло меня мечтать о ней так, как девочки пяти лет мечтают о красивой кукле, виденной ими в магазине, и мысленно целуют ее, как живую. Куклу можно купить и подарить и мечты превратить в действительность; но от моих мечтаний действительность была дальше облаков, дальше, чем звезды небесные.

Но каковы бы ни были эти первоначальные наивные мечты, иные воспоминания беспрестанно от меня заслоняют их.

Раз, в присутствии Наденьки, в доме нашем совершилось ужасное приключение. Я уже говорил, что племянница Клементьева, молодая вдовушка, была очень живая и веселая дама. Немудрено, что ей пришло в голову на святках уговорить мать мою нарядиться, надеть маску и поехать интриговать Кафтыревых, то есть сестер моей матери. Тогдашние вечера начинались рано (не позднее пяти-шести часов, то есть к вечернему чаю). Мать моя и Анна Николаевна отправились наряженными и, вероятно, не из нашего дома, так как я не видал ни Анны Николаевны, в мужском наряде, ни матери моей, в костюме отшельника. Появление их у Кафтыревых произвело некоторое забавное впечатление — сначала их не узнали, так как в этом святочном маскараде, вероятно, участвовали и другие знакомые, и даже многие из числа дворовых. Затем часу в девятом вечера мать моя вернулась домой вместе с Анной Николаевной, которая уже в собственном своем костюме заехала к нам за своей дочерью. Обе они прошли в спальную. Мать моя сняла с себя льняную бороду и широкий с широкими рукавами темный костюм отшельника и велела своей горничной куда-нибудь прибрать его. Горничная на время положила его в детской на одну из наших кроватей и ушла.

В детской не было никого из прислуги — мы были одни, а с нами и Наденька. Мы играли. Вдруг брат мой Григорий нашел бороду и коленкоровый костюм отшельника. Не

прошло и десяти минут, как мы уже видели его с подвязанной бородой, под капишоном и в широком одеянии, которое тащилось за ним, как хвост, так как было ему не по росту. Мы прыгали и смеялись... Вдруг брат мой Гриша подошел к низенькому столику, на котором горела свеча. В одно мгновение льняная борода его вспыхнула... Не успели мы ахнуть, как он уже катался по полу, охваченный пламенем. Наденька спряталась куда-то в угол, я закричал, и так страшно закричал, что, несмотря на двойные рамы, в кухне со двора услыхали мой крик. Из гостиной прибежала мать и ее гостья. Все бросились тушить и обрывать пылающий костюм, капишон и крепко привязанную бороду. Я видел только клуб дыма и искры. К счастью, недалеко была вода в кувшине — огонь погасили, брата подняли и понесли. Еще слава богу, что ни у кого из женщин, бросившихся руками тушить огонь, не загорелось платье! Это было бы великое несчастье... Бедного Гришу отнесли в спальную на кровать матери, его раздели и послали за доктором. Обжоги были значительны на лице, на шее и на руках, но не смертельны. Месяца через два брат мой так поправился, что уже встал с постели. Только следы от обжогов долго еще не сходили с лица его. Мать моя все это время неотлучно была при нем, мало спала, много молилась. Она была убеждена, что бог наказал ее за непозволительную ветреность.

Все это было в отсутствие моего отца,— но турецкая кампания кончилась, и он вернулся. Кто не знает, как много значит в детстве лишний год, как длинно кажется время и как легко отвыкают дети от тех, которые на несколько лет покидают их? Раз, проснувшись утром, я узнал, что папа мой приехал. Это известие меня более поразило, чем обрадовало. Когда, одевшись, я вошел в спальную к матери и увидал его еще в постели, мне показался он черным от загара и худым. Мать моя, напротив, казалась моложе и наряднее: несмотря на раннее утро, на ней была уже какая-то шаль и волосы были тщательно причесаны. Эта кокетливая перемена в костюме моей матери и даже румянец на ее щеках не укрылись от детских глаз моих. Где служил и был отец мой и какие он привез нам подарки — об этом уже было сказано, добавлю только, что Трофим, слуга, который был с ним в походах, хвастался, что он был в Мандавалахии — в Мандавалахской губернии. Хорошая губерния! Много табаку, и тоже виноград растет... Только как была чума, то все наши вещи были сожжены в карантине, много добра пропало... Он так смешно произносил слово «Мандавалахия», что мы не раз заставляли повторить его. Этот Трофим был уже женат

на горничной Улите, и у него был сын Николка и две девчонки. Помню, что с тех пор, как он вернулся, уже не няньки мыли нас в бане, а он — Трофим. Матрена же по-прежнему провожала меня по утрам к мадам Тюрберт, у которой я учился по-французски.

XV

После смерти моей бабушки дом ее принял другую физиономию. Стены оклеили новыми обоями. В кабинете дяди сделали деревянную перегородку вместо холстинных рам, за которыми стояла кровать его. Спальная моей бабушки совсем преобразилась: исчезла вековая ниша и все, что было за этой нишей, только щелка в дверях, ведущая в гостиную для подглядывания, осталась в том же нетронутом виде. Несомненно, все недвижимое имущество моей бабушки было заложено в ломбард. Старший сын ее и родной дядя мой, постоянно проживавший в Петербурге, Дмитрий Яковлевич Кафтырев, отказался от симбирского имения около шестисот душ, испугавшись долгов, на нем лежащих, и предложил его брату Александру, но и тот отказался; так оно и пошло на продажу с молотка. Дяде Александру Яковлевичу досталось село Смолеевка, в Ряжском уезде Рязанской губернии; теткам Вере и Анне деревни Артемьево и Костолыгино (в Тверской губернии); моей матери — сельцо Лозынино (в той же губернии в Калязинском уезде).

Знаю, что все эти подробности никому не интересны. Кому какое дело, чем кто владел тому назад полвека или какие проедал доходы? Скажу только, что доходы моей матери и теток были весьма незначительны.

Конечно, никто еще из нас не чувствовал недостатка, так как жизнь была дешева. Из Смолеевки пастух пригонял баранов — а из дальних деревень, по-прежнему, шли мороженые туши, поросята, мука, крупа, медь, толокно, грибы, пряники, холст и проч. и проч. Но и тетки мои, и мать моя для того, чтоб избавиться от ломбарда, должны были везти в Москву продавать бриллианты, доставшиеся им от моей бабушки. Сколько мне помнится, дележ домашнего скарба, в особенности меховых вещей, прошел не без спора. По крайней мере, я помню, что отец мой чего-то не хотел уступать или что-то такое ему не хотели уступить, он ворчал... но все эти споры или препирательства не доходили до ссор, и все наши семейные отношения оставались такими же, какими были и до смерти бабушки.

Доставшееся нам сельцо Лозынино, конечно, возбудило в отце моем желание поглядеть на это сельцо и заняться хозяйством. И вот, в одно прекрасное утро, мы сели в кибитку и на перекладных направили путь свой на Москву, добраться до которой было далеко не так легко и скоро, как в наше, железными дорогами сокращенное, путевое время. Потому ли, что я был старший сын, или потому, что чуткая мать понимала, как страстно я был привязан к ней, я всюду — даже на богомолье, сопровождал ее с моей неизменной нянею Матреной. Так поехали мы вчетвером и в Москву, остановились в доме какой-то купчихи Деминой, недалеко от Сухаревой башни в переулке за Спасскими казармами. Что за особа была эта Демина (вдова), в каких таких отношениях она была к семейству Кафтыревых, почему она принимала, или, лучше сказать, считала за долг принимать у себя в доме семью мою — покрыто мраком неизвестности. Меня это интересовало гораздо меньше, чем бассейн, полный воды, чистой как кристалл, проведенный из Мытищ, на один из этажей Сухаревой башни, куда меня водили, или те картинки с карикатурами на Наполеона, которые украшали ту угловатую комнату, где в гостях у Деминой, на тюфяках, постланных на полу, ночевали мы.

Простясь с Деминой, разумеется, после закуски, пирога и кофе, в той же крытой кибитке через Троицко-Сергиевскую лавру двинулись мы за сорок верст от лавры в наше Лозынино. Помню, как долго и скучно тащились мы непроходимыми болотами, по бесконечным ухабистым гатям, окруженным кочками, тростниками, мелким лозняком и зажорами. Позднее узнал я, что русло реки Дубны извивается посреди этих самых болот, бесплодных и непроходимых. На их окраине — или на черте весеннего разлива Дубны, на отлогой возвышенности, за несколько верст, увидали мы березовую рощу, что росла не далее, как в 200 саженях от нашей усадьбы.

XVI

Усадьба наша состояла из начатой постройки бревенчатого дома, или сруба с прорезанными окнами, почти что доведенного под кровлю. Кругом этого сруба лежали бревна и щепки. На дворе был старый небольшой флигелек, где, судя по всему, жил человек, привыкший к некоторой роскоши, но кто именно: мой ли дед или кто-нибудь из бар-помещиков времен Екатерины?

Во флигеле было всего только две небольшие комнатки и передняя, оклеенные когда-то очень яркими и не дешевыми французскими обоями; в одном простенке висело небольшое венецианское зеркало в старинной золоченой рококо раме, а на стенах были под стеклами сохранившиеся офорты — изображения каких-то английских полководцев и государственных людей в костюмах 16-го и начала 17-го столетия. В обеих комнатках было по два небольших окошечка. В передней расположилась наша Матрена. Для моего отца и матери сколотили кровать и поставили ее в первой же комнатке, направо от входа. Тут же была и моя спальная (я спал на диване, подпертый стульями). Следующая вторая комната была нашей столовой.

Что же дальше?

Дальше я помню, что, ложась спать, я иногда не скоро засыпал и слушал, как отец мой, лежа на постели, опершись на подушку, а головой склонясь к столику, с сальной свечой и неизбежными щипцами для нагара,— читал вслух моей матери «Историю Российского государства» Карамзина. Читал, как будто в руках его был Псалтырь или Священное писание, и сквозь дремоту мне слышалось беспрестанно повторяемое имя царя Иоанна и рассказы об его грозных и страшных казнях. Иногда отец мой вполголоса делал свои замечания: замечал, что Карамзин слишком смел; что про царей так писать не следует, «нельзя», что надо даже удивляться, как все это позволено.

Помню, что когда наступила жатва, я уходил в недалекое от нас поле. Отец мой считал снопы (не в этом ли и состояли все его хозяйственные хлопоты?), а я, если день был сильно ветреный, бегал как сумасшедший, растопырив руки, и махал ими, как крыльями, воображая, что они меня поднимут на воздух и я улечу (не были ли это самые поэтические минуты во дни моего деревенского пребывания в Лозынине?).

Припоминая такую завидную глупость, смею думать, что я был еще очень молод и наивен, но — не странно ли,— даже в эти наивные, ребяческие годы стоило мне увидать хоть сколько-нибудь смазливое женское личико, и я вдруг становился ниже травы — тише воды и уже не позволял себе никакого дурачества.

Двор наш, широкий и заросший травой, был окружен небольшими постройками, старыми сараями, кладовой и амбаром. Помню, как староста подбирал ключи от одной из дверей и долго подобрать не мог. Когда, наконец, кладовая была отперта, стали выносить из нее сундуки и всякий хлам.

Из всего вынесенного на божий свет больше всего мне памятен сундук с старинными допетровским почерком исписанными свитками. Как ни был я глуп, догадывался, что они были писаны еще при московских царях, и как ни был умен, не понимал, на что все это нужно, и к их сохранению не обнаружил никакого поползновения. Так все эти свитки и погибли: остались ли они лежать и догнивать в той же кладовой или они пошли на оклейку зимних рам — не знаю. Несомненно, что и отец мой, учившийся в Нежине, на медные деньги, так же как и я, ребенок, не понимал их значения, а мать моя, хоть и была гораздо образованнее моего папа, смотрела на все его глазами и с ним не спорила. Из числа грошовых драгоценностей, вынесенных из кладовой, едва ли не более, чем пожелтевшие документы, привлекли мое внимание сломанные стенные часы. Я ими овладел и, изучая их таинственный для меня механизм, так звенел, задевая за молоток, который когда-то бил часы, что надоел этим звоном отцу, и он прогнал меня изучать механизм часов куда-нибудь подальше от флигеля. Живо помню небольшой сад, который примыкал к двору. Двор был четырехугольный, и пруд, уже подернутый зеленью и окруженный со всех сторон в два ряда посаженными липами и березами, был такой же четырехугольный.

Когда я бродил по нашему запущенному саду и подходил к плетню, ко мне подбегали крестьянские мальчики, и я с ними знакомился, иногда перелезал к ним через плетень, и помню — один из них не раз брал меня к себе верхом на плечи и пускался вместе со мною скакать галопом по щебню, вокруг недостроенного дома. Иногда мы играли в лошадки, и у меня была целая четверка босоногих коней. Мальчишки, которые со дня рождения своего не видали никакой господской ферулы [18], обращались со мной запанибрата. Один из них, рыжий и веселый, показывал мне язык или по-дружески бил меня по плечу. Меня как бы тянуло к ним и в то же время конфузило или коробило их такое вольное со мной обращение. Во мне просыпался барчонок, требующий по отношению к своей личности как бы некоторой субординации или уважения. Конечно, это чувство, которое не раз закрадывалось в мою душу, я ничем не обнаруживал, так как оно было инстинктивно, и я сам не знал — хорошее ли это чувство или дурное. Во всяком случае, оно было простительно для мальчугана, выросшего среди крепостных и даже на себе не раз испытавшего их рабское растлевающее подобострастие. Разве Николка, сын Трофима, мог так вольно, так по-братски со мной обращаться? Разве отец, мать, даже нянька не отодра-

ли бы его за ухо, если бы он осмелился высунуть мне язык или хлопать меня по плечу!

Так, во имя психологической правды, я сознаюсь, что, возясь с крестьянскими мальчуганами, я не раз морщился от того, что вовсе не внушал им ни малейшего уважения. Каяться в этом я не стану, потому что и теперь я потерял бы всякое уважение прислуги, если бы посадил ее у себя в кабинете. Не видел я прислуги, сидящей рядом со мной за обеденным столом ни у Некрасова, ни у Чернышевского, ни даже у графа Л. Н. Толстого. Это не значит, чтобы они были спесивы; это значит только, что жизнь говорит одно, а теория или идеалы равенства — другое. На почве воспитания, одинаковости умственного развития и таланта мы, слава богу, уже давно потеряли всякую сословную спесь. Князь Одоевский [19] и прасол Кольцов [20] могли сходиться и обедать за одним столом, как равный с равным. Только интересы науки, искусства и политики сближают людей всевозможных сословий. Всякое другое равенство до сих пор оказывается эфемерным. У каждого лакея есть своя спесь, и он сам не сядет за стол нанимающего его барина, хотя бы тот и приглашал его,— не сядет и потому, что ему гораздо веселее обедать в своей компании с людьми одинаковых с ним понятий. Так истинное равенство только и зиждется на одинаковости воспитания, на возможности обмена идей и взаимного понимания.

В сороковых годах, за Кавказом, в Гурии, в Имеретии, я сам видел, как люди, подающие кушанья, садились обедать за один и тот же стол со своими помещиками, и это, конечно, происходило не от их либерализма и не от высокости их развития, а потому, что оба они, и слуга и барин, думали, например, что облака не что иное, как морские губки, поднимающиеся с моря, а дождь не что иное, как ветер, который выжимает их. Они одинаково были невежественны, одинаковы по нравам и воспитанию; но их равенство тотчас же нарушалось, когда барин кончал курс в университете, а его прислуга оставалась такою же безграмотной. Дети разных сословий легче всего сходятся, как равные с равными, когда интересы игры сближают их. Интересы игры сблизили меня в Лозынине и с крестьянскими босоногими мальчуганами; но вероятно, даже и в том возрасте, во мне пробуждались уже и другие интересы, которые и затрагивали во мне сознание какого-то превосходства над теми, кто с таким ребяческим усердием на своей спине возил меня. Пусть это было и дурное чувство, но я не хочу скрывать его и очень рад, что память мне сохранила много из того, что происходило в тайниках души моей, как дурного, так и хорошего.

XVII

Да простят мне читатели всякого рода отступления, особливо отступления такого рода, которые требуют обстоятельного анализа, а не поверхностного изложения личного мнения. Если же я их не вычеркиваю, то ради того только, чтоб мои воспоминания не утомили вас своим однообразноповествовательным тоном.

Тогдашние наши провинции (то есть тому назад с лишком полвека) были битком набиты как крупными, так и мелкими — небогатыми владельцами земли и крестьян. Все они знали друг друга, ссорились, мирились, волочились за соседками, охотились, пьянствовали или, порыскавши по Европе, бесплодно мечтали о новых порядках. Наше Лозынино со всех сторон было окружено помещичьими усадьбами. Направо шел проселок к усадьбе некоего Баранова, налево в усадьбы г.г. Бешенцевых и Палибиных. Это были наши ближайшие соседи. Но усадьба Барановых была пуста, так как сам барин раз поехал в лес и в лесу убит своими крестьянами, а наследники его были еще в отсутствии. Чаще всего приходилось нам ездить к Бешенцевым и Палибиным.

Сам Бешенцев был уездным исправником; у него была жена, пожилая, в нравственном отношении безукоризненная женщина и мать многочисленного семейства. Я застал у ней немалое количество дочек. Меньшая из них, Маша, была одних лет со мною; Анна была несколько старше. Я помню ее удивительно тонкий профиль, и были минуты, когда мне было досадно, что она не обращает на меня ни малейшего внимания. Предчувствовал ли я, что лет через пятнадцать или семнадцать эта Анюта будет играть не малую роль в моей жизни, что я буду звать ее сестрой и что она, как жорзандистка, послужит прототипом для характера Эвиной в моем романе «Дешевый город». Но об этом еще речь впереди, я был еще ребенком, молоденькая Анна, будущая эмансипированная дама, вправе была не обращать на мое присутствие ни малейшего внимания. У Бешенцевых был и сынок, Миша, едва ли не единственный, белокурый мальчик лет пяти, у которого была страсть подражать попам, у себя в детской петь по-церковному и махать самодельным игрушечным кадилом... Матери его такая игра вовсе не нравилась... Ей казалось, что он не долговечен и сам себе как бы пророчит отпевание.

Сам Бешенцев, как кажется, вполне оправдывал свою фамилию: его боялись; он был горяч и вспыльчив. Но я,

конечно, не могу знать, насколько он был честен и полезен на месте своего служения.

Раз мы приехали к Бешенцевым к обеду. Помню, в их зале длинный стол и по крайней мере человек тридцать обедающих. Между гостями мы застали какого-то старого проезжего генерала. Генерал сидел около хозяйки и жаловался на отвратительные пути сообщения,— на ухабы, на мосты и проч. и проч., а Бешенцев беспрестанно вставал из-за стола и всячески старался ему угодить и угостить его превосходительство. Не был ли этот генерал послан на ревизию... С ним был не то писец — не то лакей,— играющий роль его дядьки. И что же? Хозяин не решился ни отослать его в людскую, ни посадить с собой за стол, а велел ему накрыть особенный столик в углу той же залы — и ему подносили те же кушанья, как и нам,— и тем же шампанским наполняли бокал его. Это не могло не обратить моего внимания. Ни раньше, ни позже я не помню такого курьеза.

Палибины жили недалеко от Бешенцевых. Я мог бегать из одной усадьбы в другую и нередко бегал от Бешенцевых к Палибиной, так как подружился с ее старшим сынком Николаем, и от Палибиной бегал к Бешенцевым, так как их Машенька очень, очень мне нравилась, такая была интересная, живая, веселая девочка.

Раз мать моя и наши соседи собрались в березовую нашу рощу (от которой теперь, как говорят, и следу нет), собрались грибы искать. Роща была еще так густа и툴 тениста, что я и Маша Бешенцева — мы оба потеряли своих родителей. Бросились направо, налево, кричали — и никак не могли найти всей честной компании. Эге! сказал я, не пошли ли они к нам в Лозынино чай пить; кажется, все хотели сегодня собраться у нас! И вот, недолго думая, мы по межам через поле побежали в Лозынино, перелезли через плетень и вбежали в наш флигель. Нас встретила Матрена и, удивленная, сказала, что никого нет. Что же оставалось делать, как не бежать назад по тому же направлению? Девочка и хохотала, и чуть не плакала. Не успели мы войти в рощу, как нам навстречу показались наши матери и вся компания. Старуха Бешенцева строго опросила свою дочь, и мне пришлось слышать, как ее стыдили и делали ей выговор, точно она совершила какой-то проступок, неприличный, недостойный сколько-нибудь порядочной девочки. Я же на наш побег из рощи смотрел, как на какое-то в высшей степени интересное, романическое приключение.

У Палибиных, несмотря на летнее время, бывали и танцевальные вечера под музыку одного или двух скрипачей.

Танцевали и большие и дети, при открытых окнах, и, разумеется, не позднее десяти — одиннадцати часов вечера все расходились. В то непросвещенное время я не помню ни карточных столов, ни танцев всю ночь до рассвета, ни постоянного бренчанья фортепьяно (хотя фортепьяно и водилось в каждом помещичьем доме). Этим я не могу сказать, чтобы не было вообще карточной игры или гульбы до рассвета, но хочу только сказать, что это не было до такой степени повсеместно, как в наше просвещенное время. Играли в карты только по страсти к картам, а не ради приятного провождения времени от скуки и пустоты душевной. Проигрывали и выигрывали целые состояния, а не рубли и копейки, как в наше время. Гуляли по ночам кутилы или мечтатели, но не помещичьи семьи, из которых выходили полезные деятели на разных поприщах службы. Так, двое сыновей вдовы Палибиной, как я слышал, были впоследствии не последними инженерами и много на своем веку поработали.

Посередине проселочной дороги, по которой мы ездили к Бешенцевым, стоял овин. Раз ночью он почему-то загорелся. Наши люди увидели зарево и разбудили нас. Я наскоро оделся и побежал. Помню сбегающийся народ, какого-то скачущего по дороге всадника (не станового ли?), суматоху, бочку с водой, которую откуда-то привезли и которая нисколько не помешала овину сгореть до основания.

Это тоже было необыкновенное происшествие, о котором по возвращении в Рязань я всем любил рассказывать не без пафоса и, быть может, не без поэтических преувеличений.

XVIII

На обратном пути через Москву я помню только, что мы были в Кремле и видели то место, куда упал когда-то Царь-колокол. Колокол этот был в яме, точно в могиле. Яма эта сверху была заделана досками с окошечком или отверстием посредине. Я, став на колени, нагнулся, заглянул в эту яму и ничего не видал, кроме какого-то металлического тусклого отблеска на дне. Заходили мы и в старый Александровский кремлевский дворец, ныне уже не существующий. Не знаю, был ли это тот самый дворец, из окон которого Наполеон глядел на пожар Москвы, или он был построен после 1812 года? Меня водили из комнаты в комнату, и я ничего не помню, кроме больших копий, сделанных сепией [21] с картин религиозного содержания, и между ними копию с «Рождества» Корреджио. Припоминаю я это и сам сомневаюсь, как

могли быть во дворце не оригиналы, а копии, да еще нарисованные одной коричневой сепией. (Впрочем, не были ли это копии, сделанные одной из великих княжон, сестер Александра I.)

Осенью мы вернулись в Рязань на свою квартиру и застали в ней некую Аграфену Ивановну, которая, по просьбе матери моей, жила у нас и надзирала за детьми (моими братьями). Кто такая была эта Аграфена Ивановна — не знаю. Помню только ее голос и ее круглое, слегка рябоватое и уже не молодое лицо, круглые очки, отороченный сборками тюлевый чепчик старого фасона и чулок со стальными спицами в руках с короткими и мягкими пальцами. Вероятно, это была одна из городских кумушек, давно знакомая моей матери. Она и мне была симпатична, и я любил, когда она приходила к нам. Но, заметьте, припоминая мое детство, я не помню около нас ни одной немки, ни одной польки, ни одной француженки. Даже учительница французского языка, мадам Тюрберт, была чистокровная русская. Оттого ли это, что я рос в провинции, или оттого, что мы были не настолько богаты, чтоб выписывать иностранцев и иностранок? Последствием такого чисто русского воспитания было то, что в юности я не мог говорить ни на одном иностранном языке и заговорил по-французски не раньше моего пребывания в Париже (1858—59 гг.). Обязан ли я этим чистоте русского языка в моих посильных литературных произведениях — я не могу сказать, так как французское воспитание Пушкина, а затем и Тютчева нисколько не мешало им проникаться духом русского языка, знать его в совершенстве и пользоваться его неисчерпаемыми богатствами. Быть может, и то, что этому их знанию способствовала деревня, постоянно русская, несменяемая прислуга и в особенности русские няньки, нередко на всю жизнь занимающие в сердце бывших детей место наравне с самыми близкими родными их.

В Рязани на первое время по приезде мать моя часто посещала сестер своих, и там опять я встретился с Наденькой. Пока я был в деревне, я совершенно забывал о ее существовании. Деревенские впечатления как бы затушевали образ хорошенькой девочки; а она лет до двенадцати действительно была хороша, как херувим, не вербный, а настоящий — такой, каким его изображала кисть великих итальянских художников. Помню прелестный, почти фарфоровый цвет лица с тончайшим румянцем и голубыми жилками, большие голубые искристые глаза и массу русых локонов, ниспадающих на ее белые плечики. И вот, когда опять

я увидал ее сидящей рядом со мной на диване в той комнате, где умерла моя бабушка, я онемел, оцепенел от избытка того охватившего меня чувства, которое нельзя назвать ни страстью, ни даже любовью, а скорей благоговейным, дух захватывающим волнением. Я не смел ни заговорить громко, ни двигаться... А она смеялась, расспрашивала меня, брала меня за руку. Но не долго, не более года продолжалось такое мое настроение. Впрочем, прежде, чем перейду я не только к моему совершенному охлаждению к этому херувиму, но и к чувству, похожему на ненависть, расскажу, какое меня постигло горе.

Мы переехали на другую квартиру, с Введенской улицы на Дворянскую, в дом приходского дьячка Якова. По-прежнему в доме было не более шести комнат: передняя, небольшая зала, гостиная, спальная моей матери, детская и девичья, или людская; по-прежнему кухня помещалась на дворе в отдельном строении (я не помню в Рязани ни одной квартиры с кухней рядом с комнатами или в том же самом доме, где мы квартировали). Мать моя была беременна восьмым ребенком, но мы, дети, как кажется, мало обращали на это внимания. Раз весной вечером в залу, где мы играли, входит Гаретовская (жена учителя гимназии, постоянная повивальная бабушка при родах моей матери) и говорит нам: дети, не шумите, мама ваша очень больна. Хоть нам и не верилось, так как мама с нами обедала, но все же мы притихли и пошли спать. Не помню, в котором часу пополуночи кто-то стал будить меня. Раскрываю глаза — в детской горит свеча; ребенок, сестра моя, сидит на своей постельке и испуганными глазами смотрит в сумрак слабо освещенной комнаты; надо мною стоит няня, совсем одетая, со слезами на глазах... «Вставай! — говорит она,— мама твоя помирает, иди проститься с ней...» Меня охватило ужасом, я вскочил с постели и как был босиком, в одной рубашке, бросился в спальную моей матери. Там я застал Гаретовскую, отца и моих теток. Мать мою в сидячем положении поддерживали под руки; глаза были закрыты, нижняя челюсть отвисла, и рот был как бы раскрыт, но это не выражало собой ни ее крика, ни ее удивления,— это выражало что-то особенное — смерть. Меня не допустили броситься и обнять ее; я упал на колени перед образом и стал молиться... Я стал просить бога о том, чтобы он воскресил мать мою. Вся эта сцена была отчасти воспроизведена мною в романе «Признания Сергея Чалыгина», хотя мать Чалыгина нисколько, ни на волос, не похожа была на мать мою. Ее смерть тоже обрисована иначе, так как мать моя умерла от родов (в эту ночь родился млад-

ший брат мой Павел), а госпожа Чалыгина от простуды и душевных потрясений. В этом романе обстановка тоже совершенно иная, ибо действие происходит в Петербурге, в конце царствования Александра I. Когда я начал печатать этот роман в «Литературной библиотеке», одна газета уверяла публику, что я начал свою автобиографию, что очень польстило моему авторскому самолюбию. Все в романе этом сочинено, кроме наблюдения над своим собственным развитием в детстве и кроме анализа чувств, действительно мною в детстве испытанных.

Мать мою похоронили в Ольговом монастыре в двенадцати верстах от Рязани по столбовой Астраханской дороге. Почему почтовую дорогу на Орел и Воронеж называли тогда Астраханской, так же как и заставу города, так же как и улицу, которая вела к этой заставе,— не знаю.

Ни о моих слезах, ни о моем отчаянии я говорить не стану... Скажу только, что страшно пугало и тревожило мое воображение — это мысль, что мать моя была похоронена живая, так как я еще накануне похорон видел на ее щеках румянец. Эта мысль была так ужасна, что не давала мне спать, и я старался не думать.

XIX

Все почти иначе пошло после смерти моей матери. Отец мой был еще с нами и, по обыкновению, не говоря ни слова, ходил из угла в угол. Большая двухспальная кровать стала нашим ложем, так как в детской поместилась кормилица с новорожденным Павлом, сестра моя... и брат мой Петр, которому, я полагаю, не было еще четырех лет. Прошло лето, прошла зима. В эту зиму уже не было у нас и в помине тех игр, которые затевали мы на старой квартире. Здесь кстати упомяну я и об этих играх. Мы, старшие братья, уговаривались в продолжении целой недели копить всякого рода сласти, даже просили давать нам чай вприкуску и прятали в карманы куски сахару. Мало того, мы собирали огарки от восковых свеч у образов и тоже прятали, и вот, когда наступало воскресенье и когда наши няньки уходили к заутрени, я просыпался, и у нас, в одной из кроватей устраивался пир, угощенье и освещенье восковыми огарками. При этом я рассказывал братьям моим волшебные сказки. Задняя стенка моей кровати очень была похожа на дверку; я уверял их, что за этой дверкой живет волшебник, описывал им его черты, его дочерей и мои похождения. Что такое я им рассказывал,

хоть убейте, не могу себе даже представить, но, должно быть, все это было настолько занимательно, что все не только меня слушали, но и верили мне. Подушка была нашим столом, все мы сидели вокруг, поджавши ноги, и не только лакомились, даже пили какое-то нами самими изобретенное вино (помню, как одну склянку с таким вином мы велели Николке вынести на мороз, как он забыл нам принести ее, как наше питье превратилось в куски льда и как склянка при этом лопнула). Одного я не могу припомнить, куда и как прикрепляли мы зажженные огарки. Мы были так глупы, что и не подозревали, как были опасны наши затеи: мы не только могли испортить наши желудки, поедая натощак конфекты, финики, сахар и всякую всячину, мы могли нашими огарками поджечь полог и произвести пожар. К счастью, мать раз нечаянно рано утром зашла к нам в детскую, увидела наше пиршество и запретила навсегда такого рода нелепое воскресное времяпровождение.

Все подобные вышеизложенные пиршества уже не приходили мне в голову с тех пор, как мы лишились матери. Я помню целые часы унынья, жажду уйти в монастырь или в лес — спасаться, и затем нечто вроде сомнения... Как! иногда я думал: неужели во мне и настолько нет веры, что я не мог моею горячей молитвой воскресить мать мою?!

Чтение давно уже было моим любимым занятием. В это время я читал какой-то старинный сборник рассказов, повестей и стихотворений, напечатанный в два столбца и озаглавленный — не помню именно как озаглавленный. Напишу, если справлюсь в публичной библиотеке.

Наступила новая весна. Отец мой готовился в дальний путь — за Кавказ на службу. Тетка Вера и Анна Яковлевна Кафтыревы, в отсутствие отца, принимали нас на свое попечение. Мы должны были переселиться в их, бывший бабушкин дом, на той же Дворянской улице. Перед своим отъездом отец отдал меня в первый класс четырехклассной рязанской гимназии. Потом он уехал. К теткам мы еще не перебрались и жили на той же квартире под надзором Матрены или, лучше сказать, без всякого надзора.

Тут у меня завелось новое знакомство, и это заметно стало развлекать меня. Между нашей квартирой и соседним домом был пустой закоулок с следами двух гряд, заросших травой и притоптанных людьми, которые тут развешивали белье свое. У забора росли две вербы; на закоулок этот из соседнего дома выходило окошко. В этом окошке стало появляться личико мальчика, бледного, худенького, с остреньким носиком и веселыми глазками. Я стал через

заднее крыльцо выбегать и с ним разговаривать. Раз я зарядил порохом детское шведской работы охотничье ружьецо, пришел в закоулок и спросил соседа, можно ли стрелять. Он засмеялся и сказал: стреляйте... Я выстрелил в забор. В окне за мальчиком появилось новое лицо, смугло-красное, как медь, четыреугольное, с отвислым подбородком и выпуклыми глазами. Это был отец мальчика, старик Кублицкий, вдовец-помещик и порядочный пьянчуга. Узнавши, что это я выстрелил, он стал пугать меня полицией, стыдить и мне жестоко выговаривать. Я, конечно, верил, что за мой выстрел меня, чего доброго, могут взять в полицию, и внутренно встревожился, но, слава богу, на улице не было ни души, а тем паче не обреталось ни одного буточника, ни одного квартального. От Матрены, однако ж, мне тоже досталось порядком.

Раз я зашел в сад и чрез плетень познакомился с соседним мальчиком Мишей. Он мне очень понравился. Я перелез к нему в другой сад чрез низенький дощатый заборик и тотчас же поступил в его армию. У него была сабля, у меня ружье, у его слуги-мальчика палка и барабан — все, что нужно для маршировки, команды и воинственных замыслов.

Но и литературные вкусы, и любовь к чтению тоже отчасти сближали нас. Раз я прочитал ему стихи свои, которые начинались так:

Природа-мать нежна,
Моря, небеса,
Луга ароматны,
Поля и леса.

Дальше не помню. Эти стишки очень понравились Мише, и он за это дал прочесть мне стихи своего двоюродного брата — тоже Кублицкого. Это был какой-то набор слов, но и в этом наборе слов я старался подметить *нечто* и желал познакомиться с автором.

XX

Чтоб познакомиться с автором, надо было ехать в деревню к родному дяде Миши Кублицкого, и эту поездку он обещал мне устроить, то есть выхлопотать у отца позволение взять лошадей и небольшие крытые дрожки. Кажется мне, что по поводу этой поездки и я заходил на двор к Кублицким и видел отца его, похаживавшего по двору и в халате нараспашку распекавшего крепостных людей и покуривающего

коротенькую трубочку. Старик картавил, как бы сюсюкал, беспрестанно сплевывал в сторону и, посмеиваясь, выставлял наружу свои кривые, до черноты закоптелые зубы. Почему-то старик, несмотря на мой выстрел, благоволил ко мне и, как мне помнится, только при мне дал Мише согласие на нашу поездку (деревня была от Рязани неподалеку).

Никогда не забуду я этой поездки. Дядю Миши застали мы в зале за длинным семейным обеденным столом. Он был тоже в халате, лицо у него было обрюзглое и покрытое седой щетиной. Он ел за троих. В комнате сильно пахло щами и чиненным кашей бараньим боком. Мишин дядя посадил нас за стол и ворчал и посмеивался в одно и то же время. Семья его (а в том числе и юный черноглазый поэт, испитой отрок лет четырнадцати) сидели молча. Слышалось только чавканье да стук ножей и вилок. По углам залы стояли на коленках босоногие грязные мальчишки; лакеи, подающие кушанья, были с продранными локтями. Вся эта сцена, достойная щедринской сатиры, показалась мне омерзительной. В особенности сцена, когда хозяин за обедом подозвал одного из мальчишек и стал кормить его оплеухами. Я ждал конца нашей трапезы, как узник — свободы. Даже знакомиться с поэтом прошла у меня всякая охота. Кажется мне, что после обеда мы скоро уехали...

Миша посмеивался над дядей.

— Что делать, братец мой,— говорил он,— свинья-то он свинья! Из свиней свинья... ну, да что же делать!..

Я дал себе слово никогда не ездить в деревню к дяде Миши Кублицкого.

Если бы мне суждено было быть сатириком, я бы из моей поездки вынес немало наблюдений и подробности не ускользнули бы от моего внимания. Но я был слишком, так сказать, субъективен для того, чтобы останавливаться на темных или грязных сторонах действительности. Только то, что влекло меня, скорее всего запечатлевалось в моей, к сожалению, односторонней памяти. Какие-нибудь жонглеры — тех я помню лучше, чем тысячи таких нравственных уродов, каким показался мне Мишин дядя и каких немало встречал я на жизненном пути своем.



МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

I

Отъезд из Рязани.— Бабушка Екатерина Богдановна Воронцова.— Товарищи: Аполлон Григорьев и Фет.— М. Ф. Орлов и декабристы.— Первая встреча с И. С. Тургеневым.— Мочалов.



1839 или годом раньше (не помню уже в точности) я отправился на ямской телеге из Рязани в Москву держать экзамен для поступления в Московский университет и ехал на одних и тех же лошадях около двух суток. В Москве смутно припоминается мне какой-то постоялый двор за Яузой и затем мое перемещение на Собачью площадку, в собственный дом моей двоюродной бабушки Екатерины Богдановны Воронцовой.

Там отвели мне в мезонине, по соседству с кладовой с домашними припасами, две комнаты, и я перенес туда мой чемодан и мою подушку. Старуха Воронцова была одною из типических представительниц тех барынь, которые помнили еще времена Екатерины II, и, еле грамотная, доживала она век свой, окруженная крепостной челядью и приживалками, с которыми судачила, иногда играла в *дурачки* и беспрестанно, даже по ночам, просыпаясь, упивалась чаем. Сиднем сидела она у себя дома вечно на одном и том же месте, душилась одеколоном, нюхала табак, ничем не интересовалась, кроме домашних передряг; вооружась хлопушкой, била мух, капризничала, щипала девок или посмеивалась. Трудно было мне ей угодить, тем более что она была когда-то в ссоре с сестрой своей, моей родной бабушкой Александрой Богдановной Кафтыревой. К моему счастию, племянник ее, наследник всего ее имущества, некто Ф. М. Тургенев, ловко

вкравшийся в ее доверие, не нашел во мне ничего опасного, понял, что я не стану с ним тягаться или претендовать на наследство, и считал за лишнее на меня наговаривать или ссорить меня со старухой.

На экзаменах, в большой белой зале с белыми колоннами, в новом университетском здании, соседом моим по скамье был не кто иной, как Аполлон Александрович Григорьев. Тогда он был еще свежим, весьма благообразным юношей с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какою-то тонко розлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией. Я тотчас же с ним заговорил, и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием: «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы». Григорьев жил за Москвой-рекой в переулке у Спаса в Наливках. Жил он у своих родителей, которые не раз приглашали меня к себе обедать. А Фет, студент того же университета, был их постоянным сожителем, и комната его в мезонине была рядом с комнатой молодого Григорьева. Афоня и Аполлоша были друзьями. Помню, что в то время Фет еще восхищался не только Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему (покойная мать его была немкой еврейского происхождения). Я уже чуял в нем истинного поэта и не раз отдавал ему на суд свои студенческие стихотворения, и досадно мне вспомнить, что я отдавал их на суд не одному Фету, но и своим товарищам и всем, кого ни встречал, и при малейшем осуждении или невыгодном замечании рвал их. Почему-то мне, крайне наивному юноше, казалось, что если стихи не совсем нравятся, то это и значит, что они никуда не годны. Раз профессор словесности И. И. Давыдов, которому отдал я на просмотр одно из моих стихотворений, под заглавием «Душа», совершенно для меня неожиданно, во всеуслышание, прочел его на своей лекции перед большим сборищем студентов, наполнявших не аудиторию, а зал, который превращался в аудиторию, когда студенты не одного факультета, а двух или трех собирались слушать одну и ту же лекцию. Я был и озадачен, и сконфужен публичным похвальным отзывом этого, далеко не всеми любимого, профессора. Какие же были последствия? После лекции окружила меня толпа студентов, и некто Малиновский, недоучившийся проповедник новых философских идей Гегеля, а потому и влиятельный, стал стыдить и уличать меня в подражании Кольцову. Кроме размера, как мне помнится, тут не было никакого подражания; но для меня

и этого уже было достаточно, чтобы истребить и навсегда забыть эту небольшую лирическую пьесу, и она канула в Лету.

Вскоре после этого не совсем приятного для меня события в мою комнату вошел рослый красавец, студент, некто Орлов. Это был единственный сын всем тогда известного М. Ф. Орлова, за свое знакомство и дружбу с декабристами осужденного жить в Москве безвыездно, того самого Орлова, который двадцати пяти лет был уже генералом и участвовал в Бородинском бою, которому в 1814 году Париж передал городские ключи и брат которого, граф Алексей Орлов, был таким близким человеком императору Николаю [1]. Вошедшего ко мне студента я видел уже на публичной лекции Погодина стоящим у двери, так как все места были заняты публикой, и, не зная его фамилии, невольно любовался им. Думал ли я, что этот самый Орлов первый посетит меня и пригласит к себе на квартиру с тем, чтобы представить меня отцу и матери (урожденной Раевской) [2], которые, прочтя мое стихотворение «Душа», сами пожелали со мною познакомиться? С тех пор в доме у Орловых я стал как бы домашним человеком, то есть мог приходить во всякое время и даже ночевать у их сына на постланном для меня диване. Старик Орлов так полюбил меня, что не раз по вечерам, когда я прощался с ним, благословлял меня. Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову; его обаятельная личность всех к себе привлекала; когда-то, будучи военным, он старался в полку своем уничтожить наказание палками. Недаром же и Пушкин почтил его своим посланием [3]. Можете вообразить сами, как это расширило круг моего знакомства. Там, в этом доме, впервые встретил я и Хомякова, и профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ив. Серг. Тургенева, который, прочитав в записной книжке моего приятеля Ник. Мих. Орлова какое-то мое стихотворение, назвал его маленьким поэтическим перлом. Кого не подкупят такие отзывы, особливо в такие молодые годы! Я стал навещать Тургенева, не как писателя, а как молодого ученого, который (по слухам) приехал в Москву из Берлина с тем, чтобы в университете занять кафедру философии. Ему, вероятно, и не верилось, что философия была запретным плодом и преследовалась, как нечто вредное и совершенно лишнее для нашего общества.

Добавлю к этому, что и на поэзию косилось наше университетское начальство, и когда я стал в «Москвитянине»

помещать стихи свои, я никогда не подписывал своей фамилии [4]. Но шила в мешке не утаишь.

Мои шуточные стихотворения, приводимые Фетом в своих воспоминаниях, очевидно, не нравились нашему доброму, нежно любимому инспектору, и Нахимов (Платон Степанович или Флакон Стаканыч, как шутя называли его студенты) стал сбавлять мне балл за поведение (то есть вместо 5 стал ставить 4) [5].

Пока моя бабушка была жива, я был обеспечен, но и тогда денег у меня не было, я ходил в университет пешком и зимой в самые сильные морозы в одной студенческой шинели и без галош. Я считал себя уже богачом, если у меня в жилетном кармане заводился двугривенный; по обыкновению, я тратил эти деньги на чашку кофе в ближайшей кондитерской; в то время не было ни одной кофейной, ни одной кондитерской, где бы ни получались все лучшие журналы и газеты, которых не было и в помине у моей бабушки,— «Отечественные записки», «Московский наблюдатель», «Пантеон» и «Библиотека для чтения»,— и я по целым часам читал все, что в то время могло интересовать меня.

Помню, как электризовали меня горячие статьи Белинского об игре Мочалова. Более всего славился он в роли «Гамлета». Перевод этой трагедии, сделанный Н. Полевым, я знал наизусть [6]. Это был перевод далеко не подстрочный, но очень сценичный. Даже лишние стихи, которых нет в подлиннике, как, например:

Взгляни, как все печально и уныло,
Как будто наступает страшный суд,—

были поразительно сильны в устах вдохновенного актера. Часто посещать театр я, однако, не мог по недостатку средств и Мочалова в роли Гамлета видел только один раз: видел со всеми достоинствами и недостатками игры его. Когда на сцене происходит игра заезжих актеров и когда Гамлету становится очевидным, какое страшное влияние производит на душу преступного короля повторенное на сцене убийство отца его, Гамлет во время этого представления сидит у ног Офелии, и, как только взволнованный король уходит в сопровождении всех своих придворных, он вскакивает, одним или двумя прыжками перебегает на авансцену и с диким, злорадным хохотом восклицает: «Оленя ранили стрелой!» Все это было бы очень смешно у другого актера, но Мочалов так был страшен в эту минуту, что у меня волосы стали дыбом, и вся зрительная зала безмолвствовала, потрясенная си-

лой такого необузданного чувства. Повторяю, такая игра, если бы она не была гениальна, была бы достойна всеобщего осмеяния. Последнее действие прошло вяло, и Мочалов был уже неузнаваем. Это был уже не тот Мочалов, который с такой горечью объяснялся с своей матерью и заколол подслушивавшего их Полония.

II

Кружок Станкевича.— Д. А. Ровинский и его сестра Марья Александровна.— Смерть бабушки.— Скитание по квартирам.

О Белинском впервые услыхал я от Николая Александровича Ровинского, который еженедельно посещал меня. Ровинский был близок к кружку Станкевича[7], и для меня, наивно верующего, выросшего среди богомольной и патриархальной семьи, был чем-то вроде тургеневского Рудина, был первым, который навел меня на иные вопросы, не давал мне спать по ночам; я с ним горячо спорил, но не мог не сознавать его влияния. Ровинский был невысокого роста, худощавый молодой человек лет под тридцать, большой добряк, нигде не служил и был как бы в пренебрежении в родной семье: с Ровинским познакомил меня отец мой, который прибыл в Москву и поселился со мной на антресолях в одной и той же комнате: отец мой, Петр Григорьевич, был вдовцом и после смерти старика Ровинского, бывшего когда-то московским полицмейстером, стал считаться женихом его старшей дочери, Марии Александровны. В семье Ровинских принимали меня, как родного. Мария Александровна обладала удивительным голосом и в особенности превосходно пела:

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом.

Елена Александровна была прелестной и постоянно задумчивой молодой девушкой; роман жизни ее был таков, что, когда перед поступлением своим в монастырь она исповедовалась, игумен, который ее исповедовал, прослезился. Мать была расчетлива и холодна к своим детям, за исключением младшего Дмитрия, который в это время был еще правоведом и только на святки приезжал из Петербурга в Москву. Этого сына своего Ровинская обожала, да и сам Дмитрий Александрович[8], будущий деятель, юрист, сенатор, собиратель редких гравюр и издатель дорогостоящих лубочных картинок, гравированных портретов замечатель-

ных русских людей и гравюр Рембрандта, отличался в свои юные годы таким независимым характером, так был всегда энергичен и настойчив, что даже сильная характером мать поневоле преклонялась перед ним. Упомяну еще о поездке, затеянной Ровинской в Ростов-монастырь к мощам Димитрия Ростовского, к Переяславскому озеру, затеянной, как мне кажется, для того, чтоб еще больше сблизить с отцом моим старшую дочь свою М. А. Непонятна мне мечта ее непременно видеть отца моего своим зятем; но вместо сближения поездка эта послужила только предлогом к разрыву: отец мой отказался от своего намерения, и из всех Ровинских по-прежнему заходил ко мне, в своем старом сюртуке и в худых сапогах, только тот же вечно философствовавший Николай Александрович.

Он хотел познакомить меня с Белинским, но успел только познакомить меня с Иван Петровичем Клюшниковым, другом Белинского и учителем истории Юрия Самарина. Что такое был Клюшников, вам может подсказать стихотворный недоконченный роман мой «Свежее предание» [9]. Тут он был мною выведен под именем Камкова, и, конечно, не фактическая жизнь играет тут главную роль, а характер и настроение Камкова. Как я слышал, сам Клюшников, доживший до глубокой старости где-то в Харьковской губернии, в этом романе узнал себя. Так я слышал от учителя русской словесности — Н. Старова, который посещал старого учителя в его уездной глуши и очень любил его. Стихотворение:

Мне уж скоро тридцать лет,
А меня никто не любит... [10] —

принадлежало перу Клюшникова. Он под своими стихами подписывал букву Ѳ [11]. В то время по рукам ходило послание его к Мочалову — упрек, смело брошенный ему в лицо за все его безобразия, несовместные с его гениальным сценическим талантом; оно было в первый раз напечатано, кажется, лет пятнадцать тому назад и в «Русской старине». Но, конечно, не как поэт, а как эстетик и мыслитель, глубоко понимавший и ценивший Пушкина, как знаток поэтического искусства, он не мог своими беседами не влиять на меня [12].

Когда из университета я приходил домой к обеду, я нередко заставал за обеденным столом, за который никогда не садилась моя бабушка, одну коренастую старуху, московскую немку, набеленную и нарумяненную, с намазанными бровями, и не мог иногда от души не хохотать над ней. Она была убеждена, что в университете учат меня колдовству и чернокнижию, что я могу вызывать чертей, которые по

ночам не дают ей покоя; она боялась раков, крестила свою тарелку и подальше от меня отодвигала свой прибор. Это была одна из приживалок моей бабушки. Она то пропадала, то жила в доме по целым месяцам. Смешон был рассказ ее о том, как в 1812 году при французах она оставалась в Москве и как хохотали над ней французские солдаты, когда она, в ответ на их заигрывания с нею, показывала им язык. Вообще в доме моей бабушки немало было курьезов.

Наконец бабушка моя опасно заболела и собралась умирать. Раз, заглянув в ее комнату, накануне ее смерти, я увидел ее, и никогда не забыть мне этой умирающей старухи: она с ужасом оглядывалась по сторонам и, спуская с постели голые, дряблые ноги, порывалась бежать, точно видела собственными глазами наступающую смерть и все ее ужасы.

Пришлось мне покинуть насиженное место, и где, где я тогда в Москве не живал! Раз, помню, нанял я какую-то каморку за чайным магазином на Дмитровке и чуть было не умер от угара; жил вместе с братом М. Н. Каткова, с Мефодием, и у него встречал ворчливую старуху — мать их. Жил у француза Гуэ, фабриковавшего русское шампанское, на Кузнецком мосту; жил на Тверской в меблированной комнате у какой-то немки, вместе с медицинским студентом Блен де Балю, где впервые сошелся с Ратынским, большим охотником до стихов [13]. Он был моим соседом и часто заходил ко мне. Выручали меня грошовые уроки не дороже пятидесяти копеек за урок, но просить о присылке денег из Рязани мне было совестно.

III

Университетская жизнь.— Редкин.— Полежаев.— Герцен.— Мещерские.— Стихотворение «Арарат». — Село Лотошино.

В мое время в университете не было ни сходок, ни землячеств, ни каких бы то ни было тайных обществ или союзов; все это в наше время было немыслимо, несмотря на то, что полиция не имела права ни входить в университет, ни арестовать студента. И все это нисколько не доказывает, что в то время Московский университет был чужд всякого умственного брожения, всякого идеала. Напротив, мы все были идеалистами, то есть мечтали об освобождении крестьян; крепостное право отживало свой век, Россия нуждалась в реформах, и когда на престол взошел гуманнейший Александр II [14], где нашел он наилучших для себя помощников по уничтожению рабства и преобразованию судов, как не в среде моих тогдашних университетских сотоварищей? История

оправдала наши молодые стремления. К сожалению, в то время никто не мог ни печатно, ни даже изустно вслух высказывать ни надежд своих, ни соображений по поводу предстоявших реформ. Брожение умов было глухое, тайное, тогда как при большей гласности оно могло бы стать подготовительным и освобождение крестьян не застало бы, так сказать, врасплох наше русское, в особенности провинциальное общество. В университете партий не было, но всякий понял бы ироническую заметку нашего любимого профессора энциклопедии права П. Г. Редкина:[15] «У нас людей продают, как дрова», и в то же время всякий понял и сочувственно отнесся бы к студенту К. Д. Кавелину[16], когда он говорил, что употребил с лишком полгода на то, чтобы прочесть и понять одно только предисловие к философии Гегеля. Я застал еще в университете кой-какие предания о том, что когда-то было в стенах его до приезда новых профессоров, сумевших поселить в молодежи любовь к науке. В мое время во время лекций я слышал только скрип перьев и ни малейшего шума. Некоторые из лекций, в особенности лекции Петра Григорьевича Редкина, который читал нам энциклопедию права, до такой степени возбуждали нас, что, несмотря на запрещение, молодежь рукоплескала профессору, когда он заканчивал свою лекцию.

Не так было в те времена, когда профессора не имели на студентов ни малейшего влияния. Иногда зимой, когда лекции читались при свечах и лампах, вдруг все потухало, и аудитория погружалась в полный мрак. Школьные затеи были довольно часты. Так, иногда вдруг из отверстий, где помещались чернильницы, поднимались кверху зажженные восковые свечи, к немалому ужасу и удивлению профессоров. Вспоминали при мне как-то о Полежаеве. Рассказывали, что Полежаев[17] отдал на рассмотрение какому-то профессору свои стихи. Возвращая эти стихи автору, профессор сказал: «Полежаев, от твоих стихов кабаком пахнет».— «И немудрено,— отвечал Полежаев,— они целых две недели лежали у вас!»

Из числа славянофилов, в том смысле, как понимали их Хомяков[18] и Аксаков[19], я помню одного только Валуева[20], студента, подававшего большие надежды и рано погибшего от чахотки. Я уже тогда думал то, что и писал позднее в «Свежем предании»:

...Пока
Наш мужичок без языка,
Славянофильство невозможно,
И преждевременно, и ложно[21].

Однажды у писателя А. Ф. Вельтмана [22] встретил я очень красивого молодого человека с таким интеллигентным лицом, что в его уме нельзя было сомневаться. Мы были втроем, и, между прочим, я с большими похвалами отозвался о статье Герцена, напечатанной под заглавием: «Дилетантизм в науке» [23]. Они засмеялись. «А вот перед вами и сам Герцен — автор этой статьи», — сказал мне Вельтман. Тогда никто и не предчувствовал заграничных статей этого самого Герцена.

В начале одного лета отправился я на вакансии в Волоколамский уезд (Моск. губ.) в село Лотошино, к князю В. И. Мещерскому, по рекомендации Орлова, учить грамматике младших сыновей его (Ивана, Николая и Бориса).

Князь Мещерский и княгиня Наталия Борисовна, жена его, и единственная дочь, княжна Елена, принадлежали к самому высшему московскому обществу. В зимнее время жили они в собственном доме, близ Страстного монастыря; много гостей и родственников, приезжавших из Петербурга, посещало их гостиную. Мещерские были сродни Карамзиным, и молодые Карамзины, сыновья знаменитого историка, останавливались у них во флигеле [24].

В их усадьбе застал я гувернера и учителя немецкого языка И. Б. Клепфера, еще далеко не старого немца, воспитанного на немецких классиках: Шиллере и Гете. Он переписывался с женой своей, оставшейся где-то в Пруссии, то есть посылал ей целые тетради и получал от нее рассуждения о второй части «Фауста»; помню, что, с помощью ученого Клепфера, я переводил лирические стихотворения Шиллера и Гете. Одно из тогдашних моих стихотворений — «Арарат» было отвезено в Москву и появилось на страницах «Москвитянина» в 1841 году. «Москвитянин» был тогда единственным московским журналом. «Наблюдатель» же по недостатку средств прекратил свое существование. Он был, как видно, далеко не по плечу тогдашней публике за его поползновение философствовать. Помню, как остряк Д. Т. Ленский, актер, когда-то всем известный, автор водевилей, искусный куплетист и переводчик Беранже [25], в кофейной Бажанова взял в руку пустую бутылку выпитого шампанского и сказал:

В смысле так не философском,
С чем тебя сравняю я?
В «Наблюдателе» московском —
Философская статья!

В эту кофейню заходил я также читать журналы и встречал там Щепкина, Живокини, молодого Садовского и др.[26]. Белинский, кажется, уже уехал тогда в Петербург и стал участвовать в «Отечественных записках» Краевского [27].

Я совершенно забыл о существовании стихотворения «Арарат» и только на днях получил его из Москвы от Льва Ивановича Поливанова [28], причем прочел и вовсе не пожалел, что оно не вошло в общее собрание моих стихотворений. Вот вам небольшой образчик:

Стою я, неприкосновенный,
Уже пятидесятый век;
Но вот от Запада, надменный,
Пришел властитель человек,
Потомок праведного Ноя —
Везде, в краях полярных зим,
В странах тропического зноя,
Природа рабствует пред ним.
Не верит он моим преданьям;
Науке веру покорив,
Весь предан мертвым изысканьям,
Неутомим и горделив.
Он не почтил моей святыни;
Достиг, презрев мертвящий хлад,
Венца.— «Я без венца отныне»,—
Сказал — и рухнул Арарат...
И с древних стен Эчмиадзина,
С дороги, где протянут вал,
И с плоской кровли армянина
Кричали: «Арарат упал!...»
Казак на лошади крестился;
Черкес коня остановлял;
Еврей испуганно молился,
Смотря, как легкий пар клубился
Там, где гигант вчера стоял.
И суеверно толковала
Разноплеменная страна;
И безотчетных дум полна,
Народам что-то предрекала...

И откуда я взял, что Арарат рухнул, после того, как нашлись смельчаки, которые взобрались на его вершину! Прочел ли я об этом где-нибудь или только слышал? Во всяком случае, факт этот не заслуживает доверия, и все стихотворение построено на фантазии, ничем не проверенной.

Во время пребывания у князей Мещерских редко получал я письма, но одно из них, из Москвы, огорчило и потрясло меня: некто студент медицинского факультета Малич, греческого происхождения, писал мне на клочке бумаги, что остался без квартиры, ночует на бульварных скамейках и,

умирая с голоду, гложет кости скелетов. Я немедленно послал ему все мое месячное жалованье около пятидесяти рублей, и послал нарочно через руки одного близкого мне знакомого богатого человека Геннади, также греческого происхождения, чтоб он, получив эти деньги, выдал их М — чу (которому он протежировал) собственноручно; этим поступком мне хотелось уязвить его. Не доказывает ли это, что в те наивные годы моей юности я был гораздо лучше или добрее, чем во дни моего многоопытного мужества и суровой старости?

Приближалась осень, но дни стояли теплые. 26-го августа был именинный день княгини: с утра приезжали соседи поздравлять ее. Был большой обеденный стол, наступил темный вечер, перед домом — на широкой зеленой площадке, переполненной группами мужиков, баб и ребятишек, зажгли фейерверк, и вдруг одна ракета, вместо того, чтоб полететь вверх, полетела в сторону по направлению к деревне, зарылась в солому и подожгла кровлю. Через полчаса пылала почти что вся правая сторона деревни; народ бросился спасать свои пожитки; послышались стоны и вопли женщин; на пожаре распоряжался князь Борис Васильевич, старший сын хозяина. Застучали топоры, откуда-то прискакали какие-то пожарные с двумя трубами. Я видел, как обносили икону, и, когда возвращался в дом, меня поражала пустота ярко освещенных комнат; только одна княгиня, взволнованная, бледная, стояла на балконе. К утру пожар затих; дымились только обугленные остатки изб да торчали закоптелые печи. Князь обещал крестьянам на свой счет поставить новые каменные избы и сдержал свое слово. Вскоре после этого страшного события Клепфер и я с моими учениками выехали в Москву, но не прошло и двух недель, как они были обратно вызваны в Лотошино на панихиду или на похороны их матери: княгиня не вынесла такого потрясения, заболела горячкой и умерла.

IV

Графиня Растопчина и К. К. Павлова.— А. И. Тургенев и А. Ф. Вельтман.— Ап. Григорьев и Фет.— Ю. Самарин.— Лермонтов.

В Москве я поселился на время в доме Мещерских; и тут впервые встретил я поэтессу графиню Растопчину. Она была еще молода, очень мила и красива. Меня попросили прочесть ей мое стихотворение «Ангел», и я прочел его.

Из числа моих стихотворений наибольший успех выпал

на долю моей фантазии «Солнце и Месяц», приноровленной к детскому возрасту: его заучивали наизусть, в особенности дети. Другая русская поэтесса, Каролина Карловна Павлова (урожденная Яниш), тоже знала его наизусть. Память ее была замечательная, и голова ее была чем-то вроде поэтической хрестоматии, не одних русских стихов, но и французских, и немецких, и английских. Муж ее, Н. Ф. Павлов, когда-то крепостной человек, вышел в люди тоже благодаря своим далеко не дюжинным способностям, конечно, женился он по расчету, так как девица Яниш была очень богата, но не хороша собой и старообразна. Книжка, изданная Павловым под заглавием «Три повести», имела успех благодаря своей тенденции или тонкому намеку на ненормальность и безвыходность положения для всякого сколько-нибудь способного человека, состоящего в полном рабстве и зависимости от господ своих. У Павловых впервые встретился я с Юрием Самариным [29]. Он был очень молод и смешил хозяйку; но я не смеялся, так как не понимал его и не знал, кого он так мастерски передразнивает. Самарин среди дам и светского общества был далеко не таков, каким я встречал его в обществе Хомякова, Погодина, Грановского, Чаадаева и др. Тогда как Конст. Аксаков, наоборот, где бы он ни был, был постоянно один и тот же: горячо стоял за свои убеждения и был беспощаден. Не могу забыть, как в гостиной Хovриной он провозгласил, что брак не должен быть по любви и как я мысленно не соглашался с ним. У Павловых же впервые познакомился я с Ал. Ив. Тургеневым, редким гостем, которому дозволено было побывать в Москве. Он постоянно жил в Париже, куда отправился незадолго до восшествия на престол Николая I, и был заподозрен в сношении с декабристами.

В гостиную Павловых вошел он в шерстяном шарфе (дело было зимою). Это был старик, высокого роста, заметно привыкший ко всякому обществу; приехал он к Павловой спросить ее, когда он может прочесть ей отрывки из воспоминаний Шатобриана, которые, по его завещанию, не могли быть напечатаны раньше известного срока (не помню какого) после смерти его. Тургенев списал их в доме г-жи Рекамье и рукопись привез в Москву; [30] он остался пить чай и был очень интересен; он был так любезен, что в своих санях довез меня до моей квартиры. С тех пор я уже и не видал его, и черты лица его давно уже стушевались в моей памяти.

Наиболее выдающимся стихотворением Н. Ф. Павлова был романс, когда-то положенный на музыку:

Не называй ее небесной
И от земли не отрывай.

Замечательно, что многие из числа тогдашних литераторов, вовсе не слывшие за поэтов, обмолвились превосходными стихотворениями. Вся Россия знала и пела:

Что затуманилась зоренька ясная,
Пала на землю росой [31].

И весьма немногие знали, что автором этого стихотворения был Вельтман. Песня эта была кем-то переведена в Крыму на татарский язык; и татары считали ее своей народной песней.

А. Ф. Вельтман был уже пожилым человеком, с небольшой лысиной и проседью в волосах; настолько же умный, насколько и добрый, он занимал место директора Оружейной палаты. Как знаток и любитель редких древностей и как человек образованный, он знал все славянские языки, изучал историю Богемии, но едва ли был славянофилом. Я во всякое время мог заходить к нему, и если он был занят за своим письменным столом, я с книгою в руках садился на диван и безмолвствовал.

Казенная квартира его была велика, и тихо было у него в доме; он жил со своею молоденькой дочерью. Мне было досадно, что эта милая девушка была далеко не из тех, которые могли бы пробуждать мечты мои; влюбиться в нее не помогала мне даже моя фантазия, но в это время я никого не любил и чувствовал пустоту в своем сердце; ходить же с пустым сердцем было для меня скучно. Я предпочел бы страдать. Странно, в провинциальной Рязани, когда я был еще гимназистом, немало встречал я замечательных красавиц и ни одной в Москве! Миловиднее всех была Елена Александровна Ровинская, блондинка с отпечатком на лице какой-то меланхолии и тайного страдания, точно какую-то рану носила она в душе своей.

Мое стихотворение «Пришли и стали тени ночи» было написано мной в такое время, когда я был еще целомудрен, как Иосиф. Фантазия, подсказывая мне только то, что могло бы быть, подсказала мне и это стихотворение; оно было послано мною Белинскому и напечатано им в «Отечественных записках»; это было второе уже стихотворение в этом журнале; первое же было: «Священный благовест торжественно звучит».

Быть может, вы спросите меня, что давали мне мои стихотворения? Ровно ничего — ни одной копейки; мне даже

и в голову не приходила мысль о гонораре; высшей наградой для меня было самоудовлетворение или похвала таких товарищей, как Фет и Григорьев. Помню, Григорьев не раз повторял мне какие-то два стиха мои:

Дунет ветер, черный локон
Ляжет по ветру.— Пора!

Но откуда это? Я беспрестанно терял и забывал стихи свои. Вот что еще я помню об Ап. Алекс. Григорьеве.

Он любил музыку, но дурно играл на рояле и так же, как и все мы, восхищался Мейербером [32]. Адский вальс из «Роберта-Дьявола» в полном смысле слова потрясал Григорьева. Родители его охотно отпускали его в театр, куда он ездил в сопровождении Фета, но не к товарищам. Старушка, мать его, держала его как бы на привязи; он никуда не выезжал без ее соизволения. У меня бывал он редко и оставался у меня обыкновенно только до девяти часов вечера; на дворе или за воротами постоянно ожидали его пошевни, и никогда я не мог уговорить его остаться у меня дольше. «Нельзя»,— говорил он, спешил проститься и уезжал.

Что касается до его внутренней жизни, то в первые дни нашего знакомства он нередко приходил в отчаяние от стихов своих, записывал свои философские воззрения и давал мне их читать. Это была какая-то смесь метафизики и мистицизма. Перед праздниками ходил он в церковь к всенощной, и раз, когда он, вставши на колена, до самого пола преклонил свою голову, он услыхал над самым ухом шепот Фета, который, пробравшись в церковь незаметно, встал рядом с ним на колена, также опустил свою голову и стал издеваться над ним, как Мефистофель.

Григорьев глубоко верил в поэтический талант своего приятеля, завидовал ему и приходил в восторг от лирических его стихотворений. Но юный Фет, который, бывало, говорил мне: «К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу,— брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты»,— все же иногда выходил из своей роли и писал очень резкие куплетцы, подсказываемые злобой дня.

Рядом сомнений можно прийти к отрицанию, но самое сомнение еще не есть отрицание. Раз в университете встретился со мною Аполлон Григорьев и спросил меня: «Ты сомневаешься?» — «Да»,— отвечал я. «И ты страдаешь?» — «Нет».— «Ну, так ты глуп»,— промолвил он и

отошел в сторону. Это нисколько меня не обидело. Я был искренен и сказал правду; мои сомнения были еще не настолько глубоки и сознательны, чтоб доводить меня до отчаяния. К тому же я был рассеян, меня развлекали новые встречи, занимали задачи искусства, восхищал Лермонтов, который сразу овладел всеми умами.

Я мало встречал людей, которые не преклонялись бы перед силою его поэтического гения. Тургенев, прочитав «Героя нашего времени», при мне называл книгу эту новым откровением. К. Д. Кавелин — наш известный юрист и будущий профессор, наизусть заучивал стихи его. «Вот человек,— говорил он о Лермонтове с восторгом,— вот человек, который на всю Россию тоску нагнал». Ю. Самарин говорил о Лермонтове: «Неужели он до сих пор еще не сознает своего великого призвания?»[33]

О смерти Лермонтова узнал я в Лотошине — у князей Мещерских; я был и поражен, и огорчен этой великой потерей, не для меня только, но и для всей России. Но если Лермонтов был глубоко искренен, когда писал: «И скучно, и грустно, и некому руку подать» — я бы лгал на самого себя и на других, если бы вздумал написать что-нибудь подобное.

V

Помещик Мосолов.— В. И. Классовский.— Писемский.— Д. Л. Крюков.

При переходе из первого курса на второй я летом отправился на родину, в Рязань. Но у моих теток Кафтыревых я уже не мог ужиться. Они казались мне хоть и добрыми, но глупыми и суеверными. Откровенно говорить с ними уже было невозможно: в каждом слове моем они заподозрили бы ересь или безнравственность. Я воспользовался приглашением помещика Мосолова и в тарантасе, который он прислал за мной, отправился к нему в имение; у него, в новом доме, учителем детей его был на это лето некто В. И. Классовский [34].

Это был знаток древних языков. Он немало путешествовал, в особенности по Италии, много читал и знал; голова его была целая энциклопедия; мастер он был говорить и ясно, весело передавал каждую мысль свою. В Петербурге он давал уроки наследнику цесаревичу и детям великой княгини Марии Николаевны; с раннего утра до поздней ночи ездил он по урокам, и недешево платили ему, так как, за недостатком времени, даже людям богатым ему приходилось отказывать. Несомненно, что к Мосолову решился он ехать

только за тем, чтобы отдохнуть в деревне от многотрудной, холостой своей жизни. О чем, о чем не писал он и не печатал, начиная с грамматики и кончая его афоризмами о женщинах? Одни его комментарии к латинским классикам — труд немаловажный. И что же? Имя этого человека прошло бесследно, точно его и не было.

От Мосолова (если не ошибаюсь) я отправился к своему товарищу по гимназии студенту Барятинскому, который жил в имении зятя своего, князя Барятинского. Очень хорош был собой Барятинский, но красота сестры его, княгини, была поразительна. Это была очень простая и милая женщина; добрая улыбка не сходила с лица ее; я и прежде, в Рязани, слыхал о ней, но никогда не видал. У Барятинских застал я директора рязанской гимназии Н. Семенова, который, кажется, затем и поехал к ним, чтоб полюбоваться на красоту хозяйки. На нее смотрел я с затаенным, почти религиозным благоговением. Можно восторженно смотреть на Сикстинскую Мадонну, но разве возможно влюбиться в нее или за ней ухаживать? Странная судьба постигла всю их семью: в один год умерли ее дети; затем умерла она, и добрый князь, муж ее, не в силах был пережить ее. У Барятинских провел я не более, как дня три или четыре. Товарищ мой увез меня верст за тридцать к людям, мне совершенно незнакомым. Приехали мы незадолго до ужина, и вот что я помню: ужин был во флигеле, чтоб говор и шум гостей не беспокоил хозяйку-помещицу. Во время ужина около стола ходил шут, в бумажном колпаке, и смешил гостей своими прибаутками. У меня разболелась голова, и я ушел спать в отведенную мне комнату. Ночью разбудили меня звуки гитары: сын хозяйки, курчавый молодой человек лет около тридцати, артистически владел гитарою. Я не вытерпел, оделся и присоединился к другим гостям, чтоб слушать удивительную игру его. Но и его судьба тоже была достойна удивления: у одного из своих соседей он похитил дочь и, страстно влюбленный, повенчался с ней. Но не прошел еще и медовый месяц, как жену его похитил ее отец и стал держать ее под таким караулом, что не было возможности молодому мужу даже и повидаться с ней. Вот какие были тогда нравы!

Осенью к началу лекций вернулся я в Москву и остановился в небольшой квартире некоего М. Е. Кублицкого [35], товарища моего детства, тоже окончившего курс в рязанской гимназии.

Вспомнилось мне мое пребывание у Кублицкого, и потянулись другие воспоминания. Припоминается мне, что Писемский [36] был в одно время со мною в университете, но

товарищем моим не был. Встречались мы редко. Это был небольшого роста молодой человек с испитым лицом и темными, проницательными глазами. В последний раз, проходя через чей-то двор, видел я его в раскрытое окно, среди студентов, игравших в карты. Вероятно, это была его квартира, так как он сидел в каком-то тулупе с взъерошенными волосами и с длинным чубуком в руке. Писемский рассказывал потом, будто бы я, подойдя к окну, воскликнул: «Что это вы сидите в комнате: ночь лимоном и лавром пахнет». Полагаю, что этой шуткой он хотел в то время охарактеризовать меня. В то время бывал у меня и еще один студент-филолог, некто Студицкий. Он был в то же время и математиком. Раз приносил он мне какие-то вычисления, доказавшие ему возможность делать золото. Уверенность его в этом была непоколебима. Он уже приступил к практическому выполнению своей задачи и уверял меня, что хоть он и получил крупицу чистого золота, но что досталась ему она не дешево. Он указывал мне даже на опустелый аристократический дом на Пречистенке, уверяя меня, что он его купит, перестроит и роскошно отделает. Звал меня жить с собой. Все это казалось мне воздушными замками, но я все же не мог ему не сочувствовать. Это был высокий, мешковатый, небрежно одетый студент, постоянно восторженный. Он все отыскивал новые поэтические дарования и в особенности хвалил мне некоего Карелина, пророча ему блистательную будущность. Он написал о Пушкине статейку, которая и была когда-то мной переписана, и читал мне с восторгом перевод некоего Н. Ш. из Байрона. Перевод этот так же, как и стихотворение Карелина, были помещены в сборнике «Подземные ключи».

Помню я и еще одного студента, которого занимали богословские вопросы и который, как кажется, собирался поступить в монахи. Профессором богословия был у нас священник университетской церкви Тарновский [37], человек строгий, на вид гордый и недоступный. И что же? Однажды не успел он кончить лекции, как вышеупомянутый студент стал перед его кафедрой и попросил позволения сделать замечания насчет его лекции. Тарновский изумился, но позволил ему возражать себе. Минут двадцать продолжался этот курьезный диспут. Помню худое, постное лицо этого студента, но, к сожалению, забыл его фамилию.

В мое время студенты должны были сами записывать и приводить дома в порядок выслушанные ими лекции. Для этой работы был у меня товарищ, тоже бывший гимназист рязанской гимназии, некто Мартынов. Мы садились рядом, и, если я не поспевал за словами профессора, я толкал его

локтем, и он продолжал записывать дальше. На первом курсе с особенным интересом посещал я лекции профессора древней истории Д. Л. Крюкова. Он начал свою историю с древнейших времен *Китая*, указывая на особенности первобытного китайского миросозерцания. Странным казалось мне, что китайцы, перечисляя стихии, вслед за *землей*, упоминали *горы*. Крюков читал блистательно; это был один из талантливейших наших ученых. Он нас увлекал; недаром и Фет почтил его стихотворением, под заглавием: «Памяти Д. Л. Крюкова». Но увы! лекции эти скоро должны были прекратиться. Он заболел неизлечимой и страшной болезнью: размягчением мозга. Раз я встретил его на улице: он был страшно бледен, и его вели под руку [38].

Нисколько не жалуюсь на то, что в Москве не было у меня ни семейного очага, ни постоянной квартиры и ничего, кроме дорожного старого чемодана. Были студенты, которые испытывали не только бедность, но и нищету; они жили в окрестностях Москвы и в университет ходили по очереди, так как у двоих была одна только пара сапог. Что за беда, что я жил где придется. Жил я и с Барятинским, и в одной из трех небольших чистеньких комнатках у князя Мансырева, и где-то в переулке близ Остоженки, и у г-на Брок, всем тогда в Москве известного акушера, брата министра финансов, в подвальной комнатке, платя сестре его, Генриетте Федоровне, за квартиру и стол пятнадцать рублей ассигнациями в месяц. Но судьба, которая рано познакомила меня с нуждой, одарила меня другим благом — друзьями, о которых умолчать было бы великою неблагодарностью к их памяти. Ни молодой Орлов — добрый малый, но часто бестактный, который невольно иногда оскорблял меня, да и самому себе вредил своей бестактностью; ни Барятинский, ни мой рязанский сосед и товарищ детства Кублицкий, ни князь Мансырев — не были в числе друзей моих.

VI

Студенческий сборник «Подземные ключи».— Чиновничья карьера.— Любовь.— «Дзяды» Мицкевича.— Сомнения.— Поэма «Страшный суд».

Князь Мансырев студентом не был; он был смугл, черноволос, как цыган, и приземист; он чуждался света, был молчалив, никогда не высказывался и жил просто, даже бедно, несмотря на свое состояние. Одно, что он любил, это — литературу; он был прирожденный эстетик; если не ошибаюсь, он писал стихи, но никому не читал их; он со-

шелся со мной потому, что задумал издать студенческий сборник, который и вышел под заглавием (мною придуманным) «Подземные ключи»; там под буквою П были и мои еще крайне незрелые стихотворения. Между ними было помещено и начало какой-то испанской драмы под заглавием «Ханизаро».

В это же время моей настольной книгой была «Les livres sacrés de l'orient»[39]. Там был и Коран Магомета, но с Кораном я был знаком и раньше по переводу с английского языка, сделанному чуть ли не при Екатерине II, с примечаниями и толкованиями почти что на каждой странице. Эпитет *всепревозмогающий* заимствовал я из этого перевода. Вполне убежденный, что Магомет не был шарлатаном, а человеком, искренне поверившим в свои галлюцинации, я затеял драматическую поэму «Магомет», где действующими лицами были между прочим, кроме Магомета, Абу-Талеб, который дал ему оплеуху, Омар, племянник его Али, Кадишо и Айша. До сих пор где-то сохранилось у меня начало этого произведения, отрывки же из него вошли в полное собрание моих стихотворений: «Из Корана» и «Монолог Магомета».

— Ты не напишешь трагедии,— сказал мне князь Мансырев.

— Почему?

— Да потому, что ты сановник, для драмы нужен другой темперамент.

— Может быть,— отвечал я,— но почему я сановник?

— Такое у тебя лицо.

Не помню, какое было у меня тогда лицо, казался ли я румяным или только загорелым от ветра и солнца, но, как бы то ни было, князь Мансырев был прав: темперамент играет большую роль в том направлении, какое выпадает на долю писателя...

Мансырев и не думал о том, чтоб поступить на службу в качестве чиновника; таков же был и Кублицкий, таков же был и князь В. А. Черкасский[40]. До тех пор, пока не предложили ему место в комиссии по устройству освобождаемых крестьян от крепостной зависимости, Черкасский не состоял на службе. Мечтать о служебной карьере или заседать вместе с героями, выведенными Гоголем, вовсе не составляло отличительной черты тогдашнего интеллигентного молодого поколения. Об обязательной военной службе не было еще и помину, и тот, кто владел хоть какими-нибудь средствами, не думал ни о чинах, ни о наградах. Таких мечтаний не было и у меня, несмотря на то, что я и сам не знал, чем я буду жить и какова моя будущность. Как часто в то время, если только

не обедал я у кого-нибудь из числа моих знакомых, я в трактире Печкина проедал двадцать копеек, заказывая себе подовой пирожок, политый чем-то вроде бульона. Случалось иногда и совсем не обедать, довольствуясь чаем и пятикопеечным калачом.

В любви у меня не было счастья, потому ли, что я глупел и терялся, когда любил, или потому, что не было и повода платить мне взаимностью: я был далеко не красавец, очень беден и вдобавок имел глупую привычку стихи писать; но были у меня преданные друзья, до самого гроба сохранившие ко мне привязанность. Таковы были студент математического факультета Игнатий Уманец и Сергей Воробьевский. К сожалению, взвешивая свои способности в университете, я не мог поступить на филологический факультет; на изучение иностранных языков у меня не хватало памяти. Я поступил в юристы и на юридическом факультете вместо четырех лет пробыл в нем пять. На целый год отстал от Григорьева и очутился среди иных товарищей, между которыми были князь Черкасский, Есипов и Ратынский. Моим любимым профессором был П. Г. Редкин. Философская подкладка энциклопедии права, которую он читал на первых курсах, в особенности была для меня привлекательна. Охотно слушал я и историю средних веков у Грановского [41], и историю русского права у Ф. Л. Морошкина [42]. Но что не давалось мне, это — римское право; оно положительно было не про меня писано. Я не умел долбить, а многотомные лекции Крылова [43] нужно было знать чуть не наизусть, так как из них, как из математической формулы, ничего нельзя было выпустить. При переходе с третьего курса на четвертый Крылов поставил мне двойку. Я прекратил экзамены и, сконфуженный, уехал в Рязань. В последние годы моего пребывания в университете, мне было и не до того, чтоб углубляться в пандекты или читать Кодекс Юстиниана [44]. Что-то недоброе стало скопляться в душе моей; происходила страшная умственная и нравственная ломка. Я стал сомневаться в своем собственном существовании. Действительно ли существуют люди, солнце и звезды, все, что я вижу и слышу, или все это только снится мне? Помню, какое потрясающее впечатление произвело на меня лирическое стихотворение в «Дзядах» Мицкевича, где говорится о ничтожности нашего земного бытия, среди безначального прошлого и бесконечного будущего, и как ничтожно наше время в сравнении с вечностью. В это переходное время моего умственного развития я стал писать нечто вроде поэмы, рисуя замирающую жизнь на нашей планете и вымирание пресыщенного

человечества. Гордое и когда-то самонадеянное, все это человечество с ума сошло, обезумело и в этом безумии, полное болезненных галлюцинаций, слышит трубные звуки архангелов и видит страшный суд. Я не мог всего этого дописать, мало того, я старался всячески забыть мое произведение. Меня стали преследовать и как бы жечь мозг мой собственные стихи мои, и я боялся с ума сойти. Раз ночью, в полузабытьи, мне казалось, что душа моя отделилась от тела и я вижу свой собственный труп. Очнувшись под утро, я увидел: около моей постели на стуле горит свеча: я забыл на ночь потушить ее. Наконец я решился отправиться к профессору анатомии Севрюкову, застал его дома и откровенно сознался ему, что боюсь с ума сойти. Он стал меня успокаивать и сказал мне: «Не беспокойтесь, тот, кто боится с ума сойти, с ума не сходит». И затем прописал мне какие-то успокоительные капли. Ап. Григорьеву я почему-то ни слова не сказал о состоянии души моей и принял твердое намерение найти выход, так или иначе разрешить те вопросы, которые в то время возникали в голове моей, или постараться забыть их,— заняться чтением более серьезных книг и вместе с Игнатием Уманцем по-прежнему следить за всем, что появляется нового и хорошего в русской литературе. Помню, как вместе с ним читал я в каком-то журнале перевод Сушкова [45] драмы Шекспира «Буря» и как Калибан, это животное, в уродливом человеческом виде, смешил нас. В моих отношениях к Уманцу ничего не было сентиментального. Родился он в Крыму, где между татар провел свое детство. Это был, как говорится, душа-человек, честный, прямой и непритязательный. Ни он меня не называл своим другом, ни я его. Но по какому-то странному сродству душ, в котором сомневался Лермонтов, Уманца влекло ко мне, меня к нему, и мы еженедельно по нескольку раз виделись. Он был гораздо практичнее, благоразумнее, чем я; но никогда я не слыхал от него наставительного тона. Иногда только шутя и как бы намеками, с большим тактом предостерегал он меня от увлечений, и я не говорил ему о своей нелепой поэме «Страшный суд» (я так трусил моего собственного произведения, что не хотел и вспоминать о нем). Не говорил я и о том, какие мысли иногда мешали мне спать, по милости моей нервной впечатлительности. Мне все казалось, что человек с здравым смыслом непременно осмеет меня, как фантазера или психопата. Но след тех испытанных мною нравственных потрясений остался на стихах моих. Я был вполне искренен, когда писал:

И я сын времени, и я
Был на дороге бытия
Встречаем демоном сомненья.
И я, страдая, проклинал
И, отрицая провиденье,
Как благодати ожидал
Последнего ожесточенья.
Мне было жаль волшебных снов
Отрадных, детских упований
И мне завещанных преданий
От простодушных стариков.

И т. д.[46].

В таком же роде были стихотворения: «Кумир», «К N. N.» и др. Все это были мои студенческие произведения, и — знаю — им сочувствовали. Вспомните рассказ Тургенева о Белинском, который воскликнул: «Не понимаю, как можно есть и пить, если не решен еще вопрос: есть ли бог или нет его». Таково было поколение, которое впервые было заинтересовано немецкой философией, быть может, по милости молодых профессоров, которые только что вернулись из Берлина, где благоговейно слушали лекции Гегеля и проникались его идеями настолько, насколько они их понимали. И толковали их, может быть, и по-своему, но все же толковали.

VII

Московские салоны.— Гоголь.— Как изданы были «Гаммы».— Популярность графа Строганова.— Первый успех.

В то время московское общество имело немало салонов, где собиралась вся тогдашняя интеллигенция, где никогда не играли в карты, а вместо музыки и пения дамы не без интереса слушали толки и споры. Такие салоны помню я и у княгини Ан. М. Голицыной, урожденной Толстой, у Ховриной [47], у Орловых, у Елагиных [48] и даже у баронессы Шеппинг, мужа которой обессмертил Пушкин в своем послании к Чаадаеву:

Ради бога
Гони ты Шеппинга от нашего порога.

И у каждого салона были свои особенности. Так, например, Кетчер, который никогда не надевал фрака и не расставался с своей коротенькой трубочкой, который, по словам Тургенева, не перевел, а перепер Шекспира на язык родных осин [49] и о котором писал Герцен в своих воспоминаниях

«Былое и думы»,— появлялся только у Ховриных. Знаменитого актера Щепкина, превосходно читавшего комедии Гоголя, чаще всего можно было встретить у баронессы Шеппинг; Хомякова и Самарина — у княгини Голицыной; Жуковского, когда он приезжал в Москву,— у Елагиных. Там часто бывал и Гоголь, но не там я его видел, а видел его только раз в жизни у профессора Ст. П. Шевырева [50], на его именинном вечере. Я застал Гоголя в кабинете лежащим на диване; он весь вечер не проронил ни единого слова. На все и всех глядел он сквозь пальцы, прикрывая ими лицо свое. Около него ходили и двигались гости, и никто не решался обратиться к нему с каким-нибудь вопросом. Это был маленький божок, перед которым благоговели. Не всегда Гоголь был таким. Не раз рассказывали мне, как в интимном обществе он был весел, много говорил и всех смешил до упада. Но мне не привелось даже и слышать его голоса. У Елагиных поклонялись и поэту Языкову [51], как сама хозяйка Евдокия Петровна, так и сыновья ее, у которых с утра до поздней ночи толпились студенты, пили в стаканах разносимый чай и курили. У них впервые познакомился я с Ал. Бакуниным, будущим профессором одесского лицея. Я тоже любил Языкова, но нигде не встречал его. По болезни ног своих, он никуда не выезжал; летом жил на даче, если не ошибаюсь, где-то за Петербургской заставой. Перед этой дачей по праздникам играл оркестр музыки, им самим нанимаемый. Но когда мне случилось проходить мимо этой дачи и остановиться в толпе прохожих, чтоб слушать музыку, я и на балконе не видал его. Об А. Н. Майкове еще не было слышно. Я не знаю и не имел времени справиться, не вышли ли в свет мои «Гаммы» раньше, чем первое собрание его стихотворений [52]. Кстати, скажу несколько слов о моем издании. Не мне первому пришло в голову собрать мои стихотворения, а Щепкину, сыну великого актера, блистательно окончившему курс по математическому факультету. Он жил у барона Шеппинга, в качестве воспитателя и наставника их единственного сына.

— Все это надо собрать и издать,— сказал он мне.— Соберите все, что вы написали, и приносите.

— А на какие деньги буду я это издавать? — возразил я.

— А издадим по подписке.

— Как по подписке?

— Да так, соберем человек сто подписчиков по рублю за экземпляр и издадим.

Долго и нелегко велась эта подписка. Даже в Англий-

ском клубе, как я слышал, нелегко расставались с рублем, ради каких-то стишков, те господа, которым проиграть несколько тысяч в карты ничего не стоило. Но, как бы то ни было, денег собрано было настолько, что издать мои «Гаммы» нашлась возможность, и они вышли в свет почти в тот день, когда я кончил мои последние, выпускные экзамены. Помню, как на чугунной лестнице, ведшей в нашу аудиторию, встретил я всеми уважаемого и любимого нашего попечителя, графа Строганова, и поднес ему книжку моих стихотворений. Он сделал удивленное лицо, взял книжку и не сказал ни слова. Мы любили графа Г. С. Строганова за то, во-первых, что во всех университетских делах принимал он самое горячее, сердечное участие. Не раз на своих костылях приходил он во время лекций то к одному, то к другому профессору, садился на заднюю скамью и до конца выслушивал лекции. Он сам желал, чтоб при встречах с ним не было никаких церемоний и все ограничивалось только тем, что студенты вставали, когда он приходил. Во-вторых, мы любили его потому, что он терпеть не мог вмешательства полиции в студенческие проказы и шалости. Она могла только дать знать университетскому начальству то, что заметила, а судить и взыскивать предоставлялось только одному университетскому начальству. В-третьих, мы любили его за его заступничество за Крылова. В то время профессора были и цензорами. Крылов цензировал чью-то книгу под заглавием: «Кавказские проделки» и пропустил ее, а в этой книге между прочим было сказано, что на Кавказе повышают людей не за их боевые заслуги, а за связи в Петербурге или по протекции. И — сыр-бор загорелся [53]. Донесли об этом дерзновении императору Николаю. Он тотчас же повелел вызвать в Петербург профессора Крылова и судить его. И что же? Вместо Крылова поскакал в Петербург сам граф Строганов. Явился к государю и отстоял Крылова, как одного из лучших московских профессоров, которому нет и времени прочитывать всякий печатный вздор. Кажется, все ограничилось тем, что Крылов получил выговор и преспокойно остался в Москве читать свое римское право.

Похвальный отзыв о моих «Гаммах» появился в том же году в критическом отделе на столбцах журнала «Отечественные записки». Это был журнал передовой и влиятельный. Для меня самого было чем-то вроде ошеломляющей неожиданности это громкое признание моего поэтического таланта. В глубине души своей я почувствовал то же самое, что чувствует бедняк, который узнал, что на лотерейный билет свой выиграл целое состояние. И немало хорошего, но

немало и дурного посеяло это в душе моей. Во всяком случае, этот отзыв упрочивал за мною место, которое никто не может избрать по своей собственной прихоти и на которое наталкивает нас только природа или нечто нам врожденное, нам с детства присущее.

«Поздравляю,— сказал мне, добродушно улыбаясь, Вельтман.— Но вот что я скажу вам... Верьте мне,— как бы вы сами ни были даровиты и талантливы, вас никто в толпе не заметит или заметят очень немногие, если только другие не поднимут вас».

Эти слова его до сих пор остались у меня в памяти, и я все больше и больше удостоверяюсь в их справедливости. Недаром же и народная пословица говорит, что один в поле не воин. Полагали, да и теперь еще думают и печатают, что статья обо мне принадлежала перу Белинского, что это он так благосклонно приветствовал мое вступление на литературное поприще. И так как Белинский, в то время, был уже известен, как строгий и беспощадный критик, ратующий во имя истинной поэзии как искусства, и в других газетах взапуски принялись меня расхваливать. А какой-то фельетонист «Русского инвалида» при этом случае перепечатал чуть ли не всю мою книжку в своей фельетонной критике. Но статью обо мне писал вовсе не Белинский, а П. Н. Кудрявцев [54], который в это время готовился защищать свою диссертацию на степень магистра и уже имел в виду кафедру всеобщей истории. До сих пор еще не утратило своего значения сочинение его под заглавием «Римские женщины». Оно впервые было напечатано в «Пропилеях», периодически выходивших в свет, посвященных классической древности и издаваемых Леонтьевым.

Статья о моих «Гаммах» не осталась без влияния на мои отношения к знакомым; некоторые из них очевидно были ею озадачены и огорчены.

Вспоминаю, например, студента К.,— о котором упоминает и Фет, говоря, что один из моих товарищей, а именно Жихарев, ставил мне в пример стихи его и знал наизусть отрывки из его поэмы, очень плохой, как по вялости стиха, так и по содержанию. С этим К. я был лично знаком и даже навещал его. И что же? После статьи в «Отечественных записках», встретившись со мною на Тверском бульваре, он бросился в сторону и скрылся, чтоб не пожать мне руки и не заговорить со мною. Некто Х. (в эту минуту никак не могу вспомнить его фамилии), когда услыхал от одной знакомой мне дамы, Змеевой, отзыв о стихах моих, вскрикнул, как ужаленный: «Да что же это такое? Неужели вы хотите, чтоб

и я признавал его поэтом!» С этим X. лет семь или восемь спустя встретился я в Петербурге в Императорской публичной библиотеке, где он состоял на службе, и он отнесся ко мне не только благосклонно, но и с предупредительным вниманием.

Зато С. В. Воробьевский, когда, после статьи в «Отечественных записках», я зашел к нему, бросился обнимать меня, был так радостен и светел, что мне казалось, что он во сто раз больше рад и счастлив моему первому успеху, чем я сам.

VIII

Сережа Воробьевский.— Идеализм.— Дом Постниковой.— Переселение в Одессу.

Личность этого Сережи Воробьевского настолько оригинальна, что я не могу отказать себе в удовольствии кое-что рассказать о нем. В Москве, около Никитских ворот, против церкви Вознесения, был одноэтажный деревянный дом, серый с белыми ставнями. Дом этот принадлежал доктору Воробьевскому. Он уже был стар, когда я с ним познакомился; среднего роста, на широких плечах носил он большую голову с большими оттопыренными ушами, круглое, выбритое лицо его казалось как бы обрюзглым, но, когда он был весел, что случалось редко, он был не только со мной приветлив, когда я приходил к нему, но, как говорится, в душу лез. Во всей его фигуре и в его выговоре было что-то хохлацкое. Он уже не занимался практикою, но из ханжества, а не из любви к ближнему, лечил бедных, даже нищих с улицы, которые каждое утро наполняли его переднюю. Нигде в других домах не встречал я такой неряшливости, как в этом доме. Маленький кабинет доктора был его спальней и его библиотекой. Комнатка эта особенно отличалась своим беспорядком и пылью. Вообще на внешность не обращалось никакого внимания. Он жил с женою, двумя дочерьми, из которых младшая, Евгения, была еще ребенком. Младшие сыновья его еще где-то учились, редко выходили из задних комнат, и я почти что никогда не видел их; старшего же сына, Сережу, постоянно встречал или за перегородкой — с одним окном, около передней, где больным перевязывали раны и язвы под его наблюдением, или в гостиной за фортепиано.

У этого Сережи была замечательная память, он шутя выучивался понимать иностранные языки и, помимо древних языков, знал почти что все европейские. Стоило ему глазами пробежать сотни иностранных слов, чтоб они навсегда врезались в его памяти. Что ж мудреного, что в гимназии посто-

янно он был первым учеником и в университете оказался одним из лучших студентов. Но недолго пришлось ему быть в университете. Однажды, испуганный и бледный, входит он к отцу и говорит ему: «Папа! Ради бога, запрети ты ездить по Никитской; разве ты не знаешь, что эта Никитская у меня в голове». Понял старый доктор, что сын его говорит, как помешанный. Пришлось взять его из университета и лечить. Так как это сумасшествие было тихое и не всегда проявлялось, Сережа лечился дома, и отец придумал ему занятие. И уж не знаю, взял ли он для него учителя музыки или сын его знал уже ноты раньше своего поступления в университет,— знаю только, что он стал играть и в два-три года сделался артистом. Пальцы его приобрели силу и поразительную беглость. Технических трудностей уже для него не существовало. Проиграть наизусть концертную пьесу Листа ему уже ничего не стоило.

Удивительная память и тут его не оставляла; он помнил, что было разыграно по нотам, и играл на память без малейшей ошибки. Приходить и слушать игру его было для меня великим наслаждением. Он же играл без устали и всегда готов был отдаться своей вдохновенной игре. Музыка его вылечила. Он совершенно освободился от своих диких мыслей. Осталось только одно: он боялся проезжать через площади. И позднее никогда никто не мог уговорить его поехать по железной дороге. Чуждый света, прямодушный и доверчивый, он соглашался иногда ехать со мною к моим знакомым и поражать их игрой своей. Как ребенок, был он наивен и самоотверженно послушен. Иногда отец свистом призывал его к себе в кабинет и заставлял читать себе Четьи-Минеи, псалмы, или акафисты, по старым книгам, в кожаных переплетах, с страницами, закапанными воском,— и он читал. Посылал ли отец его в переднюю принимать и допрашивать больных,— он шел допрашивать больных и вместо отца прописывал им рецепты. Полагаю, что и тут помогала ему его необыкновенная память. Раз я зашел к нему вечером, под какой-то праздник. Я попросил его сыграть мне одну из любимых пьес Бетховена; он стал играть. Вдруг отворилась дверь, и в гостиную явилась старуха, в каком-то грязном капоте, растрепанная и гневная, может быть, старая нянька: «Что ты делаешь, греховодник! — крикнула она на него.— Звонят ко всенощной, на молитву зовут, а ты тут бренчать вздумал,— опомнись!» — И Сережа, улыбаясь, тотчас же закрыл фортепиано и, обернувшись ко мне, конфузливо, но без малейшей досады в голосе, сказал: «Видно, нельзя,— уж такое у нас положение».

Так же, как и я, Воробьевский никогда не играл ни в карты, ни в шахматы и никогда ни с кем не спорил, так как все спорщики были или невеждами и обскурантами, или гораздо его ученее и развитее. Больше всего интересовали его лучшие художественные произведения иностранных литератур, в особенности немецкой. Если бы он не был ни на что другое способен, как только долбить и долбить, Нибур не увлекал бы его своими широкими взглядами на историю [55] и не могли бы нравиться ему отрывочные произведения Жан-Поля Рихтера,— эти в своем роде стихотворения в прозе,— и он не находил бы в них глубины или опоэтизированной философии [56].

Как все это старо для 90-х годов или для тех новых поколений, которых удовлетворяет модная сушь и которые видят в одних социальных теориях и мечтах все свое спасение! Но все, что старо в наше время, было так все еще ново для общества 40-х годов, общества, пробуждавшегося для умственной деятельности, анализа, понимания искусств и в бескорыстной мечте, не в одних естественных науках, жаждавшего найти себе умственное и нравственное удовлетворение. Я, признаюсь, бессовестно пользовался теми способностями и знаниями языков Воробьевского, в которых мне было отказано. Если б я сказал ему, выучить по-арабски или по-санскритски, чтоб ты мог передать мне отрывки из Корана или «Магабгараты», он в несколько месяцев выучился бы этим языкам, чтоб только исполнить мое желание. Когда после каникул я возвращался в Москву и заходил к нему, он трепетал и визгливо смеялся от радости, как будто лучшие минуты в его жизни дарил я ему моим присутствием. Байрон высоко ценил собаку за ее верность и привязанность к своему хозяину. Он ставил эти качества ее в пример людям, в которых ничего, кроме эгоизма, не видел. Сережа Воробьевский — скажу, не преувеличивая,— любил меня или был ко мне привязан, как собака к своему хозяину, хоть я и не кормил его. Может быть, это и смешно, но у меня никогда не хватило бы духа осмеять его; и добро бы он был еще мальчик, но ему было уже около двадцати пяти или двадцати шести лет. Однажды, после моего долгого отсутствия, я спросил у него, не был ли он у Генриетты Федоровны Брок (сестры министра финансов). Она жила в Москве, как я уже сказал, с своим братом Федором Федоровичем Броком, домашним врачом в семействе Орловых, с своей воспитанницей Серафимой. «Я никогда у них не буду,— отвечал мне Сережа,— не буду оттого, что она вас бранит, говорит, что вы не умеете вести себя в обществе, слишком много

о себе думаете и что ваши манеры ей очень не нравятся».

Почему именно в своих воспоминаниях я говорю о Воробьевском подробнее, чем о других? Конечно, не потому, что он любил меня, а потому, что никогда во всю жизнь мою не встречал я человека такой чистой и светлой души, который никогда о себе не думал, не гордился никакими своими преимуществами, ни способностями, ни талантом; никогда ими не хвастался и, будучи артистом и даже композитором далеко не дюжинным, ни разу не подумал о том, какие из этого могут произойти выгоды, и никогда ни с кем себя не сравнивал, и никому не завидывал. Как он был бесконечно счастлив, когда ему удалось найти себе место где-то в оркестре Большого театра, когда Лист давал свой концерт и когда все до единого места, до самого райка, были заняты. «Это бог, это величайший из музыкантов»,— говорил он, млея от восторга. А эти восторги и для меня были заразительны.

Такие люди и тогда были редки, а теперь их в скитах монастырских не скоро отыщешь. Хорошо быть таким идеалистом, каким был Воробьевский. Среди самой неприглядной обстановки — предрассудков и семейного деспотизма — он был счастливее многих людей богатых и вполне независимых. Был ли он либералом или консерватором? Нет, так как он откликнулся бы на все высокое, прекрасное, в каком бы лагере он ни нашел его.

Еще припоминаю одну личность — это был мой однофамилец Андрей Полонский. Поступив в студенты, он тотчас же со мною познакомился, стал звать меня к себе, в калужскую деревню, уверял меня, что сестры его — красавицы и что они могут вдохновить меня. Это был рослый молодой человек, с румянцем во всю щеку и в золотых очках. Почему-то наш инспектор, Нахимов, особенно благоволил к нему (может быть, по знакомству с отцом его). Лично я никаких симпатий к нему не чувствовал, даже почему-то не доверял словам его. Только раз по просьбе я зашел к нему в такое время, когда к нему приезжал отец его из провинции на несколько дней. Помню, как этот старик сразу меня озадачил, сказавши, что Лермонтов никуда не годный писатель. «Сами посудите,— говорил он,— что это такое?

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой.

Кого это не победит? Странную любовь или отчизну? Нет, далеко еще нам до Корнеля или Расина». Вот по каким образцам выучился смотреть он на поэзию. У сына же его,

как кажется, не было на этот предмет никакого своего мнения. Прошло не более года, как я перестал встречать его в университете. Он женился на старшей дочери бывшей содержательницы одного женского пансиона и вышел из университета. Познакомившись с семейством доктора Постникова, я узнал, что он недолго пожил с женой своей.

В доме Постниковых я, по выходе из университета, бывал чуть ли не каждый день. Это был один из тех московских домов, двери которых были раскрыты для всех искренно полюбивших эту семью: образованную и гостеприимную. Были тогда еще живы и родители Постникова, и никто не мог без улыбки говорить о них. Старуха была все еще влюблена в своего старого мужа и, когда он уходил, сильно о нем беспокоилась и выходила на крыльцо поджидать его. Сестры его были уже невестами, и Мар. Мих. Полонская поселилась у них, как у близких родных своих. Туда же на целые дни приходила и сестра ее. Страстная, недюжинная по уму и насмешливо-остроумная, она всю массу своих поклонников, раз при мне, назвала своим зверинцем. «А, если так,— заметил я,— я никогда не буду в их числе, уверяю вас». С тех пор она употребляла все свои старания, чтоб во что бы то ни стало влюбить меня. Помню летние, лунные ночи, когда в саду оставались мы вдвоем; она говорила со мной так загадочно и, не упоминая ни слова о любви, дразнила меня одними намеками.

Помню, как однажды ночью в густой тени от деревьев, я зажег спичку, будто бы для того, чтобы закурить сигару, а на самом деле, чтобы на миг осветить лицо ее, всех и каждого поражающее красотой своей.

Весь этот маленький роман кончился тем, что я послушался Уманца и задумал вместе с старшим братом его, служившим по таможенному ведомству, уехать в Одессу. Дело уже дошло до того, что у меня вскружилась голова. Увлечь девушку было не в моих правилах, а жениться на ней я не мог, так как и она была бедна, и я был беден. На поэтические же труды мои я не мог рассчитывать: мои «Гаммы», несмотря на благоприятный для них отзыв газет и журналов, не приносили мне ни малейшей выгоды. Их или не раскупали, или книгопродавцы умышленно говорили мне, что никто не покупает их в надежде, что я продам их по пяти копеек за экземпляр. «Гаммы» остались на руках у московских книгопродавцев, преимущественно же у Кольчугина. Я покинул Москву на много лет и не спрашивал, что сталось с моим изданием, может быть, растерял и квитанции; по крайней

мере, я ничего не могу о них припомнить (а что его покупали, доказывает то, что оно давно уже стало библиографической редкостью). Я еще не служил и не желал служить. Лучшие товарищи мои по гимназии, поступившие в московскую гражданскую палату, открыто говорили мне: «У нас все берут и живут взятками; на службе вы не удержитесь, если не захотите с волками по-волчьи выть!» К тому же замечу, что то поколение, к которому я принадлежал, боялось брачных цепей и семейной жизни так же, как и Печорин — герой нашего времени. Да и мог ли я думать о женитьбе, когда, вышедши из университета и нуждаясь в партикулярном платье, я вынужден был продать золотые часы свои, полученные мною в дар, в то время, когда я был еще в шестом классе в рязанской гимназии.

Чем же заключить мне мои студенческие воспоминания? Учился я как бы порывами, и мое настойчивое прилежание нередко сменялось ленью и рассеяньем. Нужда отчасти принесла мне немало пользы: закалила слабый, семейной жизнью избалованный характер мой; заставила меня приноровляться к людям и равнодушно относиться к их недоброжелательству. Я верил в дружбу и пользовался полным доверием и расположением немногих друзей своих. Я был влюбчив, но на свою наружность редко обращал внимание. Нередко выходил из дому, позабывая причесать голову или вычистить ногти. Случалось, что по рассеянности я без галстука появлялся в гостях у своих товарищей.

Постоянно имея под рукой преданных мне друзей, я не без сожаления припоминаю, что во времена моего студенчества ни одного друга, благотворно влиявшего на мое нравственное и умственное развитие, не встретил я среди множества знакомых мне дам и девушек. Многие скажут, что этого быть не может. Я и сам это знаю; как семья не без урода, так и прекрасный пол не без созданий, достойных всякой любви, веры и уважения. Были, конечно, счастливцы, которые встречали их. Но я во времена моего студенчества не был из их числа, а стало быть, не могу и хвастаться тем, чего не было.





ПРИЗНАНИЯ СЕРГЕЯ ЧАЛЫГИНА

Впервые — Литературная библиотека, 1867, т. 3—6, 8, 12.

Печатается по изд.: Полонский Я. П. Полн. собр. соч., т. 5. СПб., 1886.

Роман, написанный незадолго до напечатания, вызвал полемику в печати между И. С. Тургеневым и М. Е. Салтыковым-Щедриным. Тургенев считал этот роман «замечательным произведением» и полагал, «что нашей публике не часто предстоит читать вещи, более достойные ее внимания. «Признания» эти... принадлежат к роду литературы, довольно тщательно возделанному у нас в последнее время, а именно — к «воспоминаниям детства». Уступая известным «Воспоминаниям» графа Л. Н. Толстого в изящной отделке деталей, в тонкости психологического анализа, «Признания Чалыгина» едва ли не превосходят их правдивой наивностью и верностью тона — и во всяком случае достойны занять место непосредственно вслед за ними. Интерес рассказа не ослабевает ни на минуту; выведенные личности очерчены немногими, но сильными штрихами (особенно хорош декабрист, друг матери Чалыгина), и самый колорит эпохи (действие происходит около двадцатых годов текущего столетия) схвачен и передан живо и точно. Вполне удалось автору описание известного наводнения 1824 года так, как оно отразилось в семейной жизни: читатель присутствует при внезапном вторжении великого общественного бедствия в замкнутый круг частного быта; каждая подробность дышит правдой. Выражения счастливые, картинные попадаются на каждой странице и с избытком выкупают некоторый излишек вводных рассуждений — единственный и в сущности маловажный недостаток произведения г. Полонского» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. 15. М.— Л., 1968, с. 155).

С опровержением точки зрения Тургенева выступил Салтыков:

«Следуя указаниям г. Тургенева, мы с большим вниманием прочитали все 342 страницы «Признаний Чалыгина» и за всем тем не вынесли из этого

чтения ни общего, ни частного впечатления. Есть известная мягкость тона, которая (мы не отрицаем этого) не лишена некоторой привлекательности; есть намек на живой образ в лице матери Чалыгина и, пожалуй, в лице ее чичисбея Кремнева, но все это нимало не выкупает бессвязности и бесхарактерности целого... Какую мысль имел в виду г. Полонский, сочиняя свои «Признания»? Желал ли он представить нам просто картину русского дворянского воспитания, без всякого отношения к тем влияниям, которые имеют это воспитание на образование характера и дальнейшие судьбы человека? или, быть может, имел он в предмете проследить эти влияния и в художественном образе воспроизвести их благотворность или зловредность? — На все эти вопросы «Признания» не дают никакого ответа, а потому и критика будет совершенно права, если скажет, что сочинение это лишено живой основы и не вызвано никакою внутреннею потребностью духа. По этой же причине и лица, скученные в этом сочинении, кажутся не имеющими законного места, несмотря на то, что некоторые из них, взятые сами по себе, не лишены привлекательности и даже оригинальности. Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых лиц требуем мы *предвзятой* идеи, а в смысле общих намерений произведения) — нет и животворящего духа. Разрозненность, случайность, вялость — вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. IX. М., 1970, с. 398).

Нас не должно удивлять столь резкое расхождение в оценках Салтыкова-Щедрина и Тургенева. Страстный приверженец идеи общественного служения, Салтыков порой сокрушал литературные авторитеты, совершенно не принимая во внимание «табель о рангах». «В своих аналитических разборах и вытекающих из них приговорах Салтыков самобытен, смел, нелицеприятен и резок, нередко до сверхпредела. Он вовсе не считается со сложившейся репутацией авторов и произведений, о которых пишет. О некоторых вещах он высказывает мнения иногда прямо-таки ошеломляющие» (Макашин С. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е — 1870-е годы. Биография. М., 1984, с. 80).

Неистовая крайность Салтыкова и в данном конкретном случае объясняется тем, что критик не обнаружил в романе Полонского четкой литературно-общественной позиции, близкой его убеждениям. Декабристская тема, искусно завуалированная Полонским, вероятно, по мнению Салтыкова, не давала достаточного материала для исторической оценки этого общественного движения. Не следует также забывать, что Салтыков скептически относился к последующей судьбе многих деятелей, участвовавших в декабристском движении и в деле петрашевцев. По справедливому мнению С. А. Макашина, Салтыков испытывал «недоверие к зрелости и постоянству оппозиционных движений» (Макашин С. Там же, с. 466). Недаром декабриста Кремнева Салтыков иронически именует «чичисбеем» матери Чалыгина.

Этой рецензией Салтыкова полемика завершилась. В последующие годы неприязненных отзывов об авторе «Признаний Сергея Чалыгина» в «Отечественных записках» не появлялось. Более того, Салтыков не воспротивился помещению в журнале в 1873 г. стихотворной повести Полонского «Мими».

Для современного читателя роман Полонского — художественное и мемуарно-историческое повествование, помогающее уяснить атмосферу петербургской жизни 1820-х гг., понять, как отразилось декабристское десятилетие на мыслях и чувствах последующих поколений. Говорить в полный голос о движении декабристов в подцензурной русской печати было невозможно. Поэтому Полонский выбрал такую форму повествования, которая «поместила» описываемые события в ретроспективное восприятие ребенка, подростка. Реальные имена декабристов в романе не называются; лишь однажды мимоходом упомянут член Северного общества Г. С. Батеньков, осужденный по III разряду и не принадлежавший к руководителям движения, чьи «крамольные» имена могли бы насторожить цензурное ведомство.

Полонский писал намеками, о многом не договаривал, о многом умалчивал. Декабристская тема, преодолевая многочисленные препятствия, прорывалась на страницы русских журналов; естественно, что наиболее интересные декабристские материалы печатались не в России, а за границей, в «Полярной звезде» Герцена — Огарева. Но Полонский хотел издать свой роман на родине, и ему приходилось скрывать осведомленность в событиях декабрьского восстания и судьбах его участников, зашифровывать источники сведений, которыми он пользовался. И только проникновение в ткань повествования, в его подтекст позволяет выявить то, что едва вырисовывается в романе.

Из студенческих воспоминаний Полонского известно, что он находился в приятельских отношениях с сыном декабриста М. Ф. Орлова. В беседах, которые велись в гостиной Орловых, молодой Полонский мог почерпнуть ценные подробности о движении декабристов, о нравственно-этических идеалах его участников. Вероятно, в доме Орловых Полонский встречался и с Александром Раевским, старшим братом жены М. Ф. Орлова. Именно Александр Раевский является одним из прототипов романа Полонского — Равинина. Когда юный Чалыгин спрашивает, отчего Равинин не любит Пушкина, мать объясняет ему: «Оттого, душа моя, Равинин не любит Пушкина, что самолюбив как черт... Пушкин раз сказал Ч — ву: «Эх, брат, ужасно как мне трудно моими стихами угодить этому Равинину: вечно к пустякам прицепится; но за это-то я и люблю его: смерть хочется написать что-нибудь такое, чтобы даже и Равинину могло понравиться».

Сокращение «Ч — ву» безошибочно расшифровывается как Чаадаеву, а история отношения Равинина к Пушкину соответствует реальной сложности отношений, которые существовали между Пушкиным и Александром Раевским. Перед нами художественно преображенные отголоски беседы Пушкина с Чаадаевым об Александре Раевском, беседы, о которой Полонский, вероятнее всего, слышал в доме М. Ф. Орлова. Кстати, скептиче-

ское отношение к Пушкину сближало Раевского и декабриста Д. И. Завалишина. Поэт-революционер М. Л. Михайлов, находясь в ссылке в Сибири, встречался с Завалишиным. Об этих встречах Полонскому могла рассказывать Л. П. Шелгунова, которая вместе с Н. В. Шелгуновым ездила в Сибирь к Михайлову.

В Москве студент Полонский бывал в доме Елагиных-Киреевских; это семейство состояло в многолетней переписке с Г. С. Батеньковым. К тому же в их круге постоянно бывали родственники сосланных декабристов.

Как отметил Тургенев, в романе живо и точно передан «колорит эпохи». Надо думать, что этому способствовало знакомство с А. С. Смирновой-Россет. Близкая приятельница Жуковского и Пушкина, фрейлина двора, Смирнова-Россет была широко осведомленным лицом и остроумной собеседницей. С большой долей вероятности можно предполагать, что ее рассказы о жизни в Петербурге в 1820-е гг. оказали неоценимую услугу Полонскому-романисту.

Однако устные свидетельства современников служили Полонскому лишь психологической и исторической канвой для написания художественного произведения, для воссоздания достоверного колорита эпохи. В романе представлена интенсивная, духовно насыщенная жизнь матери маленького героя. Это богато одаренная натура, своими идейными и душевными устремлениями близкая к декабристским кругам. Ее друг декабрист Кремнев — собирательный персонаж; в нем воплотились лучшие моральные качества русских просвещенных людей 1810—1820-х гг.

«Признания Сергея Чалыгина» не были завершены. В письме от 25 ноября 1869 г. Полонский писал Тургеневу, что не видел печатного органа, где бы роман мог быть опубликован; в том же письме он сообщал план продолжения романа.

«Юный Чалыгин вдруг оказывается без бумаг и без всяких доказательств на свое законное происхождение. (Друг матери его, взятый под арест, забыл эти бумаги у себя в кармане, и они были отобраны следственной комиссией или жандармами.)

Родные отца Чалыгина пользуются этим — интригуют и расставляют сети, чтобы захватить в свои руки все имение его матери.

Юношу не принимают в университет.

Является подставной, ложный отец, который открывает ему тайну его рождения — тайну вымышленную — и повергает его в совершенное отчаяние (в первой части — это то самое лицо, которое садится в погребальную карету и наблюдает за мальчиком). Является необходимость записаться в податное сословие. Юношу пугают рекрутством, палками, советуют бежать за границу с фальшивым паспортом — и в то же время уговаривают поймать беглеца и засудить его.

Все прежние мечты и надежды — все гибнет, любовь изменяет. Отчаянные замыслы растут в голове, вдруг — письмо из Сибири от друга его матери *(представь себе, забыл его фамилию)* — извещает его о его документах и наводит его на следы, где их искать.

Тайно от мнимого друга уезжает он в Питер хлопотать — старые встречи и проч.

Десять лет Чалыгин борется с людьми николаевского времени, с бюрократией, с полицией, с своими страстями и, когда достигает признания прав своих, чувствует, что он уже устал для дела, что прошла его молодость, что нечего ожидать.

Что значит в России человек без документов и как вся жизнь от них зависит — вот что хотел я показать.

И конец должен был быть такой же грустный, как начало романа, и заключать в себе *грусть николаевского времени.*

Вот план романа в немногих словах. Судьба всех других лиц также мною была обдумана — все должно было пройти перед глазами Сережи Чалыгина и задевать за его судьбу и отражаться на его характере» (Литературное наследство, т. 73, кн. 2. М., 1964, с. 221).

Полстолетия спустя Ю. Н. Тынянов в «Поручике Киже» представил обратную, гротескную ситуацию, когда описка в бумаге «создала» фантом, мифического поручика, который никогда не существовал, но тем не менее неукоснительно «проходил» службу. Сопоставление плана ненаписанных частей «Признания Сергея Чалыгина» с повестью Тынянова показывает злободневный характер замысла Полонского, и можно лишь сожалеть, что внешние обстоятельства помешали писателю осуществить его.

[1] А. Г. *Орлов* (1737—1807) — генерал-аншеф, удостоенный за победы в морских сражениях у Наварина и Чесмы (1770) титула Чесменского.

[2] Речь идет о событиях, связанных с вступлением русских войск в Париж в 1814 г. (подробнее об этом см.: М. Ф. О р л о в. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963).

Ш.-М. *Талейран* (1754—1838) — известный французский дипломат.

[3] А. А. *Аракчеев* (1769—1834) — военный министр и всесильный временщик при Александре I, инициатор создания военных поселений; проводил политику крайней реакции, являясь фактическим руководителем государства в 1815—1825 гг.

[4] Речь идет о французской писательнице Анне Луизе Жермене *де Сталь* (1766—1817), которую высоко ценил Пушкин; его статья «О г-же Сталь и о г. А. М—ве» была опубликована в «Московском телеграфе» в 1825 г.

[5] Первые строки басни французского писателя Лафонтена (1621—1695) «Кузнечик и Муравей».

[6] М. М. *Херасков* (1733—1807) — писатель, автор эпической, в духе классицизма, поэмы «Россияда» (1779) и многих пьес.

[7] И. И. *Дмитриев* (1760—1837) — поэт, баснописец.

[8] Сборник стихотворений поэта-сатирика И. М. Долгорукова (1764—1823) «Бытие сердца моего» вышел в свет в 1802 г.

[9] *Чайльд-Гарольд* — герой поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

[10] Имеются в виду романтические повести А. А. Бестужева-Марлинского («Замок Нейгаузен» и др.).

[11] Перифраза выражения Пушкина в «Истории села Горюхина»: «...принял бразды правления...»

[12] Франсуа *Фенелон* (1651—1715) — французский писатель, автор утопического романа «Приключения Телемака» (1699).

[13] Поэма английского писателя Джона *Мильтона* (1608—1674) «Потерянный Рай» (1667) впервые появилась в русском переводе в 1777 г.; в конце XVIII в. и в первой половине XIX в. эта поэма многократно издавалась в русском переводе.

[14] И. И. *Хемницер* (1745—1784) — поэт, автор книги (изданной анонимно) «Басни и сказки N. N., в стихах» (1779).

[15] *«Атала, или Любовь двух дикарей»* (1801) — повесть французского писателя Ф.-Р. Шатобриана (1768—1848).

[16] *«Поль и Виргиния»* (1787) — роман французского писателя Бернардина де Сен-Пьера (1737—1814).

[17] *«Кадм и Гармония»* (1786) — любовно-авантюрный роман М. М. Хераскова.

[18] Н. М. Карамзину принадлежат переводы следующих произведений французской писательницы М.-Ф. Жанлис: «Роза, или Палаты и хижина», «Вольнодумство и набожность», «Все на беду. История эмигранта», «Предубеждения женщины. Анекдот», «Знакомство госпожи Жанлис с Жан-Жаком Руссо», «Свидание госпожи Жанлис с Вольтером», «Меланхолия и воображение» и др. (см. «Повести госпожи Жанлис, переведенные Н. Карамзиным», ч. I—II, изд. 2-е, М., 1816).

[19] *Масонство* — религиозно-этическое движение, возникшее в Западной Европе в начале XVIII в., имело многих последователей и в России. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозно-братском союзе. С течением времени масонство превратилось в реакционное общественное движение и в настоящее время используется в своих целях империалистическими кругами.

[20] И. Ф. *Богданович* (1743—1803) — поэт, автор шутливой, стилизованной под русские народные сказки поэмы «Душенька» (1778, полн. изд. 1783).

[21] *Бурса* — духовная семинария.

[22] *Кутья* — здесь: воспитанник духовного учебного заведения.

[23] *Малек-Адель* — главный герой романа из истории крестовых походов французской писательницы М. Коттен (1770—1807) «Матильда» (1805); Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...» отмечал «чопорность и торжественность» ее романов. Упоминание таких незначащих и ныне совершенно забытых произведений, как «*Источник святой Екатерины*» и «*Таинства*» *какого-то замка* должно было характеризовать невзыскательность читательского вкуса героев романа.

[24] Никола *Буало-Депрео* (1636—1711) — французский поэт, литературный критик, теоретик классицизма.

[25] *«Тартюф»* (пост. 1664) — знаменитая комедия Мольера.

[26] *Фоблас* (Фоблаз) — герой романа французского писателя Луве де Кувре (1760—1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787—1790).

[27] Речь идет или о баснописце и журналисте — А. Е. Измайлове (1779—1831), или о писателе и переводчике В. В. Измайлове (1773—1830).

[28] М. М. *Сперанский* (1772—1839) — государственный деятель; по окончании семинарии и духовной академии был преподавателем в семинарии; с 1802 г. на государственной службе, где занимает высокие посты; с 1808 г. он ближайший советник Александра I. В 1812 г. был отстранен от всех должностей и сослан. В 1816 г.— возвращен на службу сначала губернатором Перми, а затем ген.-губернатором Зап. Сибири, с 1821 г.— член Гос. совета.

[29] *Тать* (славянск.) — вор, похититель. Героиня Полонского употребляет выражение *тать в нощи* в иносказательном смысле, предчувствуя наступление социальных перемен в России.

[30] *Табельный день* — день, свободный от служебных занятий и от учения в учебных заведениях.

[31] Об Аракчееве см. коммент. 3. С воцарением Николая I Аракчеев утратил былое влияние на государственные дела, сохранив лишь пост главного начальника военных поселений.

[32] Романтические и свободолюбивые порывы немецких поэтов Фридриха *Шиллера* (1759—1805) и Людвига *Уланда* (1787—1862) должны были, по мысли Полонского, характеризовать миросозерцание его героя, учителя-идеалиста Фреймана.

[33] Фрейман идеализирует положение Германии до войн с Наполеоном; на самом деле наполеоновская Франция потрясла феодальные порядки в немецких землях, однако в дальнейшем наполеоновские войны утратили прогрессивный характер и борьба с Францией стала борьбой за освобождение Германии от иностранного владычества.

[34] В творчестве немецкого писателя Фридриха *Рихтера* (псевд. Жан Поль; 1763—1825) просветительские идеи получили своеобразное отражение в произведениях, написанных в духе сентиментализма. В незавершенном романе «Озорные годы» (1804—1805) сентиментально-романтические черты сочетаются с элементами реализма.

[35] Г. С. *Батеньков* (1793—1863) — декабрист, подполковник корпуса инженерных путей сообщения, поэт, публицист. Осужден на 20 лет каторги.

[36] Речь идет об убийстве фаворитки Аракчеева Настасьи Минкиной крестьянами, которые были доведены до крайности ее жестоким обращением с ними.

[37] Известие о создании в России *Библейского общества* (1812) было неодобрительно встречено Ватиканом. Католическая церковь, и в первую очередь иезуиты, с опаской глядели на усиление православия, полагая, что

этот процесс приведет к ослаблению позиций католицизма в России. И действительно, в 1815 г. был издан указ об изгнании из Петербурга иезуитского ордена. В романе отражено осложнение отношений между Россией и Ватиканом в 1810-е гг.

[38] *Шарлотта* и *Вертер* — герои романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

[39] Д. И. *Хвостов* (1756—1835) — поэт-графоман, над тяжеловесными стихотворениями которого неустанно потешались его современники.

[40] *«Риторика»* — учебное пособие, составленное Н. Ф. Кошанским (1781—1831), профессором русской и латинской словесности в Царскосельском лицее.

[41] *Элевсинские таинства* (мистерии) — ежегодные религиозные празднества в Древней Греции (в Элевсине) в честь богини плодородия Деметры. Ритуальное священнодействие, сопровождавшееся техническими чудесами (вспышки яркого света, громовые раскаты и пр.), символизировало странствия Деметры в поисках дочери, похищенной Аидом.

[42] К. П. *Брюллов* (1799—1852) в 1820-е гг. жил в Италии, где изучал живопись итальянских мастеров и писал свою знаменитую картину «Последний день Помпеи».

[43] Известная русская актриса Е. С. *Семенова* (1786—1849), исполнительница роли Федры в одноименной трагедии Расина.

[44] Перевод «Федры» Расина (1824) принадлежал драматургу М. Е. Лобанову (1787—1846).

[45] Из стихотворения «Аббадона» (1814).

[46] *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель, автор биографий знаменитых людей, известных под названием «Сравнительные жизнеописания».

[47] По-видимому, герой имеет в виду Союз благоденствия (1818—1821).

[48] Мария Анна Аделаида *Ленорман* (1772—1843) — французская гадалка.

[49] *Вольные хлебопашцы* — особый разряд крестьян, освобожденных от крепостнической зависимости. По указу от 23 февраля 1803 г. помещикам разрешалось отпускать крестьян на волю с наделением их землей за выкуп; указ вызвал недовольство среди дворян, и воспользовались им очень немногие.

[50] Речь идет о междуцарствии, которое наступило в России после скоропостижной смерти в Таганроге Александра I. Тайный отказ Константина Павловича (1779—1831), фактического наместника Королевства Польского с 1814 г., от прав на российский престол создало обстановку неуверенности в правительственных верхах и ускорило выступление декабристов на Сенатской площади.

[51] Междуцарствие вызвало сильное волнение среди дворовых, возбудило их надежду на установление в России «сермяжного», то есть крестьянского царства.

[52] М. А. *Милорадович* (1771—1825) — генерал, военный губернатор Петербурга; во время восстания декабристов 14 декабря 1825 г. был смертельно ранен П. Г. Каховским.

[53] Описывая дни междуцарствия, Полонский верно изображает смятение и неуверенность, царившие во всех слоях петербургского общества. Писатель дает социальное и психологическое объяснение «исторического события» — восстания декабристов.

[54] *Исаакиевский* собор в Петербурге строился с 1818 по 1858 гг.

[55] И. С. *Барков* (1732—1768) — поэт и переводчик, автор фривольных стихотворений, расходившихся в списках.

[56] См. коммент. 31.

[57] Речь идет о возмущении военных поселенцев в Чугуеве (1819), восстании Семеновского полка (1821) и восстании декабристов (1825).

[58] В истории Ильина, возможно, нашли отражение факты биографии Чаадаева. Как известно, после опубликования «Философического письма» Чаадаев, по распоряжению Николая I, был объявлен сумасшедшим. Упоминание о шедевре, который Ильин писал десять лет, также наводит на мысль о Чаадаеве, о его затворничестве в течение ряда лет, когда он трудился над «Философическими письмами». Наконец, слова о том, что Ильин состоял в переписке с французским писателем-романтиком Ламартином (1790—1869; автор сб. «Поэтические раздумья» и «Новые поэтические раздумья»), восходят, вероятно, к сведениям о том, что Чаадаев состоял в переписке с Шеллингом. Зашифровывая реальные факты, Полонский заменил имя немецкого философа на более безобидное (в те годы) имя Ламартина.

[59] Начальные строки стихотворения К. Батюшкова «Разлука».

ЖЕНИТЬБА АТУЕВА

Впервые — *РВ*, 1869, т. 81, кн. 5. Печатается по изд.: П о л о н с к и й Я. П. Полн. собр. соч., т. 4. СПб., 1886.

«Женитьба Атуева» написана Полонским на злободневную тему, которая не переставала волновать умы современников на протяжении 1860-х гг. «Отцы и дети» Тургенева вызвали бурную реакцию в самых разных слоях русского общества. Слово «нигилист» приобрело чрезвычайно емкое значение. «Выпущенным мною словом «нигилист»,— писал Тургенев в статье по поводу «Отцов и детей»,— воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения — почти в клеймо позора» (об этом см.: А л е к с е е в М. П. К истории слова «нигилизм».— Сборник отделения русского языка и словесности АН СССР, т. 101. Л., 1928, № 3; Б а з а н о в В. Из литературной полемики 60-х годов. Петрозаводск, 1941;

Кузнецов Ф. Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово». М., 1983).

Споры о романах Тургенева «Отцы и дети» и Чернышевского «Что делать?» велись с поразительной интенсивностью. В 1860-е и в начале 1870-х гг. появилось множество антинигилистических романов («Некуда» и «На ножах» Лескова, «Взбаламученное море» Писемского, «Панургово стадо» Крестовского и др.), авторы которых пытались развенчать «новых людей». Отзвуки неумолкавшей литературной полемики то явно, то подспудно возникают и в «Женитьбе Атуева». Но в отличие от авторов антинигилистических романов Полонский стремится не осудить, а понять новое поколение, их жизненные представления, взгляды на современную семью, на вопросы морали и нравственности — и то, как эти теоретические выкладки, порой доходившие до догматической узости, корректируются жизнью с ее живой практикой.

Заглавие рассказа указывает на стремление писателя соотнести образ главного героя с Александром Адуевым из «Обыкновенной истории» Гончарова. В этом романе Адуев, наивный провинциальный юноша, начавший с идеально романтических представлений о любви, о жизни, об обществе, пройдя суровую школу действительности с ее отрезвляющими уроками, становится преуспевающим дельцом и женится по расчету на юной девушке с большим приданым, и в этой женитьбе залог новой драмы.

Не такова история, рассказанная Полонским. Атуев, поверхностно увлеченный модой на нигилизм, поначалу отвергает семейные устои. Но вскоре герой влюбляется и, несмотря на боязнь прослыть отсталым человеком, женится по любви.

«Семейство вздор, семейство блажь»,—
Любили все промолвить гневно,
А в глубине души все та ж
«Княгиня Марья Алексевна»...»,—

писал Александр Блок, в семье матери которого был культ Полонского, и не удивительно, что некоторые мотивы «Возмездия» навеяны творчеством Полонского. Поветрие на нигилизм, на внешний радикализм взглядов оказалось распространенным явлением в русской жизни, что засвидетельствовано поэмой Блока, действие которой происходит два десятилетия спустя после событий, описанных в «Женитьбе Атуева».

Старая тетушка в рассказе называет свою племянницу Людмилу Атуеву «нигилисткой» за ее протест против домостроевских нравов царской России, ущемлявших естественные права женщин. Писатель показывает, как малейшее отступление от общепризнанных представлений и норм вызывает обвинение в «нигилизме».

Не исключено, что, создавая образ Людмилы Григорьевны Атуевой, Полонский мысленно видел перед собой Людмилу Петровну Шелгунову. Людмила Атуева, на первый взгляд, ничем не похожа на Людмилу Шелгунову. Однако и в героине рассказа, и в живой женщине, современнице писателя, с которой он близко и живо общался, явно преобладает «неиска-

женная природа», обаяние и очарование, воспетые Полонским в стихах, посвященных Л. П. Шелгуновой в марте 1856 г. (Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в двух томах, т. 2. М., 1967, с. 64):

Что ждет меня — венец лавровый
Или страдальческий венец?!
Каков бы ни был мой конец —
Я в жизнь иду, на все готовый.
Каков бы ни был мой конец —
Благослови мою дорогу!
Ты моему молилась богу,
Я был богов твоих певец.

Ты моему молилась богу,
Когда и сердце и дела
Ты на алтарь любви несла —
Была верна любви залогу.
Я был богов твоих певец,
Когда я пел ума свободу,
Неискаженную природу
И слезы избранных сердец.

Судьба литературного героя никогда полностью не «накладывается» на жизненный путь его прототипа; закон художественного творчества исключает их адекватность. Однако связующее начало,— в одних случаях более явное, в других — более потаенное,— между ними может быть обнаружено. И чем значительнее отличия внешней канвы их «биографий», тем на более глубоком эмоционально-психологическом уровне раскрывается родство их душ. Именно такова, по-видимому, генетическая связь между Людмилой Шелгуновой и Людмилой Атуевой.

В образе бескорыстного друга Атуева, разночинца Тертиева, возможно найти черты, роднящие его с Лопуховым и Кирсановым из романа Чернышевского «Что делать?». Стоит лишь вспомнить разговор Атуева с доктором Бурко, воплотившим в себе устремления коммерческой медицины. «У Тертиева никогда не будет практики»,— заявляет этот хитрый и «деловой» человек, и в речи его звучит иронически пренебрежительная насмешка над непрактичным коллегой. Подобно героям Чернышевского, Тертиев прежде всего человечен, это подлинный интеллигент, пролетарий умственного труда. Самому писателю была близка «доверенность великая к бескорыстному труду», как писал Некрасов в знаменитой «Песне Еремушке».

В «Женитьбе Атуева» Полонский несколько раз упоминает роман Чернышевского, констатирует неотразимое влияние этого произведения на умы молодого поколения, но в то же время высказывает скептическое отношение к утопическим картинам всеобщего счастья в алюминиевых дворцах, изображенных писателем в четвертом сне Веры Павловны. Как известно, споры вокруг этого романа не ограничивались антинигилистическими выпадами консервативных критиков. Даже в передовом демократическом лагере не было единого мнения о романе Чернышевского (об этом см.: Кулешов В. И. Этюды о русских писателях. М., 1982, с. 215—216).

[1] Имеется в виду пожар торгового Апраксинского двора в Петербурге 28 мая 1862 г.; распространились провокационные слухи, что поджог устроен революционерами. Когда, в день пожара Апраксина двора, И. С. Тургенев появился на Невском проспекте, он услышал: «Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!» Провокация с неимоверной быстротой была подхвачена реакционной печатью» (Б а з а н о в В. Из литературной полемики 60-х годов, с. 76). Для характеристики идейной позиции Полонского существенно, что он, упоминая об этом пожаре, не считает нужным повторять провокационные слухи. Между тем в антинигилистических романах Писемского («Взбаламученное море»), Лескова («На ножах») и др. петербургские пожары изображены как дело рук «нигилистов».

[2] *Куры строить* — ухаживать (от ф р. faire la cour).

[3] Падение Севастополя и поражение России в Крымской войне побудило правительство приступить к подготовке социальных реформ 1860-х гг.

[4] Людвиг *Фейербах* (1804—1872) — немецкий философ-материалист.

[5] Людвиг *Бюхнер* (1824—1899) — немецкий философ, сторонник идеологии механистического материализма.

[6] Речь идет о широком распространении в России утопических идей социалистов *Сен-Симона* (1760—1825), сторонника концепции «нового христианства», включавшей постулат «все люди — братья», и *Фурье* (1772—1837), полагавшего, что будущее общество станет «строем гармонии» и разумно организованные трудовые армии преобразуют общественную жизнь на земле. Знаменательно, что в одном ряду с сенсимонизмом и фурьеризмом упоминается в рассказе самое передовое явление общественной мысли Западной Европы — коммунизм, правда, без уточнения, имеются ли в виду идеи утопического или научного коммунизма.

[7] П.-Ж. *Прудон* (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма.

[8] Реплика Чацкого из «Горя от ума» (д. 1, явл. 7).

[9] Речь идет о Гражданской войне в Америке между Севером и Югом (1861—1865), вызванной отказом южных штатов отменить рабство негров.

[10] Возможно, имеется в виду рецензия В. А. Зайцева на «Единство рода человеческого» Катрфажа (Русское слово, 1864, № 3), в которой автор, принимая теорию К. Фохта о происхождении различных человеческих рас от разных пород обезьян, обосновывал мысль о неравенстве белой и цветных рас, в частности негров.

[11] В рассуждениях Атуева отразилось особое понимание термина «реализм», возникшее в 1860-е гг. под влиянием статьи Писарева «Реалисты» (1864). Критик утверждал, что «вполне последовательное стремление к пользе называется реализмом и непременно обусловливает собою строгую экономию умственных сил, то есть постоянное отрицание всех умственных занятий, не приносящих никому пользы» (П и с а р е в Д. И. Литературная критика в трех томах, т. 2. Л., 1981, с. 21).

Ироническое отношение Атуева к словам тетушки, которая считала реалистами Гете и Пушкина, также отражает полемику, связанную со

статьей Писарева. Критик давал строгую оценку «филистерской трусости» «титана умственного мира»: «если бы у Гете, кроме колоссальных сил, было еще стремление прилагать эти силы как следует, то, без сомнения, он сделал бы в своей жизни неизмеримо больше прочного и существенного добра» (т а м ж е, с. 117). Скрытая полемика Полонского со статьей «Реалисты», вероятно, была вызвана безапелляционным заявлением Писарева о том, что отсутствие стремления к общей пользе привело к появлению отъявленных тунеядцев, считающих себя русскими лириками (т а м ж е).

[12] *Герман* и *Доротея* — герои одноименной поэмы Гете.

[13] Полонский перефразирует строки Лермонтова из стихотворения «На светские цепи...»: «Среди ледяного,//Среди беспощадного света...»

[14] Возможно, имеется в виду меценат, редактор «Русского слова» граф Г. А. Кушелев-Безбородко, женатый на красивой и весьма экстравагантной женщине, с которой он жил в разъезде.

[15] *Деист* — сторонник религиозно-философской доктрины, которая признает божественное начало первопричиной вселенной, но отвергает дальнейшее вмешательство бога в самодвижение природы. *Метафизик* — здесь: представитель философского учения о сверхчувственных (недоступных опыту) принципах бытия.

[16] Романы французской писательницы *Жорж Санд* (1804—1876), сторонницы женской эмансипации, пользовались широкой популярностью в России. Особый успех они имели в 1860-е гг., когда попытки установить женское равноправие из области теоретических построений перешли в сферу практического осуществления.

[17] Намек на повесть Н. Г. Помяловского (1835—1863) «Мещанское счастье» (1861), в которой сочувственно изображены разночинцы.

[18] Н. П. *Суслова* (1843—1918) — первая русская женщина, получившая диплом доктора медицины.

[19] Намек на полемику между печатными органами демократического направления «Современником» и «Русским словом» (см.: К у з н е ц о в Ф. Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово», гл. «Мирные реформы», «Мечта об общечеловеческой солидарности» и др.).

[20] А.-В. *Шлегель* (1767—1845) — немецкий историк литературы, теоретик романтизма в Германии.

[21] Т.-Б. *Маколей* (1800—1859) — английский историк. Здесь, возможно, намек на статьи (в «Русском слове») Г. Е. Благосветлова «Ораторская деятельность Маколе» (1861) и В. А. Зайцева «Маколей» (1865).

[22] Имеется в виду Михайловский театр в Петербурге, открытый в 1833 г., в котором гастролировали иностранные труппы; с 1918 г. Малый театр оперы и балета.

[23] Многотомное издание всех законов Российской империи, подготовленное под фактическим руководством М. М. Сперанского в 1826—1834 гг.

[24] В греческой мифологии обитель блаженных, куда попадают после смерти герои, любимцы богов.

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания Полонского «Старина и мое детство» дают богатый познавательный материал для воссоздания быта и нравов провинциальной России десятых — двадцатых годов XIX столетия.

По словам самого Полонского, отдельные эпизоды детских лет нашли отражение в его рассказах «Груня», «Статуя весны», «Дом в деревне» и в романе «Признания Сергея Чалыгина». Однако жанровая природа художественной прозы не позволяла возобладать в них автобиографической стихии. В воспоминаниях же нет вымышленного сюжета; их основная творческая задача — наиболее полное и зримое воспроизведение прошедшего.

Писатель создал выразительные образы своих родных и их ближайшего окружения. Особенно колоритно изображена бабушка по линии матери, незаконнорожденная дочь одного из владетельных графов Разумовских. Ее молодость прошла в годы царствования Екатерины II, и словно непередаваемый оттиск XVIII века навсегда остался в комнатах дома, заставленных старинными раритетами.

Менее интересны воспоминания Полонского, посвященные годам его учения в рязанской гимназии (см. Русская школа, 1890, № 1 и 2).

Юношеские воспоминания Полонского, ставшего с осени 1838 г. студентом Московского университета, вводят читателя в круг умственных интересов интеллигенции сороковых годов прошлого столетия. Мелькают имена Фета и Аполлона Григорьева, с которыми Полонский познакомился вскоре после приезда в Москву. Мемуарист упоминает о доме опального М. Ф. Орлова, о литературном салоне Елагиных-Киреевских, об участниках кружка Н. В. Станкевича, о славянофилах и западниках, об артистах Малого театра и еще о многих лицах, прочно вошедших в историю русской культуры. Но пишет он обо всем и обо всех кратко. Чем же вызвана лапидарность этих студенческих воспоминаний? Конечно, не забывчивостью автора. Память у писателя была цепкая, он отличался незаурядной наблюдательностью и зоркостью. По-видимому, некоторая «пунктирность» воспоминаний, посвященных этим годам, объясняется различными причинами. О многом, в частности, о М. Ф. Орлове и его декабристском прошлом, еще нельзя было писать, не прибегая к умолчаниям. Кроме того, Полонский — провинциальный юноша, стесненно чувствовал себя в тех литературно-общественных салонах, куда был вхож благодаря приятельским, но отнюдь не дружеским отношениям с сыном М. Ф. Орлова и другими студентами. «Ни молодой Орлов — добрый малый, но часто бестактный, который невольно оскорблял меня, да и самому себе вредил своей бестактностью; ни Барятинский, ни мой рязанский сосед и приятель детства Кублицкий, ни князь Мансырев — не были в числе друзей моих»,— вспоминал Полонский. Легко ранимый, он предпочитал умалчивать о многом, что хранилось в памяти. И, наконец, еще одна причина заключалась в том, что многие переживания и впечатления тех лет уже были ранее воспроизведены Полонским в поэме мемуарного характера «Свежее преданье».

Полонский начал писать свои воспоминания в конце 1880-х гг., а закончил их незадолго до смерти.

Старина и мое детство

Впервые — *РВ*, 1890, № 2, с. 110—137, № 6, с. 38—55, 1891, № 5, с. 33—48.

[1] Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. восьмая, строфа LI).

[2] Пересказ известных строк из «Евгения Онегина»:

Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц...
(гл. третья, строфа XXX).

«Фрейшиц» («Вольный стрелок»; 1820) — опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826).

[3] Эти «детские» рассказы перепечатаны в кн.: Полонский Я. П. Полн. собр. соч., т. 4. СПб., 1886.

[4] Полонский описывает обстановку «мрачного семилетия», когда царское правительство, напуганное революциями 1848 г. в Западной Европе, ожесточило цензурную политику: свирепствовал так называемый «бутурлинский» цензурный комитет.

[5] *Квазимодо* — уродливый горбун из романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831).

[6] Перечислены имена писателей, переводы произведений которых завоевали широкую популярность в России у читателей, не отличавшихся взыскательным литературным вкусом. Это английская писательница Анна *Радклиф* (1764—1823), писавшая в жанре «готического» романа «тайн» («Сицилийский роман», «Роман в лесу», «Удольфские тайны» и др.); французский писатель Ф.-Г. *Дюкре-Дюменель* (Дюминиль; 1761—1819), сочинитель банально-сентиментальных и «моральных» повестей; немецкий писатель Август *Лафонтен* (1759—1831), автор более ста пятидесяти томов романов, написанных в традициях сниженного, мелодраматического сентиментализма; французская писательница *Жанлис* Мадлен-Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746—1830), создательница нравоучительных повестей и романов.

[7] Корни «натуральной школы» были более глубокими, нежели полагал Полонский. Изображение крепостных дворовых, конечно, входило в сферу интересов писателей «натуральной школы», но отнюдь не исчерпывалось этой стороной социальной жизни России. На самом деле первые рассказы и повести писателей этого литературного направления, так называемые «физиологические очерки», описывали жизнь городской бедноты.

[8] Н. М. *Карамзин* (1766—1826) — писатель, историограф; пользовался особым расположением Александра I; многотомный труд Карамзина «История Государства Российского», в обход обычных установлений, печатался без цензуры. В. А. *Жуковский* (1783—1852) — поэт, воспитатель наследника престола Александра Николаевича. Поэт И. И. *Дмитриев*

в 1796—1814 гг. занимал высокие посты обер-прокурора сената, министра юстиции и др.

[9] Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 гг.

[10] П. А. *Плавильщиков* (1760—1812) — актер, драматург, автор комедий «Исправление, или Добрые родственники» (1785), «Мельник и сбитенщик» (1788), «Бобыль» (1790), «Сидельцы» (1803).

[11] *«Живописное обозрение»* (1835—1844) — московский научно-популярный, богато иллюстрированный еженедельный журнал энциклопедического характера.

[12] И. М. *Долгоруков* — поэт, драматург, актер-любитель, владелец домашнего театра (о нем см. также коммент. 8 на с. 446 наст. изд.).

[13] Я. Б. *Княжнин* (1742—1791) — драматург, поэт, переводчик, автор комедий «Хвастун» (1784—1785), «Чудаки» (1790) и др.

[14] В. А. *Озеров* (1769—1816) — драматург, автор трагедий «Ярополк и Олег» (1798), «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809).

[15] *Часослов* — православная церковная книга, содержащая молитвы и песнопения суточного круга богослужения, в том числе служб, называемых «часами».

[16] По библейскому мифу, праведник Ной с семьей спасся во время всемирного потопа на ковчеге (судне).

[17] Похищение Елены Прекрасной троянским царевичем Парисом послужило, согласно легенде, поводом к Троянской войне.

[18] *Ферула* — линейка для наказания.

[19] В. Ф. *Одоевский* (1803 или 1804—1869) — писатель, музыкальный критик.

[20] А. В. *Кольцов* (1809—1842) — поэт, сын воронежского прасола (оптового скупщика мяса, скота, рыбы и т. д.).

[21] *Сепия* — светло-коричневая краска из чернильного мешка морского моллюска (сепии).

Мои студенческие воспоминания

Впервые — Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», 1898, № 12, с. 641—688, со следующим редакционным пояснением: «Студенческие воспоминания Якова Петровича Полонского написаны им и доставлены нам незадолго до его кончины. Значение их очевидно. Они уясняют нам те условия, которые влияли на поэта в такую важную эпоху жизни, какими для всякого человека бывают университетские годы. Кроме того, в этих воспоминаниях то и дело упоминается о лицах, сыгравших видную роль в русской жизни и литературе. Следовательно, воспоминания Я. П. Полонского представляют очень существенный историко-литературный материал. Наконец, они доставляют то высокое удовлетворение, которое испытывает человек, когда вступает в общение с идеально настроенною душою: чувством доброты и человечности, задушевностью и благо-

родством стремлений, которыми проникнуты стихотворения покойного поэта, веет и от каждой строки его прекрасных воспоминаний».

[1] *М. Ф. Орлов* (1788—1842) — член Союза спасения и Союза благоденствия. *А. Ф. Орлов* (1786—1861), принимавший деятельное участие в подавлении восстания на Сенатской площади, упросил Николая I смягчить участь брата-декабриста. Подробно о М. Ф. Орлове см.: Павлова Л. Я. Декабрист М. Ф. Орлов. М., 1964.

[2] М. Ф. Орлов был женат на Екатерине Николаевне Раевской (1797—1885), дочери генерала, героя Отечественной войны 1812 г., Н. Н. Раевского.

[3] Мемуарист ошибается. Послание Пушкина «Орлову» (1819) адресовано не Михаилу Федоровичу, а его брату Алексею, который в те годы, по представлениям поэта, был воплощением просвещенной гражданственности.

[4] Полонский начал печататься в «Москвитянине» в 1841 г.

[5] Фет вспоминал: «Как университетское начальство, от попечителя графа Строганова до инспектора П. С. Нахимова, относилось к студенческому стихотворству, можно видеть из ходившего в то время по рукам шуточного стихотворения Я. П. Полонского по поводу некоего Данкова, писавшего мизерные стишки к масленой, под названием «Блины», а к святой, под названием «Красное яичко», и продававшего эти небольшие тетрадки книгопродавцу-издателю Лонгинову за десятирублевый гонорар.

Привожу самое стихотворение Полонского, насколько оно удержалось в моей памяти.

Второй этаж. Платон сидит,
Пред ним студент Данков стоит:
«Ну, вот, я слышал, вы поэт.
На масленице сочинили
Какие-то блины, и в свет
По пятиалтынному пустили».
«Платон Степаныч, я писал
Затем, что чувствовал призванье».
«Призванье? кто вас призывал?
Я вас не призывал, граф тоже;
То ж Дмитрий Павлович. Так кто же?
Скажите, кто вас призывал?»
«Платон Степаныч, я пою
В пылу святого вдохновенья,
И я мои стихотворенья
В отраду людям продаю».
«Опять не то, опять вы врете!
Кто вам мешает дома петь?
Мне дела нет, что вы поете:
Стихов-то не могу терпеть.
Стихов-то только не марайте!
Я потому вам говорю,
Что мне вас жаль. Теперь ступайте!»
«Покорно вас благодарю!»

(Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 210—211)

[6] «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого шел на московской сцене с 1837 г. Полонский имеет в виду статью Белинского «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», начало которой было напечатано в «Северной пчеле» (1838, № 4), а полный текст в «Московском наблюдателе» в марте и в апреле 1838 г.

[7] Московский философский кружок передовой молодежи, сыгравший заметную роль в развитии русской общественной мысли в 1830-е гг. Его участниками были И. П. Клюшников, В. И. Красов, В. Г. Белинский, К. С. Аксаков, В. П. Боткин, М. А. Бакунин и др. Во главе кружка стоял поэт и философ Н. В. Станкевич, который, по свидетельству Белинского, «всегда и для всех был авторитетом, потому что все *добровольно* и *невольно* сознавали превосходство его натуры над своею» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 11. М., 1956, с. 339).

[8] *Д. А. Ровинский* (1824—1895) — юрист, искусствовед, один из основоположников русской иконографии, исследователь гравюры и лубка, автор книг: «Русские народные картинки», «Материалы для русской иконографии», «Полное собрание гравюр Рембрандта», «Подробный словарь русских граверов 16—19 вв.» и др.

[9] Роман в стихах «Свежее преданье» см. в т. 1 наст. изд.

[10] Полонский приводит начальные строки «Песни» Клюшникова, напечатанной в *ОЗ* (1840, № 9).

[11] Впервые псевдонимом Θ (первая буква греческого слова «Феос» — бог) Клюшников подписал свои стихотворения, печатавшиеся в «Московском наблюдателе» в 1838 г.

[12] Поэтическое наследие Клюшникова было собрано в советское время С. И. Машинским — см.: Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.— Л., 1964, с. 487—544.

[13] Н. А. *Ратынский* (1821—1887) — воспитанник Московского университета, писатель, цензор.

[14] Именование Александра II «гуманнейшим» в конце 1890-х гг. являлось явным анахронизмом; однако поскольку речь идет о 1840-х гг., то оно отражает те надежды, которые молодое поколение возлагало на наследника престола.

[15] *П. Г. Редкин* (1808—1891) — профессор Московского университета; в своих лекциях пропагандировал гегелевскую философию права и государства.

[16] *К. Д. Кавелин* (1818—1885) — студент, с 1844 г. профессор Московского университета по кафедре истории русского законодательства.

[17] А. И. *Полежаев* (1804—1838) — поэт, отданный по распоряжению Николая I в солдаты за поэму «Сашка».

[18] А. С. *Хомяков* (1804—1860) — поэт, публицист, один из идеологов славянофильства.

[19] К. С. *Аксаков* (1817—1860) — литературный критик, публицист, поэт, один из идеологов славянофильства.

[20] Д. А. *Валуев* (1820—1845) — литератор, славянофил.

[21] Полонский приводит строки из своего романа в стихах «Свежее преданье».

[22] *А. Ф. Вельтман* (1800—1870) — писатель, автор цикла романов «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (1846—1863).

[23] Статьи Герцена «Дилетантизм в науке» были опубликованы в *ОЗ* (1843, № 1, 3, 5, 12).

[24] Дочь Н. М. Карамзина Екатерина была замужем за П. И. Мещерским, братом В. И. Мещерского. Молодые Карамзины — сыновья Н. М. Карамзина: Андрей (1814—1854) и Александр (1815—1888).

[25] *Д. Т. Ленский* (1805—1860) — актер, драматург, автор остроумных водевилей («Лев Гурыч Синичкин» и др.), переводчик проникнутых плебейским юмором песен французского поэта Беранже.

[26] М. С. *Щепкин* (1788—1863), В. И. *Живокини* (1806—1874), П. М. *Садовский* (1818—1872) — артисты московского Малого театра.

[27] Белинский переехал в Петербург в 1839 г., возглавлял литературно-критический отдел «Отечественных записок», а также участвовал в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду».

[28] *Л. И. Поливанов* (1838—1899) — педагог, литературовед, основатель одной из лучших московских гимназий (так называемой Поливановской) и ее директор.

[29] Ю. Ф. *Самарин* (1819—1876) — публицист, литературный критик, деятель славянофильского лагеря.

[30] *А. И. Тургенев* (1784—1845) — литератор, брат декабриста Н. И. Тургенева; находился в дружеских отношениях с Жуковским и Пушкиным, сотрудник пушкинского «Современника». После восстания декабристов А. И. Тургенев продолжал числиться на службе, но фактически большую часть времени жил в странах Западной Европы и бывал в России наездами. В Париже А. И. Тургенев был постоянным посетителем литературно-общественного салона мадам Рекамье, где познакомился и сблизился с известным французским писателем Ф.-Р. Шатобрианом. Известно, что Тургенев читал в московских салонах отрывки из ненапечатанных «Замогильных записок» Шатобриана.

[31] Начальные строки песни разбойников из повести Вельтмана «Муромские леса».

[32] Джакомо *Мейербер* (1791—1864) — композитор, автор опер «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835) и др.

[33] 31 июля 1841 г. Ю. Ф. Самарин писал в дневнике: «Лермонтов убит. Его постигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце, и при новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей: в ее поэтах. За что такая напасть... и что выкупают эти невинные жертвы» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 296).

[34] *В. И. Классовский* (1815—1877) — воспитанник Московского уни-

верситета, учитель, в 1836—1843 гг. преподавал латинский и русский языки.

[35] *М. Е. Кублицкий* (1821—1875) — писатель, историк театра, знаток русской церковной музыки.

[36] А. Ф. *Писемский* (1821—1881) — воспитанник Московского университета, окончил математическое отделение в 1844 г.; писатель.

[37] П. М. *Терновский* (Тарновский; 1798—1874) — протоиерей, профессор Московского университета.

[38] *Д. Л. Крюков* (1809—1845) — профессор римской словесности Московского университета. Стихотворение Фета «Памяти Д. Л. Крюкова» было написано в десятилетнюю годовщину со дня его смерти.

Когда светильником пред нашими очами
Ко храму римских муз ты озарял ступень
И чудилося нам невольно, что над нами
Горация витает тень,—

Впервые тихие и радостные слезы
Исторгнул дышащий из уст твоих певец:
Пленили нас его неблекнущие розы
И зеленеющий венец.

В замолкнувший чертог к Минерве и к Зевесу
Вслед за тобой толпа ликующая шла,—
И тихо древнюю ты раздвигал завесу
С громодержащего орла.

Но светоч твой угас. Надежного союза
Судьба не обрекла меж нами и тобой —
И, лиру уронив, поникла молча муза
В слезах над урной гробовой.

[39] Полонский читал сборник материалов, посвященных Востоку, вышедший в Париже в 1840 г.

[40] *В. А. Черкасский* (1824—1878) — воспитанник Московского университета, сблизившийся в 1850-е гг. со славянофилами, один из деятелей крестьянской реформы 1861 г.

[41] Т. Н. *Грановский* (1813—1855) — профессор всеобщей истории Московского университета, основоположник изучения в России средних веков; известен выступлениями против деспотизма и крепостничества; видный представитель идеологии западничества. Грановский пользовался исключительной популярностью в передовых кругах московского общества.

[42] *Ф. Л. Морошкин* (1804—1857) — профессор Московского университета по кафедре гражданских законов.

[43] Н. И. *Крылов* (1807—1879) — профессор Московского университета по кафедре римского права.

[44] *Пандекты* — сочинения древнеримских юристов по вопросам частного права. *Кодекс Юстиниана* состоит из 12 книг, включающих распоряжения (конституции) императоров.

[45] Н. В. *Сушков* (1796—1871) — драматург, журналист, поэт, издатель альманаха «Раут» (3 сборника; 1851—1853).

[46] Начальные строки стихотворения «К демону» (см. т. 1 наст. изд.).

[47] М. Д. *Ховрина* (1801—1877) — сестра московского обер-полицмейстера И. Д. Лужина; в 1840-е гг. была близка к литературным кругам; Герцен в «Былом и думах» сочувственно упоминает о литературном салоне М. Д. Ховриной (см.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII. М., 1956, с. 189—190).

[48] А. П. *Елагина* (в первом браке Киреевская; 1789—1877) — племянница Жуковского, мать И. В. и П. В. Киреевских и сыновей от второго брака — Василия, Николая и Андрея, студентов Московского университета. В салоне Елагиной встречались и вели страстные споры многие представители славянофильства и западничества. Посетителями салона в описываемые годы бывали также Чаадаев, Герцен, Грановский и др.

[49] Н. Х. *Кетчер* (1806—1886) — врач, поэт-переводчик, участник кружка Герцена — Огарева. Полонский вспоминает об эпиграмме И. С. Тургенева на Н. Х. Кетчера:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Кетчер переводил Шекспира прозой, точно, но тяжеловесно.

[50] *С. П. Шевырев* (1806—1864) — поэт, литературный критик, историк и теоретик литературы, профессор Московского университета.

[51] Н. М. *Языков* (1803—1846/47) — поэт, в 1840-е гг. был близок к славянофильским кругам.

[52] Первый сборник Фета «Лирический пантеон» вышел в 1840 г., несколько ранее первого сборника Полонского «Гаммы» (1844).

[53] Роман «*Проделки на Кавказе*» (ч. 1—2, СПб., 1844) был написан Е. П. Лачиновой (1813—1896). Роман, правдиво изображавший состояние дел на Кавказской кордонной (пограничной) линии, был признан вредным и изъят из продажи; по распоряжению Николая I за автором был установлен полицейский надзор.

[54] *П. Н. Кудрявцев* (1816—1858) — писатель, историк, профессор Московского университета.

[55] Б.-Г. *Нибур* (1776—1831) — немецкий историк античности, автор «Римской истории». Основатель научно-критического метода в изучении истории.

[56] *Жан-Поль (Рихтер)* — о нем см. коммент. 34 на с. 448 наст. тома.


Содержание

Полонский Я. П.
П52 Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Признания Сергея Чалыгина; Женитьба Атуева; Воспоминания/Сост. и коммент. И. Мушиной.— М.: Худож. лит., 1986.— 463 с.

В том включены прозаические произведения Я. П. Полонского: «Признания Сергея Чалыгина», «Женитьба Атуева» и воспоминания.

П $\frac{4702010100-153}{028(01)-86}$ 25-86 **ББК 84Р1 Р1**

Яков Петрович Полонский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том второй

Редактор Г. Колосова
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор Л. Ковнацкая
Корректоры Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 3735

Сдано в набор 14.01.85. Подписано к печати 26.07.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 29,17. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-1583. Заказ 1777. Цена 2 р. 60 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15